

Р1
Д563

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ

ИЗБРАННЫЕ
ФИЛОСОФСКИЕ
СОЧИНЕНИЯ



КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

247 19/10/63.

1008 с. с. 28/07/13 - 40/13

70334 23/12/73

1230 с. с. 25/12/73

5364 с. с. (м) 19/12/73 - 5/13

Исследована 61/12

7764 - 20/12/08

Колич. пред. выдач _____

RESPONSE



Rev. J. P. K. Webb

1. Ф(с)

256

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ

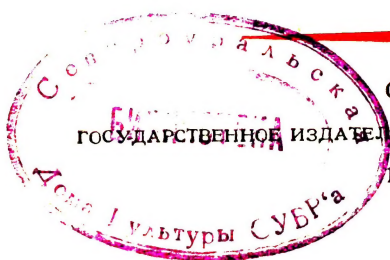


ИЗБРАННЫЕ
ФИЛОСОФСКИЕ
СОЧИНЕНИЯ

ТОМ
I

Под редакцией и с предисловием
М. Т. ИОВЧУКА

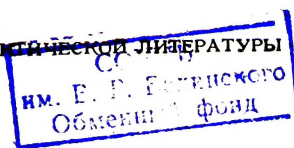
34434



ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1945



ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА



Жизнь и деятельность Николая Александровича Добролюбова — одна из наиболее ярких и замечательных страниц в истории русской культуры и русской философии.

Неразрывно связанный с великим русским учёным-революционером Н. Г. Чернышевским общностью политических убеждений и узами интеллектуального содружества, Добролюбов вместе с Чернышевским прокладывал в условиях крепостной России новые пути для русского народа в общественной жизни, науке и литературе.

Общественно-политическая деятельность и литературное творчество Добролюбова заслуженно получили высокую оценку классиков марксизма.

Энгельс, в письме к Е. Паприц, оценивая различные направления русской общественной мысли, писал:

«Если некоторые школы и отличались больше своим революционным пылом, чем научными исследованиями, если были и есть различные блуждания, то, с другой стороны, была и критическая мысль и самоотверженные искания чистой теории, достойные народа, давшего Добролюбова и Чернышевского. Я говорю не только об активных революционных социалистах, но и об исторической и критической школе в русской литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции официальной исторической наукой»¹.

В. И. Ленин, говоря о Добролюбове, подчеркнул, что всей образованной и мыслящей России «дорог писатель, страстно ненавидевший произвол и страстно ждавший народного восстания против «внутренних турок» — против самодержавного правительства»².

Советский народ глубоко чтит Добролюбова — пламенного борца против самодержавно-крепостнического строя, истинного патриота, боровшегося за прогресс и счастье народов России, великого революционного мыслителя и демократа, классика русской философии.

¹ Маркс и Энгельс, Соч., XXVII, стр. 389

² Ленин, Соч., т. IV, ст.

Добролюбов—выдающийся и разносторонний мыслитель, автор замечательных работ по вопросам философии и социологии, эстетики и литературной критики, этики и педагогики—был и остаётся нашей национальной гордостью.



Николай Александрович Добролюбов родился в 1836 г. в Нижнем Новгороде, в семье священника. В 1848 г. он окончил духовное училище, а в 1853 г.—духовную семинарию. С юных лет Добролюбов проявляет необычайный интерес к истории и литературе, философии и естественным наукам. Духовная семинария не могла удовлетворить пытливого ума и разносторонних интересов Добролюбова, и он обращается к книгам.

Особенное внимание Добролюбова в семинарские годы привлекали издававшиеся тогда в России журналы, в особенности «Отечественные записки» и «Современник». По этим журналам Добролюбов впервые познакомился с философскими и политическими воззрениями Герцена и Белинского, которые оставили неизгладимый след в его сознании и сыграли решающую роль в формировании его мировоззрения.

Уже в 1850 г. он читал «Письма об изучении природы» Герцена и восторгался ими, а несколько позднее изучал труды Белинского, в частности его статьи о Пушкине и обзоры русской литературы. Дневники Добролюбова показывают, что если в первые годы пребывания в семинарии на него произвёл немалое впечатление славянофильский журнал «Москвитинин», то под влиянием статей Белинского к концу пребывания в семинарии у Добролюбова не остаётся и следа от славянофильских иллюзий.

Уже тогда Добролюбов начал проникаться ненавистью к самодержавно-крепостническим порядкам, к полицейскому произволу и насилию.

Первые литературные опыты Добролюбова в области философии—«задачи» на философские темы, которые решались Добролюбовым в духовной семинарии, в частности его «Рассуждение о воскрешении тел», относящиеся, повидимому, к 1852 г.,—свидетельствуют, что Добролюбов уже в годы ранней юности склонялся к материализму, разделял взгляды Бэкона и Герцена на роль опыта в познании человеком внешнего мира и предпочитал естественнонаучный материализм религиозному мирозерцанию.

В 1853 г. Добролюбов уезжает в Петербург, где поступает в Главный педагогический институт на историко-филологический факультет. В институте Добролюбова окружала мертвящая атмосфера казённой религиозно-схоластической идеологии. Но вопреки ей Добролюбов в годы пребывания в институте окончательно формируется как революционный демократ и материалист.

Именно в эти годы Добролюбов наряду с изучением трудов Белинского и Герцена критически исследует теории французских просветителей и утопистов-социалистов, труды Гегеля, левогегельянцев Бруно Бауэра, Штрауса и материалистическую философию Фейербаха. Изу-

чение западно-европейских философских и социально-политических учений окончательно убеждает Добролюбова в правоте материалистических и демократических убеждений Белинского и Герцена. В письме к Лаврскому от 3 августа 1856 г. Добролюбов в иносказательной форме сам называет своих учителей в философии. «Утешаюсь надеждою,—пишет он,—что вы крепки в своих верованиях, что ваша голова навсегда заперта наглухо для пагубных убеждений и вас не совратят с вашего пути ни Штраус, ни Бруно Бауэр, ни сам Фейербах, не говоря уже о каком-нибудь Герцене или Белинском».

Вокруг Добролюбова в Педагогическом институте создаётся философско-политический студенческий кружок, издававший в 1855—1856 гг. нелегальный рукописный журнал «Слухи». В кружке этом Добролюбов играл главную роль, выступая с критикой господствовавших в крепостнической России порядков и гнилости царского режима, обнаружившейся наиболее ярко в период Крымской войны. В статье о тайных обществах в России 1817—1825 гг. Добролюбов с сочувствием отзывается о наиболее революционной части «истинных сынов отечества»—декабристах, во главе с Пестелем, и обнаруживает критическое отношение к умеренным представителям декабристов, боявшимся вовлекать в освободительное движение солдат и народ.

Уже в первых своих литературных работах, написанных в стенах Педагогического института («О русском историческом романе», «Несколько биографических и библиографических заметок о Пушкине», «Нечто о дидактизме в повестях и романах» и др.), Добролюбов обнаруживает недюжинный публицистический талант, критический склад ума и сложившиеся демократические убеждения. К тому же времени относится ряд его нелегальных стихотворений политического характера. В стихотворении «Дума при гробе Оленина», написанном в 1855 г., Добролюбов зовет на бой против царизма лучших людей России:

...Вставай же, Русь, на подвиг славы,—
Борьба велика и святая!..
Возьми своё святое право
У подлых рыцарей кнута...
Она пойдёт!.. Она восстанет,
Святым сознанием полна,
И целый мир тревожно взглянет
На вольной славы знамена.

В 1856 г., за год до окончания Педагогического института, Добролюбов встретился с Чернышевским, статьи которого в «Современнике» ещё ранее произвели на Добролюбова огромное впечатление. С этого времени Добролюбов стал соратником и последователем Чернышевского, активнейшим участником журнала революционной демократии 50-х годов—«Современника». В августе 1856 г. в «Современнике» публикуется первая статья Добролюбова «Собеседник любителей русского слова», сразу же обратившая на себя внимание литературных кругов того времени.

По окончании института, в 1857 г., Добролюбов возглавил литературно-критический отдел «Современника» и наряду с Чернышевским и Некрасовым занял ведущую роль в журнале. С тех пор

в течение четырёх лет не выходит почти ни одной книжки «Современника», в которой не было бы напечатано статей и рецензий Добролюбова. Каждая из них привлекала к себе внимание образованного русского общества и оказывала огромное влияние на прогрессивные слои русской интеллигенции. Многие из литературно-критических работ Добролюбова—в особенности «Что такое обломовщина», «Тёмное царство», «Луч света в тёмном царстве», «Когда же придёт настоящий день», «От Москвы до Лейпцига», «Черты для характеристики русского простонародья», «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью», «Русская цивилизация, сочинённая г. Жеребцовым»—представляют собой ценный вклад в сокровищницу русской и мировой культуры.

В 1859 г. при «Современнике» возник сатирический журнал «Свисток», во главе которого стал Добролюбов. Журнал этот сыграл большую роль в борьбе революционной демократии против холопствовавших перед царизмом идеологов помещичьего и буржуазного либерализма.

Добролюбов не менее решительно, чем Чернышевский, вёл в «Современнике» линию на разрыв с той частью «западников», которая во второй половине 50-х годов начала переходить на позиции либерализма. Чернышевский и Добролюбов не позволили Тургеневу и его друзьям либерального направления (Кавелин, Анненков, Дружинин, Боткин), напуганным нарастанием революционного движения в России, превратить «Современник» в орган умеренного либерализма. К концу 50-х годов журнал окончательно стал воинствующим органом революционной демократии.

До конца своих дней Добролюбов со своей всероссийской трибуны—со страниц «Современника»—обличал крепостников и либералов, пропагандировал идеи революционной демократии и утопического социализма, распространял в русском обществе философский материализм и «алгебру революции»—диалектику, идейно вдохновлял и готовил к народной демократической революции всё лучшее, честное и мыслящее на Руси.

Непомерный труд, цензурные преследования, материальная нужда подточили здоровье Добролюбова, и он в 1860 г. тяжело заболел. Не помогло Добролюбову и лечение за границей, где он пробыл около года. В 1861 г. Николай Александрович умер, прожив всего 25 лет.

Можно с уверенностью сказать, что ни один из русских и западноевропейских мыслителей домарксовской эпохи не создал в столь раннем возрасте таких первоклассных работ, какие вышли из-под пера Добролюбова. Ни одному из них не удалось в столь короткий срок выработать такое глубокое, цельное и разностороннее мировоззрение, какое создал Добролюбов за четыре года своей литературной деятельности.

Подобно Белинскому и Чернышевскому, Добролюбов не мог в условиях царской России излагать свои философские идеи и политические убеждения в той форме, в какой это могли делать западноевропейские мыслители. Область эстетики и литературной критики, так же как и область этики и педагогики, были избраны Добролюбовым не случайно. Посредством этих каналов Добролюбов мог про-

агандировать в подцензурной печати свои философские и социально-политические воззрения, идеи революционно-демократического преобразования общества.

Расцвет философского и литературно-критического творчества Добролюбова был подготовлен предшествующим развитием русской классической философии.

Добролюбов был избавлен от необходимости проходить мучительный путь философских и политических исканий, проделанный Белинским и Герценом. Добролюбов развивал своё философское и политическое учение, исходя из материалистических и демократических убеждений, которые он воспринял ещё в годы юности как ученик и последователь Белинского, Герцена и Чернышевского.

Философская и литературно-критическая деятельность Добролюбова протекала в условиях тесного творческого содружества с Н. Г. Чернышевским. Добролюбов с присущей ему скромностью всегда признавал, что в их интеллектуальном содружестве с Чернышевским ведущую роль играл Николай Гаврилович. Но Чернышевский в свою очередь подчёркивал необычайную силу таланта Добролюбова и огромное значение его творчества для русского народа. Вскоре после смерти Добролюбова Чернышевский писал: «Вот уже два месяца с половиной редкий день проходит у меня без слёз... Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он. Лучшего защитника потерял в нём русский народ». «О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем он хотел тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих».

На трудах Добролюбова, так же как на трудах Белинского, Герцена, Чернышевского, воспитывалась вся русская революционная демократия второй половины XIX в. Добролюбов как выдающийся мыслитель и учитель жизни, как пламенный обличитель и борец против старых, отживших порядков, как глашатай правды и прогресса в литературе и общественной жизни, как истинный патриот и поныне дорог нашему народу.

* *

*

Вся теоретическая деятельность Добролюбова, все его публицистические и литературно-критические работы были проникнуты стремлением идейно обосновать демократическую революцию в России и преобразование общества на социалистических началах. Философской основой революционно-демократических взглядов Добролюбова были материалистическая теория и диалектический метод, которые Добролюбов с начала своей литературной деятельности пропагандировал со страниц подцензурной печати.

Для того чтобы идеи философского материализма и диалектики могли овладеть сознанием передовых людей России и повести их на борьбу за преобразование общества, необходимо было высвободить общественное сознание из-под влияния идеалистических философских систем и метафизического метода мышления.

Н. А. Добролюбов как воинствующий материалист начинает борьбу против всех форм мистицизма, какие имели тогда хождение в России. Говоря о том, что многие философские системы отжили свой век и не имеют смысла, Добролюбов имеет в виду прежде всего тех открытых идеалистов, которые, «начиная с Платона, восстают... против реализма и ещё, не понявши хорошенько, перепутывают его учение», а также эклектиков, которые «непременно хотят дуализма, хотят делить мир на *мыслимое* и *являемое*, уверяя, что только чистые идеи имеют настоящую действительность, а всё являемое, т. е. видимое, составляет только отражение этих высших идей»¹.

Отжившим свой век и потерявшим всякий смысл Добролюбов считает также телеологическое миропонимание.

«Пора бы отстать,—пишет он,—и от отвлечённых идей, по которым, будто бы, образуется жизнь, точно так, как отстали, наконец, от телеологических мечтаний, бывших в такой моде во времена схоластики»².

Добролюбов говорит о необходимости освободить литературу и жизнь от религиозных «аллегорий», появившихся в то время, «когда человечество, ещё не созная своих внутренних сил, находилось совершенно под влиянием внешнего мира и, под влиянием неопытного воображения, во всём видело какие-то таинственные силы»³.

Во всех своих литературно-критических работах Добролюбов ополчается против мистицизма в литературе и философии, высмеивая бесплодные мечтания и оторванность от реальной жизни.

Так, в рецензии на стихотворения Полонского (1859) Добролюбов пишет об авторе:

«Он во всём видит какой-то особенный, таинственный смысл: мир населён для него какими-то чудными видениями, увлекающими его далеко за пределы действительности. Нельзя не сознаться, что подобное настроение, не сопровождаемое притом могучим, гофмановским творчеством, очень неблагоприятно и даже опасно для успеха поэта. Оно легко может перейти в бессмысленный мистицизм или рассыпаться в натянутых приноровлениях и аллегориях»⁴.

Добролюбов резко критиковал немецкий идеализм за его беспочвенность и пренебрежение к изучению природы. «Все усилия наши,—писал он,—представить себе отвлечённого духа без всяких материальных свойств, или положительно определить, что он такое в своей сущности, всегда были и всегда останутся совершенно бесплодными»⁵.

Всю свою недолгую жизнь Добролюбов страстно борется против реакционных идеалистических теорий, считая, что «весь смысл искусства и философии состоит в том, чтобы пробуждать от сна задремавшие силы народа».

В мире нет двух начал—материального и духовного,—утверждает Добролюбов. Всё существующее представляет собой различные со-

¹ Добролюбов, Соч., т. I, стр. 206.

² Там же.

³ Там же, стр. 207.

⁴ Добролюбов, Соч., т. II, стр. 489.

⁵ Добролюбов, Соч., т. III, стр. 95.

стояния единой движущейся и развивающейся материи. Материя вечна, она не создается и не уничтожается и лишь меняет свои формы.

«Ничто не исчезает в сущности,—говорит Добролюбов;—изменяются только формы и личности»¹.

В мире нет никаких сил, существующих особо, отдельно от материи. Силу Добролюбов понимает как коренное свойство материи, неотъемлемый от неё способ движения. «В мире вещественном,—пишет Добролюбов,—мы не знаем ни одного предмета, в котором бы не проявлялись какие-либо свойственные ему силы. Точно так же невозможно представить себе и силу, независимую от материи. Сила составляет коренное, неотъемлемое свойство материи и отдельно существовать не может. Её нельзя передать материи, а можно только пробудить в ней»².

Человек,—утверждает Добролюбов,—часть природы, совершеннейшее из существ, высшая достигнутая вселенной ступень развития.

Доказывая материальность мира, Добролюбов вступал в бой с современными ему реакционными идеалистическими теориями, выводившими мир из каких-либо духовных начал.

В рецензии на книгу казанского профессора Вильгельма Берви «Физиологическо-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни» Добролюбов подверг осмеянию идеалистические басни о том, что науки должны отыскивать нематериальные начала в природе.

«Перемешивая науки естественные с нравственными,—пишет Добролюбов,—г. Берви налагает на натуралистов такое обязательство, какого никому, кроме средневековых алхимиков, и в голову не приходило. Он хочет, чтобы физические исследования имели в виду не познание изменений и действий материи, а отыскание в материи—духа, архея, эфира, жизненной силы, словом чего-нибудь, только чтобы это «что-нибудь» не было положительным, материальным, а было что-нибудь «чувствам недоступное»³. Если в средние века допущение существования таких начал было естественным, утверждает Добролюбов, то оно совершенно неприемлемо в наш век развития естественных наук, когда человечество выработало и усвоило новый метод познания, основанный на опыте, когда все теоретические выводы опираются на фактические знания, а не на мечтательные теории и тёмные гадания.

В рецензии на книгу Савича «О неизбежности идеализма в материализме» Добролюбов доказывает, что в наш век недостойно образованного человека заниматься вопросом об антагонизме двух противоположных начал в мире и человеке, ибо наука дала уже достаточно подтверждений, что этих двух начал нет. «С тех пор, как распространилась общеизвестная ныне истина, что сила есть неизбежное свойство материи и что материя существует для нашего сознания лишь в той мере, как обнаруживаются в ней какие-нибудь

¹ Добролюбов, Соч., т. I, стр. 343.

² Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 309.

³ Добролюбов, Соч., т. III, стр. 345.

силы,—с этих пор мы считали совершенно ненужными всех этих Ормуздов и Ариманов»¹.

Весь ход человеческой жизни и всё развитие наук доказали, что никаких априорных истин не существует. Все идеи, возникающие в сознании человека, рождаются из существующей действительности и представляют собой отображение в сознании человека материальных предметов, находящихся вне его. Всё, что произвёл человеческий ум, приобретено в опыте человеческой жизни и почерпнуто из жизни.

Отстаивая материалистические взгляды о первичности материи и вторичности сознания, Добролюбов далёк от грубого, вульгарного материализма, отождествляющего мысль и материю и принижающего роль и значение идей в жизни общества.

«Нам кажутся,—пишет он,—смешны и жалки невежественные претензии грубого материализма, который унижает высокое значение духовной стороны человека, стараясь доказать, будто душа человека состоит из какой-то тончайшей материи. Нелепость подобных умствований так давно и так неопровержимо доказана, они так прямо противоречат результатам самих естественных наук, что в настоящее время только разве человек самый отсталый и невежественный может ещё не презирать подобных материалистических умствований. Мы совсем не хотим сказать, что телесная деятельность важнее духовной, совсем не хотим выставить довольство физическое целью нашей жизни»².

Однако если мысль нематериальна и невещественна, это вовсе не означает, что мысли, идеи и взгляды людей возникли самопроизвольно, сами из себя, или были внушены какой-то мистической, сверхъестественной силой. Материал мысли берётся исключительно из познания внешних предметов.

Цель философского анализа, по Добролюбову, состоит в отыскании материальных причин, материальных начал всех идей и мыслей людей, с тем чтобы преобразовать эти материальные начала сообразно требованиям человеческой природы и разума.

Добролюбов опровергает, как нелепое, идеалистическое утверждение о возможности мышления без действительности, мысли без материи. «Да ведь что же,—говорит он,—составляет материал мысли, как не познание внешних предметов? Возможна ли же мысль без предмета; не будет ли она тогда чем-то непостижимым, лишённым всякой формы и содержания? Ведь защищать возможность такой беспредметной и бесформенной мысли решительно значит утверждать, что можно сделать что-нибудь из ничего!..»³

В своей рецензии на сочинение учёного церковника архимандрита Гавриила (Кикодзе) «Основания опытной психологии» Добролюбов горячо защищает материалистический тезис о необходимости выводить законы из фактов, а не приравнивать факты к заранее придуманному закону. Он опровергает утверждение Гавриила, будто ос-

¹ Добролюбов, Соч., т. II, стр. 498—499.

² Добролюбов, Соч., т. III, стр. 92.

³ Там же, стр. 241.

новой мышления является будто бы невещественная субстанция, а мозг нельзя признать ощущающим началом, поскольку он слишком прост по своему составу и форме. На основании данных современной Добролюбову физиологической науки он утверждает, что человеческий мозг имеет сложное строение и в нём происходят изменения, отражающие воздействие внешних предметов на органы чувств.

«В органическом царстве,—пишет Добролюбов,—мы не знаем ничего, что имело бы более своеобразный вид, более сложное строение и, наконец, более замечательный химический состав, как мозг... Нет ни одного организма у животных, который бы тонкостью и разнообразием своего строения сколько-нибудь подходил к мозгу... Что мозг имеет тесную связь с психической деятельностью, к этому приводят нас весьма многие разительные факты... Они известны всякому, кто сколько-нибудь знаком с физиологиею»¹.

В статье «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» Добролюбов, обобщая данные современной ему психологической науки, заключает, что «человек не из себя развивает понятия, а получает их из внешнего мира»².

Добролюбов не только даёт материалистическое объяснение процесса образования понятий в сознании единичного человека, но стремится дать научную трактовку всей истории человеческого познания.

В своей работе «Тёмное царство» он показывает, что первый акт сознания состоит в том, что человек отличает себя от прочих предметов, существующих в мире, осознаёт *различие* между собой и этими предметами. В дальнейшем, в процессе своей жизни и борьбы с противостоящими ему силами природы, человек становится во враждебное отношение к внешним, материальным предметам, осознаёт свою *противоположность* им. Затем человек начинает вскрывать в окружающем его материальном мире «противоборство», *борьбу противоположных сил*, образуя понятия о борьбе света и мрака, тепла и холода, суши и моря и т. д. «Наконец, человек обращается от внешнего мира к себе и в своей собственной натуре тоже начинает замечать борьбу каких-то противоположных побуждений. Не умея ещё возвыситься до идеи о всеобщем единстве и гармонии, он и в себе, как и в природе, предполагает существование различных, непримиримых друг другу начал... Отсюда прямой вывод, что в человеке два враждебных существа—одно, происходящее от доброго начала,—внутреннее, высшее, другое,—произведённое злою силой, внешнее, грубое, тёмное».

В последнее время, говорит Добролюбов, наука представила человеческий организм, равно как и все явления природы, как *единство противоположных сил* и возвела «видимые противоречия к естественному единству».

¹ Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 309—311.

² Добролюбов, Соч., т. III, стр. 106.

Таким образом, обращаясь к современной ему науке, Добролюбов доказывает материальность мира и первичность материи по отношению к сознанию. Добролюбов решает материалистически и вторую сторону основного философского вопроса, считая, что человек в состоянии познать окружающий мир и составить правильное представление о всех существующих в мире предметах.

В противовес религиозной проповеди об ограниченности силы человеческого разума и агностическому неверию в возможность познания мира, Добролюбов доказывает, что человечество способно раскрывать истинный смысл явлений природы, а человеческое познание, несмотря на свой относительный, преходящий характер, всё в большей степени представляет собой объективные истины.

В рецензии на книгу Кусакова «Об истинности понятий или достоверности человеческих знаний» Добролюбов опровергает агностицизм автора с помощью доводов, свидетельствующих о глубокой диалектической прозорливости великого русского материалиста. Добролюбов показывает в этой рецензии, что с агностиками, сомневающимися в реальности существования окружающих нас предметов, в реальности всего того, что много раз проверено людьми в жизни, невозможно спорить при помощи философских доказательств. «В самом деле,—говорит Добролюбов,—какое философское доказательство можно привести на то, что моя рука—моя рука, а не г. Кусакова? Чем можно это доказать человеку неверующему? Ему что ни скажешь, у него всё один ответ: а чем докажете? И пойдёт бесконечная история для отыскания начала всех начал...»¹

Не менее резко отповедь даёт Добролюбов мистикам, уверяющим будто истина постигается интуитивным путём, независимо от познания человеком материального мира. Так Добролюбов высмеивает философские изыскания близкого к славянофилам литератора Жеребцова, утверждавшего в своей «Истории русской цивилизации», что русский народ, даже при отсутствии приобретённых сведений об окружающих предметах, непосредственно от природы своей без всякой науки, способен правильно понимать действительность. Критикуя идеалистическую теорию, разрывающую *мышление* и *знание*, Добролюбов доказывает, что люди тем более способны к правильному, логическому мышлению, чем более обширными и всесторонними знаниями о предметах они обладают.

Поэтому,—заключает Добролюбов,—русский народ, способный к всестороннему и глубокому мышлению, должен создать в России такие общественные условия, которые способствовали бы распространению научных знаний и правильного, логического мышления. «Народные различия,—поясняет Добролюбов,—вообще зависят всего более от исторических обстоятельств развития народа. В особенности же это можно сказать о чисто-интеллектуальном развитии. Всякое различие в этом отношении должно быть признаваемо следствием цивилизации, а не коренною её причиною»².

¹ Добролюбов, Соч., т. III, стр. 361.

² Там же, стр. 242.

Истина, по Добролюбову,—живая правда действительности, её смысл, её сущность; человечество способно проникнуть в эту сущность действительности, познать её жизненную правду.

Жизненная правда, истинный смысл окружающих человека явлений может быть постигнут в том случае, если люди будут в своих суждениях исходить из реальных фактов, не связывая себя отвлечёнными теориями и заранее надуманными идеалами.

Объективно научный, основанный на опыте метод познания истины не исключает, однако, а прямо предполагает наличие у исследователя и политического деятеля определённой и твёрдой системы взглядов и убеждений. Но взгляды и убеждения эти будут способствовать познанию истины лишь в том случае, если они не навязываются действительности, а соответствуют ей и способствуют её объективному познанию.

Критерием истинности знаний Добролюбов признаёт совпадение их с действительностью и полагает, что жизнь и практическая деятельность человека дают достаточное подтверждение правильности наших знаний.

Философский материализм Добролюбова, так же как и материализм Чернышевского, не свободен от антропологизма.

Добролюбов выступает с антропологической концепцией единства человеческого организма против дуалистического противопоставления души как идеального существа телу, рассматриваемому чисто механически. Наукой, опровергающей схоластическую доктрину об антагонизме души и тела, по Добролюбову, является антропология. Она рассматривает человека как единый, нераздельный организм и вскрывает неразрывную связь между физиологическими отправлениями и духовными актами.

«Антропология,—пишет Добролюбов,—доказала нам ясно, что прежде всего—все усилия наши представить себе отвлечённого духа без всяких материальных свойств, или положительно определить, что он такое в своей сущности, всегда были и всегда останутся совершенно бесплодными... Только новейшая наука отвергла схоластическое раздвоение человека и стала рассматривать его в полном, неразрывном его составе, телесном и духовном, не стараясь разобщать их. Она увидела в душе именно ту силу, которая проникает собою и одушевляет весь телесный состав человека»¹. Главным условием плодотворной душевной деятельности является здоровое и правильное развитие человеческих органов, прежде всего органов чувств. Но к человеку и его потребностям в отличие от Фейербаха Добролюбов подходит исторически.

Посредством ряда примеров Добролюбов доказывает, что здоровое развитие человеческого организма в сочетании с плодотворной умственной деятельностью становится возможным только тогда, когда человек получает необходимые *социальные* условия для своего развития и прежде всего возможность пользования материальными благами и благами просвещения, свободу от произвола и право

¹ Добролюбов, Соч., т. III, стр. 95.

применять свои силы и способности в любой области общественной жизни.

Таким образом, Добролюбов выходит за рамки антропологизма, используя его лишь как посредствующее звено для критики дуализма и для обоснования своей демократической программы.

Для того чтобы человечество могло постигнуть истину и построить свою жизнь и деятельность сообразно своим естественным стремлениям, необходимо изменить организацию общественных отношений—таков вывод, сделанный Добролюбовым из его материалистических посылок.

В рецензии на стихотворения Никитина Добролюбов пишет:

«Давно замечен разлад человека со всем окружающим, и давно поэзия изображала его. Но причины разлада искали прежде то в таинственных силах природы, то в дуалистическом устройстве человеческого существа, и сообразно с этим поэзия разрабатывала внешнюю природу и психологический антагонизм человека. Теперь более простой взгляд входит в общее сознание: обращено внимание на распределение благ природы между людьми, на организацию общественных отношений. Во всех науках поэтому разрабатывается понятие об обществе; поэзия (в обширном смысле) тоже давно взялась за этот предмет: роман, создание нового времени, наиболее распространённый теперь из всех видов поэтических произведений, прямо вытек из нового взгляда на устройство общественных отношений, как на причину всеобщего разлада, который тревожит теперь всякого человека, задумавшегося хоть раз о смысле своего существования»¹.

Истинная наука, так же как истинное искусство, не может стоять в стороне от страданий и нужд народа, утверждает Добролюбов. Эта истинная, гуманная наука по своим принципам противоположна так называемой «чистой науке», имеющей своей целью услаждение ума. Называя направление так называемой «чистой науки» «гастрономическим», Добролюбов считает его не заслуживающим уважения.

Было бы неправильно полагать, что действительный, творческий материализм Добролюбова идентичен антропологическому материализму Фейербаха.

В отличие от Фейербаха Добролюбов не отрывает человека от социально-исторической среды, а материализм—от революционной практики.

Фейербах всегда говорил о человеке вообще, абстрагируясь от классового деления, господствующего в обществе. Добролюбов, как и Чернышевский, подчёркивал, что общество разделено на борющиеся между собой классы, проникнутые различными стремлениями и отстаивающие противоречивые интересы.

В отличие от Фейербаха, Добролюбов далёк от пассивной созерцательности. Он требует преобразования мира человеком и утверждает, что познание жизни происходит в процессе живой деятельности и вечной борьбы.

Материализм Добролюбова в отличие от материализма Фейербаха свободен и от всяких религиозно-этических наслоений. Добролюбову

¹ Добролюбов, Соч., т. II, стр. 585—586.

чуждо стремление создать новую религию, основанную на обожествлении человеческих чувств и страстей. Революционно-демократические убеждения Добролюбова исключают фейербаховскую проповедь «любви к ближнему» и «общечеловеческой» морали, которую Энгельс назвал «всеобщим примирительным похмельем».

Материализм Добролюбова тем более не может отождествляться с материализмом фейербаховского типа, что в противоположность метафизическому методу мышления, господствующему в системе Фейербаха, Добролюбов стремится сочетать свою материалистическую теорию с диалектической идеей развития.

* * *

По трудам Белинского и Герцена Добролюбов впервые познакомился с диалектикой.

Глубокое и всестороннее изучение реальной жизни окончательно убедило Добролюбова в том, что диалектика заключается не в схоластическом умствовании, не в абстрактных принципах, навязываемых миру, что диалектика—в самой действительности, что она является всеобщим принципом самой жизни.

В противоположность Гегелю и его ученикам Добролюбов, в основном материалистически решает вопрос о предмете диалектической логики. Диалектическая логика, по Добролюбову, в своих категориях отображает реальные процессы, происходящие в природе и в общественной жизни.

«Люди того поколения,—писал Добролюбов о русских идеалистах-диалектиках 30—40-х годов,—проникнуты были высокими, но несколько отвлечёнными стремлениями. Они стремились к истине, желали добра, их пленяло всё прекрасное; но выше всего был для них принцип. Принципом же называли общую философскую идею, которую признавали основанием всей своей логики и морали. Страшной мукой сомнения и отрицанья купили они свой принцип и никогда не могли освободиться от его давящего, мертвящего влияния. Что-то пантеистическое было у них в признании принципа: жизнь была для них служением принципу, человек—рабом принципа; всякий поступок, не сообразённый с принципом, считался преступлением... Отлично владея отвлечённой логикой, они вовсе не знали логики жизни и потому считали ужасно лёгким всё, что легко выводилось посредством силлогизмов, и вместе с тем ужасно мертвили всю жизнь, стараясь втиснуть её в свои логические формы»¹.

Добролюбов отмечает, что и среди поколения 30—40-х годов были люди, сумевшие довести философский принцип до реальной жизненности и поднявшиеся на борьбу с «обстоятельствами». Это—Белинский и его единомышленники.

Логика людей нового поколения отрицает взятые на веру формулы, обрекающие человечество на квиетизм, на примирение с обстоятельствами их жизни, которые в действительности имеют лишь преходящий характер. Эта логика считает не только возможной, но и

¹ Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 58—59.

необходимой борьбу за преобразование действительности, борьбу, основанную на познании законов самой действительности, на раскрытии в самой общественной жизни тенденций к изменению существующего порядка вещей.

«Признавая неизменные законы исторического развития,—говорит Добролюбов,—люди нынешнего поколения не возлагают на себя несбыточных надежд, не думают, что они могут по произволу переделывать историю, не считают себя избавленными от влияния обстоятельств... Но в то же время они вовсе не впадают в апатию и бесчувственность, потому что сознают и своё значение. Они смотрят на себя, как на одно из колёс машины, как на одно из обстоятельств, управляющих ходом мировых событий. Так как все мировые обстоятельства находятся в связи и некотором взаимном подчинении, то и они подчиняются необходимости, силе вещей; но вне этого подчинения—они никаким кумирам не поклонятся, они отстаивают самостоятельность и полноправность своих действий против всех случайно возникающих претензий»¹.

Подобно Герцену, Белинскому и Чернышевскому Добролюбов рассматривал диалектику как логическое основание революционного мировоззрения, как «алгебру революции».

Диалектический метод Добролюбова раскрывается не в виде отвлечённых логических формул и категорий, а применительно к анализу современных Добролюбову общественных явлений и литературных произведений его времени.

Рассматривая вопрос о характере народного художественного творчества, Добролюбов ставит это творчество в связи с окружающей действительностью, с обстановкой, в которой оно возникло и развивалось. Добролюбов решительно выступает против метафизического метода мышления в литературе и искусстве, при котором довольствуются простым описанием случайных фактов и явлений, рассматриваемых изолированно от всей окружающей обстановки. «Вырвать факт из живой действительности,—пишет Добролюбов,—и поставить его на полочку рядом с пыльными фолиантами, или классифицировать несколько отрывочных, случайных фактов на основании школьных логических делений—это значит уничтожать ту жизнь, которая заключается в самом факте, поставленном в связи с окружающей его деятельностью»².

Так, народные сказания Добролюбов рассматривает как одно из выражений мыслей и настроений народа и обстоятельств, среди которых народ живёт.

В статье «Что такое обломовщина» Добролюбов вскрывает неразрывную связь, существующую между господствовавшим в России рабско-крепостническим порядком, барским бытом и умственным и нравственным застоём в помещичьей среде. Рассматривая «обломовщину» в связи и взаимодействии с той обстановкой, в которой она возникает, Добролюбов исходит из того, что истина всегда конкретна и всё зависит от условий, времени и места.

¹ Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 62.

² Добролюбов, Соч., т. I, стр. 432.

Яркую картину взаимозависимости социальных явлений и обусловленности поступков людей окружающей средой Добролюбов даёт в критическом разборе произведений Островского, в особенности в статьях «Тёмное царство» и «Луч света в тёмном царстве».

Добролюбов учит не ограничиваться негодованием по поводу тех или иных беззаконий отдельных помещиков и чиновников, а видеть неразрывную связь этих беззаконий со всем государственным механизмом.

Рассмотрение всех явлений природы, общества и человеческого сознания в их связи и взаимодействии является, по Добролюбову, первым условием диалектического мышления.

«Дайте мне понять характер явления, его место в ряду других, его смысл и значение в общем ходе жизни, и поверьте, что этим путём вы приведёте меня к правильному суждению о деле гораздо вернее, чем посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства вашей мысли»¹.

Диалектический анализ многообразных явлений действительности в их взаимной связи позволяет Добролюбову прийти к заключению, что в реальной жизни господствует всеобщий принцип движения и развития.

Абсолютного и неподвижного в мире ничего нет, всё относительно и преходяще. Вечна и несотворима лишь материя—основа всех явлений природы. «В природе всё идёт постепенно от простого к более сложному, от несовершенного к более совершенному; но везде одна и та же материя, только на разных степенях развития»².

Неорганическим телам присущи изменения в объёме и внутреннем составе, механические и химические процессы, но им ещё не присущи явления жизни; в растениях, представляющих собой более высоко развитую материю, чем тела неорганические, уже обозначаются процессы жизни; в животном мире обнаружение жизни ещё более ощутительно, проявляется способность к перемене места и к высшей нервной деятельности. «Человек, совершеннейшее из животных,—пишет Добролюбов,—составляет последнюю степень развития мировых существ в видимой вселенной; почему же в нём, уже по одному этому, не допустить того, чего мы не замечаем в существах менее развитых? А если самую развитую часть человеческого тела составляет мозг, то отчего же не допустить, что мозг способен к такой деятельности, какой мы не замечаем в камне и дереве»³.

Принцип движения и развития господствует и в общественной жизни. Законы общественной жизни, утверждает Добролюбов, «сами по себе не вечны и не абсолютны. Принимая их, как выработанные уже условия прошедшей жизни, мы чрез то никак не обязываемся считать их совершеннейшими и отвергать всякие другие условия. Напротив, в мой естественный договор с обществом входит, по самой его сущности, и обязательство стараться об изыскании воз-

¹ Добролюбов, Соч., т. II, стр. 320—321.

² Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 310.

³ Там же, стр. 311.

можно лучших законов... В силу самого чувства законности, устраняется застой и неподвижность в общественной организации, мысли и воле даётся простор и работа; нарушение формального status quo нередко требуется тем же чувством законности...»¹

Не в меньшей степени обнаруживается диалектический принцип движения и развития в области человеческого мышления. Жизнь и практическая деятельность людей раздвигают границы их познания, делают устаревшими некогда плодотворные воззрения, рождают новые идеи и системы взглядов. Смешными кажутся идеологи, цепляющиеся за устаревшие и отжившие идеи, ставшие мёртвыми догмами и давно уже опрокинутые всем ходом жизни.

Однако если ранее господствовавшие идеи и верования в ходе времени сменяются новыми, это не означает, что они бесследно исчезают. Во всяком новом, в том числе и в новой системе идей, сохраняется многое из старого, превзойдённого последующим развитием.

В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов даёт образец исторического, диалектического подхода к поэзии. Когда человечество, говорит Добролюбов, находилось всецело под влиянием внешнего мира и не сознавало ещё своих сил, в его поэзии, вернее в чудовищных образах мифологии, отражается подавленность человека страшными силами природы. Впоследствии, по мере того как человек стал сознать своё значение и использовать в своих интересах силы природы, поэзия стала принимать антропоморфические формы. Когда войны принесли преимущества и трофеи одним, рабство и угнетение другим, поэзия начинает прославлять победителей и воспевать покорность рабов и вассалов. То, что в своё время было детищем своего века, впоследствии начинает противоречить жизненной правде и становится уродливым и бессмысленным. «Что отжило свой век,—заключает Добролюбов,—то уж не имеет смысла... Боги греков могли быть прекрасны в древней Греции, но они гадки во французских трагедиях и в наших одах прошлого столетия. Рыцарские воззвания средних веков могли увлекать сотни тысяч людей на брань с неверными, для освобождения святых мест; но те же воззвания, повторённые в Европе XIX века, не произвели бы ничего, кроме смеха»².

Добролюбов не только отстаивает диалектический метод как теоретический принцип. С помощью диалектики он разит врагов революционной демократии, проповедовавших, что Россия должна сохранить «неизменные устои» своей жизни, существующие с древних времён, и отказаться от всяких нововведений.

Критикуя метафизические положения Шевырёва, Добролюбов пишет, что «успокоение на неизменной истине, отысканной им в древней Руси, ведёт к самому унылому застою и смерти... Единая и высокая истина г. Шевырёва, вечно-присущая древней Руси, совершенно чужда всем жизненным интересам новой России»³.

¹ Добролюбов, Соч., т. II, стр. 110.

² Добролюбов, Соч., т. I, стр. 206.

³ Добролюбов, Соч., т. II, стр. 450.

Добролюбов призывает русское общество подняться на борьбу против косности и рутины; он противопоставляет движение и жизнь «болотному застою»: «В болоте погибнуть так же легко, как и в море; но если море привлекательно опасно, то болото опасно отвратительно. Лучше потерпеть кораблекрушение, чем увязнуть в тине»¹.

Добролюбов всюду в своих работах проводит мысль о том, что новые общественные отношения восторжествуют, потому что потребность в них вытекает из самого развития жизни и осознаётся передовыми силами общества, способными привести общество в движение.

Диалектический анализ действительности приводит Добролюбова к пониманию того, что источником вечной смены форм в природе и обществе, источником перехода от старого к новому, является борьба противоположностей, заключённых в самой действительности.

Эта важнейшая сторона диалектического метода не могла быть Добролюбовым подробно освещена в подцензурной печати. Однако Добролюбов использовал всякую возможность, чтобы доказать закономерность политической борьбы и невозможность общественного развития без борьбы классов. Он неоднократно подчёркивает, что основным содержанием истории общества на различных ступенях её развития является борьба аристократии с демократией и что в основе этой борьбы лежит борьба между дармоедством и трудом.

Как и Чернышевский, Добролюбов оперирует не отвлечёнными диалектическими формулами, априорно применяемыми к природе и общественной жизни. Диалектический метод мышления у Добролюбова—аналог развития действительности, отображение в человеческом сознании диалектических процессов, присущих реальной жизни.

Прокладывая новые пути в литературе и искусстве, Добролюбов стремился при помощи диалектического метода обосновать необходимость *активного художественного творчества*, ратовал за создание произведений искусства, которые не только правдиво отображали бы реальную действительность, но и вдохновляли передовых людей на преобразование этой действительности.

«Художник,—писал Добролюбов,—не пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных произведениях и жизни не было, и смысла не было. Художник дополняет отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей частные явления, создаёт одно стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных повидимому явлениях, сливает и перерабатывает в общности своего мирозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности»².

Однако диалектический метод Добролюбова, равно как и Чернышевского, не был до конца последовательным, поскольку они в объяснении общественных явлений оставались в основном на идеалистических позициях. Диалектический метод начинает изменять Добролюбову там, где он отступает от материализма. Нередко Добролюбов,

¹ Добролюбов, Соч., т. I, стр. 278.

² Добролюбов, Соч., т. II, стр. 373.

не проводя последовательно материалистической точки зрения в применении к общественным явлениям, считает идейную жизнь общества и материальные условия его жизни равнозначущими сторонами общественного процесса. Когда же идейная жизнь людей рассматривается как независимая от материальных условий жизни общества, она нередко объясняется «антропологически», физиологическими условиями жизни отдельного человека, и тем самым стирается грань, составляющая основу диалектического перехода от природы к обществу. Это ещё раз показывает, что нельзя быть последовательным приверженцем диалектического мышления, не распространив материализм на понимание закономерностей общественного развития.

* *
*

В деятельности Чернышевского и Добролюбова «демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое» (Ленин).

Во всём своём творчестве Добролюбов стремится идейно обосновать народную революцию и установление демократической власти в целях социалистического преобразования общества.

Сам Добролюбов в одном из своих писем к Славутинскому раскрыл идейно-политический смысл своей деятельности в следующих словах:

«Мы знаем (и Вы тоже), что современная путаница не может быть разрешена иначе, как самобытным воздействием народной жизни (т. е. революцией.—М. И.). Чтобы возбудить это воздействие хоть в той части общества, какая доступна нашему влиянию, мы должны действовать не усыпляющим, а совсем противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху,—до того, чтобы противно стало читателю всё это богатство грязи, чтобы он, задетый наконец за живое, вскочил с азартом и вымолвил: «да что же, дескать, это наконец за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиться и вот чем объясняется и тон критики моих, и политические статьи «Современника», и «Свисток»»¹.

Добролюбов, как и Чернышевский, считал главной задачей прогрессивных сил России уничтожение крепостного права и всех его порождений, как противоречащих естественному праву и человеческой природе.

Если на первых порах своей деятельности Добролюбов, испытывавший на себе влияние русских и французских просветителей, иногда выражает надежду, что «своекорыстные расчёты и привычная лень должны умолкнуть перед величием общего начинания ко благу человечества», то вскоре эти надежды сменяются окончательно и бесповоротно убеждением, что без «топора», без крестьянской революции уничтожить крепостничество и преобразовать Россию невозможно.

¹ «Огни», Петроград, 1916, стр. 67—68.

Во всех своих произведениях Добролюбов вселял в русское общество ненависть к крепостничеству, оценивая все общественные явления с демократических позиций, и, подобно Чернышевскому, «умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя—через препоны и рогатки цензуры—идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей»¹.

Добролюбов выступает за развёртывание борьбы классов в России. В статье «Когда же придёт настоящий день?» он писал: «Мы сами говорили... что нам нужно героев-освободителей, что мы народ владетельный, а не порабощённый...»

Да, извне мы ограждены, да если б и случилась внешняя борьба, то мы можем быть спокойны... Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними, и разве не требуется героизма для этой борьбы?»²

В противоположность либералам и в отличие от западноевропейских утопических социалистов Добролюбов утверждает, что без насильственного переворота уничтожение эксплуататорского общества и переход к новому строю невозможны.

«Всеми средствами образованности, всеми преимуществами новейших открытий и изобретений,—пишет он в статье «Народное дело»,—владеют неработающие классы общества[, которым нет никакой выгоды передавать оружие против себя тем, чьим трудом они до сих пор пользовались даром]. Следовательно, без участия особенных, необыкновенных, обстоятельств, нечего и ждать благотворного распространения образования и здравых тенденций в массе народа»³.

Для того чтобы вызвать к жизни эти «особенные, необыкновенные обстоятельства», передовые люди общества должны пробудить на борьбу народные массы, поднять их к исторической деятельности.

Добролюбов возлагает большие надежды на великие силы, тающиеся в народе, прислушивается к могучему «говору народной жизни», чуя в нём надвигающуюся народную революцию.

Народная революция должна привести к установлению демократической власти, власти трудящихся классов. Добролюбов не выделяет рабочих, крестьян, ремесленников, разночинную интеллигенцию из общей массы угнетённых; все они должны управлять государством.

Лучшей формой государственного устройства, по мнению Добролюбова, была бы демократическая республика.

Подчёркивая преимущества демократического строя над абсолютистским, Добролюбов отнюдь не идеализирует буржуазной демократии, прекрасно понимая, что формально-правовое равенство ещё не означает фактического равенства людей. Добролюбов ясно видел, что капитализм не принёс всеобщего благоденствия, о котором мечтали просветители XVIII века, не дал народным массам подлинной свободы, материального благополучия и культурной жизни.

¹ Ленин, Соч., т. XV, стр. 144.

² Добролюбов, Соч., т. II, стр. 239.

³ Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 107.

«Политическая экономия,—заявляет Добролюбов,—гордо провозглашающая себя наукою о *народном* богатстве, в сущности заботится только о возможно выгоднейшем употреблении и возможно скорейшем увеличении капитала, следовательно, служит только классу капиталистов, весьма мало обращающая внимания на массу людей бескапитальных, не имеющих ничего, кроме собственного труда»¹.

В ряде работ Добролюбов подверг уничтожающей критике буржуазный либерализм. Либералы—утверждает Добролюбов—боятся народных масс и подлинных, коренных преобразований.

«Как скоро вопрос расширяется, они начинают бояться анархии, варварства, грабительства и т. д., и возглашают анафему разрушительным теориям, питающим уважение к *suffrage universel*... Как скоро они входят в колею рутинных либералов, щеголяющих фразами о порядке и тишине, о свободе в пределах закона, о мирном и медленном прогрессе, вырабатываемомся в парламентских прениях, и т. п., то уж для них нет оправдания разумного и юридического»².

Добролюбов мечтал о создании на руинах крепостничества и капитализма нового общественного строя, при котором не было бы эксплуатации человека человеком и все люди получили бы не только право, но и фактическую возможность пользоваться материальными благами и благами просвещения.

Общественный строй, при котором «всем будет хорошо», будет создан тогда, когда важнейшие средства труда перейдут в общественную собственность. Материальные блага должны принадлежать тому, кто их создал.

«Нужно,—говорит Добролюбов,—чтобы значение человека в обществе определялось его личными достоинствами и чтобы материальные блага приобретались каждым в строгой соразмерности с количеством и достоинством его труда: тогда всякий будет учиться уже и затем, чтоб делать как можно лучше своё дело, и невозможны будут тунеядцы»³.

Отстаивая возможность и необходимость перехода к социалистическому строю, Добролюбов доказывал в противовес апологетам капиталистического строя, что освобождённое от эксплуатации человечество будет трудиться с энтузиазмом.

«Многие,—пишет Добролюбов,—доходят даже до того, что не могут представить себе, чтоб человек мог работать по охоте, по увлечению. Прочтите-ка в «Экономическом указателе» рассуждения о том, как все умрут голодною смертью от безделья, ежели равномерное распределение богатства отнимет у частных людей побуждение стремиться к наживанию себе капиталов...»⁴

На самом же деле социализм явится общественным строем, который, органически сочетая личные и общественные интересы людей, создаст мощные стимулы для трудового усердия.

¹ Добролюбов, Соч., т. I, стр. 211.

² Добролюбов, Соч., т. III, стр. 288—289.

³ Добролюбов, Соч., т. II, стр. 187.

⁴ Там же, стр. 29.

Социалистический строй вовсе не предполагает отказа людей от их личных интересов. Напротив, правильно понятый личный интерес предполагает борьбу за такой справедливый общественный строй, при котором индивидуальные способности, склонности и стремления могут получить широкий простор для своего развития.

«Человеку,—пишет Добролюбов,—нужно счастье, он имеет право на него, должен добиваться его, во что бы то ни стало. Счастье,—в чём бы оно ни состояло применительно к каждому человеку порознь,—возможно только при удовлетворении первых материальных потребностей человека, при обеспеченности его нынешнего положения... Если настоящие общественные отношения не согласны с требованиями высшей справедливости и не удовлетворяют стремлениям к счастью, сознаваемым вами, то, кажется, ясно, что требуется коренное изменение этих отношений»¹.

Так же как Роберт Оуэн, Сен-Симон и другие идеологи утопического социализма, теории которых Добролюбов разбирал в своих статьях, он исходит из убеждения, что в человеке при рождении его на свет нет ни зла, ни добра, а только возможность к тому и другому. Человек рождается со способностью к восприятию впечатлений внешнего мира. В силу этого человек, живущий в определённой окружающей обстановке, поддаётся её влияниям и воздействиям. Для того чтобы люди могли отрешиться от дурных поступков и нравов, следует изменить социальную обстановку, в которой они живут и развиваются, изменить характер общественных отношений.

Эти исходные положения роднят Добролюбова с идеологами утопического социализма, но его утопический социализм коренным образом отличается от западноевропейского утопического социализма. Добролюбов стоит на позициях классовой борьбы и наряду с Герценом и Чернышевским неразрывно сочетает идеи социализма с идеями революционной демократии. Добролюбов считает невозможным установление социализма без перехода власти в руки народных масс.

Вслед за Герценом и Чернышевским Добролюбов считал, что Россия при определённых условиях может миновать стадию капиталистического развития и встать непосредственно на путь социализма. Главным условием развития России по социалистическому пути, по Добролюбову, является народная, крестьянская революция. В результате победы этой революции—полагал он—в России установится демократическая власть, ставящая своей целью социалистическое преобразование общества на основе сельской крестьянской общины. Добролюбов, мечтавший о переходе к социализму через старую крестьянскую общину, также, как и Чернышевский, «не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма»². Однако вера в общинный строй русской деревни приводила Добролюбова в отличие от славяно-

¹ Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 103.

² Ленин, Соч., т. XV, стр. 144.

филов, не к бездеятельному умилению старыми, отжившими формами общественной жизни, а к пониманию необходимости крестьянской революции, героической борьбы народа против царизма и крепостничества.

В отличие от Герцена и в известной мере от Чернышевского Добролюбов не считал обязательным для России некапиталистический путь развития к социализму, хотя и предпочитал этот путь. В статье «От Москвы до Лейпцига» Добролюбов писал:

«Да, счастье наше, что мы позднее других народов вступили на поприще исторической жизни. Присматриваясь к ходу развития народов Западной Европы и представляя себе то, до чего она теперь дошла, мы можем питать себя лестною надеждою, что наш путь будет лучше. Что и мы должны пройти тем же путём, это несомненно и даже несколько не прискорбно для нас... Что и мы на пути своего будущего развития не совершенно избегнем ошибок и уклонов, — в этом тоже сомневаться нечего. Но всё-таки наш путь облегчён; всё-таки наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное, — мы можем и должны идти решительнее и твёрже, потому что уже вооружены опытом и знанием»¹.

Полагая, что социализм в России может установиться лишь в результате народной революции, Добролюбов выходил за пределы утопического социализма, но не освободился от утопической надежды на то, что крестьянская революция в России будет носить социалистический характер.

Революционно-демократическое мировоззрение Добролюбова наложило отпечаток на его утопический социализм. В то время как основоположники утопического социализма в целях осуществления своих социалистических идеалов обращаются к господствующим классам и правящим верхам, рассчитывая на их великодушие и благоразумие, — Добролюбов верил только в революционный народ как единственную силу, способную создать новое общество.

В противоположность идеологам утопического социализма в Западной Европе, стоявшим в стороне от политической борьбы масс, от революционного движения своего времени, Добролюбов, как и Чернышевский, был идейным вождём и вдохновителем крестьянской революции.

Основоположники утопического социализма рассматривали трудящиеся классы лишь как *объект* социальных преобразований. Для Добролюбова «рабочий народ» — не только объект, но и *субъект* социальных преобразований, единственная сила, способная создать новый общественный строй. «Пролетарий, — утверждает Добролюбов, — понимает своё положение гораздо лучше, нежели многие прекраснодушные учёные, надеющиеся на великодушие старших братьев в отношении к меньшим»².

Добролюбов стремится теоретически обосновать свою программу демократических и социалистических преобразований. Однако в со-

¹ Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 402.

² Там же, стр. 393.

циологическом обосновании своей политической программы Добролюбову не удаётся окончательно освободиться от идеалистического понимания истории и полностью стать на позиции материализма, хотя материалистические тенденции в объяснении социальных явлений мы можем найти едва ли не во всех работах Добролюбова.

Так, в статье «Русская цивилизация, сочинённая г. Жеребцовым», мы встречаем идеалистические утверждения, что «в развитии народов и всего человечества—сами принципы, признаваемые главнейшими двигателями истории, зависят несомненно от того, в каком положении находятся, в ту или другую эпоху, человеческие познания о мире»¹, а также идеалистический тезис, в котором Добролюбов стремится доказать, что главное препятствие для развития всемирной истории—это «непонимание того, в чём находится настоящее благо, и старание отыскать его там, где его нет и не может быть»². Вместе с тем в той же самой статье Добролюбов доказывает, что различия в интеллектуальном развитии народов зависят более всего от исторических обстоятельств, что общенародной идеологии нет, ибо народ делится на классы, что борьба аристократии и демократии составляет главнейшее содержание истории.

Однако возникновению эксплуатации, факту господства эксплуататорских классов в обществе Добролюбов даёт идеалистическое объяснение. Он утверждает, что «дармоедство» происходит оттого, что количество знаний в обществе ничтожно и распространяются они между людьми неравномерно. Причиной, в силу которой «дармоедство» может сохранять своё господство, Добролюбов считает недостаток образованности в народе, в силу чего люди не научились правильно оценивать место и роль труда в жизни общества.

Антропологические мотивы, присущие материализму Добролюбова, приводили его иногда к ошибочным решениям в вопросах социологии. Так, основываясь на антропологическом принципе, он пришёл к неправильному выводу, будто все противоречия, заключающиеся в общественной жизни, вытекают из вечного противоречия, якобы присущего природе человека. «Везде,—говорит Добролюбов,—по всякому делу обнаруживается существование двух партий, консервативной и прогрессивной, вечных партий, соответствующих двум сторонам человеческой природы: силе привычки и желанию улучшений». Апеллируя к человеческой природе, Добролюбов отвлекается от материальных условий жизни общества: на первый план выступают антропологические абстракции, «сила привычки» и «желание улучшений», что ведёт Добролюбова к идеалистическому объяснению борьбы и прогресса в обществе.

Но не эти черты антропологизма являются определяющими в социологических воззрениях Добролюбова. «Человек» Добролюбова—не натуралистическая абстракция, а общественный, исторический человек, живущий в конкретных общественных условиях.

¹ Добролюбов, Соч., т. III, стр. 241.

² Там же, стр. 244.

Материальный быт людей Добролюбов, как и Чернышевский, рассматривает как важнейшую сторону их жизни и деятельности. Под материальным бытом он понимает материальные условия жизни и средства, при помощи которых эти условия достигаются и поддерживаются. Материальная сторона общественной жизни, по Добролюбову, определяет отношения человека с природой.

Однако и другая сторона «материального быта» людей—отношения между людьми, складывающиеся в процессе труда и распределения благ,—не ускользает от внимания Добролюбова. «Распределение благ природы между людьми» имеет, по Добролюбову, важное значение в жизни общества.

Критикуя либеральные рассуждения, Добролюбов говорит, что в них чувствуется отвлечённое понимание вопроса, подчёркивается *право* человека и оставляется без внимания вопрос о реальной *возможности* осуществить это право. А между тем «материальная сторона во всех житейских отношениях господствует над отвлечённой, и как люди, лишённые материального обеспечения, мало ценят отвлечённые права и даже теряют ясное сознание о них»¹.

Вопреки своему утверждению, что люди живут плохо так как они не постигают разумных и естественных принципов устройства общественной жизни, Добролюбов рассматривает историю общества как процесс, совершающийся по причинам, не зависимым от сознания и воли людей. «Отношения человеческие,—пишет он,—редко устраиваются на основании разумного расчёта, а слагаются большею частью случайно, и затем значительная доля поступков одних с другими совершается как бы бессознательно, по рутине, по минутному расположению, по влиянию множества посторонних причин»².

В конечном итоге Добролюбов склоняется к убеждению в том, что движущей силой прогресса в обществе являются материальные нужды и потребности людей. Осознавая, что существующий способ добывания и распределения материальных благ не удовлетворяет всё возрастающим потребностям основной массы людей, часть общества начинает борьбу против старого порядка вещей и добивается социальных преобразований. Законы, по которым организуется и живёт общество, не вечны, а преходящи, ибо материальные потребности и нужды людей властно требуют изменения старых, отживших экономических законов.

В отличие от просветителей Добролюбов понимал, что никакая идеология сама по себе не может изменить общественного устройства. Осознание передовыми людьми общества потребностей, созревших в обществе, может привести к осуществлению этих потребностей лишь в результате деятельности людей. Однако это произойдёт лишь в том случае, если деятельность людей, осознавших потребности общества, выйдет за пределы чисто идеологической области.

Добролюбов резко критикует идеалистов, готовых думать, что

¹ Добролюбов, Соч., т. II, стр. 333.

² Там же, стр. 323.

«литература заправляет историей, что она [изменяет государства, волнуется или укрощает народ], переделывает даже нравы и характер народный; особенно поэзия,—о, поэзия, по их мнению, вносит в жизнь новые элементы, творит всё из ничего»¹. В действительности литература, как и всякая идеология, является не законодателем, а выразителем общественных интересов.

Распространение положительных знаний в обществе не может само по себе уничтожить социальную несправедливость. История, по словам Добролюбова, показывает, что «с развитием просвещения в эксплуатирующих классах только форма эксплуатации меняется и делается более ловкою и утончённою; но сущность всё-таки остаётся та же, пока остаётся попрежнему возможность эксплуатации»².

Придавая огромное значение осознанию народными массами своих «естественных потребностей», и правильно считая, что, проникнувшись сознанием своих истинных потребностей, «простолюдины» не будут мириться со старым порядком вещей, Добролюбов видел долг литературы и, просвещения в том, чтобы пробудить в народных массах сознание своих исторических задач и тем самым привести в движение эту великую силу.

Добролюбов глубоко и правильно решал вопрос о роли личности и народных масс в истории общества.

В статье о Станкевиче Добролюбов считает одинаково неправильным как преклонение перед так называемыми «избранниками судьбы» и забвение деятельности народных масс, так и «уничтожение личностей», непризнание их серьёзной роли в истории общества, утверждение, что личность сама по себе не имеет никакого значения.

Подлинно выдающиеся люди действуют сообразно с законами исторического развития общества и могут сыграть серьёзную роль в ускорении или замедлении исторического процесса.

«Без сомнения,—говорит Добролюбов,—великие исторические преобразователи имеют большое влияние на развитие и ход исторических событий в своё время и в своём народе; но не нужно забывать, что прежде, чем начнётся их влияние, сами они находятся под влиянием понятий и нравов того времени и того общества, на которое потом начинают они действовать силою своего гения... История занимается людьми, даже и великими, только потому, что они имели важное значение для народа или для человечества. Следовательно, главная задача истории великого человека состоит в том, чтобы показать, как умел он воспользоваться теми средствами, какие представлялись ему в его время; как выразились в нём те элементы живого развития, какие мог он найти в своём народе... Значение великих исторических деятелей можно уподобить значению дождя, который благотворно освежает землю, но который, однако, состоит из всё-таки из испарений, поднимающихся с той же земли»³.

¹ Добролюбов, Соч., т. I, стр. 205.

² Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 394.

³ Добролюбов, Соч., т. III, стр. 120—121.

С этой точки зрения большой интерес представляет полемика Добролюбова против славянофилов по вопросу о преобразованиях Петра I.

Пётр стал, по мнению Добролюбова, великим преобразователем России потому, что он понял и осуществил действительные потребности своего времени и народа; преобразования Петра нельзя считать каким-то внезапным скачком в нашей истории, не связанным с предыдущим развитием народа. Деятельность Петра как подлинно великого человека является выражением потребностей народной жизни.

Главной силой, определяющей направление всех исторических событий, по Добролюбову, является народ. Неоднократно Добролюбов опровергает неверный взгляд на народ как на инертную, неподвижную массу.

«Положим,—пишет он,—что народ наш действительно страдает разъединённостью; положим, что он слишком обременён физическими трудами, отбивающими у него охоту помышлять об общих интересах; положим, что самые успехи цивилизации нередко обращаются у нас в средства к более искусной эксплуатации народа. Но, даже принимая все эти факты, мы надеемся... притти не к отчаянию в жизненных силах народа, не к убеждению в бесконечности его апатии и неспособности к общественным делам, а к выводам совершенно противоположным»¹.

Народные массы—говорит Добролюбов—испытывают на каждом шагу влияние голода и холода, произвола и насилия, и эти действительные факты жизни могут породить такое движение народных масс, которое опрокинет все книжные теории и предположения образованных пессимистов.

Весь внутренний смысл истории, её сущность, её тенденция, по Добролюбову, состоит в борьбе народных масс за уничтожение дармоедства и возвеличение труда.

Добролюбов был истинным патриотом русского народа, стремившимся создать на своей родине, в России, более высокую материальную и духовную цивилизацию, чем западноевропейская. Он, так же как и Белинский, резко выступает против буржуазных космополитов, пытавшихся подчинить русскую нацию какому-либо западно-европейскому влиянию, и бичует панславистов, восхвалявших былую патриархальную отсталость России и отгораживавших её от всего человечества.

«Патриотизм живой, деятельный,—писал Добролюбов,—именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевлённый таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества, если только может быть ему полезен. Ограничение своей деятельности в пределах своей страны является у него вследствие сознания, что здесь именно его настоящее место, на котором он может быть наиболее полезен... Настоящий патриотизм, как частное проявление любви к человечеству, не уживается с неприязнью к отдельным народностям... Понимая патриотизм таким

¹ Добролюбов, Соч., т. IV, стр. 108.

образом, мы поймём, отчего он развивается с особенною силою в тех странах, где каждой личности представляется большая возможность приносить сознательно пользу обществу»¹.

Если Добролюбов и не достиг ещё понимания объективных исторических законов, направляющих общество от капитализма к социализму, то он тем не менее проникся глубочайшей уверенностью в осуществимости социалистических идеалов.

Добролюбов мечтал о новом, социалистическом обществе, в котором определяющим стимулом развития будут потребности народа. Но не покидая реальной почвы, из которой вырастал его протест против старых порядков, он естественно не мог видеть в пролетариате ту силу, на которую история возложила руководство переходом «из царства необходимости в царство свободы». Реальной почвой, на которой выросли революционно-демократические идеи Добролюбова, был крепостнический строй, где народные массы были забиты веками рабства и только ещё приходили в движение. Той силой, которая в рамках этого строя способна была подняться на борьбу против царизма и крепостничества, Добролюбов считал крестьянство и революционную интеллигенцию. Учение Добролюбова вдохновляло всех честных, мыслящих, прогрессивных людей России на борьбу против самодержавия и помещичьего строя, на борьбу за великое дело народное.

Добролюбов, вслед за Белинским, Герценом и Чернышевским, нес в передовые слои русского общества идеи материализма и диалектики, утопического социализма и революционной демократии, боролся за низвержение отживших крепостнических порядков и тем самым идейно подготовлял почву для победы марксизма в России. Наряду с Белинским, Герценом и Чернышевским Добролюбов дорог советскому народу и всему прогрессивному человечеству как великий революционер-демократ и славный предшественник марксизма в России.

М. ПОВЧУК



¹ Добролюбов, Соч., т. III, стр. 227—228.

ПИСЬМО К В. В. ЛАВРСКОМУ¹



3 (15) августа 1856 года

Валериан Викторович!

Я решаюсь вспомнить давно забытое время наших радушных, товарищеских бесед и поправить вину долгого молчания. Я, конечно, не прав, что столько времени не писал к Вам, но всё-таки я имею сильное оправдание. Со мной, после нашего последнего свидания, случилось много такого, что совершенно отвлекло моё внимание от дружеской переписки. Вспомните наш последний разговор, в котором я, по какой-то странной вечно неудовлетворяемой жажде деятельности, желал поскорее «вступить в жизнь», тогда как Вы изъясняли своё отвращение от этого скорого вступления... На другой день после этого разговора моё желание было исполнено самым ужасным, самым непредвиденным образом... На моих руках были дом и сироты... И что же—этот горький опыт не заставил меня раскаяться в своём желании. Тяжело, непривычно было сначала, долго было горько, и теперь ещё всё грустно, и теперь ещё мне новые радости мысли и воли не могут заменить радостных воспоминаний детства, как той душе, у Лермонтова, которой

Песен небес заменить не могли
Скучные песни земли².

Но мне жаль моего мирного детства только уже так, как Шиллеру—богов Греции, как поэтам—золотого века. Я нашёл в себе силы помириться с своей личною участью: наслаждения труда заменили мне былые наслаждения лени, приобретения мысли—увлечения сердца, любовь человеческая³—любовь родственную... Не знаю, не покажется ли Вам, что «говорю я хитро, непонятно»; может быть, мои простые слова противоречат Вашей метафизической фразеологии. Но, прошу Вас, вспомните, что ведь я в православной философии не пошёл дальше того, что имел неудовольствие выслушать у Андрея Егоровича⁴; а во всём, что я читал после,—находил диаметрально противоположность с учением его и, вероятно, всех других академических философов; поэтому оставьте в покое мою терминологию.

и поймите слова мои просто, без высших претензий и взглядов. Надеюсь, впрочем, что Вы так не делаете⁵, потому что и Вы, вероятно, изменились в течение этих двух лет... Как бы хотел я взглянуть на некоторых из своих товарищей и поговорить с ними!.. Что-то стало из этих мирных овечек Христова стада? Во что-то превратились эти отверженные козлища? Что-то и с Вами сделала Казанская Академия, в которой на Вас тоже, вероятно, надели цепи, только не золотые, конечно, о каких Вы мне писали по поводу моего вступления в Институт (мне право жаль, что у меня такая длинная память). Утвердились ли Вы ещё более в добродетели, прониклись ли насквозь священным девизом православия, самодержавия и народности⁶, напитали ли душу свою вдоволь благоговейными размышлениями о том,—⁷ и тому подобными—⁷ важными для блага мира соображениями? Дрежете ли Вы мирно под сению всепримиряющей веры, или тлетворное дыхание буйного Запада проникло и в казанское убежище православия и, миновав стоглазых аргусов, в виде «Православного Собеседника»⁸ и пр., нарушило спокойный, безгрёзный сон Ваш? Душевно жалею, если так; но утешаюсь надеждою, что Вы крепки в своих верованиях, что Ваша голова издавна заперта наглухо для пагубных убеждений и Вас не совертит с Вашего пути ни Штраус, ни Бруно Бауэр, ни сам Фейербах, не говоря уже о каком-нибудь Герцене или Белинском. Только в этой уверенности, предполагая в Вас всегдашнюю христиански-смирненную готовность к прощению ближнего, я решился Вам написать эти строки⁹.

Что касается до меня, то я доволен своею новою жизнью,—без надежд, без мечтаний, без обольщений, но зато и без малодушного страха, без противоречий естественных внушений с сверхъестественными запрещениями. Я живу и работаю для себя, в надежде, что мои труды могут пригодиться и другим. В продолжение двух лет я всё воевал с старыми врагами, внутренними и внешними. Вышел я на бой без заносчивости, но и без трусости,—гордо и спокойно. Взглянул я прямо в лицо этой загадочной жизни и увидел, что она совсем не то, о чём твердили о. Паисий и преосвященный Иеремия¹⁰. Нужно было идти против прежних понятий и против тех, кто внушил их. Я пошёл сначала робко, осторожно, потом смелее, и, наконец, пред моим холодным упорством склонились и пылкие мечты, и горячие враги мои. Теперь я покоюсь на своих лаврах, зная, что не в чем мне упрекнуть себя, зная, что не упрекнут меня ни в чём и те, которых мнением и любовью дорожу я. Говорят, что мой путь смелой правды приведёт меня когда-нибудь к гибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мной моё всегдашнее, неотъемлемое утешение—что я трудился и жил не без пользы...

Впрочем, это ещё очень далёкая история. А теперь я хочу на некоторое время возвратить себе память минувшего и надеюсь, что Вы не откажетесь помочь мне в этом своим письмом. Бывало, я любил беседы с Вами, несмотря на то, что мы часто кололи друг друга и мне даже, может быть, доставалось более. Неужели теперь отвернёмся мы друг от друга, только потому, что наши дороги разо-

пились немножко? По крайней мере я совсем не хотел бы этого. Надеюсь, что и Вы тоже. Пишите же ко мне, Валериан Викторович, о Вашей жизни, учении, успехах, об академии, её духовном устройстве и пр.; о наших товарищах, о которых ничего не знаю, вот уже три года. Я бы сам написал к В. И. С., да не знаю, куда адресовать письмо. В Академию—боюсь писать: там вы, вероятно, все так заняты, что некогда и прочитать будет моего письма, не только отвечать на него. Вот и к Вам* я нарочно выбрал каникулярное время, когда Вы не подавлены тяжестью возвышенных размышлений и имеете свободные минуты для того, чтобы уделить время семинарским воспоминаниям, которых Вы (почему знать?) может быть и стыдитесь. Но мне приятно думать, что Вы не стыдитесь меня, как человека, тоже в своё время стыдившегося семинарии и только недавно понявшего истинное её значение,—конечно, отрицательное. Во всяком случае я жду от Вас письма, жду с нетерпением.

Н. Добролюбов.



* Пропущено по недосмотру слово «писать» — «вот и к Вам писать я» и т. д.

О ЗНАЧЕНИИ АВТОРИТЕТА В ВОСПИТАНИИ

(Мысли по поводу «ВОПРОСОВ ЖИЗНИ» г. ПИРОГОВА)



Умственное движение, возбуждённое в нашем обществе событиями последних годов, обратилось недавно и к вопросам о воспитании. Теперь у нас основано уже два педагогических журнала и, кроме того, статьи о воспитании появляются от времени до времени и в других изданиях. Но первый обратил внимание на это важное дело «Морской Сборник», поместивший в начале прошлого года статью о воспитании г. Бема,—за которою последовали и другие статьи, которыми высказывались о воспитании мнения более или менее новые и справедливые. Многие из этих статей находили сочувствие в читателях, но ни одна из них не имела такого полного и блестящего успеха, как «Вопросы жизни» г. Пирогова. Они поразили всех—и светлостью взгляда, и благородным направлением мыслей автора, и пламенной, живой диалектикой, и художественным представлением затронутого вопроса. Все, читавшие статью г. Пирогова, были от неё в восторге, все о ней говорили, рассуждали, делали свои соображения и выводы. В этом случае общество предупредило даже литературную критику, которая только подтвердила общие похвалы, не пускаясь в подробный анализ статьи и не делая никаких своих заключений. Это явление весьма много говорит в пользу русской публики, и оно тем более замечательно, что статья г. Пирогова вовсе не отличается какими-нибудь сладкими разглагольствиями или пышными возгласами для усыпления нерадивых отцов и воспитателей, вовсе не старается подделаться под существующий порядок вещей, а, напротив, бросает прямо в лицо всему обществу горькую правду; не обинуясь говорит о том, что у нас есть дурного,—смело и горячо, во имя высочайших, вечных истин, преследует мелкие интересы века, узкие понятия, своекорыстные стремления, господствующие в современном обществе. Сочувствие публики к такой статье имеет глубокий святой смысл. Значит, при всём своём несовершенстве, при всех увлечениях на практике, общество наше хочет и умеет, по крайней мере, понимать, что хорошо и справедливо, к чему должно стремиться. Оно уже имеет столько внутренней силы, что не пугается сознания своих недостатков, а сознание прошедшего и настоящего зла есть лучшее ручательство за возможность добра

в будущем. С глубокой радостью и искренним сочувствием приветствуя этот благородный порыв русских людей, мы решаемся высказать по поводу статьи г. Пирогова несколько соображений, на которые наводит она всякого мыслящего читателя. Делаем это тем с большою смелостью, что до сих пор нигде ещё не встречали более честного развития тех мыслей, которые заключаются в общих афористических положениях г. Пирогова.

Сущность мыслей, изложенных в «Вопросах жизни», состоит в следующем. Главные и высшие основы нашего воспитания находятся в [совершенном] разладе с господствующим направлением общества. Из этого выходит, что, окончивая курс воспитания и вступая в общество, мы находим себя в необходимости *или* отречься от всего, чему нас учили, чтобы подделаться к обществу, *или* следовать своим правилам и убеждениям, становясь таким образом противниками общественного направления. Но жертвовать святынями, высшими убеждениями для житейских расчётов—слишком безнравственно и отвратительно; а идти против неправды—где же взять сил на это? К такой борьбе с ложным направлением общества воспитание совсем не готовит нас. Оно даже совсем не заботится о том, чтобы вкоренить в нас высшие, человеческие убеждения; оно хлопочет только о том, чтобы сделать нас учёными, юристами, врачами, солдатами и т. п. Между тем, вступая в жизнь, человек хочет иметь какое-нибудь убеждение, хочет определить, что он такое, какая его цель и назначение. Всматриваясь в себя, он находит уже готовое решение этих вопросов, данное воспитанием, а, присматриваясь к обществу, видит в нём стремления, совершенно противоположные этим решениям. Он хочет бороться со злом и ложью,—но здесь-то и оказывается вся несостоятельность его прежнего воспитания: он не пригоден к борьбе, он должен сначала перевоспитать себя [чтобы выйти на арену бойца]... А между тем, годы летят, жизнь не ждёт, нужно действовать... и человек действует, как попало, часто падая под бременем тяжёлых вопросов, увлекаясь стремительным течением толпы то в ту, то в другую сторону,—потому, что сам собою он не умеет действовать,—в нём не воспитан внутренний человек, в нём нет убеждений. А убеждения даются не легко:

«Только тот может иметь их, кто *приучен с ранних лет проникательно смотреть в себя*, кто приучен с первых лет жизни *любить искренно правду, стоять за неё горю и быть непринуждённо откровенным*—как с наставниками, так и с сверстниками».

На этом останавливается г. Пирогов. Он указывает зло в воспитании и доказывает свои положения с беспощадной, неотразимой логической силой. Он даёт понимать и угадывать причину зла: преобладание внешности в самом воспитании, пренебрежение внутреннего человека. Но каким образом именно убивается в детях внутренний человек, отчего внешнее развивается в них более, от каких частных влияний они выходят на жизненное поприще неприготовленными, бессильными,—этого г. Пирогов не разбирает подробно, а спать предоставляет только угадывать. Мы решаемся высказать здесь несколько мыслей об этом, родившихся в нас по прочтении «Вопросов жизни».

[Трагую с своих педагогических высот вопросы о воспитании, мы

до сих пор очень сильно напоминали басню, в которой поставили волков в начальники над овцами. Здесь все обстоятельства были прекрасно соображены, все голоса собраны, только одного не доставало: не спросили самих овец. Так точно,] большая часть наших педагогических рассуждений, отлично разбирая вопросы высшей философии, представляя верные и полезные правила с точки зрения религиозной, государственной, нравственной, обще-психологической и т. п., упускает из виду одно весьма важное обстоятельство—действительную жизнь и природу детей, и вообще воспитываемых... Оттого дитя нередко жертвуется педагогическим расчётам. Вознесшись на своего нравственного конька, воспитатель считает воспитанника своей собственностью, вещью, с которой он может делать, что ему угодно. «Дитя не должно иметь своей собственной воли, говорят премудрые педагоги:—оно должно слепо подчиняться требованиям родителей, учителей, вообще старших. Приказание воспитателя должно быть для него высшим законом и исполняться без малейших рассуждений. Безусловное повиновение—главное и единственно необходимое условие воспитания. Воспитание своей последней целью и имеет именно то, чтобы на место *неразумной* воли ребёнка поставить *разумную* волю воспитателя».

Не правда ли, что всё это кажется очень логическим и справедливым? Но, припоминая характеристику этого *разумного* воспитания, сделанную в «Вопросах жизни», и сами ещё не слишком отдалённые от впечатлений собственного воспитания и учения, мы не можем без недоверчивой улыбки слушать логические рассуждения. Все они, очевидно, обнаруживают только одно: страшную педантическую гордость почтенных педагогов, соединённую с презрением к достоинству человеческой природы вообще. Говоря, что в лице воспитателя осуществляется для ребёнка нравственный закон и разумное убеждение, они, очевидно, ставят воспитателя на недостижимую высоту, непогрешительным образцом нравственности и разумности. Не трудно, конечно, согласиться, что если б возможен был такой идеальный воспитатель, то безусловное, слепое следование его авторитету не принесло бы особенного вреда ребёнку (если не считать важным вредом замедление самостоятельного развития личностей). Но, во-первых, идеальный наставник не стал бы и требовать такого *безусловного* повиновения: он постарался бы как можно скорее развить в своём воспитаннике разумные стремления и убеждения. А, во-вторых, искать непогрешимых, идеальных наставников и воспитателей в наше время было бы ещё слишком смелая и совершенно напрасная отвага. Для этого требуется слишком много условий. Прежде всего, нравственные правила воспитателя должны быть безусловно верны и строго проведены по всем, самым частным и мелочным случайностям жизни. Тёмных вопросов, сомнительных случаев для него никогда и никаких не должно быть: иначе—что же он станет делать, если в подобном случае придётся приказывать ребёнку, который всякое предписание исполняет безусловно, следовательно, вызвать на рассуждение и соображение никак не может? Кроме того, в воспитателе предполагается ещё при этом совершенное бесстрашие: он не может увлечься ни гневом, ни любовью, не может чувствовать лени и утомле-

ния, для него не может существовать хорошее и дурное расположение духа, он должен быть не обыкновенным человеком, а особенного рода снарядом, в котором должен, без всяких уклонений, осуществляться нравственный закон. Но, сколько нам известно, подобные снаряды ещё не изобретены, а если иные и объявляют, будто они открыли секрет такого изобретения, то в этом опять выражается только их презрение к человеческой природе и желание, во что бы то ни стало, не походить на людей. Если же в воспитателе допустить возможность увлечения, то как можно поручиться за безусловную непогрешимость его действий в отношении к ребёнку? И не лучше ли с самых первых лет приучать ребёнка к разумному рассуждению, [чтобы он как можно скорее приобрёл умение и силы не следовать нашим приказаниям, когда мы приказываем дурно?]

В умственном отношении от идеального наставника тоже требуется ясность, твёрдость и непогрешимость убеждений, чрезвычайно высокое, всестороннее развитие, обширные и разнообразные познания, приведённые в полную гармонию с общими принципами. Самая натура его должна стоять гораздо выше натуры ребёнка во всех отношениях. Иначе, что выйдет, если учитель будет, например, восхищаться Державиным и заставит ученика учить оду Бог; а тому нравится уже Пушкин, а ода Бог—представляет [совершенно] непонятный набор слов? Что, если целый год морят над музыкальными гаммами ребёнка, у которого пальцы давно уже свободно бегут по клавишам, и который только и порывается играть и играть... Что, если дитя восхищается картиной, статуей, пьесой, любит цветы, насекомыми, с любопытством всматривается в какой-нибудь физический или химический прибор, обращается к своему воспитателю с вопросом, а тот не в состоянии ничего объяснить?... [Тут уже плохое безусловное повиновение!] А много ли найдётся наставников и воспитателей, которые бы умели объяснить *все* детские вопросы? Многим, конечно, не раз случалось видеть, как иногда семи или восьмилетнее бойкое дитя забьёт в пух и поставит втупик иного почтенного старичка. А между тем, этот почтенный старичок имеет своего воспитанника, который обязан безусловно его слушаться!.. Этот уж, конечно, никого втупик не поставит.

Таким образом, идеальный воспитатель, не желающий, чтобы ребёнок рассуждал и убеждался [а требующий только, чтобы он слушался,] должен быть готов на всё, должен знать всё, должен ещё предварительно разрешить *все* вопросы, какие могут родиться у воспитанника, обсудить все мнения, соображения и заключения, какие могут когда-нибудь составиться в душе ребёнка. Только с этой предупредительностью он может ещё как-нибудь вести воспитание, не насилуя детской природы. А затем он должен иметь силы вести воспитанника верным и самым лучшим путём на всяком поприще. Откроет ли он в ребёнке склонность к музыке, к живописи, страсть к ботанике, лёгкость математического соображения, поэтическое чувство, способность к изучению языков и пр. и пр., он должен быть вполне способен развить всё в своём питомце. Если же он не может за это взяться, значит, он сам ещё не столько приготовлен, не

столько развит, чтобы руководить других. [А если так, то он и не имеет права требовать, чтобы его слушались безусловно.]

Но даже если мы допустим, что воспитатель всегда может стать выше личности воспитанника (что и бывает, хотя, конечно, далеко, далеко не всегда)—то во всяком случае он не может стать выше целого поколения. Ребёнок готовится жить в новой сфере, обстановка его жизни будет уже не та, что была за 20—30 лет, когда получил образование его воспитатель. И обыкновенно воспитатель не только не предвидит, а даже просто не понимает потребностей нового времени и считает их нелепостью. Он старается удержать своего питомца в тех понятиях, в тех правилах, которых сам держится: старание совершенно естественное и понятное, но тем не менее вредное в высшей степени, как скоро оно доходит до стеснения собственной воли и ума ребёнка. Из этого происходит то, что естественный смысл воспитанника раскрывается медленнее, и восприимчивость к явлениям и потребностям той жизни, того общества, среди которых придётся ему действовать,—совсем иногда заглушается старыми предрассудками и мнениями, на веру принятыми в детстве от воспитателей. Такое воспитание, без сомнения, есть враг всякого усовершенствования и успеха,—и ведёт к мёртвой неподвижности и застою... влияние его отражается уже не на одних отдельных личностях, а на целом обществе.

Если предрассудки и заблуждения старого поколения насильно, с малых лет, вкореняются во впечатлительной душе ребенка, то просвещение и совершенствование целого народа надолго замедляется этим несчастным обстоятельством. Горький опыт жизни убеждает, правда, целое поколение в неверности того, о чём толковали ему в детстве, и человек теряет часть своего детского энтузиазма к давним внушениям, не оправданным жизнью; но всё ещё по привычке он держится этих внушений и передаёт их детям, только с меньшей восторженностью, чем ему самому передавали их. Новое поколение утрачивает ещё частичку благоговения к внушённым мнениям; но зато родовая привычка усиливается, и чем дальше, тем бессознательнее и, по тому самому, тем крепче держится народ за предания отцов. Нужно, чтобы жизнь сделала невозможным приложение этих, давно ставших мёртвыми, преданий, нужно, чтобы явился мощный гений мысли, чтобы заставить общество почувствовать нужду и возможность изменения в принятых неразумных началах. И после этого открытия,—как медленно, как слабо принимается новая мысль, как долго не проникает она в глубину души людей и не распространяется в массах! Прошли столетия после того, как указано движение земли, а до сих пор простолюдин наш, слыша беспрестанно, что солнышко взошло и закатилось, смотрит на него как на огромный фонарь,двигающийся по небесному своду от востока до запада. Девять веков уже Россия оглашается божественным учением христианства, но в народе до сих пор живы поверья о домовых, водяных и леших. Даже те, которые впоследствии теоретически освобождаются от детских верований, на практике долго ещё им подчиняются. Много есть образованных людей, имеющих хорошее понятие о явлениях

электричества и всё-таки прячущихся от ужаса в тёмную комнату во время грома; точно так же, как есть множество других, достигших до умения рассуждать об истинном достоинстве человека и всё-таки в своём знакомом ценящих более всего изящество французского выговора и модный жилет. Отчего происходит это, как не от влияния неразумных впечатлений детства, перешедших к ребёнку, по несчастию, от тех, кого он любит или уважает?.. «Влияние старших поколений на младшие неизбежно, скажете вы,—и его нельзя уничтожить, тем более, что, при дурных сторонах, оно имеет и много хороших: все сокровища знаний, собранные в прошедших веках, передаются ребёнку именно под этим влиянием, и без него нельзя поставить человека на ту точку, с которой он должен начать в жизни собственное продолжение всего, что до него было сделано человечеством». Возражение совершенно справедливое, и мы поступили бы безумно, если бы стали требовать уничтожения того, что естественно, само по себе является, существует и уничтожиться не может. Но мы не видим также причины и ратовать за то, что неизбежно само по себе. Младшее поколение необходимо должно быть под влиянием старшего, и от этого проистекает неизмеримая польза для развития и совершенствования человека и человечества. Никто не станет спорить против такой очевидной истины. Мы говорим только о том,—зачем же ставить прошедшее идеалом для будущего, зачем требовать от новых поколений *безусловного, слепого* подчинения *мнению* предшествующих? Для чего уничтожать самостоятельное развитие дитяти, насилуя его природу, убивая в нём веру в себя и заставляя делать только *то, чего я хочу*, и только *так, как я хочу*, и только *потому, что я хочу*?.. А объявляя такое *безусловное* повиновение, вы именно уничтожаете разумное, правильное, свободное развитие дитяти. Как это вредно действует на всё нравственное существо ребёнка, ясно можно видеть из бесчисленных опытов, равно как и из теоретических соображений. Представим некоторые из них.

Прежде всего определим яснее, что нужно разуметь под *безусловным* повиновением. *Безусловный*—значит не зависящий ни от каких условий и обстоятельств, неизменно остающийся при всех возможных случайностях, не происходящий вследствие каких-нибудь внешних или внутренних причин, но существующий самобытно и сам в себе заключающий своё оправдание. Таково именно бывает повиновение, которого требуют у нас от детей и которого необходимость ещё недавно доказывал весьма сильно в «Морском Сборнике» (1856 г., № 14) г. пастор Зедергольм¹². Из этого следует, что ребёнок должен слушаться без рассуждений, слепо веровать своему воспитателю, признавать его приказания единственно непогрешительными, а всё остальное несправедливым, и, наконец, делать всё не потому, что это хорошо и справедливо, а потому, что это приказано и, следовательно, должно быть хорошо и справедливо.

Посмотрим же, какое психологическое действие может произвести подобное отречение от своей воли в дитяти.

Предположим сначала идеальных воспитателей и наставников. Их внушения всегда справедливы, всегда последовательны, всегда сораз-

меры со степенью духовного развития ребенка; они сами любимы и уважаемы детьми. Предположим, что подобные воспитатели требуют от детей повиновения *безусловного*, а не *разумного*. Что из этого выходит?

Отдаётся приказание; ребёнок исполняет его беспрекословно; за это его хвалят и награждают. Но в самом поступке нет ничего достойного награды,—ребёнок потому и исполнил приказ тотчас, что приказанное дело казалось ему совершенно естественным, что это согласно было с его собственным желанием; за что же его хвалят? Очевидно, за послушание.

Даётся другое приказание; воспитаннику оно не нравится, он находит его несправедливым, неуместным и представляет свои возражения. Ему говорят, чтобы слушался, а не рассуждал, и гневаются. Он поневоле повинуется. Но мысль, что его возражения были справедливы, остаётся у него во всей силе; за что же, значит, бранили его?—Ясно, за что—за непослушание.

Подобные случаи повторяются часто, и в душе ребёнка мало-по-малу погасает чувство правды, уважение к разумному убеждению, и место его занимает слепое последование авторитету.

Вы скажете, что впоследствии, сделавшись поумнее, воспитанник сам поймёт, как разумны были приказания воспитателя. Это, конечно, и бывает очень часто, и это прекрасно, но только для воспитателя, который таким образом приобретает себе более уважения,—но никак не для воспитанника, на которого все подобные открытия имеют совершенно противное влияние. Увидевши, через год, через месяц, неделю, день, час наконец, но во всяком случае поздно (потому, что дело уже сделано, и сделано не по убеждению, [а по приказу]),—увидевши, что его противоречие было глупо и неосновательно, ребёнок теряет доверие к собственному рассудку, лишается отваги и энергии в своих собственных рассуждениях, боится составить какое-нибудь собственное мнение, и не смеет следовать собственному убеждению даже тогда, когда оно представляется ему ясным, как солнце... А может быть, думает он,—что-нибудь тут не так... Вот, может быть, пройдёт несколько времени, и окажется, что я неправ... Отсюда нерешительность, медленность, вялость, выжидание в действиях,—черты, сохраняющиеся на всю жизнь и нередко поражающие нас в людях, одарённых замечательной силой соображения в теории [, но не имеющих отваги осуществить свои мысли на практике].

А что ещё, если ребёнок был прав в абсолютном смысле, если его противоречие было истинно, с точки зрения высших принципов, а не сообразно было только с житейскими обстоятельствами? Житейские обстоятельства оправдывают воспитателя; ребёнок понимает это; так как он ещё не утвердился в принципе сознательным убеждением, то мало-по-малу высшая правда, как несогласная с жизнью, поступает в разряд отвлечённых, негодных мнений, пустых бредней...

Вот примеры. Мальчик сказал в семействе про своего товарища, что он вор. Отец стал бранить сына и приказал ему не говорить этого никогда. Мальчику сначала досадно, он находит несправедливым это запрещение; но через неделю, на одном вечере, другой его товарищ

упрекнул маленького вора в воровстве. Поднялась кутерьма: два семейства поссорились, откровенного болтуна наказали... Отец говорит мальчику: вот видишь, что может выйти из этого?..

Мальчик входит в близкие отношения с старым слугой; гордый гувернёр бранит его и запрещает говорить со стариком. Но мальчик не слушается, и в одно время так зашаливается в лакейской, что старик-слуга без церемонии берёт его за руку и выпроваживает от себя с приличными поучениями. Мальчику неприятно; гувернёр, увидя это, приходит в ужас, и, поддразнивая самолюбие мальчика, говорит: а всё оттого, что не слушался!.. Погоди, он тебя ещё бить будет, если станешь попрежнему быть с ним за-панибрата!.. И мальчик раскаивается в своей дружбе со стариком, как будто в преступлении.

Гувернантка приказывает девочке вести себя благопристойно, — стан выпрямить, идти плавно, голову держать прямо, говорить только когда спрашивают, и т. п. С такими правилами приезжает она в гости. Там много детей, и всё такие резвые, весёлые; они бегают, шумят, болтают, хохочут. Ей тоже хотелось бы пристать к ним, но гувернантка говорит, что это неблаговоспитанно, и она скучает, с завистью смотря на веселящихся подруг, особенно на одну, которая шалит больше всех, и которой, кажется, всех веселее... Но вдруг эта резвая девочка упала и сломала себе ногу... Торжествующая гувернантка говорит своей скромной воспитаннице: вот что значит вести себя неприлично!..

И тому подобное. Рассудите беспристрастно, насколько безусловное повиновение служит здесь к развитию нравственного чувства? Не убивает ли, напротив, такое воспитание и тех добрых, святых начал, которые природны ребёнку? Не естественно ли, что при этом он примет исключение за правило, извращённый порядок за естественный? И кто в этом будет виноват? Неужели сам он?

А между тем, какое пышное развитие мог бы получить ум, какая энергия убеждений родилась бы в человеке и слилась со всем существом его, если бы его с первых лет приучали думать о том, что делает, если бы каждое дело совершалось ребёнком с сознанием его необходимости и справедливости, если бы он привык сам отдавать себе отчёт в своих действиях, и исполнять то, что другими велено, не из уважения к приказавшей личности, а из убеждения в правде самого дела!.. [Правда, тогда многим воспитателям пришлось бы отступить от своего дела, потому что их воспитанники доказали бы им, что они не умеют приказывать!]

Убивая в ребёнке смелость и самостоятельность ума, безусловное повиновение вредно действует и на чувство. Сознание своей личности и некоторых прав человеческих начинается в детях весьма рано (если только оно *начинается*, а не прямо рождается с ними). Это сознание [необходимо] требует [удовлетворения, состоящего в] возможности следовать своим стремлениям, [а не служить бессознательным орудием для каких-то чужих, неведомых целей.] Как скоро стремления ребёнка удовлетворяются, т. е. даётся ему простор думать и действовать самостоятельно (хотя до некоторой степени), ребёнок

бывает весел, радушен, полон чувств — самых симпатичных, выказывает кротость, отсутствие всякой раздражительности, самое милое и разумное послушание в том, справедливость чего он признаёт. Напротив, когда деятельность ребёнка стесняется, стремления его подавляются, не находя ни желаемого удовлетворения, ни даже разумного объяснения, когда, вместо сознательной, личной жизни, дитя, как труп, как автомат, должно быть только послушным орудием [чужой воли],—тогда естественно, что мрачное и тяжёлое расположение овладевает душою ребёнка, он становится угрюм, вял, безжизнен, выказывает неприязнь к другим и делается жертвою самых низких чувств и расположений. В отношении к самому воспитателю, до тех пор, пока не усвоит себе *безусловного* достоинства машины, воспитанник бывает очень раздражителен и недоверчив. Да и впоследствии, успевши даже до некоторой степени обезличить себя, он всё-таки остаётся в неприятных отношениях к воспитателю, требующему только *безусловного* исполнения приказаний [, справедливо, хотя и смутным инстинктом постигая в нём притеснителя и врага своей личности, от которой, при всех усилиях, человек никогда не может совершенно отрешиться].

Нужно ли говорить о том губительном влиянии, какое производит привычка к *безусловному* повиновению на развитие воли? Кажется, совершенно излишне, и мы бы охотно прошли молчанием этот пункт, если бы не имели пред глазами странных положений г. Зедергольма («Морской Сборник» № 14, стр. 38—39), утверждающего, что «усилие, которое делает дитя, чтобы преодолеть собственную волю и подчинить её чужой,—развивает его *нравственную силу* (!). Этим одним возбуждается в душе его первое проявление нравственности, первая нравственная борьба, и только с неё начинается собственно *человеческая* жизнь. А от беспрестанного упражнения в этой борьбе силы его воли укрепятся так, что он после, когда его воспитание окончено, в состоянии повиноваться *самому себе* и исполнять то, что рассудок и совесть требуют от него». Всё это рассуждение очень напоминает нам одного благоразумного родителя, который, желая развить в сыне телесную ловкость, клал его спиною поперёк на узкую доску, поднятую аршина на полтора от земли, и заставлял таким образом балансировать. Ребёнок болтал руками и ногами, стараясь найти себе точку опоры, не находил её, изнемогал и с страшным криком скатывался с доски. Развился он при таких умных мерах очень уродливо, да ещё вдобавок никогда не мог впоследствии даже пройти моста без внутреннего содрогания. Вообще эта система—клин клином выбивать,—давно [у нас] известна, [и давно мы видим её страшные результаты]. Дитя боится темноты,—его запирают в тёмную комнату; дитя питает отвращение к какому-нибудь кушанью,—его целую неделю кормят нарочно этим кушаньем; дитя любит сидеть за книжкой,—его посылают гулять; оно хочет бегать,—ему велят сидеть на месте,—и это делается весьма часто не из сознания необходимости или пользы того, что приказывают, а из чистых и бескорыстных педагогических видов,—чтобы приучить ребёнка к послушанию... Впрочем, наши практические воспитатели несколько последовательнее г. Зедергольма; они просто

говорят: «нужно привыкать к покорности; если теперь его характер не переломить, то уже после поздно будет». Таким образом они откровенно признаются, что имеют в виду подарить обществу будущих Молчалиных. Но г. Зедергольм уверяет, что послушанием укрепляется сила воли! Да помилуйте, ведь это всё равно, как если бы я, уничтожая всякий порыв рассудка в моём воспитаннике, каждый раз говоря ему: не рассуждайте [(как и делается обыкновенно у воспитателей, требующих *безусловного* повиновения)], вздумал бы вывести такого рода заключение: «этим развиваются его умственные способности, потому что тут он должен соображать внутренно и взвешивать справедливость моего мнения и несправедливость своих возражений». Не правда ли, что это столь же логическое предположение, как и г. Зедергольма? И как легко таким образом воспитывать детей!

Напрасно г. Зедергольм указывает на *борьбу*. Здесь собственно нет борьбы, а есть только уступка без боя, которая, при частом повторении, производит не крепость воли, а нравственное расслабление. Да если и бывает в самом деле борьба, то самая неразумная: с одной стороны, внутренняя сила, природное влечение, которое ребёнку представляется правильным, а с другой—внешнее, непонятное давление чужого произвола, или того, что ребёнок считает произволом... [При *безусловном* повиновении] победа обыкновенно остаётся на стороне *внешней* силы, и это обстоятельство неизбежно должно убить внутреннюю энергию [и отбить охоту от противодействия внешним влияниям]. При том не нужно упускать из виду ещё одного обстоятельства: многие из приказаний, отдаваемых ребёнку, бызуют такого рода, что он не имеет ещё о них определённого мнения, и ему лично всё равно—исполнить их или не исполнить. Не понимая, зачем и почему, он делает то, что велено, только потому, что это велено. Тут уже [борьбы] никакой нет, а господствует полная бессознательность, обращающаяся потом в привычку. Воспитанный таким образом человек во всю свою жизнь юстаётся под различными влияниями, которые определяются не разумной необходимостью, не обдуманым выбором, а просто случаем. В чьи руки человек прежде всего попадёт, тому будет следовать.

Каково влияние *безусловных* приказаний на *совесть* (на что указывает также г. Зедергольм),—можно понять из всего, что было до сих пор сказано. Привыкая делать всё без рассуждений, без убеждения в истине и добре, а только по приказу, человек становится безразличным к добру и злу и без взыренья совести совершает поступки, противные нравственному чувству, оправдываясь тем, что «так приказано».

Это всё следствия, необходимо вытекающие из самой metody абсолютного повиновения. Но вспомните ещё, сколько с ней сопряжено других неудобств, являющихся при исполнении. Приказания воспитателя могут быть несправедливы, непоследовательны, и, таким образом, будут искажать природную логику ребёнка. Если наставников и воспитателей несколько, они могут противоречить друг другу в своих приказах, и дитя, обязанное всех их равно слушаться, попадёт в тёмный лабиринт, из которого выйдет не иначе, как только

совершенно потерявшим сознание нравственного долга (если не успеет прийти само до *своих* правил, и, следовательно, до презрения наставников). Все недостатки воспитателя, нравственные и умственные, легко могут перейти и к воспитаннику, приученному соображать свои действия не с нравственным законом, не с убеждением разума, а только с безусловною волею воспитателя.

Таким образом, отсутствие самостоятельности в суждениях и взглядах, вечное недовольство в глубине души, вялость и нерешительность в действиях, недостаток силы воли, чтобы противиться посторонним влияниям, вообще обезличение, а вследствие этого легкомыслие и подлость, недостаток твёрдого и ясного сознания своего долга и невозможность внести в жизнь что-либо новое, более совершенное, отличное от прежде установленных порядков—вот дары, которыми [*безусловное* повиновение при воспитании] наделяет человека, отпускающая его на жизненную борьбу!.. И с такими-то качествами человек должен ратовать за свои убеждения [против целого общества], и он, привыкший жить чужим умом, действовать по чужой воле, он должен вдруг поставить *себя* меркою для целого общества, должен сказать: вы ошибаетесь, я прав; вы делаете дурно, а вот как нужно делать хорошо!.. Да где же он возьмёт столько силы? Во имя чего будет он бороться? Неужели во имя авторитета своих наставников, которые до сих пор управляли его жизнью и понятиями? Да кто же, наконец, дал ему право на это? [Собственно говоря, его отношения и теперь несколько не изменились: до сих пор были подчинённые отношения в воспитании и обучении, теперь настали точно такие же отношения в службе и общежитии. Какая же голова может переварить такое умозаключение: вот черта—пятнадцать, двадцать лет,—до которой ведут тебя, заставляя беспрекословно и *безусловно* слушаться других; это делается для того, собственно, чтобы, перешедши через эту черту, ты умел *бороться* с другими. Гораздо естественнее] заключить, что и в последующей жизни человек должен вести себя именно так, как до сих пор заставляли его.

Все эти соображения имеют в виду, разумеется, совершенный успех системы [*безусловного* повиновения]. Но есть натуры, с которыми подобная система никак не может удалась. Это натуры гордые, сильные, энергические. Получая нормальное, свободное развитие, они высоко поднимаются над толпою и изумляют мир богатством и громадностью своих духовных сил. Эти люди совершают великие дела, становятся благодетелями человечества. Но, задержанные в своём самобытном развитии, сжатые пошлою рутинною, узкими понятиями какого-нибудь, весьма ограниченного наставника, не имея простора для размаха своих крыльев, а принуждённые брести тесной тропинкой, которая воспитателю кажется совершенно удобной и приличной, эти люди или впадают в апатичное бездействие, становясь лишними на белом свете, или делаются ярыми, слепыми противниками именно тех начал, по которым их воспитывали. Тогда они становятся несчастны сами и страшны для общества, которое принуждено гнать их от себя. Самый яркий пример подобного оборота дела представляет *Вольтер*, воспитанный в [благочестивых], основанных на строгом,

мёртвом повиновении, правилах иезуитских школ. Один раз дошедши до убеждения в неправоте своего учителя, подобный ученик уже не останавливается... Да и что могло бы остановить его? И хорошее и дурное, и ложное и справедливое у него перемешано в приказах безусловных, и представляется ему под одной призмой стеснения его личности. Нравственное чувство в нём не развито, ум не приучен к спокойному, медленному обсуживанию своих действий; всё, что он знает и чему верит, вбито ему в голову насильно, без всякого участия его собственной воли и чувства. Поэтому весь внутренний мир, как развитый им не от себя, а навязанный извне, представляется ему чем-то чуждым, внешним, и весь, разом, без большого труда, опрокидывается, особенно, если при этом вмешается ещё какое-нибудь влияние, совершенно противоположное влиянию воспитателей. В ожесточении [против угнетавших его] он развивает в себе дух противоречия и становится противником уже не злоупотреблений только, а самых начал, принятых в обществе. Разумеется, его ждёт скорая гибель, или жизнь, полная скорбного недовольства самим собою и людьми, пропадающая в бесплодных исканиях, с неумением остановиться на чём-нибудь. И сколько благородных, даровитых натур сгибло таким образом жертвою учительской указки, иногда с жалобным шумом, а чаще, просто, в безмолвном озлоблении против мира, без шума, без следа.

Но чего вы хотите? спросят нас. Неужели же можно предоставить ребёнку полную волю, ни в чём не останавливая его, во всём уступая его капризам?..

Совсем нет. Мы говорим только, что не нужно дрессировать ребёнка, как собаку, заставляя его выделывать те или другие штуки, по тому или другому знаку воспитателя. Мы хотим, чтобы в воспитании господствовала разумность, и чтобы разумность эта ведома была не только учителю, но представлялась ясною и самому ребёнку. Мы утверждаем, что все меры воспитателя должны быть предлагаемы в таком виде, чтобы могли быть вполне и ясно оправданы в собственном сознании ребёнка. Мы требуем, чтобы воспитатели выказывали более уважения к человеческой природе и старались о развитии, а не о подавлении *внутреннего человека* в своих воспитанниках, и чтобы воспитание стремилось сделать человека нравственным—не по привычке, а по сознанию и убеждению.

«Но это смешная и нелепая претензия, скажут глубокомысленные педагоги, презрительно улыбаясь в ответ на наши доводы. Разве можно от маленького дитяти требовать правильного обсуждения высоких нравственных вопросов, разве можно *убеждать* его, когда он не развит настолько, чтобы понимать убеждения? Безумно было бы, посылая мальчика гулять, читать ему целый курс физиологии, чтобы доказать, почему и как полезна прогулка, точно так, как было бы нелепо, задавая таблицу умножения, перебирать все математические действия, в которых она необходима, и отсюда уже вывести пользу её изучения... [Главная задача воспитания состоит в том, чтобы добиться, во что бы то ни было, беспрекословного исполнения воспитанником приказаний высших, и если нельзя

достигнуть этого посредством убеждения, то надобно добиться посредством страха».]

Во всех этих рассуждениях один недостаток—принятие [нынешнего] *status quo* * за нормальное положение вещей. Я с вами согласен, что дети неразвиты ещё до ясного понимания своих обязанностей; но в том-то и состоит ваша обязанность, чтобы развить в них это понимание. Для этого они и воспитываются. А вы, вместо того, чтобы внушать им сознательные убеждения, подавляете и те, которые в них сами собою возникают, и стараетесь только сделать их бессознательными, послушными орудиями вашей воли. Уверившись, что дети не понимают вас, вы преспокойно сложили руки, воображая, что вам и делать нечего больше, как сидеть у моря и ждать погоды: авось, дескать, как-нибудь раскроются способности, когда подрастёт ребёнок,—тогда и потолковать с ним можно будет, а теперь пусть делает себе, что приказано.—В таком случае, на что же вы и поставлены, о, глубоко мудрые педагоги? Зачем же тогда и воспитание?.. Ведь ваш прямой долг—добиться, чтобы вас понимали!.. Вы для ребёнка, а не он для вас; вы должны приноравливаться к его природе, к его духовному состоянию, как врач приноравливается к больному, как портной к тому, на кого он шьёт платье. «Ребёнок ещё не развит»,—да как же он и разовьётся, когда вы нисколько об этом не стараетесь, а ещё, напротив, задерживаете его самобытное развитие? По вашей логике, значит, нельзя выучиться незнакомому языку сколько-нибудь разумным образом, потому что, начиная учиться, вы его не понимаете,—а надобно вести дело, заставляя ученика просто повторять и заучивать незнакомые звуки, без знания их смысла; после, дескать, когда много слов в памяти будет, так и смысл их как-нибудь, мало-по-малу, узнается!.. Во всех этих возражениях едва ли что-нибудь высказывается так ярко, как желание спрятать свою лень и разные корыстные виды под покровом священнейших основ всякого добра. Но, унижая разумное убеждение, заставляя воспитанника действовать бессознательно, можно несравненно скорее подкопать их, нежели всяческим предоставлением [самой] широкой свободы развитию ребёнка... Все эти близорукие суждения о неразвитости детской природы чрезвычайно напоминают тех господ, которые восстают против Гоголя и его последователей за то, что эти писатели просто пересыпают из пустого в порожнее, что они никого не научают, и что людей, на которых они нападают, можно пронять только дубиной, а никак не убеждением... Как будто бы дубина может кого-нибудь и чему-нибудь научить! Как будто бы, побивши человека, вы чрез то делаете его нравственно лучшим или можете внушить ему какое-нибудь убеждение, кроме разве убеждения, что вы так или иначе сильнее его!.. Для дрессировки, правда, *argumentum baculinum* ** очень достаточен; таким образом лошадей выезжают, медведей плясать выучивают, и из людей делают ловких специальных фокусников. Но при всей ловкости в своём мастерстве,—ни лошади, ни медведи, ни многие из людей, воспитанные таким образом, ничуть не делаются оттого умнее!..

* Исходное положение (лат.). — *Ред.*

** Палочное доказательство (лат.). — *Ред.*

«А как же, говорят ещё учёные педагоги:—предохранить дитя от вредных влияний, окружающих его? Неужели позволить ему доходить до сознания их вредности собственным опытом? Таким образом, ни один ребёнок не остался бы цел. Испытавши, например, что такое яд, или что значит свалиться в окошко из четвёртого этажа, дитя наверное не останется очень благодарным тому педагогу, который, по особенному уважению человеческой природы, принял бы в критическую минуту за убеждения, а не решился бы просто отнять яд или оттащить ребёнка от окошка»... Оставляя в стороне всю [шутовскую] нелепую сторону этого возражения, по которому, например, подчинённый не может спасти утопающего начальника (потому, что он от него не может требовать безусловного повиновения, а без этого спасение невозможно), заметим одно. Дети потому-то часто и падают из окон и берут мышьяк вместо сахара,—что система безусловного повиновения заставляет их только слушаться и слушаться, не давая им настоящего понятия о вещах, не пробуждая в них никаких разумных убеждений.

Да и хоть бы справедливы были жалобы на неразумность детей! А то и они оказываются чистейшею клеветой, придуманною для своих видов досужим воображением неискусных педагогов. Прежде всего можно заметить, что не воспитание даёт нам разумность, так же, как, напр., не логика выучивает мыслить, не грамматика—говорить, не лирика—быть поэтом, и т. п. Воспитание, точно так, как все теоретические науки, имеющие предметом внутренних мир человека, имеет своею задачею только возбуждение и прояснение в сознании того, что уже давно живёт в душе, только живёт жизнью непосредственною, бессознательно и безотчётно. Придайте разумность обезьяне с вашей системой [безусловного повиновения], и тогда целый мир с благоговением преклонится пред этой системой и будет по ней воспитывать детей своих. Но вы этого не можете сделать, и потому должны смиренно признать права разумности в самой природе ребёнка и не пренебрегать ею, а благоразумно пользоваться теми выгодами, какие она вам представляет.

А разумности в детях гораздо больше, нежели предполагают. Они очень умны и проницательны, хотя обыкновенно и не умеют определённо и отчётливо сообразить и высказать свои понятия. Логика ребёнка весьма ясно выражается в самое первое время его жизни, и лучшим доказательством тому служит язык. Можно положительно сказать, что трёх или четырёхлетнее дитя не слыхало и половины тех слов, которые употребляет; оно само составляет и производит их по образцу слышанных, и производит почти всегда правильно. То же самое нужно заметить о формах: ребёнок, не имеющий понятия о грамматике, скажет вам совершенно правильно все падежи, времена, наклонения и пр. незнакомаго ему слова, ничуть не хуже, как вы сами делаете это, изучая, уже в совершенном возрасте, какой-нибудь иностранный язык. Из этого следует, что, по крайней мере, способность к наведению и аналогии, умение классифицировать весьма рано развивается в ребёнке.

То же самое нужно сказать и о понимании связи между причинами

и следствиями. Ожогши один раз палец на свечке, ребёнок в другой раз уже не схватит свечи рукою; видя, что зимою бывает снег, а летом нет, ребёнок, при таянии снега весною, догадывается, что лето приближается, и пр., и пр. Всякое дитя ласкается к тому, кто его ласкает, и удаляется от того, в ком встречает грубое обращение, и т. п.

Мало этого: дети очень рано умеют составлять понятия. Узнавши, что такое дом, книга, стол и пр., ребёнок безошибочно узнаёт все другие дома, книги, столы, хотя бы вновь увиденные им и не походили на те, которые он видал прежде. Это значит, что у него в голове уже составилось понятие, а для составления понятия, как известно, нужно уметь сделать и суждение, и умозаключение...

С чего же пришло в голову многоучёным педагогам, что дитя не способно понимать разумное убеждение, а может быть управляемо только страхом, обманом и т. п.? Я никак не могу сообразить, отчего же бы это ложное убеждение скорее принялось в душе ребёнка, нежели правильное. Утешить дитя разумно, если оно плачет,—нельзя; а сказать «не плачь, а то тебя бука съест», или «перестань, а не то—высеку»,—можно. Желал бы я знать, какое отношение между детским плачем и букой или розгой, и какая логика предполагается в ребёнке при подобных увещаниях?

«Но, говорят, ребёнок ещё не может рассуждать правильно о частных случаях, потому, что он не имеет данных: он ещё так мало видел и знает». Это в высшей степени справедливо, и обязанность воспитателя в том именно и состоит, чтобы сообщить дитяти, сколько возможно скорее, возможно наибольшее количество всякого рода данных, фактов, заботясь при этом особенно о полноте и правильности восприятия их ребёнком. Поводы к подобному сообщению фактов может представлять самое противоречие ребёнка, на которое не отвечать может наставник только по лености или по трусости своей, а никак не по разумному убеждению. Вы заставляете вашего воспитанника сделать что-нибудь; он говорит, что сделать этого нельзя;—а вы ему покажете, *как* это сделать. Он сам что-нибудь хочет совершить, а вы говорите, что это невозможно, и спрашиваете его, как он хотел бы исполнить своё намерение. Он рассказывает свои мечтательные планы; вы последовательно и подробно доказываете неисполнимость его предприятия. И в этом одном сколько представляется вам прекрасных поводов передать ребёнку множество верных, живых сведений о законах природы, о явлениях духовной жизни человека, и об устройстве общества! И поверьте, что ребёнок сумеет понять ваши объяснения и принять их к сведению.

Вообще можно сказать, что в непонятливости детей большею частью виноваты сами взрослые. У нас обыкновенно жизненные случайности потрясают несколько твёрдость чистой логики; *de jure* и *de facto**—неразрешимо переплетаются; и мы по привычке к уклонениям, часто допускаем такие применения основных принципов, или такие общие выводы из частных фактов, которых чистое мышление никак принять

* По закону и на деле (лат.). — *Ред.*

не может. Чистая девственная логика детской головы этого не допускает, и потому все нелогичности, допускаемые нами незаметно для нас самих, из деликатного почтения к status quo, упорно не понимаются детьми. Если вы наполнили ум дитяти верными данными, то вам трудно уже будет вбить ему в голову ложное заключение, выведенное из этих данных; если вы заставили его сначала принять ложное основание, то вы долго не добьётесь, чтобы он правильно смотрел на следствия, выводимые вами, и логически не соответствующие принятому началу. Твёрдое настаивание на этих нелогичностях без подробного и откровенного разъяснения обстоятельств, их вызвавших, непременно ведёт к искажению природного здравого смысла в ребёнке, и к сожалению, такое искажение происходит у нас слишком часто.

Столь же много вредит понятливости детей и неестественный порядок, принятый у нас вообще в обучении. Познания могут быть приобретаемы только аналитическим путём; сама наука развивалась таким образом; а между тем, даже в самом первоначальном обучении начинают у нас с синтеза! Порядок совершенно извращённый, от которого происходит в занятиях неясность, запутанность, безжизненность. Каждая наука начинается, например, введением, в котором говорится о сущности, важности, пользе, разделении науки и т. п. Спрашиваю вас, как же вы хотите, чтобы мальчик понял всё это прежде, чем он изучит самую науку?—История разделяется на древнюю, среднюю и новую; каждая часть делится на следующие периоды, и пр. На чём держится это деление, к чему оно примкнёт в голове мальчика, который об истории понятия не имеет? География есть наука, показывающая, и т. д.; она состоит из трёх частей: математической, физической и политической. Первая говорит о том-то, вторая о том-то и пр... Можно ли ожидать, чтобы, начиная с этого географию, ребёнок мог разумно усвоить себе что-нибудь?

А между тем, посмотрите, сколько любознательности, сколько жадного стремления к исследованию истины выказывают дети. Инстинкт истины говорит в них чрезвычайно сильно, может быть, даже сильнее, нежели во взрослых людях. Они не интересуются призраками, которые создали себе люди и которым придают чрезвычайную важность. Они не занимаются геральдикой, не пускаются в филологические или метафизические тонкости, не стремятся к чинам и почестям (разумеется, если им не натолковали об этом чуть не со дня рождения). За то, как охотно они обращаются к природе, с какою радостью изучают всё действительное, а не призрачное, как их занимает всякое живое явление. Они не любят отвлечённостей, и в этом их спасение от насильственно вторгающихся в их душу умствований, которых доказать и объяснить часто не может даже тот, кто хлопочет о вкоренении их в душе воспитанников. Да, счастливы ещё дети, что природа не вдруг теряет над ними свои права, не тотчас оставляет их на жертву извращённых, пристрастных, односторонних людских теорий!..

«Но, скажут, в детях сильно влечение ко злу; необходимо деятельно противиться злым от природы наклонностям ребёнка». Не разбирая подробно этого мнения, позволим себе ответить на него словами

г. Пирогова, которому, конечно, вполне можно поверить, когда дело идёт о свойствах человеческой природы. Вот его слова:

«Добро и зло довольно уравновешены в нас. Поэтому нет никакой причины думать, чтобы наши врождённые склонности, даже и мало развитые воспитанием, влекли нас более к худому, нежели к хорошему. А законы хорошо устроенного общества, вселяя в нас уверенность к правосудию и зоркости правителей, могли бы устранить и последнее влечение ко злу».

Но если даже и справедливо, что в природе нашей есть природное влечение ко злу, то разве вы можете взяться за его уничтожение? Вы ли, беспрестанно противоречащие сами себе, опровергающие своими поступками свои же правила, осуждающие теоретическими принципами свои же поступки, на каждом шагу падающие, жертвующие велениями высшей природы своекорыстным требованиям грубого эгоизма,—вы ли бросаете камень в невинного ребёнка и с фарисейской надменностью восстаёте против того немногого, что в нём замечаете? Нет, перевоспитайте прежде самих себя, и тогда уже принимайтесь за поправление природы человека во вверенных вам детях.

Если в детях нельзя видеть идеала нравственного совершенства, то, по крайней мере, нельзя не согласиться, что они несравненно нравственнее взрослых. Они не лгут (пока их не доведут до этого страхом), они стыдятся всего дурного, они хранят в себе святые чувства любви к людям, свободной от всяких житейских предрассудков. Они сближаются с сверстником, не спрашивая, богат ли он, ровен ли им по происхождению; у них замечена даже особенная наклонность—сближаться с обиженными судьбою, с слугами и т. п. И чувства их всегда выражаются на деле, а не остаются только на языке, как у взрослых; ребёнок никогда не съест данного ему яблока без своего брата или сестры, которых он любит; он всегда принесёт из гостей гостинцы своей любимой нянюшке; он заплачет, видя слёзы матери, из жалости к ней. Вообще, мнение, будто бы в детях преобладающее чувство—животный эгоизм—решительно лишено основания. Если в них не заметно сильного развития любви к отечеству и человечеству, это, конечно, потому, что круг их понятий ещё не расширился до того, чтобы вмещать в себе целое человечество. Они этого не знают, а чего не знаешь, того и не любишь.

Нет, не напрасно дети поставлены в пример нам даже Тем, пред Кем с благоговением преклоняются народы, чьё учение столько веков оглашает вселенную. Да, мы должны учиться, смотря на детей, должны сами переродиться, *сделаться как дети*, чтобы достигнуть ведения истинного добра и правды. Если уже мы хотим обратить внимание на воспитание, то надо начать с того, чтобы перестать презирать природу детей и считать их неспособными к восприятию убеждений разума. Напротив, надо пользоваться теми внутренними сокровищами, которые представляет нам натура дитяти. Многие из этих природных богатств нам ещё совершенно неизвестны, многое, по слову евангелия, утаено от премудрых и разумных и открыто младенцам!..

Эта апология прав детской природы против педагогического произвола, останавливающего естественное развитие, имела целью указать на один из важнейших недостатков нашего воспитания. Мы не пуска-

лись в подробности, а выставляли на вид только общие положения, в надежде, что умные воспитатели, если согласятся с нашим мнением, то и сами увидят, что и как нужно им делать и чего не делать. Искусство обращаться с детьми нельзя передать дидактически; можно только указать основания, на которых оно может утверждаться, и цель, к которой должно стремиться. И мы думаем,—главное, что должен иметь в виду воспитатель,—это уважение к человеческой природе в дитяти, предоставление ему свободного, нормального развития, старание внушить ему прежде всего и более всего—правильные понятия о вещах, живые и твёрдые убеждения,—заставить его действовать сознательно, по уважению к добру и правде, а не из страха и не из корыстных видов похвалы и награды...

Исполнить это трудно, но не невозможно. Начало подобного обращения к естественному смыслу детей было уже положено, слишком за полвека назад,—благородным и бескорыстным филантропом воспитателем—Песталоцци. По поводу его-то школы сделано г-жею Сталь¹³ многозначительное замечание, что «непонимание детей происходит всегда более от темноты изложения, нежели от трудности самых наук» (*De l'Allemagne*)*. Тысячи опытов подтвердили это замечание с тех пор, как оно было высказано, и мы с горестью должны сознаться, что оно и до сих пор не потеряло своей справедливости. И не только умственное, но,—что ещё более грустно,—даже нравственное воспитание детей страдает у нас тою же голословностью, внешностью, мертвенностью. Освободиться от этого жалкого состояния, обратить внимание не на мёртвую букву, а на живой дух,—не на исполнение внешней формы, а на развитие внутреннего человека,—вот задача, которой выполнение предстоит современному русскому воспитанию.



* О Германии. — *Ред.*

СОКРАТОВО УЧЕНИЕ ПО КСЕНОФОНУ, В ВИДЕ РАЗГОВОРОВ, В ЧЕТЫРЁХ КНИГАХ

Перев. с греческого *Иваном Синайским*. Москва. 1857¹⁴.



Появление перевода Ксенофонта служит новым подтверждением высказанной нами мысли о пробуждении у нас в последнее время переводной деятельности. Но если римские историки могут иметь некоторый интерес для нашей публики даже и в таком неудовлетворительном переводе, как г. Клеванова, то никак нельзя сказать этого о Ксенофоне (или Ксенофоне, как пишет переводчик), переведённом г. Синайским. В предисловии он говорит, что предлагает свой перевод в «назидание любезным соотчикам». Но неужели во всей греческой литературе не нашёл г. Синайский ничего назидательнее этого Ксенофонта? Выбор его отчасти объясняется, впрочем, особенностью взгляда на греческую литературу, выраженную тоже в предисловии. «Платон, говорит переводчик, в разговоры свои вводил лицо своего учителя и влагал в уста его учение, и чуждое ему; напротив того, Ксенофонт самым добросовестным образом изложил главные пункты Сократова учения». Из этого вы видите, что г. Синайский большой приверженец Сократовой философии, а к Платону питает справедливое недоверие, как к человеку, осмелившемуся слишком вольно толковать мысли своего учителя. Со стороны г. Синайского всё это прекрасно. В Сократовой философии, изложенной Ксенофонтом весьма искусно, находится, в самом деле, много справедливых и дельных вещей, касающихся устройства общества и истинной нравственности. Диалектика Сократа сохранена у Ксенофонта с удивительным искусством, которое одно могло ему доставить присвоенное ему прозвание «аттической пчелы». Но дело в том, что все превосходные истины Сократова учения давно стали не новы и потеряли общественное значение; читать их ужасно скучно и утомительно. Если бы предпринят был перевод всех греческих философов, то, конечно, было бы вполне естественно поставить Сократа во главе их. Но, избирая для перевода одно какое-нибудь сочинение, не мешает позаботиться о его интересе для современного общества. Что же, в самом деле, за радость читать длинные рассуждения, и ещё в разговорной форме,—о том, например, что надо уважать родителей, жить

в дружбе с братьями, воздерживаться от чувственных наслаждений, преклоняться пред волею богов, повиноваться законам, дорожить добрыми друзьями, не браться за то, чего не знаешь, и т. п. Скука всех подобных рассуждений не выкупается живостью и остроумием некоторых мест, весьма, впрочем, немногочисленных. К числу их можно отнести, например, разговор Сократа с Аристиппом, где Аристипп утверждает, что начальником быть неприятно, потому что начальники, в отношении к подчинённому им обществу, должны быть чем-то вроде слуг,—должны обо всём заботиться, всё готовить для общества, работать за него и уметь переносить все лишения, которых когда-нибудь придётся потребовать от других... Сократ возражает, развивая ту мысль, что здесь весьма важна свободная воля: начальникам хорошо потому, что они всё это делают по произволу, когда им угодно, и могут, если им вздумается, переменить занятие; а подчинённые должны делать то, что им приказано. Хороши также допросы Сократа Главкону, стремившемуся сделаться стратегом или архонтом.

— Ты, верно, хочешь доставить выгоды государству, сделавшись его правителем? — спрашивает Сократ.

— Да.

— Значит, ты уже имеешь хорошее понятие о его доходах и расходах?

— Нет; но ведь обогатить государство можно военной добычей...

— Так ты хорошо знаешь положение военных сил и в отечестве, и в других государствах?

— Нет; этого я не знаю.

— Но всё-таки ты сообразил, по крайней мере, что нужно для охранения страны?

— Нет ещё.

— Однако же, ты знаешь, верно, очень хорошо естественные средства страны нашей?

— Ну, это очень трудно...

Словом, оказывается, что Главкон вовсе и не думал, что нужно приготовить себя к управлению страной, изучая её положение, средства и нужды...

Сократ заключает свои вопросы убеждениями, чтобы юноша поучился прежде, а потом уже искал государственных должностей¹⁵.

Но, повторяем, Ксенофонт передаёт немного разговоров, которые равнялись бы в замысловатости хоть этим, приведенным нами отрывкам. Да и эти места теряют всю свою живость в дивном переводе г. Синайского. Его перевод отличается необычайно пёстрым характером: на каждой странице красуются кои, таковые, столькие, ибо, поелику, и проч. Употребляются весьма часто слова: злоключения, вожделенный, своих-си, сладце беседовать, благоугождать; и рядом с ними такие слова, как поводливый, промеж собой, мастерица, волокита, и даже—ротные и полковые командиры, кондитеры, камердинеры, пикник, маршрут и проч. Точно будто переводил какой-нибудь дьячок времён Петра Великого, наставил славянских слов и форм, да и дал поправить какому-нибудь объевропеившемуся придворному, а тот и насовал сюда всякой немечины. Мы сожалеем, что не имеем теперь под рукой перевода Ксенофонта, сделанного в 1762 году Григорием Полетиною. Вероятно, за сто лет до нашего времени не умели так прелестно

писать, как умеет г. Синайский. Возьмём из него, для примера, первые попавшиеся строки, чтобы читатель имел понятие о слоге г. Синайского.

Сократ. Не отдал ли бы ты кормить и того человека, который согласился бы и имел силу отбить тебя от людей, намеревающихся начести тебе сбиду?

Критон. С удовольствием бы, только чтоб не думать мне, что и он пойдёт против меня же.

Сократ. Как это? Разве ты не знаешь(ь), что многим приятнее кому-нибудь пользоваться чем-либо от така(о)го человека, как ты за услуги, а не за какие-нибудь низости? Будь уверен, что здесь есть и такие люди, кои за большую честь сочтут быть твоим другом.

Так пишет г. Синайский, издавший недавно «Три статьи по предмету церковно-славянского языка».

На обёртке книжки, изложенной крайне дурно и составляющей 416 страниц в 16-ю долю листа, напечатано: «Цена 1 р. 50 к. сер. Места и лица за вытребованные уже и вновь требующиеся экземпляры благоволят присылать деньги в Москву на имя Кол. Сов. И. Ф. Синайского, коего квартира в Звонарском переулке, в доме Зырева». Мы думаем, что *места и лица* поступят очень дурно, если благоволят бросить полтора рубля за «Ксенофона», переведённого г. Синайским.

На последней странице замечено *семь* опечаток (восьмая сделана на этой самой странице: вместо *напечатано* стоит—*напечано*). Труд совершенно напрасный: корректура издания такова, что по семи опечаток можно найти почти на каждой странице.

ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ

ИЗ ЗАПИСОК ОТСТАВНОГО НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА ЩЕДРИНА
Собрал и издал М. Е. Салтыков. Том третий. М. 1857¹⁶.

Прошёл с небольшим год с тех пор, как первые «Очерки» г. Щедрина появились в «Русском вестнике»¹⁷ и встречены были восторженным одобрением всей русской публики. До настоящей минуты г. Щедрин не сходит с своей арены и продолжает свою благородную борьбу, не обнаруживая ни малейшего истощения сил. Он печатает рассказ за рассказом, постоянно выказывая в них, как велик запас его средств, как неистощим источник его наблюдений. Мало того: к нему постоянно присоединяются новые бойцы, и даже те, которые молчали до сих пор и прятались в толпе беспечных зрителей,—и те, смотря на него и «вящим жаром возгоря», отважно ринулись на поле бескровной битвы, со всемогущим оружием слова. Публика всё ещё с любопытством следит за зрелищем этих подвигов, и рассказы в *щедринском роде* прежде всего прочитываются в журналах. Но нельзя не видеть, что теперь нет уже ни в публике, ни в литературе прежнего увлечения, прежней горячности, и что многие донашивают теперь сочувствие к общественным вопросам, как старомодное платье. Кто начал читать русские журналы только с нынешнего года и не имеет понятия о том, что было у нас два года тому назад, тот потерял несколько прекраснейших минут жизни. Странно говорить об этом времени как о давно-прошедшем; но тем не менее нельзя сомневаться в том, что оно прошло и что не скоро русская литература дожждётся опять такой же поры. Мы вообще как-то очень скоро и внезапно вырастаем, пресыщаемся, впадаем в разочарование, не успевши даже хорошенько очароваться. Растём мы скоро, истинно по-богатырски, не по дням, а по часам, но, выросши, не знаем, что делать с своим ростом. Нам внезапно делается тесно и душно, потому что в нас образуются всё широкие натуры, а мир-то наш узок и низок,—развернуться негде, выпрямиться во весь рост невозможно. И сидим мы, съёжившись и сгорбившись «под бременем познания и сомненья»¹⁸, в совершенном бездействии, пока не расшевелит нас что-нибудь уже слишком чрезвычайное. Один из учёных профессоров наших, разбирая народную русскую литературу, с удивительной

прозорливостью сравнил русский народ с Ильёй Муромцем, который сидел сиднем тридцать лет и потом вдруг, только выпивши чару пива крепкого от калик перехожих, ощутил в себе силы богатырские и пошёл совершать дивные подвиги. В самом деле, вся наша история отличается какой-то порывистостью: вдруг образовалось у нас государство, вдруг водворилось христианство, скоропостижно перевернули мы вверх дном весь старый быт свой, мгновенно догнали Европу и даже перегнали её: теперь уж начинаем её побранивать, стараясь сочинить русское воззрение... Так было в большом, то же происходило и в малом: рванёмся мы вдруг к чему-нибудь, да потом и сядем опять, и сидим, точно Илья Муромец, с полным равнодушием ко всему, что делается на белом свете. Два года тому назад нас расшевелила война, заставивши убедиться в могуществе европейского образования и в наших слабостях. Мы как будто после сна очнулись, раскрыли глаза на свой домашний и общественный быт и догадались, что нам кое-чего недостаёт. Едва эта догадка озарила наш ум, как мы, с редкою добросовестностью и искренностью, принялись раскрывать «наши общественные раны». Теперь многие уже начинают смеяться над этим, и скептики, уверявшие с самого начала, что всё это—

Тяжёлый бред души больной,
Иль пленной мысли раздраженье¹⁹,

теперь злобно торжествуют, иронически поглядывая на взрослых детей, всегда склонных к увлечению и видящих всё в розовом свете. Но, как хотите, а над ними нечего смеяться: в их увлечении было так много прекрасного, благородного, так много юности и свежести. Любо смотреть было, в самом деле, на общее одушевление: самый робкий, самый угрюмый человек не мог, кажется, не увлечься, видя, как все единодушно и неутомимо хлопотали о том, чтобы раскрыть «наши общественные раны», показать наши недостатки во всех возможных отношениях. Каких тогда вопросов не подняли, до каких закоулков не добрались!.. «От Перми до Тавриды»²⁰ пронёсся один громкий энергический возглас: идите все, кто может, спасать Русь от внутреннего зла! И всё поднялось, всё заговорило—твёрдо, сильно, разумно. Старые люди стряхнули, повидимому, свою давнишнюю лень, возникли молодые деятели и с свежими силами принялись за общее дело. Литература, как всегда, послужила первою выразительницею общественных стремлений, приводя их в ясность и умеряя их силу строгим и обдуманном обсуживанием всех затронутых вопросов. И литература получила, повидимому, общественное значение: она почти исключительно обратилась к тем вопросам, которыми занято было внимание публики. Публика заговорила о путях сообщения, и в журналах были десятки статей о железных дорогах и других средствах сообщения; с искренним сознанием, что до сих пор мы мало имели хороших дорог и оттого не мало потеряли. Поднялся вопрос о тарифе, и тотчас явился ряд статей о свободной торговле и запретительной системе. Обратили внимание на экономические отношения народа, и литература заговорила о состоянии земледельческого класса, о свободном труде и других экономических вопросах, выставяя преимущ-

щественно, чего у нас нет и что нужно сделать. Послышались в обществе голоса о важности воспитания и о неудовлетворительности того, что доселе у нас было принято,—и тотчас о воспитании пишутся горькие статьи, предпринимаются педагогические журналы, и публика тем большими рукоплесканиями вознаграждает статью, чем более горька правда, в ней высказанная. Поднимается голос против злоупотреблений бюрократии,—и «Губернские очерки» открывают ряд блестящих статей, беспощадно карающих и выводящих на свежую воду все тёмные проделки мелкого подьячества. Горькие упрёки слышались отовсюду, и никто не думал противоречить им. Поэты и прозаики, учёные и дилетанты, теоретики и практики—все бросались самоотверженно в мрачное болото невежества и злоупотреблений с пламенником обличения. В душе их кипела могучая сила, их речи горели огнём вдохновения, сожигая плевелы родной нивы. Восстань, поэт!—ободряли поэты самих себя, размышляя о своём призвании:

Да звучит твой стих обронный,
Правды божией набат,
В пробужденье мысли сонной,
В кару жизни беззаконной,
На попибель всех неправд²¹.

Борьба во имя высшей правды против мелких интересов времени!—воскликали высоко образованные критики. «С первых лет жизни, при самом начальном воспитании, должно приучать к этой борьбе, которая ожидает в нашем обществе каждого порядочного человека!..»—«Наука должна смело вступить в борьбу против невежества и предвзятости»,—говорили лучшие из наших учёных. «Мы должны благодарить войну за то, что она открыла нам многие тёмные стороны нашей жизни, против которых мы дружно должны идти теперь, отстаивая честь родины!..» Эти мощные, благородные, бескорыстные призывы не могли не находить отклика в сердцах людей, сочувствующих благу отечества,—и точно, у многих сердце билось сильнее от этих вдохновенных звуков. Многие с грустной улыбкой, даже со слезами на глазах выслушивали русскую всенародную исповедь, но потом гордо поднимали голову, давая торжественный обет деятельности честной, неутомимой и безбоязненной. Были и такие, силою обстоятельств и собственной слабостью увлечённые в пошлость жизни, которые с ужасом смотрели на собственное попрание и с горечью сознавались в его гадости. И что имели в виду все эти люди? Что заставляло их с таким увлечением подвергать себя торжественному самообвинению? Ничего особенного. Они просто повторяли слова одного из своих глашатаев:

И к новым подвигам нас мощно воззовёт,
Раскаянья слеза нам будет в облегченье

и добродушно верили, что вслед за словом не замедлит явиться и дело. Самое пустозвонство приняло тогда характер серьёзно-обличительный. Пустейший из пустозвонов, г. Надимов²², смело кричал со

сцены Александринского театра: «Крикнем на всю Русь, что пришла пора вырвать зло с корнями!»—и публика приходила в неистовый восторг и рукоплескала г. Надимову, как будто бы он, в самом деле, принялся вырывать зло с корнями... «Что смеётесь? над собой смеётесь»,—вслух припомнил слова Гоголя кто-то из скептиков во время одного из представлений «Чиновника». Но эти слова никого не смущали: на скептика соседи его посмотрели так гордо и прямо, как будто бы хотели ответить ему словами того же комика: «Да, над собой смеёмся, потому что слышим благородную русскую нашу породу, потому что слышим приказанье высшее быть лучшими других»²³.

Так всё оживало, всё воодушевлялось желанием идти вперёд по пути просвещения и нравственного усовершенствования. Два года тому назад человек сторонний, услышавший эти клики, увидавший это движение, непременно подумал бы, что это пробуждение исполина, который после продолжительного сна расправляет свои члены, приводит в порядок свои мысли и готовится искупить своё долгое бездействие подвигами изумительного величия. И такое предположение было совершенно естественно: чистые, возвышенные стремления общественных и литературных деятелей казались так мощны, быстры и кипучи, что они должны были идти вперёд неудержимо, разрушая все преграды, поставляемые невежеством, омывая все нечистоты, произведённые в русской жизни силою эгоизма, корысти и лени общественной. Сердца билось тогда сильно и радостно, в полном убеждении, что сознание недостатков есть уже половина исправления и что русский человек ничего не любит делать вполсилы. Святотатством сочли бы тогда, если бы кто осмелился утверждать, что этот Илья Муромец, столько лет сидевший сиднем на одном месте, поднялся теперь только затем, чтобы толчись на одном месте. Напротив, он должен был безостановочно идти вперёд, наслаждаясь жизнью и совершая славные дела. И все ждали этих подвигов, все были в напряжённом ожидании чего-то великого, необычайного. Всё принимало вид какого-то торжественного приготовления, точно накануне великого праздника:

И вились тогда толпою
Легкокрылые друзья:
Юность лёгкая с мечтою
И живых надежд семья...²⁴

Отрадно было то время, время всеобщего увлечения и горячности... Как-то открытее была душа каждого ко всему доброму, как-то светлее смотрело всё окружающее. Точно тёплым дыханием весны повеяло на мёрзлую, окоченелую землю, и всякое живое существо с радостью принялось вдыхать в себя весенний воздух, всякая грудь дышала широко, и всякая речь понеслась звучно и плавно, точно река, освобождённая ото льда. Славное было время! И как недавно было оно!

Но прошло два года, и хотя ничего особенно важного не случилось в эти годы, но общественные стремления представляются теперь далеко уже не в том виде, как прежде. Много разочарований испытали

уже мы на новой дороге, многие надежды оказались пустыми мечтами, много видели мы явлений, способных сбить с толку самого простодушного из оптимистов, вообще отличающихся простодушием. И нет прежнего увлечения, прежнего задумчиво-гордого тона...

Где девалася
Речь высокая,
Сила гордая? ²⁵

Разговоры и теперь, конечно, продолжаются, и мы вовсе не хотим сказать, чтоб общественное внимание вовсе забыло о тех вопросах, которые недавно возбуждены были с такой энергией. Мы говорим только, что в деятельности, в жизни общества мало оказывается результатов от всех восторженных разговоров, чем и доказывается, что большинство наших доморощенных прогрессистов играло до сих пор, по выражению г. Щедрина, «не внутренностями, а кожей».

Литература продолжает своё дело добросовестно: служение делу общественного совершенствования она считает своим священнейшим назначением. Она уже навсегда теперь вышла из пелёнок, и, что бы ни случилось, не получают в ней теперь права гражданства ни швейцарские поздравления с высокаторжественным праздником, ни лакейские оды на пожалование такого-то господина таким-то чином, ни трактирные дифирамбы в честь какого-нибудь праздника с фейерверком и иллюминацией. Литература деятельно продолжает свои обличения, свои вызовы на всё хорошее и благородное; она попрежнему твердит обществу о честной и полезной деятельности, она всё поёт ту же песню:

Встань, проснись, подымись,
На себя погляди ²⁶.

Но уже нет прежних восторженных отзывов со стороны публики. Она уже утомилась, она уже едва ли не считает своё дело конченным, едва ли не считает себя достойною венка за участие, оказанное общественным вопросам и новым деятелям литературного обличения. Только по временам вспыхивает теперь кое-где, неровно и порывисто, огонь одушевления, похожего на прежнее. Но и эти вспышки скоро пропадают без следа, не имея никакого влияния на общественную деятельность. Оказывается, что увлечение и надежды были преждевременны, и что многие из людей, горячо приветствовавших зорю новой жизни, вдруг захотели ждать полудня и решились спать до тех пор; что ещё большая часть людей, благословлявших подвиги, вдруг присмирела и спряталась, когда увидела, что подвиги нужно совершать не на одних словах, что тут нужны действительные труды и пожертвования. Все нетерпеливо ждали, желали, просили улучшений, озлобленно кричали против злоупотреблений, проклинали чужую лень и апатию,—но редко-редко кто принимался за настоящее дело. Испуганные воображаемыми трудностями и препятствиями, многие из тех, кто даже мог делать истинно полезное,—

В начале поприща увяли без борьбы ²⁷.

Произошло явление, не слишком возвышенное и даже довольно непредвиденное: русское общество разыграло в некотором роде талантливую натуру. Читатели, конечно, прочли уже «Губернские очерки» и потому, верно, знакомы с некоторыми из талантливых натур, очерченными г. Щедриным. Но не все, может быть, размышляли о сущности этого типа и о значении его в нашем обществе. Поэтому мы решаемся подробнее рассмотреть эти натуры, в которых, по нашему мнению, довольно ярко выражается господствующий характер нашего общества. Виды талантливых натур чрезвычайно разнообразны, но есть у них и нечто общее, состоящее именно в их *талантливости*, которая может иногда вызвать истинное сожаление и навести на очень грустные думы. Положение их, конечно, смешно, даже отвратительно, но насмешку над положением этих господ не нужно переносить на самую натуру их, вовсе не лишённую добрых качеств. Занятия и свойства их г. Щедрин изображает таким образом:

Одни из них занимаются тем, что ходят в халате по комнате и от нечего делать посвистывают; другие проникаются жёлчью и делают губернскими мефистофелями; третьи барышничают лошадами или передёргивают в карты; четвёртые выпивают огромное количество водки; пятые перебаривают на досуге своё прошедшее и с горя протестуют против настоящего... Общее у всех этих господ, во-первых, «червяк», во-вторых, то, что «на жизненном пире» для них не случилось места, и, в-третьих, необыкновенная размашистость натуры. Но главное — червяк. Этот глупый червяк причиною тому, что наши Печорины слоняются из угла в угол, не зная, куда приклонить голову; он же познакомил их ближайшим образом с помещиками: Полежаевым, Сопиковым и Храповицким. К сожалению, я должен сказать, что Печорины водятся исключительно между молодыми людьми. Старый, занедевший чиновник или помещик не может сделаться Печориным; он на жизнь смотрит с практической стороны, а на терния или неудобства её — как на неизбежные и неисправимые. Это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сделались не врагами, а скорее добрыми знакомыми его. Он не вникает в причины вещей, а принимает их так, как они есть, не задаваясь мыслию о том, какими бы они могли быть, если бы... и т. д. Молодой человек, напротив того, начинает уже смутно понимать, что вокруг его есть что-то неладное, разрозненное, не клеющееся; он видит себя в странном противоречии со всем окружающим, он хочет протестовать против этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примирения, остаётся при одном зубоскальстве или псевдо-трагическом негодовании. («Губернские очерки», т. III, стр. 69 и сл.)

Видите ли,—при всей насмешливости отношений г. Щедрина к талантливым натурам, он сам не может не обнаружить, что в основании их лежит нечто хорошее. Их стремления не заключают в себе ничего предосудительного, напротив—стремления эти ставят их действительно выше тех апатических безличностей, которые, смотря на жизнь с практической стороны, находят блаженное успокоение от всех сомнений и вопросов в учительской указке или в подписи того, кто повыше их чином. Вся беда пропавших талантливых натур состоит в том, что у них нет никаких живых начал. Стоит дать им во-время эти начала, и из них может выйти что-нибудь положительно доброе. Давно уже кто-то заметил, что на свете нет неспособных лю-

дей, а есть только *неуместные*; что плохой извозчик и вываленный им из саней плохой чиновник, выгнанный из службы за неспособность,—оба, быть может, не были бы плохими, если бы поменялись своими местами: чиновник, может быть, имеет от природы склонность к управлению лошадьми, а извозчик в состоянии отлично рассуждать о судебных делах... Всё горе происходит от их неуместности, в которой опять не виноваты ни чиновник, ни извозчик, а виновата их судьба, эта «глупая индейка», по залихватскому русскому выражению. То же самое происходит со всеми талантливыми натурами: они получают одностороннее развитие, несоответственное их потребностям, и, уступая силе враждебных обстоятельств, попадают на ложную дорогу. Они не столько животны, слабодушны и слепы, чтобы уступить без всякого усилия, в простодушной уверенности, что так должно быть: это их достоинство. Но они не имеют и настолько внутренней силы, ума и благородства, чтобы выдержать до конца, чтобы не изменить своим добрым влечениям и не впасть в апатию, фразёрство и даже мошенничество: вот их существенный, страшный недостаток. Но этот недостаток, очевидно, не природный. Он происходит от слабости характера, соединённой с пылкостью стремлений. Пылкость стремлений сама по себе—вещь весьма похвальная, и притом составляет в человеке не что иное, как простой признак живой молодости,—а характер, как все согласны, не родится с человеком, а приобретает им во время воспитания, установляясь окончательно в последующих тревожениях жизни. Следовательно, по строгом рассуждении, на стороне самой личности остаётся только живая восприимчивость натуры—признак вовсе недурной, а всё остальное ложится на ответственность окружающей её среды. Нам скажут: отчего же эта среда не оказывает такого же влияния на других, отчего именно на талантливые натуры она действует так губительно? Ответ прост: эти натуры, по своей впечатлительности, забегают дальше других, часто захватывают больше, чем сколько могут вынести, и при этом чаще, чем другие, встречают противодействия, которым они не в силах противиться. Между тем как дети милые и благонаправленные наслаждаются спокойствием блаженного неведения, помня, что они дети и, следовательно, должны составлять свой маленький мир, не вступаясь в дела больших,—дети восприимчивые и пылкие суются беспрестанно туда, где их не спрашивают, рано знакомятся с житейскими дрязгами и рано получают от больших практические опровержения своих детских рассуждений. В иных естественная логика и привычка к деятельности берут верх: они рассматривают практические взгляды со всех сторон и оценивают их очень верно; они не падают пред силою обстоятельств, не опускаются до злобного фразёрства и цинической лени—с досады, что ничего великого сделать нельзя,—а до конца идут против враждебной силы, и если не успеют её покорить, то падают, звуком самого падения созывая на труп свой новых самоотверженных деятелей. Но таких крепких людей немного. Большая часть не выдерживает враждебного напора и гибнет нравственно, без пользы и часто даже со вредом и для других. В общественном отношении, разумеется, хвалить их

нечего: они всегда являются в обществе или тунеядцами, или мошенниками. От этого мы и не думаем их оправдывать, равно как не думаем возвеличивать их бездействие насчёт незаметной деятельности скромных тружеников. Мы только хотим сказать, что в сущности своей талантливые натуры дают больше задатков хорошего развития, нежели благонравные, милые, послушные и т. д. дети, и что при благоприятных обстоятельствах их развитие принесло бы хорошие плоды. Мы можем сравнить их, пожалуй, с плодородной землей. Засейте где-нибудь в окрестностях Петербурга хорошую почву (если таковая найдётся) мансом, рожью и крапивой. Манс, разумеется, не примется по причине разных прелестей петербургского климата, а рожь заглушена будет крапивою. Вот поле и не годится никуда. Как же можно сравнить его по плодам с другим, довольно, правда, скудным полем, которое, однакоже, вырастило рожь, хотя и очень тощенькую. А всё-таки нельзя не сказать, что в первом поле земля лучше. Брошенное и запущенное, да ещё закрытое от солнышка какими-нибудь заборами да постройками, заваленное всяким мусором, оно и всё прорастёт крапивой. Но попадись оно в руки хорошему хозяину, так тот не только его от мусора очистит и крапиву выполет, не только хорошую жатву соберёт, а ещё целую оранжерею на нём разведёт и самые нежные растения воспитает, оградивши их от разных неблагоприятных петербургских влияний.

Если нужно доказать наши слова примерами, то за ними ходить недалеко. У г. Щедрина представлены талантливые натуры трёх разрядов: мефистофельская, спившаяся с кругу и пустившаяся в мошенничество. Нельзя не сознаться, что выбор этих трёх категорий сам по себе весьма удачен. Неудавшаяся деятельность талантливых натур обыкновенно имеет один из этих исходов. Все они гадки и вредны или, по крайней мере, бесполезны; но посмотрите на начало жизненного поприща этих господ, вникните в сущность их натуры, и вы увидите, что все их увлечения имеют доброе начало, а падение происходит просто от бессилия противиться внешним влияниям. Отчего также бессилие происходит, мы уже отчасти объяснили. Прибавим только, что, завися от естественной, каждому предмету в мире присущей инерции, качество это усиливается от постоянной привычки к пассивному восприятию чужих идей и делается тем отвратительнее, чем больше ума и свежих сил в такой пассивной натуре. На человека, не умеющего пяти слов связать со смыслом, не досадно, если он целый век сидит за переписываньем. Да его и не заметишь: он доволен своей судьбою и высоко не заносится, зная, что без крыльев опасно подниматься на воздух... Но человек, легко и быстро понимающий предметы, имеющий живые и высокие стремления, знающий очень хорошо степень собственных сил,—такой человек вдруг, поддаваясь лени, отстаёт от всякого дела и употребляет свои способности только на пересыпанье из пустого в порожнее или на различные непохвальные проделки: это уже досадно и горько. Такого человека сейчас все заметят, потому что он всем надоедает своими жалобами на несправедливость судьбы, ко всем навязывается с пересмеиванием своих ближних, всем кидается в глаза своим сознательным, пред-

намеренным бездельничеством. Вот, например, перед вами г. Корепанов. Он не потому замечен крутогорским обществом, что тунеядствует и в пустяках всю свою жизнь проводит. Он пуст не больше других: как другие, он служит,—как другие, является на детские балы гняжны Анны Львовны,—как другие, ничем особенно не занимается. Словом, в нём ничего нет замечательного, и вы проходите мимо его, бросая на него рассеянный взгляд и думая: «Вот ещё один из множества тех, которые прозябают в Крутогорске, серьёзно занимаясь деланьем ничего и не имея понятия о других, лучших сферах деятельности...» Но г. Корепанов вдруг останавливает вас восклицанием:

«Прошу не смешивать меня с этой толпой; я уверяю вас, что я гораздо лучше всех их. Не смотрите на то, что я толкусь между ними и так же, как они, ничего не делаю... Поверьте, что я мог бы сделать многое, очень многое, если бы только захотел... Но я не хочу...» — «Тем хуже,— отвечаете вы,— значит, вы, м-сьё Корепанов, сами виноваты в своём ничтожестве. На этих людях нечего спрашивать: они делают то, что могут; виноваты ли они, что у них не хватает сил на большее? А вы гораздо хуже их, потому что не делаете и того, что можете. Вы просто дрянь, м-сьё Корепанов».

— И что же бы вы думали? Корепанов мгновенно с вами соглашается и начинает ругать себя.

«Да,— говорит он,— впрочем, не без оттенка тонкой иронии,— я глуп, я слаб, у меня мелкая, ничтожная душонка. Я завидую даже этому пошлому довольству и безмятежии, которое написано на лицах моих сослуживцев: всё-таки, значит, их жизнь прошла не даром... А я только всё сомневался да метался без толку, из стороны в сторону... А к чему?.. Гораздо было бы спокойнее — добыть себе тёпленькое местечко, как Николай Фёдорович, жениться на Анфисе Ивановне, которая из старых панталон шаль устраивает, да считать себе денежки, как Семён Семёныч...»

Вы соглашаетесь, что это, действительно, было бы спокойнее, чем без толку целый век маяться; но Корепанов обнаруживает полное омерзение к деятельности Николая Фёдоровича, Семёна Семёныча и подобных. Он даже детям Семёна Семёныча и Николая Фёдоровича внушает отвращение к воровству и скаредной жизни родителей и гордится своими заслугами в этом отношении. Он называет Крутогорск помойной ямой и очень недоволен тем, что здесь всякий должен бессменно носить однажды накиннутую на себя ливрею. По выходкам Корепанова вы видите, что он был в хорошей школе, умеет зло от добра отличить и имеет понятие о настоящей нравственности. Он и сам признаётся, что в молодости своей умных людей с кафедры слушал, но только ученье не пошло ему впрок. Он, видите, не хотел корпеть над книжкой и клевать по крупнице, а ждал всё, что ему кто-нибудь «вольёт знание ковшом в голову, и сделается он после того мудр, как Минерва». Вот вам и первое падение перед трудностями, первое торжество лени. Далее, Корепанов затем не остался служить там, где бы лучше могли развернуться его таланты, что «он желает кушать, а в Петербурге или Москве этого добра не найдёшь сразу».

А ему—видите—лень добиваться чего-нибудь трудом, понёмножку: всё сразу хотелось бы. Вот он и едет в Крутогорск, где у него есть родные, «которыми, следовательно, уж насижено место и для него...» Здесь он кое-как служит, как и все, но главным образом злобствует против всех, стараясь выставить собственное превосходство и несправедливость судьбы. Если хотите, судьба точно несправедлива к нему, но несправедлива тем, что дала ему родных, которые с грехом пополам насидевши тунеядцу место, освободили его от необходимости работать самому для приобретения места и хлеба. Не будь этого, Корепанов был бы славным работником и не погиб бы для честной и полезной деятельности, обратившись в мефистофеля средней руки.

Теперь посмотрим на Лузгина, тоже талантливую натуру, только другого разбора. Положительно дурного в этой натуре ничего нет. Припоминая прежние годы Лузгина, г. Щедрин говорит, что он был тогда безрасчётно добр и великодушен, что в нём сильно кипела кровь, обильна и неистощима была животворная струя молодости. Сам Лузгин в откровенном разговоре высказывает, что у него и в пожилых годах сохранилось ещё много любви, горячности, жару. Он жалеет, что погано провёл свою молодость и не столько лекциями, сколько ухарством занимался. В жизни его есть прекрасные явления. Он женился на бедной гувернантке своего соседа, которую притесняли сладострастный хозяин и капризная хозяйка. Он не хотел служить в Петербурге затем, что там «выморозки, что-то холодное, ослизлое», бегают целый день, чтоб иметь счастье искривить рот в улыбку при виде нужного лица. Он перестал ездить к школьному товарищу, когда тот вздумал пустить ему в глаза пыль в виде действительного статского советника Стрекозы, княгини Оболюй-Таракановой и т. д. Всё это, нельзя не сознаться, обнаруживает натуру добрую, симпатичную, с наклонностями истинно благородными. Можно бы почесть его просто прекрасным мирным помещиком, нашедшим, наконец, в кругу семейном успокоение от житейских тревожений. Но такое заключение было бы неудачно: Лузгин хоть и не занимался лекциями, по его собственному признанию, но всё же кое-что из высших наук запало ему в голову, и он уже не может довольствоваться своей тесной сферой—«размеры нас душат,—говорит он:—природа у нас широкая, желал бы захватить и вдоль и поперёк, а размеры маленькие. Жару и теперь ещё пропасть осталось, только некуда его девать: сфера-то у нас узка, разгуляться негде...» Да кто же вам не велел, г. Лузгин, захватывать именно столько, сколько ваши силы позволяют? Зачем вы киснете в деревне и даже не служите, хоть бы по выборам?—А вот видите,—когда Лузгин воротился из ученья, то мать стала его упрашивать: «Около меня посиди», да и соседи лихие нашлись,—он и остался, тем более, что к лениости с юных лет сердечное влечение чувствовал... Но в деревне его томит скука: образование его не столько полно, чтоб он мог довольствоваться самим собою и семейным кругом; он ищет других развлечений и находит их, разумеется, без особенных затруднений: он начинает каждый день напиваться допьяна,

приводя в отчаяние свою жену и расстраивая собственное здоровье... Ну, скажите на милость, природа ли тут виновата? Лузгин всячески старается всю вину сложить на природу, хотя он, собственно говоря, и не думает себя оправдывать. Напротив, он, как и все талантливые натуры, безбоязненно и бесстыдно распространяется о своих недостатках, уверяя, что он свинья, что он опустился, что он гнусен с верхнего волоска головы до ногтей ног. Но всё это самообвинение мало помогает. Подняться он уже не в силах: «Я,—говорит,—до такой степени привык к праздности, так ввелся в неё, что даже уж и думать ни о чём не хочется». При всём том он не хочет принять на себя ответственности за всё. Чувствуя, что не в силах подняться, он старается увериться, что так уж судьбой решено, что иначе и быть не может, что так, видно, «и суждено этому огню перегореть в груди, не высказавшись ни в чём». И в этой уверенности принимается с отчаяния за чарочку, чтоб утопить в вине свои досадные порывы. А потом жалуется на природу весьма комическим образом:

«Для чего,—говорит,—она не сделала меня Зеноном, а наградила наклонностями сибарита? Для чего она не закалила моё сердце для борьбы с терниями суровой действительности, а, напротив того, размягчила его и сделала способным откликаться только на доброе и прекрасное?.. Природа-то ведь дура, выходит»...

Какая же тут природа, г. Лузгин? Природа всех людей решительно выпускает на божий свет слабыми и беспомощными: никого она не калит и не смягчит нарочно, в том соображении, что вот этот господин должен будет бороться, а тот—нет, так—в видах предусмотрительности—надобно дать им такие-то и такие-то свойства. Это вы всё для оправдания своей лени выдумываете, что природа как-то неприязненно к вам расположена и по каким-то интригам вздумала вас размягчить. Ничего подобного не бывало: закаляются люди не на лоне природы, а в горниле житейской опытности. А этой-то закалки и нет у вас, потому что вам не случилось надобности с самого начала преодолеть вашу лень, и вы позволили другим за вас думать и действовать. В результате и вышло, что хоть у вас сердце доброе, хоть оно и откликается на всё прекрасное, а сами-то вы вышли человек не только плохой, но и пошлый, даже грязный. Так скажем мы Лузгину, не желая поощрять его лени и цинизма. Но, обращаясь к читателям, мы, разумеется, не можем не прибавить, что действительно судьба была довольно жестока к Лузгину. Его вывели из непосредственной простоты и патриархальности деревенских отношений, дали некоторое понятие о предметах высших, но не дали основательных и твёрдых начал, не заинтересовали даже наукой хоть бы до такой степени, чтобы предпочитать её разным ухарским развлечениям. При первых попытках что-нибудь делать ему встречаются препятствия: там мать и родимое гнездо отвлекают от службы, там *лихие* соседи увлекают в отъездное поле да в буйную оргию, там надменные выскочки и мягкотелые низкопоклонники отталкивают его от петербургской жизни. Для него

это уже слишком много: его склонность к лени, привычка подчинять себя требованиям чужой воли и слишком поверхностное образование не могут устоять против беспрестанных искушений. А там судьба позаботилась приготовить родимое гнездо, в котором можно жить на чужой счёт... Вот и погиб человек, из которого при других обстоятельствах могло бы и выйти что-нибудь.

Есть ещё особого рода талантливые натуры, повидимому, совершенно не похожие на два образца, которые нами рассмотрены, но в сущности чрезвычайно к ним близкие. Образчик таких натур представляет Горехвастов, описанный г. Щедриным. Этот с первого раза может показаться, пожалуй, очень деятельным. Он прожектёр, мошенник, шулер; он и в официальное платье переодевался, и казенные деньги крал, и заставлял кое-кого в окно прыгать, и сам из оного прыгивал, и фортуну себе уметь составить и потерять оную. Кажется, чего больше деятельности—энергической, постоянно, только дурно направленной. Это уж, кажется, не слабая натура, носившая в себе задатки добра, но погибшая только вследствие своей лени и слабости; это сильная, злодейская душа, талантливая только на мерзости всякого рода. Он совсем непохож на двух малодушных, только что нами виденных у г. Щедрина. Так кажется с первого взгляда. Но если всмотреться пристальнее, то найдётся, что и Горехвастов, в сущности, решительно то же самое, что Корепанов и Лузгин. Разница между ними только в том, что те двое всё-таки учились чему-нибудь и, при всей поверхностности своего образования, усвоили некоторые наиболее простые внушения, как, например, что кража постыдна, шулерство гнусно и т. п. Горехвастову же и этого не внушили, а учили его иметь только приятные манеры и *causer* обо всём. Как натура талантливая, он поддался этому направлению, и манеры его, действительно, казались хороши, и *causeur* вышел из него отличный. Товарищи его ездили к французенкам по воскресеньям, и он ездил, потому что не в силах был противиться искушению, не имея никакой внутренней опоры, точно так, как и Лузгин с Корепановым. Пётр Бурков сводит его с людьми, которых карьера и назначение в жизни ограничивается не совсем честными подвигами на зелёном поле, и он подвизается вместе с ними; затевают эти люди штуку *en grand*, чтобы купца надуть, и он является ревностным исполнителем проекта; говорит ему Пётр Бурков о жизни *en artiste*—он и *en artiste* жить соглашается; зовёт его по ярмаркам ездить,—он и на это готов. Иногда как будто добрые инстинкты в нём просыпаются: ему, например, неловко становится продать себя безобразной барыне, которая задумала воспользоваться его атлетическими формами. Но Бурков сказал ему, что это вздор, велел ему решиться во имя прав дружбы,—и Горехвастов решился. Скажите, на что же ещё слабодушнее человека? Он гораздо слабее Лузгина и Корепанова, потому что ещё менее, чем они, имеет внутренних убеждений: он решительно не может противиться окружающим влияниям, не может даже уклониться от них в бездействие, а прямо им подчиняется... А там уж он идёт дальше, по силе инерции, и даже нередко выказывает наружную

твёрдость и храбрость, приличную обстоятельствам. Только эта энергия и твёрдость походят на храбрость лакея, который громогласно кричит с крыльца «Подавай!», а потом тотчас же подобострастно усаживает барина в карету и смиренно стоит перед ним, если тому вздумается намылить ему шею. Храбрость Горехвастова мгновенно исчезает: он трясётся и бледнеет, как только увидит где-нибудь около себя *кавалера* или другую полицейскую власть, или даже просто в чужом обществе получит «подлеца», с любезным обещанием выбросить его из окна. Бессилие противиться внешним влияниям обнаруживается в нём на каждом шагу, ещё более, чем в Корепанове и Лузгине.

Лень, отвращение от труда тоже составляет одну из существенных сторон его характера, несмотря на видимую неутомимую деятельность. Он не хотел служить и сделался мошенником именно потому, что не хотел «сидеть каждый день семь часов в какой-то душной конуре, облизываясь на место помощника столоначальника». Он чувствует, что «стоит выше общего уровня», что может быть и поэтом, и литератором, и прожектёром, и капиталистом. Но ему непременно хочется получить как можно больше без всякого труда, и он избирает шулерство, как легчайшее средство обогащения. Разорившись, он живёт в четвёртом этаже, на манер артиста, и тут всего более нравится ему полная беспечность, которой он может предаваться. Ему тошно смотреть даже на своего соседа Дремилова, только потому, что этот сидит всё за книжкой. Негодование разыгрывается в нём при одном воспоминании о таком труженичестве. «Ну, что это за жизнь, спрашиваю я вас,—воскликает он,—и может ли, имеет ли человек право отдавать себя в жертву геморою? И чего, наконец, он достигнет?» и т. д. Горехвастову мало быть практическим лентяем: он старается свою лень возвести в теорию. Он даже положительно выражается, что «гениальная натура науки не требует, потому что до всего собственным умом доходит. Спросите, например, меня... Ну, о чём хотите!.. На всё ответ дам, потому что это у меня русское, врождённое». Как видите, и этот господин, подобно Лузгину, не прочь бы свалить свою пустоту на природу, на врождённость. Но в его словах и рассказах нельзя не видеть крайнего развития лени, далеко превосходящей естественное и всякому человеку дозволительное влечение к покою.

«Однако он играет, мошенничает, прожектирует, — могут возразить нам. Для этого тоже нужно много деятельности. Горехвастов работал и умом, и руками, и ногами, и всеми членами тела, для приобретения фортуны. Он целые ночи проводил без сна, опасностям подвергался, странствовал по ярмаркам, путешествовал через окна из второго этажа на улицу. Как хотите, а к этому не способна натура пассивная, ленивая, находящая высшее блаженство в апатическом бездействии».

Всё это кажется очень справедливым при первом взгляде. Но при некотором внимании нетрудно сообразить, что и деятельность Горехвастова—совершенно пассивная, вынуждаемая обстоятельствами чисто внешними. Почти всегда он действует по чужой указке,

ведомый другими мошенниками, почти всегда следует неуклонно тому направлению, на которое его толкнули. Пожалуй, если хотите, и он не совсем без дела. Но разве тогда можно найти на свете хоть одного человека бездельного? Тот бегаёт целый день около бильярда, другой сидит за шахматами, третий глубокомысленно курит сигару. Иной половину дня гуляет для мочiona, а другую половину употребляет на то, чтобы задавать работу своему желудку, который едва в целые сутки её выполнит... Иной всю жизнь свою вести разносит, другой каждый вечер в театре томится, и т. д., и т. д. Всё это ведь тоже дело, если хотите, и ни один человек без дел подобного рода обойтись в своей жизни не может, потому что закон самой природы непременно какое-нибудь движение предписывает. Но что это за движение, к чему оно стремится, какая сила его производит,—вот на что нужно обращать внимание при оценке человеческой деятельности. И камень бросить, так он полетит, и даже, если его искусно направить на воду, то кружки на ней произведёт. И если воду вскипятить, то она так разбухнет, что и через край пойдёт; но затем разольётся по полу и простынет тотчас,—только лужа останется. Подобными вспышками ограничивается и деятельность пропавших талантливых натур. Внутреннее влечение к деятельности им уже сделалось непонятно; сознательно и постоянно преследовать свою цель—у них не хватает терпения и твёрдости. На один порыв, и даже сильный,—их ещё станет, потому что они вообще, по слабости своих внутренних сил, склонны увлекаться внешними впечатлениями; но одна неудача, одно препятствие, которого нельзя удалить сразу,—и энергия оставляет их, и природная лень берёт своё. Все они являются деятельными представителями того взгляда на вещи, который высказывает Горехвастов таким образом:

Я, Николай Иванович, патриот, я люблю русского человека за то, что он не задумывается долго. Другой вот, немец или француз, над всякою вещью остановится, даже смотреть на него тошно, точно родить желает, а наш брат только подошёл, глазами подожёл, глазами вскинул, руками развёл: «Этого-то не одолеть? — говорит: — да с нами крестная сила! да мы только глазом мигнём!» И действительно, как почнёт топором рубить,—только щепки летят; гениальная, можно сказать, натура! без науки все науки прошёл!.. Люблю я, знаете, иногда посмотреть на нашего мужичка, как он там действует: лежит, кажется, целый день на боку, да зато уж как примется, так у него словно горит в руках дело, откуда что берётся!

Вместе с слабушником и ленью, Горехвастов имеет и другие второстепенные признаки талантливых натур. Он с удивительной откровенностью рассказывает свои подвиги и при этом энергически ругает себя, превосходя в этом случае Корепанова и Лузгина настолько, насколько натура его размашистее их натур.

«Я подлец, — восклицает он и рвёт при этом свои волосы: — Я не стою быть в обществе порядочных людей! я подлец, я погубил свою молодость! я должен просить прощения у вас, что осмелился осквернить ваш дом своим присутствием».

Какое сильное раскаяние!—можете вы подумать. Не беспокойтесь: это так, вспышка, для успокоения собственной совести. «Мы, дескать, не такие пошляки, как другие-прочие; мы чуем нашу высшую русскую породу и знаем, что если бы захотели, так могли бы быть очень хорошими людьми». На деятельность же Горехвастова все подобные вспышки не оказывают ни малейшего влияния. В то самое время, как он декламирует о своём недостоинстве, его арестуют за кражу казённых денег женщиною, с которой он находился в «непозволительной» связи. Прожив свою молодость, этот господин до того изленился, что уже и украсть сам не хочет, а заставляет свою любовницу.

Оставим теперь в стороне талантливых приятелей г. Щедрина и поставим вопрос в более отвлечённом виде, чтобы не задевать никаких личностей. По нашему мнению, в обществе молодом, не успевшем ещё основательно переработать всех своих взглядов и мнений, не успевшем, по причине неблагоприятных обстоятельств, развить в себе самоопределяемости к действию (говоря по-учёному), непременно являются два главных разряда членов. Одни—вполне пассивные, безличные и крайне ограниченные, как в своих способностях, так и в потребностях. Эти—смирны; они не волнуются, не сомневаются и не только не выходят из своей колеи, но даже не подозревают, что можно из неё выйти. В учении, в службе, в жизни—они всегда *исправны*; что им прикажут, то они сделают, что дадут выучить, выучат, до каких границ позволят дойти, до тех и дойдут. Это уже люди убитые, безнадёжные, нечего ждать от них, нечего стараться направить в хорошую сторону. Как их ни направьте, они не выйдут из своего ничтожества, не разовьют ваших идей, не будут вашими помощниками. Они, как балласт на корабле, дают только устойчивость кораблю общества против бурных ветров и толчков взволнованного моря. Они тяжелы на подъём, неподвижны и тупо верны одному, раз навсегда заученному правилу, раз навсегда принятому авторитету. Отступления делаются ими только на практике, и всегда бессознательно. Они могут похвалить роман Жорж-Санда, пока не знают, что он написан Жорж-Сандом; могут даже посмеяться над нелепостью, если вы им не скажете, что взяли эту нелепость из уважаемой ими книги; могут осудить гнусный поступок, не зная, что он учинён генералом. Но как скоро авторитет является наружу, сознание их просветляется, и тут уж никакие убеждения не помогут... Убеждений и принципов нет для этих людей: для них существуют только правила и формы. В деятельности их есть что-то похожее на медвежью пляску для выгоды хозяина и для потехи праздного народа; в разговорах же своих они напоминают попугая, который на все ваши вопросы отвечает одно, заученное слово и часто совершенно невольно говорит вам «дурак» за все ваши ласки. Некоторые, впрочем, и этим утешаются: интересно, дескать, что птица говорит, точно человек.

Другую половину молодого общества составляют именно те люди, которых называют «современными героями», «провинциальными Пеноринями», «уездными Гамлетами», наконец, «талантливыми натурами».

Последнее название, может быть, менее других соответствует мысли, которую мы хотим высказать, но—дело не в названии. Натуры тут, конечно, не много, а более действуют обстоятельства житейские, состоящие, во-первых, в отношениях времени. Печоринские замашки и претензии на талантливость натуры являются всегда, как уже заметил г. Щедрин, в молодом поколении, обладающем сравнительно большею свежестью сил, более живою восприимчивостью чувств. Подвергаясь разнообразным влияниям, молодые люди находятся в необходимости сделать, наконец, выбор между ними. Начинается внутренняя работа, которая в иных исключительных личностях продолжается безостановочно, идёт живо и самостоятельно, с строгим разграничением внутренних органически естественных побуждений от внешних влияний, действующих более или менее насильственно. Но подобные личности представляют исключение, тем более редкое, чем ниже стоит образованность всего общества. Самая же большая часть людей, начинающих работать мыслью в обществе мало образованном, оказывается слабою и негодною, чтобы устоять против ожидающих их препятствий. С самого появления своего на белый свет, в самые первые впечатлительные годы жизни—люди нового поколения окружены всё-таки средою, которая не мыслит, не движется нравственно, о мысли всякого рода думает как о дьявольском наваждении и бессознательно-практически гнёт и ломает волю ребёнка. Это второе обстоятельство,—противодействие начального воспитания и всей окружающей среды идеям времени, которому уже принадлежит новое поколение,—и приводит к падению большую часть талантливых натур. Возникли у них кое-какие требования, которым прежняя среда и прежняя жизнь не удовлетворяют: надобно искать удовлетворения в другом месте. Но для этого надо много продолжительных усилий, надо долго плыть против течения. Между тем корабль давно уже стоит на мели, и балласт грузно лежит внизу. Талантливые натуры, заметив, что всё около них движется,—и волны бегут, и суда плывут мимо,—рвутся и сами куда-нибудь; но снять корабль с мели и повернуть по-своему они не в силах, уплыть одни далеко от своих—боятся: море неведомое, а пловцы они плохие. Напрасно кто-нибудь, более их искусный и неустрашимый, переплывший на противный берег, кричит им оттуда, указывая путь спасения: плохие пловцы боятся броситься в волны и ограничиваются тем, что проклинают своё малодушие, своё положение, и иногда, заглядевшись на бегущую мимо струю или ободрённые криком, вылетевшим из капитанского рупора, вдруг воображают, что корабль их бежит, и восторженно восклицают: «Пошёл, пошёл, двинулся!» Но скоро они сами убеждаются в оптическом обмане и опять начинают проклинать, или погружаются в апатичное бездействие, забывая простую истину, что им придётся умереть на мели, если они сами не позаботятся снять с неё корабль и прежде всего хоть помочь капитану и его матросам выбросить балласт, мешающий кораблю подняться.

Какой из этих двух разрядов лучше, конечно, не затруднится сказать никто. В настоящем они *оба хуже*, и горе тому обществу, которое долго остановится на этих двух категориях и в котором не

будет с года на год увеличиваться число спасительных исключений. Отсутствие всякой самостоятельности, ленивая апатия и увлечение внешностью составляют существенные признаки как талантливых натур, так и людей, принадлежащих к общественному балласту, хотя и не во всех находятся эти качества в одинаковой степени. Следовательно, и тот и другой сорт людей—не большая находка для общества, которое хочет жизни и деятельности сознательной и самобытной. Лучшая из талантливых натур не пойдёт дальше теоретического понимания того, что нужно, и громкого крика, когда он не слишком опасен. В случае же обстоятельств неблагоприятных они или заговорят двусмысленно, или и совсем противно своим убеждениям. Самые отважные—замолчат, и своё молчание будут считать героизмом. «Мы, дескать, мученики своих убеждений: все говорят против совести и получают от этого выгоду; и мы могли бы тоже получить выгоду, проповедуя чужие мысли, которых не разделяем; но мы не хотим кривить душою и молчим, затаив в себе собственное, самобытно сочинённое воззрение до того времени, когда можно будет его высказать без опасений». Таким образом и водворяется в обществе невозмутимейшая тишина, полнейшая неподвижность, возмущаемая только разве дебоширствами талантливых натур, посягающих на безопасность смиренных граждан.

Но у молодого, ещё не совсем развитого общества есть будущее. И для этого будущего второй разряд людей, т. е. люди с размашистыми натурами дают всё-таки несравненно больше хороших надежд, чем убитые существа без всяких стремлений. Они, по крайней мере, не будут иметь такого парализующего влияния на деятельность следующих за ними поколений, потому что в них есть уже хоть смутное предчувствие истины, хоть робкое, слабое оправдание молодых порывов. Лузгин уже не смеет высечь своих детей за то, что они уличают его во лжи; Корепанов безбоязненно внушает кругогорскому молодому поколению «отвращение к тем мерзостям, в которых заренели их милые родители». Рудин (тоже талантливая натура) имел более благотворное влияние на молодого студента Басистова, чем все его профессора вместе. В талантливых натурах есть хоть слабые зачатки деятельности, хоть желание перевёртывать на разные манеры то, что им передано другими; в натурах бесполезных, безличных нет даже мысли о том, что нужно и можно действовать самому; пассивное восприятие внешних внушений не только не возбуждает их к деятельности, но даже ещё более усыпляет и успокаивает в том процессе механического передвижения, который они называют жизнью и деятельностью... Винить этих несчастных тружеников было бы несправедливо уже и потому, что у них нет своей воли, нет своей мысли, следовательно, им и отвечать не за что. Но нельзя не жалеть об их положении, нельзя не желать, чтобы всё уменьшалось в человечестве число подобных людей, напрасно носящих образ человеческий.

Обращаясь теперь к началу нашей статьи, мы намерены предложить читателям вопрос: не состоит ли и большинство нашего общества из членов двух названных нами категорий? Не составляют ли исклю-

чения у нас люди, соединяющие с правдивостью и возвышенностью стремлений честную и неутомимую деятельность? Вероятно, каждый из читателей может насчитать в числе своих знакомых десятки людей, которым, кажется, сроду не приходило в голову ни одного вопроса, не касавшегося их собственной кожи, и десятки других, бесплодно тратящих всю жизнь в вопросах и сомнениях, не пытаясь разрешить своей деятельностью ни одного из них, и изменяющих на деле даже тем решениям, которые ими сделаны в теории. Сколько мы видим людей, унижающихся перед теми, кого они внутренне презирают, смеющихся над тем, чего боятся, делающих то, чего гадость бы очень хорошо знают, говорящих то, чему сами не верят, и т. п. Отчего происходит всё это? Оттого же, отчего погибают талантливые натуры,—от недостаточного развития внутренней силы, необходимой, чтобы устоять против внешних влияний. Теперь мы, слава богу, все уже знаем кое-что, потому что все учились понемногу. Но беда в том, что ученье это редким из нас впрок идёт: редкие решаются собственным умом проверить чужие внушения, внести в чужие системы свет собственной мысли и ступить на дорогу беспощадного отрицания для отыскания чистой истины; большая часть принимает ученье только памятью, и если действует иногда рассудком, то не потому, чтобы внутренняя, живая потребность была, а потому только, что в голову заброшено такое учение, в котором именно приказывается мыслить. И начинается мышление на заказ, без всякого участия сердца, с соблюдением только диалектических тонкостей. И то хорошо, конечно: всё-таки лучше, чем совершенное, мёртвое безмыслие. Но жизнь не уловляется диалектикой, и кто не вникал в разнообразие её влияний сам, не стесняясь теориями, навязанными в лета неведения, тот не поймёт её хода. В том обществе, где сильно ещё действуют в отдельных личностях чужие, бессмысленно взятые на веру формы и формулы, долго нельзя ожидать плодотворной и последовательной деятельности. Во многих умах могут появляться прекрасные порывы, произведённые пристальными убеждениями; но все они—и порывы и самые убеждения—бесполезно погибают и рассыпаются в прах, не в силах будучи противиться давлению тёмной и тяжёлой массы, со всех сторон заграждающей им путь. Оттого-то и бывает так медлен переход народов из состояния пассивного восприятия в состояние самобытной деятельности. Медленно, чуть заметно увеличивается из поколения в поколение число людей, самобытно мыслящих, и ещё медленнее получается возможность приложить мысль к делу. Идеала лично самостоятельной деятельности не достиг ещё ни один народ, и не много есть народов, в которых сознательно развитые личности не составляют исключения.

Наше общество ещё очень молодо в отношении к европейской цивилизации, и потому нечего удивляться, что огромное большинство его относится к науке и мысли чисто страдательно. Между этим большинством есть мирные люди, отличающиеся изумительной способностью легко переваривать все противоречия, проистекающие из смешения новых понятий, вносимых жизнью, с старыми привычками, приобретёнными в детстве. Есть и талантливые натуры разных сор-

тов, шумно дающие знать о своём бездействии и переваривающие на досуге своё прошедшее, протестуя против настоящего. Они-то обыкновенно и толкуют о высшей своей русской породе, которой достоинства определяют на манер Горехвастова: «Гениальная, дескать, натура у русского человека: без науки все науки прошёл!» И действительно,—продолжим мы речь Горехвастова, соображая некоторые явления нашей общественной жизни,—«как почнёт топором рубить,—только щепки летят... Лежит, кажется, целый день на боку, да зато уж как примется... «В полтора века Европу мы догнали, да и перегнали»,—восклицают у нас, вторя Горехвастову, многие талантливые натуры. «Да помиуйте, мы уже восемь веков назад были далеко впереди от Европы»,—возражают другие,—мы всегда были не то, что прочие люди; мы давно уже без науки все науки прошли, потому что гениальная натура науки не требует: это уж у нас у всех русское, врождённое».

К сожалению, всё это—слова, слова, не имеющие внутреннего смысла. Самые толки о необыкновенно быстром росте нашем оказываются красноречивым тропом. От древней Руси довольно осталось нам наивно рассказанных фактов кормления и проделок подьячества. Сто лет тому назад Сумароков приобрёл благодарность современников за успешное преследование «крапивного семени». За шестьдесят лет до нашего времени, по поводу комедии Капниста, журналы предсказывали искоренение взяточничества²⁸. Не дальше, как в прошлом году сам господин Щедрин похоронил прошлые времена²⁹. Но вот опять все покойники оказались живёхоньки и зычным голосом отзывались в третьей части «Очерков» и в других литературных произведениях последнего времени. Доказывает ли это, что мы очень выросли в нравственном и умственном отношении? Не напоминает ли это, напротив, Горехвастова, трагически декламирующего о своей гадости и подлости, с вырыванием собственных волос приносящего раскаяние и в то же время затевающего новое воровство?..

«До чего ж вы наконец договорились?—возражают нам практические люди:—Вы сами сознаётесь, наконец, в бессилии вашего хвалёного рода литературы? К чему же привели все эти отвратительные картины, грязные сцены, пошлые и подлые характеры? К чему привело всё это раскрытие общественных ран, которое вы всегда так превозносили? Выходит, что от ваших литературных обличений никакого толку нет, да и быть не может. Поверьте, что исправники и становые ваших рассуждений и очерков читать не станут, а если и прочтут, так только вас же ругнут: хорошо, мол, им сочинять-то у безделья, а тут на шею столько обязанностей висит, что только дай бог вынести. И поверьте, что сознание своих обязанностей в отношении к желудку, семейству, начальству и пр. будет в человеке гораздо сильнее, чем убеждения всех ваших книжек. Напрасно только литература унижает себя, опускается из светлых высот фантазии в омут грязной действительности. Она должна приносить чистые жертвы на алтарь муз, а вместо того жрецы её берутся за метлу. Вы рождены для вдохновения, для звуков *сладких* и молитв,³⁰ зачем же вы пускаетесь в житейские волнения, зачем преследуете какие-то цели, достижение которых вас, кажется, очень интересует? Искусство целей вне себя допускать не должно. Иначе оно искажается, профанируется, низводится на степень ремесла, и всё это без малейшей пользы для общества, единственно затем, чтобы дать исход жёлти какого-нибудь господина. Оставьте лучше этот род: он не приводит ни к чему хорошему. Вековой опыт должен убедить вас в этой непрелож-

ной истине. Изображайте нам лучше чувства возвышенные, натуры благородные, лица идеальные. Дайте нам образцы доброго и изящного, которыми мы могли бы восхищаться, на которых душа наша могла бы отдохнуть и успокоиться от тревожений и сердечных зрелищ жизненного поприща. Пишите об искусстве, о предметах, повергающих сердце в сладостное умиление или благоговейный восторг, описывайте, наконец, красоты природы, неба... Тогда ваша литература будет исполнять своё прямое назначение — служение искусству и, следовательно, будет полезна, приятна и, главное, художественна».

В словах практических людей звучит ожесточение беспощадное. Они давно уже косятся на это направление, которое насолило их теории, да не оставило-таки задеть немножко и практику. Все их возражения, конечно, не новы и составляют вариации стихотворения Пушкина «Чёрнь», с прибавлением, может быть, чувствительных стишков из Ильи Муромца:

Ах, не всё нам слёзы горькие
Лить о бедствиях существенных...
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов.³¹

Отчего же и не позабыться, если хотите, особенно, если это только на минуту. Но, при врождённой талантливым натурам лени, они любят забываться надолго, даже навсегда, если можно. Они готовы в своей дремоте от всего сердца проклясть «правды глас», если он вдруг разрушит их сладостные мечтания. Многие, эстетически обученные талантливые натуры сильно желают этого забытья, чтобы блаженствовать в покое. Но признаёмся,—мы никогда не понимали «блаженства безумия» и ещё менее понимаем, зачем люди хотят сделать искусство служителем этого безумия. Вам не хочется смотреть на гадость и пошлость жизни; да литература-то что же за штопальщица, что вы хотите заставить её зашивать кое-как прорехи вашего изношенного наряда? Вы знаете, что человек не в состоянии сам от себя ни одной песчинки выдумать, которой бы не существовало на свете; хорошее или дурное,—всё равно берётся из природы и действительной жизни. Когда же художник более подчиняется заранее предположенной цели,—тогда ли, когда в своих произведениях выражает истину окружающих его явлений, без утайки и без прикрас, или тогда, когда нарочно старается выбрать одно возвышенное, идеальное, согласное с опрятными инстинктами эстетической теории? И чем же искусство более возвышается,—описанием ли журчанья ручейков и изложением отношений дола к пригорку, или представлением течения жизни человеческой и столкновения различных начал, различных интересов общественных? Вам угодно называть служителей общественного направления подметателями всякого сора. Пусть так; мы против этого не станем спорить; мы даже выскажем вам нашу искреннюю благодарность и удивление к вашей эстетической мудрости, уподобив вас тому немецкому профессору (подумайте—профессору! немецкому!), который у Гейне:

Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft die Lücken des Weltbaues.³²

А что литературные обличения не производят практически благотворных результатов, или производят их весьма мало,—так кто же опять виноват в этом? Неужели опять вы скажете, что литература? Да на неё и без того вы же сами взводите обвинение в излишней резкости, вмешательстве не в свои дела и пр. Она действует так сильно, как только может, а вы недовольны её действиями и хотите их прекратить, потому что они слабы! Гораздо последовательнее было бы с вашей стороны, если бы вы сказали, что надобно поэтому усилить тон литературных обличений, для легчайшего достижения практических результатов. Тогда бы мы с вами и спорить не стали, хотя всё-таки не решились бы обещать слишком заметного успеха в улучшении нравов посредством литературы. Литература в нашей жизни не составляет такой преобладающей силы, которой бы всё подчинялось: она служит выражением понятий и стремлений образованного меньшинства и доступна только меньшинству; влияние её на остальную массу—только посредственное, и оно распространяется весьма медленно. Да и по самому существу своему литература не составляет понудительной силы, отнимающей физическую или нравственную возможность поступать противозаконно. Она не любит насилия и принуждения, а любит спокойное, беспристрастное и беспрепятственное рассуждение. Она ставляет вопросы, со всех сторон их рассматривает, сообщает факты, возбуждает мысль и чувство в человеке, но не присвоивает себе какой-то исполнительной власти, которой вы от неё требуете. Нам приходит теперь на мысль начало одного знаменитого в своё время французского сочинения об одном важном вопросе. «Меня спросят,—говорит автор,—что я за правитель или законодатель, что смею писать о политике? Я отвечаю на это: оттого-то я и пишу, что я ни правитель, ни законодатель. Если бы я был тем или другим, то не стал бы напрасно тратить время в разговорах о том, что нужно сделать: я сделал бы, или бы молчал...» Нужно же понять наконец значение писателя, нужно понять, что его оружие—слово, убеждение, а не материальная сила. Если вы признаёте справедливость убеждений и всё-таки не исправляете по ним своей деятельности,—в этом вы сами уж виноваты: в вас, значит, нет характера, нет умения бороться с трудностями, не развито понятие о честном согласовании поступков с мыслями. Если же самые убеждения вам не нравятся,—тогда другое дело. Тогда выскажите нам всенародно ваши собственные убеждения, покажите, что г. Щедрин говорит неправду, что он изобретает небывалые вещи. Публика послушает и вас, разберёт тогда, на чьей стороне правда. В таком случае литература, разумеется, и значения больше получит, хотя, конечно, и тогда чудес делать не будет и не остановит хода истории. Для примера укажем хоть на древнюю историю, чтобы не вмешивать сюда новых народов. Уж на что, кажется, литературный народ были афиняне. Судебные дела решались умилением судей от чтения хорошей трагедии; красноречие судьбою государства правило; но ничто не отвратило упадка афинской силы, когда народная доблесть пропала. Аристофан, не чета нашим комикам, не в бровь, а в самый глаз колол Клеона, и бедные граждане

рады были его колким выходкам; а Клеон, как богатый человек, всё-таки управлял Афинами с помощью нескольких богатых людей. Демосфен целому народу громогласно проповедывал свои филиппики. Филипп знал силу оратора, говорил, что боится его больше, чем целой армии, и, понимая, что борьбу надобно производить равным оружием, подкупил Эсхина, который мог помериться с Демосфеном. Борьба продолжалась долго, наконец самый ход событий оправдал Демосфена: афиняне послушались его, собрали наконец войско и пошли на Филиппа. Но всё красноречие Демосфена было не в силах возвратить времена Мильтиадов и Фемистоклов. Афины покорились Филиппу. Неужто и тут Демосфен виноват: зачем, дескать, он говорил? Как бы не говорил, так, может, было бы и лучше.

Впрочем, подумавши хорошенько, мы убеждаемся, что серьёзно защищать г. Щедрина и его направление совершенно не стоит. Всё отрицание г. Щедрина относится к ничтожному меньшинству нашего народа, которое будет всё ничтожнее с распространением народной образованности. А упрёки, делаемые г. Щедрину, раздаются только в отдалённых, едва заметных кружках этого меньшинства. В массе же народа имя г. Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произносимо с уважением и благодарностью: он любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых или неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках. Их-то защищает он от разного рода талантливых натур и бесталанных скромников, к ним-то относится он без всякого отрицания. В «Богомольцах» его великолепен контраст между простодушной верой, живыми, свежими чувствами простолудинов и надменной пустотой генеральши Дарьи Михайловны или гадостным фанфаронством откупщика Хрептюгина. И неужели это будет отрицание народного достоинства, нелюбовь к родине, если благородный человек расскажет, как благочестивый народ разгоняют от святых икон, которым он искренно верует и поклоняется, для того чтобы очистить место для генеральши Дарьи Михайловны, небрежно говорящей, что *c'est joli*; или как полуграмотный писарь глумится над простодушной верой старика, уверяя, что «простой человек, кроме как своего невежества, натурального естества ни в жизнь произойти не в силах»; или как у истомлённых, умирающих от жажды странниц отнимают ото рта воду, чтобы поставить серебряный самовар Ивана Онуфрича Хрептюгина. Нет, отрицательное направление принадлежит именно тем людям, которые обижаются подобными рассказами и безумно отрекаются от своей родины, ставя себя на место народа. Они—гнилые части, сухие ветви дерева, которые отмечаются знатоком для того, чтобы садовник обрезал их, и они-то поднимают вопль о том, что режут дерево, что гибнет дерево. Да, дерево может погибнуть именно от этих гнилых и засохших ветвей, если они не будут отсечены. Без них же дерево ничего не потеряет: оно свежо и молодо, его можно воспитать и выпрямить; его растительная сила такова, что на место обрезанных у него скоро вырастут новые, здоровые ветви. А о сухих ветвях и жалеть нечего: пусть их пригодятся кому-нибудь хоть на растопку печи.

Сочувствие к неиспорченному, простому классу народа, как и ко всему свежему, здоровому в России, выражается у г. Шедрина чрезвычайно живо. Мы думаем, что самый эстетический, самый восторженный человек может отдохнуть на общей картине богомольцев и странников, ожидающих на соборной площади появления святых икон. Тут нет сентиментальничанья и ложной идеализации; народ является как есть, с своими недостатками, грубостью, неразвитостью. Тут и горе, и бедность, и лохмотья, и голод являются на сцену, тут и песни о том, что пришло время антихристово, потому что

Власы, бороды стали брить,
Латынскую одежду носить...

Но эти бедные, невежественные странники, эти суеверные крестьянки возбуждают в нас не насмешку, не отвращение, а жалость и сочувствие: становится грустно, как послушаешь толки женщин о предстоящем им переселении по-за Пермь в сибирские страны. Жалко старого места, жалко родительские могилки оставить, но что делать? Житьё-то плохое на старом месте: земля—тундра да болотина, семья большая, кормиться нечем, и подати взять неоткуда. А в сибирской стороне, говорят, и хлеб родится, и скотина живёт... Вздыхают собеседницы, и разговор, повидимому, стихает. Но,—продолжает г. Шедрин,—

Этой боли сердечной, этой нужде сосушей, которую мы равнодушно называем именем ежедневных, будничных явлений, никогда нет скончания. Они бесконечно зреют в сердце бедного труженика, выражаясь в жалобах, всегда однообразных и всегда бесплодных, но тем не менее повторяющихся беспрерывно, потому что человеку невозможно не стонать, если стон, совершенно созревший без всяких с его стороны усилий, вылетает из груди.

— Так-то вот, брат,—говорит пожилой и очень смиренный с виду мужичок, встретившись на площади с своим односельянином: — так-то вот, и Матюшу в некруты сдали!

В загорелых и огрубевших чертах лица его является почти незаметное судорожное движение, в голосе слышится дрожание, и обыкновенный сдержанный вздох вырывается из груди.

— А добрый парень был,—продолжает мужичок: — как есть на свете муха, и той не обидел, робил неприкословно, да и в некруты неприкословно пошёл, даже голосу не подал, как «лоб» сказали!

Воображению моему вдруг представляется этот славный, смиренный парень Матюша, не то, чтоб веселый, а скорее боязливый, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой; бодрого и сильного, несмотря на капли пота, струящиеся с его загорелого лица; вижу его дома, безропотно исполняющего всякую домашнюю нужду; вижу в церкви божией, стоящего скромно и истово знаменующегося крестным знамением; вижу его поздним вечером, засыпающего сном невинным после тяжкой дневной работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я старика отца и старуху мать, которые радуются, не нарадуются на ненаглядное дитище; вижу урну с свёрнутыми в ней жеребьями, слышу слова: «лоб», «лоб», «лоб»...

— Что ж, помолитесь, что ли, ты пришёл, дядя Иван? — спрашивает у мужичка его собеседник.

— Да, вот к угоднику... Помиловал бы он его, наш батюшка! — отвечает старик прерывающимся голосом: — никакого, то есть даже изъяну в нём не нашли, в Матюше-то; тело-то, слышь, белое-разбелое, да крепко таково...

И вся эта толпа пришла сюда с чистым сердцем, храня, во всей её непорочности, душевную лепту, которую она обещала повергнуть к пречестному и достохвалному образу божьего угодника. Прислушиваясь к её слову, я сам начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимого стремления к душевному подвигу, которое так просто и так естественно объясняется всеми жизненными обстоятельствами, оцепляющими незатейливое существование простого человека. (Т. III, стр. 152—154.)

Мы остановимся здесь, под влиянием этого трогательного чувства. Заметим только, в заключение, как ровно, беспорывно, но зато как беззаветно, просто и открыто выражается глубокое чувство, глубокая вера этого народа, и выражается не в восклицаниях, а на деле. Это не то, что фразёры, о которых говорили мы в начале статьи. Толками тех господ нечего увлекаться, на них нечего надеяться: их станет только на фразу, а внутри существа их господствует лень и апатия. Не такова эта живая, свежая масса: она не любит много говорить, не щеголяет своими страданиями и печалью, и часто даже сама их не понимает хорошенько. Но уж зато, если поймёт что-нибудь этот «мир», толковый и дельный, если скажет своё простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться.



О СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ НАРОДНОСТИ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«ОЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ» А. МИЛЮКОВА

Второе, дополненное, издание. Спб. 1858 г.³³



Книжка г. Милюкова—наша старая знакомая. Первое издание её было в 1847 г., и тогда же она была оценена по достоинству в наших журналах. Новое издание этой книжки приятно напомнило нам время первого её появления и заставило подумать о том, что произошло в нашей литературе в последнее десятилетие. Повидимому, ничего не произошло особенного: в 1847 г. высказывались идеи и стремления, совершенно близкие к тем, какие высказываются в 1858 г. Книжка г. Милюкова может служить лучшим тому доказательством. Следуя мнениям Белинского о русских литературных явлениях, г. Милюков составил тогда очерк развития русской поэзии,—и этот очерк до сих пор не теряет своей правды и значения. Тогда находил он хорошими только те явления русской поэзии, в которых выражалось сатирическое направление; и теперь не нашёл он ничего, что можно бы было похвалить у нас вне сатирического направления. Тогда заключил он свой очерк словами Лермонтова: «Россия вся в будущем»—и теперь заключает его теми же словами... Ожидаемое будущее ещё не настало для русской литературы; продолжается всё то же настоящее, какое было десять лет тому назад... Мы ещё в том же гоголевском периоде³⁴ и напрасно ждём так давно нового слова: для него ещё, верно, не выработалось содержание в жизни.

Но если не заметно ничего особенного во внутреннем содержании и характере литературы, зато нельзя не видеть, что внешним образом она развилась довольно значительно. Вспомним, какие люди действовали у нас на литературном поприще в сороковых годах и до 1847 г. включительно. Хотя в этом году Гоголь уже издал «Переписку»³⁵, но всё же он был жив, и надежды на него не покидали его почитателей. За Гоголем возвышался гениальный критик³⁶ его, энергически громко и откровенно объяснивший России великое значение её национального писателя. За Белинским высились ещё два-три человека³⁷, возбуждавшие внимание публики к вопросам философским и общественным. Под их знаменем ратовала тогда литература против неправды и застоя; от них заимствовала она свою энергию и жизнь.

Теперь тоже литература призывает общество к правде и деятель-

ности, тоже восстаёт против злоупотреблений—но кто несёт наше знамя? Вокруг кого собрались литературные деятели? Из тех, кто одушевлял литературу в сороковых годах,

Иных уж нет, а те далече³⁸.

Из новых же деятелей нет никого, кто бы по своему таланту и влиянию равнялся Гоголю или Белинскому. Теперь нет литературных вождей, подобных прежним; они исчезли один за другим, русская литература утратила их в самый год смерти Белинского или недолго спустя. Некоторые из них продолжали действовать и после, даже ещё в больших размерах, чем прежде; но для большинства русской публики труды их оставались неизвестными в эти года. Так, Гоголь до конца жизни не переставал работать над своим созданием; но только немногие, близкие к нему, люди, знали, какое произведение готовит он. До прочих едва доходили тёмные, неопределённые слухи о продолжении «Мёртвых душ». Так было и с некоторыми из других литературных деятелей. Так и до сих пор, после смерти Гоголя и прекращения деятельности Белинского и некоторых его сподвижников, продолжается у нас отсутствие громкого имени, от которого приходила бы в движение литература, которым бы направлялась известным образом её деятельность.

А между тем кто не видит, что литература, при всех своих утратах и неудачах, осталась верною своим благородным преданиям, не изменила чистому знамени правды и гуманности, за которым она шла в то время, когда оно было в сильных руках могучих вождей её. Теперь никого нет во главе дела, но все дружно и ровно идут к одной цели; каждый писатель проникнут теми идеями, за которые лет десять тому назад ратовали немногие, лучшие люди; каждый, по мере сил, преследует то зло, против которого прежде возвышалось два-три энергических голоса. То, что было тогда достоянием немногих передовых людей, перешло теперь во всю массу людей образованных и пишущих. Кто не умел или не хотел усвоить себе этих живых уроков недавнего прошедшего, тот уже считался отсталым, отчуждённым от общего дела, мертвецом между живыми, и его хоронят заживо, несмотря ни на учёность, ни на талант. Да что же иначе и делать с человеком, который сам зарывает талант свой в землю и мёртвой буквой убивает жизнь духа? Бог с ними; пусть сочиняют себе надгробные надписи, долженствующие некогда напомнить об их бессмертии. Живой о живом думает, и нынешняя литература стремится изведать жизнь и на практике приложить и проверить истины, привитые общему сознанию достопамятными деятелями прежних лет. Всё проникнуто этим духом, и—повторим ещё раз—хотя во внутреннем содержании литература не подвинулась вперёд, круг идей её не расширился, но круг приверженцев этих идей значительно увеличился; усвоение их стало твёрже и полнее. В этом видим мы внешнее развитие литературы, составляющее прогресс её в последние десять лет, и несомненную, действительную её заслугу. Она собственною силою сохранила ещё своё достоинство от мелких проделок и жалких поползновений, унижавших в другие времена звание

писателя. Она собственной силою завоевала себе этот кружок людей, со всюю энергией правды и молодости отдавших себя [на служение] правому делу, чтоб [при первой возможности] честно и правдиво послужить ему. В этом уже немалая заслуга, и она может сделаться громадною, если распространение идей добра и правды будет продолжаться таким же образом, и если интересы, возбуждённые литературою, проникнут наконец в массы народа. Тогда-то нельзя будет не признать великого значения литературы.

Но это всё будущее, и, без сомнения, довольно отдалённое. Книга же г. Милокова даёт нам повод проследить значение русской литературы в прошедшем. Кстати, здесь же мы можем объяснить с некоторыми книжниками, которые взводят на «Современник» обвинение, будто он совершенно отвергает всякое значение литературы для общества.

Книжные приверженцы литературы очень горячатся за неё, считая прекрасные литературные произведения началом всякого добра. Они готовы думать, что литература заправляет историей, что она [изменяет государства, волнует или укрощает народ], переделывает даже нравы и характер народный; особенно поэзия,—о, поэзия, по их мнению, вносит в жизнь новые элементы, творит всё из ничего. В подтверждение своих взглядов они указывают на великие поэмы первых веков человечества, на поэзию индийскую, еврейскую, греческую, и на продолжение их в творениях величайших гениев новых времён. «Сколько великих тайн, говорят они, поведано миру в великолепных созданиях фантазии юного человечества! Без индийской и персидской поэзии не было бы в человечестве сознания о борении двух начал, добра и зла, во всём мире; без Гомера не было бы Троянской войны, без Вергилия Эней не странствовал бы в Италию, без Мильтона не было бы «Потерянного рая», без Данте—живых представлений ада, чистилища и рая». Не было бы—это в высшей степени справедливо: все эти прекрасные создания принадлежат творческой фантазии младенчеству народа или увлечённого вдохновением поэта. Но знаете ли что? создания фантазии так ведь и остаются в области фантастических призраков и не переходят в действительность. Несмотря на всё величие гомеровских рапсодий, героический век, с своими богами и богинями, не явился в Греции во времена Перикла, равно как и в Италии Вергилий, при всём своём красноречии, не мог уже возратить римлян империи к простой, но доблестной жизни их предков и не мог превратить Тиберия в Энея. Мало того—явления, изображённые во всех названных нами поэмах, и сами по себе-то не имеют действительности и с каждым годом всё более отодвигаются в туманный мир призраков... Увы!

...Мечты поэта!
Историк строгий гонит вас!

Юнона не обольщала Зевса, Афродита не спасала Париса на поле битвы, Афина не обманывала Гектора, Эней не видался с Дидоной, Шива не боролся с Брамой, и т. д. Если во всех этих преданиях и есть что-нибудь достойное нашего внимания, то именно те части

их, в которых отразилась живая действительность. Самые заблуждения, какие мы в них находим, интересны для нас потому, что некогда они не были заблуждениями, некогда целые народы верили им и по ним располагали жизнь свою. Оттого-то и нравится нам доселе поэзия древнего мира и некоторые фантастические произведения поэтов нового времени, тогда как ничего, кроме отвращения, не возбуждают в нас нелепые сказки, сочиняемые разными молодцами на потеху взрослых детей и выдаваемые нередко за романы, были, драмы и пр. Там видна жизнь своего времени, и рисуется мир души человеческой с теми особенностями, какие производит в нём жизнь народа в известную эпоху; а здесь ничего нет, кроме праздных выдумок, стоящих в разладе с жизнью и происходящих от фантастического, произвольного смещения понятий и верований разных времён и народов. Так, в музыке нравятся нам нередко дикие аккорды, уклоняющиеся от правил музыкальной гармонии, но удачно выражающие какой-нибудь, действительно существующий, диссонанс в природе; между тем нам дерёт уши, а вовсе не производит приятного впечатления, нечаянно сделанная ошибка, когда артист возьмёт одну ноту вместо другой. Делая это сравнение, мы хотим сказать, что поэзия и вообще искусства, науки слагаются по жизни, а не жизнь зависит от поэзии, и что всё, что в поэзии является лучшим против жизни, т. е. не вытекающим из неё прямо и естественно, всё это уродливо и бессмысленно. Что отжило свой век, то уж не имеет смысла; и напрасно мы будем стараться возбудить в душе восхищение красотою лица, от которого имеем только голый череп. Боги греков могли быть прекрасны в древней Греции, но они гадки во французских трагедиях и в наших одах прошлого столетия. Рыцарские воззвания средних веков могли увлекать сотни тысяч людей на брань с неверными, для освобождения святых мест; но те же воззвания, повторённые в Европе XIX века, не произвели бы ничего, кроме смеха. Пиндар воспевал олимпийские игры, и вся Греция благоговейно внимала ему; в наше время никто уже серьёзно не воспекает церемониальных процессий³⁹ и торжеств всякого рода; а если и находились господа, воспевавшие излеровские фейерверки и иллюминации на разные случаи, то они всем показались до того пошлы, что даже не возбудили смеха. Конечно, не поэзия произвела все эти явления в жизни, а жизнь заставила иначе смотреть на поэзию. Пора нам освободить жизнь от тяжёлой опеки, налагаемой на неё идеологами. Начиная с Платона, встают они против реализма и, ещё не понявши хорошенько, перепутывают его учение. Непременно хотят дуализма, хотят делить мир на *мыслимое* и *являемое*, уверяя, что только чистые идеи имеют настоящую действительность, а всё, являемое, т. е. видимое, составляет только отражение этих высших идей. Пора бы уж бросить такие платонические мечтания и понять, что хлеб не есть пустой значок, отражение высшей, отвлечённой идеи жизненной силы, а просто хлеб—объект, который можно съесть. Пора бы отстать и от отвлечённых идей, по которым, будто бы, образуется жизнь, точно так, как отстали, наконец, от телеологических мечтаний, бывших в такой моде во времена схоластики. Бы-

вало, ведь добрые люди пренаивно рассуждали, как это удивительно глаз приноровила природа к тому, чтобы видеть: и зрачки, и сеточки, и оболочка—всё, точно нарочно, так уж и приделано, чтобы видеть; и никак ведь не хотели сообразить добрые люди, что не потому так глаз устроен, что нам такая крайняя есть необходимость видеть, и видеть именно вверх ногами и в миниатюре; а просто видим мы, и видим так, а не иначе, именно потому, что глаз наш так уж устроен. Или удивлялись, как реки текут: воде, видите, надо всегда вниз бежать, и—непостижимая предусмотрительность природы!—в каждом месте, где река течёт, непременно в русле есть склон; ну, вода-то и течёт себе свободно... Добрые люди и того не хотели подумать, что река по склону-то именно и течёт: не будь его вправо, так она пойдёт влево, а не станет дожидаться, куда под нею склон образуется. Нет, по мнению добрых людей, если Волга течёт в Каспийское море, так это потому единственно, что она питает особенное, невещественное, идеальное сочувствие к Каспию, и в силу такой идеи она должна была непременно дойти именно до Каспия, хотя бы целые Альпы встретились ей на дороге.

В естественных науках все подобные аллегории давным-давно оставлены; пора бы покончить с ними и в области литературы и искусства. Не жизнь идёт по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни; по крайней мере, так было до сих пор не только у нас, а повсюду. Когда человечество, ещё не сознавая своих внутренних сил, находилось совершенно под влиянием внешнего мира и, под влиянием неопытного воображения, во всём видело какие-то таинственные силы, добрые и злые, и олицетворяло их в чудовищных размерах, тогда и в поэзии являлись те же чудовищные формы и та же подавленность человека страшными силами природы. Когда же человек немножко по привычке к этим силам и сознал отчасти своё собственное значение, тогда и силы природы стал он представлять антропоморфически, приближая их к себе. Таким образом развивалась поэзия греческая, с своими божествами. В себе человек сознал прежде всего внешние, физические качества—и на первой ступени развития каждого народа являются героические сказания. Сила доставляет одним преимущества, которых лишаются другие; в элемент поэзии входит воспевание того, как один победил другого и какие получил трофеи. Трофеи доставляют победителям возможность давить побеждённых своим великолепием, а побеждённых заставляют склониться пред силою победителя и признать над собой её права; в поэзии в это время является восторженная ода, воспевающая покорность рабов и васалов. Но победители забываются и начинают уж слишком теснить побеждённых; является ропот, негодование, и в литературе он выражается сатирой, сначала глухой, действующей намёками—в басне, потом более открыто—в сатире лирической и драматической. Возбуждённое негодование пробуждает, разумеется, в обеих сторонах взаимные опасения, желание уладить дело к выгоде собственной и как можно больше вытянуть для себя от противной стороны. Это обстоятельство заставляет обратить внимание на устройство обще-

ственной и семейной жизни, на отношения одних членов общества к другим, и литература склоняется к общественным интересам. Разнообразие этих интересов и успехи борьбы из-за них определяют дальнейшее развитие литературы. Бывает время, когда народный дух ослабевает, подавляемый силою [победившего класса], естественные влечения замирают на время, и место их заступают искусственно возбуждённые, насильно навязанные понятия и взгляды, в пользу победивших; тогда и литература не может выдержать: и она начинает воспевать нелепые и беззаконные затеи [класса] победителей, и она восхищается тем, от чего с презрением отвернулась бы в другое время. Так было, например, у немцев в начале прошлого столетия, когда хотели заставить их забыть за разными потехами кровавые передраги предшествовавшего времени. Подобное тому бывало и у других народов. Но как скоро общество или народ очнётся и почувствует, хотя смутно, свои естественные нужды, станет искать средств для удовлетворения своим потребностям—и литература тотчас является служительницею его интересов. И голос её обыкновенно бывает тем резче, тем твёрже, чем более силы приобретает в обществе дело, ею защищаемое. Наоборот не бывает; а если иногда и кажется, будто жизнь пошла по литературным убеждениям, то это иллюзия, зависящая от того, что в литературе мы часто в первый раз замечаем то движение, которое, неприметно для нас, давно уже совершалось в обществе. Иначе и не может быть: откуда вдруг взялись бы, хоть у нас, например, жалобы на злоупотребления чиновников или толки о железных дорогах, если бы в обществе не было давно уже потребности в правосудии и в хороших путях сообщения? Для того, чтобы известная идея высказалась, наконец, литературным образом, нужно ей долго, незаметно и тихо созреть в умах людей, имеющих прямое, непосредственное соотношение с практической жизнью. На вопросы жизни отвечает литература тем, что находит в жизни же. Поэтому направление и содержание литературы может служить довольно верным показателем того, к чему стремится общество, какие вопросы волнуют его, чему оно наиболее сочувствует. Разумеется, [всё это мы говорим о тех случаях, когда голос литературы не стесняется разными посторонними обстоятельствами. Нельзя, например, думать, что индийцы спокойно смотрят на неистовства англичан, потому что в ост-индских газетах не было некоторое время резких статей против английских злоупотреблений. Мы знаем, что причина такого странного спокойствия вполне внешняя—запрещение ост-индского генерал-губернатора. Точно так, зная, что в Австрии почти не выходит порядочных философских книг, нельзя полагать, чтобы немцы, живущие в Австрии, от природы лишены были способности философствовать, которою так богаты их единоплеменники, живущие в других государствах. Не выходит же книг потому, что католические монахи зорко за ними смотрят и стараются не допускать их до печати. Но это явления исключительные, возможные только при австрийской подозрительности да при ост-индском произволе;]⁴⁰ большею же частию общественные жизненные интересы тотчас проявляются в

литературе, с большею или меньшею сознательностью и ясностью.

Сознательности и ясности стремлений в обществе литература много помогает,—в этом мы ей отдаём полную справедливость. Чтобы не ходить далеко за примерами, укажем на то, чем полна теперь вся Россия, что отодвинуло далеко назад все остальные вопросы,—на изменение отношений между помещиками и крестьянами. Не литература пробудила вопрос о крепостном праве: она взялась за него, и то осторожно, непрямо, тогда только, когда он уже совершенно созрел в обществе; и только теперь, когда он уже прямо поставлен правительством, литература осмеливается прямо и серьёзно рассматривать его. Но как ничтожно было участие литературы в возбуждении вопроса, столь же велико может быть её значение в строгом и правильном его обсуждении. Нам уже много раз приходилось слышать от многих просвещённых помещиков, что теперь необходимо, чтобы люди науки и мысли, равно как и люди жизненного опыта, одинаково приняли на себя труд высказать печатно свои замечания о том, как, по их мнению, лучше устроить это дело, столь важное и благотворное. В этом случае литература незаменима. По нашему мнению, она может принести здесь гораздо более пользы, чем даже открытые публичные совещания. Совещания эти, во всяком случае, должны иметь более или менее частный характер, и кроме того, в них слишком много страстности, импровизация нередко заменяет строго последовательное рассуждение и решение. Литературные рассуждения имеют характер всеобщности: их может читать вся Россия. Кроме того, в литературном изложении пыл первого увлечения непременно сглаживается, и место его необходимо заступает спокойная обдуманность, хладнокровное соображение мнений разных сторон и вывод строго логический, свободный от впечатлений минуты. Здесь роль литературы чрезвычайно важна, и великость её значения ослабляется в этом случае только малостью круга, в котором она действует. Это последнее—такое обстоятельство, о котором невозможно без сокрушения вспомнить и которое обдаёт нас холодом всякий раз, как мы увлечёмся мечтаниями о великом значении литературы и о благотворном влиянии её на человечество.

В самом деле, мы впадаем в страшное самообольщение, когда считаем свои писания столь важными для народной жизни; мы строим воздушные замки, когда полагаем, что от наших слов может переменяться ход исторических событий, хотя бы и самых мелких. Конечно, приятно и легко строить воздушные миры,

И уверять, и спорить,
Как в них-то важны мы!

Но сделайте маленький, беспристрастный расчёт, и вы увидите, как велико ваше самообольщение. У лучших наших журналов, в которых сосредоточивается вся литературная деятельность, насчитывается до 20 000 подписчиков, столько же будет и у газет (хотя подписчики на журналы обыкновенно подписываются и на газеты). Если на каждый экземпляр положить 10 читателей, то окажется

400 000. Можно порадоваться такой цифре, забыв на минуту, что она преувеличена. Но скажите, что же значат эти сотни тысяч пред десятками миллионов, населяющих Россию? Как же живут эти остальные 64 600 000, не читающие наших газет и журналов? Участвуют ли они в тех рассуждениях о возвышенных предметах, какие мы с такою гордостью стараемся поведать миру? Интересуют ли их наши художественные создания, которыми мы восхищаемся? Находят ли они отраду в тех живых мыслях, какие мы высказываем, в наших литературных обличениях, общественных вопросах, поднятых во имя целого человечества? Знает ли это человечество, что мы о нём хлопчем, что мы лезем из кожи, готовы подраться между собой, споря о его благосостоянии?.. [Знают ли крестьяне села Безводного или Многоводного, Затишья или Залесья, что их исправники, становые и управители давно уже преданы суду общественного мнения— в литературных очерках, картинах, воспоминаниях и т. п.? Знают ли они всё это и чувствуют ли облегчение своей участи под благотворным влиянием литературы? Да и сами-то исправники, становые и управители знают ли о литературном судилище? Многие слышали, вероятно, а иные, может быть, и сами читали; но большая-то часть, вероятно, не читала. Да и когда им читать? Им подобно службой заниматься; бросить служебных занятий нельзя, потому что они выгоду доставляют; а чтаньем ведь сыт не будешь. Если же и случится прочесть кое-что, так каждый поймёт по-своему и примет к сведению то, что наиболее приближается к его понятиям.] Можно предполагать, что число негодяев и мошенников, исправленных литературою, крайне ограничено. Кажется, мы не ошибёмся, если на сто тысяч общего числа читателей положим одного исправленного негодяя (да и то мы боимся, чтобы читатели не осердились на нас за то, что мы предполагаем в их числе таких нехороших людей; но просим извинения, оправдываясь пословицею: в семье не без урода). Следовательно, все эти, столь многие сотни литераторов, проникнутых горячею любовью к добру и ещё более горячею ненавистью к пороку, все эти доблестные фаланги мирных рыцарей слова должны ограничить круг своих подвигов только *четырьмя* обращениями (да и то сомнительными, заметит читатель). Ту же самую ограниченность круга действий нужно заметить и в тех отделах литературы, которые имеют предметом распространение знаний. Например, сколько было у нас толков о воспитании и обучении. Толковали преимущественно о школьном воспитании. А сколько народу у нас учится в школах? Всего-навсего, во всех ведомствах и на всех степенях обучения, с небольшим 350 000 мальчиков да девочек 40 000. Из всего числа их статьи о воспитании были прочитаны, разумеется, только несколькими студентами. Да они, правда, не для воспитанников и назначались, а для учителей. Учителей у нас тысяч 15 (на всю-то Россию!), и можно полагать, что десятая часть из них прочитала то, что было писано о недостатках современного воспитания и обучения. Из этой десятой части половина, наверное, знала ещё гораздо раньше то, на что, наконец, указывает литература; а из остальных одни прочитали и не согласились, а другие

согласились, да поняли по-своему, и хорошо, если хоть десятая доля поняла всё как следует. Из понявших же, вероятно, не более, опять, как десятина приняла на себя труд приложить писанные мудрости к делу, да и из них, дай бог, чтобы хоть десятая часть имела успех. Таким образом и окажется только полтора человека, в практической деятельности которых проявится благотворное влияние литературы. Результаты не до такой степени блистательные, чтобы за них сочинять себе триумфы, соплетать венки и воздвигать памятники! Напрасно также у нас и громкое название *народных* писателей: народу, к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жуковского, до высоких парений Державина и т. д. Скажем больше: даже юмор Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже он и грамоте выучится: он должен заботиться о том, как бы дать средства полмиллиону читающего люду прокормить себя и ещё тысячу людей, которые пишут для удовольствия читающих. Забота немалая! Она-то и служит причиною того, что литература доселе имеет такой ограниченный круг действия. Не навязывая мы народу заботы о нашем прокормлении и о всяком нашем удовольствии, так, конечно, мы же были бы в выигрыше: наши просвещённые идеи быстро распространились бы в массах, и мы стали бы иметь больше значения, наши труды стали бы ценить выше. Но, к сожалению, литература, т. е. её восхвалители и многие деятели находятся в горьком самообольщении, из которого трудно извлечь их. Изобразивши художественным образом красу природы, неба, цвет розо-жёлтый облаков, или совершивши глубокий анализ какого-нибудь перегороженного сердца, или трогательно рассказавши историю будочника, вынувшего пятак из кармана пьяного мужика, литератор воображает, что он уж невесть какой подвиг совершил и что от его создания произойдут для народа последствия неисчислимые. Напрасно: создание это, во-первых, и не дойдёт до народа, а во-вторых, если и дойдёт, то нимало не займёт его и не принесёт ему пользы. Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши страдания, забавны наши восторги. Мы действуем и пишем, за немногими исключениями, в интересах кружка, более или менее незначительного; оттого обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности. Если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять не с обще-справедливой, не с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса. В нашей литературе это последнее обстоятельство ещё не так заметно, потому что вообще у нас в прежнее время мало толковали о народных интересах; но в литературах западных дух парциальности выставляется несравненно ярче. Всякое явление историческое, всякое государственное постановление, всякий общественный вопрос обсуживается там в литературе с различных точек зрения, соответственно интересам различных партий. В этом, конечно, ничего ещё нет дурного,—пусть каждая партия свободно выскажет свои мнения: из

sic!
✓

✓

столкновения разных мнений выходит правда. Но дурно [вот что: между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе]. Так, например, множество есть историй, написанных с большим талантом и знанием дела, и с католической точки зрения, и с рационалистической, и с монархической, и с либеральной,—всех не перечесть. Но много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. п.? Политическая экономия, гордо провозглашающая себя наукою о народном богатстве, в сущности заботится только о возможно выгоднейшем употреблении и возможно скорейшем увеличении капитала, следовательно, служит только классу капиталистов, весьма мало обращая внимания на массу людей бескапитальных, не имеющих ничего, кроме собственного труда. Несколько голосов поднималось, правда, в Франции в защиту этих беспомощных людей от одностороннего могущества капитала; но капиталисты называли эти голоса безумием и сочинили против них великое множество систем, в которых строго-логически доказывали, что никто не имеет права запретить им приумножать свои капиталы посредством труда людей бескапитальных. Да уж что говорить о науках! Даже поэзия, всегда столь сочувствовавшая всему доброму и прекрасному и презиравшая мелкие, своекорыстные расчёты,—даже поэзия постоянно увлекалась духом партий и классов и только в немногих частных явлениях возвышалась до точки зрения чисто человеческой, превышающей частные интересы кружков или каких-нибудь особенных личностей. Она избирала всегда возвышенные идеи, возвышенные личности, далеко выдающиеся из толпы, и редко спускалась до простого люда. У греков это ещё было так себе, ничего, потому что и жизнь у них была устроена особенным образом, так что масса народа не исключалась из участия в общем её ходе. Поэтому и в литературе их, хотя возвышеннейшие роли играют богами, полубогами, царями и героями, но, с другой стороны, и народ является нередко в виде хора, играющего роль здравого смысла и хладнокровно обсуживающего преступления и глупости [главных] действующих лиц пьесы. В начале греческой поэзии видим мы, правда, взыгравших Менелая и Агамемнонов да сладострастных Пáрисов, из-за которых народы проливают кровь свою; но во время высшего развития греческой цивилизации являются и Аристофановы поселяне. Вообще в греческой поэзии интересы народа уважались ещё несколько. Но в Риме находим уже не то: там уже развивается односторонняя государственная идея, и человек имеет значение только как принадлежность Рима. Там уже не трогают страдания народа, не занимают его интересы и радости. Римская поэзия воспекает отвлечённые, возвышенные идеи да сильных мужей, вроде того, который не побледнеет, если весь мир станет пред ним разрушаться. Это отталкивающее преклонение пред бесчеловечием мертвит всю поэзию Рима, и человеческое чувство пробуждается в ней почти только для эпикю-

рейских наслаждений. Даже сатира имеет там характер вовсе не гуманный, а—или отвлечённый, или лично раздражительный. При императорах народ особенно подвергся презрению; даже слово *vulgaris* (*vulgaire*, собственно: народный) приняло значение пошлого, даже неприличного. В средних веках продолжается та же история, только в более грубом виде. Барды, прославляющие подвиги победителей, да трубадуры и менестрели, воспевающие воинскую доблесть, знатное происхождение и неестественно-возвышенные чувства, овладевают всей поэзией. Народ награждается полным презрением; ему за милость только дозволяют любоваться подвигами знатных рыцарей, а уж если придётся простому человеку угостить рыцаря, так это такая честь, от которой он весь век должен быть счастлив. В первое время преобладание физической силы было так громадно, страх, нагнанный победителями на побеждённых, так был силен, что сам народ как будто убеждался в том, что все эти высокородные бароны и ордалы всякого рода—особы священные, высшей породы, и что он должен чтить их с трепетом и вместе с радостью. Не одни сановные трубадуры, ездившие с оруженосцами, жонглёрами и всякими приспешниками, не одни придворные паразиты, а сам народ наивно воспевал героев, «погубивших более народа, чем жесточайшая чума», и «величавые, недоступные дворцы, у ворот которых стояли львы, как живые, будто готовые поглотить всякого, кто, неприглашённый, дерзнёт приблизиться к великолепному жилищу». Скоро, впрочем, народ воспользовался иначе орудием, которое дали ему в руки: в XV веке он решительно изменяет тон и слагает злейшие сатиры на своих притеснителей и на тех, от которых он прежде ждал спасения, но в которых жестоко обманулся,—на католических духовных. У народов Западной Европы до сих пор сильно распространён этот род поэзии, но настоящая, светская, аристократическая литература пренебрегает такой поэзией. Она имеет другие стремления, другой характер: ей нужно сочувствие известных кружков общества, полных своими обидёнными заботами и вовсе не беспокоящихся о том, что делалось и делается в остальном человечестве, за пределами их тесного круга. Интересы этих кружков и отражаются в поэтических созданиях новых народов. Если же когда вздумается литератору взглянуть и на свои отношения к массе, то он взглянет на это непременно по-своему, с точки зрения собственных интересов. С течением времени, разумеется, всё больше и больше начинают обращать внимание на требования масс, иногда литература и расшумится, если произойдёт какое-нибудь заметное столкновение интересов различных классов в самой жизни. Но способ рассуждения, употребляемый в подобных случаях, обыкновенно напоминает графа де-Местра и его книгу о папе. Граф, как набожный католик и отставной пьемонтский сенатор, рассуждает очень мило.

«Народы страдают, — говорит он, — от произвола, жестокости и насилий светской власти; нужно противодействие этой власти. Но сам народ глуп, груб, безнравствен, подл, и потому противодействия составить не может. Единственно возможное и действительное средство для его спасения и охранения состоит в том, чтобы обратиться к святейшему папе и признать над собой его духовную и светскую власть»...

В таком же роде и современные, хоть бы французские писатели сочиняют: один—мелодраму—для доказательства, что богатство ничего не приносит, кроме огорчений, и что, следовательно, бедняки не должны заботиться о материальном улучшении своей участи; другой—роман—для убеждения в том, что люди сладострастные и роскошные чрезвычайно полезны для развития промышленности и что, следовательно, люди, нуждающиеся в работе, должны всей душою желать, чтобы побольше было в высших классах роскоши и расточительности, и т. п.

Редко, и то у высших гениев поэзии, являлась чистая любовь к человечеству, не возмущаемая интересами партий. Ещё в невежественной Европе XVI века раздались знаменательные слова: «Человек был он»,⁴¹ и в них выразилось сознание гения о достоинстве человека. В эпоху, близкую к нашей, другой гений той же нации, называемый обыкновенно ненавистником человечества, сказал пророчески, что «пройдёт на земле царство меча, и невозможны будут поработители».⁴² Злобными сарказмами мстил недавно торжествующим партиям за германский народ Генрих Гейне, полагавший весь смысл искусства и философии в том, чтобы пробуждать от сна задремавшие силы народа. Все горести и труды бедняков нашли себе живой и полный отголосок в песнях национального французского поэта, которого недавно парижское правительство похоронило с такой официальной торжественностью. В своём поэтическом понимании общих нужд и стремлений человечества, Беранже возвысился до таких стихов:

Le pauvre a-t-il une patrie?
Que me font vos vins et vos blés,
Votre gloire et votre industrie,
Et vos orateurs assemblés! *

Но немного подобных стихов в европейских литературах; немногие поэты возвышались над интересами кружков и решались отказаться от воспевания отвлечённых добродетелей—храбрости, решительности, верности, терпения и т. п., или от сияющих игрушек, вроде великолепных мостов, зданий, фейерверков и пр., или, наконец, личных ощущений при взгляде на звёзды, при прогулке вдвоём, при посещении музея и т. п. Возвыситься над мелкими интересами кружков, стать выше угождения своекорыстным требованиям меньшинства, к сожалению, не умела ещё до сих пор ни одна европейская литература.

Это небольшое отступление, сделанное нами по поводу ограниченности круга действия русской литературы, приводит нас теперь именно к тому, с чего мы хотели начать нашу статью,—к рассмотрению содержания и характера, успевшего проявиться в истории нашей литературы. Выше мы заметили, что у нас не так заметно выказывался характер парциальности, развившейся в литературах Западной Европы. Слова эти требуют пояснения. Мы вовсе не хотели ставить нашу литературу выше всех европейских, вовсе не думали приписывать

* Имеет ли бедняк отечество? На что мне ваши вина, ваш хлеб, ваша слава и ваше мастерство и ваши ораторы, взятые вместе (фр.). — Ред.

ей небывалого беспристрастия и широты взгляда, отрешения от частных интересов в пользу общих, высшее сознание человеческого достоинства и т. п. Совсем нет; мы хотели только сказать, что так как у нас до сих пор литература не считалась важной и существенной принадлежностью жизни, то по большей части никто и не думал делать её орудием своих планов, никто не обращал внимания на то, служит ли литература каким-нибудь партиям и каким именно, к чему она расположена, против чего восстаёт. Все очень хорошо понимали, что мало кто может у нас соображаться с тем, что говорится в книгах, и что ход нашей жизни зависит не от писанных убеждений, до которых никому нет дела, а от вещей гораздо более существенных, имеющих непосредственное отношение, по пословице, к *своей рубашке* каждого. Поэтому-то никто и не заботился о духе и направлении литературы, и в ней не выразилось такого заметного увлечения духом различных партий, как на Западе. Но нельзя же было оставаться ей без всякого направления; нужно же было выразить какие-нибудь стремления и понятия: без этого не может обойтись ни одно произведение мысли человеческой. Всего ближе, разумеется, было выразиться в литературе интересам и мнениям тех, в чьих руках было книжное дело, и тех, в ком оно находило хоть маленькую поддержку и опору. Так и случилось.

Во время языческой древности у русских, как и у всех славян, существовала уже поэзия народная. Не зная древней языческой русской поэзии в её настоящем, неиспорченном виде, мы можем судить о ней только по аналогии с поэзией других славянских племён и по намёкам, сохранившимся в том, что до нас дошло от русской древности в изменениях позднейшего времени. Сравнительное изучение поэзии славянских народов привело многих к полному убеждению в том, что в древности выражались в ней действительно обще-народные интересы и воззрения на жизнь. Это, разумеется, и было совершенно естественно при господстве патриархальных отношений, когда ещё не существовало ни малейшего разлада между жизнью семейною и государственною, а напротив, они сливались в одно нераздельное целое. Что может быть проще и естественнее того, что

Всяк отец в дому своём владыка:
Мужи пашут, жёны шьют одежду;
А умрёт глава всех домохадцев,
Дети всем добром съобща владеют,
Выбрав старшину себе из рода,
Чтоб ходил, для пользы их, на сеймы,
Где с ним кметы, лехи и владыки.*

Когда жизнь устроена ещё таким образом, то, само собою разумеется, поэзия непременно должна выражать народные интересы. Но, к сожалению, почти ничего не имеем мы от той древности, когда кметы рассуждали с лехами и владыками на общественных

* Кметы — простые поселяне, лехи — богатые владельцы, владыки — мелкие владетели. — Н. Д.

сеймах. По всей вероятности, и рассуждали-то они плохо, потому что мало имели образования, слишком сильно ещё были подавлены внешними влияниями. Рассуждениям их недоставало многого для того, чтобы удовлетворить всех и чтобы быть вполне справедливыми и разумными. Не было у них пособия ни в жизненной опытности прошедших веков, ни в знании природы и уменьи владеть ею, ни в знании мира души человеческой. Круг их зрения был узок, они ходили ощупью, делали неурядицу, и, не понимая выгод своего положения, сами должны были искать исхода из тех беспорядков, к которым сами себя привели. Исход нашёлся, конечно, такой же, как и везде,—несколько лехов сказали бестолковым кметам: «Вы ничего не понимаете и делаете только глупости, предоставьте всё нам и делайте то, что мы прикажем». По врождённой человеку лени и по сознанию своего бессилия, кметы с радостью согласились и даже начали сочинять песни во славу мудрых и сильных лехов, умевших водворить между ними тишину и порядок. Тут-то народная поэзия и должна была изменить свой характер, сообразно с новым устройством жизненных отношений. Но и при этом изменении остались следы общего характера прежней поэзии: народные песни не скоро потеряли свой простой, естественный характер, не скоро увлеклись чуждыми интересами, и до сих пор в них замечают следы первоначальной простоты естественных условий быта. В этом отношении славянская народная поэзия имеет даже преимущество перед прочими европейскими: в ней более песен бытовых и менее воинственных, рыцарских повествований, да и те, какие есть, относятся большею частью к позднейшим эпохам, когда уже и народ привык к множеству односторонних отвлечённостей. Вообще же, по отзыву одного из любителей-славянистов (Бродзинского), «в славянских народных песнях выражаются люди не властолюбивые, жестокие, страстные ко всему необыкновенному, привязанные к мечтам собственного воображения, но люди, далёкие от желаний причудливых и странных, от страстей буйных и насильственных», и пр. Суждение это вполне может быть применено к русской народной поэзии. По нашему мнению, в ней заключается много доказательств того, что в народе нашем издревле хранилось много сил для деятельности обширной и полезной, много было задатков самобытного, живого развития. В этом случае мы не можем согласиться с г. Милоковым, который всё безобразие русских сказок и песен складывает на народность и говорит, что от неё нечего было ожидать без коренной реформы. Мы думаем, что нет у нас достаточно данных для того, чтобы обвинять народность в безобразиях поэзии и даже самой жизни, а есть, напротив, данные, позволяющие видеть причину их в обстоятельствах, пришедших извне. Народная поэзия, как видно, долго держалась своего естественного, простого характера, выражая сочувствие к обыденным страданиям и радостям и инстинктивно отвращаясь громких подвигов и величавых явлений жизни, славных и бесполезных. На деле народ должен был терпеть их и даже принимать в них участие, но в поэзии его нет ни малейших следов хоть какого-нибудь сочувствия к подобным явлениям. В этом

отношении нам кажется любопытною заметка г. Бодянского (в сочинении «О славянской народной поэзии», стр. 124), в которой он говорит об участии народа в удельных ссорах князей.

«Народ не брал к сердцу их счётов между собою, — говорит он, — не интересовался их выгодами и потерями; ему всё равно было пустошить землю, взять на щит городок и т. п., под стягом ли Олеговичей или Мономаховичей. Это была деятельность, не склонявшая в свою пользу сердца ратовавших, деятельность, так сказать, машинальная. Доказательством служит то, что народ не почтил этих усобиц ни одной своей песней, никаким почти преданием, ни малейшею, хотя бы глухою, тёмною молвой».

Это замечание, высказанное слишком двадцать лет тому назад, до сих пор не опровергнуто ни одним фактом, несмотря на множество вновь изданных с тех пор памятников и исследований. В самом деле, можно полагать, что до самой татарской эпохи народ держал себя совершенно равнодушно в отношении к политическим событиям Руси, имевшим, со времён Владимира, большею частию династический интерес. Только во времена бедствий родной земли вспомнил он минувшую славу и обратился к разработке старинных преданий, оставшихся, конечно, ещё от времён норманов. Тут он начал организовывать разбросанные сказания, перепутал лица, местности и эпохи и целый трёхсотлетний период сгруппировал около лица одного Владимира, бывшего ему памятнее других. Возбуждалась любовь к этим песням, конечно, горьким чувством при взгляде на современный порядок вещей. При нашествии народа неведомого ожидания всех обратились, разумеется, к князьям: они, которые так часто водили свой народ на битву с своими, должны были теперь защищать родную землю от чужих. Но оказалось, что князья истощили свои силы в удельных междоусобицах и вовсе не умели оказать энергического противодействия страшным неприятелям. Они бегали от монголов, пока не узнали, что они не вмешиваются во внутреннее управление и довольствуются собиранием подати. Тогда они признали себя данниками монголов, и народ узнал, что он стал татарским улусом и что подати на нём прибавилось. Горько было настоящее положение народа, обманутого в своих ожиданиях; он невольно сравнивал нынешние события с преданиями о временах давно минувших и грустно запел про славных, могучих богатырей, окружавших князя Владимира. Песня эта была сначала горьким упреком настоящему, а потом, доставляя народу забвение и даже утешение, стала увлекать его и заставляла применять прежние события к современному течению дел. Таким образом богатырей Владимировых заставили сражаться с татарами и самого Владимира сделали данником «грозного короля Золотой орды, Этмануйла Этмануйловича». Дальнейшие искажения объясняются также легко: в живой действительности народ не видел никакого средства управиться с своими поработителями и должен был безмолвно склониться пред их силою. Но тяжела ему была эта покорность, и он всё не оставлял мечтать о средствах освобождения. Чем далее эти мечты были от действительности, тем более они принимали детский характер: в них яв-

лялись и волшебники, и оборотни, и неестественных размеров богатыри, и разумные кони, и наговоры еретические. А когда попались эти песни в руки книжникам, то и последнюю жизненность потеряли под их риторическими прикрасами. Но влияние книжной литературы на народную словесность заслуживает более подробного разбора. Г. Милуков, к сожалению, не сделал этого, и потому его статья о народной поэзии русской не имеет окончательной полноты. Мы скажем здесь об этом несколько слов, которые кажутся нам не лишними для того, чтобы яснее понять причины и свойства разлада, постоянно господствовавшего у нас между литературой книжною и словесностью народа.

Наша книжная словесность, начавшаяся со времён Владимира, не была, как всем известно, произведением национальных элементов, а была перенесена к нам с чужа. Мало того, она явилась к нам не вследствие того, что в народе явилась потребность заимствования чужой образованности, а просто по случайному обстоятельству. Простодушный рассказ Нестора убеждает нас неопровержимо, что народ во времена Владимира ещё не созрел для той высшей цивилизации, которая при нём принесена была на Русь, вместе с божественным учением христианства. [Сам Владимир отослал от себя магометан болгарских только потому, что ему не понравилось обрезание и запрещение пить вино, а немцев,—потому, что «отцы наши этого не приняли». Бояре, посланные для испытания вер, вовсе не думают о внутреннем их содержании и достоинстве, а обращают внимание только на внешность: болгарская служба им не понравилась, у немцев не нашли они никакой красоты, а от Византии были в восторге, потому что там, по наивному рассказу Нестора, патриарх, услышав об их прибытии, «повеле создать крилос, по обычаю сътвориша праздник, и кадила возжгоша, пения и лики съставиша; и иде с ними в церковь, и поставиша я на пространье месте, показующе красоту церковную, пения и службы архиерейски» (Нестор, под годом 6495). А другие бояре, не стоявшие на месте пространье во время архиерейского служения, тоже подали голос в пользу Византии, но уже отказываясь решительно от собственного мнения в таком важном деле, а ссылаясь просто на авторитет Ольги. Владимир удовлетворился их мнениями. Если же князь и бояре действовали таким образом, то, разумеется, и странно было бы ожидать от народа какого-нибудь сознательного убеждения.] Через столетие после самого события один, без сомнения, из просвещёнейших людей тогдашней Руси—Нестор летописец—и тот ещё не понимал необходимости внутреннего убеждения в подобных случаях. Он находит совершенно естественным, что накануне неверные люди плачут о Перуне, которого бросили в Днепр, и кричат ему: «Выдывай, боже!», а на другой день слышат приказ: «Аще не обрящется кто на реце, богат ли, ли убог, или нищ, ли работник, противен мне да будет», и с радостью идут на реку, говоря: «Аще бы се не добро было, не бы сего князь и бояре прияху». Рассматривая этот случай беспристрастно, можно приложить к нему то же самое мнение, какое высказано г. Бодянским об участии народа в междо-

усобных ссорах князей. А между тем Нестор заключает свой рассказ тем, что «бѣша си видети радость на небеси и на земли, голико душ спасаемых, а дьявол стена глаголаше: увы мне, яко отсюда прогоним есмь» (Нест., 6496 г.).

Всё это неопровержимо доказывает, что народ не был предварительно приготовлен к принятию тех высоких истин, которые ему предлагались, и не в состоянии был ещё воспользоваться, как следует, благодеяниями новой цивилизации, входившей в Русь вместе с христианством. Для полнейшего убеждения в этом нужно вспомнить продолжение того же рассказа Нестора—о том, как вели себя русские люди в отношении к новой цивилизации. Владимир, говорит летописец, начал поставлять церкви, разрушать кумиры, ставить попов и «нача поимати у нарочитое чади дети и дяти нача на ученье книжное; матере же чад сих плакахуся по них: ещё бо не бяху ся утвердили верою, но яко по мертвци плакахуся». Нисколько не сочувствуя, конечно, отвращению народа от ученья, нельзя, однакоже, с грустью не согласиться, что факт этот не подлежит ни малейшему сомнению и что даже в наше время в простом народе он не утратил своего значения. Ни самого ученья, ни тех, которые боятся его, обвинять тут нечего, да и вообще здесь никого обвинять нельзя, кроме разве несовершенства рода человеческого, которое всегда мешает истории идти, как бы нам хотелось теперь, при наших просвещённых воззрениях. Разумеется, если бы русские были более образованы во времена Владимира, более приготовлены самую жизнь к отвержению своих языческих понятий и верований, то последствия мер, произведённых Владимиром, были бы несравненно благотворнее. Но что же делать, если этого не случилось? Нельзя сердиться на это, а можно только отметить факты, последовавшие затем и имеющие непосредственную связь с положением образованности русского народа при Владимире. Факты эти, правда, неутешительны; но пропустить их нельзя, потому что они слишком резко обозначились и в жизни, и в поэзии народной и не истребились до сих пор. Мы говорим о множестве суеверий и предрассудков, донныне охватывающих всю жизнь крестьянина и составляющих несомненный остаток языческих верований. Эти суеверия тем глубже вкоренились в народной жизни, что они издавна перемешались с христианскими воззрениями и таким образом как будто получили некоторую законность на взгляд простолюдина. Такого смешения, разумеется, не могло бы быть, если бы высокие истины христианства с самого начала были хорошо поняты в народе и если бы он сам дошёл до сознания ложности язычества. Тогда и успехи цивилизации в массах народа были бы быстрее, и ход развития был бы правильнее, потому что не было бы двойственности в началах, управлявших жизнью и деятельностью народа. Теперь эта двойственность должна была проявиться в размерах весьма обширных. С одной стороны, новое учение должно было проникать постепенно в сознание народа, и о внушении его должны были стараться те лица, в руках которых находилась власть над народом; с другой стороны, языческие понятия и предания были слишком сильно вкоренены во всех проявлениях

народного быта и оказывали сильное противодействие новым началам. Возникло неизбежное противоречие в народной жизни, и оно, самым естественным образом, должно было привести к тому, что имевшие в руках своих силу воспользовались ею для того, чтобы доставить торжество своим началам. Мы не имеем положительных известий об этом от первых времён христианства в России; но последующее время постоянно даёт нам аналогические факты, подтверждающие мысль, что так велось и с самого начала. В конце XI столетия «Правило» Иоанна митрополита восстаёт против волхования и языческих обычаев; в половине XII в. обличаются суеврия языческие в «Вопрошаниях Кирика к Нифонту»; в XIII в. Серапион обличает их. Начиная же с XIV в., сохранилось множество окружных посланий и грамот, запрещающих «бесовские игрища» с песнями. Обличения пастырей против смешения языческих понятий с христианскими не прерывались до времён Тихона Воронежского [которого поучения против Ярилы и т. п. отличаются жестокою нетерпимостью]. К несчастью, все их усилия не были в состоянии возысшить народ до совершенно чистых и правильных понятий о христианской религии. Нужно было употребить другое средство заставить народ, по крайней мере, отставать хоть понемногу от привязанности ко всему языческому. Для этого надобно было действовать запрещениями, направленными против всего, что носило на себе отпечаток язычества. Очевидно, что такое положение дел не могло быть благоприятно для развития народной поэзии, родившейся у славян тоже на языческой почве. Их древние предания должны были заглухнуть среди новых условий быта или измениться сообразно с этими условиями. Заглухнуть совершенно они не могли, потому что народ, не имеющий ещё письменной литературы, и притом народ славянский, не мог оставаться без устной поэзии. Но сохранить свою первоначальную чистоту и свежесть эта поэзия тоже не могла, потому что новые понятия неизбежно примешивались к кругу прежних верований и изменяли характер произведений народной фантазии. Книжная словесность, вынесенная к нам из Византии, старалась, конечно, внести в народ свои идеи; но, как чуждая народной жизни, она могла только по-своему искажать то, что было живого в народе, и не в состоянии была ни проникнуться истинными его нуждами, ни спуститься до степени его понимания. Что книжная словесность хотела сделаться близкою к народу, это доказывается множеством духовных стихов, которые носят на себе самые яркие следы книжного влияния. Об этих стихах г. Милюков совершенно справедливо говорит, что они «принесены к нам первоначально из Греции и остались совершенно чуждыми народу, который, слушая слепых нищих, не заимствовал у них ни одной песни и не знал, о чём они поют». Без всякого сомнения, размножение у нас духовных стихов не было случайным явлением, равно как не могло оно быть и явлением, естественно возникшим вследствие потребности самого народа. Необходимо предположить, что учителя наши, прибывшие из Византии, старались о том, чтобы привить народу чуждые ему предания, и даже прибегали для этого к самим преданиям на-

родным, переделывая их на свой лад и примешивая к ним то, что считали нужным. Самым ярким примером может служить «Сказание о Мамаевом побоище», в сравнении с «Словом о полку Игореве». Сравнительный разбор этих двух произведений очень хорош у г. Милокова, и мы привели бы его здесь, если б он не был слишком обширен (стр. 15—24). В нём весьма ярко выставляются прибавки позднейшего книжника, человека, принадлежащего к клиру и потому старавшегося заменить народные воззрения своими понятиями, более или менее чуждыми народу и доселе. Известно, что в «Слове о полку Игореве» вполне господствует языческое мирозерцание: предзнаменования, сны, обращение к природе,— всё это противно духу христианства. А между тем составлено это сказание могло быть не ранее конца XII века,— вот доказательство, как мало новые понятия успели укорениться в умах народа даже в течение двух столетий. Но ещё через два столетия книжник, вовсе не знавший народа, вздумал воспользоваться канвою народного эпического сказания для применения её к другому событию, в котором бы мог выразиться другой взгляд на мир и на жизнь. И вот иерей Софроний⁴³ пишет, как Мамай, попусцием божиим, от научения диавола, идёт казнити улус свой, Русскую землю; как великий князь Димитрий прежде всего обращается за советом к митрополиту Киприану; как тот советует «*утолить Мамаю четверицею*» (т. е. дать ему четверо больше того, что прежде давалось), дабы не разрушил христовой веры; как Димитрий получает благословение двух воинов-монахов от св. Сергия; как он припадает с молитвою слезною к чудотворным иконам; как пред битвою вкушает присланной ему от св. Сергия просфоры; как участь сражения решается святою помощью Бориса и Глеба. Во всей повести господствует строго благочестивый взгляд, и повсюду предвещения и дива языческие заменены знаменами и чудесами христианскими. Ясно, что новые верования много бы выиграли от подобного образа действий, если бы книжные учителя древней Руси, при своём благочестии, владели ещё умением постигнуть дух народный и имели бы сколько-нибудь поэтического такта. К сожалению, этого не было у них; в поэтических произведениях древних книжников господствует вялость, мертвенность, отвлечённость, отсутствие всякой поэзии. Оттого-то они и не проникли в народ, а с тем вместе и идеи, вставленные в них, распространялись очень слабо. Тем не менее народная поэзия не могла уже остаться неприкосновенною, и позднейшие наросты ясно видны в том, что по основе своей должно относиться к древнейшему времени. Очень жаль, что г. Милоков мало принял в соображение те изменения, какие должны были произойти в народных, особенно в исторических, песнях с течением времени, и всю их грубость и все недостатки отнёс на счёт древней русской жизни, не определяя, какую именно древность он разумеет. Поэтому некоторые явления древней русской поэзии поняты им, кажется, не совсем верно. Например, он, говоря, что в исторических песнях русских есть даже попытки на изображение характеров, указывает для примера на лицо Владимира, которое будто бы имеет сходство с историческим Владимиром. С этим мы никак

не можем согласиться. В личности Владимира, по нашему мнению, более, нежели в чём-нибудь, выразилось византийское влияние на нашу народную поэзию. Не такими представлял народ наш своих князей, близких к норманскому периоду; это мы видим в народных преданиях, записанных Нестором. Вспомним величавый образ Святослава, храброго, деятельного, разделяющего с подданными все труды и недостатки, заботящегося о богатстве земли своей, говорящего: «Не посрамям земли Русския,—ляжем костьми ту». Вспомним и позднейшее изображение князя Игоря в «Слове», мало подвергшемуся книжной порче: и он, подобно древним князьям, является храбрым и деятельным; он сам идёт во главе своего войска в чужую землю, чтобы отомстить врагам за обиду земли Русской; он не смущается пред опасностями и говорит: «Лучше потяту быти, неже полонену быти...» Не таким является Владимир в наших народных сказаниях. В нём нет и признаков русского князя; это не что иное, как византийский владыка или вообще восточный правитель, недоступный для народа, стоящий от него на недостижимой высоте, счастливый избранник судьбы, не имеющий другого дела, кроме пиров и веселья. В народных песнях Владимир постоянно является пирующим. Почти каждая песня начинается тем, что у «ласкова князя Владимира было пированье—почестной пир, было столованье—почестной стол». Князь Владимир потешается на этом пире, и что бы ни случилось, он ничего другого не делает, как только «по светлой гридне похаживает да чёрные кудри расчёсывает». Являются во время пира его служители, израненные, «булавами буйны головы пробиваны», с известием о каких-то неведомых людях, появившихся на княжеской земле,—а князь пьёт, ест, прохлаждается, их челобитья не слушает. Нападает на Киев Калин-царь, Владимир «весьма закручинился, запечалился, повесил буйну голову и потупил очи ясные», оттого, что «нет у него стоятеля, нет оберегателя...». Приезжает Илья Муромец с Соловьём-разбойником и велит ему свистнуть в полсвиста, а князя Владимира, вместе с его княгиней, берёт под пазуху, чтобы они не упали от свисту соловьиного. А в другой песне князь Владимир и «*окорач ползёт*» от сильного свисту конского... Есть ли во всём этом хоть какое-нибудь сходство с чисто русским, собственным, народным представлением князей? Есть ли что-нибудь подобное вообще в славянских песнях, не подвергшихся восточному влиянию? Как хотите, сваливать подобные представления на коренную русскую народность невозможно. Они могли явиться только в позднейшую эпоху, принёсшую к нам много восточных понятий, усердно распространявшихся в народе книжниками, которые столь же плохо понимали требования поэтической истины, как и нужды русского народа. Невозможно сомневаться, что значительная доля искажений в русской народной поэзии произведена была—намеренно или ненамеренно—именно этими книжниками.

С течением времени народная поэзия всё теряла своё значение, слабела и глухла, а книжная словесность принимала всё более широкие размеры и вторгалась с своими определениями во все отделы народной жизни. Но в ней не было жизненной силы, она не могла

✓ проникнуть в самый дух народа и должна была ограничиться только внешностью, формой. С самого начала, не понявши народного характера, она стала совершенно чуждою народности русской и заключалась в тесной сфере своих схоластических определений. В этой схоластической отвлечённости держалась она невозмутимо до тех пор, пока жизнь Руси тянулась молчаливо и однообразно, без прогресса, без самобытного развития, под неурядицей удельных междоусобий, под игом татар, под влиянием неустановившихся государственных отношений... Отличительною чертою этой книжной, схоластической словесности было бессилие пред существующим фактом и бессмысленное подчинение ему, даже без желания объяснить его. Если встречались факты противоположные, книжники склонялись пред тем, который брал перевес, и во имя его преследовали другой, противный. Так восставали они против языческих суеверий, с течением времени всё больше и больше, между тем как, по естественному порядку вещей, надобно полагать, что они с течением времени всё-таки постепенно ослабевали. Так в конце XIII столетия вздумал Серапион говорить против княжеских междоусобий, когда в это время, под игом татар, удельные распри сами собою уже значительно ослабели. Так было и во всех других случаях. Но, при всей своей жалкой немощи, при всём отсутствии живых сил, явления, подобные Серапиону, представляют ещё отрадную сторону нашей древней письменности. Они были прогрессом в сравнении с тою безжизненною схоластикою, которая господствовала в большинстве книжников. Те уже стояли совершенно в стороне от русской жизни и толковали, весьма горячо и пространно, именно о том, до чего русскому не было равно никакого дела. Замечательно, чем начали своё письменное поприще в России древние книжники. Первое, по времени, произведение, написанное в России, было послание Льва митрополита (умер в 1007 г.) против латинян, где он подробно рассуждает об опресноках, о посте в субботу, о безжёнстве священников и т. п. Нельзя не сознаться, что трудно было выбрать предмет, более далёкий от русской жизни. Но выбор его объясняется, конечно, отношениями Византии, которая была тогда в самом разгаре своей вековой распри с Римом.

✓ Впрочем, при всей видимой неподвижности древней русской письменности, при всей её отвлечённости и безжизненной схоластике, и в ней нельзя не видеть некоторого развития, которое с течением времени делается всё приметнее. И в ней выразился общий закон распространения образованности, постепенно расширяющей свой круг, несмотря ни на какие препятствия. Литература—вообще всегдашний спутник образованности: развитие её идёт параллельно с развитием потребностей образованных классов. Пока образованных людей немного, литература необходимо служит выражением интересов немногих; когда все будут образованы, литература,—нет сомнения,—будет отзываться на потребности всех, расширив круг своего действия и избавившись от духа кружков и партий. Это самое расширение круга действия литературы совпадает с другим, не менее важным обстоятельством—приближением её к настоящей, действительной жизни, с избавлением от всего призрачного и с признанием интересов истинных и существенно важных.

Любопытно было бы сделать очерк всей русской литературы с этой точки зрения. Г. Милюков не мог этого сделать, потому что в древней Руси он отвергает всякое развитие, а в новой, после-петровской, видит развитие уже слишком быстрое. В основании, конечно, и то и другое вполне справедливо, особенно в отношении к поэзии; но нам кажется, что если мы согласимся вполне с первым, отрицательным, положением г. Милюкова, то окажется несколько преувеличенным второе положение—о новой поэзии. Дело в том, что и в древней письменности всё же заметно некоторое расширение взгляда, доказывающее, что с течением времени книжное дело начинает интересовать уже большее количество лиц, чем прежде, и что эти лица принадлежат к более разнообразным кругам. В первое время письменность никого не интересовала, кроме духовенства, и ни для чего не нужна была, кроме распространения истины веры. Других потребностей ещё не было в обществе, и вследствие того являются только книги священные, богослужебные, и рассуждения о предметах, занимавших только духовенство, и притом не русское, а византийское. Таким образом и являлись послания против латинян, поучения о посте, о молитве во храме, об иконах и пр., вызванные не нуждами русской жизни, а возражениями, которым эти предметы подвергались в Византии. Вскоре основаны были у нас монастыри, и вслед затем явились монашеские уставы, сочинения о монашеском житии и пр. Почти при самом же своём начале письменность не ограничивается уже, однако, исключительно религиозными интересами: она служит также орудием власти светской, хотя всё ещё не выходит из круга духовных предметов. Владимир издаёт уже «Устав о церковном суде», которым определяется отчасти формальное отношение духовенства к народу. Зато и со стороны духовенства является вскоре похвала [кагану] Владимиру, написанная митрополитом Иларионом (полов. XI ст.). Долгое время затем в письменности русской видно почти исключительное проявление интересов княжеских и духовных. Не говоря о поучениях, посланиях, грамотах монастырям и церквам, житиях святых, даже древние путешествия и летописи отличаются тем же характером. Путешествия предпринимались преимущественно на Восток, с религиозной целью, и на все предметы смотрели наши древние путешественники с точки зрения иноческой. Светские интересы их не занимали; игумен Даниил был в Иерусалиме тогда, как им владели крестоносцы, виделся с Балдуином и, не обратив ни малейшего внимания на такое историческое событие, как крестовые походы, со всею теплотою души рассказывал, как он ставил своё кадило, и пересчитал, за каких именно князей русских он поставил его. То же и в летописях: внесены сюда и проповедь грека-философа пред Владимиром, и исповедание Владимирово, и история построения Печерской обители, и житие Бориса и Глеба, и множество текстов и духовных рассуждений. С другой стороны, тщательно записывается время рождения и смерти всякого князя, описывается его нрав, его наружность; его отношение к духовенству никогда не забывается,—и только. Если отношение князя к дружине указывается, то лишь затем, чтобы восхвалить князя; дружина упоминается только к слову. Если говорится, что князь

был милостив и нищелюбив, то опять это говорится не потому, чтобы благо народное трогало душу летописца, а потому, что этим доказывается дорогая для него мысль: «бе бо князь сей любя словеса книжная»; а в словах этих сказано: «блажен муж милуй» и т. п. Таким образом, первые представители просвещения в России, ставшие выше массы народа, выражали в письменности свои стремления и интересы, тесно связанные один с другим и взаимно друг друга поддерживавшие. Но отношения их к массе народа естественно вынуждали их обратить внимание и на то, чтобы устроить, сколько возможно лучше, эти отношения. Выражение этой потребности в книжных произведениях является, с одной стороны, в светском законодательстве, начинающемся весьма рано, с «Русской правды»⁴⁴, а с другой стороны—в духовных поучениях, имеющих некоторое отношение к жизни. Таковы были нравственные наставления о смирении, терпении, отречении всех благ мирских и покорности воле божией и т. п. Бывало даже и более прямое отношение к народной жизни, очевидно, вызванное обстоятельствами, имевшими значение в глазах князей и духовных. Так, например, ещё в XI в., в Правиле митрополита Иоанна, находим статью против торговли рабами; так, в XII в., в послании Никифора, читаем увещание князю, чтобы он сам входил во всё и не слушал наветов людей, окружающих его. В XII и XIII веке самые летописи несколько более начинают обращать внимание на положение народа; обстоятельство это, без сомнения, произошло не без отношения к тому, что в это время встречаются между писателями многие из белого духовенства, бывшие, конечно, в ближайшем соприкосновении с народом, чем монахи. Для Нестора жизнь ограничивалась Печерским монастырём, а для какого-нибудь попа Иоанна или пономаря Тимофея не могла ограничиваться даже одним их приходом. Поэтому-то мы и встречаем, например, в Новгородской летописи (под 1230 г.) подробное и живое описание действий голода на новгородских жителей, с замечаниями даже о цене съестных припасов. Далее, круг людей грамотных (значит, по-тогдашнему, образованных) расширяется, как видно, и в XIV—XV вв. предпринимаются и описываются путешествия уже светскими людьми, как, например, Стефаном Новгородцем, Василием—гостем московским, Афанасием Никитиным—тверским купцом; в то же время организуются целые системы вероучения, противные православию и нередко составлявшиеся без всякого участия лиц духовных. Круг деятельности духовенства расширяется и находит себе предмет, имеющий действительное значение в народе и вызванный явлениями самой жизни. Точка зрения, разумеется, остаётся та же, отвлечённо-возвышенная, без малейшего принорования к народным нуждам и воззрениям, без всякого живого взгляда на жизненные отношения, производящие то или другое явление в народе. Но важно уже и то, что содержание письменности всё-таки расширяется и обращается к настоящему положению дел; значит, в самой жизни была сила, которая могла вывести даже книжную схоластику из её мёртвых отвлечений на поприще деятельности хоть сколько-нибудь живой. Мало того, из среды самой массы поднимаются отголоски на явления общественной

и государственной жизни. В этом отношении интересны дошедшие до нас две различные повести о взятии Пскова. Одна из них составлена в Москве и восхваляет подвиги московского воинства, приходя в негодование от своеволия псковитян. Другая повесть принадлежит псковичу и смотрит на дело с другой стороны: обвиняет московского наместника в притеснениях, князя—в вероломстве и сожалеет об утрате вольности. Это—несомненный знак, что литературные интересы теперь уже так расширились, что в письменности может даже отражаться мнение большинства народа [, в противность покоряющей его силе]. В XVI веке размножаются частные летописцы отдельных областей, раздаются обличения Максима Грека, направленные даже против митрополита и самого царя, и, кроме того, это столетие представляет нам две книги, в высшей степени замечательные: «Домострой» и «Сказания Курбского». «Домострой» во всех своих воззрениях верен старой рутине и с этой стороны даёт только новое доказательство того, как книжное учение портило у нас самые простые и естественные отношения, как оно узаконяло собою множество нелепых и грубых понятий. Появление этой книги важно в другом отношении: оно свидетельствует, что в XVI веке чувствовали уже надобность применить книжную мудрость и к семейной жизни, следовательно, письменность служила уже не одним интересам церковным и государственным. «Сказания Курбского» имеют другое значение. Здесь и самый взгляд на дело резко отличается от того взгляда, который старались усвоить России греческие и огречившиеся наши книжники. Представителем этого взгляда является тут уже сам Иоанн, бывший, как известно, весьма искусным в книжном учении. В переписке его с Курбским весьма интересно следить, как он располагает арсеналом доводов, взятых из книг того времени, для того, чтобы оправдать своё поведение и во что бы то ни стало обвинить Курбского. Он силится доказать, что бояре, как и все подданные, обязаны были до конца претерпеть с кротостью и незлобием все его жестокости; в пример подобной кротости приводит он раба Курбского, Василия Шибанова, который спокойно стоял перед Иоанном, когда этот своим костылём пригвоздил его ногу к полу и, облокотясь на костыль, читал письмо Курбского. Но Курбский уже не убеждается доводами Иоанна: у него другая точка опоры—сознание своего собственного достоинства. Взгляд его не может ещё возвыситься до того, чтобы объяснить надлежащим образом и поступок Грозного с Шибановым; нет,—Шибанов пусть терпит, ему это прилично, и князю Курбскому нет дела до того, что приходится на долю Васьки Шибанова. Но с собой, с князем Курбским, аристократом и доблестным вождём, он не позволит так обращаться. За себя и за своих сверстников-аристократов он мстит Иоанну гласностью, историей. Книжное дело призывается теперь для служения не одной духовной власти и правительственным распоряжениям, а уж и для интересов иного класса—бояр и высших сановников. К ним преимущественно относились жестокие казни и опалы Иоанновы; из их среды и нашёлся человек, который употребил оружие слова для выражения своего неудовольствия. Но в России того времени нельзя было писать того, что написал Курбский; только в наше время его сказания

могли быть повторены русским историографом и изданы в России в подлинном виде. В царствование Грозного горькая истина должна была высказываться в чужой земле, далеко от России, в которой вся письменность блуждала ещё в византийских отвлечениях, не касаясь жизни. Книга Курбского первая написана отчасти уже под влиянием западных идей; ею Россия отпраздновала начало своего избавления от восточного застоя и узкой односторонности понятий. Вслед за нею начинаются события, более и более сближающие нас с Западом и оживляющие нашу литературную деятельность. Уния возбуждает религиозные споры, не ограничивающиеся схоластическими прениями, но сопровождающиеся важными последствиями в самой жизни. В то же время, вместе с желанием, с той и другой стороны, доказать народу превосходство своих мнений, является потребность дать ему средства к образованию. И вот являются катехизисы для народа, руководства к правой вере и т. п. Но этого мало: надо дать возможность читателям понимать и обсуживать самим спорный вопрос. Теперь уже нельзя ограничиться одними положениями и запрещениями: как скоро есть спор, сомнение, нужно, во что бы то ни стало, рассеять его, подействовавши на рассудок. А для рассудка нужны данные, факты, знания; и вот являются учебные книжки, очевидно назначенные для первоначального образования: грамматики, словари, синопсисы и пр. Разумеется, везде, где можно было, во всех этих книжках высказывался взгляд односторонний, не имевший никаких других интересов, кроме своих собственных, [взгляд той партии, к которой принадлежал автор; разумеется само собою и то, что ни та, ни другая партия не заботилась ни о каких других интересах, кроме своих собственных], и что до народного блага им дела не было. Но важно здесь то, что книжники уже поставлены были в такое положение, в котором должны были допустить надобность некоторого образования и в других классах народа, не принадлежащих к сословию, имевшему до того монополию книжного дела и вообще образованности. В этом отношении уния имела сходство с реформациею: при движении реформационных идей папы тоже поставлены были в невозможность поддерживать своё значение запрещением народу читать библию, оставлением его в невежестве и т. п. Всё нужно было разъяснить, всё выставить наружу. Конечно, движение, возбуждённое унией, не имело таких размеров, как движение реформации, но всё же оно имело с ним некоторое сходство по своему характеру. Оно выразилось преимущественно в западной и южной Руси, но не могло не коснуться и северо-восточного края, тем более, что он пришёл с Западом в ближайшее соприкосновение во время самозванцев. Тут интерес был ещё ближе к жизни, нежели в западной Руси во время унии; обращение к народу ещё необходимое, чем там. Книжники должны были понять теперь, как слабы узы, доселе державшие старый порядок: они разорваны были самим народом при первом появлении призрака, принявшего имя законного государя. Видя, что неведение народа о самых простых вещах губительно делается для тех самых, которые его воспитывали; догадавшись, наконец, что невежество ненадёжно, что на него нельзя положиться ни в чём, потому что оно постоянно может служить орудием в руках первого обман-

щика, — книжники решились вразумлять народ относительно некоторых предметов: толковали ему о самозванцах, рассказывали историю Годунова и Димитрия, писали увещательные грамоты и пр. Грамоты и повествования эти читали теперь уже не только духовенство и правительственные люди: книжность спустилась уже в класс мелкого чиновничества, которое не только читало, но даже и само принялось сочинять. Много произведений XVII века принадлежит в России дякам, подьячим, переводчикам приказов и другим чиновникам. Одно из таких сочинений, написанное опять-таки не в России, а в чужой земле — русским подьячим посольского приказа, — выходит из ряда обыкновенных произведений старой Руси и обнаруживает уже замечательную силу анализирующей мысли. Мы говорим о Кошихине. У него уже взгляд более широкий, более человеческий, чем у всех русских, до него писавших о России, даже и в отрицательном духе. Он является образованным представителем интересов среднего сословия, над которым налегло старинное барство [с своим невежеством и спесью]. У Кошихина уж не те идеи, что у Курбского: он уже сожалеет и о грубости семейных отношений, и о невежестве высшего класса, и об административных обманах, и о жестокости пытки, и об отчуждении России от Европы. И замечательна его точка зрения: в нём нет неприязни к России, он не смотрит на её недостатки как нераздельные с природою народа, он объясняет их обстоятельствами, отношениями различных классов между собою, и тому подобное. Так, например, говоря о [бесстыдстве и] невежестве бояр, Кошихин объясняет его тем, что они наученья никакого не принимают от других народов; не принимают же потому, что обычаи не повелось ездить за границу, из опасения нарушить чистоту веры и старые обычаи.

«Российского государства люди порою своею спесивы и необычайны ко всякому делу, понеже в государстве своём поучения никакого доброго не имеют и не приемлют, кроме спесивства, и бесстыдства, и ченявости, и неправды. Понеже для науки и обычаи в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веру и обычаи, начали б свою веру отменять и приставать к иным, и о возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили... А который бы человек, князь или боярин, или кто-нибудь, сам или сына, или брата своего, послал для какого-нибудь дела в иное государство, без ведомости, не бив челом государю, и такому б человеку за такое дело поставлено было в измену, и вотчины, и поместья, и животы взяты б были на царя; и ежели б кто сам поехал, а после его остались сродственники, и их пытали б, не ведали ли они мысли сродственника своего; или б кто послал сына, или брата, или племянника, и его потому ж пытали б, для чего он послал в иное государство, не напроваживаючи ль каких воинских людей на московское государство, хотя государством завладети, или для какого иного воровского умышления по чьему научению, и пытая того таким же обычаем» (41 стр.).

Этот отзыв привели мы для того, чтобы показать, что уже в половине XVII века сознавалась людьми среднего сословия необходимость разумных заимствований от Европы. Суждение Кошихина может, пожалуй, показаться исключительным явлением; но здесь важно не то, во скольких лицах мысль выразилась, а то, что она могла появиться в это время, и появиться как естественный вывод из данных, существо-

вавших в самой жизни. Значит, жизнь уже сама по себе вела к сближению с Западом и к заимствованию его знаний и обычаев; и значит, совершенно напрасно утверждают некоторые, что меры Петра⁴⁵ шли совершенно наперекор естественному ходу нашей истории. Он, конечно, ускорил движение, и ещё, может быть, от него зависела отчасти форма, в которой проявилось заимствование. Но, зная несколько относящихся сюда фактов из времён, предшествовавших Петру, нельзя не убедиться, что и здесь от естественного хода дел зависело более, чем от личной воли преобразователя. Обыкновенно петровской реформе делают тот упрёк, что, совершивши сближение наше с Европой слишком быстро, Пётр не дал установиться у нас на этот счёт здравым и солидным идеям, а всё подражание обратил только к одной форме, к внешности. Факт сам по себе справедлив. Но невозможно приписывать его только влиянию быстроты петровской реформы: как бы медленно мы ни заимствовали, всё-таки стали бы заимствовать сначала только внешность—таково было состояние просвещения даже в высших классах, которые более других имели средств к сближению с «иных государств людьми». Одни, как видно из Кошкина, вовсе не хотели тогда ничего иностранного; другие же, как видно из фактов, признавали необходимость введения некоторых вещей на иностранный манер,—но на какие же предметы обращалось их внимание? Из-за границы выписывали отличных архитекторов, кое-каких музыкантов и комедиантов, которые «комедь ломали», и т. п. Разве это не внешность была? И разве этим путём Русь вернее могла дойти до истинных начал образованности, чем путём обширной, всеобщей реформы, предпринятой Петром? Напротив, при этих-то мелочных заимствованиях, удовлетворявших вкусу немногих бояр, которые желали воспользоваться европейскою образованностью для собственной потехи, Русь всего менее могла бы успеть в своём развитии, тогда как реформа Петра, взволновавши давнишний застой Руси, разорвавши узы, которыми связывали всех остатки местничества и другие боярские предрассудки и обычаи, давши больше простора всем классам, значительно ускорила ход самой образованности, которая до того подвигалась таким медленным, едва приметным шагом,—а вместе с тем раздвинула и пределы литературы. В периоде послепетровском литературное развитие, не отступая от своего главного хода, идёт гораздо быстрее, чем прежде, хоть не до такой степени быстро, как полагает г. Милоков.

Мы чувствуем, что читатели уже недовольны нами за то, что мы так долго останавливаем их внимание на предмете, не имеющем ни малейшего соотношения ни с одним из животрепещущих вопросов, волнующих современное общество. Мы знаем, что теперь, когда умы всех обращены к интересам первой важности,—к отменению крепостного права, к гласности, злоупотреблениям между чиновниками, недостаткам воспитания и образования и т. п.,—теперь немногие захотят заглянуть в статью, толкующую о вопросах литературных, не касающихся жизни. Знаем мы, что плохое время выбрали для своей скромной статьи, столь далёкой от всех общественных вопросов. Но что же делать, если дело литературы так мило нам,—хоть нас и бранят

за мнимое пренебрежение к ней,—если судьбы её так нас занимают, что мы не умеем остановиться, раз заговоривши о ней. А говоря об её исторических судьбах, что же могли бы мы сказать интересного для современных читателей, когда общественные вопросы до самого последнего времени были чужды нашей литературе, когда она держалась совершенно особняком и существовала «для немногих»? Впрочем, мы чувствуем, что оправдания наши очень неудовлетворительны, и, сознавая свою вину, постараемся окончить наши заметки как можно скорее, так как в дальнейшем развитии нашей литературы (нужно предупредить читателя) интересы, волнующие ныне общество, оставались почти в той же неприкосновенности, как было и до Петра.

Познакомившись с нравами и государственным устройством других народов, Пётр увидел, как важно образование народное для блага целого царства. Поэтому постоянной заботой его было водворение в России образования по примеру Европы. Лучшим средством для распространения образованности он справедливо считал книги, и в его время письменность русская является решительно провозвестницею воли монарха для подданных. Он понял, что, при заботе о просвещении народа, необходимо призвать на помощь живое убеждение, и это убеждение распространял посредством книг. Всякое событие его царствования, всякий новый закон, новое распоряжение находили себе объяснение и оправдание в произведениях письменности. Так являются во время Петра книги «О причинах, какие имел он к начатию войны со шведами», «Правда воли монаршей о наследовании престола», множество регламентов, специальных книг по части инженерной, артиллерийской, морской и пр., наконец, «Ведомости», в которых в первый раз русские увидели всенародное объявление событий военных и политических. Все новые потребности, возбуждённые Петром, непременно, по его же мысли и желанию, сопровождались книжными явлениями, которые таким образом служили разумным оправданием мер, принятых правительством. Почти все книги такого рода были изданы не частными людьми, а по распоряжению самого же правительства; но самая же возможность писать о всяческих предметах, начиная с политических новостей и оканчивая устройством какой-нибудь лодки, расширяла круг идей литературных и вызвала на книжную деятельность многих, которые в прежнее время никогда бы о ней и не подумали. Замечательнейшим явлением в тогдашней письменности был, без сомнения, крестьянин Посошков, решившийся рассуждать самоучкой о вопросах политической экономии—о средствах умножить избыток в народе и отвратить скудость. Не говоря о точке зрения Посошкова, которая, может быть, не совсем удовлетворит требованиям живой народной науки, заметим здесь только о том, как в этом случае простой здравый смысл русского человека сошёлся с результатами, добытыми, наконец, в многолетних опытах и исследованиях людей учёных. Посошков принялся за рассуждения о богатстве народном просто потому, что этот предмет был к нему ближе всякого другого и проще для него; а между тем этот самый предмет составляет науку, служащую венцом всех так называемых общественных наук. Справедливость

требует, впрочем, сказать, что Посошков, хотя и крестьянин, не был вполне представителем своего класса, а скорее выходцем из него: он занимал какую-то начальственную должность, и в его рассуждениях, вместо естественного побуждения прямых нужд народных, видны нередко разные административные виды. То, что в маленьких размерах приметно у Посошкова, в колоссальном виде выказалось у другого крестьянина, который, благодаря Петровой реформе, получил возможность выучиться разным наукам, побывал за границей и сделался тоже выходцем из своего сословия. Ломоносов сделался учёным, поэтом, профессором, чиновником, дворянином, чем вам угодно, но уж никак не человеком, сочувствующим тому классу народа, из которого вышел он. Иначе, впрочем, и не могло быть в то время: хотя Пётр и уничтожил китайскую стену, отделявшую до него боярина от окольничего, окольничего от думного человека и т. д., хотя он, признавши права заслуг и образования, дал всем простор идти вперёд, — но не могли же все вдруг приобрести образование и отличаться заслугами. Всего легче могли воспользоваться средствами образования опять-таки дети бояр, окольничих и т. п. Низшие сословия могли также высылать теперь на состязание своих избранных; но состязание во всяком случае было неровное, и эти избранные всё-таки оставались едва заметными исключениями из целой массы. Если русская аристократия петровского времени не стала во главе целой нации по своей образованности и нравственному превосходству, то причина этого заключается, конечно, уж не в недостатке материальных средств, а просто в лености и неподвижности, [развешивающем и отупляющем влиянии] нашего старинного барства. Впрочем, если не по умственным совершенствам, то по своему общественному положению, [по табели о рангах,] боярство всё-таки завладело тогда литературою, и она, не сделавшись непосредственным достоянием высших классов, как была прежде достоянием духовенства, постоянно, однакоже, употреблялась посредственно к их услугам. Мы говорим здесь о меценатстве, которое так распространилось у нас во времена после Петра и делало Россию отчасти похожую в некоторых отношениях на Рим времён империи и последних годов республики. Князь Кантемир, принадлежавший ещё к веку самого Петра и притом сам аристократ, держался довольно независимо и по влечению сердца воспевал правительственные и общественные реформы Петра. Но Ломоносов имел уже своих *милостивцев*, в угоду которым сочинял разные «стиховные штуки», как говорил Тредьяковский. Ломоносов много сделал для успехов науки в России: он положил основание русскому естествоведению, он первый составил довольно стройную систему науки о языке; но в отношении к общественному значению литературы он не сделал ничего. Как до него схоластическая поэзия ограничивалась изображением «Орла российского» или сочинением аллегорического «Плача и утешения», в виршах Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, так точно и Ломоносова поэзия не шагнула дальше дидактического нравоучения да напыщенного воспевания бранных подвигов. Действительной жизни он не хотел знать и даже полагал, кажется, что о ней можно говорить не иначе, как

низким слогом, которого должен избегать порядочный писатель. Нельзя же было, в самом деле, рассказывая хоть бы, например, о затруднениях мужика, у которого последняя лошадь пала, возвыситься до того пафоса, до какого доходили наши поэты, описывая ужин и фейерверк, данный знатным боярином. Тут уже не только чувства не те, самый язык не тот будет. Возвышенным, красноречивым, витиеватым слогом можно воспевать только высокие явления жизни — взятие неприятельского города, отбитие у врага нескольких пушек, торжество по случаю победы, иллюминацию, раздачу наград и т. п. Вследствие таких соображений лучшие представители тогдашней литературы старались, так сказать, вести себя сколько можно аристократичнее в отношении к [низким] предметам, касающимся быта простого народа и в отношении к самому этому народу [, к подлому народу, как называли тогда публику, не принадлежавшую к высшему кругу]. Ломоносов, правда, говорил иногда судиям земным, чтобы они блюлись от буйности и подданных не презирали, а наблюдали народную льготу; но это говорится так, en masse, в видах отвлечённой добродетели и справедливости и отчасти даже для красного словца, а ничуть не по глубокому сердечному сочувствию к нуждам народа. Так точно Сумароков восставал против невежества, спеси дворянской, взяточничества и т. п. и в то же время сочинял трагедии, в которых разные герои, владыки и их наперсники вещали высоким слогом нелепейшие бессмыслицы. Те, против кого писал Сумароков грозные сатиры, слушали эти нелепости и хвалили, зная, что автор в милости у знатных особ; а простая публика, видя, что тут для неё ничего нет, преоткровенно грызла орехи во время представления. Тут уже Сумароков пришёл в истинное негодование и от души высказал, что этот [«подлый»] народ не стоит чести смотреть трагедии российского Корнеля и Расина и что сей подлый народ есть необразованная скотина, не признающая даже таких авторитетов, как г. Вольтер и он, г. Сумароков. Но Сумарокову ещё можно простить: у него уж такой нрав был: он всех ругал, сколько сил хватало, хотя сам и восхищался очень наивно своим чином и кавалерством. Можно, с другой стороны, простить и пресмыкание пред знатными какому-нибудь Тредьяковскому, которого можно было высечь за непоставку к сроку оды на маскарад: это уж был человек убитый; его так все и принимали за шута. О всех этих Петровых, Костровых и т. п. говорить нечего: они только и жили милостивцами, стараясь потешать их [невежество] до великолепной стиховой галиматейей, то собственной фигурой. Так, в Риме, после покорения им Греции, образованные рабы, гувернёры, пииты и вместе с тем шуты и полные невольники невежественных патрициев, служили им своим умом, образованностью, ловкостью и вместе щеками и спиной. Учиться и работать считалось в тогдашнем Риме недостойным патриция; наука и работа признавались и в тогдашней России не дворянским делом. Высший класс выпустил из головы своей мысль об образованности и думал удерживать её в своих руках посредством подачек своим паразитам, торговавшим дарами просвещения. К удивлению, находим, что барам нашим проделка их удавалась очень долго. Г. Милокову кажется, что Державин целым

веком отделён от Ломоносова; но мы никак этого не находим. Державина сама императрица приняла под своё покровительство, но и тут не избавила его от необходимости отыскивать милостивцев, которых производил он и в геркулесы, и в гиганты, и чуть не в полубоги. Что же касается до взгляда на народ, его нужды и отношения, то Державин подвинулся немного со времён Ломоносова или даже Симеона Полоцкого. Довольно припомнить его восклицание:

Прочь, дерзка чернь, непросвещенна
И презираемая мной! ⁴⁶

Восклицание, нужно признаться, не совсем гуманное, как и вообще произведения Державина, носящие на себе отпечаток то отвлечённой мёртвой схоластики, то эпикурейских ощущений, не очищенных ни изящным вкусом, ни здоровой мыслью, то придворного шутства в духе нравов того времени. Нет, мы решительно не согласны с г. Миллоковым, будто от Ломоносова до Державина совершилось какое-то громадное развитие в русской поэзии. Если развитие и было, то самое ничтожное, да и то скорее в отношении к внешности, к форме выражения, а уж никак не в отношении к развитию и расширению содержания. Как прежде воспевались отвлечённые добродетели и совершенства, так и теперь, только ещё утомительнее. Ни одна из нравственных од Ломоносова не может поравняться величиною с подобными же одами Державина, из которых в иных нет ли, пожалуй, стихов до тысячи. Как прежде поэт падал ниц, в немом восторге, пред мужем брани, меряя своё благоговение числом людей, убитых под его начальством, так точно и теперь,—да ещё восторженнее прежнего. Как прежде на всемирные события смотрели из маленькой форточки своего узенького окошечка с решёткой и меряли всю землю собственной четвертью, так и теперь круг зрения несколько не расширился. Довольно привести один факт. Державин был кем-то обижён и написал «Оду на коварство». Через три года произошла французская революция; он приделал к своей «Оде на коварство» несколько строф и пустил её в свет под названием: «Ода на коварство французского возмущения». Не удовольствуясь этим, он пришёл к ней ещё похвалу князю Пожарскому. Такие воззрения существовали у русских поэтов прошедшего века!..

На кого ещё указать из этого же периода литературы? На Хераскова и Княжнина? У них ещё менее народности, ещё менее возвышения до интересов общественных, чем у Державина. Предметы поэм Хераскова и трагедий Княжнина уже сами собою показывают, как мало чували дух русской народности сии высокопарные пииты, певшие «от варваров Россию свободженну» и гремевшие своими Росславами. Выбор событий мифологических или ненародных, отвлечённая точка зрения, старание делать намёки, приятные высшим (как, напр., в «Титовом милосердии») — всё это обличало отчуждение от народности, пренебрежение к нуждам и страданиям людей, если они только не пользуются громкими титулами.

О Карамзине говорили у нас как о писателе народном, впервые коснувшемся родной почвы, спустившемся из области мечтаний к живой

действительности. Правда ли всё это? Можно ли сказать, что Карамзин избавился от призраков, которые тяготели над его предшественниками, и взглянул на действительную жизнь светло и прямо? Едва ли. Правда, державинское и ломоносовское парение является у Карамзина уже весьма слабо (а всё-таки является); правда и то, что он изображает нежные чувства, привязанность к природе, простой быт. Но как всё это изображается! Природа берётся из армидиных садов, нежные чувства—из сладостных песен трувёров и из повестей Флориана, сельский быт—прямо из счастливой Аркадии. Точка зрения на всё попрежнему отвлечённая и крайне аристократическая. Главная мысль та, что умеренность есть лучшее богатство и что природа каждому человеку даёт даром такие наслаждения, каких ни за какие деньги получить невозможно. Это проповедует человек, живущий в довольстве и который, после вкусного обеда и приятной беседы с гостями, садится в изящном кресле, в комнате, убранной со всеми прихотями достатка, описывать блаженство бедности на лоне природы. Выходит умилительная картина, в которой есть слова: природа, простота, спокойствие, счастье, но в которой на деле нет ни природы, ни простоты, а есть только самодовольное спокойствие человека, не думающего о счастии других. Отчего происходило это? Неужели писатели карамзинской школы в самом деле полагали, что наши северные поселения похожи на аркадских пастушков? Неужели они не видели, что в простом народе есть свои нужды, свои стремления, есть нищета и горе житейское, а не призрачное? Конечно, они это знали и видели; но им казалось, что этого незачем вносить в литературу, что это будет даже неприлично и смешно. [Так, в наше время что сказали бы мы о писателе, который бы описал с пафосом и подробностью страдания лошади, оторванной от корму, запряжённой против воли в карету и принуждённой ударами кнута ехать, куда ей вовсе не хочется? Так] в карамзинское время дико было снисходить до истинных чувств и нужд, простого класса. В самой истории Карамзин держится постоянно той точки зрения, которая выразилась в заглавии его творения: «История государства Российского». Через 20 лет после него Полевой хотел писать историю русского народа; но ему весьма плохо удалось это дело. Нельзя, впрочем, винить ни его за неудачу, ни Карамзина за его образ воззрения. История не сочиняется, а составляется по данным, сохранившимся более всего в письменных памятниках. А что представляла историку наша древняя письменность? Мы уже видели, что в ней принимали участие только два малочисленнейшие класса народа, и их только интересы выражались в ней. Следовательно, истории народа по данным летописным составить было невозможно, если человек не умел, как говорится, читать между строк. А Карамзин если и имел отчасти это искусство, то единственно для проведения своей главной идеи о государстве. Таким образом нашёл он, что Иоанн III в некоторых отношениях выше Петра Великого; таким образом умел провести нить великих князей киевских, а потом владимирских, чрез весь удельный период; таким образом порядку государственному он противопоставлял свободу народную; не умевши понять, что они

нераздельны и взаимно друг друга поддерживают, он говорил: народы дикие любят свободу, народы просвещённые любят порядок... До какой степени Карамзин сблизил русскую литературу с действительностью, видно из творений его поклонника и последователя—Жуковского. Мечтательность, призраки, стремление к чему-то неведомому, надежда на успокоение там, в заоблачном тумане, патриотические чувства, обращённые к русским шлемам, панцырям, щитам и стрелам, соединение державинского парения с сентиментальностью Коцебу,—вот характеристика романтической поэзии, внесённой к нам Жуковским. Одно только из русской народности воспроизвёл Жуковский (в «Светлане»), и это одно—суеверие народное. И, кажется, только в этом отношении романтическая поэзия и могла соприкасаться с нашим народным духом: во всём остальном она отделялась от него неизмеримой пропастью.

И, однакоже, Карамзин и Жуковский получили в русском обществе такое значение, какого не имел ни один из предшествовавших писателей. Чем же объяснить это? Тем, разумеется, что оба они удовлетворяли потребностям того общества, которое их читало.⁴⁷ [Вопрос остаётся за тем, что это было за общество? Говорят, что Карамзина и Жуковского любит и знает Россия, и этому верят зело учёные люди, которые полагают, что они-то, учёные и образованные, и составляют Россию, а всё остальное, находящееся вне нашего круга, вовсе недостойно имени русского]. Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твёрдая почва—настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа. Вы, может быть, намерены возразить мне, заговоривши о преимуществах образованности, которая даёт человеку власть над неодушевлённой природой, над неразумными животными и возвышает нас над толпой. Но погодите хвалиться вашей образованностью, по крайней мере до тех пор, пока вы не найдёте средств обходиться без этой толпы или давать ей столько же, сколько она вам даёт. Всякий закон, всякое приобретение, всякое положение, всякая вещь, наконец, тем лучше, чем большему количеству личностей или предметов доставляет пользу или удобство. А это что же за великое явление, которое в течение веков всё ограничивается сотнями и тысячами людей, не обращая внимания на миллионы!.. И поверьте, что эти миллионы вовсе не виноваты в своём невежестве: не они отчуждаются от знания, от искусств, от поэзии, а их чуждаются и презирают те, которые успели захватить умственное достояние в свои руки. Если же им и дают что-нибудь, вроде мёртвых схоластических стихов, вместо живой народной поэзии, то народ, естественно, отвращается от подобных прелестей, как вовсе не подходящих к его потребностям и к его положению. Кем же ограничивалась литература даже во времена Карамзина и Жуковского? Круг людей, требованиям которых удовлетворяли эти писатели, был, правда, шире прежнего. Ломоносовские и державинские оды восхвалялись и повторялись только людьми, не чуждыми придворной жизни; довести Карамзина и баллады Жуковского перечитывались, можно сказать,

во всём дворянском круге. Это и составляет значительный шаг вперёд, сделанный карамзинскою школою. Вместе с тем она неизбежно должна была теперь несколько спуститься к действительности,—хотя всё ещё далеко не достигла её. Что в прежней, пиндарической школе⁴⁸ было призрачное величие, то здесь—призрачная нежность; там великолепие, здесь достаток; там гром и молния, [здесь роса и радуга; там фейерверки,] здесь каскады; там трубы и кимвалы, грохочущие славу князей на удивление смертных, здесь арфы, призывающие простых детей природы наслаждаться чувствительностью. Здесь приближение к действительной жизни находим мы, по крайней мере, в том, что уже менее возбуждаются всякие страшилища и разрушители земного счастья. Литература сама ещё не смеет подойти к действительности и объявить себя на стороне настоящего положения вещей; но уже с меньшей охотой, чем прежде, восхваляет она то, что противоречит естественному порядку дел. В литературе, видимо, является наклонность к примирению с жизнью и характер консервативный. Теперь, если недовольство действительным миром и является, то уже не во имя каких-нибудь громких исключительных явлений, а во имя чего-то «очарованного», как выражался Жуковский, во имя каких-то глубочайших стремлений человеческого духа, которых, однако же, поэт и сам не сознавал хорошенько. Такая перемена необходимо должна была явиться при расширении круга людей, интересующихся литературою. Очевидно, что в древние времена какой-нибудь скальд, для которого весь мир заключался в высокородном рыцаре,—его господине и милостивце,—мог без зазрения совести, с самым искренним восторгом, петь его бранные подвиги, оставаясь совершенно равнодушным к страданиям человечества. Его ведь никто и не слышал из этого человечества; он пел для своего рыцаря и его дружины. Если же какие-нибудь скованные пленники и присутствовали тут же во время песни, то их стоны и проклятия только возвышали славу певца и удовольствие доблестного рыцаря с дружиною. Нельзя было оставаться при таком же направлении в то время, когда не одна рыцарская дружина, но уже и мирные граждане стали интересоваться поэтическими созданиями. Нужно было и их потешить чем-нибудь: и вот является для их удовольствия украшенная природа, грациозные китайские куколки, изящные чувства и т. п. Это был неудачный суррогат действительности, на которую явилась уже потребность, на которую боялись дать живьём, боясь оскорбить отвлечённые требования искусства.

Батюшков, любивший действительную жизнь, как эпикуреец, но тоже боявшийся пустить её в ход прямо, увидел, однако, что наши попытки на создание золотого века из простой жизни никуда не годятся. Он пошёл по другой дороге и в своей недолгой литературной деятельности выразил такое умозаключение: «Вы бонтесь изображать просто природу и жизнь, чтобы не нарушить требований искусства; но у древних вы признаёте соблюдение правил искусства, смотрите же, я буду вам изображать жизнь и природу на манер древних. Это всё-таки будет лучше, чем выдумывать самим вещи, ни на что не похожие». Это, действительно, было лучше, но всё-таки было ещё

плохо, тем более, что у нас почти не было людей, которые могли бы сказать, так ли Батюшков изображает мир и жизнь, как древние, или вовсе непохоже на них.

✓ Пушкин пошёл дальше: он в своей поэтической деятельности первый выразил возможность представить, не компрометируя искусства, ту самую жизнь, которая у нас существует, и представить именно так, как она является на деле. В этом заключается великое историческое значение Пушкина. Но и в Пушкине проявилось это не вдруг, и притом проявилось не с тою широтой взгляда, какой можно бы ожидать от такой художественной личности. Карамзинская опрятность, мечтательность Жуковского и эпикуреизм Батюшкова сильно проглядывают в нём; а к этому присоединяется ещё влияние Байрона, которого, как справедливо замечает г. Милоков, Пушкин не понял и не мог понять, как по основе собственного характера, так и по характеру общества, окружавшего его. Натура неглубокая, но живая, лёгкая, увлекающаяся, и притом, вследствие недостатка прочного образования, увлекающаяся более внешностью, Пушкин не был вовсе похож на Байрона. «Пушкин не мог понимать,—говорит г. Милоков,—той ужасной болезни, какою томилось общество европейское, не мог питать к нему той неумолимой ненависти и презрения, какие кипели в душе британского певца, рождённого посреди самого просвещённого народа, не мог проливать тех горьких, кровавых слёз, какими плакал Байрон. Общество русское не было похоже на европейское, и если в то время в самой Европе не оценили ещё значения певца Чайльд-Гарольда и называли его главою *сатанинской школы*, то, разумеется, Пушкин совсем не в состоянии был понять его... Он пленился только разочарованным и гордым характером его героев, мрачным колоритом картин и свободною лёгкостью формы». Таким образом Пушкину долго не давалась русская народность, и он изображал разочарованных «Пленников» и «Алеко», вовсе не подозревая, что такое разочарование не в русском характере, хотя и встречалось в нашем обществе. Одарённый проницательностью художника, Пушкин скоро постиг характер этого общества и, не стесняясь уже классическими приличиями, изобразил его просто и верно; общество было в восторге, что видит, наконец, *настоящую*, не игрушечную поэзию, и принялось читать и перечитывать Пушкина. С его времени литература вошла в жизнь общества, стала необходимой принадлежностью образованного класса. Но опять вопрос: как относится этот класс по количеству и качеству к населению целой России? Здесь нельзя не сознаться, даже с некоторым удовольствием, что класс людей, изображённых Пушкиным и находящихся в близких отношениях к нему, следовательно, им интересующихся, весьма малочислен у нас. Повторяем: говорим это с удовольствием, потому что, если бы в России было большинство таких талантливых натур, как Алеко или Онегин, и если бы, при своём множестве, они всё-таки оставались такими пошляками, как эти господа,—москвичи в гарольдовом плаще,—то грустно было бы за Россию. К счастью, их у нас всегда было мало, и их изображение не только народу было бы вовсе непонятно, но даже и в образованном обществе интересовало

не всех. Гораздо более привлекли к Пушкину внимание публики те картины русской природы и жизни, какие рассыпаны повсюду в его стихотворениях и выполнены с удивительным художественным совершенством. В то время и живое изображение природы было в диковину, а Пушкин так умел овладеть формой русской народности, что до сих пор удовлетворяет в этом отношении даже вкусу весьма взыскательному.⁴⁹

Мы сказали: *формой* народности, потому что содержание её и для Пушкина было ещё недоступно. Народность понимаем мы не только как умение изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. п. Всё это есть у Пушкина: лучшим доказательством служит его «Русалка». Но, чтобы быть поэтом истинно народным, надо больше: надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать всё тем простым чувством, каким обладает народ,—этого Пушкину не доставало. Его генеалогические предрассудки, его эпикурейские наклонности, первоначальное образование под руководством французских эмигрантов конца прошедшего столетия, самая натура его, полная художнической восприимчивости, но чуждая упорной деятельности мысли,—всё препятствовало ему проникнуться духом русской народности. Мало того,—он отвращался даже от тех проявлений народности, какие заходили из народа в общество, окружавшее Пушкина. Особенно проявилось это в последние годы его поэтической деятельности. Жизнь всё шла вперёд; мир действительности, открытый Пушкиным и воспетый им так очаровательно, начал уже терять свою поэтическую прелесть; в нём осмелились замечать недостатки, уже не во имя отвлечённых идей и заоблачных мечтаний, а во имя правды самой жизни. Ждали только человека, который бы умел изобразить недостатки жизни с таким же поэтическим тактом, с каким Пушкин умел выставить её прелесть. За людьми дело не стало: явился Гоголь. Он изобразил всю пошлость жизни современного общества; но его изображения были свежи, молоды, восторженны, может быть, более, чем самые задушевные песни Пушкина. Пушкин тоже тяготился пустотою и пошлостью жизни; но он тяготился ею, как Онегин, с каким-то бессильным отчаянием. Он говорил о жизни:

Её ничтожность разумею
И мало к ней привязан я.⁵⁰

Но он не видел исхода из этой пустоты, его сил не хватило на серьёзное обличение её, потому что внутри его не было ничего, во имя чего можно было предпринять подобное обличение. Он мог только восклицать с лирической грустью:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.⁵¹

Оттого-то он не пристал к литературному движению, которое началось в последние годы его жизни. Напротив, он покарал это движение ещё прежде, чем оно явилось господствующим в литературе, ещё в то время, когда оно явилось только в обществе. Он гордо воскликнул в ответ на современные вопросы: «Подите прочь! какое мне дело до вас!»⁵² и начал петь «Бородинскую годовщину» и отвечать «клеветникам России» знаменитыми стихами:

Вы грозны на словах, попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измайльский штык?
Иль русского царя бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?⁵³

Можно было бы спросить: это ли направление чистой художественности? Не поднимает ли здесь поэт тоже общественных вопросов, с тою разницею, что здесь выражаются интересы совсем другого рода? Да, эти произведения были в поэтической деятельности Пушкина шагом назад,—к державинской и ломоносовской эпохе. Но общество наше было теперь уже не то. Г. Милуков справедливо говорит:

«Общество скоро поняло, что любимый поэт оставил его, что народные радости и печали не находят уже в нём горячего сочувствия и даже встречают холодное презрение. Тогда публика, в свою очередь, по невольному инстинкту, оставила поэта. Это охлаждение публики сильно тревожило Пушкина в последние годы его жизни. Он видел, как разорвалась та симпатическая связь, которая соединяла его с обществом, и начал с лихорадочным беспокойством бросаться во все отрасли литературы: в историю, роман, журналистику, отыскивая какой-нибудь струны, которая связала бы его с публикою. Но ничто не помогало, и смерть избавила его от печальной необходимости видеть себя живым мертвецом посреди того общества, которое прежде рукоплескало каждому его слову» (стр. 177).

Всё это служит доказательством того, что Пушкин постиг только форму русской народности, но не мог ещё войти в дух её. Этим-то и объясняется, что в последнее время он стал писать стихотворения: «Клеветникам России» и т. п., имевшие, может быть, прекрасную художественную отделку, но, по своей мысли, всё-таки назначенные «для немногих», а никак не для большинства публики. Впрочем, недавно изданный VII том Пушкина доказывает, что восприимчивая натура поэта не оставалась глуха к призывам общественных вопросов; только недостаток прочного, глубокого образования препятствовал ему сознать прямо и ясно, к чему стремиться, чего искать, во имя чего приступать к решению общественных вопросов.

Более сил нашёл в себе Гоголь, которого значение в истории русской литературы не нуждается уже в новых объяснениях. Но и он не смог идти до конца по своей дороге. Изображение пошлости жизни ужаснуло его; он не сознал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не сознал, что её нужно до конца преследовать, нисколько не опасаясь, что она может бросить дурную тень на

самый народ. Он захотел представить идеалы, которых нигде не мог найти; он, не в состоянии будучи шагнуть через Пушкина до Державина, шагнул назад до Карамзина: его Муразов есть повторение Фрола Силина, благодетельного крестьянина, его Уленька—бледная копия с бедной Лизы. Нет, и Гоголь не постиг вполне, в чём тайна русской народности, и он перемешал хаос современного общества, кое-как изнашивающего лохмотья взятой взаймы цивилизации, с стройностью простой, чистой народной жизни, мало испорченной чуждыми влияниями и ещё способной к обновлению на началах правды и здравого смысла.

Если окончить Гоголем ход нашего литературного развития, то и окажется, что до сих пор наша литература почти никогда не выполняла своего назначения: служить выражением народной жизни, народных стремлений. Самое большое, до чего она доходила, заключалось в том, чтобы сказать или показать, что есть и в народе нечто хорошее. С течением времени подобные замечания и указания делаются всё чаще и чаще, и в этом пока заключается развитие нашей литературы. В числе исключительных личностей, мало имевших влияния на литературное движение, нельзя забыть Крылова, Кольцова и Лермонтова. Крылов ограничил свою деятельность одним родом литературных произведений—баснею, и потому мало имел влияния на развитие литературы, хотя, конечно, значение его будет весьма велико, когда его басни дойдут до народа. Кольцов жил народною жизнью, понимал её горе и радости, умел выражать их. Но его поэзии недостаёт всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только с своими частными житейскими нуждами; оттого песни его, при всей своей простоте и живости, не возбуждают того чувства, как, например, песни Беранже. Лермонтов же обладал, конечно, громадным талантом и, умевши рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе. Доказательством служит его удивительное стихотворение «Родина», в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно. Он говорит:

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Что же любит в родине этот поэт, равнодушный и к воинской славе, и к величавому покою государства, и даже к преданьям тёмной старины, записанным смиренными иноками-летописцами? Вот что он любит:

Просёлочным путём люблю скакать в телеге,
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.

Люблю дымок спалённой жнивы,
 В степи кочующий обоз
 И на холме, средь жёлтой нивы,
 Чету белеющих берёз.
 С отрадой, многим незнакомой,
 Я вижу полное гумно,
 Избу, покрытую соломой,
 С резными ставнями окно;
 И в праздник, вечером росистым
 Смотреть до полночи готов
 На пляску, с топаньем и свистом,
 Под говор пьяных мужичков.⁵⁴

Полнейшего выражения чистой любви к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от русского поэта. К несчастью, обстоятельства жизни Лермонтова поставили его далеко от народа, а слишком ранняя смерть помешала ему даже поражать пороки современного общества с тою широтою взгляда, какой до него не обнаруживал ни один из русских поэтов...

Таков был, по нашему мнению, общий ход развития русской литературы с древнейших её времён.

«А сатирическое-то направление?—воскликает читатель.—Вы о нём ничего не говорите? Что литературное развитие вообще было слабо, это мы знаем; это и г. Милюков говорит, и ещё гораздо сильнее вас. Но он, вместе с тем, превозносит сатирическое направление. Г. Милюков говорит, что без сатирического направления никакого спасения не было для русской литературы и что сатирическое направление всегда её поддерживало, оживляло, возносило и прославляло. Г. Милюков говорит, что «сатира всегда сражалась с массою, которая постепенно уменьшается; что она враждовала с настоящим, как с остатками прошедшего, указывая на славное будущее; что она всегда производила благотворное действие на нравы; что в сатире общество наше нашло того двигателя, который постоянно продолжает вести его по пути к совершенству, уничтожая преграды, поставленные вековым отчуждением и невежеством». Вот что говорит г. Милюков о значении сатиры. А вы даже не упомянули о её благотворном влиянии!»

Да,—отвечаем мы,—верьте г. Милюкову! Он слишком нежно смотрит на русскую литературу; он проникнут такою горячею любовью к ней, что непременно хочет в ней отыскать нечто превосходное и благодетельное для нравов общества. Не за что взяться, так он и принялся за сатиру, как за прекрасное средство дать почувствовать благородные стремления литературы. Это с его стороны большая поблажка, делающая честь доброте его сердца, но тем не менее излишняя. Что касается до нас, то мы вполне верим г. Милюкову только тогда, когда он бранит что-нибудь: уж если такой добрый и снисходительный человек находит, что это дурно, думаем мы, то уж верно и в самом деле дурно. Но когда он хвалит, то нельзя не видеть, как его доброе сердце преувеличивает значение восхваляемой вещи. Вот хоть бы и сатира русская... Мы о ней нарочно не говорили, именно потому, что г. Милюков так превозносит её. «Очерк поэзии»

г. Миллюкова составлен так хорошо, как ни одна из историй русской литературы, и потому нам не хотелось спорить с почтенным автором о предмете, который так последовательно проведен им по всей книге. Сатирическое направление, разумеется, хорошо; кто же об этом спорит? Но зачем приходить от него в такой восторг? зачем приписывать ему исправление нравов общества, зачем считать его каким-то двигателем? Стоит всмотреться пристальнее в нашу сатиру, чтобы убедиться, что она проповедывала зады. Положение наших сатириков было, в самом деле, отлично-выгодное: они видели перед глазами, в других частях Европы, лучший порядок, и могли смеяться над нашим дурным порядком, зная, чего именно хотят они. Они могли выставлять на позор наши заблуждения, наше невежество, почерпнув из западной науки истины, ещё неизвестные и недоступные нашему обществу. Но что же делала наша сатира? Она всегда шла позади жизни, тогда как по своему исключительному положению среди нашего общества могла опережать её; она видела порок только тогда, когда он был уж уличён, опубликован и всенародно наказан; ранее она не осмеливалась дотронуться до него. Ведь были у нас, конечно, люди образованные и раньше Кантемира; были и противники просвещения; отчего же только после указа Петра о том, что стыдно быть невеждою, особливо дворянину, и что все дворяне должны учиться,—отчего только после этого является сатира на хулящих учение?.. Пьянство испокон веку у нас было распространено; против него были указы ещё в XVI и XVII веке; а до Кантемира опять никто сатирически не изобразил его. Местничество при Петре уже окончательно пало, а Кантемир потешается над ним (то есть вообще над боярской спесью) в целой длиннейшей сатире. А ханжество, лесть, обман и т. п. разве меньше были распространены до Кантемира? Что же никто не поражал их? Ответ, конечно, лёгок: тогда и сатиры вовсе не было, а на нет и суда нет. Ну, хорошо; а почему Кантемир не поражал тех пороков, какие в его время были сильны? Вы спросите, какие пороки? Да возьмите современные записки или хоть немножко пораньше. Возьмите хоть Кошихина. Вот, например, он говорит, что при царском погребении, которое совершается всегда ночью, бывает страшный грабёж, потому что московских людей *натура не богобоязливая*: «и сыщется того дни, как бывает царю погребение, мёртвых людей, *убитых и зарезанных*, больше ста человек. И изойдётся на царское погребение денег на Москве и в городах близко того, что на год придёт с государства казны» (стр.17). Или, например, тот же почтенный подьячий пишет, что «во всём свете нигде такого на девки обманства нет, яко в московском государстве». И описывает эти обманства. А они продолжались, с разными видоизменениями, и во времена Кантемира. Или—у Кошихина есть такое известие о чиновниках: хотя, говорит он, за взятки и положено наказание, и чиновники клянутся и крест целуют, чтобы посулов не принимать, но «ни во что вера их и заклинательство: от прелести очей свои удержати не могут и руки ко взятию скоро допускают, хотя не сами собою, однако по задней лестнице через жену, или дочь, или через сына, и брата, и человека, и не ставят того себе во взятые посулы, будто про то

и не ведают» (стр. 93). Или вот это: «а буде (бояре и дворяне) учинят над подданными своими крестьянскими жёнами и дочерьми какие блудные дела, или у жонки выбьют робёнка, или мученая и битая с робёнком умрёт, и будет на таких злочинцев челобитье, и по их челобитью отсылают такие дела на Москву к патриарху» (стр. 114). Да чего тут ждать челобития! Сатирой бы их хорошенько, этих злочинцев! Их-то именно и прикрыть бы сатирой! Но сатира Кантемирова молчала об этом, а восставала с благородным негодованием против Медора, завивающего кудри, против Менандра, переносящего вести, против скупого Хризиппа, против расточительного Клеарха. А главной её заботой было воспеть пользу преобразований, уже сделанных Петром, и посмеяться над теми, которые бессильно, на словах, ещё отвергали их пользу. А то мало ли было во время Петра и вскоре потом пороков, подлежащих обличению литературы! Загляните только в «Записки Желябужского»; чего там нет! «В 193 (1685) г. князю Петру Крапоткину чинено наказание: бит кнутом за то, что в деле своровал, выскреб и приписал своею рукою. В том же году князь Яков Иванов, сын Лобанов-Ростовский, да Иван Андреев, сын Микулин, ездили на разбой по Троицкой дороге к красной сосне, разбивать государевых мужиков, с их, великих государей, казною, и тех мужиков они разбили, и казну взяли себе, и двух человек мужиков убили до смерти. В 201 г. (1693) князю Александру Борисову, сыну Крупскому, чинено наказание: бит кнутом за то, что жену убил. В 202 г. земского приказу дьяк Пётр Вязмитинов перед московским судным приказом подыман с козел и, вместо кнута, бит батоги нещадно: своровал в деле, на правех ставил своего человека, вместо ответчика». Такие явления заслуживали, я думаю, литературного обличения более, нежели завиванье кудрей и пристрастие к французским модам. Если хотите проследить явления русской жизни, подлежащие сатире, далее, то можете заглянуть во многие книги, только не в сатирические творения. В русской сатире современность вы редко найдёте; скорее попадётся она вам в каких-нибудь мемуарах Манштейна, Миниха, Храповицкого, Грибовского, в «Семёна Порошина записках», в «Актах, извлечённых из иностранных архивов» Тургеневым, в «Полном собрании законов российской империи». В Полном собрании есть, например, указ Петра I о том, «что крестьян продают на розницу, как скотов, и даже так, что от семей, от отца или от матери, дочь или сына помещик продаёт, отчего немалый вопль бывает». Сатира не коснулась таких явлений до последнего времени. Можно ли же после этого сказать, что она была двигателем общества по пути к совершенству? Стоит ли также говорить о её благотворном влиянии на исправление нравов? Сумароков преследовал взяточничество; это было хорошо, хотя и поздно немножко, потому что об этом зле есть уже положительные упоминания в XVI столетии. Но что же вышло из его обличений? Через 25 лет после него Капнист опять обличал то же; через 40 лет потом Гоголь восстал против того же в «Ревизоре»; ныне, через 20 лет после «Ревизора», образовалась целая литература приказной казуистики: видно, что мало пользы принесли сатиры русских авторов, как они ни были разнообразны

и ядовиты.⁵⁵ А всё отчего? Оттого, что сатира всегда была робка, мелочна, близорука, пока сама жизнь не опережала её. Кого выводили преследователи взяток? Городничего, исправника, станового, квартального, председателя гражданской палаты, да ещё какого-то нарицательного судью, вероятно, уездного. Предположите же, что все подобные мелкие чиновники исправились бы после сатирических нападений на них; думаете ли вы, что этого было бы довольно для прекращения взяточничества в целой России? Притом посмотрите, с какой точки зрения делаются у нас все обличения сатирические. Говоря, совершенно справедливо, что

...Законы святы,
Да исполнители лихие супостаты,

наши сатирики на этом и успокаиваются. Не принимая в расчёт состояния общественной нравственности, ни исторических обстоятельств развития порока, ни общего положения администрации, ни отношений одного класса к другому, сатирики рады свалить всю беду на бедную личность чиновника, которая часто вовсе без вины виновата. Так, один умный администратор, вроде Сквозника-Дмухановского, хотел предать суду одного человека, пойманного на месте в азартной игре. «С кем же он был пойман?» Да один, видите: он вёл азартную игру сам с собою!

Возьмите другой порок, который преследовала наша сатира,—невежество. Кантемир смеялся над теми, которые не слушаются указов Петра I; чувства его очень похвальны, хотя опять нельзя сказать, чтоб они предупредили жизнь... Но посмотрим, что из того вышло. Прошло 30—40 лет; Сумароков опять выводит господина, который говорит:

...Не надобно наук:
Мой мальчик не учён, а в те ж пойдёт ворота.
Пушай убытчатся, уча ребяток, моты...

Прошло ещё лет 20; г-жа Простакова говорит: что за география? извозчики есть; что за деление? ни с кем делиться своим добром не надобно, и пр., в этом духе.⁵⁶ Проходит ещё лет 40, и мы слышим сожаление о князе Фёдоре, который, бог знает зачем, учится разным наукам...⁵⁷ Что из этого следует? По-нашему,—то, что одно из двух положений г. Милюкова в пользу сатиры неверно: или сатира не производила благотельного влияния на нравы, или же она производила его, и тогда, значит, после Кантемира, она уж всё повторяла зады единственно для своего удовольствия.

Повторять зады, впрочем, не в диковинку было русской сатире: она отлично умела бранить то, что уж отжило свой век и было неопасно. В этом отношении особенным искусством отличался Державин. Он умел сочинить даже оду сатирическую, обративши стрелы своего остроумия на прошедшее, да на некоторые анонимные личности, которых, впрочем, испугался, узнав, что до них дошла его ода. Между прочим, он остроумно и справедливо говорит, что при дворе Фелицы

...Свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят;
Не шелкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимцы вьявь им не хохочут
И сажей не марают рож.⁵⁸

А ведь когда это всё совершалось, ничей сатирический голос не поднялся для порицания подобных потех! Вот вам и могущество русской сатиры!

Если же не на прошедшее обращались нападения сатириков, то уж на такие микроскопические недостатки, от которых общественная нравственность решительно не изменяла своего положения. Например, в прошлом столетии каждый сатирик непременно преследовал со всем жаром «плохих стихотворцев». На них и сатиры, и басни писались, и в посланиях они задевались, и даже, кажется, в разговорах в царстве мёртвых осмеивались. Не правда ли, какое достойное занятие для русского сатирика! Как хорошо рисуется этим домашнее, патриархальное значение русской литературы, которая писалась сама для себя, находила предметы в своём тесном кружке и довольна была тем, что производила послания одного поэта к другому, эпиграммы другого на третьего, критики третьего на послания первого, сатиры первого на критики третьего и т. д. Вот уж в подлинном смысле литература была сама для себя целью: художественная, видно, была литература!

Что же касается до действительных и важных злоупотреблений поэзии, они никогда не встречали своевременного обличения. Пиндализм, имевший в виду.

...Награду перстеньком,
Нередко сто рублей, иль дружество с князьком,

не встретил насмешки ни в ломоносовское, ни в державинское время; а уже тогда, когда он отжил свой век, явилась злая сатира Дмитриева: «Чужой толк». Над поэмами Хераскова тоже стали смеяться только с двадцатых годов нынешнего столетия. Только над Жуковским Батюшков осмелился посмеяться очень скоро, сочинивши пародию на его «Певца», зато пародия эта не была известна публике до прошедшего года.⁵⁹

А подражание французам! От Кантемира, Сумарокова, Фонвизина до «Русского педагогического вестника», издаваемого с прошлого года неким господином Вышнеградским,—все, вот уж слишком сто лет, все нападают на подражание французам; но только всё не в прок! Бог знает отчего это!—кажется, уж «Русская беседа» и русское воззрение сочинила на место французского, а всё толку нет: как открылась первая возможность, так и отравились десятки тысяч за границу...⁶⁰ А заметьте, что подражание французам распространено ведь в ничтожном меньшинстве русских; народ и до сих пор, хоть и не чуждается иноземцев, как прежде, но и не думает принимать их нравы. Что же это за могучая сатира, которая с ничтожным кружком, в частном вопросе не может справиться?

Нет, как вы хотите, и в сатире нашей постоянно господствовала та мелкость, та узкость взгляда, которые мы заметили вообще в нашей литературе. И сатира не возвышалась у нас до понимания народных интересов, несмотря на некоторые исключительные явления, почти всегда имевшие только частный смысл. [Нельзя же ведь Сумарокова, например, называть представителем народных интересов только потому, что у него есть такие стихи:

На то ль дворяне мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?
Мужик и пьёт, и ест, родился и умрёт;
Господский так же сын, хотя и слаще жрёт,
И благородие своё нередко славит,
Что целый полк людей на карту он поставит.
Ах, должно ли людьми скотине обладать.

Этими стихами обольщаться не должно: смысл их не простирается далее такого заключения: людьми надобно обладать не скотине, а людям, и обладать по-людски, т. е. милостиво и справедливо. Та же мысль и у Фонвизина, в отзывах Простаковой о Палашке. В случае надобности, это можно доказать другими местами из их сочинений.]

Вообще, что русская сатира не народна, это видно уж из того, что она противоречит народной пословице: «лежачего не бьют». Она постоянно восставала на лежачего, как только переставала пересыпать из пустого в порожнее. А большею частью занималась этим полезным пересыпанием. Ведь придёт же, в самом деле, в голову русскому сатирику переводить «боалову сатиру о различии страстей человеческих»! Или переделывать на русские нравы ювеналову сатиру о благородстве! Грибоедов как будто имел в виду русских сатириков, изображая Чацкого. Ни к селу ни к городу, людям, которые не хотят их слушать и не могут понять, а если поймут, то не могут выполнить их требований, начинают они кричать о Кузнецком Мосте и вечных нарядах, об иголках и шпильках (не замечая слона), «востоят против фраков и бритья бород (а сами выбриты и во фраке)», против мелочных недостатков, зависящих от обычая или даже приличий, принятых всеми и в сущности никому не мешающих. И тут же вдруг, как снег на голову, грянут с каким-нибудь маленьким требованием: будь, дескать, добродетелен, служи бескорыстно, ставь общее благо выше собственного, и т. п. абстракции, весьма милые и вполне справедливые, но, к несчастью, редко зависящие от воли частного человека... Совершенно так, как Чацкий издевается над фраком, очень хорошо понимая, однако, что носить или не носить фрак, брить или не брить бороду, вовсе не зависит от восклицаний какого-нибудь одного азартного господина.

Нет, мы решительно недовольны русской сатирой, исключая сатиры гоголевского периода. Вот почему и не хотели мы говорить о ней так, как мы о многом не хотели говорить в этой статье. Просим читателей не видеть в наших отрывочных заметках каких-нибудь особенных претензий. Мы даже не хотели проводить своего взгляда по всем явлениям русской литературы; мы сказали только, что любопытно

было бы представить ход развития русской литературы с такой точки зрения: как она постепенно сближалась с народом и действительностью, постепенно избавляясь от исключительного влияния книжников-монополистов и от призрачных, туманных идей, насильно навязанных ими литературе. Г. Милуков отчасти имел в виду этот взгляд в последней половине своего труда, именно в оценке деятельности Пушкина, Лермонтова и Гоголя; но, увлекшись жаркою любовью к сатирическому направлению, он не мог провести этого взгляда по всей книге. Да если бы и провёл, то результаты его оказались бы, вероятно, излишне плодотворны, опять по тому же крайнему уважению к сатире. Мы же, с своей стороны, признаём только плодотворность сатиры Лермонтова, Гоголя и его школы, да и то не в таких громадных размерах, как представляет г. Милуков. Мы видим, что и Гоголь хотя в лучших своих созданиях очень близко подошёл к народной точке зрения, но подошёл бессознательно, просто художнической оценью. Когда же ему растолковали, что теперь ему надо идти дальше и уже все вопросы жизни пересмотреть с той же народной точки зрения, оставивши всякую абстракцию и всякие предрассудки, с детства привитые к нему ложным образованием, тогда Гоголь сам испугался: народность представилась ему бездной, от которой надобно отбежать поскорее, и он отбежал от неё и предался отвлечённейшему из занятий—идеальному самоусовершенствованию. Несмотря на то, художническая его деятельность оставила глубокие следы в литературе, и от нынешнего направления можно ожидать чего-нибудь хорошего, потому что нынешние деятели начинают явно стыдиться своего отчуждения от народа и своей отсталости во всех современных вопросах. Предупредить жизни литература не может, но предупредить формальное, официальное проявление интересов, выработавшихся в жизни, она должна. Пока ещё известная идея находится в умах, пока ещё она только должна осуществиться в будущем, тут-то литература и должна схватить её, тут-то и должно начаться литературное обсуждение предмета с разных сторон и в видах различных интересов. Но уж когда идея перешла в дело, сформировалась и решилась окончательно, тогда литературе нечего делать; разве только один раз (не больше) похвалить то, что сделано. Поздняя же брань будет просто постыдным пересыпаньем из пустого в порожнее и будет только напоминать того хохла, который, будучи сильно побит, пришёл домой и храбрился перед родными, хвастаясь, что когда его били, так он тоже своё дело делал—«показывал фигуру»—в кармане.

Пора, наконец, и расстаться с г. Милуковым. Но мы не можем расстаться с ним, не обративши внимания читателей на его превосходный разбор «Мёртвых душ», по всем правилам эпической поэмы. Применение всех этих правил к «Мёртвым душам» обнаруживает в авторе большой диалектический талант. Как, например, умел он найти чудесное в «Мёртвых душах»? Это была трудная задача, а он нашёл, и нашёл так искусно, что мы не можем удержаться от удовольствия выписать это место.

В героической поэме, по условиям теории, должно быть чудесное: таково в «Энеиде» вмешательство Эола и Юноны в судьбу сына Анхизова, а в «Илиаде» — участие богов Олимпа во всех битвах и событиях под стенами Трои. И это мы находим в нашей отечественной эпике. Что может быть чудеснее этих мёртвых душ, которые «окончили в некотором роде своё земное существование», а между тем невидимо присутствуют перед вами во всей повести и служат главным основанием подвигов героя, важнейшим средством его к достижению высокой цели обогащения? И кому не покажется сверхъестественным, что души крестьян, давно уже совершивших своё жизненное поприще, существуют ещё за стиксовой гранью гражданской палаты, незримо живут в горах бумаг и ревизских сказок, таинственно прикованы ещё к земле и не смеют вкушать успокоения в Елисейских полях, пока не прозвучит труба новой ревизии и не освободит их от невидимого заключения в судебных вертепах! Кто не увидит чудесного в том, что эти мёртвые души продолжают ещё невидимо платить за себя подати и отправлять повинности, служить предметом сделок и процессов, средством обогащения и спекуляции и даже вводят в сомнение Коробочку, не годятся ли они ещё на что-нибудь в домашнем хозяйстве! Всё это в высшей степени чудесно, а вместе с тем действительно и вполне естественно, — выгода, какой не имел решительно ни один из древних эпических поэтов. (Стр. 214—215.)

Повторим в заключение, что книжка г. Милюкова умнее, справедливее и добросовестнее прежних историй литературы, составившихся у нас в разные времена, большею частью с крайне-педантической точки зрения. Особенно тем из читателей, которые стоят за честь русской сатиры и которым наш взгляд на неё покажется слишком суровым и пристрастно-неблагонамеренным, таким читателям лучше книжки г. Милюкова ничего и желать нельзя в настоящее время.



ЖИЗНЬ МАГОМЕТА⁶¹

СОЧИНЕНИЕ ВАШИНГТОНА ИРВИНГА

Перев. с англ. Петра Киреевского. Москва. 1857 г.



Сочинение Ирвинга не нуждается в том, чтобы мы стали хвалить его, а о переводе г. Киреевского довольно сказать, что он читается очень легко. За его добросовестность и верность с подлинником ручается имя переводчика. Следовательно, с этой стороны нам нечего распространяться, равно как не нужно, мы думаем, делать подробный обзор содержания книги Ирвинга. Кому же неизвестна история жизни Магомета в главнейших её фактах? Поэтому, мы решаемся ограничиться здесь несколькими размышлениями о частных обстоятельствах, касающихся отчасти нашей исторической науки.

Странный вид принимают исторические знания под пером наших историков!.. Точно скучная, нелепая сказка для детей, из числа тех, которые так неискусно составляются к празднику и издаются г. Генкелем! Начинается обыкновенно с того, что такое-то царство основано таким-то царём, который завоевал такие-то страны и основал свою столицу в таком-то городе. А там и пойдёт писать, всё в том же роде до тех самых пор, как государство падёт, непременно от роскоши и развращения нравов. Откуда вдруг взялась эта роскошь и развращение, ученик никак не может добиться в наших доморощенных курсах истории. На историческое развитие народа, на естественную, живую связь событий никогда не хотят обратить ни малейшего внимания наши историки. Их история представляет обыкновенно не историю, а какую-то плохо составленную «Всеобщую биографию великих людей».—Это—Плутарх для юношества, написанный в дурном духе и без всякого такта. Всё в наших историях предоставляется влиянию личностей: государство основалось оттого, что нашёлся великий человек, который основал его; пало государство—оттого, что пять-шесть государей дурно им правили и допустили развращение нравов; новая религия явилась—оттого, что явился человек, который её выдумал; война проиграна—оттого, что полководцы были неискусные; восстание произошло—оттого, что несколько неблагонамеренных человек раздражили народ... И так далее, и так далее, за что ни возьмитесь. Но ведь был же какой-нибудь материал, над которым все эти

полководцы, правители и прочие великие люди производили свои упражнения? Ведь не один же, сам собою, полководец вёл войну, не сам же собою какой-нибудь молодец, ни с того, ни с сего, основал вдруг целое «гражданское общество», как выражаются наши историки. Верно, кто-нибудь помогал ему, служил орудием его планов, и, верно, его замыслы потому и удались, что удовлетворяли потребностям тех, которые согласились содействовать ему? Что же это были за люди, каково было их положение? отчего они слушались людей неблагонамеренных, а не слушались благонамеренных? Какие были в них самих качества или недостатки, которыми великая личность могла воспользоваться для того, чтобы употребить их орудием в своих замыслах? Все эти вопросы рождаются непременно в голове всякого ребёнка, не совсем ещё забитого схоластикой; но ответов нет на эти вопросы. Наши исторические учебники совсем не хотят обращать внимания на эти вопросы. Уж лучше бы они сказали прямо: «вы хотите знать, что за народ были греки и римляне? Это были народы, не стоящие ни малейшего внимания; о них и говорить нечего. А было между ними десятка два порядочных людей; о них, пожалуй, мы вам расскажем с великою охотою». Тогда мы знали бы, по крайней мере, что обязательные историки хотят дать нам «Bibliothèque amusante pour les enfants»*,—и не стали бы ожидать от них истории. Так нет, не хотят: скропают кое-как десятка два-три биографий, большею частью воинственного характера, да и говорят, что сочинили историю. Помилуйте, какая история! Биографии-то,—и те плохо сшиты, и ещё хуже приставлены к общему ходу дел исторических! По мнению наших историков—захотела великая личность совершить что-нибудь—и совершила: ей честь и слава! Если же она произвела что-нибудь не по нраву нашим историкам, беда исторической личности! Окажется, что это был обманщик, безнравственный человек, злодей и т. д. Не хотят понять, что ведь историческая личность, даже и великая, составляет не более как искру, которая может взорвать порох, но не воспламенит камней, и сама тотчас потухнет, если не встретит материала, скоро загорающегося. Не хотят понять, что этот материал всегда подготавливается обстоятельствами исторического развития народа, и что, вследствие исторических-то обстоятельств, и являются личности, выражающие в себе потребности общества и времени.

Вот, напр., хоть бы Магомет, как он рисуется в наших историях? Во-первых—как обманщик, ни с того, ни с сего вдруг сочинивший новую веру и морочивший людей ложными чудесами; во-вторых—как завоеватель, внезапно принесящий, неизвестно из каких тайных источников, новые силы народу слабому и ленивому, и мгновенно превративший мирных пастухов в хищных завоевателей. Почтенным историкам не представляется ни малейшей надобности подумать серьёзно, как же это, однако,—обманщик мог увлечь столько миллионов людей и не быть уличённым в обмане? Что же это за сверхъестественные силы мог он вдруг сообщить народу? Откуда взялись в нём-то самом такие силы? Читающий историю должен думать, что всё это произо-

* Занимательная библиотека для детей (франц.). — *Ред.*

шло от каких-нибудь калик перехожих, точно так, как богатырские силы Ильи Муромца. В самом деле, если Илья Муромец, напившись пива крепкого, вдруг пошёл совершать славные подвиги, то почему же и с Магометом не могло случиться того же самого?

Но туман мало-по-малу проясняется. У нас начинают переводить хорошие исторические сочинения, и можно надеяться, что это будет иметь влияние вообще на изложение истории в наших курсах. В рассматриваемом нами сочинении Вашингтон Ирвинг изображает личность Магомета, его характер, его учение, и делает очерк состояния страны и народа, в которых он появился. Из этого изображения ясно видно и естественное происхождение магометовой религии, и развитие мусульманского могущества, сообразно с характером самого учения и с характером народов, которые его приняли. И во-первых—был ли Магомет грубым обманщиком, как думают о нём некоторые историки? Для разрешения этого вопроса Ирвинг прежде всего спрашивает: была ли Магомету выгода обманывать, была ли какая-нибудь надобность изобретать религию? Подробный обзор фактов приводит к отрицательному заключению. Чего бы он мог искать, стараясь привлечь к себе поклонников? Мог бы он иметь в виду вещественные выгоды, которые дали бы ему средства жить пышно и беспечно;—но он и без того был очень богат. Имение, приобретённое им женитьбою на Кадидже, делало его одним из богатейших людей Мекки и давало возможность делать большие обороты. Но он выказал в этом отношении большую умеренность: он скоро вовсе отстал от торгозли, чтобы вполне предаться своим таинственным созерцаниям. Следовательно, богатства он не искал. Он мог увлекаться тщеславным желанием заслужить общее уважение: но и этого не нужно ему было желать. По своему происхождению из знаменитого рода Корейш, по своему богатству, по умственным и нравственным своим качествам, он пользовался глубоким уважением своих сограждан. Один из его историков, Абульфед, говорит, что Магомет по своей честности и прямоте был известен всем и даже получил прозвище—Аль-Амин—т. е. верный. Мог он искать ещё власти и могущества; но в таком случае он мог избрать множество других, более лёгких путей. В его роде преемственно переходил, уже несколько поколений, сан блюстителя Каабы ⁶² и, вместе с тем, главенство над священным городом; Магомет мог добиваться этого сана и, при своём богатстве, прекрасных душевных качествах и всеобщем уважении к нему, без сомнения успел бы в своих исканиях. Но он пренебрёг всем этим и избрал другой путь. Могло быть, наконец, то, что Магомет страдал ненасытным честолюбием и хотел непременно совершить что-нибудь громкое, необычайное, чтобы прославить своё имя во всём человечестве. Но и тут, если б он был хитрый обманщик, то скоро оставил бы своё дело, видя начало совершенно неблагоприятное. У нас в учебниках говорится обыкновенно, что учение Магомета *быстро* распространилось при посредстве огня и меча. Но на самом деле происходило это не так быстро. Магомет должен был вытерпеть много испытаний, переносить порицания, насмешки, отчуждения ближних и родных, наконец, гонение, пока учение его не стало торжествовать.

В первое время после того, как он объявил о своём призвании—преобразовать веру,—ему нельзя было показаться на улицах Мекки: толпа бегала за ним с бранью и грубыми насмешками, распевая злые пасквили, сложенные про него молодым поэтом Амру-Ибн-эль-Аасом. Даже во время молитвы Магомета в Каабе не давали ему покою, бросали в него грязью, а один раз даже чуть не задушили его. В четыре года своей проповеди он приобрёл только 15 явных приверженцев: одиннадцать мужчин и четырёх женщин; и тех на пятый год принуждён был отправить в Абиссинию, чтобы спасти от ярости своих врагов. Против него самого вешают в Каабе приговор отчуждения, и в продолжение трёх лет существует запрещение входить в какие бы то ни было сношения с ним и с его приверженцами. Наконец, он принуждён был спасать свою жизнь бегством в Медину, скрываясь на пути в пещерах и пустынях. Все эти факты очень ясно говорят против мнения о Магомете, как о бесчестном обманщике.

«Зачем же он, — замечает Ирвинг, — стал бы стоять столько лет за свои обманы, которые у него отняли всё земное, что у него было, и в такую пору жизни, когда уже поздно было приобретать что-либо сызнова» (стр. 255).

Как доказательство шарлатанства в Магомете, приводят обыкновенно его мнимые чудеса. Но в этом случае наши историки оказываются детски легковерными, несравненно легковернее даже многих из поклонников пророка. Невежественная часть его почитателей сложила про него предания, изукрашенные всеми чудесами восточной фантазии. Противники его веры стали злостным образом объяснять его чудеса, уверяя, что он приучал голубя клевать из своего уха, чтобы сказать народу, что это ангел прилетал к нему; что он зарывал тихонько в землю горшки с молоком и мёдом, чтобы потом всенародно вырыть их, будто посланные небом, по его молитве, и пр. Умнейшие из мусульманских писателей сделали гораздо проще: они сказали, что все эти чудеса—позднейшие выдумки невежества, и что сам Магомет признавал одно только чудо—Коран. Это решение мусульманских писателей доказывается словами самого Магомета в Коране, приводимыми Ирвингом.

«Какого вам нужно чуда больше, чем сам Коран? — говорит Магомет. — Книга откровений, начертанная безграмотным человеком, такая высота языка и неоспоримость доводов, что совокупное искусство людей и дьяволов не могло бы написать ничего подобного! Чего же ещё больше в доказательство того, что дать Коран мог один только бог? Сам Коран — уже чудо». —

В этих словах замечательно резко выражается предпочтение, оказываемое Магометом внутренним и нравственным ручательствам дела пред внешними, как бы посторонними признаками. Основываясь на таких свидетельствах и самого Магомета, и лучших его последователей, Ирвинг имел полное право сказать положительно:

«Нет доказательств, чтобы Магомет унизился до подобных хитростей, подкреплял ими своё учение и утверждал притязание своё на апостольство. Он, кажется, вполне опирался на свой ум и на красноречие, а в первую, ещё шаткую, эпоху своего поприща поддержан был и религиозным одушевлением» (стр. 57).

Если же кто усомнился бы в том, могли ли сложиться предания о подобных чудесах сами собою, можно привести рассказы о множестве чудес, совершившихся будто бы при самом рождении и в малолетство Магомета. Рассказывают, что мать его не страдала муками рождения, что необыкновенное сияние явилось на небе в самую минуту его рождения, небо и земля колебались, озеро Сава потекло вспять, Тигр вышел из берегов, священный огонь зороастров, хранившийся неугасимым уже более тысячи лет, внезапно потух и пр., и пр. Мул, на котором везли его, ещё младенца, получил вдруг дар слова; когда он, ещё мальчиком, лёг отдохнуть под скудной тенью засохшего дерева, оно мгновенно покрылось свежей зеленью... Таких чудесных рассказов необыкновенно много сохранилось в преданиях мусульман; суеверная толпа верит им, но более умные последователи умеют смотреть на них надлежащим образом.

Чем же объясняет Ирвинг деятельность Магомета? Он очень просто считает её естественным следствием его природных наклонностей, воспитания, характера страны, в которой он жил,—всех обстоятельств, под влиянием которых сложился его характер и взгляд на вещи. Просто, как умный человек, он понял нелепость сабеистического поклонения звёздам и идолам, и гебрского⁶³ обожания огненного начала,—двух вер, которые в его время господствовали в Аравии. Затем, в своих путешествиях с караванами, в которые пустился он с 12-ти летнего возраста, сходилась он с людьми разных вер и, между прочим, с евреями и христианами, от которых узнал о принципе единобожия. Получив потом возможность жить независимо, не занимаясь делами торговли, Магомет предался размышлениям о предметах богопочитания, часто удалялся в пещеры, в которых проводил по нескольку дней, изнурял себя постом, сосредоточивал дух свой в молитве и, наконец, дошёл до такого состояния, в котором ему начали мерещиться разные видения, слышаться голоса и пр. Мир собственной души принял для него такую осязательность, что он не мог не приписать ему действительности явлений внешнего мира.

Всё это вполне естественно и тысячу раз повторялось другими людьми, которые вовсе не хотели обманывать, а сами бывали обмануты галлюцинациями собственного воображения. Тем более естественно это было в Магомете, отличавшемся пылкостью чувств и воображения даже пред своими восточными соплеменниками. Точно так же весьма естественно физиологически и то явление, что Магомет всегда приходил в некоторый род исступления пред тем, как хотел высказать вновь открытую ему волю Божию. У него были припадки падучей болезни, при которых нервное раздражение увеличивалось, и видения представлялись ему яснее, чем когда-нибудь. Он объяснял однажды своим приверженцам, что знает о приближении откровения по особенному звону, который слышит у себя в ушах; а это есть один из симптомов, обыкновенно означающих приближение припадка падучей болезни. По всем этим соображениям нельзя не видеть в Магомете энтузиаста, одушевленного горячим негодованием против идолопоклонства и старающегося обратить своих со-

племенников к новой вере, которая после его созерцаний составила у него в голове—отчасти из собственных соображений, отчасти же из истин, узанных им от евреев и разных христианских сект, существовавших тогда в Аравии. Что он все свои мысли выдавал за боговдохновенные, это опять объясняется его мистическим самообольщением и вовсе не служит доказательством того, что он был злонамеренный обманщик.

Каким же образом вышел завоеватель из этого энтузиаста, искавшего только распространения своей веры? Какими силами придал он воинственность *номадам*⁶⁴ Аравии? Вот здесь-то особенно и видно ничтожество личности пред общим ходом истории. Дело в том, что он сам был вызван на это своими последователями. Принятый хорошо в Медине, он продолжал открыто проповедовать и приобретал множество поклонников между богомольцами, приходившими в Медину. В числе их было много молодых, отважных арабов, привыкших к хищничеству, постоянно упражнявшихся в войне и доселе не производивших значительных завоеваний только потому, что не было общего интереса, который бы связал их в одном деле... Племена были разъединены и беспрестанно воевали одно с другим; никто не думал обратить своё оружие на служение какому-нибудь другому делу, кроме племенной вражды. Эта племенная вражда выразилась и теперь, когда они соединились в веру магометовой. Они вызвали его на мщение Корейшанам, потомкам одного с ним племени, но из другой отрасли, враждебной Гашемидам. И первые воинские предприятия мусульман обращены были, действительно, против меккских караванов, принадлежавших Корейшанам. Это был тот же степной разбой, к какому давно привыкли арабы; но теперь Магомет должен был узаконить его, сказавши, что Аллах послал его с мечом в руках утвердить господство истинной веры, и что, поэтому, нападать на врагов пророка есть дело похвальное. Долго все предприятия Магомета не выходили из пределов этой племенной вражды, соединённой с ревностью о распространении веры. Даже взятие Мекки, предавшее в руки его почти всю Аравию, было предпринято не без расчёта уничтожить господство Корейшан⁶⁵, в руках которых находилось тогда хранение Каабы. Но такова обольстительная сила власти: чем Магомет становился могущественнее, тем дальше простирались его замыслы, и мало-по-малу самая пропаганда веры принимает у него завоевательный характер. После одной неудачной битвы (при Оходе), когда все были поражены отчаянием, Магомет открыл всем положение о предопределении, будто бы ниспосланное ему богом в это самое время. Известно, как много задержало оно развитие мусульманского востока впоследствии; но нельзя обвинять в этом только Магомета. Мысль о предопределении, явившаяся в голове Магомета со всей определённою, была вполне естественна в голове каждого араба того времени, да и вообще всякого восточного человека, столь ленивого на деятельность мысли. На первый же раз, пока продолжались завоевания, она была очень полезна исламу. Ирвинг замечает, что ту же самую мысль о предопределении Наполеон старался внушать своим солдатам, и не без успеха.

Такие результаты извлекаются, между прочим, из данных, представленных в книге Ирвинга. Она может представить ещё много подобных фактов и соображений; но мы не касаемся их, потому что это могло бы далеко завести нас. Мы хотели только сделать несколько указаний на те стороны исторического явления, которые особенно в ложном свете представляются обыкновенно в наших курсах истории, не верящих, как видно, возможности естественного объяснения исторических событий.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ЖИЗНИ.

СОЧИНЕНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА В. БЕРВИ,
Казань. 1858 г. ⁶⁶



Продолжение жизни мало интересует г. заслуженного профессора Берви; заботу о продолжении жизни он считает даже материальным направлением, ведущим к грубому сенсуализму. Чтобы стать от материи сколько возможно далее, и чтобы, по его выражению, «содействовать по силе возможности» отвлечению человека от забот о настоящей жизни, г. заслуженный профессор Берви бросает физиологическо-психологический взгляд на человека—до его рождения и после его смерти, т. е., говоря поэтически,

Конец с началом сопрягает
И смертью живот дарит... ⁶⁷

Психологические идеи г. Берви относятся более к младенцу, находящемуся в утробе матери, а физиологические исследования—к мёртвому трупу, в котором уже прекратились все физиологические отправления. В трупе этом г. Берви уловляет некий дух и подвергает его физиологическим соображениям, не подозревая того, что дух, отделяющийся при гниении трупа, подлежит уже не физиологии, а химии. Для всякого другого смешать химию с физиологией в наше время довольно трудно; но для г. Берви это было легко, потому что он не хочет принадлежать нашему времени и всячески хлопочет о том, нельзя ли как-нибудь уничтожить, убить его, наше-то время. С такою целию издал он свой физиологическо-психологический взгляд, в котором выражает, между прочим, своё неудовольствие на то, что все естественные науки обратились к материальным исследованиям, полезным для настоящей жизни. Такое направление естественных наук для г. Берви пуще ножа вострого. Из-за естественных наук он негодует на всё наше время, и, прочитав его брошюру, мы вполне понимаем причину негодования г. заслуженного профессора и даже сочувствуем ему в его печальном положении, хотя, к сожалению, пособить его горю ничем не можем. В самом деле, каждая страница физиологическо-психологического взгляда г. Берви доказывает, что

он изучал естественные науки когда-то давным-давно, в отдалённые времена, когда Шуберт и Эшенмайер царили в области антропологии, а может быть, и ещё раньше, в те доисторические времена, когда ещё и Лавуазье не было. Кажется, мы немного погрешили бы, если бы даже отнесли время образования г. Берви к средним векам, судя по тому, что он, для подтверждения своих мнений, приводит латинские цитаты из Бэкона, Сенеки, Цицерона, и даже (кажется, в объяснение всей своей брошюры),—латинскую поговорку: *errare humanum est*, что, как известно, означает: человеку свойственно ошибаться. Исследования новейших натуралистов совершенно неизвестны г. Берви. Более всего основывается он на авторитете Плиния; изредка указывает на Blumenbacha, на Bogenwilla, а из новых знает только «своего учёного сотрудника, П. А. Пелля, осязательно доказавшего, как обманчивы все выводы, доложенствовавшие доказать превращение овса в рожь» (стр. 61). Мудрено ли же, что, при таком состоянии своих познаний, г. Берви крайне недоволен нашим временем, в которое естественные науки сделали такой огромный шаг вперёд, примиривши философские рассуждения о силах природы с результатами опытных исследований над материею. Ныне в естественных науках усвоен положительный метод, все выводы основываются на опытных, фактических знаниях, а не на мечтательных теориях, когда-то и кем-то составленных наобум, и не на тёмных гаданиях, которыми в старые времена довольствовались невежество и полужнание. Ныне уже не признаются старинные авторитеты, пред которыми благоговееет г. Берви, да и вообще авторитеты в деле научных исследований не имеют большого значения. Молодые люди ныне не только парацельсовские мечтания называют, не обинуясь, вздором, но даже находят заблуждения у Либиха, о котором г. Берви, кажется, и не слыхивал, читают Молешотта, Дюбуа-Реймона и Фохта, да и тем ещё не верят на слово, а стараются проверять и даже дополнять их собственными соображениями. Нынешние молодые люди, если уж занимаются естественными науками, то соединяют с этим и философию природы, в которой, опять, следуют не Платону, не Окену, даже не Шеллингу, а лучшим, наиболее смелым и практическим из учеников Гегеля.⁶⁸ Как же на всё это не сердиться г. Берви, когда он в философии остановился на Фихте, которого, впрочем, не понимает, и которого учение (как сам г. Берви сознаётся на стр. 13) «представляется ему в какой-то туманной отдалённости». Как не сердиться ему на наше время, когда успехи естественных наук совершенно уничтожают его средневековые теории и делают его смешным не только в глазах специалиста, следящего за успехами положительных знаний, но даже и в глазах всякого образованного человека, родившегося немножко позже Лавуазье и Фихте. Г. Берви не любит нашего времени за то, что оно пережило его. Но время ли в том виновато? Кто же велел оставаться на дороге, понапрасну мешая другим? Не может же ход времени и знаний остановиться и дожидаться одного из адептов науки, хотя бы этот адепт был и профессором... Да, отстал, сильно отстал от науки г. заслуженный профессор Берви, и, право, нам от души жаль его.

Нам всегда внушали грустное чувство—и запоздавшие осенью птички, не успевшие отлететь в тёплые страны, и воз, отставший от обоза и уныло подвигающийся один среди пустынной дороги, и цыплёнок, который, заглядевшись по сторонам, не поспел, вместе с другими, за матерью, и потом мечется, как угорелый, отыскивая её там, где она была за минуту пред тем, но где теперь, увы! уж нет её, нет её!.. Подобно сим отставшим существам, внушил нам грустное чувство и г. Берви, стоящий, по выражению поэта, на распутии живых,

Как будто памятник надгробный
Среди обителей людских...

Из сожаления к г. Берви, мы хотели было возсе умолчать о нём и его физиологическо-психологическом взгляде. Но после прочтения брошюры и краткого размышления, мы убедились, что наше сожаление к г. Берви совершенно напрасно. Мы увидели, что почтенный автор «Взгляда» стоит на той степени самодовольствия, которое вызывает не сострадание, а чувство совсем другого рода. Он не сознаётся в своей отсталости, не старается даже понять то, что выработано новыми исследователями, не хочет догонять опередивших его, а, что бы вы думали? силится остановить тех, которые мимо г. Берви идут по той же дороге знания. Он говорит, что естественные науки занимаются теперь не тем, чем следует, что они идут ложным путём, иначе сказать—он отвергает значение тех результатов, которые добыты положительными исследованиями нового времени. Что же это за задачи, которые, по мнению г. Берви, предстоят наукам и от которых они уклонились? Задачи эти весьма замысловаты, и если бы они не были исчерпаны в средних веках, то изобретение их сделало бы честь даже сообразительности Кифы Мокиевича.⁶⁹ Видите: психология должна стремиться к определению разницы между жизненным началом и душою в человеке; физиология должна заниматься исследованием жизненных процессов в мёртвом трупе; физика должна отыскать силу, отдельную от материи, а материю, свободную от влияния силы; химия должна, подвергая своему анализу тела, отыскивать в них что-нибудь сверхчувственное. Вообще, перемешивая науки естественные с нравственными, г. Берви налагает на натуралистов такое обязательство, какого никому, кроме средневековых алхимиков, и в голову не приходило. Он хочет, чтобы физические исследования имели в виду не познание изменений и действий материи, а отыскание в материи—духа, архея, эфира, жизненной силы, словом чего-нибудь, только чтобы это «что-нибудь» не было положительным, материальным, а было что-нибудь «чувствам недоступное». Требование, разумеется, нелепое; но для г. Берви оно очень хорошо, потому, что таким манером он думает прикрыть своё незнание. «Не потому, дескать, я новейших исследований не привожу, что я не знаю их, а потому, что я их отвергаю, как вредные и нечестивые, ведущие к грубому сенсуализму. Не потому старых понятий держусь, что до новых не дошёл, а потому, что новые не заключают в себе стремления к сверхчувственному». А когда так, то уже нечего и жалеть

о положении отставшего, но самодовольного путника, тем более, что он сам же задирает тех, которые стараются идти вперёд, и ругается над ними. Мы более не хотим укрывать г. Берви и выставляем его забавлять почтеннейшую публику своими мистически-алхимическими взглядами, которые в средние века, может быть, показались бы схоластическою премудростью (*sapientia scholastica*), но ныне могут быть приняты не иначе, как за балаганное фиглярство. Будем открывать наудачу разные страницы; всё равно: на каждой есть какая-нибудь курьёзная штука.

Вот, напр., в самом начале исследования (стр. 6—7) вы находите сравнение рождения с смертью, в таком смысле: до рождения младенца мать его страдает; после рождения—радуется. Так точно после смерти человека родные и друзья его плачут и страдают. Что из этого? Слушайте:

«Это терзание, эта тоска, волнующие нашу грудь, ведут нас к успокоительному убеждению в бессмертии: подобно тому, как родовые потуги, предшествуя родам, предвещают радостное появление на свет нового человека» (стр. 7).

Не правда ли, как ловко умеет г. Берви обращаться с своим предметом? Он берётся доказывать предмет, о котором между образованными людьми давно уже не существует никаких сомнений, но, несмотря на всю лёгкость задачи, шутовским сравнением умеет обратить в смех самый предмет. Это даже лучше того остроумца, который доказывал, что умножение чиновников предвещает скорое просвещение государства, делая такое сравнение: заря *занимается* на небе пред восхождением солнца, всё освещающего; так чиновник *занимается* в департаменте пред распространением просвещения во всём государстве.

А вот как г. Берви компрометирует популярность изложения. На стр. 9 он говорит следующее:

«Кто взглянет на труп человека, или на застреленного зайца, или на зарезанную курицу, не останавливаясь скажет, что это суть тела мёртвые. Почему? Потому, что они перестали жить, лишились жизни. Следовательно, смерть лишает животное жизни, и мёртвое тело есть отрицание живого, или нечто противоположное живому телу».

Повидимому, так нам кажется, можно так думать, что г. Берви, почтенный г. В. Берви, г. заслуженный профессор В. Берви полагает, даже имеет убеждение и твёрдую уверенность в том, что популярность, простота изложения, общепонятность представления вещей или предметов состоит в том, не в другом чём заключается, как в том, чтобы повторять несколько раз, много раз повторять, переворачивать на разные лады простые истины, самые простые положения, всем понятные вещи, предметы, ни в ком не возбуждающие недоумения. Почтенный г. В. Берви, автор «Физиологическо-психологического взгляда», г. В. Берви—нисколько, повидимому, не сомневается, что многократное повторение одних и тех же слов в разных видах—составляет популярность изложения.

К сожалению, почтенный автор не всегда держится такой популярности; почти на каждой странице попадают у него длинные периоды, непроницаемые для человеческого разума и даже лишённые логического, а иногда и грамматического смысла. Напр. на стр. 16 есть такой период:

«Если впечатления, полученные посредством внешних чувств, нас не ведут к познанию внешнего мира, так что мы не можем увериться в нашем духовном бытии, которое без содействия своего тела лишено самого знания, сего необходимого условия всех духовных деятельностей в сем мире».

Точка, читатели, точка. Чего вы ещё ждёте? Неужели вам мало того, что насаждал вам г. Берви в этой первой половине недосказанного условного периода? Если и тут уже нашлось «духовное бытие с своим телом», то что же нашлось бы ещё, если бы это «если» было приведено к желанному концу!

Если вы перевернёте два листа, то найдётся на стр. 21 ещё вот какой период:

«Подобно духу человеческому, одарённому свободною волею, жизненное начало проявляется в творящих качествах самостоятельным бытием, превращающим в круг действия оного поступившие вещества, соответственно своей цели, не подчиняясь общим законам физики и химии, которые минерал отклонять не может».

Не мы это сочинили; уверяем, что не мы. Мы даже ничего не прибавили, ничего не убавили в словах г. Берви; даже правописание его мы сохранили.

Зато г. Берви очень остроумно умеет смеяться над скептиками, или, по его выражению, «nihilist'ами».

«Позволяю себе думать, ядовито замечает он, что nihilist'ы будучи укушены собакою в ногу (замечаете ли здесь тонкое выражение презрения?), или обрезавши себе палец, не примут боль, от этого происходящую, за призрак» (стр. 14).

Чрезвычайно остроумно и ядовито! Всем nihilist'ам должно быть очень совестно, после издёвок г. Берви! Жаль только, что ядовитые издёвки сии повторяются чуть ли не со времён Сократа, а на русском языке напечатаны в первый раз, кажется, в Письмовнике Курганова? ⁷⁰

Г. заслуженному профессору Берви не должно казаться обидным, что мы отнимаем у него честь изобретения остроты над скептиками. У него остаётся много изобретений, лично ему принадлежащих, и, чтобы угодить г. Берви, мы готовы передать некоторые, наиболее любопытные из них, нашим читателям.

На стр. 60 г. Берви говорит, что зародыш в утробе, лишённый познания внешнего мира, занимается *самосознанием*, или, как выражается почтенный профессор, с свойственной ему популярностью, — «погружён в субъективную ночь самосознания».

На стр. 36 г. Берви говорит, «что человек, как тело природы, не может уклониться от законов оной». На странице же 37-й прибав-

ляет: «но, как неделимое, он преследует свою собственную цель и *изменяет всеобщие законы природы*».

Любопытно бы узнать от г. Берви, какие это *всеобщие законы* природы, которые человек, как неделимое, изменяет по своей воле?.. Впрочем, на стр. 25 находим положение, ещё более возвышающее над природою уже не только одного человека, но и всех животных. Г. Берви утверждает, что животные живут вне условий пространства, или, приведём лучше собственные слова г. Берви: «дух мира в сих телах (животных) проявляется действиями во времени, не стесняемыми пределами пространства».

Изображая материнскую попечительность природы о животных, почтенный профессор указывает, между прочим, на стр. 26, цель, для чего животные чувствуют голод и жажду. «Дабы животное ведало о своих потребностях,—говорит он:—оно побуждается к удовлетворению их чувством голода, холода, жажды, и т. д.».

Впрочем, такая, доведённая до крайности, телеология иногда приводит автора к заключениям, которые не могут быть названы удачными. К числу таких неудачных выводов отнесим мы высказанную на 24 стр. мысль, что «часть равна своему целому». Г. Берви говорит, что «иные произведения природы суть чистейшие представители материи», и затем продолжает:

«Эти произведения не имеют собственного значения, ниже собственного центра, почему всякая *часть* оных по своему значению *равна целому*. Сюда относятся тела, составляющие в совокупности своей природу, так называемую, мёртвую: минералы, соли, воды и т. п.».

Повторяем: это напечатано, слово в слово, на 23—24 страницах брошюрки г. заслуженного профессора В. Берви: «Физиологическо-психологический взгляд на начало и конец жизни».—Нам могут сказать, что г. Берви разумел тут что-нибудь другое, а не величину, и что слова: «по своему значению»,—изменяют дело в его пользу. Но мы спрашиваем вас и г-на Берви: чем же определяется значение одинаковых по составу неорганических предметов, как не величиной? На чём, кроме величины, можете вы основать своё суждение о значении двух кусков чистого серебра различного веса, двух глыб одинакового гранита, мрамора, и т. п.? Нет, как ни смягчайте дело, а положение, что г. Берви считает части некоторых тел равными своему целому, остаётся во всей силе.

Скажут: не может быть, чтоб г. Берви не знал аксиомы, что часть всегда меньше своего целого. Нет, может быть. У нас есть на это аналогическое доказательство, очень убедительное. Вот что говорит г. Берви на стр. 50:

«Я полагаю, что у меня есть сердце, лёгкие, печень и т. д. Это есть умозаключение, на аналогии основанное, *точно так, как я полагаю, что Юпитер и Сатурн суть тела, подобные нашей земле и имеющие, подобно ей, своих обитателей*».

Видите, если б мы вам сказали: г. Берви не знает даже того, есть ли у него сердце и лёгкие, вы бы не поверили. Но надемся—теперь

вы поверите, когда мы привели его собственные слова. Он высказывает сам, что не знает намерное, есть ли или нет у него сердце; *я полагаю*,—говорит он,—что есть—*точно так, как я полагаю*, что есть на Сатурне жители... А ведь может быть, что их и нет... Это простая аналогия.

Так рассуждает г. Берви, и мы ничего не прибавили от себя к его мыслям. Можете справиться сами, если не верите: затем мы и страницы везде выставляли, приводя мнения г. Берви.

Не правда ли, что всё это крайне забавно, и что приведённые мнения г. Берви одни были бы достаточны для того, чтобы избавить критику от труда возиться с его сочинением? Читатели, вероятно, давно уже дивятся, зачем мы хлопочем долго, выбирая разные диковинки из книжки г. Берви, когда довольно бы было в пяти строках предать её на общее посмеяние. Чтобы показать причину нашего внимания к г. Берви, мы приведём ещё выписку, уже последнюю, и она, конечно, покажет читателям, что тут одного смеха не довольно, что дело г. Берви даже вовсе не забавно. На стр. 4-й он говорит: «Я пускаю в свет то, что ежегодно преподаю моим слушателям»,—и прибавляет: «слушатели мои—юноши и, как таковые, восприимчивы ко всему высокому, идеальному».—Вот где серьёзная-то и плачевная сторона вопроса. Пусть бы г. Берви мечтал, о чём ему угодно, пусть бы он проклинал современное развитие естественных наук, сомневался в существовании у себя сердца и лёгких, и в то же время верил, что часть равна своему целому и что животное есть хочет, собственно, для того, дабы ведать о своих потребностях. Но ведь всё это он преподаёт своим юным слушателям: вот в чём беда. И, по всей вероятности, преподаёт-то он им что-нибудь ещё похуже; потому что, издавая в свет свои лекции, каждый профессор непременно старается обделывать их получше. Да и, кроме того, лекция г. Берви доказывает, что она составлена—как будто на показ: крайне щеголевато и с избытком учёности, совершенно ненужной и, правду сказать, крайне дешёвой. Тут идёт речь и о Сципионе, и о Регуле, и о Людовике XIV, и о Наполеоне, и о созвездии Вола, и о плодородии крыс, и о щуке, пойманной в 1497 г., и о трудолюбии пчёл, и о диких сибирских лисицах и др. и пр. Тут приводятся стихи Вольтера и Гёте, говорится, что планету Нептун следовало бы назвать Ньютоном, что арабские лошади превосходны, что Северо-Американские Штаты суть ужасное зло в человечестве, и т. п. Позабывшись о том, чтобы вставить в свои лекции подобные, не относящиеся к делу рассуждения, г. Берви позаботился бы, конечно, если б мог, и о правильности своих научных понятий, и о логичности выводов, или, по крайней мере,—о толковости изложения. А то ведь, в самом деле,—предположим даже, например, что г. Берви и знает о том, что часть всегда меньше своего целого (предположение смелое и сделанное совершенно *a priori*, без всяких фактических оснований; но предположим, в уважение профессорского звания г. Берви): легче ли от того его слушателям, если он с ними так объясняется, как написана вся его брошюра? Можно думать, что несколько не легче. И вот кого надобно от души пожалеть в этом случае, а не самого г. Берви.

Он уже потому не заслуживает сожаления, что, несмотря на свою отсталость в науке и невероятные проступки против здравого смысла, обладает невозмутимым самодовольствием. Но эти «восприимчивые юноши», находящиеся под его руководством, вполне достойны сожаления всякого образованного человека, тем более что они, во что бы то ни стало, непременно обязаны слушать г. В. Берви, как своего профессора.⁷¹



НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАНКЕВИЧ

(Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым.
М. 1858 г.)⁷²



Ещё в 1846 г., в биографии Кольцова, Белинский писал о Станкевиче:

«Это был один из тех замечательных людей, которые не всегда бывают известны обществу, но благоговейные и таинственные слухи о которых переходят иногда и в общество из кружка близких к ним людей».⁷³

Белинский сам принадлежал к числу этих близких людей, и уже одного упоминания его было бы, конечно, достаточно для того, чтобы возбудить в нас желание узнать покороче личность, внушившую ему такие строки. Теперь, благодаря биографии Станкевича, написанной г. Анненковым, и ещё более переписке, изданной им же, это справедливое желание может быть удовлетворено. Биографический очерк Станкевича был ещё раньше напечатан г. Анненковым в «Русском Вестнике»; теперь он издан (в сокращённом, впрочем, виде) в отдельной книге, вместе с перепискою Станкевича. Мы не будем здесь представлять извлечения из фактов и мнений, находящихся в книге г. Анненкова: их уже все прочли, конечно, в «Русском Вестнике». Мы не хотим излагать и содержания переписки Станкевича, в которой ясно отражается благородная, открытая, любящая душа его. Нет сомнения, что большую часть писем Станкевича прочтут с удовольствием все, кому дорого развитие живых идей и чистых стремлений, происшедшее в нашей литературе в сороковых годах и выпшедшее преимущественно из того кружка, средоточием которого был Станкевич. Изданные письма (большей частью к Я. М. Н—ву,⁷⁴ меньшею—к Грановскому и ещё к нескольким лицам) не составляют, конечно, *всей* переписки Станкевича; но уже и из них очень ясно видна степень того значения, какое имел он среди передовых тогдашних деятелей русской литературы. А это уже достаточно объясняет его права на внимание и память образованного русского общества, которое не мало обязано своим развитием русской литературе, и особенно критике сороковых годов.

Чтение переписки Станкевича так симпатично действовало на нас, нам так отрадно было наблюдать проявления этого прекрасного характера; личность писавшего представлялась нам, по этим письмам, так обаятельно, что мы считали переписку Станкевича окончательным объяснением и утверждением его прав на внимание и сочувствие образованного общества. Мы не думали, чтоб нашлись люди, которые бы остались холодными и бесстрастными перед поэтическим объяснением этого юноши и сурово потребовали бы у него ещё иных, более осязательных прав на уважение и сочувствие общества. Но, к сожалению, нашлись такие люди и показали нам возможность строгого допроса, обращённого к памяти человека, о котором с любовью и уважением вспоминают все, кто только знал его. Мы слышали суждение о книге, изданной г. Анненковым, выраженное в таком тоне: «прочитавши её до конца, надобно опять воротиться к первой странице и спросить, вместе с биографом Станкевича: чем же имя этого юноши заслужило право на внимание общества и на снисходительное любопытство его?» Выразившие такое суждение не видели в Станкевиче ничего, кроме того, что он был добрый человек, получивший хорошее воспитание и имевший знакомство с хорошими людьми, которым умел нравиться: что же за невидаль подобная личность? Мало ли кто имел хорошие знакомства!

Значит, всё-таки неясно ещё значение Станкевича, всё-таки есть поводы не признавать его права... На это отрицание нельзя смотреть, как на следствие каких-нибудь личных интересов и страстей, подобное тому, что мы видели недавно в унижении заслуг Грановского.⁷⁵ Там говорили воспоминания друзей разного рода; многое сказалось в жару спора, многое возбуждено было тем, что противникам Грановского показались слишком неумеренными восторги его поклонников. Здесь ничего подобного нет и не было. О Станкевиче пишут и рассуждают люди, лично его не знавшие; споров никаких не было, даже и восторгов почти не было. Если бы кто-нибудь стал превозносить Станкевича выше меры, стал бы уверять, что он был главою кружка, что от него заимствовано всё, что было хорошего у его друзей; если бы кто-нибудь стал приписывать великое, мировое значение его беседам с друзьями и возводить его в гении и благодетели человечества; тогда, конечно, было бы отчего в отчаянье притти и даже, пожалуй, ожесточиться. Но ведь этого никто не делает. Говорят просто: Станкевич был человек очень замечательный по своему светлому уму, живой восприимчивости и симпатичности своей натуры. Его стремления были возвышенны и идеальны, он искал всё обобщить, во всём дойти до идеи, до начала знания. Вся его молодая жизнь прошла в мире науки и искусства, которым он восторженно предавался; в надежде *приготовить* себя к полезной деятельности. Около него собирался круг друзей, из которых многие сделались потом известными своей деятельностью. Все они вспоминали и вспоминают о нём с какой-то благоговейной любовью; лучшие из них говорят открыто, что многим ему обязаны и в умственном и в нравственном отношении. Личность такого человека не должна быть забыта, хотя бы и для того, чтобы определить, чем мог он действовать так обаятельно на своих друзей? Интерес

его биографии возрастает, когда мы узнаём, что это обаяние не заключалось просто в мягкости характера и добродушии, а имело гораздо лучшие основания. Прочитав его переписку, узнав его жизнь, мы убеждаемся, что он имел действительно благотворное значение в кругу своих друзей, и что он замечателен сам по себе, а не потому только, чтобы на него упал отблеск славы кого-нибудь из них.

Что тут преувеличенного? Что из этого может отнять у Станкевича тот, кто не имеет предъявить фактов, противоречащих заключениям, сейчас переданным нами? Кажется,—ничего. Но есть люди, отличающиеся весьма мрачным взглядом на жизнь и вместе с тем какой-то философской выпренности. У них своя точка зрения на все предметы, и они становятся вопросом таким образом:

«Станкевич, — говорят они, — всё занимался наукой и искусством; где же его учёные и литературные труды? Сделал ли он хоть одно открытие в науке, произвёл ли он хоть одно художественное *chef d'oeuvre*?* Даже просто, сделал ли он хоть что-нибудь для науки? Нет? Так за что же уважать его? Он занимался наукой и искусством потому, что находил в них наслаждение, и это служит для него уже достаточной наградой. Станкевич любил и изучал философию: где же результаты его изучения? Трудился ли он для передачи другим своих взглядов, образовал ли какую-нибудь школу философии? Нет? Так что нам за дело до его философских идей! Пусть их остаются его субъективной принадлежностью и не разблачаются перед обществом: ведь он изучал философию для себя, а не для общества. Если же что и передал он другим, то бессознательно, а бессознательные действия не подлежат никакому нравственному вменению. Станкевич был добрый и симпатичный человек: как же это выражалось в его жизни? Спешил ли он отыскивать несчастных и помогать им, подавал ли нищим, делился ли последним с нищими, как это делал, например, И. И. Мартынов, переводчик греческих классиков? Об этом мы не имеем сведений; в чём же выражалась доброта и высокая нравственность Станкевича? Неужели в том только, что он умел привязать к себе своих друзей? Это ещё небольшая заслуга. Станкевич имел благородные и твёрдые убеждения; как же они выразились в жизни? Страдал ли он из-за них, жертвовал ли им своим счастьем, подвергался ли клеветам, брани, огорчениям, лишениям в борьбе за свои убеждения? Нет? Так что же может заставить нас уважать его убеждения и его самого? Мы видим из всего, что Станкевич не был тружеником и мучеником идеи, а просто был эпикурейцем, хотя и не в дурном значении этого слова. У него не было того качества, которое необходимо для общественного деятеля — *самоотвержения*. Что он ни делал, он во всём был дилетантом и ни в чём не являлся специалистом; во всём искал прежде всего удовлетворения собственной потребности, собственного стремления, и не думал обекать себя на жертву для других. Такой человек не имеет прав на общественное значение, какое имеет, например, И. И. Мартынов. Тот менее имеет известности, менее, может быть, имел дарований, чем Станкевич; но его права на благородность потомства несомненны, именно потому, что он всегда жертвовал собою для других. Он учился — не как дилетант, не потому, что его привлекала та или другая книжка, та или другая идея, а потому всего более, что хотел оправдать ожидания и надежды своего начальника и благодетеля. Он занимался литературой, но не для собственного удовольствия, не по какому-нибудь безотчётному влечению сердца, а с сознательным желанием принести пользу согражданам, и главным, — потому, что, — по собственному его выражению, — литература была близка ему «как чиновнику министерства просвещения». Следовательно — занятия литературные были для него не удовольствием, не забавой, а трудом, пожертвованием, службой. Кроме того, он был и на действительной службе, а в частной

* Образцовое произведение (франц.). — *Ред.*

жизни полезен был тем, что помогал бедным. Вот какие права надобно иметь на общественное значение, а не такие, какие предъявляются за Станкевича. Станкевич был прекрасный человек, но прекрасный для себя, а не для других, не для общества. Он никогда не принуждал себя, не занимался тем, к чему не чувствовал сердечного влечения, не налагал на себя тяжёлых нравственных вериг, не жертвовал своей личностью для пользы общей. Он был эгоист, хотя и в возвышенном смысле. Всё, совершённое им, было им совершенно прежде всего *для себя*, а если потом и выходила польза для других, то совершенно без всяких расчётов с его стороны. Люди, развившиеся под его влиянием, развились бы и без него: если бы они были неспособны к развитию сами по себе, то и Станкевич ничего бы не мог из них сделать: доказательство — то, что он не сделал великого поэта из Красова, точно так же, как не мог всех своих друзей поставить на ту степень умственного развития, до которой дошёл Белинский. Нет, — и образование, и идеи германской философии развились в нашем обществе по естественному ходу образования, и развились бы независимо от Станкевича, если бы его никогда и не было на свете.

Такой взгляд не составляет исключительной принадлежности нескольких лиц; он очень свойствен многим в нашем образованном обществе. Известно, что вообще о правах личности существуют два противоположные взгляда, оба ошибочные в своих крайностях. Один, происходя от неуважения к личности вообще, от непонимания прав каждого человека, приводит к неумеренному, безрассудному поклонению нескольким исключительным личностям. Так, на первой степени развития невежественного народа, человек, поражённый необычайной силой или ловкостью какого-нибудь дикого героя, забывает и свою личность, и личность своих близких и, вместе со всеми, признаёт своё полное ничтожество пред удивительным богатырём и его беспредельную власть над собою. Так и в обществе, ещё мало сведущем и образованном, замечается особенная наклонность к преклонению перед всем, что хоть немножко выходит из ряда обыкновенных явлений. Чуть явится неглупый человек, о нём кричат, что он гений; чуть выйдет недурное стихотворение, немедленно провозглашают, что им могла бы гордиться всякая литература; чуть обнаружит человек кое-какие знания, к нему смело обращаются с просьбой о разрешении всяческих вопросов, даже не разрешимых. И перед личностью, возбуждавшей общее благоговение, всё падает во прах, всё говорит: «бей меня, топчи, плюй на меня, — я с радостью всё от тебя снесу, потому что ты гений, потому что ты герой» — или что-нибудь другое в этом роде. Такие порывы смешны, конечно, и даже возмущают душу, потому что в них выражается неуважение каждой отдельной личности к самой себе. Охота к восхвалению и преклонению пред так называемыми *избранниками* судьбы, гениальными натурами — заслуживает, конечно, обличения и противодействия. Так и было в нашей литературе, когда после необдуманного восхищения фантазиями Кукольника, Тимофеева, после благоговейного трепета пред авторитетами Хераскова, Державина и проч. явилась строгая критика, решившаяся основательно определить меру их достоинства. Начала, принятые этой критикой, утвердились и доселе действуют при оценке литературных произведений. Но многие из образованных людей пустились теперь в другую крайность: в уничтожение вообще личностей. Важно общее течение дел, говорят они, важно развитие народа и человечества,

а не развитие отдельных личностей. Если личность занималась какой-нибудь специальностью и сделала открытия, то об этих открытиях можно ещё говорить, потому что они способствуют общему ходу развития человечества. Но личность сама по себе не имеет никакого значения, и мы не должны обращать на неё внимания. Такое рассуждение показывает, по нашему мнению, только неумение обращаться с общими философскими положениями, когда дело коснётся применения их к частным случаям. Конечно, ход развития человечества не изменяется от личностей. В истории прогресса целого человечества не имеют особенного значения не только Станкевичи, но и Белинские, и не только Белинские, но и Байроны и Гёте: не будь их,—то, что сделано ими, сделали бы другие. Не потому известное направление является в известную эпоху, что такой-то гений принёс его откуда-то с другой планеты; а потому гений выражает известное направление, что элементы его уже выработались в обществе и только выразились и осуществились в одной личности более, чем в других. Следовательно, в сфере отвлечённой мысли, можно сколько угодно уничтожать личности, имея дело только с идеями. Но не столь справедливо будет в частных случаях, в применениях к действительной жизни, говорить, что такая-то и такая-то личность не заслуживает уважения, потому что через 25 лет о ней останется одно воспоминание, а через 250—и того не будет. Подобное смешение общих теоретических положений с точкой зрения действительности может повести к весьма забавным практическим последствиям. Я, например, знаю, что движение народонаселения в человечестве, и даже в России, и даже в Н-ской губернии вовсе не изменилось от того, что в городе Н. есть прекрасный доктор, вылечивший многих трудно больных. Но, между тем, я сам живу в городе Н.,—беспрестанно слышу благодарные воспоминания о нём от людей, им вылеченных, и нахожу, что его уважают даже люди, никогда не бывшие больными. Неужели я поступлю справедливо и благоразумно, если начну всем этим людям доказывать, что доктор не заслуживает ни благодарности, ни уважения, потому что человечество от него не выиграло, вылечил он немногих, да и те, которых вылечил, всё-таки умрут же, и через 50—60 лет ничего не останется от его деятельности? Кажется, в этом случае я был бы столько же несправедлив, как и в том, если бы я стал утверждать, что вопрос об увеличении народонаселения на всём земном шаре решительно зависит от деятельности доктора, живущего в городе Н.

Но на Станкевича, кроме его незначительности в истории человечества, взводят ещё другое обвинение, которое ещё более характерно для нашего образованного общества и которое мы, поэтому, намерены рассмотреть подробнее. Говорят, что Станкевич не был тружеником, специалистом, что он не имел самоотвержения, и потому не имеет прав на значение общественное. Недавно мы слышали, как многие голоса повторяли то же самое по поводу Грановского, доказывая, что он был не учёный, а артист. Теперь раздаются те же возгласы против Станкевича. Отчего это? Причины этого, кажется, нельзя искать в одних личных пристрастиях; должно быть какое-нибудь основание, более глубокое. Основание это должно заключаться

в самом взгляде на жизнь, который как-то составил в нашем образованном обществе. Не так давно один из наших даровитейших писателей высказал прямо этот взгляд, сказавши, что цель жизни не есть наслаждение, а, напротив, есть вечный труд, вечная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодействуя своим желаниям, вследствие требований нравственного долга.⁷⁶ В этом взгляде есть сторона очень похвальная, именно—уважение к требованиям нравственного долга. Но [с другой стороны, взгляд этот крайне печален, потому что потребности человеческой природы он прямо признаёт противными требованиям долга; и следовательно, принимающие такой взгляд признаются в своей крайней испорченности и нравственной негодности. Это, кажется, ясно; и на основании этого взгляда нетрудно решить вопрос о нравственном достоинстве Станкевича в двух словах:] если жизнь должна быть рядом лишений и страданий в силу велений долга, так это ведь потому, что наши собственные стремления не сходятся с требованиями долга. Следовательно, не переносит таких лишений и страданий—или тот, кто совсем не хочет знать велений долга и предаётся своим дурным, безнравственным наклонностям; или тот, у кого собственные стремления не отдаляются от нравственных требований. Теперь спрашивается: к которому из этих двух разрядов отнести Станкевича? Никто не скажет, чтоб он был дурным человеком; следовательно, отсутствие страданий, внутренней борьбы и всяких душевных мук происходило в нём просто от гармонии его существа с требованиями чистой нравственности. Над ним не имели силы грязные побуждения, мелочные расчёты, двоедушные отношения; оттого во всём существе его, во всей его жизни замечается ясность и безмятежность, без раздвоения с самим собой, без насилования естественных стремлений.

Нас пленяет в Станкевиче именно это постоянное согласие с самим собою, это спокойствие и простота всех его действий. По всей вероятности, эти качества весьма сильно привлекали к нему и друзей его. Из переписки Станкевича мы видим, что только в самых необходимых случаях, для соблюдения светского приличия, он принуждал себя к скрытности и даже невинной лжи. С друзьями и этого, конечно, никогда не было. Станкевич занимался тем, чем ему хотелось, и говорил о своих занятиях с увлечением. Ни в поступках, ни в мыслях своих он не видел ничего предосудительного, и потому охотно передавал своим друзьям все случаи своей жизни, все свои мечты и планы. Все его письма дышат полной, беззаветной откровенностью. А известно, как сильно действует простая, дружеская откровенность на молодое, благородное сердце. Друзья Станкевича могли быть уверены, что он не станет им льстить, не скроет своего мнения, не побойтся дать прямой, хотя бы и неприятный совет. У него не было этой малодушной совестливости, которая так часто заставляет нас *щадить* людей, к нам близких, из опасения огорчить их. Боязнь эта происходит у нас, конечно, от недостатка доверия к людям, даже близким к нам, и от желания удержать их расположение. А, между тем, мы всё-таки выразим своё мнение, своё неудовольствие,—каким-нибудь косвенным намёком, скажем его другим,—оно как-нибудь дой-

дёт до нашего друга, и прежнее доверие между нами неизбежно рушится. У Станкевича не было подобной недоверчивости; он очень просто и спокойно говорит своим друзьям, одному: «Зачем ты свои силы тратишь на пустяки»; другому: «Что ты не учишься по-немецки, это тебе необходимо»—третьему: «Зачем ты расхваливаешь глупую книгу?»—четвёртому: «мне жаль, что болезнь тебя расслабила, и что ты теперь ничего не сделаешь для людей». Подобные замечания кажутся очень лёгкими и естественными в дружеских отношениях; но, право, не часто встречаются друзья, которые могли бы даже такие вещи говорить прямо и просто. А, между тем, как много неодолимого обаяния заключается в этой ясной искренности, основанной на взаимном доверии и уважении. Если она является в человеке вследствие суровости характера, закалённой в борьбе и опыте жизни, то она принимает, по этому самому, некоторый вид грубости и брюзгливости, не всегда нравящейся, особенно самолюбивым людям. Но даже и эта стоическая, холодная искренность имеет какую-то особенную силу и прелесть и сообщает большое влияние на окружающих тому, кто ею обладает. Тем сильнее было, конечно, обаяние личности Станкевича, соединявшего с простотою и искренностью необыкновенную мягкость характера, силу чувства и способность увлекаться всем прекрасным.

Впрочем, не подумайте, что мы хотим выставить Станкевича идеальным совершенством. Совсем нет; мы вовсе не хотим утверждать, что он стал в своей жизни выше всех сомнений и противоречий, что внутренняя гармония его существа никогда и ничем не нарушалась. И у него были минуты тяжёлых дум, горького недовольства собою, вследствие неудовлетворённых стремлений и неумения слиться душою с некоторыми требованиями долга. Так, будучи ещё двадцати одного года, он писал:

«Я не могу сказать, чтоб я действовал против долга, но, кажется, я слишком много давал воли эгоизму и от этого был всегда недоволен собою. *Неискренность* — вот что ещё мучило меня; das Schein у меня часто противоположно dem Sein * (особенно в обществе), хотя и не из дурных видов; а это даёт дурное направление и рождает опять недовольство самим собою» (стр. 89).

Кто хочет видеть во всём мрачную сторону, тот может найти в признании Станкевича подтверждение той мысли, что он был эгоист без твёрдого характера. Но мы, напротив, видим в этих словах, как высоки были требования Станкевича от самого себя, как тяжелы были для него даже малейшие отклонения от сознанным им долга. Он недоволен собою даже за то, что в обществе не всегда может казаться тем, что он есть; он упрекает себя в эгоизме; а, между тем, видно по всему, что Станкевич менее всего мог быть лицемером и грубым эгоистом. Его доброе сердце не понимало себялюбивого своекорыстия, не умело быть счастливым без других. В одном письме к Неверову он говорит, что внутреннее блаженство заключается в самоотвержении. Следовательно, он понимал самоотвержение как удо-

* Видимость противоположна сущности (нем.). — *Ред.*

влетворение потребности сердца, а не как формальное исполнение какого-то внешнего, сурового предписания. Вообще, нам кажется, что взгляд на жизнь, как на тяжёлый, исполненный горестей, насильственный подвиг,—взгляд этот весьма высоко ценит формальную, внешнюю сторону дела. У нас очень часто превозносят добродетельного человека тем восторженнее, чем более он принуждает себя к добродетели. Но по нашему мнению—холодные последователи добродетели, исполняющие предписания долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь к добру,—такие люди не совсем достойны пламенных восхвалений. [Эти люди жалки сами по себе. Их чувства постоянно представляют им счастье не в исполнении долга, а в нарушении его; но они жертвуют своим благом, как они его понимают, отвлечённому принципу, который принимают без внутреннего сердечного участия. Поэтому они всегда несчастны от своей добродетели, жалуются на свои многотрудные подвиги и часто оканчивают тем, что ожесточаются против всего на свете.] В нравственном отношении они стоят на очень низкой степени: они не в состоянии возвыситься до того, чтобы ощутить в себе самих требования долга и предаться им всем существом своим; они должны непременно иметь на себе какую-нибудь узду, чтобы обуздывать себя. Неужели же их, только за то, что они трудятся над собою, можно поставить выше людей, которым этот труд не нужен? Неужели нравственное достоинство человека, чувствующего сильное поползновение красть, но пересиливающего себя потому, что кража запрещена законом,—выше нравственности того, у кого не рождается даже и мысли о присвоении чужого, уже не вследствие запрещения закона, а просто по внутреннему отвращению от кражи? Кажется, не того можно назвать человеком истинно-нравственным, кто только терпит над собою веления долга, как какое-то тяжёлое иго, как «нравственные вериги», а именно того, кто заботится слить требования долга с потребностями внутреннего существа своего, кто старается переработать их в свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и саморазвития так, чтобы они не только сделались инстинктивно-необходимыми, но и доставляли внутреннее наслаждение. Люди, полагающие, что жизнь наша имеет целью отречение от всякого наслаждения, находят в этом эгоизм. Пусть и так; но такого рода эгоизм, по нашему мнению, лучше того самоотречения, о котором говорили мы выше, и мы искренно желаем, чтобы труженики с мрачным взглядом на жизнь достигли состояния такого полного эгоизма, полагающего в счастье других собственное счастье. К такому состоянию приближался или стремился Станкевич в большей части своих поступков, и за это он достоин нашего уважения, а не упреков.

[Скажут, что в подобном направлении выражается очень сильно собственный эгоизм человека, и этому эгоизму как будто подчиняются все другие, высшие чувствования. Но мы спросим: кто же когда-нибудь мог освободиться от действия эгоизма, и какое наше действие не имеет эгоизма своим главным источником? Мы все ищем себе лучшего, стараемся удовлетворить своим желаниям и потребностям, стараемся добиться счастья. Разница только в том, кто как понимает

это счастье. Есть, конечно, грубые эгоисты, которых взгляд чрезвычайно узок и которые понимают своё счастье в грубых наслаждениях чувственности, в унижении пред собою других, и т. п. Но ведь есть эгоизм другого рода. Отец, радующийся успехам своих детей,— тоже эгоист; гражданин, принимающий близко к сердцу благо своих соотечественников,— тоже эгоист: ведь всё-таки *он*, именно *он* сам чувствует удовольствие при этом, ведь он не отрёкся от себя, радуясь радости других. Даже, если человек жертвует чем-нибудь своим для других, и тогда эгоизм не оставляет его. Он отдаёт бедняку деньги, приготовленные на прихоть: это значит, что он развился до того, что помощь бедняку доставляет ему больше удовольствия, нежели исполнение прихотей. Но если он делает это не по влечению сердца, а потому только, что следует предписанию долга? В этом случае эгоизм скрывается глубже, потому что тут уже действие—не свободное, а принуждённое; но и здесь всё-таки есть эгоизм. По чему-нибудь человек предпочитает же предписание долга своему собственному влечению. Если в нём нет любви, есть страх. Он опасается, что нарушение долга повлечёт за собою наказание или какие-нибудь другие неприятные последствия; за исполнение же он надеется награды, доброй славы, и т. п. При внимательном рассмотрении и окажется, что побуждением действий формально добродетельного человека служил эгоизм очень мелкий, называемый проще тщеславием, малодушием, и т. п. Право, хвалить за это нечего.]

В жизни Станкевича есть, впрочем, одна сторона, подающая мрачно-практическим людям сильное оружие против него и подобных ему личностей. «Он не знал упорного труда, не был в борьбе с препятствиями и ничего не сделал». Вот что говорят о нём, и из этого выводят, что он по слабости характера и эпикурейским наклонностям своим и не мог ничего сделать. Отвечать на это довольно мудрено, так как вообще мудрено говорить о том, что бы было, *кабы* не то было, что было. Но всё-таки мы склоняемся скорее к тому убеждению, что Станкевич способен был совершить много хорошего: вспомним, что он умер всего двадцати семи лет. Приписывать ему слабость характера нет никаких оснований. Он не был ветрен, занятия его искусствами, историей, потом философией и историей шли ровно и последовательно; в мнениях своих он постоянно был независим, как видно из отношений его к друзьям. Правда, что он не высказывался во внешней деятельности так обильно, как некоторые другие; но у него это было не вследствие беспечности или бессилия. Он много раз в своих письмах говорит о том, что к плодотворной деятельности надобно хорошо подготовиться, и затем высказывает свои планы. В одном письме он высказывает как бы программу своей деятельности.

«Надобно или *делать* добро, говорит он, или *приготавливать себя* к деланию добра, совершенствовать себя в нравственном отношении, и потом, чтобы добрые намерения не остались без плода, совершенствовать себя в умственном отношении».

И эти слова не были пустой фразой: Станкевич исполнял на деле свои предположения: наблюдал за своим нравственным совершен-

ствованием и учился. В этом периоде деятельности и заключалась его жизнь, слишком рано прекратившаяся. Борьбы за свои идеи и тяжёлых столкновений с невежеством и неблагородством он не испытал; но стоит ли жалеть об этом, и может ли это уменьшить степень нашего уважения к личности? Может ли это уничтожить значение того нравственного развития, какое выражается, например, в одном письме Станкевича к Грановскому, где он говорит, между прочим:

«Более простора уму, более любви сердцу — и все эти сомнения: как мне быть? что мне делать? что из меня выйдет? — пойдут к чорту. В самом деле, чтоб истина не пугала, надобно быть чище душою. Скажи человеку, закоренелому в эгоизме: «ты — ничто!» — вот до какой мысли достигнешь ты путём науки: счастье, достойное человека, может быть одно — самозабвение для других; — награда за это одна — наслаждение этим самозабвением», — и он опечалится, хотя бы в самом деле от юности своею соблюл все законы чести и справедливости. А кто бескорыстно ищет истины, тот уже очищает душу и приготовляет её к принятию божества».

Не правда ли, что в этих словах очень ясно выражается [та идея высшего эгоизма и] то стремление слить свои влечения с требованиями добра и правды, о котором говорили мы выше? Выражение одних этих стремлений в жизни человека даёт уже ему право на общее уважение, несмотря на то, терпел ли он страдания внешние и выходил ли на борьбу со злом.

Да и зачем непременно мерять достоинство человека количеством препятствий, встреченных им? Зачем возводить к идеалу то, что есть просто следствие неправильности общественных отношений? Разумеется, человек, который попал в игорный дом и не играет, а даже других уговаривает перестать, заслуживает великого уважения. Но зачем же бранить того, кто вовсе не был в игорном доме? Желать всем порядочным людям горя и страданий, по нашему мнению, совершенно излишне: они и без того слишком часто подвергаются несчастиям всякого рода. Разумеется, фальшивое положение в обществе, зрелище злоупотреблений, невежества и порока — тяжело действует на всякую благородную натуру и вызывает её на борьбу со злом. Ничего не может быть почтеннее такой борьбы, и мы с благоговением смотрим на страдальцев, вышедших из неё чистыми. Но, вместе с тем, мы жалеем этих страдальцев и никогда не решимся бросить им холодное, фаталистическое: «так должно! таково назначение великих и благородных людей!» Никогда не захотим мы обвинить человека за то только, что он не посвящает себя враждебным действиям против зла, а просто удаляется от него. Мы обвиним за равнодушие к низостям и пороку только того, у кого это равнодушие проистекает из трусости, корысти, и т. п., кто входит в близкие соотношения с пороком и не восстаёт на него, а потворствует или даже сам подчиняется ему, хотя наружно. Мы будем презирать того, кто бережёт себя от борьбы, в надежде поживиться чем-нибудь от тех отношений, к которым чувствует внутреннее отвращение, как к несправедливым и преступным. Но, если человек просто удаляется от зла, не видя возможности уничтожить его,

или не находя в себе самом достаточно средств для этого, мы никогда не осмелимся порицать его и даже не откажем ему в нашем уважении, если он заслуживает его другими сторонами своей жизни.

Что Станкевич был менее полезен для общества, чем, например, Белинский,—об этом никто, конечно, спорить не будет. В этом сознавался сам Станкевич, говоря о различии своей натуры от натуры Белинского. Он сам не находил в себе таких сил для деятельной и упорной борьбы, какими обладал знаменитый критик наш. В одном письме грустно говорит он о том, что Белинскому нужно примирение с счастьем жизни, а ему, напротив, раздражение, препятствия, потому что он по природе своей слишком мягок и идеален. Поэтому он даже сомневается, ехать ли ему к Б[акунины]м, всё семейство которых внушало ему чувство самого чистого благоговейного уважения и любви. Вот несколько строк из этого письма.

«Я получил письмо от М. Б[акуни]на. Белинский отдыхает у них от своей скучной, одинокой жизни. Я уверен, что эта поездка будет иметь на него благотворное влияние. Полный благородных чувств, с здравым, свободным умом, добросовестный, он нуждается в одном только: на опыте, не по одним понятиям, увидеть жизнь в благороднейшем её смысле; узнать нравственное счастье, возможность гармонии внутреннего мира с внешним, гармонии, которая для него казалась недоступною до сих пор, но которой он теперь верит. Семейство Б-х — идеал семейства. Можешь себе представить, как оно должно действовать на душу, которая не чужда искры божией. Нам надобно туда ездить исправляться... Но я — я боюсь испортиться. М[ихаил] зовёт меня, с своим обыкновенным прямодушием, добротою; не знаю, поеду ли? — Во мне другой недостаток, противоположный недостатку Белинского: я слишком верю в семейное счастье, а иногда с сердечной болью думаю, что это одно возможное. Мне надобно больше твёрдости, больше жёсткости» (стр. 189).

Как натура по преимуществу созерцательная, Станкевич не мог броситься в практическую деятельность [и произвести какой-нибудь переворот в положении общества]. Признавая это и зная, что он сам в этом признавался, мы уже не имеем никакого права при- ставить к нему с назойливым допросом: «отчего ты не оставил никаких положительных, вещественных, памятников своего существования; отчего ты не вступал в борьбу, отчего ты не громил пороков, не терпел страданий от своих врагов» и пр.? Подобный допрос имел бы ещё смысл, если бы борьба, страдания и т. п. были чем-нибудь обязательным, необходимым для сохранения чести и благородства человека. Но ведь, как мы уже заметили, борьба эта есть ненормальное явление, происходящее от фальшивых отношений, среди которых живёт общество. Указывают на пример почти всех великих людей, которые являются нам в истории тружениками и страдальцами. Но если всмотреться пристальнее в жизнь каждого из этих страдальцев, то весьма немного найдётся таких фанатиков, которые бы сами отыскивали страдания, бросаясь в борьбу только для удовольствия борьбы. Большею частию, почти всегда, борьба эта является следствием обстоятельств, совершенно независимо и даже иногда против воли того, на кого должны обрушиться все

тяжёлые последствия борьбы. Пора нам убедиться в том, что искать страданий и лишений—дело неестественное для человека и поэтому не может быть идеальным, верховным назначением человечества. Во что бы человек ни играл, он играет только до тех пор, пока ещё надеется на выигрыш; а надежда на выигрыш—это ведь и есть желание лучшего, стремление к удовлетворению своих потребностей, своего эгоизма в том виде, в каком он у каждого образовался, смотря по степени его умственного и нравственного развития. Романтические фразы об отречении от себя, о труде для самого труда или «для такой цели, которая с нашей личностью *ничего общего* не имеет»,—к лицу были средневековому рыцарю печального образа; но они очень забавны в устах образованного человека нашего времени. Станкевич очень хорошо понимал всю нелепость насильственной, натянутой добродетели, этого внутреннего лицемерия пред самим собою. В нём было слишком много истинной честности и прямоты, чтоб он мог поддаться подобному лицемерию. Он твёрдо сознавал, что человек не иначе может удовлетвориться, как полным согласием с самим собою, и что искать этого удовлетворения и согласия всякий не только может, но и должен. Если всякий предмет в природе имеет право существовать прежде всего для себя, то неужели человек должен быть каким-то уродом в создании, изгнанником из общей гармонии? Напротив, он выше других предметов, и потому восприимчивость к благу жизни в нём развита ещё больше: низшие предметы природы живут только в себе, наслаждаются собою,—человек может жить в других, наслаждаться чужою радостью, чужим счастьем. Если кто не чувствует в себе этой способности, значит, он ещё мало развил в себе истинно-человеческие элементы, значит, животные потребности слишком сильно преобладают в нём.

«Что мне за утешение приобрести сокровища, пить, есть, говорит Станкевич в одном письме,—эти животные наслаждения ниже меня: а какое же наслаждение остаётся ещё, кроме любви, жизни в других? Разум мой сознаёт свою любящую природу в этой мысли,—и то, что мы называем чувством, есть полное одобрительное действие нашего разума на весь организм».

Вот в чём заключался эпикуреизм Станкевича. Ясно, что при обстоятельствах, менее благоприятных для спокойного саморазвития и самосовершенствования, при существовании непосредственных враждебных столкновений с миром, Станкевич не побоялся бы отстаивать свои убеждения и действовать против злых в пользу добрых: в этом он умел находить, как мы видим, *собственное* наслаждение. Но обстоятельства расположились иначе: Станкевича не захватил круговорот борьбы здравых идей с шумно восставшими против них предрассудками, и, право, не нужно жалеть об этом. Трудна эта борьба, и немногие выходят из неё победителями. Ещё ничего, если человек сокрушится физически: тогда всё-таки дело его остаётся правым, чистым и сильным. Но чаще бывают нравственные падения, вредящие успеху самого дела. Немного найдётся таких нравственно

чистых личностей, как Белинский, который из своей продолжительной, упорной борьбы с невежеством и злом вышел сокрушённый физически, но нравственно ясный и светлый, без всякого пятна и укоризны. Были в то же время и другие люди, тоже имевшие благородные убеждения, тоже горячо кинувшиеся в борьбу; но имена их не сохраняются в ряду имён чистых и безукоризненных, хотя, может быть, они были даже в этом самом кружке Станкевича. Может быть, они в своё время приносили даже и пользу, следовательно, имели общественное значение; но, по нашему мнению, определять нравственное достоинство лица и, следовательно, права его на общественное уважение по одному только количеству пользы, принесённой им, несправедливо. Это точно так же односторонне, как и суждение о человеке по одним его намерениям и убеждениям: одно слишком субъективно, другое совершенно объективно. Не нужно забывать, что польза от человеческих действий не всегда происходит именно там, где на неё рассчитывают, и что не всегда люди рассчитывают на общую пользу, когда обрабатывают то или другое полезное дельце. Иначе мы должны были бы вознести на верш общественного уважения те безобразные [гаденькие] личности, которые в [простонародьи] заклеены названием перемётной суммы, а в лучшем обществе именуются «дипломатами». Они бывают весьма полезны, когда видят, что по обстоятельствам им следует быть полезными. Когда они убедились, что можно выехать на бескорыстии,—они преследуют взятки; видя, что просвещение пошло в ход, они кричат о святости науки, о любви к знанию; догадавшись, что идеи гуманности и правды одолевают старые начала угнетения и лжи, они являются везде защитниками слабых, поборниками справедливости, и т. п. Но, переменись завтра обстоятельства,—они первые восстанут против того, что ещё недавно защищали. Польза, сделанная ими, остаётся, но нравственное достоинство лица едва ли от того возвышается, и едва ли эти люди приобретают право на общественное уважение.

Напротив, человек высоко честный и нравственный в своей жизни вполне достоин уважения общества именно за свою честность и нравственность. Пусть его жизнь не озарилась блеском какого-нибудь необыкновенного деяния на пользу общую—всё-таки его нравственное значение не потеряно. Даже натура чисто созерцательная, не проявившаяся в энергической деятельности общественной, но нашедшая в себе столько сил, чтобы выработать убеждения для собственной жизни и жить не в разладе с этими убеждениями,—даже такая натура не остаётся без благотворного влияния на общество именно своей личностью. Мысль и чувство и сами по себе не лишены, конечно, высокого реального значения; поэтому простая забота о развитии в себе чувства и мысли есть уже деятельность законная и небесполезная. Но польза её увеличивается оттого, что вид человека, высоко стоящего в нравственном и умственном отношении, обыкновенно действует благотворно на окружающих, возвышает и одушевляет их. Есть, конечно, и всегда бывали люди с крайне утилитарными взглядами. Петры Ивановичи Адуевы средней

руки, чёрствые и сухие в своей quasi-философской практичности,—люди, которых не прошибёшь указанием на нравственную красоту и высокую степень умственного развития. Такие люди говорят: «э, помилуйте! всё это эгоизм и дилетантизм. Ну, скажите, какая польза от всех этих совершенств? По-моему,—увлекается ли человек философскими вопросами, восхищается ли лучшими произведениями искусства, или наслаждается пустыми романами, трактирным органом и публичными гуляньями,—плоды такого наслаждения для общества будут одинаковы». К счастью, немного таких людей, способных оставаться бесчувственными при виде умственного и нравственного достоинства в человеке. Большая часть людей не лишилась ещё прекрасного качества чувствовать благотворное влияние всякой приближающейся к ним благородной и здраво развившейся личности.

Того, что нами сказано, достаточно уже было бы для объяснения прав Станкевича на общественное внимание и уважение. Но в его переписке и биографии находятся факты, указывающие *положительные* его заслуги для общества, состоящие именно в том влиянии, какое имел он на людей, сделавшихся весьма известными в русской литературе. Известно, чем обязан Станкевичу Кольцов, встретивший в нём первого образованного, горячего ценителя и постоянную поддержку и так живо выразивший печаль об его утрате в прекрасном стихотворении «Поминки», в котором называет Станкевича «лучшим» в кружке друзей. Известно также, как много поддерживал Станкевич Грановского в его трудах, в его сомнениях. Об этом предмете нечего говорить более, как только привести следующие слова из письма Грановского, писанного тотчас после смерти Станкевича.

«Никому на свете не был я так много обязан: его влияние на меня было бесконечно и благотворно. Этого, может быть, кроме меня, никто не знает».

Такое признание *Грановского* имеет, конечно, большое значение при определении общественных заслуг Станкевича. Правда, что и против значения самого Грановского спорят *некоторые*; но кто же эти некоторые? г. В. Григорьев, покойная «Молва», да г. И. Л., недавно раскритиковавший Станкевича в одном из лучших наших журналов..

Мы пропускаем здесь влияние Станкевича на Красова и на Клюшникова, которые хотя и не были первоклассными художниками, но всё же не могут быть названы бездарными. Напротив, у них очень нередко выражалась в звучных стихах живая мысль и искреннее, тёплое чувство. Но мы не станем говорить об этом влиянии, чтобы несколько долее остановиться на отношениях Станкевича к Белинскому. Их не нужно искать в письмах к самому Белинскому, которых в издании г. Анненкова напечатано всего два; о них можно судить по всей переписке Станкевича. Мы не скажем, что Белинский *заимствовал* свои мнения до 1840 г. у Станкевича: это было бы слишком много. Но несомненно, что Станкевич деятельно участвовал в выработке тех суждений и взглядов, которые потом

так ярко и благотворно выразились в критике Белинского. Мы не станем следить здесь за развитием общих философских положений, обсуждавшихся в кружке Станкевича и сделавшихся потом надолго благотворным источником критики Белинского. Здесь можно было бы найти много данных для определения значения Станкевича в кругу его друзей; но мы уклоняемся от рассмотрения этого вопроса — отчасти потому, что оно завлекло бы нас очень далеко, а главным образом потому, что это дело изложено уже гораздо подробнее и лучше, нежели как мы могли бы это сделать, в одной из статей о критике гоголевского периода литературы, помещавшихся в «Современнике» 1856 г.⁷⁷ Мы обратим здесь внимание на явления более частные, касающиеся преимущественно тогдашних литературных явлений. В этом случае замечательно, что в письмах Станкевича встречаются большею частью *раньше* общие заметки и мнения, которые потом, после небольшого промежутка времени, являются уже основательно и подробно развитыми в статьях Белинского. Видно, что Белинский был наиболее энергичным представителем этого кружка; а, может быть, он имел и более материальной надобности высказывать в печати убеждения, выработанные им в обществе друзей, которые менялись своими идеями только между собою. Во всяком случае, очевидно, что, при образовании литературных взглядов и суждений в кружке друзей своих, Станкевич никогда не был лицом пассивным и даже имел некоторое влияние. Степени и подробностей этого влияния, конечно, нельзя определить тому, кто не был сам в кружке Станкевича; но что влияние было, — свидетельствуют многие черты, сохранившиеся в переписке. Так, ещё в 1833 г. Станкевич высказывает в письмах свои мысли о театре и театральном искусстве, развитые потом Белинским на нескольких страницах «Литературных мечтаний», напечатанных в «Молве» 1834 г. В том же году Станкевич высказывает своё мнение об игре Мочалова и Каратыгина, и оно же выражается в статьях Белинского, в «Молве» 1835 года, и даже позже в «Наблюдателе».

Во всех письмах Станкевича, начиная с 1834 года, постоянно выражается особенное увлечение Гофманом; с тем же характером является это увлечение и у Белинского, особенно в статье о детских книгах в «Отечественных записках» 1840 г., № 3. Тотчас по выходе первого № «Библиотеки для Чтения», — Станкевич писал (15 января 1834 г.) — к Я. М. Н[еверо]ву.

«Ты, верно, читал кое-что из № 1 «Б. д. Чт.». Боже мой! что это? Так как это журнал литературный, то, прочитав безжизненное стихотворение Пушкина и чуть живое Жуковского, я, чтобы видеть направление его, взглянул в отделение критики. Кажется, это подвизается Сенковский. Он спрашивает, напр., должно ли исторической драме нарушать свидетельства истории? Воображение действует, след., история должна быть нарушена. Какая польза от истории? История полезна одним только: она представляет пример характеров для подражания! А что толкуют о Кукольнике — беда! Великий Байрон, великий Кукольник! Если К. не так слаб душою, чтобы не обольститься лестью, то он должен негодовать; если он доволен — пропал поэтический талант, который я в нём допускал» (стр. 83).

Не правда ли, что все эти мысли хорошо знакомы нам по критикам последующего времени? Даже фраза «великий Байрон, великий Кукольник!» неоднократно повторялась потом, в насмешку над слишком решительным критиком! Но будем продолжать начатый параллель мнений Станкевича и Белинского.

В конце 1834 г. Станкевич пишет о Тимофееве, что он не считает этого автора поэтом и даже вкуса не подозревает в нём после «мистерии», помещённой в «Библ. для Чтения». В 1835 году Белинский с своей обычной неумолимостью высказал то же в «Молве», и вскоре потом Станкевич оправдывает критика, говоря в письме к Неверову: «мне кажется, что Белинский вовсе не был строг к Тим—ву, хотя иногда, по раздражительности характера, он бывает чересчур бранчив».

В марте 1835 г., Станкевич писал о Гоголе: «прочёл одну повесть из Гоголева «Миргорода»,—это прелесть! («Старомодные помещики»—так, кажется, она названа). Прочти! как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни!»—Именно на этой мысли основан разбор «Старосветских помещиков», помещённый Белинским в статье его «О русской повести и повестях г. Гоголя» в 7 и 8 (июньских) №№ «Телескопа».

В апреле 1835 г. Станкевич извещает Неверова: «Надеждин, отъезжая за границу, отдаёт нам «Телескоп». *Постараемся* из него сделать полезный журнал, хотя для иногородных, прибавляет он. По крайней мере, будет отпор «Библиотеке» и странным критикам Шевырёва. Как он мелочен стал!» (стр. 133).

В начале июня Станкевич уведомляет своего приятеля, что «Телескоп» уже передан Белинскому. «Я, прибавляет он, тратить времени на «Телескоп» не стану, но в каждое воскресенье мне остаётся два-три часа свободных, в которые я могу заняться. Кроме того, мы всегда будем обществом *совещаться* о журнале». Тут же говорится, что «Наблюдатель» плох и что Шевырёв обманул ожидания Станкевича и его друзей—и оказался педантом. Из этого видно, какое близкое, душевное участие принимал Станкевич в издании «Телескопа» Белинским, и нет сомнения, что он в самом деле много помогал ему своими советами. По крайней мере, на мнения его о Шевырёве в «Московском Наблюдателе» последовал отголосок в 9-й же книжке «Телескопа», то есть через два месяца, а в 5-й книжке следующего года помещена была специальная статья Белинского: «О критике и литературных мнениях «Московского Наблюдателя», где много досталось учёному профессору Шевырёву.

В ноябре 1835 г. писал Станкевич, что Бенедиктов не поэт, а фразёр:

«Что стих, то фигура, ходули беспрестанные. Бенедиктов блестит яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или натянутыми стихами. Набор слов самых звучных, образов самых ярких, сравнений самых странных,—но души нет».

Вслед за тем (в XI-й книжке «Телескопа») явилась статья Белинского о стихотворениях Бенедиктова, великолепно развивавшая то

же самое мнение, которого критик наш до конца держался. По поводу этой статьи приятель Станкевича сообщил ему слухи о том, будто бы удары, наносимые рукою Белинского, направляемы были Станкевичем, и последний отвечал на это с обычной своей искренностью:

«Не знаю, откуда эти чудные слухи заходят в Питер? Я — цензор Белинского? Напротив, я сам свои переводы, которых два или три в «Теле-скопе», подвергал ценсурству Белинского, в отношении русской грамоты, в которой он знаток, а в мнениях всегда готов с ним посоветоваться и очень часто последовать его советам. Конечно, его выходка неосторожна, но не более; он хотел напасть на способ составлять репутацию и оскорбил человеческую сторону Бенедиктова. Я ему это скажу».

В 1837 г. Станкевич уехал за границу, и литературные суждения в его письмах попадают реже. Поэтому и мы здесь остановимся. Сделаем только ещё выписку из одного письма Станкевича, заключающую в себе его мнение о народности. Вот что говорит он:

«Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя — можно только человеческими началами. Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит — хотеть продлить для него время детства: давайте ему общее, человеческое, и смотрите, что он способен принять, чего недостаёт ему? Вот это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патриотизмом никуда не годится» (стр. 220).

Это самое мнение, с удивительной близостью даже к способу изложения, подробно и энергически развил Белинский в статьях своих о Руси до Петра, в «Отечественных Записках» 1841 г., т. е. слишком через три года после письма Станкевича.

Мы не перебирали всех статей Белинского и всех мнений, в которых он сходил с своим другом. Мы называли только те статьи, которые мы могли припомнить и которые относятся к частным явлениям литературы. Но сходство частных суждений, по нашему мнению, ещё ярче рисует связь, существующую между людьми, нежели согласие в общих истинах. Поэтому мы полагаем, что и представленных фактов довольно уже для того, чтобы отнять у всякого право сказать: между Белинским и Станкевичем не было взаимной зависимости друг от друга! Чтобы говорить это, надобно не знать деятельности Белинского до 1840 г., т. е. до смерти Станкевича.

Таким образом, кроме своей прекрасной, благородной личности, столь привлекательной в самой себе, Станкевич имеет ещё и иные права на общественное значение, как деятельный участник в развитии людей, которыми никогда не перестанет дорожить русская литература и русское общество. Имя его связано с началом поэтической деятельности Кольцова, с историей развития Грановского и Белинского: этого уже довольно для приобретения нашего уважения и признательной памяти.

В заключение нашей статьи, мы просим у читателей извинения в том, что наши заметки приняли форму несколько полемическую. Трудно удержаться от этой формы, говоря о личности, подобной

Станкевичу, ввиду тех понятий, какие обнаруживаются столь многими в нашем обществе. У нас ещё недостаточно развито уважение к нравственному достоинству отдельных личностей; у нас ещё нередко можно слышать такое рассуждение: «он мне ничего худого не сделал; могу ли я назвать его негодяем?» Или такое: «что мне уважать его? мне от него ни тепло, ни холодно!» Понятно, что люди с такими понятиями (а таких людей не мало) и удивлены и раздражены тем, что им смеют говорить об общественном значении человека, который не только пирамиды не выстроил, Америки не открыл, пороху не выдумал, но даже ни одного благотворительного бала не сделал, даже ни одной толстой книги не сочинил. Поневоле приходится говорить о достоинствах человека, защищая его от близоруких и нелепых обвинений. Такой способ изложения для нас самих очень неприятен и невыгоден—вот в каком отношении. Мы хотим удерживать человека на той высоте, на которой стоит он и с которой мелочная утилитарность хочет стащить его в какую-то тёмную канаву, а нам кричат: «вы его поднимаете на пьедестал, вы его хотите до облаков вознести! За что это? Какие его положительные заслуги?» и пр. И выходит, как будто мы в самом деле ставим на пьедестал человека, особенно когда утилитарные враги начинают утверждать, что они этого человека не трогали и в канаву не тащили...

Но мы ещё раз готовы повторить то, что уже сказали в начале статьи. Преувеличенные похвалы Станкевичу нам самим кажутся излишними и несправедливыми; сравнивать его с Сократом, идеи которого разнесены по свету несколькими Платонами, нам никогда не приходило в голову. Да, сколько мы знаем, и никто из его друзей и приверженцев не делал подобных сравнений. Но, с другой стороны, мы считаем крайне несправедливым и то отрицание, с которым многие относятся к этой прекрасной, возвышенной личности. Говорят, что жизнь Станкевича прошла бесплодно, что он даром растратил свои силы и не должен иметь места в наших воспоминаниях; говорить это—значит обнаружить полное неуважение к развитию индивидуальности человека и выразить претензию на абстрактное самоотречение, которое в сущности есть не что иное, как обезличие. Кто признаёт права личности и принимает важность естественного, живого, свободного её развития, тот поймёт и значение Станкевича, как в самом себе, так и для общества. Мы с своей стороны прибавим здесь одно: если бы во всяком обществе большинство состояло из людей, подобных Станкевичу, то не было бы никакой необходимости ни в этой пресловутой борьбе ни в муках и страданиях, на которые так любят вызывать всех порядочных людей люди слишком утилитарные.

ОРГАНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В СВЯЗИ С ЕГО УМСТВЕННОЙ И ПРАВСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

(ОРГАНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРИМЕНЕНИИ К САМООБРАЗОВАНИЮ И К РАЗВИТИЮ ЗДОРОВЬЯ ПИТОМЦЕВ. СОЧИНЕНИЕ К. Ф. ШНЕЛЛЯ. Перев. с немецкого Ф. Бёмера. Спб. 1857 г. — книга о здоровом и больном человеке. СОЧИНЕНИЕ ДОКТОРА К. Э. БОКА. Перев. с немецкого И. Паульсона и Ф. Бёмера. Спб. 1857 г., две части.)⁷⁸



Оба, названные нами, сочинения вышли в русском переводе уже довольно давно, но, кажется, не обратили на себя особенного внимания русской публики. А, между тем, это книги весьма замечательные, и в особенности для нас, сбитых с толку выпренными теориями учёных педагогов, говорящих о духовном развитии человека такие вещи, что просто волос дыбом становится. Так Шнелль, не прибегая ни к каким хитрым толкованиям, говорит просто-напросто, что «верховною целью воспитания должно быть здоровье» (стр. 1). Этим определением он начинает свою книгу, им же её оканчивает, оно же строго проведено по всем отделам его сочинения. Доктор Бок также утверждает, что важнее всего при воспитании заботиться о здоровье и постоянном упражнении всех чувств, приспособляя их к различным впечатлениям (стр. 469).

Нет сомнения, что определение Шнелля, по своей крайней простоте, с первого же раза покажется понятным для каждого из читателей. Но, вместе с тем, несомненно и то, что многие потропятся растолковать его в смысле очень ограниченном и, вследствие того, восстанут с благонамеренными насмешками против Бока и Шнелля, и тут же против нас, признающих начала их совершенно разумными. «Ваша идея,—язвительно скажут нам,—вовсе не нова; вы имеете честь разделять её с госпожой Простаковой, с господином Скотининым, с родителями пана Халявского, изображённого Основьяненком, и вообще со всеми маменьками и папеньками, которые слово *воспитание* считают однозначным с словом *откармливанье*. К сожалению, ваша теория *воспитания для здоровья* находит ещё многих представителей в отживающем поколении провинциальных, степных бабушек, тётушек, нянюшек, которые встречают своего воспитанничка, приехавшего из университета, словами: «батюшка ты наш! как тебя там измучили! Поехал—так любо посмотреть было; а теперь—спичка спичкой стал. Вот она, наука-то ваша проклятая!» Вашей идее обрадуются все балбесы, которые до

15 лет ничему не учатся, но зато—как яблочко румяны, потому что с утра до ночи собак гоняют», и пр., и пр.

На все эти возражения мы можем ответить просвещённым нашим противникам, что не всякая болезнь иссушает человека, и не всякая толстота означает здоровье. Мы просим вспомнить поэтическую жалобу толстого труженика, который утверждает: люди, дескать,

По моей громадной толщине
Закljučают ложно обо мне,—

не зная,

...Что тот,
Кто счастливцем по виду слы́вет,
Далеко не так благополучен,
Как румян и шаровидно тучен.

Да, ошибка госпожи Простаковой с братией состояла не в том, что они заботились о здоровье детей, а в том, что не понимали, что такое здоровье. Матушка откармливает своего Митрофанушку, а он, съевши на сон грядущий солонины ломтика три, да пирожков подовых пять или шесть,—ляжет да и тоскует целую ночь, а по утру как шальной ходит... Разве это здоровье? Ежели здоровье состоит в том, чтобы беспрепятственно совершались в человеке отправления растительной жизни и чтобы не было в теле постоянного ощущения какой-нибудь острой боли, то, пожалуй, можно согласиться, что все толстые идиоты совершенно здоровы. Но, в таком случае, ведь и поражённого параличом надобно считать здоровым человеком, и одержимого белой горячкой—тоже здоровым. А между тем и то, и другое мы считаем болезнями и даже весьма значительными. Мало этого, мы ведь признаём больным, или, по крайней мере, не совершенно здоровым, человека, подверженного беспрестанным истерикам, спазмам, мигреням, всякого рода нервным расстройствам и т. п. Уродства разного рода—глухота, слепота, и т. д. тоже должно относить к явлениям болезненным. Точно также к болезням следует относить и особые, ненормальные положения, в которые впадают иные люди, как, например, спячку или апатию ко всему на свете, совершенное забывание, всякие мономании, общее расслабление организма и невозможность сделать над собой хотя малейшее усилие, и т. п. Словом—под здоровьем нельзя разуметь одно только наружное благосостояние тела, а нужно понимать вообще естественное гармоническое развитие всего организма и правильное совершение всех его отправления.

Против этого опять может быть возражение, и на этот раз уже довольно основательное. Могут указать на низший класс народа, который физически бывает обыкновенно здоровее высших классов; могут указать на дикарей, пользующихся отличным здоровьем и громадной физической силой; а с другой стороны—могут представить многих великих учёных, поэтов, государственных людей, истощённых, больных и слабых... Из этого сопоставления можно вывести заключение такого рода, на первый взгляд не лишённое своей основательности: если всё развитие человека направлять только к тому,

чтобы он был здоровым, то придётся взять за идеал ирокезов, которые, как говорят, не знают никаких болезней,—и отвергнуть всё значение великих людей, прославившихся умственной и нравственной деятельностью.

Возражение это, по внимательном его рассмотрении, должно быть признано совершенно ничтожным по многим причинам. Прежде всего мы должны повторить, что под здоровьем организма мы вовсе не разумеем одно физическое благосостояние тела. Нам кажутся смешны и жалки невежественные претензии грубого материализма, который унижает высокое значение духовной стороны человека, стараясь доказать, будто душа человека состоит из какой-то тончайшей материи. Нелепость подобных умствований так давно и так неопровержимо доказана, они так прямо противоречат результатам самих естественных наук, что в настоящее время только разве человек самый отсталый и невежественный может ещё не презирать подобных материалистических умствований. Мы совсем не хотим сказать, что телесная деятельность важнее духовной, совсем не хотим выставить довольство физическое целью нашей жизни. Напротив—мы намерены говорить о том, что часто тело наше, как служебное орудие духовной деятельности, бывает испорчено разными слабостями и болезнями и не имеет возможности исполнять своего назначения. Мы восстаём против того, что часто мы заботимся только на словах о совершенствовании духовном, а между тем на деле вовсе не стараемся покорить тело духу и, предаваясь чувственности, расстраиваем и тело своё, и у духовных способностей отнимаем возможность проявляться правильно; потому что расстроенные телесные органы делаются негодны для служения возвышенной духовной деятельности. Это говорит нам постоянный опыт, говорит наше внутреннее сознание, наша вера; и это же самое подтверждается результатами новейших исследований в области естествоведения. Эту именно необходимость—воспитывать тело для служения правильной духовной деятельности, эту истину, сделавшуюся даже избитою от частого повторения, истину, что *mens sana, здоровый дух,—должен быть in corpore sano, т. е. должен соединяться с здоровым телом,—это* и намерены мы подтвердить, указавши на несомненные факты естествоведения. В таком именно смысле должны быть понимаемы все наши замечания о неразрывной связи душевной и телесной деятельности.

Но возвратимся к возражению, приведённому нами. Кроме одностороннего, узкого понимания здоровья,—оно грешит ещё тем, что берёт для сличения предметы не совершенно под одинаковыми условиями. Различие племён и затем различие занятий человека много имеет влияния на возможную степень его развития во всех отношениях. Если бы можно было брать здоровье в отвлечённости, то не нужно было бы даже к людям обращаться, а прямо привести в пример животных. На что вам ещё организм крепче и здоровее, чем хоть, примерно, у слона или у льва, или даже у быка? Недаром же говорят у нас: «Здоров, как бык». Но у этих животных самое строение организма не то, что у нас, и потому мы оставляем их

в покое. Есть, пожалуй, червяки, которых разрежешь пополам, так обе половинки и поползут в разные стороны,—как ни в чём не бывало; эти нам не пример. Точно так и ирокезы—не пример для европейских учёных. Кроме того—нужно заметить, что болезненное состояние вовсе не способствовало, конечно, полезным открытиям и изысканиям, произведённым этими учёными. В большей части случаев, болезнь вовсе и не относилась к тем органам, которые необходимы были для их специальности (как исключение, можно бы привести Бетховена; но и у него повреждение слуховых органов не было так сильно в то время, когда он создавал лучшие свои творения); местное же поражение в этом случае не должно быть принимаемо в расчёт.⁷⁹ Конечно, Байрон был хром, и это не помешало ему быть великим поэтом, точно так, как, напр., слабость зрения не помешала многим другим быть великими учёными, философами и пр. Но, конечно, всякий согласится, что наружное повреждение всего менее можно назвать болезнью организма. С другой же стороны, всякий признает, что каждое болезненное ощущение в теле расстраивает, хоть на минуту, нашу духовную деятельность и что, след., если бы великие учёные были совершенно здоровы, то сделали бы ещё больше, чем сколько сделали они при своих немогах.

Говорят, что, напротив,—иногда болезнь тела возбуждает сильнее духовную деятельность. Примеров приводят много. Указывают на нескольких поэтов, почувствовавших и открывших миру силу своего таланта после того, как они стали слепы. Тут, разумеется, являются Гомер и Мильтон, тут приводят и стихи Пушкина русскому слепцу-поэту:

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений, и проч.⁸⁰

Указывают также на Игнатия Лойолу, во время болезни почувствовавшего призвание к основанию ордена; на Магомета, в припадках падучей болезни слышавшего призвание Аллаха; на аскетов, чьих духовные созерцания происходили именно от истощения ими плоти своей, и т. д. Примеров на эту тему можно набрать тысячи; случаев, в которых обнаруживается антагонизм духовной и телесной природы в человеке, тоже насчитывается множество. Но во всём этом господствует недоумение; сначала виною ему послужили грубые материалисты; а потом и мечтательные идеалисты, опровергая их, впали в ту же самую ошибку. Мы намерены объяснить на этот счёт подробнее, считая объяснение именно этого пункта самым необходимым для убеждения в важности, какую имеет здоровый организм,—не только для телесной, но и для нравственной деятельности человека.

Начнём хоть с того, что замечать антагонизм между предметами есть дело совершенно естественное и неизбежное при раскрытии в человеке сознания. Пока мы не замечаем разницы между предметами, до тех пор мы существуем бессознательно. Первый акт сознания состоит в том, что мы отличаем себя от прочих предметов, существующих в мире. Уже в этом отличении заключается и некоторое про-

тивопоставление, и противопоставление это тем сильнее, чем более самостоятельности признаём мы за своим существом. Сознавши себя как нечто отдельное от всего прочего, человек необходимо должен притти к заключению, что он имеет право жить и действовать сам по себе, отдельной и самостоятельной жизнью. Но на деле он беспрестанно встречает непреодолимые препятствия к исполнению своих личных стремлений, и, сознавая своё бессилие, но ещё не сознавая ясно своей связи с общими законами природы, ставит себя во враждебное отношение к ней. Ему кажется, что в природе есть какие-то силы, неприязненные к человеку и вечно ему противоборствующие. Отсюда развивается мало-по-малу понятие о тёмных силах, постоянно вредящих человеку. Между тем и благотворная сила природы не может не быть замечена человеком, раз уже отличившим себя от неё, и таким образом, вместе с понятием о тёмной силе, является и сознание силы светлой и доброй, покровительствующей человеку. Вот начало того дуализма, который находим мы в основании всех естественных религий: Вишну и Шива, Ормузд и Ариман, Белбог и Чернобог, и проч., и проч., служат олицетворением первоначальных понятий человека о силах природы. В дальнейшем своём развитии, соразмерно с приобретением большей опытности человечеством, общая идея распадается на множество частных и применяется ко всякому отдельному явлению. Таким образом, являются понятия о противоборстве света и мрака, тепла и холода, моря и суши [земли и языческого неба] и т. д. Наконец, человек обращается от внешнего мира к себе и в своей собственной натуре тоже начинает замечать борьбу каких-то противоположных побуждений. Не умея ещё возвыситься до идеи о всеобщем единстве и гармонии, он и в себе, как в природе, предполагает существование различных, неприязненных друг другу, начал. Доискиваясь, откуда взялись они, он, почти вполне ещё находящийся под влиянием впечатлений внешнего мира, не задумывается приписать их происхождение тем же враждебным силам, какие заметил уже в природе. Находя внутри себя какие-то неясные стремления, какое-то недовольство внешним, он естественно заключает, что внутри его есть какое-то особенное существо, высшее, нежели то, которое обнаруживается в его внешней деятельности. Отсюда прямой вывод, что в человеке два враждебных существа,—одно, происходящее от доброго начала,—внутреннее, высшее; другое, произведённое злою силой, внешнее, грубое, тёмное. Таким образом, является то мрачное понятие о теле, как темнице души, которое существовало у до-христианских народов. Со времён христианства, древний дуализм понемногу начинает исчезать и до некоторой степени теряет свою силу в общем сознании. Но старые понятия жалко было бросить схоластическим мудрецам средних веков, и они ухватились за дуализм, как за неистощимый источник диалектических прений. В самом деле,—когда всё просто, естественно и гармонично, о чём тогда и спорить? Гораздо лучше, если будет два начала, две силы, два противных положения, из которых можно исходить во всеоружии софизмов на поприще пустой диалектики. Эти-то премудрые схоластики и задержали общий здравый смысл, которому, конечно, давно пора бы

понять, что последняя цель знания—не борьба, а примирение, не противоположность, а единство. Средневековые учёные постарались отделить душу от тела и, взглянув на неё, как на существо, совершенно ему чуждое, принялись потом отгадывать: как же это душа с телом соединяется? В древности Аристотель тоже рассуждал об этом; тому было, разумеется, простительно. Он воображал себе, что тело есть материя грубая, а душа—тоже материя, только очень тонкая, и, следовательно, вопрос, поставленный им, можно понимать некоторым образом в химическом смысле. Оттого-то и вышла у него хорошая теория—*инфлюксус физикус*, для объяснения связи души с телом. У средневековых учёных не могло существовать предположения Аристотеля о материальности души. Все они были христиане, большею частью духовные, все веровали в духовность и бессмертие души, а между тем рассматривали вопрос, который возможен был только при предположении Аристотеля. Каким способом дух соединяется с телом, спрашивали они, какое место занимает он в теле? Посредством каких связей передаётся душе боль, причинённая телу? Какие существуют проводники, передающие телу мысли и желания воли?.. Делая все эти вопросы, схоластики не понимали, что, считая душу идеальным существом, механически вложенным в тело, они через то сами выпадают в грубейший материализм. Если душа занимает определённое местечко в теле, то, разумеется, она материальна; если она какими-нибудь внешними связями соединяется с телом,—опять то же неизбежное следствие. К этому заблуждению присоединялось ещё другое, тоже языческое,—что тело состоит под влиянием злой силы и от него приходит в душу всё нечистое. На основании этого рассуждения средневековые аскеты превзошли даже те жестокие и кровавые истязания, какие делают над собой индийцы в своём религиозном иступлении. Известно, до какого безумия доходили бичующиеся в своём усмирении плоти. Известно и то, сколько колдунов и сколько несчастных, так называемых, «беснующихся», сожжено было тогда вследствие уверенности, что в теле их воцарился дьявол...

В наше время успехи естественных наук, избавившие нас уже от многих предрассудков, дали нам возможность составить более здравый и простой взгляд и на отношение между духовной и телесной деятельностью человека. Антропология доказала нам ясно, что прежде всего—все усилия наши представить себе отвлечённого духа без всяких материальных свойств, или положительно определить, что он такое в своей сущности, всегда были и всегда останутся совершенно бесплодными. Затем наука объяснила, что всякая деятельность, обнаруженная человеком, лишь настолько и может быть нами замечена, насколько обнаружилась она в телесных, внешних проявлениях, и что, следовательно, о деятельности души мы можем судить только по её проявлению в теле. Вместе с тем мы узнали, что каждое из простых веществ, входящих в состав нашего тела, само по себе не имеет жизни,—следовательно, жизненность, обнаруживаемая нами, зависит не от того или другого вещества, а от известного соединения всех их. При таком точном дознании уже невозможно было оставаться в грубом, слепом материализме, считавшем душу каким-то кусочком тончайшей, эфирной мате-

рии; тут уже нельзя было ставить вопросы об органической жизни человека так, как их ставили древние языческие философы и средневековые схоластики. Нужен был взгляд более широкий и более ясный, нужно было привести к единству то, что доселе намеренно разъединялось; нужно было обобщить то, что представлялось до тех пор какими-то отдельными [ничем не связанными] частями. В этом возведении видимых противоречий к естественному единству—великая заслуга новейшей науки. Только новейшая наука отвергла схолистическое раздвоение человека и стала рассматривать его в полном, неразрывном его составе, телесном и духовном, не стараясь разобщать их. Она увидела в душе именно ту силу, которая проникает собою и одушевляет весь телесный состав человека. На основании такого понятия, наука уже не рассматривает ныне телесные деятельности отдельно от духовных, и наоборот. Напротив, во всех, самых ничтожных телесных явлениях наука видит действие той же силы, участвующей бессознательно в кровотоении, пищеварении и пр. и достигающей высоты сознания в отправлениях нервной системы и преимущественно мозга. Отличаясь простотою и верностью фактам жизни, согласный с высшим христианским взглядом вообще на личность человека, как существа самостоятельно-индивидуального, взгляд истинной науки отличается ещё одним преимуществом. Им несомненно утверждается та истина, что душа не внешней связью соединяется с телом, не случайно в него положена, не уголок какой-нибудь занимает в нём,—а сливается с ним необходимо, прочно и неразрывно, проникает его всё и повсюду так, что без неё, без этой силы одушевляющей, невозможно вобрать себе живой человеческий организм [и наоборот].

Вникнувши в этот взгляд, немудрено понять, в каком смысле здоровье может быть принимаемо за верховную цель развития человека. Если всякая душевная деятельность непременно проявляется во внешних знаках, и если орудием её проявления служат непременно органы нашего тела, то ясно, что для правильного проявления душевной деятельности мы должны иметь правильно-развитые, здоровые органы. При всём желании слушать хорошие советы и видеть добрые примеры, человек слепой и глухой не может исполнить своего желания так же, как безногий не может ходить, немой говорить, и т. п. Так точно, если в нас расстроены нервы, мы не можем быть спокойны и терпеливы; если повреждён мозг, не можем хорошо рассуждать, и т. д. Во всех этих случаях мы нездоровы, хотя бы и не чувствовали острой телесной боли. Равным образом, нельзя назвать совершенно здоровым и того организма, в котором одна какая-нибудь сторона развивается слишком сильно, в ущерб другим. Таким образом, тот организм, в котором развитие мозговых отпавлений поглощает собою все другие, развивается ненормально, болезненно. Точно также ненормально и развитие того организма, в котором усиленной деятельностью мускулов ограничивается и заглушается развитие нервной системы и особенно мозга. В этом отношении, следовательно, как бледные, истощённые учёные дети, так и дикари, обладающие страшной физической силой, но грубые и необразованные, развиты одинаково односторонне, и односторонность эту можно назвать недостатком полного здоровья

организма. Недостаток этот, разумеется, нисколько не мешает правильной деятельности тех органов, которые хорошо развились, хотя он и мешает водворению полной гармонии в организме. Оттого-то мы и видим всегда так много лихорадочного, судорожного в деятельности энтузиастов, у которых сила чувства и воображения преобладает над рассудком. Оттого-то мы находим такую ограниченность, тусклость понятий у людей, всю жизнь посвятивших физическому труду; животнo-здоровой организации недостаточно для человека: для него нужно здоровье человеческое, здоровье, в котором бы развитие тела не мешало развитию души, а способствовало ему. Иначе является одностороннее, нездоровое развитие, при котором,—совершенно естественно,—болезненное состояние одних органов возбуждает к усиленной деятельности другие. Собственно говоря, всякую болезнь можно определить именно как нарушение правильного отношения между частями, входящими в состав нашего организма. Следовательно, тот, напр., факт, что при истощении тела от болезни усиливается деятельность воображения, нисколько не противоречит общей гармонии организма, а, напротив, подтверждает её. Давно уже замечено, что природа как бы старается вознаградить человека за недостаток одних органов большим совершенством других. Так, слепые бывают одарены хорошим слухом и осязанием; напротив, глухие часто отличаются остротою зрения, и т. п. То же самое должно произойти и в деятельности, совершающихся при непосредственном участии мозга. Они могут развиваться тем сильнее, чем менее развиваются прочие деятельности. Так, лишение зрения необходимо заставляет человека отказаться от некоторых общественных занятий и, кроме того, отнимает у него возможность приобретать новые впечатления посредством глаз. Весьма естественно, что, находясь в таком положении, человек более обращается к своему субъективному миру и занимается переработкою тех впечатлений, которые были уже получены им прежде. Точно так и какой-нибудь Лойола мог развивать в своём воображении какие угодно великие планы, несмотря на слабость своего тела за время выздоровления. Это факт весьма естественный: так известно, что ослабление тела, вследствие продолжительного голода, оканчивается бредом, и вообще бред всего чаще является в болезнях, истощающих организм. В подобных явлениях мы должны видеть скорее соответствие, нежели антагонизм.

Смотря на человека, как на одно целое, нераздельное существо, как на истинный индивидуум, мы устраним и те бесчисленные противоречия, какие находят схоластики между телесной и душевной деятельностью. Разумеется, если рассекать человека на части, то непримиримых противоречий можно найти бездну, как и во всём можно отыскивать их при таком условии. Что было бы, если бы мы вздумали искать, напр., в какой части скрипки сидит звук, издаваемый ею,—в струнах, или в колышках, или в вырезках её, или в самой доске?.. К каким забавным рассуждениям привела бы нас попытка решить подобный вопрос, невозможный по самой сущности дела! Нечто, совершенно подобное, случилось с схоластиками, старавшимися противопоставить тело духу. Каким это образом, говорили они, душа наша

может радоваться, когда тело чувствует боль? Как душа может не замечать предмета, когда глаза смотрят на него? Как душа может чувствовать холод, когда руки ощупывают предмет тёплый непосредственно после горячего? и т. д. Противоречия были бесконечны, и из них схоластики,—без всякого права, впрочем,—выводили заключение, довольно курьёзное, именно: душа, дескать, в человеке сама по себе, и тело само по себе; одна действует по своим законам, а другое по своим, совершенно особенным. Заключение это, как ни нелепо оно, долгое время принималось на-слово, пока результаты, добытые естественными науками, не помогли определить точнее органическую природу человека. Теперь уже никто не сомневается в том, что все старания провести разграничительную черту между духовными и телесными отправлениями человека напрасны, и что наука человеческая никогда этого достигнуть не может. Без вещественного обнаружения мы не можем узнать о существовании внутренней деятельности, а вещественное обнаружение происходит в теле; возможно ли же отделять предмет от его признаков, и что остаётся от предмета, если мы представление всех его признаков и свойств уничтожим? Совершенно простое и логичное объяснение фактов видимого антагонизма человеческой природы происходит тогда, когда мы смотрим на человека, просто как на единый нераздельный организм. Тогда тот факт, напр., что мы иногда, смотря, не видим, объясняется совершенно просто. Акт зрения не состоит в том только, чтобы видимый предмет отразился в нашем глазе; главное дело здесь в том, чтобы нерв зрения был возбуждён и передал в мозг впечатление предмета. Зрение совершается не в глазе, а в мозгу, как и все наши чувства; если перерезать, напр., глазной нерв, то предметы будут отражаться в глазе попрежнему, а видеть их мы не будем. Поэтому вовсе ничего нет странного, что когда мы заняты какими-нибудь важными думами, т. е. когда в мозгу совершается усиленная деятельность, то слабое раздражение зрительного нерва, чувствительное для нас в других случаях, делается уже недостаточным, и не пробуждает в мозгу сознания о себе. Но как скоро раздражение нерва делается слишком сильным, то внимание наше немедленно отвлекается от предметов, о которых мы думали, и обращается на предмет, произведший раздражение. Таким же естественным образом объясняет физиология и все противоречия, придуманные схоластиками, впадшими без собственного ведома в слишком грубый материализм.

Сделавши эти предварительные объяснения, мы полагаем, что в читателях уже не остаётся более недоумений относительно того, что мы разумеем под здоровым развитием организма и почему придаём ему такую важность. В наше время, вообще, вошло в обычай, с голоса превыспренних поэтов, жаловаться на материализм и практическое направление века. Но нам кажется, что гораздо с большим правом врачи и физиологи упрекают наше время в одностороннем, недалеком идеализме. Посмотрите, в самом деле, как презрительно смотрим мы на телесный труд, как мало обращаем внимания на упражнение телесных сил. Мы любим, правда, красоту, ловкость, грацию; но и тут часто выражается наше презрение к простому, здоровому развитию орга-

низма. В лицах часто нам нравится мечтательное, заоблачное выражение и бледный цвет, «тоски примета»; в строении организма— талия, которую можно обхватить одной рукой; о маленьких ручках и ножках и говорить нечего. Этого, конечно, нельзя назвать положительно дурным, нельзя утверждать, что большая нога непременно лучше маленькой; но всё-таки наше предпочтение, основываясь не на понятии о симметричности развития всех органов человека, а на каком-то безотчётном капризе, служит доказательством одностороннего, ложного идеализма. Мускулистые, сильно развитые руки и ноги пробуждают в нас мысль о физическом труде, развивающем, как известно, эти органы; и это нам не нравится. Напротив, миниатюрные, нежные ручки свидетельствуют, что обладающий или обладающая ими не преданы грубому труду, а упражняются в какой-нибудь высшей деятельности. Этого-то нам и нужно... Искажённые стремления идеализма постоянно в нас проглядывают. Мы, например, очень строги в суждениях о поступках других людей и очень склонны требовать от каждого, чтобы он был героем добродетели. Редко, редко обратим мы внимание на положение человека, на обстановку его быта, на разные облегчающие обстоятельства [зато весьма часто мы, с удивительным геройством, говорим: «он солгал; этого довольно; я считаю его человеком бесчестным»]. Ну, не идеальный ли это образ мыслей?.. А наши удовольствия? Мы даём благотворительные балы, разыгрываем благотворительные лотереи, составляем благородные спектакли, тоже благотворительные: можно ли не видеть в этом высоких стремлений, чуждых материального расчёта? Мы восхищаемся всеми искусствами и утверждаем, что звуки опер Верди, пейзажи Калама настраивают нас к чему-то возвышенному, чистому, идеальному. На самом-то деле под всем этим скрывается, может быть, просто приятное удовлетворение слуха и глаз, а, может быть, даже и желание убить скуку; но ведь мы в этом не признаёмся, и тут-то и выражается наше стремление к какому-то идеализму? Мы сохотимся представить себе вещи, как они есть; мы непременно стараемся украсить, облагородить их, и часто навязываем на себя такое бремя, которого и снести не можем. Кто из нас не старался иногда придать оттенок героизма, великодушия или тонкого соображения самому простому своему поступку, сделанному иногда совершенно случайно? Кто не убирал розовыми цветами идеализма—простой, весьма понятной склонности к женщине? Кто из образованных людей, наконец,—сошлёмся на самих читателей,—не говорил с уверенностью, даже иногда с восторгом, о Гомере, о Шекспире, пожалуй, о Бетховене, о Рафаэле и его мадонне, и, между тем, многие ли сами-то понимали, в глубине души своей, то, что говорили? Нет, что ни говорите, а желание поидеальничать в нас очень сильно; врачи и натуралисты «имеют резон».

Но ни в чём этот ложный и бесплодный идеализм не выражается так ясно и не приносит столько вреда, как в воспитании. Где ныне заботятся о применении воспитания к индивидуальному организму детей? Где занимаются наглядным обучением в раннем детском возрасте? Кто ищет для своих детей здорового развития организма более, чем внушения им всяческих, часто очень уродливых, отвлечённостей?

В старину любили откармливать детей; ныне любят морить их голодом, чтоб они не ожирели и не отупели. В старину до пятнадцати лет не принимались за учёные, в той мысли, что пусть, дескать, дитя побегаёт, ученье-то ещё не уйдёт; ныне детям не дают бегать, заставляя их сидеть смирно и учиться. Бывало, спозаранку прогоняли детей спать, чтобы не изнурились, и они просыпали половину суток; теперь детей заставляют сидеть за уроком до тех пор, пока отяжелевшая голова их сама не упадёт на стол. Двухлетнему мальчику толкуют уже об учёни, а с пяти лет, иногда и раньше, стараются уже вбить ему в голову высокие идеи о его назначении—быть архитектором, инженером, генералом, правоведом, и т. п. Может быть, в этом скрывается материализм самый грубый; но только результаты его вовсе не благоприятны для телесного здоровья и развития детей. Ныне уже не редкость встретить мать, которая с гордостью и тайным самоуслаждением рассказывает о том, как сын её не спал ночи, потерял аппетит, похудел и высох, как спичка,—во время экзаменов. Хвалиться прилежанием и любовью к науке дело чрезвычайно похвальное,—об этом что и говорить; но детей всё-таки жалко.

В дальнейшем учёни тоже нельзя не заметить фальшиво-идеального направления, соединённого с пренебрежением к органическому развитию детей. Родители желают, например, чтоб из сына их произошёл знаменитейший полководец. Они понимают, конечно, что этой цели не достигнут, если дитя умрёт, и вследствие этого стараются предохранить его от смерти, т. е. не пускают бегать и резвиться, берегут от простуды и сквозного ветра, кутают, держат на медицинской диете, и т. п. Ребёнок, разумеется, слаб и нездоров, но от случайных болезней оберегается, хотя и то не всегда. Приходит время учёны, и мальчику сейчас—геройские внушения и великие исторические примеры. Слабость и малодушие постыдны, внушают ему; нужно всегдашнее мужество и присутствие духа. Вот каков был Леонид Спартанский, Александр Македонский, Юлий Цезарь, и пр. Вот какие труды переносил Суворов; вот каким опасностям подвергался Наполеон; вот что сделали Муций Сцевола, Гораций Коклес, и пр., и пр. Достохвальные качества и подвиги этих господ, равно как и красноречивые внушения родителей производят сильное впечатление на ребёнка. Он готов хоть сейчас идти на войну и совершать чудеса храбрости. Но *сейчас*, к сожалению, нельзя выйти и на двор: вчера шёл дождик, и потому ещё сыро. Подражать Муцию Сцеволе мальчик тоже рад бы, но его останавливает воспоминание о том, какая суматоха поднялась на-днях по всему дому, когда будущий герой, запечатывая письмо, капнул себе сургучом на пальчик. Он сам ревел на целую улицу, мать упала в обморок, побежали за доктором, обвязали, уложили героя и два дня продержали в постели. И видит мальчик, что быть Муцием Сцеволой несколько затруднительно, и едва ли не напрасны все высокие внушения, которые ему делают, стараясь действовать *только* на дух и совершенно презирая тело.

Так точно поступают у нас во всём, что касается развития детей. Особенно часто терпят от этого дети, которых назначение—вообще учиться, быть образованными людьми. С ними начинают с того, что

сажают их за книгу и из книги заставляют их выучиться тому, что следовало бы узнать живьём, на деле. Так, мальчик, живущий в Петербурге, только уже начиная учиться разным наукам, получает сведения о многом, что его окружает. Из географии узнаёт он, что Петербург стоит на Неве, которая впадает в Финский залив, образуя при этом несколько островов; из истории знакомится он с Петербургской стороной, домиком Петра Великого, и пр.; из естественной истории узнаёт о существовании гранита и т. д. А, подумайте, скоро ли ещё, следуя системе наших учебников, дойдёшь до всех этих предметов? Немудрено, если случаются у нас анекдоты, подобные недавно слышанному нами, который, ради его курьёзности, приведём здесь. Мальчика, очень *образованного*, привезли в гимназию; он выдержал экзамен прямо во второй класс и остался жить у дядюшки. На другой день по отъезде родителей, он за обедом начал жаловаться, что он есть ничего не может, потому что Трифон у дядюшки дурной [и что Трифона нужно высечь.] В доме дядюшки никакого Трифона не было, и потому никто не мог понять, чего мальчику нужно; а он никак не мог объясниться, повторяя только одну брань и жалобы на Трифона. Так дело и осталось неразрешённым. Но на другой день поднялась та же история, и тут только объяснилось, что деревенский повар у родителей мальчика назывался Трифон, и *образованный* мальчик, приготовленный во второй класс гимназии, никогда не подумал о том, что такое Трифон, и не знал, что значит повар!

Всё это очень ясно свидетельствует о том, как мало распространено у нас понятие о необходимой связи органических отправлениях с действиями внутренних душевных способностей. Мы вбиваем детям в голову огромнейшую массу разнородных отвлечённых понятий, совершенно им чуждых [бог знает, кем и как выдуманных и часто на деле вовсе ненужных], а между тем не хотим позаботиться о правильном, разумном воспитании тех органов, которые необходимы для того, чтобы умственная и нравственная деятельность могла совершаться правильно. В своих непрактических—а может быть—и слишком уже практических—мечтаниях мы забываем, что человеческий организм имеет свои физические условия для каждой духовной деятельности, что нельзя говорить без языка, слушать без ушей, нельзя чувствовать и мыслить без мозга. Это последнее обстоятельство особенно часто опускается из виду, и потому у нас вовсе не заботятся о том, чтобы дать правильное развитие деятельности мозга при воспитании. А между тем это-то и служит важнейшей помехой для достижения успешных результатов нашего воспитания, бесспорно очень умного и нравственного, но одностороннего в своих средствах. Вот что говорит об этом, между прочим, доктор Бок, учёный, весьма известный в Германии:

«Слабость умственных способностей и болезни мозга, — говорит он, — могут произойти не только вследствие природных недостатков, но и вследствие дурного питания мозга и чрезмерного умственного напряжения. Это последнее обстоятельство, с его печальными последствиями, особенно губительно для детей, которых мозг ещё слишком мягок и недостаточно развит, чтобы переносить трудные работы. А между тем как часто их

мучат отвлечённостями, вовсе недоступными их возрасту и понятиям, как часто от хилых, малокровных детей требуют успехов в науках наравне с здоровыми детьми! Прибавьте к этому ещё неправильный отдых и не соответствующую детскому возрасту пищу, и вы поймёте, что ничто не может быть вреднее этой умственной дрессировки!» (Бок, стр. 468).

Точно такое же мнение находим мы и у Шнелля, автора другой книги, заглавие которой выписано нами в начале статьи. У него есть на этот счёт вот какая тирада (стр. 162).

«Познания добываются гораздо легче естественным путём, чем искусственным, т. е. чтением из книг. Книга обременяет дух чужим материалом и потому часто не имеет никакой пользы и расстраивает здоровье духа. Болезни мозга (водяная и воспаление мозга), встречаемые у детей первого возраста, довольно часто происходят не столько от преждевременного учения, сколько от дурной, неестественной методы преподавания; оттого, что начинают не наглядным преподаванием, как бы следовало, а набивают голову формами, отвлечённостями, идеями, которые впоследствии, так сказать, приходят в течение и заражают всю организацию мозга. И в позднейшие годы поверхностное усвоение отвлечённых форм может совершенно притупить восприимчивость к здоровым, чувственным впечатлениям, т. е. к природе и жизни. Мы уже знаем, что от неполного или несовершенного восприятия впечатлений органами внешних чувств происходят фантазмы, т. е. субъективные впечатления или обманы чувств. Точно таким же образом фантастические образы, создаваемые воображением и умом, происходят вследствие несовершенного усвоения (переваривания) духом отвлечённых форм или от недостаточности, неясности и слабости духовной пищи. В таком случае ум представляет себе не предметы, истинно существующие во внешнем мире, не существенность, а собственные (субъективные) произведения фантазии, бредни, мало-по-малу совершенно овладевающие умственными силами. И если число помешанных и полупомешанных людей, которых умственное расстройство проявляется или необузданностью и своеволем или же рабским, апатическим и бессмысленным послушанием, в самом деле, со дня на день увеличивается, как утверждают врачи-психологи, то это не есть историческое необходимое явление, вытекающее из современного порядка вещей, но результат духовной тунейной жизни».

С последним замечанием можно не согласиться, потому что самые недостатки воспитания представляют, конечно, историческое явление, вытекающее из современного порядка вещей. Но негодование автора против отвлечённости воспитания, господствующей в наше время, вполне справедливо. Во всех требованиях и приёмах современного воспитания обнаруживается полное презрение к органической жизни человека, как человека, а не как специальной машины для счетоводства, подвигов храбрости, строительства, героизма, честности, необъятной учёности, и т. п. Набивая голову детей отвлечённостями всякого рода, мы, конечно, и этим возбуждаем деятельность их мозга, но деятельность одностороннюю и болезненную, именно потому, что мы не хотим обращать внимания на связь отравлений мозга с состоянием всего организма. Это обстоятельство оказывает самое неблагоприятное влияние на умственную и нравственную деятельность человека. Физиология непрерывным рядом исследований и открытий последнего времени довольно ясно уже показала несомненную связь нравственной жизни человека с устройством и развитием мозга, и очень жаль, что наша образованная публика доселе так мало интересуется

результатами, добытыми с помощью естественных наук. Имея это в виду, мы и решаемся представить здесь несколько общеизвестных фактов, относящихся к нашему предмету.

Один из известнейших натуралистов нового времени, Молешотт, приведён был своими изысканиями к прямому выводу, что мысль имеет влияние на материальный состав мозга, и обратно, состав мозга на мысль. Вывод этот развит им в одном из его сочинений с некоторыми подробностями, которые мы считаем здесь излишними. Мы напомним здесь читателям только положение, давно известное из сравнительной анатомии,—что в непрерывной градации животных, начиная от самых низших организмов и кончая человеком, количество мозга находится в прямом отношении с умственными способностями. У самых низших животных нет настоящего мозга, а только нервные узлы, представляющие какие-то зачатки мозга. Наименьшее количество мозга представляют земноводные и рыбы; наибольшее найдено у собак, слонов и обезьян, т. е. именно у тех животных, которые отличаются своей понятливостью. У человека же мозга больше, чем у всех животных. Количество мозга, конечно, разумеется здесь относительное, сравнительно со всей массой тела, и кроме того—здесь не принимаются в расчёт те части мозга, в которых заключаются центральные органы движения и чувствования. Такое же отношение умственных способностей находится и к составу и устройству мозга. Так, исследования Бибры доказали, что отправления мыслительной способности в животном тем совершеннее, чем больше в мозгу его жира и фосфора. По исследованиям другого естествоиспытателя, понятливость и лёгкость мышления находятся в прямом отношении к весу мозга. Наблюдения Гушке доказали, что чем выше стоит животное в умственном развитии, тем извилистее и глубже у него изгибы мозговой поверхности, и тем менее они имеют заметной для глаз правильности и симметрии. В приложении к человеку всё это оправдывается совершеннейшим образом. Мозговой жир у него содержит более значительное количество фосфора, чем у всех других животных; вес его больше, извилины глубже и своеобразнее. Различие во всех этих отношениях замечается не только между человеком и животными, но даже и между людьми различных племён, различного образа жизни, различного возраста и пола. Так, у новорождённых детей жира в мозгу сравнительно меньше, чем у взрослых; вообще, детский мозг жиже, мягче, более содержит в себе белого вещества мозга, чем серого, которое увеличивается уже впоследствии, вместе с развитием умственных способностей. Фохт утверждает, что раскрытие умственных способностей у детей идёт строго параллельно с развитием мозговых полушарий. Вообще, вещество мозга продолжает развиваться и увеличиваться у человека до 40—50 лет; в старости же он начинает уменьшаться, сжиматься, делается тягучим и более водянистым. Сообразно с этим, замечается в престарелом возрасте ослабление памяти, быстрой и твёрдой сообразительности, и т. п.

То же самое отношение замечается и в весе мозга. Обыкновенный вес человеческого мозга—от 3 до 3½ фунтов. Множество наблюдений показало, что мозг женщины вообще весит на $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{6}$ фунта

менее, чем мозг мужчины. Это совершенно согласно и с их умственным развитием: известно, что (вследствие, вероятно, условий нашей цивилизации) у женщин рассудочная способность развита менее, чем у мужчин. Эта разница существует также относительно веса мозга людей с различными способностями. Так мозг Кювье весил более четырёх фунтов, а мозги нескольких идиотов, взвешенные Тидеманом, имели весу только от одного до двух фунтов.

О том, как различается череп негров и других низших племён человечества—от черепа народов образованных, мы полагаем излишним распространяться. Кому не известно странное развитие верхней части черепа у этих племён, доходящее до того, что у некоторых, напр., у новоголландцев, почти вовсе нет верхних частей мозга? И кому, вместе с тем, неизвестно, что в отношении к развитию умственных способностей эти племена стоят несравненно ниже народов кавказского племени?

Укажем ещё на замечательные факты, показывающие неразрывную связь, существующую между мозгом и умом или вообще духовной жизнью человека. Род занятий человека имеет влияние на состояние мозга. Умственная деятельность увеличивает его объём и укрепляет его, подобно тому, как гимнастика укрепляет наши мускулы. По наблюдениям некоторых натуралистов, мозг людей учёных, мыслителей и пр. бывает твёрже, более содержит серой материи и имеет более изгибов. Вообще—у людей образованного класса замечают большее развитие передней части черепа, нежели у простолюдинов. Всякое умственное расстройство отражается на состоянии мозга. Показания медиков, исследовавших трупы умалишённых, доказывают, что повреждения мозга непременно являются при всяком помешательстве. Кроме того, много замечено несомненных случаев потери памяти при местных поражениях мозга и,—что особенно замечательно,—часто терялась не вообще память, а только воспоминание о некоторых предметах. Некоторые, напр., позабывали события известных годов своей жизни, другие забывали какой-нибудь из языков, им хорошо известных, иные переставали узнавать лица своих знакомых, и т. п. Каждый из подобных случаев был следствием местного поражения мозга.

Вообще, связь духовной деятельности с отправлениями мозга признана несомненною в сочинениях всех лучших и добросовестнейших натуралистов. Валентин говорит, что если мы станем срезывать мозг у какого-нибудь из млекопитающих животных, то проявления его внутренней деятельности ослабевают по мере того, как уменьшается количество мозга; когда же доходит при этом до так называемых мозговых пещер, то животное погружается в совершенную бесчувственность. Положение это представляется совершенно очевидным в опытах Флурана, который у некоторых животных, могущих переносить повреждения мозга, срезывал мозг сверху пластами. Таким образом делал он опыты над курами и, постепенным срезываньем мозга, доводил их до того, что у них исчезало всякое проявление высшей жизненной деятельности. Они теряли даже способность произвольного движения и всякую восприимчивость к впечатлениям внеш-

них предметов. Но при этом жизнь их не прекращалась; её поддерживали искусственным питанием, и куры в течение нескольких месяцев продолжали прозябать таким образом, даже увеличиваясь в весе.

После всех этих фактов, нельзя не признать важности правильного развития мозга для правильности самых отправлений духовной деятельности. И так как человек превосходит животных всего более совершеннейшим устройством мозга, то для него этот орган духовной деятельности должен иметь особенно важное значение. В этом случае можно повторить слова доктора Бока (русс. перев., стр. 171):

«[Только] высшее и совершеннейшее развитие мозга отличает человека от животных; недостатки же мозга, несовершенное развитие или болезненное изменение его более или менее ослабляют сознание, способности духовные и способность чувствовать и произвольно двигаться. Значительнейшие недостатки мозга ставят человека иногда гораздо ниже животных. Следовательно, душа человеческая прежде всего обуславливается здоровым мозгом».

Но для того, чтоб мозг был здоров и развивался правильно, необходимы некоторые особенные условия. В организме человека нет ни одной части, которая существовала бы сама по себе, без всякой связи с другими частями; но ни одна из частей нашего тела не связана так существенно со всеми остальными, как головной мозг. Не входя ни в какие подробности, довольно сказать, что в нём сосредоточиваются нервы движения и чувствования. Понятно поэтому, в какой близкой связи находится деятельность мозга с общим состоянием тела. Очевидно, что всякое изменение в организме должно отражаться и на мозге, если не в мыслительной, то в чувствительной его части. Доселе ещё физиологические исследования не объяснили вполне микроскопическое строение частиц и химический состав мозга, и, следовательно, нельзя ещё сказать, какими именно материальными изменениями организма обуславливается та или другая сторона деятельности мозга. Тем не менее дознано уже достоверно, что, кроме охранения мозга от повреждений, для его развития необходимы два главные условия: *здоровое питание и правильное упражнение*. Питание мозга производится из крови. Следовательно, для правильного питания его необходимо, чтобы в организме правильно совершалось кровотоечение, кровообращение и кровоочистение. Примеры того, что порча крови вредно действует на правильность отправлений мозга,—нередки. Так, например, бывает при разлитии жёлчи, в нервной горячке, в так называемом собачьем бешенстве, и пр. Кроме питания, для развития мозга необходимо ещё упражнение, посредством восприятия внешних впечатлений.

«Здоровый мозг, говорит доктор Бок (стр. 171), должен развить свои умственные способности постепенно, с помощью пяти чувств и внешних впечатлений. На этом основывается весь процесс воспитания. Человек, которого тотчас по рождении удалили бы совершенно от общества людей, не имел бы и следа человеческого разума; а окружённый, при тех же условиях, одними животными, он непременно усвоил бы себе все их привычки, разумеется настолько, насколько это позволяет человеческая организация».

Наблюдения над историею духовного развития человека несомненно подтверждают мнение Бока, показывая, что чем менее внешних впечатлений получал человек, тем менее, уже круг его понятий, а вследствие того—ограниченнее и способность суждения. Против этого положения возражают многие, утверждая, что понятия и суждения существуют в человеке при самом рождении, и что иначе он ничем бы не отличался от животных, имеющих внешние чувства столь же совершенные, а иногда и лучшие, чем человек. Кроме того, говорят, если бы все понятия приобретались из внешнего мира, то дети, выросшие под одними влияниями, должны бы быть одинаково умными. Такое возражение совершенно неосновательно; при нём упускается из виду то обстоятельство, что ощущение внешних впечатлений совершается не в самых органах чувств, а в мозгу; мозг же неодинаков у людей и животных и даже допускает некоторое различие в различных людях. Что некоторые особенности в строении тела, в темпераменте, в расположениях,—переходят наследственно от родителей к детям, это есть факт, ещё не объяснимый для естествоведения, но вполне достоверный. Поэтому часто одни и те же впечатления действуют неодинаково на разных людей. При этом, для сравнения, можно вспомнить замечательный факт, представляемый медициною. Лекарства, даваемые больным, действуют не на все органы тела одинаково, а преимущественно на те или другие, для которых они и назначаются. Процесс их употребления организмом совершенно одинаков во всех случаях: они входят в кровь и вместе с нею разносятся по всему телу. Но при этом обращение их совершается, по некоторым, иногда известным, а иногда и неизвестным нам, химическим законам, притяжение их к той или другой части организма. Таким образом, можно полагать, что и в деятельности мозга совершается восприятие одних впечатлений преимущественно пред другими, и что те впечатления, которые проходят как бы незаметно через чувственные органы одного человека, производят сильное действие на другого.

Что человек не из себя развивает понятия, а получает их из внешнего мира, это несомненно доказывается множеством наблюдений над людьми, находившимися в каких-нибудь особенных положениях. Так, например, слепорождённые не имеют никакого представления о свете и цветах; глухие от рождения не могут составить себе понятия о музыке. Люди, выросшие в лесах, в обществе животных, без соприкосновения с людьми, отличаются дикостью и неразвитостью понятий. Иногда эта неразвитость доходит почти до совершенного отсутствия всяких признаков разумности, как, например, у известного Каспара Гаузера, этой «неудачной попытки на разумное существование», по выражению одного немецкого писателя.⁸¹

То же самое подтверждается наблюдениями над детьми, находящимися даже в нормальном состоянии. В первое время жизни младенец не имеет сознательной деятельности. По мнению физиологов, он даже не чувствует ни боли, ни голода; он берёт грудь матери, но совершенно бессознательно, механически, просто вследствие известного физиологического процесса в его нервах. Он кричит и возится, потому что нервы ощущения, раздражаясь, передают раздражение и

нервам движения. Примеры подобного непроизвольного движения обнаруживаются нередко и в трупах, и в телах растительного царства. Что же касается до сознания, то его ещё нет и не может быть в новорождённом дитяти.

«Внешние впечатления, говорит Бок (стр. 506), не производят в младенце ощущений или боли, потому что орган ощущения и сознания, то есть мозг, ещё неспособен к деятельности. Крик дитяти происходит без всякого сознания, вследствие того, что раздражённые чувствительные нервы действуют на нервы органа голоса. Только впоследствии, с развитием мозга, появляется сознание и ощущения».

Каким образом, мало-по-малу, происходит развитие сознательной жизни в человеке, довольно подробно излагается в книге доктора Бока, на стр. 521—529. Мы считаем излишним представить здесь его главные положения.

Появление сознательности в ребёнке начинается, по мнению доктора Бока, довольно рано.

«К сожалению, говорит он, большая часть родителей думает, что разум, т. е. способность мозга чувствовать, мыслить и желать, является не в младенческом возрасте, а гораздо позже; поэтому им и в голову не приходит, что грудной ребёнок нуждается уже в правильном воспитании».

Воспитание, предлагаемое доктором Боксом, вовсе, впрочем, не то отвлечённое воспитание, о котором у нас хлопочут, а диететическое. Сначала чувства новорождённого чрезвычайно тупы, так что в первое время он не может отличить даже молока матери от самых горьких веществ, и только привычка к сладкому мало-по-малу научает его различать сладкий и горький вкус. Точно так же постепенно, вследствие привычки к впечатлениям известного рода, развиваются и все остальные чувства, следовательно, в это уже время легко произвесть в ребёнке много привычек и потребностей, которые могут впоследствии укорениться в нём. Раньше всех чувств появляется у ребёнка осязание в губах, которыми он ищет грудь матери; затем развивается зрение, слух, и т. д. В первый месяц жизни глаза дитяти совершенно недействительны, а потому и взгляд у него совершенно бессмысленный и неопределённый. На пятой или шестой неделе ребёнок начинает уже всматриваться в окружающие предметы, вследствие чего в мозгу его происходят первые чувственные впечатления, то есть умственные образы, постепенно всё более проявляющиеся. Мало-по-малу они доходят до такой степени ясности, что могут представляться сознанию ребёнка даже и тогда, когда самых предметов нет пред его глазами. С этого начинается деятельность способности представлений. Слух развивается параллельно с зрением, и оба органа в развитии своём помогают друг другу, так что, например, впечатление, произведённое на слух, заставляет уже дитя открыть глаза и смотреть в ту сторону, откуда выходит звук. На третьем месяце жизни в ребёнке уже проявляется желание схватить видимый им предмет; но при этом замечается в нём полное отсутствие понятия о расстоянии и величине, равно как и неумение употреблять свои

мускулы. Ребёнок протягивает ручонки обыкновенно *мимо* предмета, и если ему дадут что в руки, то он не умеет держать. Но мало-по-малу развивается в нём и осязание. Трёх месяцев дитя начинает уже лепетать, или, как говорится, *гулить*. Если ребёнок часто слышит одно и то же слово, соединяемое с 'видом какого-нибудь предмета, то оба представления—и названия, и самого предмета—сближаются в его голове, так что, при названии вещи, он может вспомнить её вид и понять, о чём идёт речь. Только связь между предметами и порядок действий остаются ещё ему чужды; связанная речь совершенно непонятна для него. В это же время (то есть пяти или шести месяцев) ребёнок научается различать ласковый тон речи от сердитого. Месяца два спустя в нём являются уже тёмные представления и о том, в каком порядке и для чего делается то или другое. Достигши такой степени умственного развития, ребёнок уже пытается сам говорить, но это умение даётся ему раньше или позже, смотря по тому, как развиты у него органы движения. Воля развивается позже всего, уже на втором году, когда дитя может бегать без посторонней помощи, и когда имеет уже запас впечатлений, достаточный для того, чтобы составлять собственные суждения и выводы. Из этого видно, как важны первые впечатления, ложающиеся на мозг ребёнка, для будущего его характера и деятельности. Замечено, что дети, с которыми мать или кормилица весело болтала и шутила в первые месяцы их жизни, получают нрав добрый и весёлый. Многие дети, которых долго водили на помочах, не позволяя им ходить без посторонней помощи, навсегда сохраняют в характере нерешительность и недоверие к своим силам. Дети, которые в первый год жизни привыкли только к приятным ощущениям, и от которых при первом их крике удаляли всё неприятное, с большим трудом и впоследствии переносят неудовольствия и злятся при малейшей неудаче. Большая часть детей, которых *учат* говорить, то есть натверживают им слова, не показывая самого предмета, обнаруживает впоследствии большую поверхностность.

Ещё большее значение имеют внешние впечатления для дитяти, вступившего уже в третий, четвёртый год жизни. До этого времени, по мнению Бока, можно ещё допустить награды и наказания, даже телесные; но вовсе не как разумную педагогическую меру, а единственно в уважение того, что в дитяти не развиты ещё органы разумной деятельности, и животная непосредственность преобладает. Так ленивая лошадь неумоимо едет целую дорогу, если впереди её едет воз с сеном; так ездок прищипоривает коня, чтобы он бежал скорее. В период ранней, почти бессознательной жизни дитяти, награды и наказания допускаются именно в этом смысле. С четвёртого года они становятся излишними и заменяются убеждением. По мнению д-ра Бока (стр. 543), «ожидание обычной награды за благонравие может вселить в детей начала корыстолюбия, продажности, эгоизма». Наказания, конечно, пугают детей, а «боязнь, по словам Бока (стр. 550), есть начало трусости, криводушия и подлости». С пятого и особенно шестого года необходимо приучать детей к рассуждению и отчётливости во всём, что они делают. Поэтому никогда не сле-

дует заставлять детей делать то, что превышает их понятия, и в чём они не могут ясно убедиться при маленьком запасе своих знаний, почерпнутых из наблюдения внешнего мира. Нужно сколько можно более и правильнее упражнять внешние чувства ребёнка, чтобы увеличился запас впечатлений в его мозгу, и тогда светлые взгляды и суждения о различных отношениях предметов неизбежно явятся в голове его сами собою. Набивая же голову ребёнка разными понятиями, которые выше его соображения, мы производим только то, что дитя не может дать себе отчёта в своих ощущениях, не может подчинить их своей воле и освободиться от них.

«Многие воспитатели, говорит доктор Бок, конечно, думают, что такого рода воспитание развивает в детях благородные и возвышенные чувства; но они ошибаются. На деле выходит совсем другое, то есть образуются не люди с благородными чувствами, а сентиментальные фантазёры, совершенно негодные в практической жизни и бесполезные себе и другим» (стр. 551).

Несколько данных, приведённых нами, могут, кажется, дать некоторое понятие о связи нервных и мозговых отправлений с умственной деятельностью человека. Несомненные факты ясно показывают нам, что для правильного хода и обнаружения нашей мысли необходимо нам иметь мозг здоровый и правильно развитый. Следовательно, если мы хотим, чтобы *умственная* сторона существа нашего развивалась, то не должны оставлять без внимания и физического развития мозга.

Но читателю может ещё представляться вопрос: «что же нужно делать для *нравственного* развития; на которое мозг должен иметь влияние не прямое, а посредственное?» На этот счёт мы привели уже мимоходом несколько замечок доктора Бока; но здесь можем прибавить и ещё несколько соображений. Они очень нехитры, и поэтому не будут продолжительны.

Если следовать старинному (и доселе общепринятому) разделению душевных способностей человека, то, кроме ума, остаётся ещё чувство и воля. Деятельность чувства относится обыкновенно к сердцу и совершенно освобождается от мозга. Мнение это нельзя назвать совершенно основательным. Собственно говоря, сердце в наших чувствах и страстях не виновато нисколько. Всё, что мы привыкли приписывать сердцу, зарождается опять-таки всё в том же головном мозге. Но от мозга идут к сердцу особые *нервы сердца*, которые находятся в связи со всеми прочими нервами тела; поэтому, всякое, сколько-нибудь чувствительное, раздражение, где бы и от чего бы оно ни произошло,—немедленно сообщается в головной или спинной мозг нервам сердца и производит усиленное его биение. Так как это биение для нас легче заметить, чем деятельность мозговых нервов, то мы и приписываем всякое чувство сердцу. Но что первоначальная причина всякого чувства всё-таки мозг, в этом не трудно убедиться посредством, напр., такого соображения. Чувствования возникают в нас вследствие впечатлений, полученных от предметов внешнего мира. Но впечатления эти только тогда могут быть

нами созданы, когда они действовали на мозг. Иначе мы будем смотреть на предмет и не видеть; перерезанный нерв будет раздражаем всеми возможными средствами, и мы не будем чувствовать боли, потому что нерв разобщён с мозгом. Отсюда очевидно, что всякое чувство, прежде своего отражения в сердце, должно явиться в мозгу, как мысль, как сознание впечатления, и уже оттуда действовать на организм и проявиться в биении сердца. Следовательно, на чувство надобно опять действовать посредством мысли. Одни чувства развиваются в нас сильнее, чем другие; одни люди чувствуют иначе, нежели другие,—всё это так. Но причина такого различия вовсе не заключается в развитии сердца, этого полого мускула, выгоняющего кровь кверху. Причина находится по большей части в различии первоначальных впечатлений, воспринятых нашим мозгом. Если человек с первых дней детства привык, например, слышать постоянно мелодические звуки, то естественно, что у него разовьётся чувство музыкальное; если в детстве не привык человек переносить неприятных ощущений, то понятно, что малейшая неприятность выводит его из себя; если в ребёнке успешно старались задерживать свободную деятельность мысли, то неизбежно родится в нём чувство отвращения к умственной деятельности, и т. д. Вообще нужно сказать, что наши дурные чувства происходят непременно вследствие неполного, неправильного, или совершенно превратного восприятия впечатлений мозгом. Как после сильного звука мы уже не слышим посредственного, но довольно слышного звука, или как мы ничего не видим, внезапно перейдя от яркого освещения в место, слабо освещённое, но всё же довольно светлое; так точно бывают подобные неправильные восприятия, а вследствие того и чувства, и в предметах, прямо относящихся к нашей духовной деятельности. Человек, привыкший постоянно получать похвалы, не рад и даже досадует, когда его хвалят меньше обыкновенного; тот, кто привык к праздной жизни и мало испытывал сильных впечатлений, пугается ничтожного труда, как неисполнимого; человек, из детства привыкший к восприятиям сцен грязных и грубых, наслаждается даже и в пошлом кругу, который хоть немножечко поопытнее его прежнего общества. Таким образом все, дурные и хорошие, чувства и страсти наши находятся в полной зависимости от степени развития и от здоровья или нездоровья мозга. Развитие симпатических чувствований вместе с образованностью и преобладание эгоистических при невежестве—известно всякому.

На основании этих данных можно положительно сказать, что старания многих воспитателей *действовать на сердце* дитяти, не внушая ему здравых понятий, совершенно напрасны. Результатом подобного «действия на сердце» бывает обыкновенно добродушие по привычке, при совершенной шаткости и бессилии убеждений. Можно решительно утверждать, что только та доброта и благородство чувствований совершенно надёжны и могут быть истинно полезны, которые основаны на твёрдом убеждении, на хорошо выработанной мысли. Иначе—нет никакого ручательства за нравственность человека с *добрым* сердцем, а тем менее за полезность его для других: вспомним, что «услужливый медведь опаснее врага».

При воспитании, следовательно, развитие чувства является само собою, если только умственные восприятия правильны, последовательны и ясны. У детей часто можно замечать, какое удовольствие доставляет им ясное сознание какого-нибудь нового предмета, новой мысли. Как будто какой-то свет озаряет их, глаза их светятся, всё лицо как будто сияет, они начинают говорить от избытка чувства, составляют свои соображения, планы, и т. д. Это значит, что мысль усвоена ими с полнотою и ясностью, достаточною для того, чтобы возбудить в них внутреннее чувство,—и счастлив учитель, который умеет часто приводить своих учеников в такое состояние. В этом отношении г. Шнель совершенно справедливо говорит (стр. 146):

«При обучении не нужно патетических речей, декламаций, и т. д., для того, чтобы мысль действовала и на чувство ученика. Всякое истинное преподавание само по себе доставляет богатый материал чувству, потому что познание просветляет не только ум, но и сердце, оживляя и радуя его. Познание и радость находятся в ближайшем сродстве между собою».

Что касается до воли, то она ещё более, нежели чувство, зависит от впечатлений, производимых на наш мозг внешним миром. В наше время уже всякий понимает, что абсолютная свобода воли для человека не существует, и что он, как все предметы природы, находится в зависимости от её вечных законов. Кроме г. Берви, автора «Физиологическо-психологического взгляда», никто уже не может ныне сказать, что человек существует вне условий пространства и времени и может по произволу изменять всеобщие законы природы. Всякий понимает, что человек не может делать всё, что только захочет, следовательно свобода его есть свобода относительная, ограниченная. Кроме того, самое маленькое размышление может убедить всякого, что поступков, совершенно свободных, которые бы ни от чего, кроме нашей воли, не зависели,—никогда не бывает. В решениях своих мы постоянно руководствуемся какими-нибудь чувствами или соображениями. Предположить противное—значит допустить действие без причины.

Собственно говоря, воли, как способности отдельной, самобытной, независимой от других способностей, допустить невозможно. Все её действия обуславливаются и даже неизбежно производятся тем запасом знаний, какой скопился в нашем мозгу, и той степенью раздражительности, какую имеют наши нервы. Орудием выполнения наших желаний служат нервы движения, идущие от мозга ко всем мускулам. Поэтому степень развития мускулов также обуславливает нашу деятельность. Необходимо также, чтобы нервы мускулов были соединены с мозгом; иначе они не будут нам повиноваться, и мы не в состоянии будем произвести движения.

Что желания появляются сначала в мозгу, доказательством может служить уже одно то, что желания эти имеют всегда какой-нибудь предмет, какую-нибудь цель. Значит, для желания нужно, чтобы предмет произвёл сначала впечатление на наш мозг, потому что нельзя же желать того, о чём не имеешь никакого представления. Далее нужно, чтобы впечатление предмета было приятное, т. е. успокоитель-

ное, а не разрушительное, для нашей натуры: как всё в мире, человек стремится только к тому, что соответствует его натуре в каком-нибудь отношении, и отвращается от того, что ей противно. Таким образом, так называемая свобода выбора—в сущности означает именно возможность, существующую в нашем уме, сличить несколько предметов и определить, какой из них лучше. Здесь очень кстати припомнить известный афоризм, что «всякий преступник есть прежде всего худой счётчик». Действительно, большая часть преступлений и безнравственных поступков совершается по невежеству, по недостатку здравых понятий о вещах, по неумению сообразить настоящее положение дел и последствия поступка; и только немногие безнравственные действия совершаются вследствие твёрдого, но ложного убеждения. По этому можно отличить легкомысленные проступки от заблуждений серьёзных. Некоторые безнравственные люди оправдывают себя, считая свой образ мыслей справедливым и соображая с ним свои действия. Но таких не слишком много. Большая часть людей совершает проступки всякого рода потому, что ни о чём собственно не имеет определённого понятия, а так себе, колеблется между добром и злом. Хороший стих нападёт, так кажется, что вот это безнравственно, а другая минута придёт, так, пожалуй, то же самое и нравственным покажется. Хочет человек выпить рюмку ради стомаха⁸² и очень хорошо понимает, что много пить не следует; но для компании он не откажется выпить ещё одну, и другую рюмку, и тут уже понятия его совершенно переворачиваются. Пока у человека есть деньги, и нет ни в чём нужды, он не захочет принять какой-нибудь благодарности, считая это бесчестным. Но тот же самый человек будет, пожалуй, даже напрашиваться на благодарность, ежели нужда горькая придавит его. Так, все взяточники, обманщики, притеснители, мало-по-малу приобретают привычку и достигают некоторого искусства в своём деле. Иногда вместе с практикою приходит и теоретическое убеждение, с нею сообразное. Но чаще всего нравственное убеждение остаётся в голове само по себе, в отвлечении, а дела идут сами по себе. Всё это—следствие того, что понятия о нравственности в головах многих людей не вырабатываются самобытно, а западают в голову мимоходом, со слов других, в то время, когда ещё мы и не в состоянии понять таких внушений. Понятия многих людей о нравственности можно сравнить с нашими понятиями о вреде, например, куренья табаку, питья чаю, кофе, и т. п. Мы все слышали что-то такое о вреде всего этого; но, ведь, мало ли что мы слышали? Ясное и верное суждение о том, вредны ли табак и чай, и в каких случаях вредны,—приобрести довольно трудно; поэтому мы и довольствуемся слухами, да и о тех часто забываем. Нельзя же за каждой папироской и за каждой чашкой чаю вспоминать медицинские наставления, которые ещё, может быть, и несправедливы. Совершенно так же многие забывают и о нравственности в своих житейских попечениях. Вообще произвол, который столь многие смешивают с истинной свободой, означает, напротив, самую рабскую зависимость человека от первого встречного впечатления. Оттого-то дети, которых все прихоти беспрекословно исполнялись, несмотря

на всю их нелепость,—вырастают столь же мало нравственно-свободными, как и те дети, у которых с самого начала жизни подавляемы были все проявления воли, то есть все попытки к самостоятельному обсуждению предметов. Г. Шнелль совершенно справедливо говорит об этом (стр. 222).

«Преимущественно должны мы предохранять себя и других от произвола. Кто слепо следует минутному настроению духа, кто в своих поступках руководствуется только произволом, не подчиняя свою волю высшей власти разума и справедливости, тот будет или слабым, бесхарактерным человеком, или притеснителем и тираном самого себя и других, и это случается даже с детьми... Люди жестокие, мучители человечества все воспитываются таким образом. Это несчастнейшие и опаснейшие люди. Им нельзя доверять, хотя бы они сами проповедывали братство и законную гражданскую свободу; потому что произвол, служащий рычагом всех их поступков, есть также источник несправедливости, жестокости и злодейства».

Несомненное влияние органического развития на умственную и нравственную деятельность человека уже очень давно сделалось предметом исследования натуралистов. Способ и самая сущность этого влияния со дня на день всё более объясняются новейшими физиологическими исследованиями. Опираясь на эти исследования, мы уже смело можем сказать теперь, что естественное, правильное, здоровое развитие всех сил организма гораздо более значит для умственной деятельности, нежели всевозможные искусственные внушения. Здоровое же состояние и нормальное развитие мозга отражается и на чувствах и желаниях наших сильнее и скорее, нежели всяческие правоучительные сентенции и патетические тирады, которые мы заучиваем наизусть, большею частью без всякого толку.

Указывая в этой статье на некоторые результаты физиологических исследований, мы вовсе не пускались ни в какие объяснительные подробности относительно строения организма вообще, состава и устройства нашего мозга, нервной системы, и проч. Мы не хотели вводить этих подробностей в статью нашу потому, что они слишком увеличили бы объём статьи, а между тем всё-таки не могли бы дать читателям, незнакомым с анатомией и физиологией, совершенно ясного понятия о строении всего нашего организма: такое понятие может быть почерпнуто не иначе, как из книги, специально посвящённой этому предмету. Между тем, статья наша написана именно для людей, совершенно незнакомых с физиологией; кто хоть сколько-нибудь занимался ею, тот не найдёт здесь, вероятно, ни одного факта, ни одного положения нового... Но и для незнающих современного положения физиологии статья наша не может показаться удовлетворительною, именно по отсутствию подробностей. Строгие критики заметят, что, следовательно, вся наша статья бесполезна и написана совершенно напрасно! Предупреждая такое заключение, мы спешим оговориться, что вовсе не приписываем нашим заметкам какого-нибудь особенного значения. Единственная наша цель была—пробудить в читателях, совершенно чуждых естественным наукам, хотя некоторый интерес к ним, и вместе с тем обратить внимание публики на две книги, весьма

небесполезные для первого знакомства с физиологией и с ходом человеческого развития. Все анатомические и физиологические подробности, которых недостаёт в нашей статье, читатель может найти в «Книге о здоровом и больном человеке», доктора Бока, сочинении весьма простом и популярном. Применение же физиологических начал к воспитанию можно найти в сочинении Шнелля, который тоже излагает много полезных и справедливых мыслей, хотя иногда и увлекается кое-какими мечтаниями, в сущности вовсе ненужными для правильного органического развития человека.



ФРЕНОЛОГИЯ

СОЧ. МАТВЕЯ ВОЛКОВА. Спб. 1857.

ОТРЫЗКИ ИЗ ЗАГРАНИЧНЫХ ПИСЕМ. (1844—1848).

МАТВЕЯ ВОЛКОВА. Спб. 1858.⁸³



Если судьба когда-нибудь приведет меня встретиться с г. М. Волковым, то я немедленно постараюсь уподобиться страусу, т. е. спрятать куда-нибудь подальше свою голову. Советую и вам, читатель, делать то же; иначе я не ручаюсь за вашу репутацию: г. Волков может испортить её на основании френологического рассмотрения вашего черепа.

Дело вот в чём. Г. М. С. Волков занимается френологиею и издал курс её. Курс этот доказывает, что г. Волков не принадлежит к числу поверхностных людей, для которых френология, хиромантия, астрология—всё ёдино-единственно. М. С. Волков приступает к френологии с приёмами истинного учёного. Он специально занимается физиологией мозга, путешествует по разным анатомическим музеям, рассматривает и измеряет черепа, издаёт о толщине черепа брошюру, от которой приходят в восторг немецкие учёные, не отвергающие френологии, и пр. и пр. На всех частях труда г. Волкова лежит печать глубокого убеждения, добытого учёными исследованиями. Для желающих познакомиться с строением мозга и убедиться в его влиянии на духовную деятельность человека—весьма полезно будет прочесть его книжку о френологии и заграничные письма, во многом её дополняющие. Но... увы!.. всё это не защищает г. Волкова от преследований и насмешек (конечно, невежественных) со стороны тех, которые не хотят доверять френологии. Разумеется, г. Волкову это всё равно: он знает, что через сто лет френология победит, и ему смешно недоверие профанов. Но,—пусть извинит нас г. Волков—мы сами, при всём уважении к его учёным достоинствам, никак не можем убедиться в великой важности френологии, особенно когда г. Волков так преувеличивает её значение. Судите сами, читатели: не странны ли, не забавны ли факты, которые мы сейчас сообщим вам о френологах и френологии? Судите.

Г. М. Волков одержим неодолимою страстью ощупывать чужие черепа: в этом отношении заграничные письма его доставляют много весьма интересных данных. Едет ли он в дилижансе,—он обращается

к своему спутнику: «позвольте ощупать ваш череп».—Извольте.—И, ощупавши, господин Волков выводит в благодарность весьма основательно, как кажется, заключение, что у спутника его мало развит орган *самоуважительности*, и сильно развит орган *почтительности*, или что-нибудь в этом роде. Отправляется ли г. Волков в Ватикан, он останавливается пред бюстом Рафаэля, поражённый благоговением—к великому Галлю!.. Г. Волков ощупал, видите, череп Рафаэля и нашёл в нём особенное развитие органов *цветистости*, *образности* и *глазомерности*. Из этого ясно, что Рафаэль *френологически* должен был быть великим живописцем, и потому бюст Рафаэля делает честь не кому иному, как Галлю. Является г. Волков в картинную галлерею,—он смотрит, все ли френологические органы на месте поставлены, и страшно негодует, что на какой-то картине на голове Дон-Кихота выскочил орган *приобретательности*, которому не следует быть у него. В Зальцбурге поставлена статуя Моцарту, и у него в руке карандаш. Почему не перо? спрашивает г. Волков, смотря на статую, и отвечает: потому, что у немцев слишком развит орган *осмотрительности*, требовавший, чтобы вместе с пером была поставлена и чернилица, а чернилицы около статуи поставить было негде... Слышит наш френолог игру на скрипке двух сестёр Миланолло и решает, что младшая играет лучше, решает потому собственно, что орган *звучности* (№ 33) у неё обширнее. Флуран пишет опровержение против выводов френологии; г. Волков, нимало не изменяя себе, объясняет это тем, что у Флурана не развит орган *соображительности*. У французов произошла в 1848 г. революция: оттого, решает г. Волков, что у них в голове органы *разрушительности* и *противоборности* сильны, а органы *рассудка* и *благоволительности*—слабы.—В Англии замечает г. Волков уважение к законам и, щупая черепа англичан, объясняет это тем, что у них развит орган *почтительности*. Словом—заграничные письма г. Волкова служат практическим дополнением к тому, что излагается в его теории френологии; их следовало бы назвать «Френологическими письмами о заграничной жизни».

«Френология» г. Волкова особенно нравится нам по своей простоте. Это настоящая азбука. Все человеческие способности и наклонности объяснены в ней посредством 37 №№, —только двумя знаками больше, чем в русской азбуке. Исходит г. Волков из самого простого положения, которое давно уже принято всеми физиологами, именно,—«что в френологии *нет и не может быть ничего точного и математически-определённого*». (Френ., стр. 32). Положивши в основание своей науки истину, столь несомненную, г. Волков старается ещё подтвердить её тем, что всё различие нашей умственной и нравственной деятельности зависит от внутреннего сложения мозга, его состава, объёма, веса, расположения частиц и вида или фигуры мозга, и что наблюдениям френологов доступны только *вид* и *объём*. Доселе спорили и против последнего, утверждая, что по форме черепа нельзя судить о форме мозга. Но ныне г. Волков победил своих противников, сказавши, что «точные измерения объёма частей мозга—невозможны» (стр. 29), и что в френологии ничего точного искать не следует. Противники, разумеется, должны умолкнуть, и, таким

образом, науке френологии полагается г. Волковым твёрдое и неизблемое основание. Опираясь на это основание, г. Волков может уже смело говорить, что френология принадлежит к наукам точным, что она не то, что какая-нибудь *история*, которую до сих пор нельзя назвать наукою (Загр. пис., стр. 464). На основании своих френологических наблюдений, г. Волков может произносить непогрешительные суждения, не только об отдельных лицах, но даже о целых классах народа, о целых нациях, о всём человечестве, наконец. Напр., по своим френологическим соображениям, г. Волков вот что пишет из Франции в 1847 г. (стр. 39).

«Хотите знать истинную правду о классе французского народа, который зовут пролетариями? Вот она. Со времени уничтожения внутренних таможен, ремесленных корпораций, поземельной монополии, старших в роде, и проч., те только люди и семейства остаются в постоянных лишениях, которые принадлежат к категории глупцов, бессильных, небрежных, ленивцев, невежд, пьяниц, и т. п.; их-то и разумеют ныне под названием пролетариев. Общий их характер тот, что, не имея, по собственной своей вине, способов к существованию, они завидуют всякому, у кого что-нибудь есть в кармане, и выдумывают клеветы на имущих, для оправдания своего желания овладеть чужим добром».

Словом, говоря френологическим языком г. Волкова, все пролетарии оттого бедны и несчастны, что у них сильно развиты № 5 и 6 (противоборность и разрушительность), вместе с № 8 (приобретательность) и № А (питательность); но совершенно не развиты № 9 (работность), № 13 и 14 (благоволительность и почтительность), равно как и 16 (совестливость). С френологической точки зрения такое решение не подлежит никакой апелляции, и вот почему я постараясь спрятать свою голову при встрече с г. Волковым. Что, если он меня, как человека небогатого, тоже определит подобно французскому пролетарию, или—что, впрочем, не столь ужасно, хотя и более вероятно, скажет обо мне то же, что о Флуране!..

Впрочем, утешимся: все бедствия человечества исправлены будут френологией. На это времени немного нужно: г. Волков требует всего 100 лет, уверяя, что тогда все люди будут френологами и будут счастливы. Кто будет жив тогда, тот увидит. А мы пока будем довольствоваться теми четырьмя главами книги г. Волкова, в которых излагается благотворное влияние френологии—1, в общественной повседневной жизни, 2, на науки и искусства, 3, на правосудие, 4, на улучшение человека вообще. Во всех отношениях польза френологии, по исследованиям г. Волкова, должна быть беспредельна. Так выбор людей может быть сделан безошибочно, с помощью френологии. К вам, напр., является человек наниматься в услужение; у него хороший аттестат, но это ничего не значит; хорошие аттестаты часто даются потому, что у многих хозяев сильно развит орган *благоволительности*. Гораздо надёжнее будет, если вы, открывши френологический атлас, тотчас же тщательно ощупаете череп человека, и определите, какие органы особенно развиты у него. Вы намерены сообщить какой-нибудь секрет своему знакомому: не полагайтесь на его испытанную честность и скромность; основательнее поступите вы, если

прежде сообщения секрета, отзовёте вашего знакомого в сторону и скажете: позвольте мне ощупать ваш череп; мне нужно узнать, достаточно ли развит у вас № 7, т. е. орган *скрытности*.

Вы хотите заказать портному платье: не спрашивайте, какой из них лучше шьёт, а просто идите, щупайте у каждого портного череп и отыскивайте, в достаточной-ли степени развиты у него органы *работности*, *изящности* и *глазомерности*. Если осмотр окажется удовлетворительным,—смело надейтесь, что портной вас не надует и сошьёт вам платье хорошо.—Вы нанимаете квартиру:—ощупайте прежде всего череп хозяина, хозяйки и всех соседей, чтобы узнать, достаточно ли развита в них *домашность* и *дружелюбность*, или, напротив того, у них сильны *противоборность* и *разрушительность*. Так советует г. Волков. Поступайте так, и вы почти не будете делать ошибок в жизни.

Но это всё еще ничтожно в сравнении с теми выгодами, какие может доставить френология в государственном отношении. Г. Волков говорит:

«Выбор в должности во всех классах людей и во всех иерархиях общества, без исключения, значительно бы облегчился при помощи френологии. Людям, находящимся во главе правительства, нужнее, чем кому-либо, оценивать людей» (стр. 180).

Поэтому, если вы, напр., выбираете человека в какую-нибудь должность, то советую вам непременно поступать по правилам книжки г. Волкова. Преимущественно смотрите, на какой степени развития находится орган *приобретательности*, № 8, и затем—орган *кочителности*. [Применение системы г. Волкова особенно, по нашему мнению, удобно было бы для дворянских выборов: оно придало бы им некоторую торжественность; каждый избиратель подходил бы медленным шагом к избираемому, важно ощупывал его голову и затем торжественно отходил и, смотря по результатам ощупывания, клал бы шар—белый или чёрный.]

Но и это не всё. Г. Волков выставляет также полезное влияние френологии на науки и искусства. Особенно важно будет влияние френологии на историю; оно, по словам г. Волкова, будет заключаться в том, что суждения об исторических лицах будут уже основываться «не на поступках их, причины которых всегда можно придумать в пользу или невыгоду человека» (стр. 182), а на ощупывании черепа различных слепков и статуй. Тогда только, по мнению г. Волкова, история и получит характер науки: ощупывание черепов объяснит все загадочные исторические явления. Например, является сомнение, был ли на свете Гомер:—отыщите нам только его череп, и г. Волков скажет вам положительно, не только—что он был, но даже каков он был,—развита ли у него была местность, счётность, порядочность, любчивость, надеянность и т. п. Загадочное явление представляют, напр., в нашей истории самозванцы: отошлите слепки с их голов к г. Волкову, и он всё разрешит вам.

Статистика также не может обойтись без френологии. Недостаточно, напр., сказать, что в такой-то местности заключено столько-то

браков; нужно ещё, при заключении брачных контрактов, обращать внимание на развитие у молодых *любчивости* и *приобретательности*, чтобы отмечать в статистических таблицах, сколько браков заключено по любви и сколько по расчёту. Не довольно сказать, что в городе столько-то ремесленников, которые производят столько-то; нужно ещё прибавить, насколько развит у них орган *работности*. Только при таких данных статистика, по мнению г. Волкова, приобретёт значение *точной* науки.

Та же самая история с медициною. По словам г. Волкова—не только в болезнях мозга, но и «в каких бы то ни было случаях, относящихся к здоровью, врачу необходима френология». Если, например, я страдаю расстройством желудка, то врач пощупает мой череп и узнает, как развит у меня орган питательности. Если он развит сильно, то врач справедливо заметит, что я *обкушался*; если же нет,—то он скажет, что я, примерно, простудился, и будет лечить меня от простуды. Отсюда очевидна «необходимость френологии в каком бы то ни было случае, относящемся к здоровью».

В скульптуре и живописи френология столь же необходима, по следующим причинам. Известно, что для изображения лиц художники берут натурщиков и натурщиц. Средство это крайне-дурно, потому, что без френологии художники обыкновенно не умеют,—да и не заботятся,—определить, имеет ли натурщица в надлежащей степени развитыми те органы, которые френологически необходимы для изображения лица. Например, для изображения Клеопатры может быть взята натурщица, у которой недостаточно развиты органы *любчивости*, *самоуважительности*, *любохвальности* и пр.; вследствие этого—фигура, с неё нарисованная, будет вовсе не похожа на Клеопатру. Гораздо лучше, следуя правилам френологии, художнику выбрать (или лучше самому сделать, при френологии,—я думаю,—и это возможно) какую-нибудь модель—и с неё делать все фигуры, изменяя только те выпуклости черепа, которые, по науке френологии, должны оттенять характер. Так, например, модель Клеопатры может служить и для Аспазии, только с большим развитием у последней органов *изящности* и *словности* (№№ 19 и 33). С той же модели можно и Иоанну д'Арк рисовать, развивши у ней особенно органы *надеянности* (№ 17) и *чудесности* (№ 18).

Особенного внимания заслуживает глава, в которой г. Волков говорит о влиянии френологии на правосудие.

«Правоведение найдёт в френологии драгоценные данные для всего, что зависит от нравственной природы человека», говорит г. Волков (стр. 186).

Действительно, нельзя не сознаться, что она могла бы чрезвычайно упростить судопроизводство. Найдено, напр., на дороге мёртвое тело, неизвестно кому принадлежащее. Сейчас—череп ему ощупать. Если орган *самохранительности* развит слабо,—значит, само умерло мёртвое тело, от неосторожности. Если же реченный орган найден в сильном развитии,—ясно, что смерть приключилась насильственным образом, и тогда собрать мужиков ближайшего села и шупать всем

им черепа. У кого всех сильнее развиты органы *разрушительности и противоборности* (№№ 5 и 6), того и тащи в острог: его, значит, грех. Если же будут при этом улики,—хотя бы и самые явные,—против другого, у которого развиты органы *дружелюбности* (№ 4) и *благовоительности* (№ 13),—то, по мнению г. Волкова, судья всё-таки должен «удержаться от приговора».—Действуя таким образом, френологически,—«он, по словам г. Волкова, избегнет случайных несправедливостей, столь частых в летописях правосудия и столь прискорбных для свойственного нам чувства любви к ближнему» (стр. 186).

Словом, как только водворится френология, ни пороков, ни несправедливостей, ни бедствий не будет на свете. Разве только во сне будут люди забавляться, производя друг в друге представления разных бед, посредством надавливания на тот или другой орган,—подобно тому, как делал френолог Шефе над своими братьями. Г. Волков рассказывает, что Шефе однажды придавил своему спящему брату органы *чадомюбивости* (№ 2), *разрушительности* (№ 6) и *звучности*,—и брат его увидел во сне—*детей, убиваемых под музыку* (Загр. П., стр. 453)! Подобные забавы будут, вероятно, с пользою и удовольствием занимать человечество, возрождённое френологией.

Но ничто не может сравниться с той умирительной картиной, какую представит всё человечество, когда признает всю пользу и значение френологии. Тогда все примутся изучать недостатки и пороки собственного черепа, поделавши слепки с собственных голов.

«В этом изучении, в этом самопознании, френология, по словам г. Волкова, представляет истинное сокровище для человека. Перед слепком собственной своей головы человеческому самолюбию нет убежища. Самолюбие и самого себя увидит и оценит в осязательных формах головы. И что, если бы каждый человек посвящал ежедневно по несколько минут (отчего бы уж и не часов?) одинокой беседе с слепком с своей головы, держа в руках курс френологии! Какое бы влияние имел этот обычай на нравственное улучшение человечества!» (стр. 191).

Да, держать пред собою слепок собственной головы—будет весьма полезно для человечества, и надобно желать, чтобы все люди поскорее завели этот прекрасный обычай. Мы даже уверены, что многие уже начали полезное занятие, предлагаемое г. Волковым. В этом убеждает нас, между прочим, один из рисунков г. Данилова, который, как известно, очень верно изображает наше современное общество. Остроумный карикатурист этот изобразил недавно господина, усатого и завитого (что несколько мешает определить его френологически), который держит пред собою ручное зеркальцо и (очевидно проникнутый идеями френологии) возглашает: «голова ль моя, ты, головушка!!»

ОБ ИСТИННОСТИ ПОНЯТИЙ ИЛИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

СОЧИНЕНИЕ АЛЕКСЕЯ КУСАКОВА. Спб. 1858 г. ⁸⁴



Френологии я не верю,—это уж положительно решено; но относительно теории г. Кусакова я нахожусь ещё в недоумении. Брошюра г. Кусакова написана ючень убедительно, по крайней мере в некоторых частях своих. Сущность брошюры, если передать её в вопросах и ответах, имеет следующий вид. Г. Кусаков спрашивает меня (то есть, не лично меня, а вообще всякое я, понимаемое в философском смысле): «знаете ли вы что-нибудь?» Я, не имея мудрости Сократа, чтобы ответить: «знаю только то, что ничего не знаю»—отвечаю: «знаю». Г. Кусаков экзаменует меня, вопрошая: «что вы знаете?..» Я, разумеется, становлюсь в тупик от внезапности вопроса и, запинаясь, отвечаю: «да мало ли что я знаю... многое знаю... Ну, знаю, например... ну, например, я знаю, что вот это—рука, и что рука эта мне принадлежит». И я решаю посмотреть в глаза г. Кусакову, полагая, что удовлетворит его своим ответом. Оказывается, однако, что это не так легко сделать; г. Кусаков продолжает экзамен: «а почему вы знаете, что это ваша рука? Может быть это не рука, или рука, да не ваша?»—Как не моя? восклицаю я, поражённый ужасом... «Очень просто,—возражает г. Кусаков:—может быть, она и не ваша... Чем вы докажете, что она ваша, а не моя, например?» Такая претензия на мою руку со стороны г. Кусакова поражает уже меня окончательно; я смущаюсь, как могла бы смутиться от подобной претензии только наивная, неопытная институтка. В самом деле, какое философское доказательство можно привести на то, что моя рука—моя рука, а не г. Кусакова? Чем можно это доказать человеку неверующему? Ему что ни скажешь, у него всё один ответ: а чем докажете? И пойдёт бесконечная история для отыскания начала всех начал... Таким образом я решительно расстроен, и г. Кусаков торжествует надо мною и гордо указывает мне на седьмую страницу своей брошюры, на которой сказано: «из этого видно, что почерпаемое человеком понятие о каком-либо предмете внешнего мира никогда не может быть истинным». Я предаюсь совершенному отчаянию и жалобно обращаюсь к г. Кусакову с во-

просом: «так как же, г. Кусаков,—наши познания решительно не могут быть истинны?» Но «Афанасий Иванович, довольный уже тем, что напугал Пульхерию Ивановну, улыбается и весело покачивается на своём стуле». Г. Кусаков говорит мне на той же странице:

«Казалось бы после этого, что для человека нет никакой возможности узнать истину; но заключение это, как мы увидим, неосновательно. Если человек не может непосредственно почерпнуть из природы истинного о вещах понятия, то он может достигать до познания истины чрез постепенное отрешение от заблуждений, в которые нас вводят наружные чувства. Этого отрешения понятий от заблуждений человек достигает чрез многократное наблюдение предмета и рассматривание его с разных сторон».

Другими словами: внешние чувства не всегда заблуждаются, и хоть случается с ними иногда такой грех, но вообще на них можно положиться. Это положение меня успокаивает, но не на долго: чрез несколько страниц г. Кусаков опять говорит, что решительно все предметы «производят на нашу душу впечатление, более или менее несоответственное предмету, следовательно более или менее ошибочное» (стр. 13). Я снова впадаю в прежнее недоумение и тоскливо восклицаю: «о, г. Кусаков! Поведайте же мне, есть ли истина на свете? Иначе я решусь на отчаянную меру,—обращусь к г. Гербелю: он поэт добрый и, верно, по своему обещанию,

Он разрешит мои печали,
Сомнения вечные мои. ⁸⁵

Но г. Кусаков смягчается моими жалобами и великодушно объясняет, что истина возможна «при определении высших аксиом и построении на них всех возможных знаний» (стр. 9). Некоторый свет начинает озарять меня. «Высшие аксиомы, думаю я... знаю теперь, на что он метит: на непогрешимость всеобщего разума»... Но, увы! г. Кусаков отнимает у меня и последний слабый луч надежды, объявляя, что за аксиомы не могут быть приняты врождённые идеи, будто бы производимые внутренней деятельностью души, независимо от впечатлений внешнего мира (стр. 10). Следовательно высшие аксиомы г. Кусакова тоже должны быть произведением внешних чувств, которые он же сам, непостижимый г. Кусаков, считает столь обманчивыми и ненадёжными. Тут уж я решительно теряюсь и предаюсь в волю г. Кусакова, который, пользуясь моим положением, начинает объяснять мне свою теорию. «Цель и назначение моей брошюры, говорит он, состоит в определении и ясном математическом выражении этой высшей аксиомы». Формула её очень проста: $a = b \times c$ (Я ничего не понимаю). Здесь a означает действие (продолжает объяснять г. Кусаков), а b и c —предметы, действующие друг на друга. Таким образом, если двух подравшихся приятелей изобразить—одного буквою b , а другого c ,—то в результате и будет a , действие, то есть,—драка. Приятели, пожалуй, могут и не драться,—результат всё будет тот же: для формулы нужно только, чтобы сошлись два приятеля b и c , а результат a , то есть драка, сам собою уж явится. Я как будто начинаю понимать мудрость г. Кусакова и интересуюсь знать, на чём же основана высшая аксиома, что

$a = b \times c$. Оказывается следующее. Мы чувствуем, что на нас повсюду действует что-то, от нас отличное, внешнее, словом—не 'я. Отсюда мы заключаем, что кроме нас существует ещё нечто, потому что иначе мы не могли бы ощущать никакого внешнего действия на наше я. Отсюда следует, что бытие предметов сознаётся нами только тогда, когда они на нас действуют, и что, следовательно, нет возможности представить предмет без действия. Общий же закон всякого действия состоит в том, что *действие соразмерно причинам*; это мы можем утверждать потому, что, узнавая предметы только по их действию на нас, мы только по действию можем определить и величину, и значение самих предметов. Всё это очень основательно и ясно на первый взгляд, и во всём этом я, как и все,—я думаю,—с давних пор был убеждён... до того времени, пока не прочитал брошюры г. Кусакова. Но, прочитавши брошюру, я уже на такую удочку не поддамся. Я сам теперь сделался скептиком и сам стану задавать вопросы г. Кусакову: «а чем вы, г. Кусаков, докажете, что эта аксиома ваша, а не моя, и не общая всем людям с давних пор? Да и на каком основании утверждаете вы, г. Кусаков, что если предмет на нас действует, то значит, что он существует? Легко может быть, что он действует, а всё-таки не существует? Чем вы докажете, наконец, что предметы на нас действуют? Может быть, это только внешние чувства вас обманывают? На чём же вы вашу аксиому основываете? Нет, г. Кусаков, ваша аксиома, осмелюсь вам заметить, неосновательна. В отыскании начала всех начал вы меня не удовлетворите старой, избитой истиной, что нет действия без причины. Я хочу, чтоб вы мне эту самую причину-то отыскали, доказательства бы нашли... Тогда я успокоюсь... Иначе я всё-таки буду вас беспрестанно и бесконечно допрашивать: отчего?»

Г. Кусаков, повидимому, теряется и говорит, что «это положение не только не может быть доказано, но даже не относится к области ума» (стр. 11). Я в свою очередь торжествую и уже без всякого благоговения к мудрости г. Кусакова выслушиваю дальнейшее его объяснение о том, что «всё существующее действует, а всякое действие совершается *от центра к окружности*» (стр. 22). В-первых, я возглашаю: чем докажете, г. Кусаков?, а во-вторых, я спрашиваю: какого центра, какой окружности? Я, напр., еду из Архангельска в Тамбов; действую ли я от центра России к её окружности, или от моего собственного центра к моей собственной окружности? Но определите же, где мой центр и моя окружность? С центром тяжести что ли совпадает центр, открытый г. Кусаковым, или он ни с чем не совпадает? Это, ведь, легко сказать: «вот, дескать, какая высшая аксиома, только она не может быть доказана; а предметы, вследствие её, действуют от центра к окружности». Но сказать, не доказавши, ещё ничего не значит, равно как ничего не значит и необъяснённое положение. По аксиоме г. Кусакова, брошюра его действует тоже от центра к окружности. Может быть, это и так; но задача в том, чтобы отыскать: где же именно центр-то её находится? А этого ни за что и не отыщешь, потому что г. Кусаков

совершенный эксцентрик. Философии, должно быть, он обучался; об этом свидетельствуют фразы его, вроде следующей:

«Если бы мы захотели представить себе я и не я нераздельно, то это представление всецелого бытия, указывающее на самый высший род, не было бы понятием, а чувством, и имело бы в дополнительной сфере, называемой несуществом или небытием, выражение мнимое, происшедшее от применения общей формулы разделения понятий на две сферы к такому предмету, который дополнительной сферы не имеет, и по этой причине не относится более к предметам, о которых можно иметь понятие» (стр. 12).

Но философия, должно быть, невпрок пошла г. Кусакову: он вызвался вести нас куда-то и завёл в лабиринт, из которого, кажется, и сам не может выбраться. Он знает только одно,—что надо идти от центра к окружности; но где центр, где окружность, до этого ему уж решительно нет никакого дела.



ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ИСТОРИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Н. УСТРЯЛОВ.
Спб. 1858 г., три тома.⁸⁶



«Пётр действовал совершенно в духе народном, сближая своё отечество с Европою и искореняя то, что внесли в него татары временно азиатского».

(«Отеч. зап.» 1841 г. Критика.)⁸⁷

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

События, волнswавшие Россию во время детства и ранней юности Петра, закалили его характер и благоприятствовали отречению его от многих предрассудков древней Руси. Но события эти ещё недостаточны были для того, чтобы развить в душе Петра определённую идею преобразования, в каком нуждалась тогда Россия. Оттого в первоначальной деятельности его мы не видим строгого следования заранее обдуманному и глубоко-соображённому плану. Видно стремление к чему-то *другому, новому*, видно недовольство существующим порядком, видна жажда деятельности в молодом государе и во всём, что ближайшим образом окружает его. Но заметно и то, что ни у кого ещё, ни даже у самого Петра, не сложилось в это время определённого идеала, к осуществлению которого нужно было стремиться. Даже конечная цель преобразований—дать больший простор развитию естественных сил народа, как вещественных, так и нравственных,—даже самая цель эта не была никем ясно сознаваема во время преобразований Петра. Многие подробности фактов, находящиеся в «Истории Петра» г. Устрялова, явно указывают на это, и свидетельство фактов довольно легко объясняется и подтверждается некоторыми соображениями. Изложим сначала эти соображения, и потом перейдём к фактам.

При изучении истории великих людей мы обыкновенно впадаем в маленькую иллюзию, мешающую ясности нашего взгляда. Мы почти никогда не умеем ясно различить отдельных моментов в жизни исторического лица и представляем его себе в полном блеске его чрезвычайных качеств и деяний, в том виде, как он сделался достоянием истории. При этом к достоинствам или недостаткам лица мы часто относим не только самые его действия, но и последствия этих действий, может быть, вовсе не зависевшие от его воли. Великий полководец начал войну, рассчитывая только необходимые и самые верные шансы; но во время самой войны произошли благоприятные обстоятельства, на которые он не рассчитывал и которыми, однако,

умел воспользоваться. Мы охотно верим, что полководец заранее предвидел эти обстоятельства, вводил их в свой расчёт, располагал по ним свои действия,—и от такого соображения величие полководца чрезмерно увеличивается в наших глазах. Искусный правитель, по очень естественному чувству, старался расширить круг своей власти, и унижить власть своих соперников; мы находим в этих действиях глубокую и ясно-сознанную мысль о централизации государства и прославляем необычайную дальновидность и мудрость правителя. Другой правитель издал закон, имевший через сто или двести лет огромное влияние на состояние целого государства; мы и это позднее влияние относим к гению правителя, который, по нашим предположениям, совершенно ясно понимал все следствия, какие в будущем должны произойти из его закона, и т. п. Во всех такого рода случаях мы смешиваем результаты с самым делом, и сделанный нами логический вывод навязываем самым фактам. В старые годы так точно судили о великих людях в области поэзии. После разбора, например, всех произведений поэта, определивши их господствующий характер, говорили, что поэт задал себе и всю свою жизнь развивал такие-то и такие-то темы. Ныне в эстетических разборах оставили такую манеру, убедившись, что произвольной преднамеренности в характере и целой жизни человека быть не может. В произведениях поэта, художника—отражаются впечатления его жизни, и характер их определяется теми фактами, из которых составилось его существование. Он не действует по заданной программе, составленной для него с детства на целую жизнь,—а следует за живым течением событий, отражая в себе недостатки и достоинства, скорби и радости своего общества и времени. Так теперь смотрят на великих деятелей в области поэзии. К сожалению, этот взгляд редко применяется к великим деятелям истории, хотя здесь он ещё уместнее, нежели в эстетике. Мы до сих пор, по старой привычке, рассмотревши всю деятельность исторического мужа, со всеми её бесчисленными последствиями, тотчас же проникаемся мыслью, что все выведенные нами последствия верно и положительно были им самим рассчитаны. Вслед за тем мы начинаем безмерно прославлять его, если следствия эти нам кажутся хорошими, или без милосердия порицать, если они нам почему-нибудь не нравятся. А между тем и то и другое неосновательно, или, по крайней мере, преувеличено с нашей стороны. Будущее никогда не бывает нам столь ясно, как прошедшее, точно так же как прошедшее, в свою очередь, никогда не имеет над нами той силы, какую имеет настоящее. Поэтому всякий современный деятель гораздо яснее понимает отношение своих действий к прошедшим фактам, на которых они основаны, нежели к отдалённым последствиям в будущем. Но и прошедшее служит для него не как указатель того необходимого исторического преемства, в котором давно явившиеся причины связываются с далёкими, имеющими явиться, последствиями. Такое преемство изучается только в истории, когда и причины и действия уже завершились в известном круге явлений. Для современного же деятеля прошедшее служит возбуждением лишь

настолько, насколько оно ещё существует в настоящем, мешая или благоприятствуя ему. Не тогда изменяется известная мера, установление, вообще положение вещей, когда гениальный ум сообразит, что оно может повести к дурным последствиям через несколько столетий, так как повело к ним за несколько веков пред тем. Нет, оно изменяется тогда, когда уже делается несоответствующим настоящему положению вещей, когда неблагоприятное его влияние уже не некоторыми только предвидится, а делается ощутительным для большинства. В это-то время и являются энергические деятели, становящиеся тотчас во главе движения и придающие ему стройность и единство. Они одни заметны нам в историческом рассказе и для невнимательного взора представляются единственными и первоначальными виновниками событий, происшедших при их участии. Но более внимательное рассмотрение открывает всегда, что история в своём ходе совершенно независима от произвола частных лиц, что путь её определяется свойством самых событий, а вовсе не программой, составленную тем или другим историческим деятелем. Напротив, деятельность всех исторических лиц развивается не иначе, как под влиянием обстоятельств, предшествовавших появлению их на историческом поприще и сопровождавших его. Поэтому, приписывать замечательным двигателям истории ясное сознание отдалённых последствий их действий, или все самые мелкие и частные их деяния подчинять одной господствующей идее, представителями которой они являются во всей своей жизни, делать это—значит ставить частный произвол выше, чем неизбежная связь и последовательность исторических явлений. Мало того—это значит, детски повергаясь ниц пред великими людьми, совершенно забывать, что они всё-таки люди и, следовательно, подвержены общей всем людям ограниченности сил и знаний. Мы забываем это, когда приписываем человеку основательное соображение и знание того, о чём он мог разве только смутно догадываться. Заоблачное вдохновение, внезапное наитие, предсказание, ясновидение—относятся, как известно, к области фокусников. В самом же деле, как бы человек ни был умён и гениален, он может производить свои соображения только на основании данных, имеющихся у него под руками. Поэтому, все великие планы, высокие идеи, сложные замыслы ограничиваются обыкновенно достижением *ближайшей* цели. Когда эта цель достигнута, тогда уже начинается дальнейшее развитие идеи, планы расширяются, прежняя цель в свою очередь становится основанием, точкой отправления для новых целей, и т. д. Но чем далее в будущее простирается замысел, чем более должен он опираться на событиях, ещё не совершившихся, а только задуманных, тем глубже уходит он из мира действительности в область фантазии. Всякий исторический деятель хорошо чувствует это, и всякий естественно старается остерегаться от этих воздушных замков. Вот почему нам кажется, что необъятные, мировые соображения, привязываемые к каждому, самому простому поступку великого человека, ставят его в какое-то странное, неестественное положение. Это, если хотите, поднимает его на высоту, недостижимую для обыкновенных смертных, и придаёт ему какой-то чудесный, сверхъ-

естественный блеск. Но это же самое отнимает у него простое, человеческое величие, делая его чем-то сказочным, непостижимым для ума человеческого. Так фантастические сказания о богатырских подвигах разных героев, возвышая их над обыкновенными людьми, чрез то самое уничтожают истинную человеческую сторону их доблести. В истории подобные преувеличения делаются сказкой, в настоящей действительности они ведут к шарлатанству и фокусничеству. Фокусы эти озадачивают невежд, но не обманывают человека образованного. Как бы ни было велико искусство доктора, но если он станет вам предсказывать, на основании медицинских соображений, сколько лет проживут дети, которых вы надеетесь иметь, то вы, конечно, не слишком-то поверите ему... Так точно не поверите вы садовнику, который, посадивши дерево, станет утверждать, что он знает, сколько на будущий год будет листьев на этом дереве. Так точно не верят люди и историческому деятелю, который убеждает их принять такое-то решение, во имя благих последствий, какие должны произойти из него по прошествии столетий. Только тогда человек может заставить людей сделать что-нибудь, когда он является как бы воплощением общей мысли, олицетворением той потребности, какая выработалась уже предшествующими событиями. Потребности эти, как известно, никогда не заходят слишком далеко в будущее и часто ограничиваются одной настоящей минутой. Таков, более или менее, должен быть и деятель исторический, служащий представителем общего движения. Более отдалённые потребности, которых ещё не чувствует масса, могут быть поняты и обсужены теоретиками и философами, стоящими обыкновенно вне движения настоящей минуты. Но зато подобные люди и не являются обыкновенно в истории, как великие двигатели событий своего времени. Их оценивают потом, когда идеи их подтверждаются фактами и делаются современными, т. е. соответствующими сознанию большинства. Практические же деятели, которых прославляет история, обыкновенно потому и имеют успех, что твёрдо и прямо идут к *ближайшей цели*, видимой для всех, предоставляя *конечную цель* дальнейшему течению событий.

Высказать эти соображения мы сочли необходимым для того, чтобы предупредить недоумение, которое многие обнаруживают, находя в книге г. Устрялова ясные доказательства того, что Пётр, начиная свою преобразовательную деятельность, далеко не был проникнут определёнными и обширными преобразовательными идеями. До сих пор нам обыкновенно рисовали Петра риторическими красками, заимствованными из похвального слова ему, сочинённого Ломоносовым. Пётр представлялся нам в сверхъестественном, невозможном величии какого-то полубога, а не великого человека, и мы привыкли соединять возвышенные идеи, мировые замыслы со всеми, самыми простыми и случайными его поступками. Нам казалось, что уже с колыбели Пётр замышлял преобразование России, что потешными начал он играть для того, чтобы приготовить в России победоносное регулярное войско; что ботик велел починить, проникнутый идеею о сооружении флота; что он дружился с Лефортом

и ездил в Немецкую Слободу затем, что с ранних лет замыслил «вдвинуть Россию в систему европейских государств». Мало того, мы старались до сих пор придавать особенное, какое-то мистическое значение всякому действию Петра, доводя до [смешной] точности мысль, что *вся жизнь* Петра была посвящена заботе о благе его подданных. Он ездил в одноколке, с одним денщиком: мы сейчас находим, что он делает это, желая предостеречь свой народ от роскоши. Он работал топором: мы говорим, что он руководился при этом мыслью показать подданным пример трудолюбия. Он выковал полосу железа: нам кажется, что он сделал это потому единственно, что хотел поощрить развитие национальной промышленности... Всё это хорошо придумывать теперь, и всё это отчасти справедливо в своих последствиях: простота Петра действительно нанесла удар боярской роскоши, его пример действительно имел влияние на окружающих. Но чрезвычайно странно предполагать, будто Пётр заранее придумывал себе: «попробую я выковать полосу железа; от этого, вероятно, промышленность в государстве разовьётся». Такого рода выдумки приличны разве тому, кто ни к чему, более серьёзному, не способен. Что же касается до Петра, то нет надобности видеть в каждом его поступке плод заранее заданной теоремы. Мы уже имели случай заметить в прошедшей статье, что Пётр был натура по преимуществу деятельная, а не созерцательная. В его делах выражалась прямо его живая, пылкая натура, а не государственная программа. Если уже в государственных внешних делах он не мог удерживать своих стремлений и, совершенно вопреки всем правилам этикета, сам первый приезжал к послу, которого долго ждал (см. Устр., т. III, стр. 374); то тем более проявлялась, конечно, эта пылкость и нетерпеливость в делах частных и менее важных. Ничего нет легче для биографа, как увлечься страстностью натуры необыкновенного человека и приписать вдохновению высокой мысли, глубоким соображениям и т. п. то, что было простым следствием этой страстности. В этом нет даже ничего дурного, но всё-таки это несправедливо и, по нашему мнению, может вредить правильности взгляда на историческое лицо. Мы видели уже выше, как г. Устрялов увлёкся, сказавши, что при виде ботика у Петра, как молния, блеснула мысль о преобразовании России. Видели и другое увлечение, вследствие которого г. Устрялов полагает, что ещё до 17-летнего возраста, до знакомства с Лефортом, в душе Петра уже совершенно сложились гениальные планы будущей деятельности. Мы имели случай заметить, в прошедшей статье, что такие предположения не имеют исторического основания. Теперь, в продолжении нашей статьи, мы увидим, что и после знакомства с Лефортом, после низвержения Софии, Пётр не вдруг принялся за преобразования, а задумывал их постепенно, шаг за шагом, по мере приобретения новых знаний и расширения собственного круга зрения. Факты, свидетельствующие об этом, представляет нам сам г. Устрялов.

Самое первое и несомненное, что всеми выставляется в истории Петра, это—привязанность его к иноземному, желание сблизить Россию с Европой. Когда же развилась в нём эта любовь к иноземцам

и в какой мере она владела его душою при начале его правления? С детских лет, утверждали доселе историки, полагавшие, что Пётр в детстве сошёлся с Лефортом. Ныне г. Устрялов опроверг мнение, что Пётр развивался в детстве под влиянием Лефорта, и потому начало глубоких замыслов Петра, касательно сближения России с Европою, должно быть отнесено к времени, несколько позднейшему. Впрочем, сам г. Устрялов говорит об этом весьма неопределительно, и скорее можно думать, что и он ещё в детских годах Петра находит уже гениальный замысел, выражением которого явилась вся жизнь Петра. Так думать заставляют нас следующие выражения, найденные нами у г. Устрялова:

«Внезапно, как будто из непроницаемой мглы, явился Пётр пред взорами изумлённого потомства с несомненными признаками какой-то великой, хотя ещё не совсем ясной мысли... На величественном челе Петра, как только история озарит его своим ярким светом (этим тропом г. Устрялов хочет сказать: с тех пор, как начинаются первые известия о жизни Петра), нельзя не заметить глубокой думы, уже заронившейся в душу великого царя, думы, которой впоследствии он остался верен до гроба» (Устр., т. II, стр. 6 и 7).

Красноречие этих выражений делает честь г. Устрялову; но мы, к сожалению, не совсем хорошо могли выразуметь, о какой именно «великой думе» говорит здесь красноречивый историк. Если он разумеет здесь общую мысль преобразования государства, то он, очевидно, увлекается собственным красноречием, забывая о фактах. Если он имеет в виду частное проявление общей идеи преобразования, т. е. сближение с иноземцами для научения от них, то и в этом случае, как увидим, в жертву красноречию нужно будет принести факты. Если, наконец, под глубокой думой, которой Пётр остался верен до гроба, красноречивый историк разумеет страсть Петра к военному и морскому делу, ранее других у него развившуюся, то и эта страсть в Петре-юноше не произвела ещё тех замыслов, которые, действительно, можно бы назвать глубокой думой. Мы увидим, что создать, как регулярное войско, так и флот, Пётр думал уже впоследствии. Вот факты, находящиеся в книге г. Устрялова. Начнём с отношений Петра к иноземцам в первое время его правления.

Астролябию, привезённую князем Долгоруким, Пётр показал Гульсту, Гульст откомендовал ему Тиммермана, Тиммерман отыскал Карштена Бранта, Брант познакомил царя с Кортм. В Троицкой лавре Пётр узнал Лефорта и Патрика Гордона, чрез Гордона сделались ему известны Мегден и Виниус, чрез Виниуса Кревст, и т. д. Вскоре Пётр является окружённый иноземцами, и вот видимое основание той мысли, что усвоение России европейских нравов и обычаев с самого начала правления Петра было его задушевною мыслью. Но так ли это? Вспомните в положение дел. Тотчас по низвержении Софии, Пётр сменяет сановников, занимавших при ней важнейшие места в государстве. Кто же назначается на их место? Нарышкины, Лопухины, Стрешневы, Ромодановские, Голицыны, Долгорукие и проч., т. е. родственники царя, его дядьки, друзья, и всё именитые

бояре русские. Никто из иноземцев не занял важного места; они все остались при своих полках, как это заведено было уж истари. Мало того—Пётр ючень мало показал участия к иноземцам, когда противная партия воздвигла на них гонение в начале его царствования. В первые дни его правления сожжён был в Москве еретик Кульман. Вслед за тем издан был указ не впускать в Россию ни одного иноземца без царского повеления (Устр., II, стр. 111). В начале 1689 г. София особым манифестом призывала в Россию французских эмигрантов протестантского исповедания, изгнанных Людовиком XIV; в конце того же года Пётр обнародовал указ, стеснительный для всех приезжающих иноземцев. Всем пограничным воеводам приказано было: приезжих из-за рубежа иностранцев расспрашивать накрепко, из какой они земли, какого чина, к кому и для чего едут, кто их в Москве знает, бывали-ль в России прежде, имеют-ли от своих правительств свидетельства и проезжие листы? Отобрав все эти сведения, следовало доносить обо всём в Москву и ждать царского указа; а без указа никого из-за рубежа в Россию отнюдь не впускать («Полн. собр. зак.», III, № 1358). Спрашивается: мог ли бы состояться такой указ, если бы Пётр уже решил в уме своём, какую роль иноземцы должны играть в его царствование? Могут сказать, что Пётр уступил в этом случае требованиям противной партии; но менее, нежели в чём-нибудь, можно обвинить Петра в излишней податливости и уступчивости. Энергия его характера сложилась весьма рано, и твёрдая решимость, не знающая преград, обнаруживается и в юных летах его столь же ярко, как и в зрелом возрасте. Нет, если он согласился издать указ, затруднявший иностранцам доступ в Россию, то именно потому, что в уме его ещё не определилась тогда идея об отношении его к иноземцам. Пётр любил Лефорта, Тиммермана, Бранта и пр., любил тех иноземцев, с которыми случилось ему познакомиться в Немецкой Слободе; но он вовсе не думал в то время обобщать этого чувства, распространяя его на всех иноземцев. Брант был для него дорог, как человек, умеющий построить яхту, Лефорт служил для него образцом весёлого собеседника и хорошего рассказчика, но вовсе не представителем европейских начал. Любя и уважая своих друзей *из немцев*, Пётр любил и уважал *их лично*, мало заботясь о том, какие начала представляли они собою. Это видно и из того, что Пётр допустил покушение стеснить свободу исповедания обывателей Немецкой Слободы (Устр., II, стр. 114); видно и из оригинального способа, которым он вознаградил Гордона за одно публичное оскорбление. Вот как рассказывает об этом г. Устрялов.

«Гордон, приглашённый к торжественному столу (28 февр. 1690 г.), по случаю празднования рождения царевича Алексея Петровича, должен был удалиться из дворца, по настоятельному требованию первосвященника (патр. Иоакима), который объявил решительно, что иноземцам при таких случаях быть неприлично, — без сомнения, к немалой досаде Петра. На другой день царь утешил оскорблённого генерала роскошным пиром и дружескою беседою в одном из загородных дворцов» <т. II, стр. 115>.

Не ясно ли, что во всей этой истории интерес Петра ограничивается пока личностью Гордона? Он пока не стоит за то, прилично или нет иноземцам быть при царских торжественных пиришествах; он уступает голосу, требующему, чтобы иноземец удался, и только на другой день, по дружбе к этому иноземцу, хочет вознаградить его за полученное неудовольствие.

Можно бы предположить, что уступчивость Петра происходила единственно от его уважения к патриарху Иоакиму. Но во всяком случае эта уступчивость должна была тяготить его, и он, конечно, постарался бы воспользоваться всяким случаем, чтобы от неё избавиться. Между тем мы видим, что по смерти Иоакима (в марте 1690 г.) Пётр хотя и желал назначить на его место Маркелла, пастыря кроткого и снисходительного к иноверцам, но не слишком настаивал на своём выборе. Согласно с желанием царицы Натальи Кирилловны, патриархом назначен был Адриан, «единственный советник и душевный друг покойному патриарху», по выражению г. Устрялова (т. II, стр. 118), тот самый, которому принадлежит грозное обличительное послание против брадобрития, упомянутое нами в первой статье.

Вообще, в первое время любовь Петра к иноземцам ограничивалась, кажется, тесным кругом личностей, окружавших его, и не имела в основании своём каких-нибудь дальних соображений. Несколько более общее значение получает она с тех пор, как Пётр съездил (уже в 1693 г.) в Архангельск и посмотрел голландские и гамбургские корабли. Настоящий же государственный смысл принимает она только после первого азовского похода, когда Пётр, наученный неудачным опытом, начинает нетерпеливо вызывать в Россию заграничных инженеров, артиллеристов, корабельных мастеров и капитанов и пр. Это началось с 1696 г., и в том же году назначены были русские молодые люди за границу, и решена поездка самого царя. Здесь уже видно действительное, обдуманное убеждение, что нам нужно учиться у Европы, заимствовать для России полезные знания и искусства иностранцев. Но чтобы почувствовать и определённо сознать это намерение, Петру недостаточно было, как видно, ни одних рассказов Лефорта, ни какого-то внезапного, таинственного прозрения, которое хотят приписать ему некоторые историки. Дело было просто: опыт нескольких лет показал ему негодность наличных средств, существовавших тогда в России; близкие к нему иноземцы указали ему, где можно искать других, лучших средств; он же нашёл в себе столько характера, чтобы посвятить последующую часть своей деятельности на ревностное отыскание и усвоение этих средств и на уничтожение того, что при них оказалось негодным. Пётр сделал то, на что никто до него не смел решиться, хотя и до него, конечно, понимали необходимость многого, введённого им.

Что в первое время своего царствования Пётр ещё не имел определённой решимости вообще касательно образа своих действий, доказывает его бездействие в первые пять лет правления до азовских походов. Мы знаем, что Пётр не любил медлить ни в чём; как скоро он ставил себе какую-нибудь цель для действий, он шёл

к этой цели быстро и неуклонно. Никакие посторонние занятия и развлечения, никакие внешние преграды не могли заставить его отказаться от своей мысли, как скоро она овладевала его душою. Поэтому бездействие Петра до азовских походов можно объяснить не иначе, как только отсутствием такой, ясно сознанной мысли, немением в виду определённой цели. По ясному и прямому свидетельству историка (Устр., II, стр. 133), «первые пять лет царствования Петра протекли в военных экзерцициях, в манёврах на суше и на воде, в фейерверках и весёлых пирах. В это время не было издано *ни одного* замечательного закона, не было сделано *ни одного* важного распоряжения *ни по одной отрасли* общественного благоустройства». В подтверждение слов своих г. Устрялов приводит, из полного собрания законов, важнейшие законодательные и правительственные распоряжения за пять лет, 1690—1694, и между этими *важнейшими* постановлениями мы находим несколько простых подтверждений прежних законов. Вообще же, о степени их важности можно судить по тому, что в числе их находятся, например, такие распоряжения: о незаздании в приказах с 24 декабря по 8-е января; о клеймении преступников, подвергшихся вторичному наказанию и ссылке, буквою В; о запрещении извозчикам стоять в Кремле с лошадьми, и пр. (II, стр. 356—357).

Правда, что Пётр и в это время не оставался в праздности. Напротив, он сам с удовольствием упоминает не раз в своих письмах, что он трудится неутомимо. Ещё в 1689 г. он писал к матери из Переяславля: «сынишка твой, в *работе пребывающий*, Петрушка, благословения прошу» (Устр., II, стр. 401). В 1695 г. он писал к Ромодановскому, из похода под Азов: «чаем за ваши многие и тёплые молитвы, вашим посланием, а *нашими трудами и кровью*, оное совершить». В том же году из-под Азова писал он Винусу: «в марсовом ярме непрестанно труждаемся» (II, стр. 420). В одном письме к Ромодановскому говорит он, что не писал долго потому, «что был в непрестанных трудах». В 1696 г. из Воронежа Пётр писал Стрешневу: «а мы, по приказу божию к прадеду нашему Адаму, в поте лица своего едим хлеб свой». В это время Пётр уже трудился над сооружением флота, и очевидно, что своей работе он уже придавал смысл гораздо важнейший, нежели значение простой потехи. Это понимали и окружающие его, не только он сам. В ответ на письмо Петра о прадеде Адаме, Стрешнев отвечал:

«Пишет ваша милость, что пребываете, по приказанию божию к прадеду нашему Адаму, в поте лица своего кушаете хлеб свой: и то ведаем, что праздни николи, а всегда трудолюбно быть имеешь, и *то не для себя, а для всех православных христиан*» (стр. 423).

Но повторяем—мысль о том, что Пётр трудится для блага общего, является определённым образом, как у его приверженцев, так и у него самого, только со времени азовского похода. Даже самая лесть царедворцев, которой не могло не быть и при Петре, становится отважнее и размахистее только с этого времени. По взятии Азова, Ромодановский писал уже к Петру таким образом:

«Вем, что паче многих в трудах ты, господине, пребываешь и нам желаемое исполняешь, и по всему твоему делу мнил ты быть подобна многим верую к богу, яко Петра, мудростию — яко Соломона, силою — яко Сампсона, славою — яко Давида, а паче, что лучшее в людех, чрез многие науки изобретается и чрез продолжные дни снискательства их, то в тебе, господине, чрез малое искание всё то является, во всяком полном исправном том виде» (Устр., прилож. к II тому, II, 65).

Таким языком не решались говорить с Петром до азовского похода даже придворные его времени. Видно, и они понимали, что ещё не время придавать занятиям Петра государственное значение... Тем страннее было бы, если бы позднейший историк стал находить в них глубокие идеи и намерения для блага государства. Так можно было рассуждать только до тех пор, пока факты скрывались под спудом и не были достаточно разъяснены. Теперь материалы, обнаруженные г. Устряловым, несомненно доказывают, что труды первых лет правления петрова, большую частью механические и потешные, служили для него особым родом развлечения, любимым упражнением и только; или он, по собственному выражению, *тешил охоту* свою. Притом же труды эти нередко сменялись различными увеселениями и отдыхами в кругу друзей. О характере этих увеселений даёт понятие следующее описание, представленное г. Устряловым (т. II, стр. 131—132):

«Бывали дни, когда Пётр покидал все свои работы и с товарищами своих трудов предавался шумному веселию. Он зывал свою компанию обыкновенно к Лефорту, которому впоследствии выстроил великолепные палаты на берегу Яузы, иногда ко Льву Кирилловичу Нарышкину в Фили, к князю Борису Алексеевичу Голицыну, к Петру Васильевичу Шереметеву, к генералу Гордону, и веселился далеко за полночь, с музыкою, танцами, нередко при залпе орудий, расставленных вокруг дома, где пировала царская компания.

Председателем пиршества всегда был прежний учитель царя, думный дяк Никита Моисеевич Зотов, прозванный «князь-папою, патриархом Пресбургским, Яузским и всего Кокуя». Он строго наблюдал за исправным осушением кубков и собственным примером поощрял собеседников к бою с Ивашкою Хмельницким, врагом невидимым, но лукавым и опасным, проявлявшим свою силу тем, что одни из гостей засыпали на месте и ночевали у хозяина, другие с трудом добирались до своих домов, и, как например Гордон, едва в трое суток могли оправиться.

Здрав и невредим бывал один царь, которого на другой день восходящее солнце находило уже за работою. Он был душою пирующих, придумывал замысловатые потехи, обходился со всеми запросто, дружелюбно, не сердился за прекословие; но не любил ни упорного противоречия, ни упорной лести; в особенности не терпел, если хвалили невежество, порицали науку, искусство, или его друзей, и часто одно досадное или неуместное слово воспламеняло его таким гневом, что среди самого жаркого разгула собеседники умолкали и приходили в трепет. В подобных случаях один Лефорт мог успокоить взволнованного царя. Чрез несколько минут мрачное чело его пряснялось, гроза утихала, и все принималось за круговую чашу, при громе орудий, потрясавшем палаты пирующих.

Особенно весело проводил он святки и масленицу. На святках, сопровождаемый всею компаниею своею, человек до 80 и более, под именем славельщиков, он посещал бояр, генералов, богатых купцов, славил Христа, принимал дары и веселился по несколько дней сряду. На масленице непременно спускал блестящие фейерверки, которые всегда сам устраивал, собственными руками изговоря на потешном дворе ракеты, звёзды, колёса, шутихи, огненные картины».

Г. Устрялов весьма неопределённо говорит о том, как часто совершались празднества, «обеды и прочие увеселения Петра. *Бывали дни*, говорит он, и это выражение как будто намекает на то, что такие дни бывали не часто. Однако же дальнейшее изложение г. Устрялова ясно показывает, что всё пятилетие 1690—1694 г. было почти непрерывным рядом военных и морских потех, сопровождавшихся обыкновенно торжественными увеселениями. Пётр принял правление в октябре 1689 г. В январе и феврале 1690 г., по свидетельству Гордона, он уже спускал фейерверки; с весны начались военные потехи и манёвры, при которых между прочим Пётр был опалён взрывом какой-то гранаты. Лето пролежал он больной, осенью возобновил манёвры, а зимой опять работал над фейерверками к рождеству и масленице. Весна и лето 1691 г. посвящены были манёврам и приготовлению к примерной битве, которая и разыграна была в октябре и заключена весёлым пиром. Осень и зиму Пётр разъезжал из Москвы к Переяславлю-Залесскому, где строились у него новые суда. С весны 1692 г. принялся он за спуск этих судов и, не довольствуясь присутствием при этом торжестве своей любимой компании, призвал в Переяславль и цариц: мать и жену свою. В августе прибыли они сюда из Москвы, и 14 августа был обед на адмиральском корабле с церемониею. Через неделю потом праздновали спуск корабля, и тут уже начались непрерывные пиршества. Царица Наталья Кирилловна отпраздновала здесь день своего тезоименитства и уже в начале сентября отправилась в Москву, — не совсем однакож здоровая. Пётр оставался ещё некоторое время в Переяславле, потом возвратился в Москву и сам захворал кровавым поносом, «от чрезмерных трудов и, вероятно, от излишних пиршеств», по замечанию историка (т. II, стр. 144). Болезнь его продолжалась до рождества и возбудила серьёзные опасения. Тут-то именно некоторые из любимцев Петра запаслись лошадьми, чтобы при первом известии о смерти его бежать из Москвы.

«Но провидение сохранило Петра для России», продолжает его историк. «Около рождества он стал поправляться и в конце января, ещё не совсем, впрочем, здоровый, разъезжал по городу, созывая гостей, в звании шафера, на свадьбу немецкого золотых дел мастера, распоряжался на свадебном пире и беспрестанно потчевал гостей напитками; сам однако же пил мало».

На масленице Пётр, по обыкновению, спустил фейерверк, им самим изготовленный, и заключил его «роскошным ужином, который продолжался до трёх часов пополуночи». Весну 1693 г. Пётр провёл в кораблестроении, в июле отправился в Архангельск. Здесь прожил он до половины сентября, поджидая прихода иноземных кораблей, плавая в Белом море и знакомясь с иноземцами, жившими в Архангельске. Г. Устрялов говорит, что Пётр в Архангельске «охотно принимал приглашения иностранных купцов и корабельных капитанов на обеды и вечеринки, и с особенным удовольствием проводил у них время за кубками вина заморского, расспрашивая о житье-бытье на их родине» (Устр., т. II, стр. 158). Посещал он также и архиепископа архангельского Афанасия, с которым, по сви-

детельству «Двинских записок», рассуждал также «о плавании по морям и рекам, кораблями и другими судами, со многим искусством». В октябре 1693 г. Пётр возвратился в Москву и занялся приготовлениями к новому морскому походу в Белое море, назначенному следующею весною.

«А между тем весело и шумно проводил вечера в кругу своей компании, нередко далеко за полночь (Гордон: 5 ноября 1693 г. веселились у Лефорта до 6 часов утра), пировал на свадьбах в Немецкой Слободе у офицеров, купцов, разного звания мастеров» (т. II, стр. 160).

В январе 1694 г. скончалась мать Петра. Смерть её сильно поразила Петра, и горесть его была столь же порывиста, как и все его ощущения и стремления. «Трое суток он тосковал и горько плакал; в четвёртые был уже спокойнее, провёл вечер у друга своего Лефорта с компаниею; в следующий день—тоже, и принялся за дела». Весною он решился опять отправиться в Архангельск и заранее писал туда к Апраксину, прося его, между прочим, «пива не забыть». Отправился он туда в апреле, «после прощального обеда, данного Лефортом, и на котором пропировали *от полудня до полуночи*». Из Архангельска ездил он в июне—поклониться мощам соловецких чудотворцев, и на пути чуть не был разбит бурей. Вследствие этого—возвращение его из столь опасного путешествия было празднуемо в Архангельске несколько дней весёлыми пирами.

«Сначала пригласил к себе Петра на обед со всею компаниею капитан английского корабля, причём, по словам Гордона, не щадили ни вина, ни пороха. Через день потом Пётр был на именинном пире у Тихона Никитича Стрешнева; от него отправился на яхту *Св. Пётр*, назначенную в тот же день для контр-адмирала Гордона и, повеселившись у него на новосельи, вечер и всю ночь до двух часов утра провёл у адмирала; а в следующий день был на большом пиру у воеводы Ф. М. Апраксина».

Вскоре потом Пётр праздновал день своего ангела (29 июня); обеденный стол был в царских палатах, а вечер провёл Пётр у английского капитана Джона Греймса, который угостил гостей своих на славу. Через несколько дней потом праздновали спуск нового корабля; тут угощал всех весёлым и продолжительным пиром вице-адмирал Бутурлин. Спустя десять дней потом, торжествовали прибытие голландского фрегата. «Торжество было неописанное; вся компания собралась на корабль и веселилась на нём долго». В самый разгул пиршества, прибавляет г. Устрялов, Пётр хотел поделиться радостью со своими отсутствующими товарищами, и кратко известил их письмом о прибытии фрегата. «Пространнее буду писать в настоящей почте, заключает Пётр это письмо; а ныне обвеселяся, неудобно пространно писать, паче же и нельзя: понеже при таких случаях всегда Бахус почитается, который своими листьями заслоняет очи хотящим пространно писать». По возвращении из Архангельска, Пётр опять *тешился* в Москве кожуховским походом, который, по обычаю, заключён был большим пиром. Это было в октябре 1694 г. Вскоре после того задуман был азовский поход, и потехи Петра уступили место действительным, серьёзным трудам и военному опыту.

Мы сделали это коротенькое извлечение из нескольких глав второго тома г. Устрялова, чтобы показать, чем наполнено было это пятилетие, в течение которого историк замечает полное отсутствие государственной деятельности в молодом царе. После нашего извлечения для читателей понятнее будет и следующее замечание, сделанное г. Устряловым относительно бездействия Петра в это время.

«Очевидно, — говорит он, — царь ещё малоопытный в искусстве государственного управления, исключительно преданный задушевным мыслям своим, предоставил дела обычному течению в приказах, и едва ли находил время для продолжительных совещаний с своими боярами; нередко он слушал и решал министерские доклады на пушечном дворе» (II, стр. 133).

Заметим, что здесь под *задушевными мыслями* Петра разумеются, конечно, не государственные идеи преобразования, а страсть к военному и особенно к морскому делу. Страсть к морю, действительно, является в это время у Петра уже в сильной степени развития. Для неё он позабывал всё, ей он отдавался с тем увлечением и пылкостью, которые вообще отличали его стремительную натуру. Беспреданно ездил он в Переяславль, и даже в Москве работал над судами. На спуск корабля призвал он из Москвы мать и жену; смотреть на корабли отправился он в Архангельск. И уж оттуда ничем нельзя было его выманить. Напрасно мать посылала ему письмо за письмом, прося поскорее возвратиться. «Прошу у тебя, света своего, писала она, помилуй родшую ты, — как тебе, радость моя, возможно, приезжай к нам, не мешкав...» «Сотвори, свет мой, надо мною милость, приезжай к нам, батюшка мой, не замешкав. Ей-ей, свет мой, велика мне печаль, что тебя, света моего — радости, не вижу». Пётр не внимал мольбам скорбящей матери, непременно хотел дожидаться кораблей, и отвечал ей успокоениями, вроде следующего: «о единой милости прошу: чего для изволишь печалиться обо мне? Изволила ты писать, что предала меня в паству матери божией; и такого пастыря имеючи, почто печаловать?» Столь же равнодушен был Пётр в это время и к другим обстоятельствам, выходящим из круга морского и военного дела. Так, в 1694 г. в Архангельске, получивши от Винниуса известие о том, что в Москве много было пожаров в отсутствие царя, Пётр ответное письмо своё начинает известием о новом корабле, который спущен и «марсовым ладаном окурен; в том же курении и Бахус припочтен был довольно. О сколь нахалчив ваш Вулканус! продолжает он потом. Не довольствуется вами, на суше пребывающими, но и здесь, на Нептунусову державу дерзнул, и едва не все суда, в Кончукорьи лежащие, к ярмонке с товары, все пожёг; обаче чрез наши труды весьма разорён... Шутливый тон письма показывает, что, под влиянием радостного впечатления от спуска корабля, Пётр вовсе не принял к сердцу известия о московских пожарах. Он и упоминает о них как будто только для сближения мифологических имён, рассеянных в его письме.

Но и этого мало: предаваясь своей страсти к кораблям, Пётр готов был пожертвовать для неё даже серьёзными политическими интересами... Так в начале 1692 г. он, с 16-ю учениками своими, отпра-

вился в Переяславль, и, заложивши там корабль, не хотел возвратиться в Москву даже для торжественного приёма персидского посланника. Министры его, Лев Кириллович Нарышкин и князь Борис Алексеевич Голицын, нарочно должны были ехать в Переяславль, чтобы убедить Петра в необходимости обычной аудиенции, для избежания ссоры с шахом. Пётр поехал в Москву, но через два дня после приёма посла, опять усакал к своим кораблям (Устр., II, стр. 142).

Немудрено поэтому, что в делах внешних историк замечает то же бездействие, как и во внутренних. Постоянная опасность России со стороны крымских татар не возбуждала ни малейшего внимания Петра.

«Вопреки настоятельным требованиям польского короля, — говорит г. Устрялов, — подкрепляемым просьбами цесаря, Пётр тщательно уклонялся от решительных предприятий против крымских татар, невзирая на то, что, озлоблённые походами князя Голицына, они не давали нам покою ни зимою, ни летом, и довольствовался только охранением южных границ, поручив защиту их Белгородскому разряду, под начальством боярина Бориса Петровича Шереметева» (II, стр. 133).

Мало того, Пётр даже почти соглашался примириться на условиях Бахчисарайского договора, и только условие о платеже ежегодной дани хану его удерживало (Устр., II, стр. 219). А между тем вспомним, как он был разгневан на Голицына за неудачу крымских походов...

Г. Устрялов полагает, что «главною виною нерешительности Петра в этом случае было намерение его прежде всего изучить военное искусство во всех видах его, чтобы тем надёжнее вступить с врагами в борьбу на море и на суше» (т. II, стр. 190). Но едва ли можно принять это объяснение во всей его обширности. Без всякого сомнения Пётр, как и всякий человек с здравым смыслом, понимал, что войско нужно для войны. Нужна замечательная степень тупоумия для того, чтобы полагать, что войско составляет лишь блестящую, парадную игрушку, которую война может только испортить. Пётр, конечно, этого не думал. При всём том, сказать, будто он пять лет не обращал внимания на внешние государственные отношения *намеренно*, имея в виду приготовление хорошего войска для борьбы с врагом, — сказать это, по нашему мнению, нет никакого исторического основания. Мало того, желая такою оговоркою как бы прикрыть временное бездействие Петра, мы тем самым оказали бы плохую услугу защищаемому делу. Последствия показали, что в течение времени от 1690 до 1695 г. для образования войска и даже для развития морского дела в России сделано было весьма мало, почти ничего не сделано. Если бы Пётр заботился об этом, и заботился до того, что пренебрегал из-за этого важнейшими дипломатическими отношениями, то неужели бы он допустил столько неисправностей и недостатков, сколько их обнаружилось при азовском походе, первом серьёзном деле, предпринятом Петром? Мы видим впоследствии, как Пётр умеет входить во всё, обо всём заботиться, все предусматривать и устраивать заранее в тех делах, на которые он уже решился. Ничего

похожего не встречаем мы до азовских походов. Видно, что до этого времени военные занятия и потехи Петра на море и сухом пути были ещё только *личною* его страстью, с которою не соединялось пока никаких определённых замыслов. Сам Пётр нигде ни одного намёка не делает на то, чтобы он уже имел в виду государственные цели, упражняясь в строении кораблей, изготовлении фейерверков и учреждении примерных битв.

«Несколько лет *исполнял я охоту свою* на озере Переяславском, — пишет он в предисловии к Морскому Регламенту, — но потом оно мало показалось; то ездил на Кубенское; но оное ради мелкости не показалось. Тогда стал проситься у матери, чтобы видеть море. Она не пускала сначала, но потом, *видя великое моё желание и неотменную охоту*, и нехотя позволила».

После того, насмотревшись на голландские и английские корабли, Пётр, по собственным словам его, всю мысль свою уклонил для строения флота, и *«когда за обиды татарские учинилась осада Азова, и потом онный счастливо взят, по неизменному своему желанию, не стерпел долго думать о том, — скоро за дело принялся»* (Устр., т. II, прил. I, стр. 400). Ясно, что первая мысль о флоте мелькнула у Петра только при виде иностранных кораблей в Белом море, т. е. в сентябре 1693 года. Окончательно же определилась она после похода под Азов. До тех пор это была просто *охота* к мореплаванию, не имевшая в виду ничего, кроме большего и большего простора себе.

То же надобно сказать и про сухопутное военное дело. Пётр сам ясно засвидетельствовал в письме к Апраксину пред азовским походом, что потешные занятия были для него просто игрою.

«Хотя в ту пору, как осенью, пишет он, — в продолжении пяти недель трудились мы под Кожуховым в Марсовой потехе, — *ничего, кроме игры, на уме не было*, однакож эта игра стала предвестником настоящего дела» (Устр., II, стр. 219).

Невозможно прямее и резче опровергнуть все возгласы, которые делаются опрометчивыми панегиристами о великих замыслах и планах, какие Пётр соединял будто бы с потешными занятиями. *«Ничего кроме игры, у меня на уме не было»*, говорит он им просто и строго, в полном сознании, что для дел его не нужно лстивых украшений, придуманных досужим воображением. Когда он занят *игрою*, он не боится признаться в этом: настанет у него время и для серьёзного дела. В это-то время и игра обратится для него на пользу, которой он прежде и сам не предполагал.

Но и независимо от признания самого Петра, мы имеем фактическое свидетельство касательно состояния военного дела в России под конец первого пятилетия Петрова царствования. Свидетельство это представляется нам в первом азовском походе. Поход этот принят был без дальних рассуждений. Совещание о нём происходило на пушечном дворе. Пётр, пред началом похода, выражался о нём в письме к Апраксину таким образом: «шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть едем». С собою Пётр взял 31 000 войска,

состоявшего из новых полков и из стрельцов московских, а на Крым, по его повелению, «поднялась огромная масса ратных людей, наиболее конных, старинного московского устройства, в числе 120 000 человек». Под Азов вперёд всех отправили Гордона с стрельцами сухим путём. Рассчитывали, что дойдёт он в три недели; но состояние дорог было таково, что путь продолжался два месяца. Через Северный Донец нужно было, например, построить мост для переправы войска; он был изготовлен весьма нескоро «по лености, непослушанию и нерасторопности стрельцов», как замечает Гордон. Сам Пётр отправился водою с Лефюртом и Головиным. От самой Москвы плыли на судах по Москве и Оке; путь этот был не совсем удачен. Во время плаванья погода была бурная, а суда оказались никуда негодными, да и кормчие—тоже. Несколько раз садились они на мель и многие так повредились, что едва могли дойти до Нижнего. Плавание так было беспорядочно, что иные суда, по словам самого Петра, тремя дням отстали, да и то *в силу пришли*. Всё это было от небрежения глупых кормщиков, «а таких была большая половина в караване», прибавляет Пётр (т. II, стр. 410). Дальнейший поход был совершён не лучше. От Царицына войска шли степью, с необыкновенными затруднениями. Изнурённые уже солдаты должны были трое суток везти на себе орудия, снаряды и тяжести, потому что при войске находилось не более 500 конных, и вовсе не было ни артиллерийских, ни обозных лошадей. К довершению всего в Паншине (казачий городок) обнаружился недостаток продовольствия, «от неисправности московских подрядчиков, которые вовсе не заботились о своевременной поставке запасов; соли не было ни фунта» (Устр., II, стр. 230).

С такими-то приключениями добрались кое-как до Азова. Здесь Пётр расположился «на молитвах святых апостол, яко на камени утвердися», по его выражению. Но уже при самом расположении войска оказалось, как оно ещё плохо. Едва только Гордон с своим дивизием успел занять назначенное ему возвышение, как турки открыли огонь и бросились на нашу конницу, которая тотчас же обратилась в бегство, впрочем, была поддержана пехотою. Историк прибавляет: «летевшие ядра так испугали людей командных и даже полковников, что они просили своего генерала укрепиться шанцами». Гордон с трудом удерживал людей от малодушного бегства. В таком положении три дня дожидаясь прибытия на позицию дивизий Лефорта и Головина. Что же их задержало? То, что у них не было повозок и телег, и потому, чтобы они могли подняться, нужно было привезти им повозки из Гордонова лагеря, что посреди многочисленной неприятельской конницы исполнить было довольно затруднительно.

Пётр и Гордон действовали неумоимо; казаки отличались храбростью. Последние много подвинули вперёд дело осады, овладевши двумя турецкими каланчами, в трёх верстах выше Азова, на обоих берегах Дона. Но масса войска не стала от того лучше. На другой день после взятия каланчей, турки привели в ужас русских, напав на них в то время, как они *отдыхали после обеда*,—«обычай, которому

не изменяли ни дома, ни в стане военном», по замечанию историка. Гордон пишет при этом: «стрельцы и солдаты, испуганные нападением, рассеялись по полю в паническом страхе, какого я в жизнь мою не видывал». Следствием этого страха было занятие турками нашего редута, который, впрочем, потом отбит был новыми подоспевшими полками. Гордон предлагал много мер для лучшего успеха осады, но его не слушали и поступали так, что всё как будто бы шутили. Даже и на деле оставляли Гордона без подкрепления, так что однажды часть отряда Гордона спасена была только внезапным отступлением чем-то обманутых турок. «Это неожиданное отступление, замечает Гордон, спасло нас от большой беды: отряд наш, бывший на другой стороне, не имел никакой защиты, кроме рогаток». Наши генералы заметно скучали и трусили ратного дела. В конце июля они посылали даже письмо к паше, «пытаясь склонить его к сдаче города предложением ему *выгодных условий*», неизвестно каких... Паша не согласился.

Наскучив осадой и потеряв надежду склонить пашу *выгодными условиями*, заговорили о штурме. Гордон много спорил, доказывая, что штурм предпринимать ещё рано. Его не слушали; сам Пётр решился на штурм. Кликнули охотников, обещая рядовым по 10 рублей за каждое взятое орудие, офицерам—особое награждение. Вызвалось 2 500 охотников из казаков. В полках же солдатских и стрелецких—*охотников не оказалось*. В подкрепление охотникам назначено было по 1 500 человек из каждой дивизии. Между охотниками мало было офицеров, да и те были—или по неопытности слишком самонадеянны, или очень унылы. На приступ отправились без лестниц и фашинов. Во время самого приступа колонна стрельцов, назначенная в помощь штурмующим, расположилась в садах и спокойно смотрела на усилия своих товарищей. Оттого приступ, конечно, не удался. Русские в четырёх полках потеряли 1 500 человек; урон турок простирался только до 200...

После неудачного приступа снова принялись за осадные работы. Но они шли крайне плохо. В особенности у Лефорта ничего не было сделано, вследствие его беззаботности и неискусства инженеров. Лефорт вовсе не заботился даже об устройстве коммуникационных линий с лагерем Гордона, для взаимной обороны. Минные галлерей, начатые им, неприятели открывали и разрушали. Гордон также повредил собственные работы, взрывая неприятельскую контр-мину. В дивизии Головина молодой инженер (кажется, Адам Вейде) объявил, что он подрывал под самый фланг бастиона, и что нужно сделать взрыв. Военный совет решил: взорвать подкоп и, как скоро обрушится крепостная стена, занять пролом ближайшими войсками. Взорвали подкоп. «Брёвна, доски, камни взлетели на воздух и всею тяжестью обрушились на наши траншеи, где перебили 30 человек, в том числе двух полковников и одного подполковника, да человек сотню изувечили. Стена же крепостная осталась невредимою».

Как последнее средство, хотели испытать ещё приступ, и для большего успеха решились начать штурм тотчас по взрыве мин, заложенных против крепости, в самом центре. Приступ назначен был

общий со всех сторон, с сухого пути и с Дона. Напрасно Гордон толковал о бесполезности нападения с речной стороны, приводя весьма основательные соображения; его не послушали, и на его возражения отвечали какими-то тёмными надеждами. При самом распределении войск для атаки сделали странную ошибку. Казаков, уже столько раз показавших своё мужество, оставили для защиты лагеря от предполагаемого нападения татар из степи, а на приступ повели солдат и стрельцов, которые и тут показали, разумеется, не больше храбрости, чем прежде. Второй штурм окончился так, как и следовало ожидать. Взрывом мин повредило часть бастиона, но едва ли не больший вред нанесло самим русским. «Взлетевшие на воздух камни обрушились, как и прежде, на наши апроши, где задавили полковника Бана, несколько офицеров, много нижних чинов и до 100 человек переранили». На приступ шли опять без лестниц; весь бой шёл вяло и не единодушно. Отряд Лефорта, которому велено было развлекать силы неприятеля нападением на укрепления, ближайшие к атакуемым, главными силами, подошёл к ним и, видя, что тут нет пролома и даже ров не засыпан, счёл за лучшее присоединиться к Гордоновым стрельцам, шедшим в пролом стены. Прочие же войска ограничивались одним видом нападения и ждали, когда другие проложат им путь в город. Заметив это, турки все свои силы сосредоточили у пролома, прогнали солдат с вала, потом выпустили на русских 400 яростных янычар. Стрельцы, при виде их, тотчас же побежали, не дожидаясь нападения, и остановились на внешней части вала, откуда скоро были опрокинуты в ров. Гордон ударил отбой... Второй и третий приступ были столь же безуспешны. Солдаты шли неохотно и не умели держаться против неприятеля. Потерявши множество народу, принуждены были, наконец, отказаться от всякой надежды завладеть Азовом на этот раз. Через день после второго штурма решено было—снять осаду Азова. Трофеи наши на этот раз состояли в одном турецком значке, да в одной железной пушке.

Отступление совершилось с бедствиями и затруднениями, ещё худшими, чем первый путь до Азова. В степи беспрестанно тревожила отступавших татарская конница, и Гордон, бывший в арьергарде, едва мог сохранять хоть какой-нибудь порядок в своих полках. Один полк, бывший под начальством Сверта, отстал; татары напали на него, разбили совершенно и взяли в плен самого полковника с несколькими знамёнами. Весь арьергард пришёл от этого в большое смущение; поддержал порядок один Бутырский полк. За Черкасском неприятель более не преследовал отступающих; но тут начались морозы и выюги. Войска шли безлюдной и обгорелой степью; люди и лошади гибли от голода и холода. Через месяц после удаления армии проезжал по следам её Плейер, цесарский посланник, и он говорит, что не мог видеть без содрогания множества трупов, разбросанных на пространстве 800 верст и пожираемых волками... Через два месяца, уже в конце ноября, полки вступили в Москву, впрочем, с торжеством. В знак победы, конечно, «пред царским сикклнтом вели турченина, руки назад; у руки по цепи

большой, вели два человека». Этим [жалким] подобием победного триумфа Пётр отдавал ещё последнюю дань своим прежним потехам. Но на *таком* триумфе он не мог успокоиться.

Азовские неудачи многому научили Петра, на многое заставили его смотреть совсем иными глазами. Он не мог не заметить недостаточности и легкомысленности того, чему прежде предавался с страстным увлечением. Поход под Азов был отчасти также плодом увлечения, пробой воинской игры с настоящим неприятелем. Но проба эта обошлась дорого и была решительно неудачна. Причиною неудач было именно то, что до начала войны не позаботились ни о чём, что необходимо было для успеха. Ни о средствах сообщения, ни о продовольствии, ни об артиллерийских и инженерных принадлежностях, ни о способных офицерах, ни о внушении воинского духа всему войску, ни о порядочном устройстве полков,—ни о чём не подумали. С первого шага до последнего во всём обнаруживалось крайнее неустройство, беспорядок, слабость, невежественные ошибки. Пётр не мог не видеть тут, что нужны перемены быстрые и решительные для того, чтобы сделать что-нибудь для России. Он должен был понять теперь, что успехи и неудачи военные не от ловкого маневрирования зависят, а что для них нужно и кое-что другое. Эта мысль на каждом шагу должна была преследовать его при азовских неудачах. Её должны были ещё более усиливать и известия, получавшиеся из Белгородской армии. Ему писали, что «промысла под Казыкерманом чинить невозможно, затем, что с денежным жалованьем не бывали, и деньги все вышли, да ружья мало». Далее объяснили Петру, что Шереметев жаловался на недостаток «ломовых пушек», т. е. осадной артиллерии, и что те пушки велено ему дать из Киева, но он пишет, «что взять их некогда, время испоздалось». Все подобные известия ясно указывали Петру на необходимость образовать правильную военную администрацию и заботиться о средствах для войны ещё более, нежели о храбрости в битвах. Он понял это и с тех пор образ деятельности его заметно изменяется. Нельзя сказать, чтобы Пётр в это время вполне уже обнял все отрасли государственного управления, вполне и ясно сознал всё, что необходимо было сделать для благоденствия и славы России; но, по крайней мере, относительно военного дела взгляд Петра значительно уяснился и расширился после первого азовского похода. И тут-то мы видим, какая разница между деятельностью Петра, когда она направлена к какой-нибудь определённой цели, как теперь,—и между его же деятельностью, когда она вызвана просто его личными увлечениями, без всяких дальнейших планов, как было с воинскими и морскими потехами Петра до азовских походов. В тех потехах он только изучал технику самых простых и незначительных работ, и физическими трудами, с перемежкой увеселений и пиршеств, как будто заглушал ту безмерную жажду деятельности, которая томила его душу, не находя себе достойного предмета для удовлетворения. Оттого-то он и не приготовил ничего для успешной войны, что не знал и не думал, что выйдет из его потех. Если бы он в самом деле потому только и с турками, и с поляками не хотел

вступать в решительные переговоры, что хотел прежде приготовиться к войне,—то, без сомнения, он действительно и приготовился бы к ней, в течение пяти лет, от 1690 до 1694 г. А между тем мы видим, что приготовлено ничего не было и что в полгода, прошедшие от первого азовского похода до второго, сделано было больше, нежели в те пять лет. Таким образом и здесь ясно становится, как Пётр увлекаем был силою событий, как он постепенно вразумляем был фактами, совершавшимися пред его глазами, и как его стремления раскрывались и расширялись всё более и более, по мере того, как явления жизни указывали ему на новые государственные потребности, которым нужно было удовлетворить. Решимость удовлетворить этим потребностям во что бы то ни стало и составляет главную его заслугу. Не нужно, впрочем, думать, чтобы Пётр разом, одним гениальным воззрением охватил все отрасли государственной деятельности и тотчас же после азовского похода составил полный план преобразования. Вовсе нет. Мы видим, что, оставляя пока в стороне многие важнейшие государственные вопросы и настоятельные потребности России, Пётр обратился на этот раз только ещё к тому, что всего прямее и непосредственнее связано было с предыдущими событиями и что всего более согласовалось с его собственными, личными наклонностями. Прежде всего Пётр обратил внимание на то, что могло способствовать усовершенствованию военного дела и созданию морской силы нашей. Опираť всю силу государства на войске было свойственно тому времени, когда высшие понятия о благе и величии народов не были ещё выработаны. Поэтому несколько не удивительно, что и Пётр прежде всего позаботился о войске, оставив на это время без внимания другие интересы страны. Ещё понятнее забота Петра о флоте, так как мы знаем, что страсть к морю была одною из сильнейших и постояннейших страстей его. Мысли свои вообще о военной силе очень ясно высказал Пётр несколько позже, в указе о призыве иноземцев в Россию, 1702 г. В указе этом Пётр говорит, что всегда старался «о поспешствовании народной пользы, а для того заводил разные перемены и новости». Перечисливши некоторые из новых учреждений и мер, указ продолжает следующим образом:

«Но понеже мы опасаемся, что такие, учинённые нами расположения не совсем достигли такого совершенства, как мы желаем, и следовательно, подданные наши ещё не могут пользоваться плодами трудов наших в безмятежном спокойствии,—того ради помышляли мы и о других ещё способах, и пр. Для исполнения полезных таких намерений мы *паче всего старались* о том, чтобы военный наш штат, *яко подпору и ограду государства нашего*, как возможно наилучше учредить, дабы армии наши составлялись из людей, *знающих воинские дела и хранящих добрый порядок и дисциплин*»... (см. Туман, Зап., ч. II, стр. 186—190).

Таковы были предположения и мнения Петра даже в 1702 году. Опорой государства считает он войско, и потому *паче всего* заботится о нём; в войске же более ничего не требует, как знание воинских дел, добрый порядок и дисциплин. Учреждение войска с такими качествами считает он *лучшим* средством для ограждения

государства и для поддержания в нём благоденствия. Эта мысль не исчезла в Петре до конца его жизни, но с течением времени она потеряла для него часть своего преобладающего значения. Рядом с нею мало-по-малу возникли в душе Петра мысли и о важном значении других отраслей государственного управления. Не переставая заботиться о войске и флоте, он в последующее время много обращает также внимания и на развитие промышленности в государстве, на финансовые отношения, на лучшее устройство гражданских учреждений,—заводит училища, задумывает академию наук, учреждает синод, и пр. Но теперь пока, пораженный несовершенством войска, он почти исключительно занят делами военными и в особенности сооружением военного флота.

На возвратном пути из первого азовского похода, из степи, близ берегов Айдара, Пётр послал уже грамоту к цесарю римскому, с известием, что он ополчился на врагов христианства, но главной их крепости взять не мог, по недостатку оружия, снарядов, а всего более искусных инженеров. Поэтому Пётр просил цесаря отпустить в Россию нескольких искусных инженеров и минёров. О том же писано было потом и к курфирсту Бранденбургскому. К королю же польскому Пётр обратился с требованием, на основании союзного договора,—одновременных и решительных действий против неприятеля. Это уже показывало, что Пётр теперь не *играть* идёт под Азов, а задумывает серьёзное дело. И действительно, 22 ноября 1695 г. Пётр возвратился в Москву из-под Азова, 27-го вновь сказана ратным людям служба под Азов, а 30-го Пётр писал к двинскому воеводе Апраксину, чтобы всех корабельных плотников немедленно прислать из Архангельска в Воронеж.

«По возвращении от невзятия Азова, пишет он, с консилии генералов указано мне к будущей войне делать галей, для чего удобно мною быть шхиптиммерманам (корабельным плотникам) всем от вас сюды: понеже они сие зимнее время туне будут препроводять, а здесь тем временем великую пользу к войне учинить; а корм и за труды заплата будет довольная, и ко времени отшествия кораблей (т. е. ко времени открытия навигации в Архангельске) возвращены будут без задержания, и тем их обнадёжь, и подводы дай, и на дорогу корм».

В этом письме особенно замечательна серьёзная, обдуманная заботливость Петра о том, чтобы людям, которых вызывал он, было удобно и выгодно отправиться в Воронеж.

Самое комплектование войска происходило теперь не так, как прежде. 13 декабря кликнули клич в Москве, чтобы поступали на службу ратную охочие люди всякого чина. «Охотников нашлось не мало, говорит историк, особенно в господских дворянях, наполненных сотнями холопов праздных и голодных. Крепостные люди толпами стекались в Преображенское и записывались—частью в солдаты, частью в стрельцы. Жён и детей их отбирали от господ и селили в Преображенском» (т. II, стр. 261). Кроме того, Пётр потребовал присылки войск от Малороссийского гетмана и из Белгородской армии. Над всем войском назначен был один главнокомандующий, чего не было в первом походе и что много мешало единству

действий. В декабре же, сделавши распоряжение о заготовлении материалов для постройки судов в Воронеже, Пётр занялся формированием *морского регимента*, который и составил из 4 000 человек, частью вновь набранных, частью переведённых из Семёновского и Преображенского полков. Начиная с марта месяца, Пётр занялся уже почти исключительно постройкою судов.

Г. Устрялов свидетельствует, что и в это время Пётр «ещё не думал о постройке фрегатов и линейных кораблей, вопреки рассказам позднейших историков. Желания его ограничивались гребною флотилиею, галеасами, галерами, каторгами, брандерами» (II, стр. 259). Значит, и здесь у Петра была только *ближайшая* цель: соорудить флотилию, чтобы запереть Азов с моря. Определённая мысль о флоте, как «краеугольном камне могущества России и лучшем средстве открыть России путь в Европу» — явилась ещё позднее. Флотилия Петра состояла теперь из 30 военных судов, сооружённых под его надзором и при его непосредственном участии, в течение марта месяца 1696 года. К половине апреля подошли в Воронеж войска из Москвы, а через месяц Пётр был уже под Азовом. Здесь, с первого же шагу, Пётр мог заметить, что турки рокоуют на море и что на галеры его смотрят не без страха. Немудрено, что это, как предполагает г. Устрялов, убедило Петра в пользе и надобности построить флот, который мог бы плавать по волнам не только азовским, но и черноморским. Впоследствии мы видим, что, при переговорах с турками, Пётр очень добивался дозволения русским кораблям свободного плавания по Чёрному морю.

Под Азовом дела на этот раз шли гораздо лучше, хотя до прибытия цесарских инженеров мы умели только повреждать строения в городе нашими бомбами и ничего не могли сделать укреплениям. Бывали и в самых битвах не совсем удачные попытки, как напр. 24 июня, когда русские, отразив татар, бросились их преследовать, по словам самого Петра, «прадедовским обычаем, не приняв себе оборонителя воинского строю», и оттого потерпели значительный урон. Но всё же теперь было уж далеко не то, что в первой осаде. Только искусство вести осадные работы нам не давалось, несмотря даже на присутствие приезжих бранденбургцев, которые оказались артиллеристами и были искусны только в метании бомб. Не зная, что делать, спросили самих солдат и стрельцов, как им кажется лучше овладеть Азовом. Они сказали, что нужно сделать высокий земляной вал, привалить его к валу неприятельскому и, засыпав ров, сбить турок с крепостных стен.

«Как ни странно было это предложение, напоминавшее осаду Херсона великим князем Владимиром в X столетии, — замечает г. Устрялов (II, стр. 285), — однакоже царский совет принял эту мысль, а Гордон даже с жаром ухватился за неё... Принялись строить вал, и более двух недель постоянно по ночам работали над ним по 15 000 человек... Само собою разумеется, что работы эти не обходились без значительных потерь для нас, а пользы пока приносили мало. Наконец, приехали 11 июля цесарские инженеры, подивились громадности работ наших, но не ожидали от них особенного успеха, а более надеялись на подкопы и батареи. Они дали советы, как вести мины, как ставить батареи, и вскоре меткие выстрелы их разру-

шли палисады, которые тщетно старался разбить Гордон. На ночь 12 июля русские солдаты могли уже занять оставленный турками угловой бастион; через неделю турки не могли более выдерживать нашей пальбы и заговорили о сдаче. На другой день решена была капитуляция. Турецкое войско выпущено с оружием. Пётр занял Азов, предположил построить новые укрепления для него, потом отправился отыскивать в Азовском море место, удобное для гавани будущего флота русского. Место это нашлось близ Таганрога. Вскоре потом войска пошли назад, и через два месяца, 30 сентября, вступили в Москву с торжественнейшим триумфом. Через месяц потом (в начале ноября) решено было Петром устройство *кумпанств* для изготовления кораблей, к апрелю 1698 года. В том же месяце, «многое число благородных послал Пётр в Голландию и иные государства учиться архитектуры и управления корабельного» (Устр., II, стр. 315).

В начале же следующего месяца назначено было и великое посольство в Европу, при котором отправился и сам Пётр с волонтерами, имевшими целью—изучение морского дела. Так действовал Пётр, когда одушевляла его определённая, ясно сознанная идея. Ничто не могло остановить его, ничто не могло отвлечь от задуманного плана. Он не любил долго думать, раздумывать и откладывать, не любил взвешивать трудности и препятствия; он если уж решался, то шёл до конца, несмотря ни на что... «Не стерпел долго думать, скоро за дело принялся», можно повторить о всех его предприятиях.

И вот в этом-то твёрдом и неотступном преследовании своих целей выражается преимущественно величие Петра. Преобразовательные замыслы рождались постепенно один за другим, сами собою, именно потому, что Пётр неуклонно стремился к непременно исполнению каждого задуманного им предприятия. Он непременно хотел преодолеть, устранить или уничтожить всё, что могло мешать ему на его дороге, и воспользоваться всем, что могло способствовать осуществлению его идей. Таким образом, преобразования и нововведения были неизбежны по самому характеру деятельности Петра. Он приходил к ним и тогда, когда не имел далёких замыслов. Так и в путешествии за границу напрасно стали бы мы искать великих и дальновидных замыслов политических. Целью путешествия было ни больше, ни меньше, как изучение корабельного дела. Г. Устрялов так говорит об этом:

«Не безотчётная страсть к иноземному, воспламенённая Лефортом и разгульную жизнь Немецкой Слободы, как говорят одни писатели; не обширное, давно обдуманное намерение, по внушению того же любимца, «оставить царство, чтобы научиться лучше царствовать» и преобразовать Россию по образцу государств европейских, как пишут другие историки; а собственное убеждение, плод светлой, гениальной мысли, что краеугольным камнем политическому могуществу России должен быть флот, увлекало Петра в чужие земли, чтобы с товарищами трудов, с цветом русского дворянства, изучить искусство многосложное, многотрудное, едва знакомое приходившим в Россию иноземцам по одному навыку, без всяких начал теоретических, искусство кораблестроения и мореплавания. Не думал, конечно, любознательный царь ограничить тем своего всеобъемлющего любопытства: ничто полезное, удобоприменимое к русскому народу не могло укрыться от его орлиного взора; но твёрдое, глубокое изучение кораблестроения и мореплавания, во всех видах от ловкой сноровки плотника до геометрической точности мастера, от сметливости штурмана до распорядительности адмирала, вот истинная цель путешествия Петра» (Устр., т. III, стр. 10—11).

Свойственное г. Устрялову краспоречие в этом случае затемняет несколько простую сущность дела; но добраться до неё не трудно при помощи фактов и некоторых замечок, представленных самим же г. Устряловым. Из этих фактов очевидно одно: что, вопреки общему мнению, как замечает сам же историк в другом месте (т. III, стр. 179), Пётр искал за границей единственно средств ввести и утвердить в России морское дело, *едва ли помышляя* тогда о преобразовании своего государства по примеру государств западных. Мы даже можем сказать прямо: *«вовсе не помышляя»*,—основываясь на словах самого Петра в предисловии к морскому регламенту. Вот эти слова, писанные в рукописи не самим Петром, но его рукою поправленные и дополненные.

«Дабы то (т. е. строение кораблей) вечно утвердилось в России, умыслил искусство дела того ввести в народ свой, и того ради многое число людей благородных послал в Голландию и иные государства учиться архитектуры и управления корабельного. И что дивнейше,—*аки бы устыдился монарх остаться от подданных своих в одном искусстве и сам восприял марш в Голландию*, и в Амстердаме на Ост-индской верфи, вдав себя с прочими волонтёрами своими в научение корабельной архитектуры, в краткое время в оном совершился, что подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил» (Устр., т. II, стр. 400).

Вот какое объяснение даёт своему путешествию сам Пётр; ему как будто совестно стало, что подданные изучат то, что он сам не знает, и он сам отправился учиться. В этом обнаруживается высокое стремление, но только стремление не государственное, а чисто личное, проистекавшее не из зрело-обдуманых замыслов и планов, а из стремительной, нетерпеливой натуры Петра. Он просто «не стерпел долго думать» и ждать, пока посланные им люди воротятся из-за границы с новыми сведениями и поведут, как следует, дело строения кораблей. Увлекаемый своей страстью к морскому делу, преданный одной мысли, которая мешала ему спокойно заниматься другими вопросами, он, недолго думая, решился сам *вдаться* в дело, к которому стремились все его помышления. Всё остальное отодвинулось для него далеко на второй план. Вот почему мы думаем, что не только о преобразовании государства, по образцу европейских, Пётр в это время ещё не думал, но даже и мысль «о краеугольном камне политического могущества России» была для него, по крайней мере, не главною побудительною причиною путешествия. Самое отдалённое, самое последнее соображение Петра в это время не простиралось, кажется, далее возможности успешно воевать с турками. Так по крайней мере заставляет думать одно письмо его к патриарху из Амстердама, в котором он говорит:

«Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатию божиею и вашими молитвами, при добром состоянии живы и, последуя слову божью, бывшему к праотцу Адаму, трудимся; что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь, против врагов имени Иисус Христа победителями, а христиан, тамо будущих, свободителями, благодатию его быть. Чего до последнего издыхания желать не престану». (Устр., т. III, стр. 74).

Мысль о войне с турками выражается не раз и в других письмах Петра, и в самых переговорах, которые великое посольство вело с разными дворами. Но такая мысль была обычна нашей политике издавна и не составляла какого-нибудь чрезвычайного, громадного замысла. Что же касается до того, какие надежды и предположения основывал Пётр на удачном окончании войны турецкой,—это нигде им не высказано, и история ничего решительного на этот счёт сказать не может. Составлять великие, гениальные проекты *задним числом* вовсе не трудно для историка; но нужно, чтобы они имели положительное, фактическое основание; а этого-то и нет в настоящем случае. Есть, правда, свидетельство Шафирова, 1716 г., в «Рассуждении о причинах шведской войны», относительно общей цели путешествия Петра; но и это свидетельство нужно признать запоздалым. Шафиров говорит, что Пётр

«побуждён был острым и от природы просвещённым своим разумом и новожелательством видеть европейские политизованные государства, которых ни он, ни предки его, ради необыкновения в том по прежним обычаям не видали, дабы притом, получа искусство очевидное, потом, по прикладу оных, свои пространные государства, как в политических, так и в воинских и прочих поведениях учредить мог, такожь и своим прикладом подданных своих к путешествию в чужие краи и восприятию добрых нравов и к обучению потребных к тому языков возбудить».

Но на такое широкое объяснение г. Устрялов справедливо замечает, что так легко было писать Шафирову через 18 лет после путешествия Петра, когда уже многие полезные перемены были совершены. При этом историк высказывает следующее, вполне справедливое убеждение.

«Мысль преобразовать государство родилась в уме Петра уже за границею, но она ещё долго оставалась неясною, неопределённою, и государственное устройство изменялось постепенно в продолжение всего царствования Петрова, по указанию опыта» (т. III, стр. 492).

Если эту постепенность историк проведёт в продолжение своего труда более последовательно, чем это видим в изданных ныне томах, то последующие томы истории Петра составят явление весьма замечательное...

Что Пётр, отправляясь за границу, удовлетворял просто собственной личной потребности, не руководствуясь в этом деле никакими высшими государственными соображениями, это ясно видно из истории всей его деятельности за границей и особенно в Голландии. Мы не станем передавать, в подтверждение этой мысли, всего подробного рассказа г. Устрялова, но укажем на некоторые частности. Пред отправлением *великого посольства* Пётр составил записку в 12-ти пунктах о том, что главным образом должны иметь в виду послы во время путешествия за границей. Собственноручная записка эта напечатана у г. Устрялова (т. III, стр. 8—10), и в ней ни о чём более не говорится, как о приискании искусных морских офицеров, боцманов, матросов, всякого звания корабельных мастеров, о закупке оружия и разных припасов для флота. Чтобы показать, до каких

подробностей в этом отношении доходил Пётр, приведём следующие статьи из двух последних пунктов.

«Купить гарусу на знамёны, на выпелы, на флюгели, белого, синего, красного, аршин 1000 или 900, всякого цвета поровну, а буде не дорог, и больше. Усов китовых на флюгели 15, коржи на затычки пушек 100 фунтов, а буде дешева 200 или 300; краски жёлтой, также и иных, числом на 15 фрегатов; пил, которыми вдоль трут, 100, а которыми поперёг — 30, по образцам».

Такая обстоятельность инструкции ясно показывает, к чему стремились в это время все мысли Петра, особенно, если мы вспомним, что ни по одному из других предметов подобной инструкции не было дано, между тем как по другим-то предметам они были, вероятно, гораздо нужнее для послов. Ещё более выказываются настоящие побуждения путешествия в самой жизни Петра за границей и в письмах его оттуда. По расчёту времени, из полуторагодового срока путешествия Петра приходится 9 месяцев работ на верфях в Голландии и Англии, пять месяцев на переезды и четыре на остановки в разных городах, особенно Вене, Кёнигсберге и Пилау, по случаю дел турецких и польских. Очевидно, поэтому, что главную роль во всём путешествии играют работы на верфях; всё остальное делается только как бы мимоходом и между прочим. Работы так занимают Петра, что он часто не находил даже времени отвечать на письма и донесения своих бояр. Утомительные физические труды требовали или продолжительного отдыха, или хорошего подкрепления. Иногда Пётр позволял себе и первое, отлучаясь с работ и разъезжая водою по окрестностям, но чаще прибегал к второму средству, веселясь с своими товарищами. В октябре 1697 г. он писал к Виниусу, чтоб тот не тревожился, долго не получая писем, «потому, что иное за недосугом, а иное за отлучкою, а иное за Хмельницким не исправишь» (Устр., III, стр. 428). Чему же учился Пётр, чем он занят был главным образом на амстердамской верфи? Он исполнял все обязанности плотника, обтёсывал брёвна и доски, прилаживал корабельные снасти, исполнял все приказания своего мастера. Около полугода работал Пётр в Голландии и всё научался только тому, «что подобало доброму плотнику знать», по его собственным словам. Уже в конце этого времени захотел он учиться у своего мастера «препорции корабельной». Но тут оказалось, что «в Голландии нет на сие мастерство совершенства геометрическим образом, но точно некоторые принципы, прочее же с долговременной практики». Пётр был, разумеется, крайне недоволен, открывши это обстоятельство, которого он никак не ожидал. «Тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг». Через несколько дней Пётр узнал, что настоящую корабельную науку можно изучить в Англии, и вскоре отправился туда. Здесь слишком два месяца изучал он английскую систему постройки судов, и впоследствии говорил: «навсегда бы остался я только плотником (у Перри—Bungler, плохой работник, пачкун), если бы не поучился у англичан» (Устр., т. III, стр. 108). Голландскими же судостроителями Пётр был так недоволен,

что в декабре 1697 г., ещё до приезда своего в Лондон, 'послал в Москву приказ—всех работавших в России голландских мастеров подчинить надзору и руководству мастеров датских и венецианских. Окольничий Протасьев отвечал на это, между прочим, следующим известием, выражающим довольно ясно его наивное изумление, при получении неожиданного приказа Петра:

«А я заложил было в недавнем времени казённый корабль тем же голландским размером, и ныне слыша о такой их глупости, что они, голландцы, в размере силы не знают, велел им то судно покинуть до приезда от вашей милости мастеров» (Устр., т. III, стр. 91).

Итак, если мы представим себе даже только то, что Пётр работал в Голландии, воодушевляемый идеею выучиться здесь строению кораблей, для создания могущественного флота, то и тогда время, проведённое им на амстердамской верфи, надобно будет считать почти потерянным. Пётр сам ясно выражает, что не стоило за этим ездить в Голландию, что голландцы не умеют строить судов, что им нельзя даже поручить управление работами, не только их брать в наставники и образцы по части кораблестроения. Следовательно, в полгода своего пребывания в Голландии Пётр учился только плотничьей технике корабельного дела. При мысли об этом, необходимо каждому должен представиться вопрос: необходимо ли было Петру, для сооружения флота в России, самому выучиться в совершенстве обтёсывать брёвна, вытачивать блоки, прилаживать доски и проч.? И если этой необходимости не представлялось, то сообразно ли было с характером Петра—так долго останавливаться на ненужных мелочах и частностях, когда его уже неудержимо увлекали соображения и замыслы обширные и ясно им определённые? Мы думаем, что нет. Ведь Пётр не вздумал же, напр., пред вторым азовским походом изучать все тонкости инженерного и артиллерийского искусства, не посвятил целые годы на изучение металлургии, когда обратил внимание на горнозаводское дело, не стал учиться сам шить солдатские кафтаны и шляпы, когда заводил регулярное войско с новой обмундировкой. А умение обтёсывать брёвна, конечно, несколько не важнее для создания флота, чем умение шить солдатские шинели—для учреждения войска с новой обмундировкой. Поэтому мы, кажется, приписали бы Петру слишком много мелочности, если бы предположили, что он мог останавливаться так долго и так внимательно над предметами, столь ничтожными, имея в виду высшие интересы. Можно бы ещё подумать, что Пётр оставался в Голландии единственно вследствие ошибочного мнения об искусстве голландцев. Но ошибка не могла продолжаться так долго, если бы Пётр искал в Голландии именно того, о чём говорят его историки. Через неделю работы он бы непременно потребовал от голландских мастеров тех сведений, которые должны были составлять главный предмет исканий Петра и в которых голландцы оказались так плохи. А между тем мы видим, что Пётр четыре месяца слишком работал как плотник, вовсе, повидимому, не думая спрашивать своих учителей о главных началах кораблестроения. Это обстоятельство в Петре так странно, так несообразно с его пылким,

нетерпеливым характером, с его стремительной любознательностью, так противно его обычаю прямо и быстро следовать к достижению своей цели, не обращая внимания на посторонние обстоятельства,—что пребывание Петра в Голландии только и может быть объяснено отсутствием ещё определённых идей и целей относительно самого флота. Пётр в этом случае увлёкся своей страстью к работе корабельного плотника, страстью, которая в это время была в нём ещё сильнее всяких отдалённых соображений. О силе её свидетельствует, между прочим, и то, с каким нетерпением Пётр рвался к работе. Он узнал, что компания остиндская решила заложить новый фрегат для упражнений царя,—в то время, как был на торжественном обеде. Узнавши это, он немедленно хотел приняться за дело; с трудом уговорили его подождать конца пиршества и фейерверка, приготовленного в честь его. Но едва погасли последние огни, как Пётр стал собираться в Сардам, где оставлены были его инструменты. Напрасно представляли ему опасность ночного плавания, он ничего не слушал, и в 11 часов ночи уехал. В час пополудни был он в Сардаме, уложил свои инструменты, рано утром воротился в Амстердам и принялся за работу. Так неудержимо сильна была в душе его страсть к кораблестроению!.. И страсть эта, несомненная и доказанная фактически, нисколько не уменьшает величия дел Петровых, если мы даже признаем её побудительною причиною некоторых из них, считавшихся прежде плодами каких-то государственных соображений. Повторим здесь, что для истории не столько важно то, что задумывал исторический деятель, как то, что он совершил. Август покровительствовал поэзии потому, что сам писал трагедии; и тем не менее его время было золотым веком римской литературы. Ришелье постоянно мечтал о литературной славе, окружал себя толпой ласкателей, даже не без участия личных литературных видов основал французскую академию; но всё-таки правление Ришелье было временем славы для Франции, и французская академия осталась одним из лучших памятников его правления. Фридрих-Вильгельм устраивал войско по страсти к парадам и рослым солдатам, и однакоже набранное им войско дало его сыну возможность основать величие Пруссии. Да и вообще, если мы допускаем во всех великих людях истории особенные, личные страсти, если мы понимаем в Августе охоту к стихотворству, в Фридрихе—к игре на флейте, в Наполеоне—к шахматам, то отчего же не допустим мы в Петре пристрастия к токарной и плотничьей работе, особенно корабельной, как отчасти удовлетворявшей собою и его страсть к морю? Кажется, в этом не будет ничего странного и неестественного, а между тем только это объяснение сделает нам вполне понятным полугодовое пребывание Петра в Голландии.

То же самое отсутствие необычайных соображений оказывается и в incognito Петра, которое выставлялось каким-то непостижимым чудом у прежних историков. Г. Устрялов очень просто объясняет его желанием Петра избавиться от церемоний и этикетов придворных, которые всегда были для него утомительны. Но притом он вовсе не хотел лишаться тех преимуществ, которые доставлял ему в путешествии высокий сан его. По крайней мере это ясно обнаруживается в

нѣм после неприятностей, которые он потерпел в Риге. Вначале, действительно, Пётр хотел строго хранить своё incognito и, чтобы в Европе не узнали его, употребил даже меру, позволятельную разве только при тогдашнем состоянии понятий о правах частных лиц: он повелел распечатывать все письма, отправляемые из Москвы за границу через установленную почту, и задерживать те, в которых было хоть слово о путешествии царя! (Устр., т. III, стр. 17). Но, на самом деле, русский двор требовал от шведского короля объяснений, зачем Дальберг не оказал должных почестей царю московскому, бывшему в великом посольстве. Дальберг, простодушно принявший, кажется, incognito царя совершенно буквально, отвечал, не без оснований с своей точки зрения, следующим оправданием: «мы не показывали и виду, что нам известно о присутствии царя, из опасения навлечь его неудовольствие; в свите никто не смел говорить о нём под страхом смертной казни». Против этого г. Устрялов замечает:

«Жалкое оправданье! Строгое incognito не мешало герцогу курляндскому, курфирсту бранденбургскому, супруге его, курфирстине ганноверской, высокопочтенным штатам нидерландским, королю английскому, императору римскому, самой цесаревне, — оказывать Петру всё внимание, какого заслуживал он и по своему сану, и по личным качествам» (Устр., т. III, стр. 29).

Действительно, Дальберг оказался недогадливым; но едва ли догадливее его были и те историки, которые слишком строго, à la lettre, принимали incognito Петра. Любопытно, между прочим, как incognito Петра открылось в Сардаме. Здесь все обстоятельства обнаруживают, что Пётр даже и не хотел оставаться для всех неизвестным, а хотел только, чтобы все показывали, что он им неизвестен. По прибытии в Сардам, Пётр купил однажды слив, положил их в шляпу и ел дорогой. На одной плотине пристала к нему толпа мальчишек, и Петру пришла охота подразнить их; одним из них он дал слив, другим не дал и забавлялся, по словам очевидца, радостью первых и неудовольствием вторых (Устр., т. III, стр. 66). Неполучившие слив в досаде начали бросать в него грязью и даже камнями; Пётр укрылся от них в одной гостинице и с гневом велел позвать бургомистра. В тот же день обнародовано было объявление, чтоб никто, под опасением жестокого наказания, не смел оскорблять знатных иностранцев, хотящих остаться неизвестными; в тот же день поставлена была стража на мосту, ведущем к тому дому, где жил царь, потому что он жаловался на толпы, стекавшиеся смотреть на него. Чрез несколько дней толпа окружила его на берегу; Пётр рассердился и дал крепкую пощёчину одному голландцу, стоявшему ближе других и глазевшему на него... Всё это очень мало, конечно, могло согласоваться с incognito и скорее всего обнаруживало голландцам, кто такой появился между ними.

Вообще простоте жизни и бесцеремонности обращения Петра напрасно придают вид какой-то намеренности и рассчитанной подготовленности. Мы видели в прошедшей статье, что к этой простоте подготовило Петра его воспитание, удалившее его с малых лет от при-

дворного этикета и развившее в нём природную живость и стремительность характера. Для русских того времени казалось, конечно, необыкновенным и чудным, что монарх их появляется между ними запросто, как обыкновенный смертный, не окружённый тем азиатским великолепием, с каким постоянно являлись его предшественники. И не только для русских, для всех тогдашних народов Европы было необычайным это явление. Они все привыкли представлять себе царя московитского в каком-то недоступном, таинственном величии, на высоте, недостижимой для подданных, и вдруг они с изумлением видят московитского царя в такой простоте, до какой не нисходил ни один даже из их европейских королей. И вот из этого-то изумления произошло множество толков, старавшихся объяснить простоту Петра различными, более или менее великими и гениальными побуждениями. То говорили, что он хотел этим уничтожить боярскую спесь и нанести последний удар местничеству; то утверждали, что чрез это он хотел лучше вызнать все нужды своего царства; то придумывали даже, что причиною этого было глубокое смирение царя, равнявшего себя с последним из подданных и желавшего возвышаться над ними только своим трудолюбием и заслугами. Всего более странно и противно историческим фактам последнее предположение, делающее Петра из царя московского каким-то идеальным философом. Смирненно сознать ничтожность всех привилегий, даваемых происхождением и случаем, понять, что всякий человек, кто бы он ни был, возвышается только трудом и личными заслугами, убедиться в этом теоретически и постоянно применять своё убеждение на практике—есть, конечно, дело великое. Но как бы ни было прекрасно подобное убеждение, оно может проявиться скорее в деятельности какого-нибудь бездомного Диогена, бесцеремонно обходящегося с Александром, нежели в жизни самодержавного правителя обширного государства. Пётр никогда не был таким отчаянным теоретиком, чтобы предварительно искать принципов для своих действий в отвлечённых идеях о правилах человечества и достоинстве личности. И если бы уже действительно он выработал себе то идеально-смирненное убеждение, которое ему приписывают, то у него, без всякого сомнения, достало бы характера на то, чтобы остаться ему верным до конца и провести его до самых крайних последствий, хотя бы для этого нужно было отказаться от всей своей власти и могущества. Но в том-то и дело, что действия Петра, и в этом случае, как во множестве других, не были заданы отвлечёнными принципами, а происходили прямо и непосредственно из его живой натуры. Ему просто казались стеснительны, тяжелы формы азиатского великолепия, господствовавшие при дворе его предков, ему неловко было подчиняться этому обременительному этикету, и он не стал подчиняться. Для него это было так же просто, естественно и незначительно, как и необычное до тех пор знакомство с немцами, и огненные потехи, и водяные прогулки, с которых началась его страсть к морскому делу. Для него всё это как будто бы так непременно и следовало, по непосредственному ходу его воспитания и развития, а вовсе не по стремлению осуществить какие-то отдалённые, исполинские замыслы, и не вследствие философских убе-

ждений в тех или других отвлечённых принципах. Вся история Петра показывает, что он вовсе не думал никогда предаваться чисто теоретическим созерцаниям и не жертвовал им ни одною минутою практически-полезной деятельности, ни одним сильным стремлением своей страстной натуры. От стремлений этих он никогда не отказывался и требовал им полного простора и удовлетворения, несмотря на всю простоту и снисходительность, которые выказывал в обращении с окружающими. Он сбросил старинные, отжившие формы, какими обладалась высшая власть до него; но сущность дела осталась и при нём та же, в этом отношении. В матросской куртке, с топором в руке, он так же грозно и властно держал своё царство, как и его предшественники, облечённые в порфиру и восседавшие на золотом троне, со скипетром в руках. Горе было тому дерзкому, который среди весёлого пиршества осмелился бы забыть пред Петром: мгновенно пред ним являлся—не весёлый собеседник, а грозный монарх, имеющий над ним власть жизни и смерти. Пётр позволял много своим друзьям, но тем опаснее было выходить из пределов его дозволения. В минуты гнева он не стеснялся ничем, и такова была сила страха, наводимого им, что в такие минуты, по приведённому нами выше свидетельству г. Устрялова, «даже среди самого жаркого разгула собеседники умолкали и приходили в трепет» (т. II, стр. 132). Та же самая нетерпеливость и стремительность постоянно проявляется в Петре и во время его путешествия. Даже самое *incognito* в этом отношении мало озабочивало его, как видно, напр., из истории с мальчишками в Сардаме и с голландцем, получившим пощёчину.

Таким образом, вся, доселе рассмотренная нами по изложению г. Устрялова, деятельность Петра доказывает, что это была натура сильная, необыкновенная, но что, вопреки существующему мнению, не рано проявились в ней обширные государственные замыслы и планы преобразований. Да и в то время, когда уже явились эти планы, они вовсе не имели того характера всеобщности и беспредельности, какой им приписывали некоторые историки. Не все части управления были обняты вдруг, не все преобразования задуманы разом в стройной системе, с ясным распределением, что вот нужно начать с того-то, а затем пойдёт вот это и это. Повторим ещё раз, что подобные распределения хороши и удобны для мыслителя, составляющего проект; но редко удаётся руководиться ими настоящему, практическому деятелю. Тем более трудно было составлять для себя подобные системы Петру, который и по натуре своей не был расположен к этим долгим думам, да и в таком положении находился, что определение заранее программы действий могло только затруднять его.

В сущности, впрочем, простое сравнение тогдашних русских порядков с тем, что Пётр имел случай увидеть за границей, могло послужить ему довольно ясным указанием, на что отныне должна быть устремлена его деятельность. Собственно теоретическая задача была здесь чрезвычайно проста. Что нужно многое переделать и многое ввести вновь, это понимали и до Петра, и в самой России. Из людей же, знавших европейский порядок дел, всякий мог указать Петру на главнейшие нужды русского царства, требовавшие немедленного

удовлетворения. Особенно хитрых соображений тут не нужно было; нужна была гениальная решимость, непоколебимая твёрдость воли в борьбе с препятствиями; неизменное намерение—вести дело до конца. Именно этих-то свойств характера и недоставало предшественникам Петра, которые, однако, понимали необходимость многого, сделанного впоследствии Петром. Ещё при Михаиле Феодоровиче поняло наше правительство, что нужно русским учиться у иноземцев ратному строю, и вызывало иноземных офицеров; при нём же артиллерийские снаряды и людей, способных распоряжаться с ними, выписывали из-за границы. Нужду во флоте чувствовал и Алексей Михайлович, построивший даже и корабль, при помощи иностранных мастеров. Торговля с иноземцами велась издавна, и ещё Флетчер писал, что «цари русские видят в этой торговле средство обогащения для казны» (см. Карамзин, т. X, стр. 146). О торговле заграничной, и именно морской, думали у нас многие, как видно напр. из предисловия к арифметике, относимой Карамзиным к 1635 г. В предисловии исчисляются разные пользы арифметики, чтобы приманить к занятию ею; между прочим говорится:

«По сей мудрости гости *по государствам торгуют*, и во всяких товарах и в торгах силу знают, и во всяких весех, и в мерах, и в земном верстании, и в *морском течении* зело искусни, и счёт из всякого числа перечню знают» (см. Кар., прим. 437 к IX т.).

Что для флота и для торговли нам нужно было море, это понимали даже турки, так твёрдо и неуступчиво в переговорах с нами отстаивавшие исключительно для себя черноморское плавание. Необходимость распространить в народе просвещение, и именно на европейский манер, чувствовали у нас, начиная с Иоанна Грозного, посылавшего русских учиться за границу, и особенно со времени Бориса Годунова, снарядившего за границу целую экспедицию молодых людей для наученья, думавшего основать университет, и для того вызывавшего учёных из-за границы. В последующие царствования мы не видим продолжения его замыслов; но мысль учиться у немцев тем не менее бродила в общем сознании. Кошкин с негодованием говорит о том, что «бояре русские боятся посылать детей своих для науки в иноземные государства» (Кош., IV, 24). Даже в вещах, менее важных в государственном смысле, имевших более частное значение, Пётр имел предшественников, робкими полумерами медленно начинавших то, что он совершил быстро и решительно. Так напр. ослабление строгого заключения женщины в терему мы видим уже при Алексее Михайловиче; вскоре потом громкое фактическое провозглашение прав её сделано Софиею. Так точно введение немецкой одежды уже допущено было Феодором, который сам надел *польское* платье. Введение разных общественных удовольствий, взятых от немцев, началось также при Алексее Михайловиче. Но дело состояло в том, чтобы, начавши, кончить или, по крайней мере, продолжать быстро и решительно. На это недоставало энергии ни у кого, кроме Петра. При первой неудачной попытке предшественники Петра падали духом и не смели продолжать своих усилий; иногда не решались даже и на первую по-

пытку, устрашённые представлявшимися затруднениями. Так Алексей Михайлович перестал думать о флоте, когда сожжён был Разиным первый корабль, им построенный. Так Годунов оставил мысль об учреждении университета с иностранными учителями только потому, что, как говорит Карамзин (т. XI, стр. 53), «духовенство представило ему, что Россия благоденствует в мире единством закона и языка; что разность языков может произвести и разность в мыслях, опасную для церкви». Он же отказался и от продолжения посылки молодых людей за границу, оттого, что первая посылка оказалась неудачною. Пётр был не таков; его ничто не могло отклонить от того, на что он однажды решился. Крепкая воля его умела преодолевать все препятствия. В этом свойстве характера Петра всего более выражается его величие, в таком именно характере и нуждалась Россия того времени.

Отец Петра, Алексей Михайлович, отличался добротою души и любовью ко благу своих подданных. Но он не имел столько энергии, чтобы совершенно избавиться от влияния дурных людей, которые окружали его и обращали во зло его благие намерения. Преемник его Феодор был человек больной и слабый характером, решительно не имевший возможности предпринять упорную борьбу со старым порядком, которого он тоже не одобрял. Вследствие этого в управлении не было единства и твёрдости. Правительство само видело, что дела идут дурно, и не могло энергически защищать существующий порядок дел, против возникавшего повсюду ропота и недовольства. Но вместе с тем оно не решалось предпринять решительной борьбы со стариной и её приверженцами. Ограничивались только кое-какими мерами против злоупотреблений, уже слишком громко вопиявших. Но этого было мало, потому что начало злоупотреблений скрывалось в самой сущности тогдашнего порядка дел, в недостатке свободного развития народных сил, в неразвитости и развращённости людей, которым вверены были начальство, суд и расправа, в общем недостатке образования по всем частям. Изменить такое положение дел нельзя было одним указом, запрещавшим лихоимство, или местничество, или своевольное разорение собственной страны в военное время,—под опасением жестокой казни. Нужно было нанести злу удар более смелый и решительный, мерами более общими и глубокими. Но вот на это-то и не стало сил ни у кого из Петровых предшественников. Имея, конечно, в виду благо своего народа, они постоянно обнаруживали самые полезные и благородные стремления; но эти стремления, обнаруживавшие их прекрасную душу, редко приводимы были в исполнение так, как бы они желали. Сами они не могли непосредственно наблюдать за исполнением, потому что, по обычаю допетровской Руси, стояли в недоступном отдалении от народа; окружавшие же их люди пользовались своею силою и влиянием для своих корыстных целей. Эти люди многое представляли доброму Алексею не в том виде, как бы следовало, и умели отклонять его от многих прекрасных намерений, клонившихся в пользу народа. Это зловредное влияние высших бояр так было явно, что оно не могло укрыться даже от народа. Во время бунта Разина распространён был слух, будто на Дон бежал царевич Алексей, с поручением от самого царя к донским казакам, чтобы они помогли ему, избавиться от коварных

бояр. Слух этот многих привлекал к мятежнику; значит народ знал тягость боярского влияния. Только добрый царь, заботясь о благе подданных, не подозревал, что в своих любимцах имеет самых опасных врагов своих полезных предначертаний. Вследствие этого дела шли всё хуже и хуже, глухое неудовольствие стало разражаться открытыми восстаниями, внутренние беспорядки увеличивались с каждым годом. Непродолжительное царствование Феодора ничего не могло поправить, и когда Пётр принял правление в свои руки, положение России представлялось в следующем виде.

Извне Россия была унижена: она потерпела много неудач в делах с поляками, платила херадж, по нашему *поминки* крымскому хану, потеряла земли при Финском заливе, упустила из рук своих целую половину Малороссии, добровольно подчинившейся. Крымские походы князя Голицына, возвеличенные Софиею, ещё более обесславили русское оружие и заставили смеяться над нами поляков, турок и немцев. Если разобрать причины этого, то оказывается, конечно, что виною всего были неурядицы внутренние. Военное искусство стояло на самой низкой степени. Были призываемы иноземцы, чтобы учить русские полки иноземному строю; но это делалось как-то случайно и небрежно. Очень часто оказывалось, что приезжие иноземцы или сами ничего не смыслили, или не хотели ничего делать и даже во время похода сказывались «*в нетех*». Войска потеряли всякий воинский дух, не будучи одушевляемы никаким сильным чувством, не имея никаких ясных понятий даже о своих обязанностях. Это доказали крымские походы Голицына, и даже позже азовские походы самого Петра. Артиллерийского и инженерного дела не знал никто, до такой степени, что и Тиммерман, проводивший мины во вред нашим же войскам, считался знатоком. Флота, военного или торгового, не было вовсе; не было даже порядочных судов и кормщиков, которые бы умели перевозить по рекам. Торговля заграничная была вся в руках иностранцев, и русские купцы терпели только невыгоды от их монополий. Государственные доходы были невелики; вследствие множества неурядиц и беспорядков, бывших при Алексее Михайловиче и при Софии, везде накопились недоимки; права владения перепутаны и сделались спорными. Указы 1683 г. о возобновлении крепостных актов, истреблённых в майский мятеж в Холопьем приказе; о возвращении владельцам холопей, насильно вынудивших у них отпускные во время мятежа; о сыске беглых крестьян, о возобновлении писцовых книг, и пр., все эти указы мало, как кажется, принесли пользы. Беспорядки продолжались, ничего нельзя было разобрать, казна истощалась; уже во время путешествия Петра за границей, по замечанию историка, «финансы наши были так скудны, что едва могли удовлетворять самым необходимым потребностям» (Устр., т. III, стр. 86). Вся администрация отличалась невежеством и развращённостью. Не только ничего не делали для успокоения умов, но ещё, как бы нарочно, изыскивали средства дразнить их. Известно, что произошло при Алексее Михайловиче от самовластия и лихоимства чиновников, поставленных под покровительство Морозова и Милославского; известно также, какие следствия имел выпуск медной монеты и корыстный

оборот, сделанный при этом богатыми боярами. В прошедшей статье мы видели, какими несправедливостями и насилиями стрелецких начальников подготовлен был первый стрелецкий бунт. Столь же замечательна ревность бояр к раздражению умов в раскольниках, принёсшая столь горькие плоды впоследствии. Мы не касались этого предмета в наших статьях, стараясь следить только за теми событиями из времён отрочества Петра, которые имели заметное влияние на его развитие. Но при общем взгляде на состояние России того времени, необходимо обратить внимание и на тогдашнее положение раскольников, ярко обрисовывающее степень образованности и гуманности тогдашней администрации. Удерживаясь от всяких собственных суждений на этот счёт, мы позволяем себе только выписать одну страницу из первого тома «Истории Петра» г. Устрялова (т. I, стр. 100).

«Принятые царевною меры к искоренению главного зла, раскола, только содействовали к его усилению. После мятежа Никиты Пустосвята, повелено было: раскольников отыскивать во всём государстве и, по мере вины, одних предавать суду духовному, других суду градскому, как преступников государственных. Года через два после того состоялись и указные статьи о расправе с ними: упорствующих в заблуждении предписано пытать жестокими муками, чтобы выведать их учителей, и, если не отстанут от раскола, жечь в срубах, а пепел развезать; жечь в срубах велено и тех, которые перекрещивают младенцев или людей взрослых, именую первое крещение неправым; наказание кнутом и ссылкой угрожало всякому, кто укрывал раскольников или, зная об них, не доносил. Таким образом воздвигнуто было гонение повсеместное; оно принесло горькие плоды: изуверы ожесточились более прежнего; многочисленными вооружёнными толпами нападали на монастыри, целые месяцы отбивались от царских войск; наконец, доведённые до крайности, гибли в пламени зажжённых ими церквей... Грустно читать подобные события, и тем виновнее кажутся тогдашние законодатели, что, без всякого милосердия преследуя несчастные заблуждения ума и совести, сами они платили дань нелепым предрассудкам: главный из них, первый советник и наперник царевны, князь Голицын, верил в волшебство и чародейство...»

Вместе с невежеством и жестокостью, господствовало повсюду казнокрадство и подкупность, ставившие ни во что всякую веру и заклинательства, по выражению Кошихина. В военном управлении—начальники удерживали у подчинённых жалованье, употребляли их на свои работы, заставляли делать на свой счёт вещи, которые положено было давать из казны, и пр. В гражданских судах можно было всего достичь подкупом, и трудно было отыскать честного человека. Так напр. Протасьев, которого Пётр сделал было главным распорядителем сооружения флота, оказался страшным взяточником (Устр., т. II, стр. 307). Лучший из послов дипломатов в первое время правления Петра, Емельян Украинцев, также был известный взяточник. Улики в лихоимстве даже ближних людей Петра бывали и впоследствии, и постоянно приводили его в страшный гнев. Но общая зараза была такова, что даже Пётр не мог искоренить её. Она обнаруживалась не только во внутренних делах, но и во внешних отношениях с иными государствами. Подкуп заменял и воинскую храбрость и дипломатические способности. Вспомним, что русские под Азовом пытались склонить пашу к сдаче города *выгодными предложениями*; при Пруте, уже

гораздо позже, употреблено было то же средство. Польский посланник Нефимонов, бывший там при избрании короля в 1696 г., доносил Петру, что нужно послать в Польшу, по примеру цесаря, «полномочного посла с довольным количеством денег на презенты; поляки же пуще денег любят московские соборы» (Устр., III, стр. 17). Вся вообще жизнь была в тогдашней Руси более удовлетворением животной, грубо-чувственной стороне человека, нежели высшим его интересам. Низшие классы народа находились в бедности, исходом из которой было пьянство и разбой. Высшее сословие погружено было в грубую спесь и роскошь, состоявшую в бездействии, жирном и хмельном столе, да в размашистом разгуле, нередко доходившем также до степени разбоя. Записки Желябужского представляют не мало примеров, что князья и бояре бывали захватываемы на разбое. Какова [была] степень умственного и нравственного развития высших сословий, это мы видели уже в прошедшей статье. В чём проходила их домашняя жизнь, можно видеть из Кошихина. Не лишённую интереса черту представляет в книге г. Устрялова исчисление питий и яств, отпускавшихся царевне Софии, когда она была в *заточении* в Новодевичьем монастыре (т. III, стр. 155).

«Ей, с несколькими её прислужницами, выдавалось *ежедневно*: по ведру мёда приказного и пива мартовского, по 2 ведра браги (а для праздников Рождества Христова и светлого Воскресенья — по ведру водки коричневой и по 5 кружек водки анисовой), по 4 стерляди паровых, по 6 стерлядей ушных, по 2 щуки колодки, по лещу, по 3 язя, по 30 окуней и карасей, по 2 звена белой рыбыцы, по 2 наряда икры зернистой, по 2 наряда сельдей, по 4 блюда просольной стерлядины, по звену белужины, с соразмерным количеством хлеба белого, зелёного, красносельского, папошников, сасек, калачей, пышек, пирогов, левашников, караваев, орехового масла и пряных зелий, в том числе в год: полпуда сахара кенарского, пуд среднего, по 4 фунта леденца белого и красного, по 4 фунта леденцов ражених, по 3 фунта конфект, и т. п.»

На что было определять для царевны такую пропасть съестных вещей, и особенно пива и браги, это уж объясняется только особенностями тогдашней жизни. Зато хлебосольством и славились московские бояре, и спесивы были невероятно своим богатством и породой, хотя самые породистые из них часто, по словам Кошихина, сидели в царском совете «брады свои уставя и ничего не отвещая, понеже царь жаловал многих бояр не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не учёные и не студерованные» (Коших., гл. II, ст. 5).

Этаких-то *нестудерованных* людей приходилось Петру поставить лицом к лицу перед Европою, для которой так просто и естественно, уже и в это время, казалось многое, чего никак не могли сообразить русские царедворцы. Познакомясь с чужеземцами и научившись от них, Пётр далеко ушёл от своих бояр, проникнутых своекорыстием, спесью и рутинною. За границей смотрели на Россию, как на великую *возможность* чего-то, хотя и понимали, что в настоящем она ещё ничего не значила пред Европою. Это убеждение легко сообщилось и Петру; ему предстояло теперь подвинуть возможность к действительности. Извне это казалось чрезвычайно лёгким. Вот каким языком говорил

с Петром польский уполномоченный Карлович, в 1699 г., вызывая его на войну с Швециею (Устр., т. III, стр. 333).

«От его царского величества зависит (писал он в мемориале, представленном Петру) извлечь необъятные выгоды, достигнуть всемирной славы, завести цветущую торговлю с Голландиею, Англиею, Испаниею, Португалиею, со всеми северными, западными и южными странами Европы, а что всего важнее и чего ни один государь не в состоянии был сделать, открыть через Россию торговый путь между востоком и западом, с исключительным правом на все выгоды. Этим средством его царское величество войдёт в ближайшие связи с первыми монархами христианскими, приобретёт значение и вес в общих делах Европы, учредит грозный флот и, поставив Россию на степень третьей морской державы, принудит французского короля отказаться от мечты о французской монархии, чем скорее, нежели покорением турок и татар, прославится во всём свете. Если же, по открытии войны за испанское наследство или по другому поводу, пошлёт на помощь Англии и Голландии 10, 20 тысяч войска с значительным флотом, союзники станут смотреть на его царское величество с особенным почтением; а москвитяне между тем на чужой счёт выучатся военному искусству и потом, не нуждаясь более в иностранных офицерах, с наилучшим успехом поведут войну с турками и татарами. Прочие выгоды лучше всего извесит высокий ум его царского величества».

Подобные мысли во времена Петра могли быть новы для русских царедворцев, но в Европе такой взгляд на Россию существовал издавна, разумеется, за исключением нескольких громких гипербола, которые позволил себе Карлович, сообразно своей цели. Пётр, во время путешествия своего по Европе, не мог не увидеть, какое значение придаётся среди Европы Русскому Царству его географическим положением и огромным единоплеменным населением. Понятие это не чуждо было и предшественникам Петра, как видно из некоторых дипломатических актов; но у правителей, бывших до Петра, недоставало решимости пользоваться, как было должно, своим положением. Они как будто сознавались постоянно, что у них сила есть, да воли нет. Напротив того, Пётр, с детских лет принуждённый видеть расстройств и беспорядки в своём царстве, чувствовал более других, что сила-то, находящаяся в его руках, не столько велика, как кажется; но зато у него была твёрдая воля употребить в дело по крайней мере ту силу, какая есть. Он и употребил её в дело, несмотря на все препятствия, противопоставленные ему невежеством и ленью. Не надеясь на действительность убеждений, Пётр часто действовал силою, увлекаемый своей страстной, нетерпеливой натурой. Он сам за всё брался, за всем смотрел и всё толкал вперёд, потому что он не мог вытерпеть, пока его помощники собираются с своим «московским тотчасом». Часто даже ему вовсе не за кого было взяться; случалось, что люди, на которых он всего более надеялся, только портили дело, им порученное. Пётр не унывал духом, но гнев его раздражался на плохих исполнителей. Здесь кстати можем мы привести случай, характеризующий исполнителей Петровых намерений и вместе с тем показывающий, как далеко отстояла наша политическая мудрость того времени от дипломатических видов европейских, образец которых мы видели в мемориале Карловича. Случай этот был во время второго азовского похода, следовательно, всего за три года до посольства

Карловича. В этом походе, как известно, Пётр долго ждал прибытия цесарских инженеров, опоздавших несколькими месяцами. На вопрос о причине замедления, инженеры отвечали, что в Вене никак не ожидали такого раннего похода русских войск и что русский посланник при цесарском дворе, Кузьма Нефимов, ничего им не говорил и сам ничего не знал о ходе военных действий. Оказалось, что Украинцев, управлявший тогда посольским приказом, не сообщал Нефимову никаких известий из армии, *опасаясь, чтобы тот не разгласил их...* Пётр был крайне раздосадован таким странным рассуждением и тотчас написал следующее оригинальное письмо к Винниусу, шурина Украинцева:

«Зело досадил мне свояк твой, что Кузьму (Нефимова) держит без ведомости о войне нашей. И не стыд ли? о чём ни спросят, ничего не знает!.. А с таким великим делом послан (для заключения союзного трактата)!.. В цыдулках Миките Моисеевичу о польских делах пишет (Украинцев), которые не нужны, что надобет делать; а цесарскую сторону, где надежда союза, позабыл. А пишет так: «для того о войсках не даём ведать, чтоб Кузьма лишнего не рассеял». Рассудил! Есть ли сенс* его в здоровье? В государственном поверено, а что все ведают, — закрыто! Только скажи ему, что чего он не допишет на бумаге, то я допишу ему на спине» (Устр., т. II, стр. 430).

Таковы были лучшие представители древней Руси, предназначенные к исполнению планов Петра, в виду Европы, в это время, по политическим обстоятельствам, обратившей на Россию более зоркое внимание, чем когда-нибудь. Хорош этот дальновидный и осторожный начальник нашего посольского приказа, когда поставить его соображения рядом напр. с смелыми и обширными предначертаниями Паткуля, часть которых заключается в мемориале Карловича!.. Что было Петру делать с такими людьми, кроме того, чем заключил он письмо своё? Никакая доброта сердца, никакая благонамеренность, никакая прозорливость теоретическая не помогли бы Петру, если бы у него не было этого могучего характера, высказывавшегося часто неровно, порывисто, бурно, но всегда подвигавшего дело вперёд решительным, смелым толчком. Рано высказался в Петре этот характер, сложившийся в бурях первых лет его жизни, рано заметили все, что Пётр не будет делать дело вполовину, если примется за дело, и Пётр скоро сделался представителем и двигателем новых стремлений, издавна бродивших в народе и не находивших себе удовлетворения. Всё, что было недовольно старым порядком, с надеждою обратило взоры свои на Петра и радостно пошло за ним, увидавши, что на знамени его написана та же ненависть к закоренелому злу, та же борьба с отжившей стариной, та же любовь к свету образования, которая смутно таилась и в народном сознании. С другой стороны, представители старого порядка вещей, при всей своей грубости и невежестве, тоже догадались, что Пётр не слишком-то будет их жаловать, и присмирели, видя по характеру Петра, что он шутить не любит. И вот Пётр является в нашей истории, как олицетворение народных потребностей и стремлений, как личность, сосредоточившая в себе те желания

* Sens — чувство, рассудок, смысл (франц.). — *Ред.*

и те силы, которые по частям рассеяны были в массе народной. Вот тайна постоянного успеха, сопровождавшего его предприятия, несмотря на все препятствия, поставляемые невежеством и своекорыстием старинной партии,—и вот, вместе с тем, разгадка того, почему Пётр мало тогда обратил внимания на главнейшие условия народного благоденствия,—на распространение просвещения между всеми классами народа и на средства свободного, беспрепятственного развития всех производительных сил страны. Понятно, что Пётр, если и хотел этим заняться, то не мог преимущественно на этом настаивать: прошедшее народа не подготовило ещё тогда достаточно данных для того, чтобы стремление к истинному, серьёзному образованию и к улучшению экономических отношений могло сильно и деятельно проявиться в массе. Нужно ещё было прежде раскрыть хорошенько глаза тогдашней массе, посмотреть на других, убедиться, что есть на свете просвещение и правильно определённые бытовые отношения, отличные от наших, а потом уже приниматься их усваивать, по мере умения и силы. Потому-то вся деятельность Петра и клонилась именно к возможности сближения России с Европою. Пётр, может быть, делал многое, сам вовсе не имея в виду этой цели; но такой результат выходил уже сам собою, по естественному порядку вещей. Пётр был сильным двигателем; направление же движения было не от него... оно задавалось, как всегда и везде, ходом истории.

Но величие Петра, как могучего двигателя событий, в данном направлении, поистине изумительно. С первого дня своего царствования он становится один главою движения и сокрушает всё на пути своём. Министры и любимцы сестры его справедливо пришлось не по душе ему: он всех их в один день отрешил и посадил на их места своих друзей и приверженцев. Но эти новые сановники были большею частью также приверженцами старины, придерживались боярской спеси, местнических счётов, азиатских церемоний, грубых предрассудков. Даже после преобразований Петровых, незадолго до Ништадтского мира, иные из них вздыхали ещё по московской старине (Устр., т. II, стр. 101). Они во многом не могли понимать Петра, уже учившегося у Тиммермана и Бранта, и на многое не могли ему дать ответа. Скупая их неподвижностью и крайней ограниченностью, Пётр сошёлся с земляками Тиммермана и Бранта, и вскоре Лефорт и Гордон делаются его лучшими друзьями, общество Немецкой Слободы—любимым обществом. В рассказах иностранцев, в науке военной и морской открывается для Петра новый мир, и он пять лет всё осматривается в этом мире, как бы пробуя силы и забывая всё остальное для любимых занятий, которые пока занимают его лично. Но вот он серьёзно хочет попробовать, каковы бывают эти забавы не в шуточном, а в настоящем деле, и идёт под Азов. Это предприятие почти не имеет ещё государственного характера, но оно пробудило гений Петра к государственной деятельности. Он увидел, что суда плохи, войска плохи, распоряжения плохи; увидел, что и его приятели-иностранцы тоже крайне плохи. Тут бы, казалось, торжество противной партии: её нарекания и зловещие предсказания оправдывались. Одни говорили царю, что бог его наказывает за

любовь к еретикам, другие уверяли, что *по старине* действительно лучше было, чем по этим иноземным хитростям; третьи толковали, что иноземцы все—негодяи и изменники и потому их всех надо казнить или прогнать. На всё это были доказательства и улики явные: и суда, ими выстроенные, шли плохо, и войска, ими обученные, не выдерживали битвы, и мины, ими заложенные, взрывались на нашу погибель; были, наконец, и действительные изменники из иноземцев, перебежавшие от нас к туркам. Явно, что от иноземцев всё зло, или, по крайней мере, добра-то уж нет никакого... Но Пётр ничего знать не хочет, он рассуждает иначе. Вся беда в том, говорит он, что иноземцев мало и что они плохи; надобно вызвать побольше, да получше. И вслед затем он посылает грамоты в разные государства, чтобы ему прислали искусных людей... Им поручает он инженерные работы, отдаёт в их ведение артиллерию, задаёт им строить флот. Необходимость флота указана была также азовским походом; Пётр, и без того преданный страсти к мореплаванню, с жаром принимается за постройку флота. Но на флот нужны деньги, а финансы истощены; флот надобно построить уж порядочно, а приезжие мастера ещё боп весть каковы; для флота нужно море, а у нас его нет. Как тут быть? Всякого взяло бы раздумье, всякий бы, кажется, отступился от своей мысли, увидевши препятствия непреодолимые. Но Петра трудно было утратить большими затруднениями; а на такие пустяки он не хотел и внимания обращать. Финансы истощены? *А кумпанства* на что же? В ноябре 1696 г. Пётр приказал, чтобы владельцы и вотчинники, духовные с 8 000 крестьянских дворов, а светские—с 10 000, выстроили по кораблю к апрелю 1698 года, а люди торговые, все вместе, к тому же сроку, чтобы изготовили 12 бомбардирских судов. Вот и дело с концом. А кто не захочет строить или окажется неисправным, у того деревни отбирать, того лишать животов и дворов. И поспели корабли через 16 месяцев... Да ещё больше поспело, чем нужно было сначала. Через год Пётр нашёл, что мало выйдет, если выстроится по кораблю с каждого кумпанства; вышел указ, чтобы выстроили ещё по кораблю с каждого двух кумпанств. И выстроили... Иноземные мастера сомнительны? Пётр рассылает грамоты по всем государствам, чтобы ему прислали *лучших, искусных* мастеров; и, чтобы иметь и собственное понятие об их работе, посылает русских за границу учиться морскому делу, да и сам едет вслед за ними же. Моря нет? Пётр посылает в Константинополь Украинцева—добиваться плаванья на Чёрном море. А не удалось это, так мы потянулись в другую сторону—за Балтийским.

Так точно Пётр поступил и с выбором своих сотрудников. В почётных стариках, выбранных прежде, оказалось мало энергии и мало сочувствия с Петром. Пётр принялся искать других, во всех слоях общества, и в свите посольства, отправившегося с ним за границу, мы находим уже имена Петра Шафирова и Александра Меңшикова (Устр., т. III, стр. 572). Скажут: «значит, были же при Петре люди, которые были способны деятельно и умно помогать ему». Да когда же не бывает таких людей? Вспомним справедливое замечание Карамзина:

«Полководцы, министры, законодатели не рождаются в такое или такое царствование, но единственно избираются. Чтобы избрать, надобно угадать, угадывают же людей только великие люди, — и слуги Петровы удивительным образом помогали ему на ратном поле, в сенате, в кабинете» (Кар. о древн. и нов. Рос., стр. XLV Эйнерл.).

Прибавим к этому, что иногда самое избрание бывает не столько затруднительно, сколько его осуществление, и в этом отношении едва ли чьё положение бывало затруднительнее Петра. Чтобы поставить избранных им людей на ту степень, которой они были достойны, ему нужно было разрушить тысячи препятствий. Прежде всего—это были люди незнатные, люди безвестного происхождения, значит, возвышение их оскорбляло родовую боярскую спесь, и в служебных отношениях с ними легко могли откликнуться местнические счёты. Кроме того, это были всё люди молодые. Возвышая их и поручая им важные дела, Пётр решительно шёл наперекор стародавнему обычаю, по которому старость считалась достаточным ручательством за ум и знания человека, а молодость осуждалась на то, чтобы быть *во посылочках* у стариков. К этому ещё нужно прибавить, что новые избранники Петра были всею душою за новизну против старины, и тем более должны были раздражать против себя сановитых и породистых бояр, с презрением смотревших на всё, что не было украшено сединами и вековою знатностью рода. Тем ужаснее было негодование их, когда между избранниками царя являлись иноземцы. Тут уже и суеверие о патриотизме являлось им на помощь; тут они самый народ думали видеть на своей стороне. Но Пётр не испугался их дряхлого негодования и смело продолжал идти по своему пути, «не обращая внимания, как говорит г. Устрялов, на заметную досаду почтенных сединами и преданностью бояр, на строгие нравоучения всеми чтимого патриарха, на суеверный ужас народа, не слушаая ни нежных пеней матери, ни упрёков жены, ещё любимой» (т. II, стр. 119). И не только их слов и ропота не послушал Пётр, он не смутился даже от проявления неудовольствия, восставшего вооружённой силой. За две недели пред отправлением Петра в путешествие, открылся заговор Соковнина и Цыклера. Пётр казнил их и главных их сообщников над гробом Ивана Михайловича Милославского, вырытого из земли; поставил на Красной площади каменный столб с железными спицами, на которых воткнуты были головы казнённых, тогда как вокруг разложены были трупы их в продолжение нескольких месяцев; разослал в заточение по дальним городам родственников их, и через две недели всё-таки отправился за границу. Во время его отсутствия произошло новое восстание, более возбуждённое, кажется, неблагодарным, а может быть даже и действительными притеснениями начальников, нежели какими-нибудь определёнными замыслами в пользу старины. В марте 1698 г. явилось в Москве 175 стрельцов, бежавших из полков, бывших на литовской границе. Они жаловались на бескормизу и притеснения; бояре велели им возвратиться в полки до 3-го апреля. Но в этот день оказалось пред боярами уже 400 человек, требовавших льгот и послаблений и отказывавшихся идти в полки. Их выпроводили насильно. Узнав об этом, Пётр выговаривал Ромодановскому, зачем он «сего дела в розыск не вступил». Действительно, отпущен-

ные, или лучше сказать, *посланные* в полки свои, беглые стрельцы возмутили остальных, и в июне открылся уже настоящий бунт: стрельцы шли к Москве. Они ни в чём не успели; их скоро смирили, 130 человек повесили, 140 били кнутом и сослали, до 2000 разослали по разным городам в тюрьмы (Устр., т. III, стр. 178). Но Пётр был этим недоволен. Ему нужно было до конца истребить всё, что могло ещё быть опасным противодействием его стремлениям. Он вспомнил ужасы первых лет своей жизни, вспомнил, что стрельцы были приверженцами и орудиями сестры его, и он решился, тотчас по возвращении из-за границы, с корнем вырвать это зло, не дававшее ему покоя. На стрельцах, которых считал он в этом случае представителями противной партии и сообщниками которых считал всех своих недоброхотов, начиная с сестёр и жены, на них решился он показать страшный, жестокий пример того, как он карает своих противников. «Я допрошу их построжее вашего», сказал он Гордону, и действительно, в сентябре и октябре 1698 г., произведён был беспощадный розыск, подробности которого, сообщённые г. Устряловым (т. III, стр. 201—245), должны привести в ужас читателей нашего времени. Тысячи стрельцов и людей, оговорённых ими, ежедневно по несколько часов, пытаны были в нескольких застенках, о причинах и целях бунта. Все сначала с изумительным героизмом запирались и при очных ставках, и при *подъёме*, *встряске*, и под всеми пытками, даже *под огнём*. Многие умирали под пыtkою, ничего не сказав, кроме одного: что шли к Москве с голоду и от притеснений начальства, да ещё по слуху, что государь за границей помер. Но от Петра не легко было отделаться. Он не жалел пыток, не отступал ни перед какими средствами, призывал к допросу даже сестёр своих. Сам написал он допросные пункты, в которых именно спрашивал: не призывала ли стрельцов к Москве София, не было ли от неё письма, не хотели ли посадить её на царство? После такого прямого поставления вопроса, запирающихся было уже меньше; многие сознавались, но как-то глухо и неопределительно, как будто сами не понимая хорошенько, в чём они сознаются. Один рассказывал, наконец, целую историю получения письма от Софии (не подтверждённую, впрочем, дальнейшим розыском), и дальнейший розыск был обращён особенно на это обстоятельство. Признание в государственных замыслах и в возмущении по наущениям Софии было, наконец, высказано значительною частью стрельцов*. Начались казни. Число казнённых простиралось, по не-

* Боясь излишних распространений, мы не решаемся здесь касаться подробностей розыска. Но весьма любопытно было бы сделать этот розыск предметом юридического исследования, с целью разрешить вопрос: должен ли историк придать более веры первоначальному заирательству стрельцов или последним их показаниям, вынужденным жестокою пыtkою. С одной стороны, если заирательство и молчание стрельцов были умышленны, а не происходили вследствие того, что они действительно ничего не знали и ничего не могли говорить, — в таком случае каждый из них превосходит в героизме Муция Сцеволу и Регула. С другой же стороны — известно, что признания, сделанные под пыtkою, нельзя считать слишком надёжными. Рассмотревши всё розыскное дело, сохранившееся в целости, в настоящее время можно, вероятно, сделать заключение более беспристрастное и спокойное, нежели какое было возможно во время самого розыска. — Н. Д.

которым известиям, до 4000. По словам г. Устрялова, «Красная площадь была покрыта обезглавленными телами; стены Белого и Земляного города унизаны были повешенными» (III, 237). Через несколько времени свезли из Москвы и сложили у разных дорог 1068 трупов. Кроме того, множество народа было сослано. Не довольствуясь этим и желая совершенно уничтожить непокорных, Пётр решился, по собственному его выражению, *скасовать* всё стрелецкое войско. В 1699 г. стрельцы обращены были в посадские; их запрещено было принимать в военную службу и велено ссылать на каторгу тех, кто из них запишется в солдаты, утаив, что был прежде стрельцом.

Так действовал Пётр против тех, которые осмеливались восставать против его предприятий или обнаруживали сочувствие к его противникам. Не мог бы, конечно, такой образ действий увенчаться успехом, если бы Пётр во всей своей деятельности не был представителем начала нового движения, которое побороло уже отживавшую старину. Вспомним, какое губительное ожесточение, какие несчастные последствия возбуждали обыкновенно даже гораздо меньшие строгости его предшественников. Но Пётр, предаваясь влечению своего непреклонного, неумолимого характера, чувствовал свою силу. Оттого он прямо и смело объявлял свои требования, грозно и без всяких обиняков назначал заранее наказание непослушным. После возвращения из-за границы, имея в виду более широкие и определённые замыслы, чем прежде, он стал действовать тем с большею решительностью, что составил уже в это время в уме своём известные идеалы некоторых предметов по виденным им за границею образцам. Так, тотчас по возвращении, вместе с опытным и искусным моряком Крейсом, он нашёл, что суда, выстроенные кумпанствами, были неудовлетворительны. У одних нужно было усилить вооружение и оснастку, другие исправить в самом корпусе, а иные и совершенно переделать, потому что одни оказались слишком валкими, а другие и вовсе неспособными к ходу (Устр., т. III, стр. 249). Немедленно приказано было тем же *кумпанствам* позаботиться об исправлении всего, что нужно, под наблюдением английских мастеров. Теперь флот был нужен Петру *настоятельно*, потому что наша дипломатия оказалась весьма плохою на переговорах при цесарском дворе, и русским предстояла война с турками, с которыми все остальные союзники наши помирились отдельно, оставив нас ни при чём. Пётр не боялся войны, он даже хотел её, и без сомнения не оказал бы большой уступчивости перед турками, если бы замыслы Паткуля против Швеции не вызвали Северной войны, отклонившей внимание Петра на север.

Работая над устройством флота, теперь уже не как плотник, а как адмирал и распорядитель, Пётр стал теперь гораздо больше внимания обращать и на другие части государственного устройства. Так он, по предложению Курбатова, взявшего свою мысль с заграничных примеров, учредил *гербовую* бумагу, в видах увеличения государственных доходов и вместе уменьшения ябеды. В финансовых видах также преобразован в 1699 г. порядок в сборе окладных податей, таможенных и питейных сборов, при чём устроена особенная *бурмистерская*

палата, и окладные подати возвышены вдвое. Несмотря на это возвышение подати, новый порядок был всеми принят с радостью, потому что, как свидетельствует об этом указ самого Петра (30 янв. 1699 г.), промышленное сословие до тех пор было «безответною жертвою наглого самоуправства и бессовестного лихоимства, так что от приказных волокит, от воеводских налогов и взяток люди торговые пришли в крайнее разорение, многие торгов и промыслов отбыли, податей платить были не в силах, и государственная казна терпела ущерб не малый, вследствие недоимки окладных доходов и недобора торговых пошлин». «Между тем пример Голландии, прибавляет г. Устрялов, говоря об этом указе (III, стр. 260), удостоверял царя, что в благосостоянии промышленного сословия заключался один из главных источников государственного богатства и что промыслы могут процветать только при свободном, самостоятельном развитии их, без вмешательства сторонних властей, тягостного во всякое время, тем более при тогдашнем порядке дел в России». Весьма вероятно, что пример Голландии был одним из побуждений при устройстве бурмистерской палаты, хотя и нельзя сказать, чтобы Пётр в это время уже вполне ясно сознал, какое значение имеет вмешательство посторонних властей для процветания промышленности и следовательно для благосостояния государства, как везде, так особенно у нас в России. По крайней мере на преобразование этих *властей* Пётр не обратил ещё теперь своего внимания.

Влияние путешествия за границей раньше всего проявилось у Петра желанием преобразовать формы некоторых общественных отношений. Пётр видел, что в иных государствах жизнь идёт иначе, чем у нас, и ему, конечно, понравилась простота и бесцеремонность отношений между мужчинами и женщинами на западе, радужные семейные беседы, весёлые общественные развлечения, при постоянном участии женщины. Пётр захотел ввести то же самое и в России, и для того, чтобы приблизить русских к европейцам и по внешнему виду, прежде всего позаботился об изменении их наружности. Ему казалось это ничтожным делом, после всего, в чём уже проявилась его сила. Он даже начал дело с простой шутки, думая, что люди, не подорожившие своими средствами для постройки флота, видевшие превосходство иностранцев в разных знаниях и искусствах, отрешившиеся, по воле царя, от своей величавой, неподвижной спеси, прогуливающиеся за границу или слышавшие подробные рассказы очевидцев о чужих землях,—что люди эти не постоят уже за кафтан и бороду. Но оказалось, что сопротивление в этом случае было более упорно, чем в других случаях: отживавшая старина, теряя свои привилегии, хотела по крайней мере удержать внешние значки и за них вступилась больше, нежели за самую сущность дела. Кесарь Ромодановский, услышав, что боярин Головин явился при Венском дворе без бороды, воскликнул: «не хочу верить, чтобы Головин дошёл до такого безумия». Патриарх писал, что «над брадобриями не подобает быти ни христианскому погребению, ни в церковных молитвах поминовению» (Устр., т. III, стр. 194). Мало того, по свидетельству историка (т. III, стр. 196), «неразумные помы тайными внушениями поддерживали суеверный ужас черни и даже

осмеливались в своих приходах дерзко осуждать государя. Так в городе Романове поп Викула, на Святой неделе обходя с образами Троицкую слободу, в доме солдата Кокорева не допустил его к св. кресту, называл врагом и басурманом за то, что он был с выстриженной бородою. Когда же Кокорев в оправдание своё сказал: «пыне в Москве бояре и князи бороду бреют, по воле царя»,—Викула изрыгнул хулу и на государя». Вообще ни одно из прежних требований Петра не возбудило столько ропота и явного недовольствия, как повеление—брить бороду. Но Пётр уже раз решил, что—бороду долой, и сбить его с этого пункта было невозможно. Он хотел, чтобы русские и по наружности не были противны немцам, а «чем упорнее берегли русские свою бороду, тем ненавистнее, по словам историка, была она Петру, как символ закоснелых предрассудков, как вывеска спесивого невежества, как вечная преграда дружелобному сближению с иноземцами, к заимствованию от них всего полезного». Решение своё насчёт бороды Пётр, по обычаю своему, привёл в исполнение немедленно. Это происходило на первый раз довольно комическим образом,—доказательство, что Пётр сначала всё дело думал покончить очень легко. На другой день по приезде его в Москву из-за границы явились к нему знатнейшие бояре для поздравления. Пётр очень ласково принял их, целовал, обнимал, разговаривал с ними и тут же, к неопisanному изумлению предстоявших, то тому, то другому обрезывал бороды. Прежде всех подверглись этой горестной операции—*сам кесарь* Ромодановский и *генералиссимус*—Шеин, за ними и остальные, кроме Стрешнева и Черкасского, пощаждённых царём. Дней через пять та же история повторилась на пиру у Шеина; тут уже бороды резал царский шут. Через три дня потом, на пир к Лефорту бояре явились уже безбородые. «Пылкий царь, говорит г. Устрялов, не хотел видеть бородачей вокруг себя, ни при дворе, ни в войске, ни на верфях. Бояре, царедворцы, люди ратные, корабельные плотники должны были уступить непреклонной воле царя». Вскоре установлена была бородовая пошлина, распространённая и на людей посадских и даже на крестьян. И на этот раз, вопреки ожиданиям и желаниям приверженцев старины, всё обошлось спокойно и благополучно: восстаний нигде не было. Народу грустно было расставаться с стародавним обычаем; но сожаление о нём не могло иметь серьёзного характера, потому что в самом обычае не заключалось никакой разумной, жизненной потребности.

То же было и с старинной русской одеждой, на которую Пётр в это же время воздвиг гонение. Пребывание за границей и тут не осталось без влияния на Петра, заставив его окончательно разлюбить русскую одежду, которой он, по замечанию г. Устрялова, «и прежде не жаловал, наиболее потому, что длиннополые ферязи, опашни, охабни, с двухаршинными рукавами, мешали ему лазить на мачты, рубить топором, маршировать с солдатами, одним словом—нисколько не согласовались с его живою, быстрою, неутомимою деятельностью» (т. III, стр. 199). Но главное побуждение было и здесь—желание сблизить русских с иностранцами. Пётр был убеждён, что старинный костюм будет помехою для этого сближения,

и решился распорядиться с ферязями и кафтанами так же, как с бородами.

«Сначала он на весёлых пирах отрезывал длинные рукава у царедворцев и не хотел видеть у себя терлишников, так же, как и бородачей. Вскоре потом построил он немецкую обмундировку для вновь заведённого регулярного войска; а затем издал строгий указ, чтобы к празднику Богоявления и уже не позже, как к масленице 1700 г., все бояре, царедворцы, люди служилые, приказные и торговые нарядились в венгерское и немецкое платье. То же было указано и боярыням, имевшим приезд ко двору. Вскоре это распоряжение распространено и на купчих, стрельчих, солдаток, попадей и дякониц» (Устр., т. III, стр. 350).

В то же время Пётр изменил прежнюю монетную систему нашу, отличавшуюся большими неудобствами. Мысль об этом тоже явилась у Петра за границей, и именно в Лондоне, где он неоднократно посещал монетный двор. До Петра монета у нас была чрезвычайно безобразна и неправильна, так что весьма легко было подделывать и обрезать её, отчего фальшивые монетки и процветали в древней Руси, несмотря на строжайшие законы, обращённые против них. Пётр этому горю помог другим средством: он стал чеканить монету лучше, и подделок стало меньше. Другое горе состояло в том, что единственной ходячей монетой в это время были серебряные копейки. От этого, с одной стороны, вследствие решительного отсутствия золотой и крупной серебряной монеты, правительство встречало немаловажные затруднения в своих финансовых оборотах, особенно заграничных; с другой стороны, от недостатка мелкой разменной монеты много терпел бедный класс народа (Устр., III, стр. 353). Пётр решился пустить в ход медную монету, копейки, денёжки и полушки, несмотря на то, что подобная попытка при Алексее Михайловиче имела очень печальные последствия. Вслед за тем начали чеканить и червонцы, серебряные полтинники, полуполтинники и наконец рублёвики. Все они тотчас вошли в общее употребление по цене, назначенной правительством.

Не столь быстры и решительны были действия Петра по двум другим важнейшим отраслям государственного устройства: по изданию кодекса законов и принятию мер к образованию народному. Мысль об этих предметах была у Петра, как видно из того, что в феврале 1700 г. он повелел учредить в Москве комиссию для составления нового уложения и что, в беседе с Адрианом, изъявлял намерение преобразовать Славяно-греко-латинскую академию вроде университета. Но очевидно, что Пётр не был слишком занят этим и скоро отклонил свою мысль от комиссии и академии к своим любимым занятиям. Комиссия в четырнадцать лет успела рассмотреть только три первые главы уложения, а мысль об учреждении школ и академии ограничилась на деле основанием навигационной школы. Вскоре внимание царя было надолго отвлечено от внутренних дел войною с Карлом; но, конечно, не этому случайному обстоятельству нужно приписать невнимательность Петра к комиссии законов и к учреждению школ. Мы видели его характер, его энергию в исполнении самых трудных предприятий. Он мог уже и в это время повелеть и сам приняться за дело, мог призвать из-за границы учителей, как призвал корабельных мастеров, мог выстроить училища, гимназии,

университеты, как выстроил флот, завести музеи, библиотеки, как завёл регулярное войско... Но есть пределы человеческому могуществу. Пётр мог привести в движение те силы своего народа, которые готовы были двинуться; но он не мог вызвать ранее срока тех сил, которые ещё были так слабы, что неспособны были к движению. Как человек, осуществивший в своей воле потребности и стремления народа, Пётр инстинктивно имел тот *такт*, который отличает подобных ему исторических деятелей от непризванных фанатиков, часто принимающих мечты своего расстроенного воображения за истинные потребности века и народа, принимающихся за бесплодное дело не по своим силам. Пётр чувствовал, что сил его станет на многое, но он знал и меру своим силам. Он пришёл к жатве, подготовленной веками, и понял, что он может пожать эти зёрна, оставленные без внимания его предшественниками. Но, вместе с тем, он знал, что сила *производящая* здесь всё-таки эта почва, на которой ему предстояла жатва. Он мог более или менее быстро и удачно пожать и собрать всё, что произошло на ней; но по своему произволу заставить расти зёрна он не мог. Нужно было их сначала посеять, и он сеял то, что мог. Но что мог он посеять в то время на поле гражданского законодательства и народного просвещения в России? По необходимости посев был скуден, и вот почему Пётр выказывал так мало энергии в своих предприятиях по этой части. Народ был мало готов на это, а Пётр был представителем своего народа; мог ли же он глубоко проникнуться тем, что ещё не было глубокой и настоятельной потребностью для самого народного сознания?

Война шведская отвлекла Петра от мыслей законодательства и просвещения, указав ему попроще, более близкое к его постоянным занятиям и стремлениям. Проявления его мысли и характера в этой войне мы постараемся проследить, когда явится продолжение труда г. Устрялова, ожидаемое нами с нетерпением.

Разрывом с Швециею оканчивается третий том «Истории Петра», г. Устрялова. На этом покочим и мы свои заметки, имевшие целью ознакомить наших читателей с характером фактов, собранных в книге г. Устрялова. Удаляясь общих выводов и подробных рассуждений о значении Петра в нашей истории, мы старались только группировать однородные факты, разрозненные в летописном порядке изложения г. Устрялова. Эта летописность изложения составляет особенность г. Устрялова, бросающуюся в глаза каждому читателю «Истории Петра». Она могла бы быть названа большим достоинством, если бы была совершенно выдержана, т. е. если бы автор отказался уже решительно от всяких рассуждений и взглядов, рассказывая одни только факты. Но в изложении г. Устрялова заметно отчасти стремление выразить известный взгляд; у него нередко попадаются красноречивые громкие фразы, украшающие простую истину событий; замечен даже в некоторых местах *выбор* фактов, так что иногда рассказ его вовсе не сообщает того впечатления, какое сообщается приложенным в конце книги документом, на который тут же и ссылается сам историк. (Пусть например внимательный читатель сравнит хоть в третьем томе стр. 187 с приложением X, стр. 621). Поэтому летописность, имея искусствен-

ный характер и не будучи выдержана, скорее вредит достоинству книги г. Устрялова, нежели возвышает его. Кажется, лучше было бы, если бы историк позаботился о том, чтобы сгруппировать факты истории Петра, осветивши их общей идеей, не приданной им извне и насильственно, а прямо и строго выведенной из них самих. Тогда общее впечатление было бы живее и полнее, факты не терялись бы для читателя в разрозненности, как бы случайности. Г. Устрялов мог озарить истинным и ярким светом все события, относящиеся к царствованию Петра. Кроме огромной массы материалов, кроме него никому не бывших доступными, он и при самой разработке их находился в более благоприятном положении, нежели кто-нибудь другой, и, следовательно, мог сказать нам более всякого другого. К сожалению, он не захотел вполне воспользоваться своим положением и ограничился карамзинским трудом собрания материалов, связного, стройного их расположения и красноречивого изложения. Придавши своему труду характер преимущественно биографический, он не обратил внимания на общие задачи истории страны и времени, в которых действовал Пётр, и таким образом, отняв у себя оружие высшей исторической критики, не вышел из колен прежних панегиристов, которых сам осуждает во введении к «Истории Петра».

Всё это такие недостатки, которые не могут быть названы ничтожными; но нужно заметить, что находить *эти* недостатки можно только в труде серьёзном, капитальном, каков и есть труд г. Устрялова. Мы говорим: отчего г. Устрялов не сделал большего,—именно потому, что мы видим, как много он сделал. Степенью значения труда его определяется количество и великость требований, которых выполнения мы от него ожидаем. Будь это произведение не замечательное, обыдённое, никто бы и не подумал упрекать его за отсутствие того, чего так естественно всякий ищет у г. Устрялова и часто не находит. Во всяком случае, как сборник драгоценных материалов, до сих пор бывших неизвестными публике, как плод труда многолетнего и добросовестного, как стройная и живая картина событий Петрова царствования, книга г. Устрялова останется надолго одним из лучших украшений нашей исторической литературы. Повторим ещё раз в заключение, что для истории Петра труд г. Устрялова будет иметь значение истории Карамзина. Значение это не пропадёт и тогда, когда наступит время для прагматической истории новой России под управлением Петра. Будущий историк, если не воспользуется идеями и взглядами г. Устрялова, то во всяком случае найдёт в его книге много драгоценных материалов и подлинных документов. Приложения, по своей обширности, почти равняющиеся тексту истории, придают и всегда будут придавать ему важное и постоянное значение. Многие из них действительно бросают новый свет на события; другие дают возможность точных и твёрдых соображений относительно таких вещей, о которых доселе судили только по предположениям. Всё это придаёт труду г. Устрялова чрезвычайную важность, и мы надеемся, что читатели не будут на нас досадовать за то, что мы так долго занимали их обзорением этого замечательного труда, появления которого так давно ожидала русская публика.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ОЧЕНЬ ОБЫКНОВЕННОЙ ИСТОРИИ⁸⁸



В европейских газетах наделал шуму последний процесс Монталамбера. Правду сказать, дело вовсе не стоило такого шума: то, что произошло с Монталамбером, есть вещь очень обыкновенная, которой следовало ожидать каждый день после 10 декабря 1848 г.⁸⁹ Удивительно было бы, еслиб подобных вещей не было теперь во Франции, после всех событий последнего десятилетия. В корреспонденции какой-то газеты мы прочли недавно, что парижская публика едва один день поговорила о деле Монталамбера и потом, как ни в чём не бывало, опять принялась за обычные дела и развлечения. И это несколько не удивило нас: парижская публика поступила очень последовательно, оставшись верна тем побуждениям, которые произвели 2 декабря 1851 года⁹⁰. Нечего этому удивляться и слишком поздно на это негодовать.

Однако же газеты удивляются и негодуют. Из одной в другую переходит фраза, что «общественное мнение во Франции сильно возбуждено этим вопросом». С какой же точки зрения оно может быть особенно заинтересовано этим делом? Неужели общественное мнение Франции и всей Европы не знает, что такое Монталамбер? Неужели оно только теперь догадывается о том, какое значение имеет полсжение его обвинителя? Странная близорукость, странная наивность! Мы не знаем, много ли найдётся в России людей, следящих за современной историей, которые бы встретили литературный процесс Монталамбера с изумлением, как что-то странное и внезапное. Но мы знаем, что многие говорят о нём с живейшим негодованием, придавая ему преувеличенную важность. Нам хотелось бы несколько успокоить волнение этих людей, слишком восприимчивых к настоящему, и в минуты раздражения теряющих отчасти способность припоминать и беспристрастно сравнивать предметы. Расскажем сначала вкратце историю монталамберовского процесса, хотя читатели, вероятно, уже и знают её из газет. Читавшие её в газетах могут, разумеется, и пропустить наш рассказ.

Есть во Франции журнал «Le Correspondant», имеющий умеренно-католический и чуть-чуть либеральный характер. Издаёт его некто

г. Дуньо́ль. В этом журнале 25 октября 1858 г. появилась статья графа Монталамбера, под заглавием: «Un débat sur l'Inde au parlement anglais» (Прения об Индии в английском парламенте). Статья эта написана под влиянием впечатления, произведённого на графа Монталамбера английскими парламентскими прениями, при которых он присутствовал во время своего последнего пребывания в Англии. Некоторые страницы его статьи переведены в IV «Парижском письме»⁹¹, напечатанном в этой же книжке «Современника», и туда отсылаем мы читателей, ещё не знающих статьи Монталамбера из газетных извлечений. Статью нашли анти-патриотическою, и генеральный прокурор позвал к суду её автора и редактора журнала. Монталамбер обвинён в старании унижить настоящий порядок дел во Франции, посредством беспрестанного сопоставления его с государственным устройством Англии. При этом на него введены три преступления: 1) возбуждение неприязни и презрения к французскому правительству; 2) неуважение права всеобщей подачи голосов, при которой избран нынешний император; 3) нарушение должного уважения к законам и к неприкосновенности прав, ими освящённых. За всё это, по таким-то и таким-то статьям, Монталамбер присуждён к полугодовому тюремному заключению и к 3 000 франков штрафа, а Дуньо́ль к заключению на один месяц и к тысяче франков штрафа.

Что можно найти странного и возмутительного в этом событии, раз поставивши себя на точку зрения 2-го декабря 1851 г., или даже 10-го декабря 1848 г.? Каким новым, небывалым доселе элементом отличается процесс Монталамбера? Новые законы, что-ли, для него выдуманы? Нового рода преступление внесено в уголовный кодекс французский? Ничего не бывало. Осуждение Монталамбера основано на законах 11-го августа 1848 г. и 17-го июля 1849 года. Нужно было волноваться, шуметь и кричать в то время, когда эти законы составлялись и утверждались, а не тогда, как их прилагают к делу. А то — странная вещь! Эти французы, принявшие и одобrivшие так называемую «конституцию 15 января»⁹², теперь только начинают как будто поражаться её смыслом. Неужели, принимая закон 27 июля 1849 г., запрещавший всякие нападки на правителя государства, выбранный при всеобщей подаче голосов, — они воображали, что этим законом никогда не воспользуется тот, для ограждения кого он издан? И не забавно-ли видеть людей, которые с живейшим негодованием и удивлением говорят о том, что составляет прямое и естественное последствие порядка вещей, утвердившегося уже несколько лет тому назад! Поневолe признаешь в этих людях — или недостаток сообразительности, или слишком короткую память. Вы заключили, положим, контракт с хозяином дома, где вы живёте, и обязались не держать у себя в квартире собак, а в противном случае немедленно очистить квартиру и заплатить деньги за всё время, на которое заключён контракт. Вы живёте несколько месяцев очень спокойно; вдруг приходит вам охота завести у себя собаку. К вам является хозяин и на основании контракта требует, чтоб вы расстались с собакой или квартиру очистили... А вы вдруг подымаете шум, объявляете претензии хозяина странными, неслыханными, жестокими, кричите, что вы имеете право

держат собак, сколько угодно, что никто не смеет лишить вас этой свободы, и т. п. Всё это прекрасно и справедливо; хозяин ваш может быть бессовестен, его претензии пошлы и стеснительны, ваши человеческие права неотъемлемы... Но обо всём этом вы должны были подумать прежде заключения контракта. Зачем вы допустили в свой договор с хозяином такую нелепую статью? а допустивши её, с какой стати вы начинаете негодовать, когда хозяин требует её исполнения?

В государственных делах такая короткость памяти и недостаток сообразительности бывают, разумеется, ещё вреднее, чем в частных. А между тем они часто встречаются в людях слабых и недалёких по убеждениям,—и это объясняется очень легко. Не умея во-время составить сильную оппозицию и до конца её выдержать, они вместе с тем не умеют вести себя после того, как потерпят поражение. Они не столько тверды характером и не столько преданы своим убеждениям, чтобы открытую борьбу за них продолжать, несмотря на все неудачи, и умереть с оружием в руках. Они не в состоянии отказаться от своих родовых привилегий, общественного значения, жизненного комфорта и т. д., для того, чтобы неуклонно служить своему делу. Да и зачем же отказываться? Никто такого самоотвержения не требует; собственная совесть спокойна; убеждения находятся в таком положении, что допускают лёгкую возможность помириться с противоположными началами. Чего же лучше? Пока разногласие только в теории, в общих положениях, то стоит ли придавать ему значение? А на практике, лично до нас—авось дело и не дойдёт... И человек успокаивается таким образом и довольно равнодушно сносит своё положение, пока действительно что-нибудь не заденет его самого лично. Тогда он возобновляет прежние вопли о неприятности своего положения, которое, впрочем, сам предпочёл тем лишениям, с какими сопряжено было продолжение борьбы.

Такое точно явление представляет собою граф Монталамбер и его партия. Они сами своим образом действий способствовали возвышению нынешнего правительства; они боялись широкой свободы прений ещё прежде, чем явилась февральская революция. После же февральской революции легитимисты ещё более перепугались, что им не дадут свободы, соединённой с покоем и, из страха крайней республиканской партии, подали руку ультрамонтанцам и орлеанистам. Сам Монталамбер, по сознанию даже сторонников и панегиристов его, был в это время перепуган французской свободой и сильно поддерживал все репрессивные меры, не желая ничего, кроме порядка. Порядок и водворился при Людовике-Наполеоне... Правда, дело пошло не совсем так, как хотелось легитимистам; но тут виновата только их собственная близорукость. Дело пошло и продолжается очень нормальным путём, который предвидели и знали все передовые люди Европы уже в 1849 году. Вольно же было Монталамберу и его друзьям предполагать, что в этом случае для их удобств произойдёт в истории что-то необычайное и неестественное, что правитель, выбранный посредством *suffrage universel**, не захочет или не сумеет тотчас же

* Всеобщее избирательное право (франц.). — *Ред.*

воспользоваться своим положением, чтобы заставить молчать своих красноречивых противников из аристократов. Они могли наступать на него в первое время после первых выборов, с решением победить или умереть и с видом большей заботы о благе народа и о свободе, нежели какую он сам выказывал. А они ограничились несколькими мелкими нападкамии, да и те делали не в пользу народа, не из чистого желания народной свободы. Они скоро успокоились, видя неудачу. Прекрасно; никто их за это не обвиняет, никто от них не требует героизма на жизнь и смерть; но только о чём же они теперь-то хлопочут, спохватившись так поздно? Чему они удивляются, чего желают от Франции, от императорской Франции,—когда они ничего не умели добиться в то время, когда Франция могла принадлежать им столько же, как и всякой другой партии? Что это за элегии в аллегорической форме? приличны ли они в стране, которая слишком хорошо понимает самое дело и вовсе не нуждается в аллегориях?.. Басенки и притчи дают только детям, намёки и полуслова извинительны тому только, кто не может высказаться прямо... А что же мешало г. Монталамберу высказываться прямо, гордо и упорно,—если не теперь, то раньше, да и теперь—если не во Франции, то в Бельгии, в Англии, или где-нибудь в другом месте? Его положение было вовсе не из безвыходных... Но дело в том, что у него и не бывало, конечно, серьёзного намерения бросить перчатку нынешнему правительству Франции; он просто хотел сочинить в элегическом тоне умеренную заметку на счёт того, что—«зачем, дескать, нет во Франции трибуны, и зачем не имеет значения аристократия?»... Прекрасное сожаление для человека, горящего истинною любовью к своему народу!..

И какое же чувство лежит в основании всей бравады Монталамбера? Об этом всего лучше говорят сами его защитники гг. Беррье и Дюфор. Г. Беррье оправдывает Монталамбера от обвинения в памфлетическом тоне статьи и говорит, что автор, проводя параллель между Францией и Англией, вовсе не хотел употребить обыдённые, ребяческие и фальшивые увёртки памфлетиста, и приступил к делу с полной искренностью и достоинством. Затем, желая изобразить психологический процесс, произведший статью Монталамбера, г. Беррье продолжает:

«Он видел, как пала трибуна и было заковано печатное слово во Францию,—да, *заковано*,—это вы сами говорили, прибавляя, что этого хочет нация... Он отправляется в Англию и здесь встречает опять мужественные прения, одушевлённые споры. Какое зрелище для изумлённых очей его, уже отвыкших от величия свободы! Прокламация лорда Каннинга⁹³ приводит в волнение всю Англию, и почему? Потому, что в ней упомянуто слово: конфискация. В сознании всей нации явилось ужасное отвращение к этому нарушению самого священного из всех прав. Пред этим чувством умолкла взаимная вражда всех партий. Старая Англия забыла все противоположные интересы партий, и вся нация, в лице своих представителей, аплодировала благородным речам г. Робака. Каково должно было быть умиление г. Монталамбера! Как мог он при этом не почувствовать всей горечи сожалений? Он также, он сам принимал участие в волнениях трибуны! Он познал роскошную сладость свободы! Находя всё это *там*, мог-ли он забыть, что то же видел он прежде и во Франции, когда сердца раскрыва-

лись до самой глубины своей и когда вся страна с трепетным любопытством следила, по тысячам газетных голосов, за этими усилиями великих умов и добрых граждан?.. Вы мне скажете, что двести лет тому назад и Англия не имела такой свободы. Г. Монталамбер, в своём грустном умилении, не задавал себе таких вопросов. Он спросил себя: отчего Франция не сохранила этой свободы, которую она уже пользовалась десять лет тому назад, и почему теперь она не могла бы сама управлять своими делами? Вы осуждаете выражение его сожалений, вы говорите, что это оскорбление для страны, дело анти-французское, что-то преступное. Как, — мы виноваты перед страной, — виноваты за то, что жалуем об учреждениях, которыми она жила, за которые мы боролись! Мы виноваты!.. Ах, позвольте мне высказать вполне мою мысль. Нет, тогда уж скорее страна была бы виновата перед нами. Наша вина состояла бы в том, что мы верили Франции, что мы хотели гарантий для свободы наконец, что мы были тем, чем хотела видеть нас Франция, что мы и теперь таковы, что мы всегда такими останемся».

Слабые и не слишком далёкие люди именно тем и отличаются, что никак не могут примириться с неизбежными последствиями факта, ими самими допускаемого. Они никак не могут обнять исторического явления во всей его обширности, со всею его обстановкою: им всё кажутся только клочки и обломочки. Кажется, чего бы им яснее владычества Людовика-Наполеона! Все его свойства и последствия очень прямо истекают из его сущности, — и отсутствие трибуны есть одно из обстоятельств, тесно с ним связанных. Они никак не хотят помириться с этим выводом, и им всё кажется, что Наполеон сам по себе, а поговорить на трибуне всё-таки не мешает. А о чём говорить этим господам, ненавидящим *suffrage universel* и боящимся народной свободы пуще всякого деспотизма? Впрочем, что за дело до этого! Предмет рассуждений — дело второстепенное; была бы только возможность и случай поговорить.

В защитительной речи Дюфора, адвоката г. Дуньоля, находим о Монталамбере почти то же, что у Беррье.

«Что же сделал писатель? Он рассказывает торжественные прения, при которых он присутствовал в палате лордов и в палате депутатов. Его упрекают, что он был тронут этим зрелищем, но кто же мог бы при этом остаться нечувствительным! В палате депутатов собраны самые знаменитые ораторы, самые лучшие государственные люди. За дверьми вся Англия теснится и благоговейно внимает. И отчего это? Какой вопрос занимает её, эту нацию, которую у нас называют эгоистической и меркантильной? Вопрос нравственный. Он служит душою этих величественных прений. И вы хотите, чтоб он не был тронут этим, он, человек трибуны, находящийся здесь живыми те рассуждения об общественных делах, которые занимали большую половину его жизни».

Вот как парламентаризм-то себя высказывает! Оба адвоката говорят с тёплым чувством о сладости поговорить с трибуны, хотя и знают, без сомнения, что для Франции, при нынешнем порядке вещей, толку от того было бы слишком мало. Что людям за охота напрасно тратить слова о пустяках, когда на очереди находятся вопросы несравненно большей важности! Что за привязанность к спорам о форме, когда само дело, сама сущность народной жизни ещё представляется им так смутно! Невольное чувство сожаления воз-

буждают эти господа, с своими жиденькими убежденными, в которых аристократизм и католичество перемешаны с несколькими либеральными фразами. Знаешь, что то, чего они добиваются, недурно между прочим, но в то же время понимаешь, что они решительно ни до чего не могут дойти по той тропинке, по которой пробиваются. Как скоро вопрос расширяется, они начинают бояться анархии, варварства, грабительства и т. д., и возглашают анафему разрушительным теориям, питающим уважение к *suffrage universel*. А между тем их собственные претензии только ведь и могут быть оправданы с точки зрения более общей и широкой, нежели на какой они останавливаются. Как скоро они входят в колею рутинных либералов, щеголяющих фразами о порядке и тишине, о свободе в пределах закона, о мирном и медленном прогрессе, вырабатываемом в парламентских прениях, и т. п., то уж для них нет оправдания разумного и юридического. Они не могут не признать справедливости большей части мыслей, выраженных, например, в обвинительной речи генерального прокурора по делу Монталамбера.

«Вы, рассуждает он, толкуете о свободе прений и о свободе печати и указываете нам на Англию. Но вспомните, что и Англия не с начала своего существования пользуется этой свободой. Ведь это результат истории. Нельзя нам переносить к себе того, что вытекает из исторического развития Англии. Вы сами говорите, что наш народ *стадо*; вы восстаете против всеобщей подачи голосов. Во имя чего же изъявляете вы претензию на свободу прений? Во имя небольшого кружка людей, одинакового с вами образа мыслей; во имя аристократической гордости, которая в вас не может утомиться? Да, ваша статья не составляет просто картину государственных учреждений Англии; вы в ней хотели сказать Франции: «буржуазия царствует, а аристократия управляет царством»; и вам жалко, что во Франции аристократия не управляет. Но в этом случае императорское правительство стоит выше ваших нареканий: оно связано с народом всеобщим избранием 8.000.000 голосов, оно опирается на законы весьма либеральные и умеренные, оно предоставляет вам и свободу рассуждений и свободу печати в известных законных пределах; но не может же оно, не теряя своего достоинства и силы, позволить неограниченную, необузданную свободу всякому. Правительство хочет укрепиться и удержаться в стране для того, чтобы править ею так, как оно признаёт нужным и полезным. Безумно было бы, еслиб оно при этом покровительствовало тому, что противно его видам. Поэтому оно не может допустить памфлетов, не может допустить, чтобы журналисты лили пули для возмущений. Свобода печати, как и всякая свобода, может быть только уделом стран, очень далеко ушедших в образованности. Франция доказала горькими опытами, что для неё свобода ещё может быть пагубна без постоянного государственного надзора. Все бывшие в ней революции производили только то, что ниспровергали существовавшие законы; цивилизация в этих волнениях едва не погибла под ударами варварства. Как же вы можете жаловаться на недостаток свободы? Что касается до меня, по крайней мере, то я торжественно признаю, что живу под свободными законами и вижу во Франции свободу прессы, свободу обучения, свободу совести, равенство всех перед законом, бесменность судей, законодательный корпус, учреждённый всеобщим избранием: чего же вам больше? Вы толкуете об уважении законов в Англии; но возьмите же сами с неё пример и уважайте отечественные законы, под которыми живёте. Не старайтесь же бросить на них дурной тени и не нарушайте их, исподтишка и стороною унижая императорское правительство, ограждённое законом и народной волей. Вас побуждает к этому одна только гордость ваша, чувство, которое всегда делает врагами правительства тех людей, которые принуждены удалиться от власти».

Назовите, пожалуй, все эти рассуждения дикими и бессмысленными: мы не обидимся за г. генерального прокурора. Но мы требуем последовательности и не хотим допустить легкомысленного соединения противоположных понятий. Пусть защитник медленного прогресса ждёт, пока события сделают своё дело, и пусть не плачет о том, что у одного народа нет такого-то учреждения, которое есть у другого. Учреждения придут вместе с дальнейшим прогрессом, а прогресс совершится в течение веков. Пусть также люди, толкующие о свободе в пределах закона, уважают на деле существующие законы, хотя бы они были даже нелепы. В противном случае, т. е. ежели они нелепых законов уважать не намерены, то пусть добиваются прежде отменения законов и установления новых, а потом уже и говорят об уважении к ним. Пусть также человек, сожалеющий об уничтожении парламентских прений волею одного, согласится, что не меньшего сожаления было бы достойно, если бы всеобщее избирательство было уничтожено волею нескольких. Г. Монталамбер и подобные ему аристократы уверяют, что народ глуп, и ему нельзя поручить дело. Но ведь то же самое про них самих может сказать та власть, которая села над ними, вследствие декабрьских выборов. И на такое суждение она, может быть, будет иметь не менее права, чем они в отношении к народу... Да уж если говорить всё беспристрастно, то зачем сваливать всю вину теперешнего положения Франции на глупость народа?.. Правда, он выказал много тупоумия, не умевши распознать тех, кто истинно желал ему добра. Но ведь надобно вспомнить, что всё-таки не народ действовал против них, а именно люди, более или менее близкие к партии гг. Беррье и Монталамбера. Известно, как оспаривались, ограничивались, искажались этими господами все предложения друзей народа в пользу рабочего класса. Известно, как одни кричали, что *organisation du travail**—есть такая дикая нелепость, которой они, после двадцатилетних размышлений, никак не могут взять в толк; другие утверждали, что под этим следует разуместь ни более ни менее, как строжайший надзор государства за работами и работниками; третьи представляли свои опасения, что получение работниками «права на труд» от государства подорвёт благосостояние частных подрядчиков, и потому считали необходимым выдумать на этот случай такие работы, которыми бы ни один частный промышленник в мире не занимался. Мудрено-ли, что такими искажениями первоначально хороших намерений закрыто было от народа настоящее положение дел. А кто виноват в этом? Неужели всё-таки глупость народа, которому, среди таких милых господ, оставалось только выбирать из двух зол меньшее?

Мы, впрочем, готовы согласиться даже и с тем, что народ выбрал не меньшее, а большее. Разница тут так незначительна в наших глазах, что уступка ничего не значит. Но ежели и так, то напрасно партия гг. Монталамбера и Беррье кичится пред «глупой толпой», которая при своём *suffrage universel* может делать только глупости. Мы знаем, что не один народ ошибся и увлёкся, выбирая президента.

* Организация труда (франц.). — *Ред.*

Многие из тех, которые способны и любят поговорить на трибуне, тоже разделяли тогда эту ошибку. Сам г. Монталамбер присягнул тогда Людовику-Наполеону и в первое время очень был расположен к действиям нового правительства. Неужто и в этом виноват *suffrage universel* и народная глупость, а не его собственная слабохарактерность и недалёковидность?

Правда, что в числе присягавших были люди и побойчее Монталамбера; но у тех были свои понятия—и о присяге, и о значении той власти, которой присягали. Они понимали, что Людовик-Наполеон, избранник народа, представляет интересы страны, и полагали, что присяга ему может иметь силу только до тех пор, пока он остаётся действительно верен интересам страны. Вовсе не таковы понятия легитимистов, к которым принадлежал Монталамбер: в их глазах присяга должна была означать акт подданства, как бы предание себя в волю вновь избранного правителя. После такого акта, в самом деле, немножко даже и совестно заявлять свои претензии против власти; да уж и бесполезно, даже больше—вредно и опасно... Этим господам не мешало бы вспоминать почаще хорошее сравнение, которое сделал как-то один из крайних врагов их. «Ротозен,—говорит этот господин, любящий выражаться с резкостью, иногда немножко циническою:—вы в 48-м году всё добивались,—когда это кончится!.. Вы предали всё—конституцию, свободу, честь, отечество,—только чтоб это кончилось... Ну, вот теперь вы попали в другую переделку. Вы было-подумали, что вы уж в дебаркадере, а в самом-то деле вы были только на станции. Слышите, локомотив свистит!.. Оставьте уж... пусть поезд идёт, а вы усядьтесь-себе в уголок, пейте, ешьте, спите и не говорите ни слова. А то ведь, уверяю вас,—ежели вы будете ещё кричать и бесноваться, так ещё самое лучшее, что с вами может случиться,—это то, что вы попадёте под вагон».

Действительно, так и вышло... А всё дело-то вышло из пустяков. Ну, стоило-ли выходить из себя по тому случаю, что в Англии ораторское искусство ко благу страны развивается, а во Франции нет? Разве об этом следовало говорить, если уж говорить-то? Нужно было рассмотреть *весь* теперешний ход дела во Франции, и если уж выражать желание перемен, то более общих и серьёзных. А то какой же толк от микроскопических прибавочек, с одной стороны, и чуть-чуть приметных ограничений с другой? Не думайте, что вы много выиграете, ежели разобьёте стекло в доме вашего заимодавца, который держит вас у себя взаперти для подписания векселя. Ему вы разоренья большого этим не причините, и себе особенной отрады не получите: да ещё не забудьте, что он за буйство может вас скрутить ещё больше. Положим даже, что он добрый и притеснений вам делать не захочет, даст вам всевозможные льготы, будет с благосклонной улыбкой слушать, когда вы станете его ругать... Но если всё-таки он вас не выпустит и всё-таки вы у него взаперти будете сидеть до подписания векселя,—так, право, очень немного будет для вас выгоды в том, что он будет благосклонно слушать ваши разглагольствия. Если вы человек, понимающий свою пользу, то постараетесь, конечно, как-нибудь поскорее отделаться от вашего заимо-

давца, да и так отделаться, чтоб никакому другому в руки не попасть. А то, что за радость—одну тюрьму на другую менять!.. Другое дело, если есть возможность от всех долгов и грешков очиститься, с ростовщиками не знаться вовсе, и зажить своим домком, хоть не на широкую барскую ногу, да зато казаком вольным. Но вот беда: не знаем, ручаются ли за себя самих господа, единомышленные графу Монталамберу,—но Францию, массу народа, они решительно признают несостоятельным и неспособным расквитаться с своими долгами. А ежели так, то, по нашему, и толковать не о чем. Сообразнее было бы с началами г. Монталамбера, если бы он и после 1852 г. последовал тому же образу действий, какому следовал в 1832 г. Известно, что когда Григорий XVI осудил мнения газеты *L'Avenir**, основанной Монталамбером вместе с Ламенэ, то Ламенэ, вместо ответа, вскоре потом разразился сердитою книгою *«Paroles d'un croyant»***, а Монталамбер смирился и умолял, оставивши издание, в котором прежде с такою гордостью ратовал за двойной девиз его *«Dieu et liberté»****. Известно также, что Монталамбер скупил сам почти всё издание своего перевода «Польских пилигримов» Мицкевича, когда книга эта была осуждена... Тогда он был последователен. Не мешало бы уж и теперь выдержать тот же характер. Тогда, по крайней мере, он не услышал бы из уст императорского прокурора следующего отеческого наставления, читая которое, мы никак не могли удержаться от улыбки. «Ведь уж вы не в первый раз замечены в подобных шалостях»,—почти так говорит ему императорский прокурор, и продолжает,—буквально таким образом:

«Вы говорили о правительстве Луи-Филиппа то же, что теперь говорите о правительстве императора. В предисловии к «Польским пилигримам» вы осмелились поносить правительство, которое вы любили, как говорите. Я сейчас наекнул на ваши слова, что журналисты лили пули для возмущения; да вы сами лили такие пули. Вы сами в этом сознались, вы принесли тогда публичное покаяние, вы просили в этом прощения пред богом и людьми... Сознать свои заблуждения означает, конечно, величие духа; но зачем же вы опять хотите приниматься за то же?..»

Тон этого наставления нам очень понравился. Если бы генеральный прокурор, призвавши г. Монталамбера и потрактовавши его таким образом, как маленького шалуна, ограничился своим отеческим внушением, мы бы решительно сказали, что он повёл своё дело блистательно и безукоризненно...

Но мы не можем сказать этого о действиях почтенного чиновника после всего, что открывает процесс г. Монталамбера. Генеральный прокурор не умел воспользоваться своим положением и простёр своё усердие слишком далеко. Придавши своим обвинениям характер излишне-мрачный, он поставил себя в уровень с защитниками Монталамбера, тогда как они, при начале дела, имели гораздо менее шансов, не имея для себя твёрдой логической опоры. Мы не читали вполне статьи Монталамбера и потому не можем сказать, есть-ли в ней

* «Будущее» (франц.). — *Ред.*

** «Слова верующего» (франц.). — *Ред.*

*** «Бог и свобода» (франц.). — *Ред.*

места, по которым бы юридически можно было доказать его посягательства на авторитет нынешнего французского правительства. Но, говоря по совести, и сами гг. Беррье и Дюфор нимало не сомневаются, вероятно, в том, что невыгодный для Франции параллель её управления с учреждениями Англии явился в статье Монталамбера вовсе не случайно и не неумышленно. А между тем, им приходилось защищать именно последнее положение... И зато как жалки становятся защитники, как скоро речь коснётся этого пункта. Нельзя без сострадания читать, напр. у г. Беррье, такие увертки:

«Что касается до прямого и личного намерения нападать на теперешние учреждения Франции, то где вы нашли следы этого у г. Монталамбера? Прочтите его статью; вы увидите, что он выражает привет свой правительству за то, что оно с мужественным постоянством поддерживает союз с Англиею; он даже прославляет ту мудрость, с которою правительство наше умело отказаться от требований, оскорбительных для права убежища. Наконец, с каким уважением говорит он о генерале, который является в Англии столь достойным представителем Франции».

На эти же самые места статьи указывает и Дюфор, чтобы оправдать автора... Но кто же не видит, как жалко-наивно подобное оправдание!..

Но г. генеральному прокурору как будто совестно было своего страшного превосходства, и он, без всякой надобности, наделал уступок мнениям противников. Он сам счёл нужным пуститься в мелкий либерализм и высказал в своей речи, что, конечно, английские учреждения хороши, что свобода мысли и слова во Франции не стеснена, что рассуждать можно, что лесть гнусна, вредна, и пр. Ну, на этом пути, разумеется, гг. Беррье и Дюфор ушли гораздо дальше его и потому сказали ему несколько резких и справедливых вещей, хотя всё ещё крайне недостаточных. Вот несколько мест, которые были приводимы в газетах из речи Беррье:

«Мы часто не соглашались с Монталамбером, мы часто боролись с ним в двух противоположных лагерях, но мы с гордостью можем сказать, что во все времена, как и теперь, мы постоянно поддерживали наши основные принципы — *порядка и свободы*. Да, посреди общественных ужасов мы были с ним соединены этим отважным и энергическим стремлением; мы имели одну и ту же мысль: спасём общество, но спасём и свободу. С этим же самым девизом я выступаю для отвержения обвинения несправедливого, неосновательного, неблагоприятного, опрометчивого, даже можно сказать, дерзкого».

Очевидно, что с самого начала г. Беррье ступает на тропинку, указанную самим же императорским прокурором: тот говорил о свободе, и г. Беррье смело провозглашает свободу и во имя её хочет защищать обвинённого. Ясно, что в таком случае перевес легко может остаться на его стороне. И действительно, поверивши-ли генеральному прокурору или уж сам, нечаянно увлекшись, г. Беррье начинает говорить вещи, довольно смелые и колкие для французского правительства. Тут происходит сцена. Продолжая свою речь, г. Беррье говорит, между прочим:

«Нам скажут, что хотя прямого нападения на правительство и не было, но нападение состоит уже в самом контрасте, который постоянно проводится между английской свободой и теперешним положением Франции. Что же, если человек, присутствовавший при прениях в английском парламенте, нашёл контраст в фактах? Мы сейчас увидим, преступны ли выражения, которые он употребил; но, повторяю, — он только указывал факты».

На этом месте г. Беррье прерван был г. президентом Бертеленем, который заметил:

«Суд пропустил в вашей речи несколько горячих выражений и живых намёков; но он должен вас остановить на опасном пути, в который вы вдаётесь. Вы защищаете (plaidez) то, что написал г. Монталамбер; защищая преступление, вы возобновляете его».

Г. Беррье. Намёков! Г. президент, — верно язык изменил мне, если в моих словах не вполне выразилась моя мысль.

Г. президент. Я не могу вам позволить сказать, что во Франции нет теперь свободы.

Г. Беррье. Если так, г. президент, — если нужно отвергать то, что яснее дня, если нужно лгать, лгать и лгать, то мне остаётся только замолчать и уйти. Я отказываюсь от защиты.

Г. президент. Нет, г. Беррье, вы не будете лгать. В 1811 году, когда вы вступили в судебное сословие, прославленное вами, вы дали присягу, возобновлённую вами впоследствии, на сохранение должного уважения к законам. Вы всегда были верны этой присяге и останетесь ей верны и теперь.

Г. Беррье. Я нарушаю присягу! Но вы меня пугаете, г. президент. Вы переносите мои мысли к тому времени, когда считалась преступлением похвала доброму человеку, похвала добродетели, благородным стремлениям, хорошему законам. Нет, я не хочу вспоминать этого времени: *legimus capitale fuisse*. Нет, я не соглашусь, чтобы похвала свободному правительству могла быть оскорбительна только потому, что она составляет контраст с нынешними учреждениями Франции...

И в какие странные толкования вы вдаётесь. Автор говорит о тех, для которых правительство есть правительство передней (*gouvernement d'anti-chambre*); а вы говорите, что он это относит к французскому правительству. Но разве передние не принадлежат ко всем временам и ко всякому правлению? Разве не одни и те же люди постоянно пресмыкаются у подножия власти, нищенствуют, кланчат, лысят или пытаются лыстить?.. Я видел их, этих людей, когда я был ещё очень молод, точас после 1815 г. Они тогда держали за собою монополию роялизма, они провозглашали себя поборниками легитимизма, и не прошло шести месяцев, как я видел их ползавшими пред порогом правительства Ста Дней. Если б я был из тех, которые бьются во дворцах, то я теперь бы узнал там, конечно, тех же людей, вечно тех же, низких, ползающих, вымаливающих позволения делать подлости и отвергаемых даже теми, кому они себя предлагают. Вы видите теперь, к кому относятся выражения о «правительственной передней»; можно ли видеть в этом нападение на правительство?»

Из этих мест уже можно видеть, что г. генеральный прокурор не совсем благополучно мог выдержать диалектическую борьбу, лишивши себя крепкой опоры и давши своим противникам все шансы к защите. Г. Беррье ещё можно было упрекнуть за изящную горячность; но адвокат г. Дуньоля, Дюфор, умел извлечь все выгоды из своего положения, даже постоянно удерживаясь в пределах, очерченных г. генеральным прокурором, — в пределах умеренной свободы, уважения к законам и т. п. Приводим одно место из его речи:

«Я понимаю, что мысль не может оставаться совершенно без всякой узды, что выражение её должно быть заключено в известные пределы. Но эти пределы должны быть ясно обозначены, — иначе будет невозможным

всякое проявление мысли. Что составляет силу нации? Что творит дух народа? Не эта-ли совокупность общих понятий, которые составляются из обмена различных мыслей? Нет ни одной страны, где бы люди вовсе не могли сообщать друг другу своих мыслей; но неужели вы не сознаёте, что самым несчастным из всех народов на свете был бы тот, у которого, при неопределённости границ для выражения мыслей,—чиновники могли бы звать в суд, кого им вздумается, и осуждать всякого, кто им не нравится? Поэтому-то все уголовные законы, и в особенности законы, ограничивающие свободу прессы, о которых мы сами тоже рассуждали в одно время,—эти законы точнейшим образом должны определять преступления, за которые они полагают наказание. В этом состоит их отличительный характер.

Бывают времена счастливые и мирные, в которые обществу почти ничто не угрожает. В эти эпохи, когда правительство верит в свою собственную силу, свобода общественная развивается спокойно, законы отличаются благородством и широтой взгляда. Таков, например, этот закон 1819 г., который всегда будет служить ко славе конституционной монархии и с которыми связаны имена гг. Серреса, Ройе-Коллара и др. Бывают, напротив, и другие эпохи, когда общество, угрожаемое со всех сторон, имеет нужду в законах более суровых. Так в 1848 г., ввиду такого правления, которого одно имя повергало в трепет, при борьбе тех, кто предпочитал монархию, и тех, кто желал анархии,—в это время нужно было издать суровые законы. Г. генеральному прокурору угодно было видеть в этой эпохе только зрелище беспорядка и анархии, но я позволяю себе заметить, что это было также время защиты порядка. Законы, которые были нужны для общества, тогда были изданы; г. генеральный прокурор должен знать это, потому что на эти именно законы он опирается при своём обвинении... Правительство может выбирать между законами более свободными или более строгими; но как бы то ни было,—оно ни в каком случае не может основываться на произволе, вместо точного смысла законов».

Подобные рассуждения, при всей своей умеренности и даже слабости, производили на слушателей сильный эффект и делали положение г. генерального прокурора вовсе незавидным. Он не мог хорошо отвечать на такие возражения, потому что сам поставил себя в положение фальшивое. У него на уме была вовсе не умеренная свобода в пределах закона, и он вовсе не был столько глуп, чтобы полагать, будто интересы страны могут пострадать от того, что хвалят английские учреждения. У него, очевидно, была другая *arrière-pensée**; но он не хотел её высказывать. А между тем эта *arrière-pensée*—вовсе не тайна для современной Франции. Один из умных людей Франции ещё в 1852 г., тотчас после *coup d'état*, описывал эту *arrière-pensée* следующим образом:

«Полагали, что для того, чтобы отбросить назад демократический террор, необходимо было в высшей степени сосредоточить власть, уничтожить верховное значение народа, отнять у масс политику, запретить всякому писателю, исключая одобренных министерством, говорить о политических предметах; умерщвление политического смысла везде и во всём, восстановление авторитета,—таково было слово порядка, ограждавшего страну от всех переворотов. В самом деле, рассуждали тогда,—какое же правительство возможно, если допустить конституционное право оспаривать правительство? Как возможно папство рядом с принципом свободного истолкования религии. Что вышло из шумных собраний, составленных из элементов столь различных? Второе декабря прилагает к делу именно эту теорию, по мере сил своих»...

* Задняя мысль (франц.). — *Ред.*

На эту точку зрения следовало стать г. генеральному прокурору прямо и откровенно, если он хотел заградить уста своим противникам. Стоило ему отбросить лицемерие, вовсе не нужное при настоящем положении дел во Франции и совершенно бесполезное при той степени образованности, на которой стоит эта страна, и одним этим прямодушием победа была бы вполне для него обеспечена. В самом деле, стоило сказать откровенно: «французский народ, восьмью миллионами избирательных голосов вручил свою судьбу усмотрению Людовика-Наполеона; всякий, кто хотя словом, хотя намёком осмелится воспротивиться этому решению, восстаёт против решения народного, следовательно, должен быть судим, как изменник страны своей; вы выражаете желание оставить за собой право публичных рассуждений, и, конечно, не с тем, чтобы всегда беспрекословно соглашаться, а для того чтобы иногда противоречить предложениям и распоряжениям избранного народом правительства; одно это желание само по себе составляет уже преступление, и за это преступление вы должны быть наказаны». Постановка вопроса была бы гораздо проще и прочнее, и даже благороднее. Ведь и теперь всякий видит, что за хитросплетёнными рассуждениями генерального прокурора в сущности всё-таки остаётся именно этот смысл; отчего же прямо всего не высказать? Что за непонятная деликатность, что за странная охота играть плохую комедию, брать на себя несоответственную роль, ставить себя в фальшивое положение?

Любопытно бы было послушать, что стали бы говорить гг. Беррье и Дюфор в подобных обстоятельствах. Положение их было бы затруднительно: опираться в своей защите на значение самого *suffrage universel* им было бы неудобно, потому что они не признают его ни в каком виде; нападать же на *suffrage universel* не представлялось никакой возможности, не возобновляя преступления самой защитой... Пришлось бы бедным защитникам ограничиться этими патетическими фразами, которых так много в речи Беррье,—вроде того, что: «ах, дайте нам умереть верными тем убеждениям, которые мы видели побеждёнными и поруганными!.. Ах, позвольте нам до гроба любить великие битвы слова» и т. п. Да и этим сентиментальным фразам пришлось бы придать тон ещё более умоляющий.

Да, удивительно неумение, выказанное г. генеральным прокурором, относительно распознавания людей и своего положения. Разумеется, категорическое объявление абсолютного авторитета Людовика-Наполеона не могло иметь места при других обстоятельствах и с другими людьми, но пред легитимистами, да ещё присягавшими, решительно не стоило церемониться. В этом случае гораздо опаснее могли быть люди, принимающие *suffrage universel* и автономию народа. Тех, конечно, следует остерегаться, если завести с ними судебное дело. С теми полезны и хитрости, вроде фраз об умеренной свободе, тихом прогрессе, уважении к существующим уже законам, и т. п. Те, как известно, люди незнакомые с аристократическими галантерейностями обхождения, и они «в книжках и словесно» не раз уже выказывали, как натурально и не застенчиво рассуждают они о разных вопросах, отправляясь от того же *suffrage universel*, на который опирается

г. генеральный прокурор. Рассуждения их, безумные, по общему признанию, но строго последовательные (с точки зрения suffrage universel) имеют обыкновенно такой вид: !

«Вы, г. генеральный прокурор, признаёте основой нынешнего правительства всеобщее избрание, по которому правительство является представителем интересов страны. В этом я с вами совершенно согласен, и потому уважаю нынешнее правительство столько же, сколько и интересы страны, с ним связанные. Но не забывайте же, что нынешнее правительство Франции — представитель народа и пользуется своими правами не само по себе, абсолютно, а во имя прав и интересов народных. Следовательно, я, как и каждый гражданин, обязан уважать его лишь *настолько и до тех пор, насколько и откуда* оно связано со всей страной, идёт заодно с народом. Я могу оскорбить правительство только тем поступком, которым я становлюсь виновен перед всем народом. В делах же, всего народа не касающихся или безразличных для него, я — полный господин, не подлежащий ответственности перед нашим правительством, народом избранным. Если я посягну на ваши должностные права, г. генеральный прокурор, — я оскорблю народ, давший вам эти права; но если я обыграю вас в карты или вздумую соорудить над вами, помистифицировать вас в частной жизни, изобразить вашу персону в безобидной карикатуре, и т. п., то во всех этих случаях перед народом я не виновен и ответственности не подлежу. Бесспорно, — вы заслуживаете уважение, как представитель народа; но я знаю наперёд, что к этому представительству насколько не относится, например, ваша лысина, ваше гнусливое произношение, ваша хромота или близорукость, картёжная игра или объядение и т. п. Во всех подобных случаях я, значит, имею дело только с вами, господином таким-то, во всём равным мне гражданином, а не с генеральным прокурором или другим чином, представляющим в себе интересы народа. Следовательно, если мне не нравятся ваши знакомые, и я говорю, например, что они лстецы и негодяи, то они и вы можете, пожалуй, начать частный иск против меня, но никак не можете выставлять на вид suffrage universel и интересы страны, где является частная жизнь и личные отношения: там ваше представительство кончается, и народу до вас так же мало дела, как до всякого другого. Теперь далее. Во всём, что для народа важно и не безразлично, вы можете действовать во имя народа, но не иначе, как при полном убеждении, что ваши действия именно выражают его стремления и интересы. Как же вы в этом убедитесь? Прибегать к всеобщей подаче голосов по каждому делу — нельзя; аналогии и наведения как раз обманут; собственное личное рассуждение не представляет достаточно гарантий на то, что результаты его будут согласны с народной волей. Единственное средство продолжать свою представительную роль достойным образом состоит в том, чтобы прислушиваться к мнениям, раздающимся около вас. Чтобы доставить вам к этому полные удобства, вам предлагается пресса. Видите ли, г. генеральный прокурор, как ваша роль в отношении к прессе изменяется, если вы только захотите правильно посмотреть на ваше представительное значение. Никогда и ни в каком случае не может быть у вас речи о том, чтобы позвать писателя к суду; напротив, suffrage universel, сделавший вас представителем народа, обязывает вас прислушиваться непременно ко всякому голосу, исходящему из этого народа, и прислушиваться не затем, чтоб заглушать его, а затем, чтоб принять его в соображение. Высший идеал представительной роли вашей состоит, конечно, в том, чтобы осуществить и примирить в себе интересы решительно всех людей, составляющих нацию, — точно так, как высший идеал всеобщего избирательства состоит в полном единодушии всех избирателей. Но вы знаете, г. генеральный прокурор, что интересы всех примирить невозможно; стремитесь же, по крайней мере, к тому, чтобы достойным образом выразить в себе интересы как можно большего числа лиц. Я, как часть народа, которого вы служите представителем, имею полное право предъявлять мои требования и соображения. Но, ежели я объявлю, напр., желание, чтобы у вас на двух руках было не десять пальцев, а одиннадцать (по пяти с половиной на каждой руке), то вы

можете оставаться спокойны, предполагая, что мои желания в этом случае совершенно исключительны и никем не разделяются. Преследовать меня, конечно, вы не имеете права, так как мои желания интересам страны не вредят; но вы имеете право не обращать на них внимания. Но совсем другое дело, ежели я выражаю требования серьёзные и важные, которые находят сочувствие и приобретают последователей. Тогда вы уже обязаны обратить серьёзное внимание на мои требования и тем внимательнее должны их рассмотреть, чем значительнее та часть избравшего вас народа, которая выражает ко мне сочувствие. Если вам мои мнения не нравятся, и вы полагаете, что часть народа вовлечена мною в заблуждение, — то обратитесь сами к народу, которого служите представителем, и изложите пред ним дело по вашим понятиям. Если и тут вас не послушают, а отдадут преимущество моим мнениям, уступите, помня, что вы сами по себе ничего, а только как представитель массы имеете значение. Не хотите уступить тому, что несогласно с вашими понятиями, — скажите, что вы не можете более служить представителем народа, который разошёлся с вами в понятиях о собственной пользе. Сказавши это, — удалитесь и продолжайте вашу борьбу с противником, уже как частный человек. Вот к чему обязываетесь вы, г. генеральный прокурор, принимая на себя роль представителя народа и основывая свою власть на *suffrage universel*. Ни один добрый и рассудительный гражданин не может и не должен понимать иначе ваших прав и обязанностей. Только тупая и злонамеренная лесь может вас уверять, что, раз навсегда принявши на себя представительство народа, вы так и можете окостенеть в том моменте, в каком эти интересы находились при вашем избрании. Нет, избранные *живым* народом, вы приняли на себя его *живые*, движущиеся, изменяющиеся интересы, и сообразно с ними вы сами должны двигаться вперёд, пока можете; а когда устанете или выбьетесь из сил, то остановитесь, пожалуй, но уж не говорите, что вы представляете народ, не останавливайте за собою тех, которые не устали, и, главное, — не подставляйте ногу тем, которые вас опережают».

При подобных рассуждениях обыкновенно генеральному прокурору, президенту суда и другим чинам делается не совсем ловко. Они чувствуют, что тут и совесть, и логика их не совсем чиста. И вот почему, кажется, они так тщательно избегают прямого поставления вопроса; вот почему они стараются запутать простое дело, говорят о всеобщем избирательстве и тут же подбавляя уважительную свободу, медленный прогресс законов, и т. п. Они, очевидно, боятся, чтобы Франция не заметила, наконец, что в основании многих правительственных действий последнего времени лежит вовсе не забота о достойном поддержании интересов народа, вовсе не уважение к всеобщему избирательству, а просто личный произвол. Боязнь эта выразилась очень ясно и в процессе Монталамбера, который, если может быть для нас интересен, то именно с этой точки зрения. Недостаток веры в самого себя, в свою силу и право выразился уже в том, что из-за ничтожной статейки подняли государственное дело. Правительство, усидевшее спокойно на месте после покушения 14 января,⁹¹ вдруг обнаруживает робость пред иллюзиями искреннего католика и легитимиста, — не любопытно ли это в самом деле! Ещё более выразилось сознание собственной слабости в том, что всячески старались придать процессу Монталамбера как можно менее гласности. В судилище были допущены только избранные, по особым билетам; журналам запрещено было говорить о деле Монталамбера; даже приняты были меры, чтобы стенографы не записывали речей адвокатов. Всё это было, разумеется, и нерасчётливо, потому что предосторожности только

более раздражили общее любопытство, и процесс Монталамбера наделал такого шума, какого бы, конечно, не было, если бы всё дело ведено было обычным порядком.⁹⁵ Наконец, всех изумил поступок императора Наполеона, когда он помиловал Монталамбера, не дождав-шись, пока решение суда пройдёт все инстанции. Известно, что под-судимый не принял помилования и объявил, что он подаёт на апелля-цию и ожидает оправдания, а не милости. Неизвестно, будет ли он оправдан [но отказ его принять прощение не мог быть приятен прощавшему. Все эти обстоятельства представляют нам не совсем в благоприятном виде современный порядок дел во Франции. Народ, правда, не замечает и, может быть, долго ещё не заметит, что его suffrage universel служит орудием для обличений в процессах, подоб-ных Монталамберовскому; но когда-нибудь, наконец, он это заметит. Мы убеждены, что люди, полагающие, будто такими вещами, как всеобщая подача голосов, можно играть и злоупотреблять безнака-занно, жестоко ошибаются].



ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ ПРОШЛОГО ГОДА⁹⁶



Притворной нежности не требуй от меня.

Баратынский.

I

«О пять за мелочи!.. И, верно, опять с какой-нибудь пакостной целью!»—воскликнет солидный читатель, увидав заглавие нашей статьи,—и с сердцем перекинет несколько страниц, чтобы добраться до чего-нибудь более грандиозного...

Остановитесь, читатель: ваши доиски будут напрасны. «Современник» давно уже не имеет никакой грандиозности, к великому при-
скорбию многих суровых аристархов литературы. Несколько раз уже с некоторой печальной торжественностью, но не без тайного злорадства, объявляли они, что «Современник» ниспал с пьедестала, на котором будто бы стоял прежде, что он потерял благородное благоговение к науке, зовёт прекрасное мечтою, презирает вдохновение, не верит любви, свободе, на жизнь насмешливо глядит, словом—не имеет никаких убеждений и способен только к глумлению. Теми или другими словами, с большим или меньшим прикрытием и приличием, всё это много раз было напечатано по поводу разных статей «Современника», преимущественно критических. Мы считали излишним и неудобным оправдываться от всех частных обвинений против нас, потому что они обыкновенно имели следующий вид: некий господин пишет посредственную книжку, статейку или стишки о ничтожном предмете; мы говорим, что книжка или статейка посредственна, а предмет ничтожен; автор статейки, или его друзья, или поклонники и единомышленники, восстают на нас, провозглашая, что статейка превосходна, а предмет—грандиозен, «Современник» же оттого сделал неблагоприятный или холодный отзыв,

Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него...⁹⁷

Опровергать подобные нападения—значило бы опять повторять господину, сочинившему посредственную статейку о ничтожном предмете, что статейка его посредственна, а предмет ничтожен, и что тем

более он заслуживает порицания и насмешек, чем выше возносит чело своё, озарённое мелкими думами о ничтожном предмете. Но кто полагает, что повторения вещей столь назидательных могут быть веселы и легки, тот жестоко ошибается; ничего скучнее их не может быть для человека, у которого есть хоть две мысли в голове, и потому люди, поставленные обстоятельствами в необходимость продавать беспрестанно такие повторения, достойны искреннего сожаления всякого благомыслящего человека. И тем более следует пожалеть их, что все их тягостные труды обыкновенно оказываются напрасными. Ведь ни одного господина нельзя уверить, что над ним смеются не потому, чтоб уж в самом деле *«ничего во всей природе благословить не хотели»*,⁹⁸ а просто потому, что *его-то* благословлять не за что, *он-то* смешон с своими заносчивыми возгласами о разных ничтожностях. Нет, каждый из подобных господ готов жизнью пожертвовать за сохранение величия того, что ему кажется великим, и ничем не убедится в своей мелочности. Все они подобны мышам на корабле, открывшим страшную течь и пророчившим гибель всему кораблю. «Помилуйте, страшная течь,—вода мне до самого рыла дошла», уверяет всех подруг своих крыса, пользующаяся авторитетом, и партия мышей решается заблаговременно спастись вплавь и бросается в море, чтобы показать свой героизм и дальновидную предусмотрительность... Туда им и дорога, конечно.

История дальновидных мышей несколько раз повторялась в русской литературе, только в обратную сторону. Наши писатели никогда не доходили до того, чтобы броситься в море, проповедуя гибель кораблю (на то они люди, а не мыши); совершенно напротив: во время опасного плавания в открытом море они, увидав на волнах щепочку, брошенную с их же корабля, не раз поднимали радостный вопль, что берег близко... Кто раньше поднимал этот крик, тот и привлекал к себе общее благодарное внимание; кто прибавлял тут же полезные советы, как избавиться прибрежных мелей и подводных камней,—на того смотрели с благоговением; а кто наставлял плователей, как им воспользоваться всем, что найдут на предполагаемом берегу, тот мгновенно приобретал себе титул гения и великого человека.

На нашу долю ни разу, кажется, не выпало подобного удовольствия и чести, и вследствие того мы подверглись многим нареканиям... В самом деле, для многих должен был показаться странным холодный и насмешливый тон, обращённый на те предметы, которые в большинстве возбуждают неистовый восторг и благоговейное поклонение. Уже несколько лет все наши журналы и газеты трубят, что мгновенно, как бы по мановению волшебства, Россия вскочила со сна и во всю мочь побежала по дороге прогресса, так что её теперь никак не догонишь... Несколько лет уже каждая статейка, претендующая на современное значение, непременно начинается у нас словами: «*в настоящее время, когда поднято столько общественных вопросов*» и т. д. следует изложение вопросов. Несколько лет уже русская литература льстила обществу, уверяя, что в нём теперь пробудилось самосознание, раскаяние в своих пороках, стремление к со-

вершенствованию; а русское общество похваливало литературу за то, что она так старается вызолотить горькие пилюли, которые, наконец, заставила его принимать прошедшая его жизнь. Лесть и самообольщение—таковы были главные качества *современности* в литературных явлениях последнего времени. Странно сказать это о литературе в то время, когда она из кожи лезла, по собственному признанию, *преследуя и обличая, карая и вырывая с корнем* всякое зло и непотребство на земле русской. Но всмотритесь пристальнее в характер этих обличений,—вы без особенного труда заметите в них нежность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся разве только нежности, обнаруженной во взаимных отношениях тех достойных людей, один из которых у Гоголя мечтает о том, как «высшее начальство, узнав об их дружбе, пожаловало их генералами». «Конечно, это плохо, это гадко, безумно, отвратительно»,—говорят все обличители, не скупясь на сильные эпитеты,—и вы думаете: вот молодцы-то, вот энергические-то деятели!.. Погодите немножко: это в них говорит Собакевич; но Манилов не замедлит вступить в свои права, и у них тотчас явится и мостик через речку и огромный дом с таким высоким бельведером, что оттуда можно видеть даже Москву.

— Конечно, чиновники берут взятки, но ведь это единственно от недостаточности жалованья; прибавьте жалованья, и взяток не будет в России... Невозможно же допустить предположение, чтобы взятки брали и те чиновники, которые по своему чину и месту служения получают хорошие оклады. Нет, как можно: вся язва взяточничества ограничивается чиновниками низших судебных инстанций, получающими ничтожное жалованье.

— Просвещение плохо подвигается,—правда. Но ведь вся беда в том только, что в гимназиях учителя и учебники плохи. Но если бы гимназии приготавливали достойных слушателей для наших великих профессоров, да если бы профессора и академики удостоили заняться составлением учебников,—о! тогда у нас мгновенно водворилось бы лучезарное просвещение. «Общества нет в деревне; надобно в город ездить, чтобы увидаться с образованными людьми,—как говорит Манилов.—Но, конечно, если бы соседство близкое, если бы человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку... словом, если бы такой образцовый человек, как вы, Павел Иванович... о! тогда наша деревня и уединение имели бы много приятностей...»

— Ремесленный класс у нас в дурном положении,—жаль. Но это зависит, впрочем, от личности хозяев, и больше ни от чего; надо только запретить хозяевам бить и морить голодом мальчишек,—и ремесленники наши будут благоденствовать.

— Промышленность у нас развивается слабо, торговля не в блестящем положении... Ах, это очень просто: конкуренция слаба, оттого что тариф высок. Пониженный тариф—это универсальная и радикальная мера для развития нашей промышленности и торговли.

[— Мужики живут плохо. Что делать? Мужики, во-первых,

грубы и необразованы; а вследствие того, во-вторых, они мало имеют потребностей и не способны к высшим, деликатным наслаждениям. Они привыкли к своей судьбе и ею довольны; значит, об этом и толковать нечего. Следует только позаботиться об уничтожении злоупотреблений их положения.]

— Пропивается сильно русский человек... Это грустное явление... Но ведь тут вся беда оттого происходит, что система винных сборов несовершенно устроена. Стоит завести акциз вместо прежнего откупа (и даже с небольшою надбавкою), и всё пойдёт отлично.

В таком виде представляются нам почти все русские обличители. Кричат, кричат против каких-то злоупотреблений, каких-то дурных порядков... подумаешь, у них на уме и бог знает какие обширные соображения. И вдруг, смотришь, у них самые кроткие и милые требования; мало этого,—оказывается, что они и кричат-то вовсе не из-за того, что составляет действительный, существенный недостаток, а из-за каких-нибудь частных и мелочей. Они смахивают немножко на одного из наших знакомых, о котором может дать понятие следующий случай. Прочитавши несколько критических статей об «Истории русской цивилизации» г. Жеребцова, он проникся к г. Жеребцову живейшим негодованием и принялся ругать его на чём свет стоит... Читателям известно, что мы невысокого мнения о книге г. Жеребцова;⁹⁹ но нам показался неумеренным и уже слишком театрально-патетическим тот азарт, с каким наш знакомый позорил историю русской цивилизации. Мы сделали какое-то замечание, направленное к тому, чтоб удержать несколько его порывы. Но он возразил нам,—как бы вы думали?—следующим образом: «Нет, уж вы г. Жеребцова не защищайте (а мы и не думали защищать). Нет, так писать нельзя... Это не годится... Нет, как же это можно? Помилуйте, что же это будет? Он говорит, что Батый проходил через Калугу, тогда как Калуга делается известною в нашей истории только с 1389 года. На что же это похоже? Ну, скажи бы он, что Батый проходил через Калужскую губернию, через те места, где ныне Калуга, это было бы другое дело. А то вдруг Калугу выдумал за полтора столетия до её существования. Это совершенно напоминает того городничего, который велел пожарной команде быть всегда на месте пожара за полчаса до появления пламени... Ха-ха... Но, без всяких шуток, видно, что г. Жеребцов писал, не справляясь с Карамзиным, потому что в Истории Карамзина есть сведения о Калуге. Это и повредило всему делу. А загляни г. Жеребцов в Карамзина, он, разумеется, при своей любви к родине, при своих обширных знаниях и при своём светлом взгляде, мог бы написать отличную вещь».

Почти все наши обличители заканчивают свои суровые речи подобным образом. Но это ещё зло не так большой руки в сравнении с тем, что говорится многими, и самими обличителями в том числе, во славу нашего времени, нашего общества, наших успехов, на всевозможных поприщах. Тут уж идёт совершеннейшая маниловщина.

Кто-нибудь напишет в повести: «меня обокрали неизвестные люди»,—сейчас поднимаются крики о том, что у нас процветает гласность.

Сделают учёное открытие, что от увеличения налога на соль она не подешевеет: начинают с благоговением повторять, что наука идёт у нас вперёд исполинскими шагами.

Сказал кто-то новую мысль, что жид—человек, а не скотина, и ничто человеческое ему не чуждо: тотчас в трубы трубить начали, что у нас гуманность на высшей степени развития (исключая только некоторые презренные личности).

Напишет кто-нибудь, что дурно делали наши мелкие чиновники, когда взятки брали: мгновенно поднимается оглушительный вопль, что у нас общественное сознание пробудилось.

Явится статейка, доказывающая, что не следует заставлять людей совершенно даром на нас работать, а нужно только стараться нанять их как можно дешевле: все в восхищении и кричат, что общечеловеческие начала у нас превосходно выработались.

И не довольствуясь тем, что мы теперь так хороши, наши Маниловы начинают торжественно рассуждать о том, как хороши мы были и прежде (то есть не в недавнее время, а в древности, в *прежнее прежде*), и о том, какая великая будущность нас всегда ожидала и ожидает. Одни делают это простодушно, в полном сознании, что о великой будущности именно и кстати потолковать по тому случаю, что мы понимаем теперь вред взяточничества, крепостного права и т. п. Другие же поддакивают этому вовсе не по простодушью, а по тому же самому чувству, по которому Чичиков поддакивал Манилову. Немудрено, что в нашей литературе беспрестанно повторяется знаменитая сцена, в которой Манилов представляет Чичикову детей своих. «Какой, душенька, у нас самый лучший город?»—Петербург.—«А другой?»—Москва». Литературные Маниловы и Чичиковы приходят в восхищение. «У этого ребёнка будут замечательные способности»,—провозглашает Чичиков.—«О, вы ещё не знаете его,—воскликает Манилов,—у него чрезвычайно много остроумия: чуть заметит какую-нибудь букашку, козявку, сейчас побежит за ней следом и тотчас обратит внимание...» Я его прочу по дипломатической части, заключает литературный Манилов, любуясь великими способностями русского человека и не замечая, что с ним ещё надо беспрестанно делать то же, что произвёл лакей с Фемистоклосом Маниловым в то самое мгновение, как отец спрашивал мальчика,—хочет ли он быть посланником. 100

Смотреть на подобных господ серьёзно—значит оскорблять собственный здравый смысл. Но тем не менее они могут ещё ввести в заблуждение неопытных юношей если не восторженностью своих похвал, то решительностью и резкостью своих порицаний, хотя в сущности очень неопределённых и ни на что прямо не направленных. Поэтому-то и нельзя их оставлять уже вовсе без внимания; нельзя от них отходить молча, смеривши их только обидно-презрительным взглядом. Приходится по необходимости толковать с ними, и иногда довольно пространно, причём, разумеется, самому становится и досадно, и смешно, и даже по большей части—более смешно, нежели досадно. Такое расположение духа само собою отражается, конечно, и в том тоне, каким говорим мы о многих предметах, возбуждающих в других людях самые возвышенные чувства...

«Но что же это за странный разлад в людях, которые, повидимому, сходятся между собою как нельзя более в общих стремлениях? Вы хотите правды и права, и в этом не расходится с вами никто из людей, имеющих честное имя в литературе. Вы отвращаетесь зла и тьмы, и в этом отвращении никто из благонамеренных литераторов, конечно, вам не уступит. Зачем же смеяться над теми, в чей благонамеренности и благородстве вы не сомневаетесь? Зачем выставить в смешном виде то, что может хотя сколько-нибудь способствовать достижению тех же целей, к которым вы сами стремитесь? Не значит ли это вредить великому делу народного образования и развития, которому служит литература? Не будет ли унижением для всей литературы, если вы станете называть вздором и мелочью то, чем дорожат и восхищаются многие из почтенных и умных её деятелей?»

На все эти вопросы мы должны дать ответ, по возможности, серьёзный и определительный. Соблюсти некоторую серьёзность побуждает нас не самый предмет (которому очень мало нужды до того, каким тоном говорят о нём), а благодарное уважение к прошедшим заслугам именно тех лиц, которые ныне таким комическим образом умеют тратить столько благородного жара на всякие мелочи. Если вы идёте по грязному переулку со своим приятелем, не смотря себе под ноги, и вдруг приятель предупреждает вас: «берегитесь, здесь лужа»; если вы спасаетесь его предостережением от неприятного погружения в грязь и потом целую неделю,—куда ни придёте,—слышите восторженные рассказы вашего приятеля о том, как он спас вас от потопления,—то, конечно, вам забавен пафос приятеля и умиление его слушателей; но всё же чувство благодарности удерживает вас от саркастических выходов против восторженного спасителя вашего, и вы ограничиваетесь лёгким смехом, которого вы не можете удержать, а потом стараетесь (если есть возможность) серьёзно уговорить приятеля—не компрометировать себя излишнею восторженностью... Так и мы поступим в настоящем случае.

Мы никогда не осмелились бы поставить свои личные убеждения выше мнений почтенных особ, пользующихся издавна авторитетом, если бы мы считали свои убеждения только собственной, личной нашей принадлежностью. Не говоря о скромности и недоверчивости к себе (служащих, как известно, украшением юности и не мешающих ни в каком возрасте),—в нас достало бы столько благоразумия, чтоб не проповедывать в пустыне собственные фантазии, и столько добросовестности, чтобы не ломаться пред публикою в надежде привлечь её внимание своей эксцентричностью. Нет, мы говорили и говорим, не обращая внимания на старые авторитеты,—потому единственно, что считаем свои мнения отголоском того живого слова, которое ясно и твёрдо произносится молодою жизнью нашего общества. Может быть, мы ошибаемся, считая себя способными к правильному истолкованию живых, свежих стремлений русской жизни; время решит это. Но во всяком случае—мы не ошибёмся, ежели скажем, что стремления молодых и живых людей русского общества гораздо выше того, чем обольщалась в последнее время наша литература. Мы решаемся изложить нашу мысль несколько подробнее и определённое (сколько

это возможно, разумеется, без нарушения должного почтения к литературным и другим авторитетам).

Несколько раз уже приходилось нам говорить об отношении литературы к действительности. Мы постоянно выражали убеждение, что литература служит отражением жизни, а не жизнь слагается по литературным программам. Никогда и нигде литературные деятели не сходили с эфирных пространств и не приносили с собою новых начал, независимых от действительной жизни; всё, что произвёл когда-либо человеческий ум, всё это дано опытом жизни. Литература постоянно отражает те идеи, которые бродят в обществе, и больший или меньший успех писателя может служить меркою того, насколько он умел в себе выразить общественные интересы и стремления. Рассуждая таким образом, мы должны были бы безусловно преклониться пред недавними успехами нашей литературы и признать, что она представляет самое верное и совершенное отражение всех интересов русской жизни. После такого признания не могло бы уже быть и речи о мелочности литературы. Но, серьёзно оценивши этот успех, мы пришли к заключению, что он был весьма незначителен и представлял чрезвычайно обманчивое зрелище. Чтобы оценить значение того, что называют успехом в литературе, надо непременно рассмотреть, *между кем* приобретён этот успех и *как долго* он продолжался или мог продолжаться. В этом отношении большая часть данных будет не в пользу литературных успехов последнего времени. Собственно говоря, всякий писатель имеет где-нибудь успех: есть сочинители лакейских поздравлений с новым годом, пользующиеся успехом в передних; есть творцы пышных од на иллюминации и другие случаи — творцы, любезно принимаемые иногда и важными барями; есть авторы, производящие разные «*pièces de circonstances*»* для домашних спектаклей и обожаемые даже в светских салонах; есть писатели, возбуждающие интерес в мире чиновничьем; есть другие, служащие любимцами офицеров; есть третьи, о которых мечтают провинциальные барышни...¹⁰¹ Чем же эти кружки увлекаются в своих любимцах? Конечно, не талантом, не истинною поэзией, которые для всех одинаковы, а тем, что в писателе соответствует их собственным понятиям, стремлениям и воззрениям на жизнь. Лучшие писатели оттого им и непонятны или не нравятся, что стоят выше их понимания. Оттого самый шумный и блестящий успех и выпадает всегда на долю (не самого талантливого, а самого близкого к сегодняшним, насущным интересам толпы. Но с падением или удовлетворением этих интересов исчезает и успех писателя, пользовавшегося ими для своих произведений. Прочный же успех остаётся только за теми явлениями, которые захватывают вопросы далёкого будущего или в которых есть высший, общечеловеческий интерес, независимый от частных, гражданских и политических соображений. Только писатель, умеющий достойным образом выразить в своих произведениях чистоту и силу этих высших идей и ощущений, умеющий сделаться понятным всякому человеку, несмотря на различие времён и народностей, остаётся на-

* Пьесы, написанные к какому-нибудь случаю (франц.). — Ред.

долго памятным миру, потому что постоянно пробуждает в человеке сочувствие к тому, чему он не может не сочувствовать, не переставая быть человеком. Большая или меньшая доля *такого* успеха выпадает непременно на долю всякого талантливого произведения; но то, что в нём *остается*, принадлежит таланту, о сущности и значении которого мы здесь не станем распространяться. Мы должны говорить здесь о значении идей, развиваемых писателем и приобретающих ему временное сочувствие общества. В истории же развития идей мы постоянно видим повторение одной и той же следующей истории. Жизнь, в своём непрерывном развитии, набирала множество фактов; ставила множество вопросов; люди присматривались к ним с разных сторон, выясняли кое-что, но всё-таки не могли справиться со всею громадою накопившегося материала; наконец, являлся человек, который умел присмотреться к делу со всех сторон, придавал предметам разбросанным и отчасти исковерканным прежними исследователями их естественный вид и пред всеми разъяснял то, что доселе казалось тёмным. Люди более умные тотчас же обыкновенно схватывали эти объяснения гениального человека, и от них уже начинали свои дальнейшие исследования. Люди более глупые, напротив, долго ещё оставались при прежних и нескладных воззрениях и принимали новые только тогда, когда уже большинство явно к ним склонялось, или какие-нибудь внешние обстоятельства слишком уже настоятельно вынуждали уступку новым началам. Мало-помалу, однако, старое воззрение исчезало совсем и заменялось новым. Но пока продолжался процесс водворения новых начал в целой массе людей, жизнь шла своим чередом и возбуждала опять другие вопросы, давала опять новый материал для разработки. Прежние умные люди большею частию уже не существовали в то время, как эти новые потребности приходили в силу; да и те, которые остались, все заняты были хлопотами об окончательном водворении *своих* начал, из-за которых они с молодых лет трудились и боролись; о новых вопросах они мало заботились, да и не имели довольно сил для того, чтобы разрешить их. Поэтому прежние умные люди, ввиду новых требований нового времени, оставались большею частию безучастными зрителями и, все усилия употребляя к поддержанию старых начал, смотрели на новые вопросы даже несколько презрительно. Глупые же люди, после всех принявшие те начала, которые теперь стали уже старыми, даже *вовсе* и не понимали, чтоб могли существовать ещё какие-то другие требования, кроме тех, какие разрешились для них в учении, недавно ими принятом. Вследствие того они принимались даже преследовать новое движение, делаясь, как все новички, фанатиками тех воззрений, против которых сами так недавно враждовали. Но, разумеется, события брали своё: новые факты образовали новые общественные отношения и приводили людей к новому пересмотру прежних систем, прежних фактов и отношений. Всё молодое, без труда, с малолетства усвоившее систему господствующих воззрений, чувствовало, разумеется, желание и свежие силы для дальнейшей работы; вновь накопленные факты давали обильный материал, и молодое поколение принималось работать над новыми данными ещё робко, ощупью,

но уже с предчувствием нового света, который прольётся на их начинания при появлении нового гениального ума.

Такова общая история вопросов науки и искусства при переходе их из поколения в поколение. Степень развития умных людей в начале каждого периода даёт мерку будущего развития масс в конце того же периода. Люди, идущие в уровень с жизнью и умеющие наблюдать и понимать её движение, всегда забегают несколько вперёд, а за ними следует и толпа, которая понимает жизнь уже по чужим объяснениям и таким образом всё протверживает зады. Этим-то процессом развития масс и объясняется жизненность и долговечность всего талантливого; сначала только умные люди поймут и скажут, что это хорошо, толпа же поверит им на слово; а потом и толпа, по мере своего развития, всё сознательнее и яснее станет убеждаться, что это действительно хорошо... до тех пор, пока не наступит новый период цивилизации. Этим же объясняется и то обстоятельство, о котором мы упомянули выше: что всякий автор, как бы он ни был пошл, всё-таки имеет успех в каком-нибудь кружке и даже приносит своего рода пользу. «Нет на свете такого дурака, который бы не возбуждал к себе удивления в каком-нибудь другом, ещё большем дураке»,—говорится в одной из сатир Буало, и ни к чему эти слова не могут быть так справедливо применены, как к литературе. Действительно,—самый глупый из пишущих людей может наверное рассчитывать, что найдутся люди, которым и он может сообщить и объяснить кое-что: он отстал, но за ним всё-таки ещё остаётся кто-нибудь ещё более отсталый... Доказательства мы видим каждый день. Стоит только вспомнить, что до сих пор несколько тысяч человек в России постоянно читают фельетоны «Северной пчелы» или что «Весельчак»¹⁰², просуществовавший целый год, объявляет подписку и на следующий... Стало быть, есть же и в них вещи, для кого-нибудь поучительные и интересные... Да и где же их нет!.. В одном лакейском поздравлении мы когда-то читали стихи:

Дай бог вам счастья и здоровья,
Любви и тишины в семье...

Для скольких из господ, принимающих эти поздравления вместе с афишами, мысль «о любви и тишине в семье» должна была показаться новою и оригинальною!..

Читатель может спросить нас: «Зачем мы ввели это пространное, утомительное и крайне не новое рассуждение в статью, которая должна трактовать о литературных мелочах прошлого года?» Затем,—ответим мы читателю,—что нам нужно было несколько общих положений для вывода, представляемого нами несколько строк ниже. Мы указали на то, что новые воззрения, выработанные из фактов, накопившихся в течение известного периода, сначала бывают достоянием немногих и только мало-помалу переходят в массы; когда этот переход идей совершился, тогда уже настало, значит, начало нового периода: новые потребности образовались, новые вопросы выработались и привлекают к себе внимание людей, идущих вперёд; прежние

идеи и стремления подбираются уже только людьми отсталыми и остановившимися. Припомним это, мы представляем читателю следующий вывод, который он может уже прямо приложить к русской литературе последнего времени: «Когда какое-нибудь литературное явление мгновенно приобретает чрезвычайное сочувствие массы публики, это значит, что публика уже прежде того приняла и сонала идеи, выражение которых является теперь в литературе; тут уже большинство читателей обращается с любопытством к литературе, потому что ожидает от неё обстоятельного разъяснения и дальнейшей разработки вопросов, давно поставленных самой жизнью. Если же это любопытство охладевает столько же быстро, как и возникло,—это значит, что публика увидела, как она обманывалась в силах наличных литературных деятелей, предположивши их способными к разрешению таких вопросов жизни, которые им далеко не по плечу...»

Как видите, вывод прямо приводит нас к «литературным мелочам». Известно всем и каждому, что сатирико-полицейская и поздравительно-экономическая литература наша страшно уже надоела публике в прошедшем году. Между тем фурор, возбуждённый ею во всей публике, имеет теперь не более трёх лет отроду... Следовательно, заключение, приведённое нами выше, вполне применяется к нашей литературе последнего времени. Провозгласивши начала, всюю публикою давно, в безмолвном соглашении, признанные, она возбудила к себе сочувствие,—но вместе с тем внушила и надежды на что-то большее и высшее; до сих пор надежды эти не исполнены, и литература *обмелела* в глазах лучшей части публики.

Выставляя этот факт, мы не откажемся его объяснить и подтвердить примерами. Но сначала считаем нужным изложить причины, от которых, по нашему мнению, зависел этот мелочный, мизерный характер, обнаруженный литературою в последнее время.

По нашему крайнему разумению, причина здесь заключается не в самой литературе, а опять-таки в обществе, которого отражением она служит*. Общество само виновато в том грустном и ненормальном явлении, что литераторы явились пред ним вдруг—не передовыми людьми, не смелыми вождями прогресса, как всегда и везде они бывали, а людьми более или менее отсталыми, робкими и бессильными. Доказать наше обвинение нетрудно: стоит припомнить некоторые черты из прошедшего времени, могущие служить объяснением тогдашних отношений общества к литературе.

Известно, что очень немногие из литературных деятелей, сделавшихся особенно заметными в последнее время, принадлежат собственно нынешнему времени. Почти все они выработались гораздо прежде, под влиянием литературных преданий другого периода, начало которого совпадает в истории... впрочем, что нам до истории: читатели сами её должны знать... будем говорить только о литературе. В литературе начало этого периода совпадает со временем осно-

* Читатель заметил, конечно, что слово «литература» мы употребляем не в смысле беллетристики, а в самом обширном значении, разумея тут и поэзию, и науку собственно, и публицистику и т. д. — Н. Д.

вания «Московского телеграфа»;¹⁰³ жизненность его оканчивается со смертью Белинского; а затем идёт какой-то летаргический сон, прерываемый только библиографическим храпом и патриотическими грёзами; окончанием этого периода можно положить то время, в которое скончал своё земное поприще незабвенный в летописях русской журналистики «Москвитянин».¹⁰⁴ Схоронивши сие тяжеловесное и скучное создание, литераторы, бродившие как потерянные со времени смерти Белинского, как будто пришли в себя и повестили довольно громко на всю Русь православную,—что они живы и здоровы. Русь им обрадовалась, и они принялись, как старые знакомые, с ней 'разговаривать и рассуждать, стали ей «сказки сказывать и давати ей поученьица»... Слово их было произносимо *со властью*, с сознанием собственного достоинства, и молодое поколение с трогательною робостью прислушивалось к мудрым речам их, едва осмеливаясь делать почтительные вопросы и уже вовсе не смея обнаруживать никаких сомнений. При малейшем равнодушии молодёжи к поучениям зрелых мудрецов в их глазах и губах появлялось выражение, в котором ясен был презрительный вызов: «вы, нынешние, ну-тка!» При таком вызове *нынешние*, разумеется, поджимали хвост и съёживались, не дерзая мерить свои силы с могучими бойцами, уже испытанными в жизненной борьбе... Поле словесной битвы постоянно оставалось, таким образом, за людьми зрелыми, разумными и опытными; молодое поколение обычным путём вступило в свои права—наслаждаться поучениями старших.

Но, увы!—столь отрадный порядок вещей продолжался недолго! Очень скоро зрелые мудрецы выказали все наличные силы, сколько было у них,—и оказалось, что они не могут стать в уровень с современными потребностями. Юноши, доселе занимавшиеся, вместе со зрелыми мудрецами, поражением семидесятилетних старцев, решились теперь перенести свою критику и на людей пятидесяти и даже сорока лет. История о том, как и отчего всё это произошло, не лишена занимательности, и мы когда-нибудь при удобном случае займёмся подробным её изложением, а теперь расскажем только вкратце её содержание.

В гласных проявлениях общественной жизни России в последнюю четверть века произошло обстоятельство, довольно замечательное по своей странности: в этих проявлениях почти нисколько не отражалась внутренняя работа жизни. По газетам, по отчётам, по статистическим выводам, по официальным сведениям журналов, издаваемых разными ведомствами, по историческим исследованиям Фаддея Булгарина, по риторике и философии академика Ивана Давыдова, по одам графа Хвостова—можно видеть только одно: что «всё обстоит благополучно». Между тем на деле далеко не всё обстояло так 'благополучно, как можно было подумать, судя по официальным рапортам. Это хорошо знали и решились прямо сказать некоторые благородные и энергические люди, желавшие, чтобы жизнь нашла своё отражение в печатном слове всеми своими сторонами, хорошими и худыми, и всеми своими стремлениями, близкими и далёкими. Изобразителем этих сторон явился Гоголь, истолкователем этих стремлений—Белинский; около них группировалось несколько десятков талантливых личностей. Все

они дружно принялись за своё дело и явились пред обществом действительно передовыми людьми, руководителями общественного развития. Большинство, поклонявшееся тогда глубокомыслию барона Брамбеуса, учёности Греча и Ивана Давыдова, патриотическим драмам Кукольника и т. д., туго поддавалось на убеждения энергических деятелей гоголевской партии; но, одушевляемые Белинским и лучшими из друзей его, эти люди неутомимо продолжали своё дело. Успех их был велик в обществе: к концу жизни Белинского они решительно овладели сочувствием публики; их идеи и стремления сделались господствующими в журналистике; приверженцы философии Булгарина и Давыдова, литературных мнений Ушакова и Шевырёва, поэзии Фёдора Глинки и барона Розена были ими заклеймены и загнаны на задний двор литературы. Русское печатное слово действительно шло к тому, чтобы сделаться верным и живым выражением русской жизни. Но в 1848 году Белинский умер, многие из его друзей и последователей рассеялись в разные стороны, Гоголь в то же время резко обозначил перемену своего направления,¹⁰⁵ и начатое дело остановилось при самом начале. Литература потянулась как-то сонно и вяло; новых органов литературных не являлось, да и старые-то едва-едва плелись, мурлыча читателям какие-то сказочки; о живых вопросах вовсе перестали говорить; появились какие-то библиографические стремления в науке; прежние деятели замолкли или стали выть по-волчьи. Люди, писавшие прежде о Мальтусе и пауперизме, принялись за сочинение библиографических статей о каких-нибудь журналах прошлого столетия; писатели, поднимавшие прежде важные философские вопросы, смиренно снизошли до изложения каких-нибудь правил грамматики или риторики;¹⁰⁶ люди, отличавшиеся прежде смелостью общих исторических выводов, принялись рассматривать «значение кочерги, историю ухвата». Забитая прежде литературная дрянь и мелюзга подняла голову, и «вылезшие из щелей мошки и букашки» опять начали ползать и пищать, не боясь уже быть растоптанными. Лучшие деятели недавнего времени махнули тогда рукой и решились хранить гробовое молчание, если само общество не потребует от них слова. Но общество оказалось совершенно равнодушным к литературе: ему как будто и дела не было до того, что о нём и для него пишется. Пока говорили,—оно слушало; перестали говорить,—оно перестало слушать. Внезапный перерыв речи не произвёл на него, повидимому, никакого впечатления. Ни сожаления, ни упрёка, ни просьбы о продолжении речи,—ничего не заявила русская публика. Естественно, что такая холодность очень дурно подействовала на литературных деятелей, и это отразилось, и отражается до сих пор, на их возобновлённой деятельности. Они подумали,—и не без основания,—что в обществе не поняты или не приняты те идеи, которые они проповедывали, те интересы, которым они служили. Им показалось, что общество не только не способно идти вперёд по указанному ими направлению, но ещё не может остановиться даже и на том, до чего они успели довести его,—а непременно поворотит назад, повинувшись силе противного ветра. И вследствие именно этого убеждения в ветрености общества, литературные деятели наши выказали столько слабости и мелочности при возобновлении

своей деятельности. Когда общество опять потребовало от них слова, они сочли нужным начать сначала и говорить даже не о том, на чём остановились после Белинского, а о том, о чём толковали при начале своей деятельности, когда ещё в силе были мнения академиков Давыдова и Шевырёва, когда ещё принималось серьёзно дифирамбическое красноречие профессоров Устрялова и Морошкина, когда даже фельетоны «Северной пчелы» требовали ещё серьёзных и горячих опровержений. Если это скучно и бесполезно для нынешней публики, то она терпит только достойное наказание за то, что ввела в ошибку литераторов. Почему, в самом деле, могли они знать о степени развития своих читателей, когда эти читатели ни голоса не подали никогда в ободрение упавшей литературы? Поделом теперь и терпят скуку за свою невнимательность!..

Впрочем, нельзя совершенно оправдать и литераторов. Вина их состоит в недогадливости, а недогадливость происходит оттого, что они слишком книжно и слишком гордо взглянули на своё призвание. Они сочли себя чем-то высшим и подумали, что жизнь без них обойтись уже вовсе не может: если они поговорят, так и сделается что-нибудь, а не поговорят,—ничего не будет. Утвердившись в таком отвлечённом и высокопарном убеждении, они и не догадались, что жизнь всё-таки идёт своим чередом, всё-таки заявляет свои требования, вырабатывает новые понятия, ставит новые вопросы и представляет данные для их разрешения. Они ожидали встретить теперь то же, что было за двадцать лет назад; но их ожидания оправдались только половиною. Их сверстники, бодрые юноши двадцатых и тридцатых годов, действительно остановились на том, что им говорили тогдашние литературные деятели; даже больше,—они утратили, вместе с первой молодостью, часть тех убеждений, которые прежде горячо принимали к сердцу. Чтобы подействовать на их зрелую апатию, в самом деле надо было опять начинать с элементарных понятий и входить во все мелочи, так как нельзя было положиться на них в том, что они умеют понимать эти мелочи как следует. И вот пошли повторения задов, пошли контroversии о разных предметах—ясных и бесспорных, или мелких и пошлых. С пылкой энергией, свободным и решительным языком заговорили зрелые мужи литературные и с первых же слов заслужили рукоплескания молодёжи и негодование своих сверстников и старших себя. Ход дела был совершенно понятен: [в последние десять лет] русской молодёжи как-то особенно усердно вперям был страх и трепет перед старшими. Молодость, разумеется, и тогда брала своё, и юноши исподтишка подсмеивались над старшими,—но вслух говорить не смели. И вдруг они увидели, что люди почтенные, сами до некоторой степени *старшие*, подсмеиваются над разными ветеранами и бросают камень осуждения в тех, кто к ним подслуживается. Юношам это очень понравилось; они почувствовали сердечное влечение к зрелым людям, так резко отвергающим ненавистный принцип безответности младшего перед старшим; стали с почтением прислушиваться к их мудрым речам, увидели, что они говорят хорошие вещи о правде, чести, просвещении и т. п.—и решили, что, несмотря на свой почтенный возраст, зрелые мудрецы

принадлежат к *новому* времени, что они составляют одно с *новым* поколением, а от старого бегут, как от заразы. Ещё не имея собственного знамени, молодёжь примкнула к благородной фаланге людей, хотя и много старших возрастом, но юных, по своим идеям и стремлениям. Между двумя поколениями заключён был, безмолвно и сердечно, крепкий союз против третьего поколения, отжившего, парализованного, охладевшего, но всё ещё мешавшего общему довольству и спокойствию, пугавшего новую жизнь своим полумёртвым телом, похожим на труп, заживо разлагающийся и смердящий.

Но не прошло и года, как молодые люди увидели непрочность и бесполезность своего союза со зрелыми мудрецами. Во всей пожилой фаланге оказалось очень немного имён, которые можно бы было поставить во главе нового движения. Бóльшая часть прежних деятелей, давно уже потерявшая возможность гласного выражения идей и стремлений, совершенно отчаялась в течение этого времени в дальнейшем прогрессе общества, перестала следить за жизненным движением событий, сложила руки и осталась в пассивном созерцании до тех пор, пока сила событий опять не вызвала их к деятельности. Естественно, они теперь почувствовали себя как-то не в своей тарелке и не знали, что им делать и говорить. Начали они с того, что стали пробовать и разминать свой язык, желая убедиться, что он не разучился произносить человеческие звуки. На первый раз принялись болтать о том, что говорить лучше, чем молчать; потом рассказывали о своём недавнем сне и выражали радость о своём пробуждении; затем жалели, что после долгого сна голова у них не свежа, и доказывали, что не нужно спать слишком долго; после того, оглядевшись кругом себя, замечали, что уже день наступил и что днём нужно работать; далее утверждали, что не нужно заставлять людей работать ночью и что работа во тьме прилична только ворами и мошенникам, и т. д. Долго неопытная молодёжь рукоплескала заговорившим [пожилым] мудрецам, как рукоплещут в театре выходу любимого актёра зрители, заранее убеждённые, что он отлично сыграет свою роль. Но с каждым словом почтенных деятелей всё яснее обозначалось их бессилие, с каждым новым выходом журнальных книжек всё слабел энтузиазм молодёжи и тех деятелей прежней партии, которые умели понять её стремления. Возложивши свои надежды на лучших людей предшествующего поколения, молодёжь увидела себя в положении больного человека, который обратился за излечением к прославленному доктору, уже лет за двадцать до того оставившему практику. Вы ожидаете, что он пропишет вам рецепт или по крайней мере даст совет, предпишет диету; но доктор пришёл, потолковал о своих медицинских познаниях и удалился. Вы ждёте, что будет дальше.

Через месяц является доктор с известием: ваше здоровье расстроено.

Ещё через месяц новое сведение: цвет вашего языка и биение пульса доказывают, что ваше здоровье не совсем в порядке.

Ещё через месяц: больные люди должны лечиться; история медицины представляет много тому доказательств.

Через два месяца: вам непременно следует лечиться.

Ещё через два месяца: для того чтобы вылечиться, вам надобно бросить дурных докторов и обратиться к хорошему.

Через месяц: хорошего доктора трудно залучить к себе; но если дать хорошие деньги, то и хороший доктор придёт к вам.

Через два месяца: при лечении следует наблюдать диету, предписанную не дурным, а хорошим доктором.

Через три месяца: диета должна быть сообразна с характером болезни.

Через два месяца: способ лечения также должен быть принят в соображение при назначении диеты.

Через месяц: болезнь входит пудами, а выходит золотниками.

Ещё через месяц: чтоб сохранить своё здоровье, надобно вести себя осторожнее.

Ещё через месяц: не надобно допускать вредных внешних влияний, от которых может страдать ваше здоровье.

Через два месяца: вы больны оттого, что не побереглись...

И так далее, и так далее...

Целые годы проходят в мудрых рассуждениях, которые вам одинаково знакомы и при болезни вашей и в здоровом состоянии. Вы можете в это время двадцать раз выздороветь, опять захворать, объесться, опиться, на смерть залечить себя, а прославленный доктор, давно оставивший практику, всё с прежним самодовольствием будет сообщать вам глубокие афоризмы, вроде вышеприведённых... Поневоле вы от него отступитесь.

Так точно живая и свежая часть русского общества нашла необходимым отказаться, наконец, от почтенных и умных фразёров, вызвавшихся подобным образом лечить общественные раны земли русской. Эти бедняки потерялись от радости, когда увидели, что есть люди, готовые принять их лечение. Как бы не смея верить своему благополучию, они сочли нужным предварительно пуститься в рассуждения, убедить людей в пользе медицины, наставить их относительно значения диеты, и, привыкши видеть себя забытыми, загнанными, отвыкши от практической медицины, отставшие врачи не могли удержаться, чтобы не вознаградить себя за бездействие разглагольствиями и чтобы вместе с тем не излить жёлчи на дурных врачей, которые отстранили от дел их, хороших докторов. В таких-то занятиях и заключалась вся практика наших общественных врачей из зрелых мудрецов; ни облегчения для больных, ни научения для молодых врачей не оказывалось от них ни малейшего.

Прошло ещё несколько времени терпеливого ожидания, и открылось новое обстоятельство, почти отнявшее у молодёжи последнюю надежду на мудрую партию пожилых деятелей (говоря: «пожилые», мы везде разумеем людей, которые прожили свои молодые силы и уже не умеют понимать современное движение и потребности нового времени; такие люди встречаются и между двадцатипятилетними). Оказалось, что они не умеют заглянуть в глубь современной общественной среды, не понимают сущности новых потребностей и стоят всё на том, что толковалось двадцать лет тому назад. Теперь уже всякий гимназист, всякий кадет, семинарист понимают многие

вещи, бывшие тогда доступными только лучшим из профессоров; а они и теперь говорят об этих вещах с важностью и с азартом, как о предметах высшего философского разума.

Тогда, например, кто говорил об освобождении крестьян, тот считался образцом всех добродетелей и чуть не гением; они и теперь было задумали применить в своих суждениях тот же тон и ту же мерку... Все засмеялись над ними, потому что в современном обществе считается уже позором до последней степени, если кто-нибудь осмелится заговорить против освобождения. Да никто уж и не осмеливается.

В прежнее время целыми годами ожесточённых битв нужно было критике Белинского отстаивать право литературы обличать жизненные пошлости. Ныне никто относительно этого права не имеет ни малейшего сомнения; а деятели прошедшей эпохи опять выступают с трескучими фразами о пользе и правах обличительной литературы.

Во время их молодости только что издан был «Свод законов», и все надеялись, что после его издания уже невозможны будут судебные проволочки и взятки; Фаддей Булгарин, юморист *en vogue** тогдашнего времени, сочинил даже «Плач подъячего Взяткина по издании Свода законов», и «Плач» его был встречен с восторгом большинством читающей публики. Но и в то время были дальновидные, горячие и смелые люди, решавшиеся предполагать, что и после издания «Свода законов» взятки и крючкотворство ещё возможны отчасти... Ныне, по прошествии тридцати лет, весь русский люд горьким опытом убедился, что «Свод законов» не уничтожил судебного крючкотворства, что взятки и при «Своде» возможны, и очень возможны... А прежние деятели и теперь продолжают говорить об этом с важностью, как о каком-то новом открытии, и даже соблюдают большую сдержанность и умеренность в выражениях, как бы боясь поразить публику громадностью своего открытия.

Двадцать лет тому назад патриотизм не умели отделять от *sapagaderie**, и кто осмеливался говорить, что патриотизм не состоит в том, чтобы выставить только свои достоинства и покрывать недостатки,—тот считался человеком крайних мнений и необыкновенно светлой головой. Теперь уже редко можно встретить в публике подобное смешение понятий, столь различных; а почтенные деятели прежней эпохи и теперь продолжают самодовольно декламировать, что истинная любовь к отечеству не щадит его недостатков, и пр.

В прежнее время образование специальное, с целью приготовления чиновников, лекарей, офицеров и т. д., стояло на первом плане; до необходимости общего образования додумывались только немногие умы, далеко опередившие свой век... Они восставали тогда, сколько могли, против исключительного развития специального образования; но тогда их не слушали, специальные школы распространялись, общее образование было в загоне, в пренебрежении,

* Популярный, модный (франц.). — Ред.

** Чувство товарищества (франц.). — Ред.

Лет двадцать пять прошло с тех пор; почти исключительное развитие специальных училищ принесло свои грустные плоды: явились медики, искусные только в утайке гошпитальных сумм, инженеры, умевшие тратить казённые деньги на постройку небывалых мостов, офицеры, помышлявшие только о получении роты, чтобы поправить свои обстоятельства, и т. д., и т. д. На деле все убедились, что в воспитании нужно принять другое направление. Один из почтенных людей очень умно и решительно высказал общее стремление и сделал несколько практических указаний на существующий порядок вещей,—и вдруг между пожилыми мудрецами поднялось радостное волнение: теперь, видите ли, уже *открыто и доказано*, что общее образование важнее специального!¹⁰⁷ От такого открытия они пришли в неописанный восторг и года два по несколько раз в месяц шевелили фразу: «прежде всего надо воспитать человека, а потом уже сапожника» или что-то в этом роде... В простоте души они полагали, что говорят новость, не подозревая, что теперь уже редкий сапожник и редкий человек (в *барском* значении) не знают этой новости.

Вообще в пору цветущей молодости литературных деятелей, отличавшихся в последнее время, не было многих вещей, которые ныне существуют, как явления весьма обыкновенные. Не было ни железных дорог, ни речного пароходства, ни электрических телеграфов, ни газового освещения, ни акционерных компаний; не говорили печатно ни о капитале и кредите, ни об администрации и магистратуре, ни о правительственных и общественных реформах и переворотах, совершавшихся в Европе в последние полвека. Но в продолжение того времени, как литераторы тридцатых годов спали и бредили библиографией или от нечего делать наблюдали свой собственный жизненный процесс,—общество успело познакомиться со всеми этими предметами. Успели подрасти и новые люди, которые, мало интересуюсь изображением «Истории одного женского сердца», «Слабого сердца», «Беды от нежного сердца», «Сердца с перегородками», равно как и рассуждениями «О религиозно-языческом значении избы славянина», «О значении имён Лютицы и Вильцы», «О значении слова Баян» и т. п.*—перечитывали Белинского и немногих из друзей его, да почитывали и иностранные книжки. Таким образом, несмотря на молчание русской литературы, молодая, живая часть общества не переставала развиваться и постоянно старалась идти в уровень с современными требованиями. Этого-то и не сообразили почтенные люди, вновь выступившие ныне на литературное поприще, после десятилетнего молчания. Их дело было очень просто: осмотреться вокруг себя и стать на точку зрения настоящего, чтоб отсюда уже отправиться дальше. Но в том-то и дело, что умение скоро и ловко ориентироваться во всяком положении теряется людьми в известные лета и при известных обстоятельствах, да и вообще противоречит маниловскому характеру. Молодой человек, кое-что выдавший и знающий и не имеющий маниловского элемента в характере,—если застанет меня,

* Всё это — подлинные заглавия литературных и учёных произведений, печатанных в последнее десятилетие. — Н. Д.

например, хоть за чтением «Всеобщей истории» г. Зуева, то прямо скажет: «Зачем это вы такую дрянь читаете? Разве вы не знаете других руководств истории, которые гораздо лучше?»—Напротив,—человек почтенных лет, да ещё с некоторой маниловщиной в характере, в том же самом случае сочтёт долгом сначала похвалить мою любознательность, распространиться о пользе чтения книг вообще и исторических в особенности, заметить, что история есть в некотором роде священная книга народов и т. п., и только уже после долгих объяснений решится намекнуть, что, впрочем, о книге г. Зуева нельзя сказать, чтобы после неё ничего уже более желать не оставалось. Совершенно подобным образом поступили литературные Маниловы со всеми попавшимися им под руку общественными вопросами. Ну, вот например—железные дороги. Чего бы, кажется, проще: у нас железных дорог мало; надобно больше выстроить; где, как и на какие средства их строить?—Нет, они принялись толковать о том, что и полезны-то железные дороги, и ездить-то по ним скорее, и жаль, что их прежде-то у нас не было, и слава богу, что теперь поняли их важность-то, и влияние-то их велико во всех отношениях, и лошадей-то для них не нужно... Но тут возник спор: одни утверждали, что нужно, другие—что нет. И пошла бесконечная история о том, что Россия находится в особенных сельскохозяйственных условиях, что она—шестая (теперь следовало бы уж говорить—седьмая) часть света, что её ожидает великая будущность. И пошла писать губерния...

Так, или почти так, поднимались и разрешались у нас все общественные вопросы последнего времени. На людей свежих, привыкших отзываться на требования жизни делом, а не фразой, всё это действовало очень неблагоприятно. Они не могли довольно надвинуться наивным добрякам, до слёз восхищавшимся, например, провозглашением той мысли, что в судах должна быть правда.—Ну, конечно, должна; что же об этом толковать?.. «Нет, как можно, вы поймите, как высок смысл этой фразы, как неизмеримо благотворны будут для России её последствия, ежели она будет исполнена! Правда в судах! Ведь это значит, что преступники будут достойно наказываемы, а невинные будут находить себе оправдание в суде! Значит, без вины никого не осудят: судьи будут справедливы, преступления не будут избегать законного возмездия!.. Какое великое благо выйдет из этого для всей страны!.. И возможно ли допустить сомнение, что праведный суд полезен в стране, в которой устраиваются железные дороги и паровозное движение, поощряется промышленная деятельность, все живые силы народа вызываются на свободный, полезный труд», и пр. и пр.

И подобные рассуждения у почтенных добряков беспрестанно на языке, по поводу всякого офицера, прошедшего в фуражке по Невскому, всякого юнкера, проехавшего на извозчике, всякого студента, отпустившего бакенбарды, даже всякого франтика с бородкой. Они—точно слепорождённые, внезапно прозревшие в мутный октябрьский день, на пути из какого-нибудь Глухого переулкa в какое-нибудь Козье-Болото; их спрашивают, знают ли они дорогу, куда им нужно идти?—а они отвечают: «Ах, как солнце хорошо светит!.. Какая без-

границная даль открывается перед нами!..» На первый раз, из сострадания к ним, можно пропустить без внимания их забавные речи. Но нельзя же удержаться от смеха, ежели они начнут ещё резонировать, говоря, например, таким образом: «Какое великолепное светило это солнце! Какой лучезарный свет изливает оно на землю! Вы должны благодарить судьбу, что это солнце воссияло над вами! Вы были погружены в мрачную ночь, но воссияло оно,—и всё для вас осветилось. По науке известно, что все предметы делаются видимыми нам только тогда, когда лучи, отражающиеся от них, достигают сетчатой оболочки нашего глаза. Таким образом, свет не менее необходим для зрения, как и самый глаз», и т. п.

Разумеется, нельзя отрицать справедливости подобных рассуждений и даже их новости и полезности для кого-нибудь: «Chaque sot trouve toujours un plus sot, qui l'admire...» * Но скажите, бога-ради, на каких читателей рассчитывает литература, пробавающаяся подобными рассуждениями?..

На кого бы она ни рассчитывала и сколько бы ни находила себе поклонников,—мы смело можем утверждать одно: она не привлечёт теперь симпатии тех, кому, по естественному закону истории, принадлежит будущее. Мы не поклонники учения о безусловной и регулярной преемственности поколений; но, вдумываясь в настоящее и в близкое прошедшее, мы не можем не заметить, что характер нового поколения нашего должен дать ему в событиях совсем другую роль, нежели какую имело предыдущее. Люди того поколения проникнуты были высокими, но несколько отвлечёнными стремлениями. Они стремились к истине, желали добра, их пленяло всё прекрасное; но выше всего был для них принцип. Принципом же называли общую философскую идею, которую признавали основанием всей своей логики и морали. Страшной мукой сомнения и отрицанья купили они свой принцип и никогда не могли освободиться от его давящего, мертвящего влияния. Что-то пантеистическое было у них в признании принципа: жизнь была для них служением принципу, человек—рабом принципа; всякий поступок, не соображённый с принципом, считался преступлением. Отвлекаясь, таким образом, от действительной жизни и обрекая себя на служение принципу, они не умели верно рассчитывать свои силы и взяли на себя гораздо больше, чем сколько могли сделать. Немногие только умели, подобно Белинскому, слить самих себя со своим принципом и, таким образом, придать ему жизненность. У Белинского внешний, отвлечённый принцип превратился в его внутреннюю, жизненную потребность: проповедывать свои идеи было для него столько же необходимо, как есть и пить. Но немногие могли дойти до такого слияния своей личности с философским принципом. Большая часть осталась только при рассудочном понимании принципа и потому вечно насилowała себя на такие вещи, которые были ей вовсе не по натуре и не по нраву. Отсюда вечно фальшивое положение, вечное недовольство собой, вечное ободрение и расшеве-

* Всякий дурак всегда находит ещё большего дурака, который восхищается им (франц.). — *Ред.*

ливание себя громкими фразами и вечные неудачи в практической деятельности. Отлично владея отвлечённой логикой, они вовсе не знали логики жизни и потому считали ужасно лёгким всё, что легко выводилось посредством силлогизмов, и вместе с тем ужасно мертвили всю жизнь, стараясь втиснуть её в свои логические формы. Может быть, они и отстали бы от всего этого, если бы успели исподволь присмотреться к ровному ходу жизни. Но судьба поступила с ними безжалостно: она круто перевернула многих из них испытаниями всякого рода, общими и частными,—и они утвердились в убеждении, что жизнь незаконна и нелепа, а только принцип истинен и законен. Они ринулись было в борьбу за принцип, но проиграли одну битву, другую, третью, четвёртую,—и увидели, что бороться долее невозможно. Тяжёлое недовольство осталось затем у них в душе. Но и оно не было цельным, могучим и деятельным, так как они сами не были цельными людьми. Они состояли из двух плохо спаянных между собою начал: страсти и принципа. Редко принцип разливался по всему их существу с силою страсти, и они всячески старались надуть себя, подогревая фразами свои холодные отвлечённости; ещё реже жизненная страсть возводима была ими на степень принципа. Обыкновенно же принцип был сам по себе, а страсть сама по себе. Так произошло и здесь: принцип, витая в высших сферах духовного разума, остался превыше всех обид и неудач, страсть же негодования ограничилась низшею сферою житейских отношений, до которых они почти никогда не умели проводить своих философских начал. Мало-помалу они вошли в свою пассивную роль и из всего прежнего сохранили только юношескую восторженность да наклонность потолковать с хорошим человеком о приятном обращении и помечтать о мостике через речку. С этими-то милыми качествами и с совершенным неумением присматриваться к действительной жизни и понимать её требования и задачи—и выступили они в недавнее время снова на поприще литературы. Мгновенное привлечение к себе симпатий общества и замечательно быстрое обнаружение своего бессилия были естественными и необходимыми последствиями самой сущности того характера, какой получило большинство их вследствие влияния обстоятельств, тяготивших над целым их поколением.

Разумеется, были и есть в этом поколении люди, которые вовсе не подходят под общую норму, нами указанную. Таков был Белинский; таковы были ещё пять-шесть человек, умевших довести в себе отвлечённый философский принцип до реальной жизненности и истинной, глубокой страстности. Это люди высшего разбора, пред которыми с изумлением преклонится всякое поколение. Кроме их, были и другие сильные люди, умевшие на всю жизнь сохранить «святое недовольство» и решившиеся продолжать свою борьбу с обстоятельствами до истощения последних сил. Эти люди почерпнули жизненный опыт в своей непрерывной борьбе и умели его переработать силою своей мысли; поэтому они всегда стояли на уровне с событиями, и как только являлась им опять возможность действовать, они радушно и вполне сознательно подали руку молодому поколению. Они доселе сохранили свежесть и молодость сил, доселе остались людьми буду-

щего, и даже гораздо больше, нежели многие из действительно молодых людей нашего времени...¹⁰⁸

Есть в предыдущем поколении и другие исключения из определённой нами нормы. Это, например, те, суровые прежде, мудрецы, которые поняли, наконец, что надо искать источник мудрости в самой жизни, и вследствие того сделались в сорок лет шалунами, жуирами и стали совершать подвиги, приличные только двадцатилетним юношам,—да, если правду сказать, так и тем неприличные. Но об исключениях такого рода распространяться не стоит.

Совсем не так отнеслось к вопросам жизни молодое поколение (разумею хороших его представителей). От пожилых людей обыкновенно рассыпаются ему упреки в холодности, чёрствости, бесстрастии. Говорят, что нынешние люди измелъчали, стали неспособны к высоким стремлениям, к благородным увлечениям страсти. Всё это, может быть, чрезвычайно справедливо в отношении ко многим, даже к большинству нынешних молодых людей; мы их вовсе не думаем ни возвышать, ни даже оправдывать. Нам это вовсе не нужно, потому что название молодого поколения мы не ограничиваем теперешними юношами, а распространяем его и на тех, которые находятся ещё в пелёнках. Молодые люди, уже заявившие себя на жизненном поприще, принадлежат большею частью ещё к промежуточному времени. Их ещё смущает принцип, а между тем жизнь уже сильнее предъявляет над ними свои права, нежели над людьми прошлого поколения; оттого они часто и шатаются в обе стороны и ничему не могут отдаться всей силой души. Но за ними, и отчасти среди них, виднеется уже другой общественный тип, тип людей реальных, с крепкими нервами и здоровым воображением. Благодаря трудам прошедшего поколения, принцип достался этим людям уже не с таким трудом, как их предшественникам, и потому они не столь исключительно привязали себя к нему, имея возможность и силы поверять его и соразмерять с жизнью. Осмотревшись вокруг себя, они, вместо всех туманных абстракций и призраков прошедших поколений, увидели в мире только человека, настоящего человека, состоящего из плоти и крови, с его действительными, а не фантастическими отношениями ко всему внешнему миру. Они в самом деле стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которую отличалось прошлое поколение; но зато они гораздо твёрже и жизненнее. Не говорим о фанатиках, которые всегда были и будут как исключение; но в общей своей массе молодые люди нынешнего поколения отличаются спокойствием и тихой твёрдостью. Это происходит в них прежде всего, разумеется, оттого, что нервы ещё не успели расстроиться. Но есть и другая причина: они спустились из безграничных сфер абсолютной мысли и стали в ближайшее соприкосновение с действительной жизнью. Отвлечённые понятия заменились у них живыми представлениями, подробности частных фактов обрисовались ярче и отняли много силы у общих определений. Люди нового времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютного в мире ничего нет, а всё имеет только относительное значение. Оттого для них невозможно увлечение тенденциями, подобными, например, следующим: «Pereat mundus et

fiat justitia»;* «лучше умереть, нежели солгать хоть раз в жизни»; «лучше убить своё сердце, чем изменить хоть однажды долгу супружескому, или сыновнему, или гражданскому» и т. д. Всё это для них слишком абстрактно и слишком мало имеет значения. На первом плане всегда стоит у них человек и его прямое, существенное благо; эта точка зрения отражается во всех их поступках и суждениях. Сознание своего кровного, живого родства с человечеством, полное понимание солидарности всех человеческих отношений между собою — вот те внутренние возбудители, которые занимают у них место принципа. Их последняя цель — не совершенная рабская верность отвлечённым высшим идеям, а принесение возможно большей пользы человечеству; в их суждениях люди возвышаются не по тому, сколько было в них сокрыто великих сил и талантов, а по тому, сколько они желали и умели сделать пользы человечеству; не те события образуют на себя особое их внимание, которые имеют характер грандиозный или патетический, а те, которые сколько-нибудь подвинули благосостояние масс человечества. Таким образом, стремления людей новых, ставши гораздо ближе к жизни и к людям, естественно принимают характер более мягкий, осторожный, более щадящий, нежели бьющий. Не мудрено, разумеется, проскакать во всю конскую прыть по чистому полю; но ежели вам скажут, что на дороге в разных местах лежат и спят ваши братья, которых вы можете растоптать, то, конечно, вы поедете несколько осторожнее. Руководясь *только* принципом, требовавшим скорейшего прибытия к цели, можно бы, конечно, сказать: «А кто им велит спать на дороге? Сами виноваты, если будут растоптаны!» Но человек новых стремлений отвечает на такое замечание: «Разумеется, они глупы, что спят на дороге и мешают свободной езде; но что же делать, если они так глупы? Надобно над ними остановиться, пробудить и вразумить их; а ежели не послушают, то придётся силою оттащить в сторону от проезжей дороги». Так обыкновенно и поступают эти люди; мудрено ли же, что в них не заметно той стремительности, какая отличала людей, руководившихся только принципом?

К тому же у молодых поколений есть теперь и опытность, которой так недоставало прежним. Люди нового времени приняли от своих предшественников их убеждения, как готовое наследие; но тут же они приняли и жизненный урок их, состоящий в том, что надрывание себя вовсе не есть доказательство великой души, а просто признак нервного расстройства. [Прежние-де молодые люди постоянно ставили себя в положение шахматного игрока, который желает сделать своему противнику знаменитый *трёхходовый мат*. Всем игрокам этот мат известен и носит у них даже название «казённого»; следовательно, обмануть им кого бы то ни было довольно трудно. Но неопытные новички в шахматах всё-таки на него иногда рассчитывают и с первых же ходов расстраивают свою игру. Нынешние молодые люди считают нелепым фарсом даже удачу этого рода; они хотят вести правильную, серьёзную игру и потому считают вовсе ненужным с первого же раза

* Пусть погибнет мир, лишь бы свершилось правосудие (лат.). — *Ред.*

выводить слона и ферезь, чтобы на третьем ходе дать шах и мат королю. Они наверное рассчитывают, что это только повредит их игре, и потому подвигаются понемножку, заранее обдумав план атаки и беспрестанно следя за всеми движениями противника. Они также добьются своего шаха и мата; но их образ действий вернее, хотя вначале игра и не представляет ничего блестящего и поразительного.]

Вообще молодое действующее поколение нашего времени не умеет блеснуть и шуметь. В его голосе нет, кажется, кричащих нот, хотя и есть звуки очень сильные и твёрдые. Даже в гневе оно не кричит; тем менее возможен для него порывистый крик радости или умиления. За это его упрекают обыкновенно в бесстрастии и бесчувственности, и упрекают несправедливо. Дело очень просто объясняется его взглядом на ход событий и на свои отношения к ним. [Признавая неизменные законы исторического развития, люди нынешнего поколения не возлагают на себя несбыточных надежд, не думают, что они могут по произволу переделать историю, не считают себя избавленными от влияния обстоятельств. Таким образом] ясное сознание своего положения не допускает их входить в азарт и убиваться из пустяков. Но в то же время они вовсе не впадают в апатию и бесчувственность, потому что сознают и своё значение. Они смотрят на себя, как на одно из колёс машины, как на одно из обстоятельств, управляющих ходом мировых событий. Так как все мировые обстоятельства находятся в связи и некотором взаимном подчинении, то и они подчиняются необходимости, силе вещей; но вне этого подчинения—они никаким кумирам не поклонятся, они отстаивают самостоятельность и полноправность своих действий против всех случайно возникающих претензий. Предоставляя другим кричать, гневаться, плакать и прыгать, они делают своё дело ровно и спокойно, плачут и прыгают, когда приводит к этому сила событий, но не делают ни одного лишнего движения по своему капризу, а если и сделают что лишнее, то не гордятся этим, а прямо сознаются, что сделали лишнее. Они—актёры, хорошо вошедшие в свою роль житейской комедии; они делают то, чего требует роль, и не выходят из неё, несмотря на все беснованья, хлопанье, свист и стук партера... Пусть праздные зрители бесятся: актёру нет надобности покрывать их крик своим голосом. Он переждёт немного, потом опять станет продолжать свою роль: стихнут же они наконец, если хотят его слушать.

Мы, однако, занесли такую аллегория, что не знаем, как и добраться обратным путём до литературных мелочей... Чтобы не сделать одного из тех смешных прыжков, которых возможность отрицали в молодом поколении, мы решаемся оставить самый разбор мелочей до следующего месяца. Теперь же мы прибавим лишь несколько слов в оправдание длины наших рассуждений. Мы хотели откровенно и серьёзно объясниться с людьми, которых мы уважаем, но над маленькими слабостями которых не можем не посмеяться. Вот почему мы сочли нужным так пространно и обстоятельно изложить наши понятия о различии, какое мы делаем между прошлым и нынешним поколением. После наших объяснений должно быть понятно, кажется, почему наши собственные симпатии обращены к будущему,

а не к прошедшему, и почему нам и всей молодой, свежей публике кажутся так мелки и смешны декламации пожилых мудрецов об общественных язвах, адвокатуре, [свободе слова,] и т. д. и т. д. Во многом сходясь с пожилыми мудрецами, молодое общество не сходится с ними в основном тоне: оно желает вести серьёзную речь об адвокатуре, гласности и пр., но только считая их не более как *средствами*, при которых можно притти к другим [высшим] целям. [Пожилые мудрецы, напротив, рассуждают о них так, как будто видят в них цель, далее которой ничего уже не остаётся... И вот отчего все их возгласы так забавны, все их стремления так поражают своей мелкостью и близорукостью...]

В следующей статье мы укажем некоторые подробности того, каким образом до сих пор умела литература наша отнестись к вопросам, заданным ей жизнью. Теперь же пока представим читателям только «résumé» прекрасных мыслей, в последнее время постоянно высказывавшихся в нашей литературе. Вот каковы были эти мысли и вот как они высказывались.

«В настоящее время, полное радостных и благодатных надежд, когда отрадно восходит на нашем гражданском горизонте прекрасная заря светлого будущего, когда мудрые предначинания повсюду представляют новые залогов народного благоденствия,—каждый день, каждый час, каждое мгновение этого великого движения имеет глубоко знаменательный смысл в великой книге великих судеб нашего великого отечества, нашей родной России. Неизгладимыми чертами высечено будет настоящее время на нерукотворных скрижалях истории. Как бы по манию волшебного жезла, мгновенно пробудился русский исполин и, стряхнув с себя дремотную лень, успел с быстротою, беспримерною в истории веков и народов, совершить то, чего только тяжкими вековыми усилиями мог достигнуть дряхлеющий Запад. Едва только кончилась беспримерная в летописях мира борьба, в которой русская доблесть и верность стояли против соединённых усилий могущественных держав Запада, вспомоществуемых наукою, искусством, богатством средств, опытностью на морях и всюю их военною и гражданскою организацией,—едва кончилась эта внешняя борьба под русскою Троею—Севастополем, как началась новая борьба—внутренняя—с пороками и злоупотреблениями, скрывавшимися доселе под покровом тайны в стенах канцелярий и во мраке судейских архивов. Грозный бич сатиры поразил освящённое давностью зло, пламенный карающего обличения озарил ярким светом всё злое и недостойное. Общественное сознание пробудилось, всякий принёс свою лепту на общее дело, всякий напрягал свои силы для поражения гидры гражданских злоупотреблений, и заслуженный успех доблестных деятелей, явившихся глашатаями правды и добра, ясно доказал зрелость нашей общественной среды и её горячее сочувствие ко всем духовным интересам народа. Общество в самых дремлющих его слоях получило могущественный нравственный толчок, и усиленная умственная деятельность, воспрянув от долгого сна, закипела на всём необъятном пространстве России; все живые силы народа устремились на служение великому делу родного просвещения и совершенствования. В то

же время усвоение Россией плодов европейской цивилизации открыло ей новую арену для полезной и разумной деятельности в сфере промышленного развития и материальных улучшений. В то самое время, как «Морской сборник» поднял вопрос о воспитании и Пирогов произнёс великие слова: «Нужно воспитать человека!»; в то время, как университеты настежь распахнули двери свои для жаждущих истины; в то время, как умственное движение в литературе, преследуя титаническую работу человеческой мысли в Европе, содействовало развитию здравых понятий и разрешению общественных вопросов,—в это самое время сеть железных дорог готовилась уже покрыть Россию во всех направлениях и начать новую эру в истории её путей сообщения; свободная торговля получила могущественное развитие с понижением тарифа; потянулась к нам вереница купеческих кораблей и обозов; восторжествовали и зашумели наши фабрики; пришли в обращение капиталы; тучные нивы и благословенная почва нашей родины нашли лучший сбыт своим богатым произведениям. Вместе с тем положено прочное основание многим общественным реформам, многим благотворным нововведениям, под эгидою которых должно развиваться, зреть и возрастать народное благоденствие. Теперь уже [снимаются с народа оковы, и] открывается широкое поприще свободного труда; всюду водружается знамя гласности; [в определённых размерах допущена свобода печатного слова, как благородного выражения общественного мнения;] заговорили о магистратуре и адвокатуре; высказано несколько тёплых слов о преобразовании полиции, провозвешён недалёкий конец прежней системы питейных откупов... С гордым благоговением (если можно так выразиться) оглядываешься назад—и не имеешь мыслью пред величию пути, пройденного нами в последние три года, пред необъятной громадностью всего, чего успело коснуться в это время веяние новой жизни. И всё это—только ещё начатки! Каково же будет совершение!..»

Мы не скажем читателю, откуда извлекли эту тираду; но, верно, каждый из современных литературных деятелей, прочитав её, признаётся, что тут и его хоть капля мёду есть...

II

— Я уже мигаю Лукьяну Федосенчу, чтоб он козырял, — нет... А ведь, тут только козырни, — валет мой пик и берёт...

— Позвольте, Иван Петрович, — валет не берёт.

Гоголь. 109

Колоссальная фраза, выработанная в последние годы нашими публицистами и приведённая нами в конце прошедшей статьи, составляет ещё не самую тёмную сторону современной литературы. Оттого наша первая статья имела ещё характер довольно весёлый. Но

теперь, возобновляя свои воспоминания о прошлом годе, чтобы выставить на вид несколько литературных мелочей, мы уже не чувствуем прежней весёлости: нам приходится говорить о фактах довольно мрачных.

Прежде всего должны мы отметить главную ложь, в которой литература наша проявила свою мелочность. Ложь эта состоит в высоком мнении литературы о том, что она сделала. Почитаешь журнальные статьи, так иногда и в самом деле подумаешь, что литература у нас—сила, что она и вопросы подымает, и общественным мнением ворочает... А на деле ничего этого нет и не бывало: литература у нас постоянно, за самыми ничтожными исключениями, до настоящей минуты шла не впереди, а позади общества. Говоря это, мы вовсе не имеем в виду той теории, по которой литература должна непременно похищать с неба огонь, подобно Прометею, и сообщать его людям. Нет, мы просто разумеем литературу, как выражение общества и народа, и в этом смысле наши требования от неё очень невелики. Потребности общественные возникают вследствие известных жизненных фактов; толпа долго смотрит на эти факты, не осмысливая их значения. Тут-то и есть настоящая работа для литературы. Люди умные, люди пишущие стараются схватить на лету первый проблеск новых потребностей, стараются подметить, собрать, разъяснить факты, в которых заключается зародыш нового движения, дать ему должное направление, указать его прямые последствия. После такого рассмотрения идей в литературе они становятся сознательным достоянием массы и уже легко и правильно могут выражаться в административной деятельности государства и в нравственном направлении частных лиц. Так обыкновенно и делается в литературах более развитых; по журнальным возгласам можно было бы подумать, что так и у нас делалось в последнее время. Но журнальные возгласы совершенно несправедливы в своей надменности. Просматривая журналы наши за последние годы, вы ясно увидите, что все наши общественные потребности и стремления прежде находили себе выражение в административной и частной экономической деятельности, а потом уже (и нередко долго спустя) переходили в литературу. Из всех вопросов, занимавших наше общество в последнее время, мы не знаем ни одного, который действительно был бы поднят литературою; не говорим уже о том, что ни один не был ею разрешён. И в этом, самом по себе, нет ещё ничего дурного: юной литературе, как и всякому юноше, прилична скромность. Многим (и нам в том числе) даже очень приятно было видеть, с какою робкою осторожностью приступали наши писатели ко всякому новому предмету, как боязливо они осматривались,—не зная, хорошо ли будут приняты их слова,—как взвешивали и размеривали свою речь, приберегая себе лазейку на всякий случай. Мы радовались образцовой умеренности и аккуратности нашей литературы и очень хорошо понимали её причину. Мы понимали, что там, где литература есть занятие кружков и где она назначается лишь для нескольких избранных, называемых образованным обществом,—там она не может быть вполне уверенною в себе. В том, что касается отдельных кружков и исключительных надобностей образованного

класса, она ещё может возвышать свой голос. Но чуть только вопросы расширятся, чуть дело коснётся народных интересов, литература тотчас конфузится и не знает, что ей делать, потому что она не из народа вышла и кровно с ним не связана. В этих случаях она по необходимости ждёт, пока общественное мнение ясно выскажется или пока государственная власть вмешается в дело. Тогда уже и писатели решаются раскрыть рот. Всё это совершенно естественно и понятно, и мы не стали бы упрекать нашу литературу за её отсталость, если бы она сама сознавала своё бессилие, свою юность и своё подчинённое, а не руководящее положение в обществе. Но публицисты наши гордятся чем-то; они полагают, что в литературе есть какая-то инициатива. Поэтому мы находим нужным представить им несколько фактов для смирения их гордости. Для этого далеко ходить нечего: стоит только перебрать важнейшие вопросы, занимавшие нашу литературу в последнее время.

Первый из общественных вопросов, вызвавших толки в нашей литературе, был, сколько мы помним, вопрос о железных дорогах. Но как вы думаете—с чего началось дело? Совестно сказать: с «Times'a». Первое, что ободрило наши журналы писать о железных дорогах, было сообщение напечатанного в «Times'e» известия о рижско-динабургской железной дороге. Это было в начале 1856 года. Оказалось, что рижско-динабургская дорога была разрешена ещё в 1853 году, а в сентябре 1855 года уже учреждён был комитет вообще для определения условий относительно сооружения железных дорог в России частными компаниями. Дело рижской дороги приостановлено было войною; но как только мир был заключён, немедленно явилось на лондонской бирже объявление об акциях рижско-динабургской железной дороги. Узнавши об этом, и наши журналы начали толковать о железных дорогах; но и тут едва ли не ранее всех приняли участие в деле официальные журналы—Путей сообщения и Министерства государственных имуществ. По крайней мере одна из первых статей по этому предмету была «О пользе железных дорог для перевозки земледельческих произведений», помещённая в № 1 «Журнала министерства государственных имуществ», 1856 год. Прочие же журналы уже спустя несколько месяцев принялись рассуждать об этом и расходились только к концу года, когда правительственным образом решалось дело о постройке у нас новых дорог иностранным обществом, которое и утверждено в январе 1857 года. Как видите, вопрос о железных дорогах довольно поздно сделался достоянием литературы. Странно, почти необъяснимо, что даже о такой простой и невинной вещи, как железные дороги, литература не догадалась заговорить прежде, чем постройка их решена была правительственным образом; но эта недогадливость или робость литературы—факт несомненный. Всякий, кто читает журналы наши не со вчерашнего дня, припомнит, что до 1856 года литература ограничивалась на этот счёт только тонкими намёками, что нам нужны хорошие пути сообщения и что железные дороги суть хорошие пути сообщения...

Одновременно с вопросом о железных дорогах поднялся в литературе вопрос о воспитании. Вопрос этот так общ, что и в прежнее

время нельзя было не говорить о нём, и действительно, даже в самое глухое время нашей литературы нередко появлялись у нас книжки и статейки: «О задачах педагогики, как науки», «О воспитании детей в духе христианского благочестия», «Об обязанности детей почитать родителей», и т. п. Но с 1856 года рассуждения о воспитании отличались несколько особенным характером. В них проводились следующие главные мысли: «общее образование важнее специального; нужно главным образом внушать детям честные стремления и здравые понятия о жизни, а техника всякого рода, формальности и дисциплина—суть дело второстепенное; в раннем возрасте жизни важно семейное воспитание, и потому жизнь в закрытых заведениях вредно действует на развитие детей; воспитатели и начальники учебных заведений должны знать своё дело и заботиться не об одной чистоте зданий и соблюдении формы воспитанниками». Все эти высокие, хотя далеко не новые истины беспрестанно пересыпались, разумеется, не менее основательными рассуждениями о том, что просвещение лучше невежества, что уметь танцевать и маршировать не составляет ещё истинной образованности и т. п. Всё это было прекрасно; но кто же поднял этот важный вопрос, кто обратил на него общее внимание? Все помнят, что дело началось с «Морского сборника», официального журнала, не случайно, а намеренно выдвинувшего на первый план статьи о воспитании, печатно просившего прислать к нему такие статьи отовсюду. Статья г. Бема о воспитании помещена была в № 1 «Морского сборника» за 1856 год, и долго после того журнальные статьи по этому предмету писались: «По поводу статьи г. Бема», до тех пор, пока не явилась в «Морском же сборнике» статья г. Пирогова; тогда стали писать: «По поводу «Вопросов жизни» и начинать словами: «В настоящее время, когда вопрос о воспитании поднят «Морским сборником» и когда Пирогов высказал столь ясный взгляд на значение образования», и пр. Значит, и тут нельзя сказать, чтоб инициатива дана была литературой собственно. Но заслуга её представится нам ещё менее значительною, когда мы проследим её параллельно с административными распоряжениями по учебным ведомствам. Известно, что вопрос об общем и специальном образовании разрешён был правительственным образом в пользу общего образования ещё в половине 1855 года. Экстерны в военно-учебных заведениях, преобразование артиллерийской и инженерной академий, предположение об уничтожении низших классов в некоторых корпусах—сделаны были раньше, нежели хоть один голос поднялся в литературе против специального образования. Печатать об этом статьи стали уже тогда, когда вопрос был значительно выяснен не только в общественном сознании, но даже и в административных распоряжениях. Так было и во всём, относящемся к воспитанию и образованию.

В ноябре 1855 года разрешён был приём неограниченного числа студентов в университет;¹¹⁰ вследствие этого в 1856 году увеличилось количество университетских студентов, и когда обнародован был отчёт министерства просвещения за этот год, то в литературе появилось

несколько заметок о пользе возможно большего расширения университетского образования...

В декабре 1855 года учреждены были особые попечители в тех округах, где прежде эта должность соединена была с генерал-губернаторскою. В феврале 1856 года повелено назначать в гражданских закрытых учебных заведениях воспитателей не из военных. В марте отменено преподавание военных наук в гимназиях и университетах. Все эти меры вызвали сочувствие литературных деятелей, и они, обыкновенно выждавши несколько месяцев, считали долгом высказать своё мнение о пользе того, что сделано. Таким образом, в продолжение 1857 года (отчасти и в 1856 году, но очень мало) было высказано много дельных мыслей о том, что начальник училища не есть только администратор, что воспитатель должен смотреть не за одной только выправкой воспитанников, и пр.

То же самое было и во всех других частностях. В половине 1856 года стали говорить о необходимости общения нашего с Европой. Сначала это говорилось довольно неопределённо, в общих чертах, мимоходом, по поводу споров с «Русскою беседой» о народности, потом прямее высказали, что нам теперь нужно заимствовать многое от просвещённого Запада; наконец, как-то в конце года, кажется, по поводу статьи г. Григорьева о Грановском, решительно было сказано, что молодым учёным нашим полезно ездить учиться за границу. Но это говорилось уже в конце года, между тем как посылка молодых людей за границу была разрешена правительством ещё в марте.

В прошлом году по части просвещения были в ходу у нас особенно два вопроса: об изменениях учебной части в университетах и гимназиях и о женских школах. Что же, сама ли литература додумалась, наконец, до этих вопросов? Вовсе нет. Первая статья г. Бунге об университетах, после которой литература приняла в вопросе несколько живое участие, напечатана в «Русском вестнике», в апреле прошлого года; а правительственное определение о необходимости преобразований в университетах и гимназиях составилось ещё в 1856 году! Преимущественно с этой целью учреждён в мае 1855 года учёный комитет при главном правлении училищ, и в отчёте министра просвещения за 1856 год указываются уже многие недостатки учебной части и меры к их исправлению. С женскими училищами то же самое. В конце 1857 года в первый раз заговорили о женских институтах и вообще об образовании девиц среднего сословия; во всё течение прошлого года продолжались статьи об этом предмете, преимущественно по поводу вновь открываемых женских училищ. Нельзя не сказать, что и тут литература наша опоздала. Ещё в отчёте министра просвещения за 1856 год мы читали, что так как «лица среднего состояния, особенно в губернских и уездных городах, лишены возможности дать дочерям своим даже скромное образование», то министерство и составило «предположение об открытии школ для девиц в губернских и уездных городах и в больших селениях». Вслед за этим предположением приступлено было тогда же и к «соображениям об устройстве таковых школ на первый раз в губернских

городах, по мере способов, какие могут к тому представиться». В прошлом году предположения перешли уже в действительность: основано было много женских открытых школ, не только правительством, но даже и частными лицами. А литература только что начала говорить о их пользе и надобности!

Не менее жалкая роль выпала на долю литературы и в толках об экономических улучшениях. Первое пробуждение у нас экономических интересов выразилось в спорах о свободе торговли. Первая статья о ней явилась в апреле 1856 года под заглавием «О внешней торговле». Статья эта не была самостоятельным голосом русского журнала, в котором явилась: в ней передавались данные из книги Тенгоборского («собиравшего сведения *официальным* образом»), с замечаниями г. Вернадского, явившегося поборником свободы торговли. Но всё-таки, читая статью, можно было подумать, что вот возбуждается вопрос новый и важный, долженствующий войти в общественное сознание и побудить к чему-нибудь государственную деятельность. Так некоторые и подумали и вследствие того восстали на г. Вернадского, как на человека, не любящего отечество и противящегося властям, которые будто бы и не думают о свободе торговли. Но г. Вернадский блистательно оправдался от всех обвинений. В ответе своём противникам он привёл до 20 статей из «Свода законов», из которых видно, что отстранение стеснений во внешней торговле постоянно было в видах правительства; кроме того, он сослался на понижение тарифа в 1850 и 1854 годах, указал на несколько частных постановлений о понижении пошлин, намекнул даже на то, что готовится новый тариф, ещё более пониженный, словом — доказал, что он в своей статье повторял только то, что уже давно решено правительственным образом. И действительно: ответ г. Вернадского появился в начале июня 1856 года, и в начале того же июня объявлено было повеление о новом пересмотре тарифа.

То же было с внутренней торговлей и промышленностью. Когда в обществе не только почувствовалась потребность нового промышленного движения, но даже и формулировалась она в различных предприятиях и компаниях, тогда и в журналах явились статьи о промышленных предприятиях, о биржевых операциях и пр. Ранее же окончания войны, после которой оживилась наша промышленность, и об этом ничего не было писано... А между тем нельзя сказать, чтоб в публике и раньше того не было сочувствия к вопросам промышленности: в последние три года страсть к акциям, по уверению некоторых, дошла у нас до ажиотажа; в акционерных компаниях теперь уже обращается до 500 миллионов капитала; неужели же всё это и родилось и выросло только с 1856 года?..

При таком бессилии литературы, даже в интересах частной деятельности, трудно предположить, разумеется, чтобы она выказала особенную силу в административных вопросах. А между тем здесь-то она и показала себя. Преследование взяток и чиновных злоупотреблений до сих пор составляет главнейший предмет гордости наших публицистов, беллетристов и даже поэтов. Как же это могло случиться? Откуда писатели наши взяли силы для восстания против

чиновников и взятки? Да всё оттуда же—из правительственных распоряжений. Припомните, кто и когда был основателем юридической беллетристики, кто поднял в литературе вопросы о злоупотреблениях чиновников. То был Щедрин, которого первые очерки появились в августе 1856 года. Переберите правительственные акты 1855 и 1856 годов, и вы убедитесь, что это было уже очень, очень поздно. Ещё в отчёте министра внутренних дел за 1855 год мы читали следующее:

«Что касается до служебной нравственности чиновников, то хотя она и не всегда соответствует видам правительства, но улучшение её может быть достигнуто не иначе, как посредством улучшения общей народной нравственности».

Вместе с этим отчётом сделался известен циркуляр министра, ещё от 14 мая 1855 года, в котором говорилось, что, при настоящем положении дел, «работа чиновников производит результаты совершенно неудовлетворительные». Подобный же циркуляр написан в январе 1856 года министром государственных имуществ. Он говорит, между прочим, о том, что мог иногда (хотя только в редких случаях) «ошибаться в выборе должностных лиц и встречать со стороны некоторых неисполнительность и даже нарушение обязанностей». В заключение министр замечает, что «в обширном кругу предназначенных для министерства обязанностей многое ещё остаётся делать». Та же благородная мысль выражалась неоднократно в требованиях правительства, чтобы при составлении отчётов не скрывали недостатков управления. При таких поощрениях даже совестно было бы, кажется, литературе не подняться тотчас же на злоупотребления; но она и тут ещё ждала целый год... А между тем, даже если бы ничего другого не было, ей могли бы придать смелости уже одни эти слова, знакомые всей России из манифеста 19 марта 1856 года: «Правда и милость да царствуют в судах; каждый, под сению законов, всем равно покровительствующих, для всех равно справедливых, да наслаждается в мире плодом трудов невинных». А литература и после этого ещё не вдруг осмелилась восстать против неправды и беззакония!..

«Но в литературе не только взяточничество обличалось, а делались, кроме того, указания на недостатки настоящей организации судебных и административных учреждений, на неудобства полицейского устройства и пр. Тут уже литература подымалась выше своей обыкновенной роли, показывала более самостоятельности, и зато справедливо может гордиться своими заслугами». Нет, и здесь опять та же самая история: мысль о судебных преобразованиях пущена в ход в литературе потому только, что она давно созрела и приводится в исполнение в законодательстве. Мы помним, что первая или одна из первых статей о полиции, обративших на себя общее внимание, начиналась ссылкою на «Le Nord»,¹¹¹ в котором напечатано было известие о готовящемся у нас преобразовании полиции. Да и кроме того, в отчёте министра внутренних дел за 1855 год, в то

время, когда в литературе никто не смел заикнуться о полиции, прямо выводилось следующее заключение из фактов полицейского управления за тот год:

«Настоящая картина указывает на необходимость некоторых преобразований в полицейской части, тем более, что бывают случаи, когда полиция затрудняется в своих действиях по причине невозможности применить к действительности некоторые предписываемые ей правила. При огромном числе чиновников невозможно иметь их всех хороших, существующее же число их необходимо при настоящем направлении всех вообще дел, в особенности же полицейских; ибо в настоящее время господствует везде преобладание форм и бумажного производства, нередко в ущерб самому делу. Упрощением обрядов делопроизводства можно достигнуть уменьшения числа должностных лиц, и тогда начальства будут иметь более возможности из среды многих соискателей избрать немногих, но достойных людей».

После этого тотчас же можно было бы, кажется, приняться писать и «Два слова о полиции» и «О непродуктивности многописания» и т. д. Но литература наша взялась за эти вопросы не ранее 1857 года.

Был ещё общественный вопрос, *поднятый* литературою в прошлом году,—вопрос об откупах. О них мы не будем распространяться, потому, что в «Современнике» прошлого года об откупах было довольно писано. Напомним читателям, между прочим, статью г. Панкратьева об откупной системе. Автор её изумляется, с какой стати вдруг литература набросилась на откупа, которых прежде не трогала, хотя зло от них было не менее сильно; а дело объясняется просто: в начале прошлого года уже решено было падение нынешней откупной системы,—вот литераторы и принялись за неё... А до этого об откупах осмеливался кричать только г. Кокорев...

Остаётся вопрос, которым с начала прошлого года мгновенно наполнились не только все журналы, но и вся земля русская,—вопрос об освобождении крестьян. Насколько участвовала литература в возбуждении этого вопроса? Мы думаем, что *ни насколько*. Конечно, нам могут привести длинный ряд выписок, из которых будет видно, что в литературе нашей постоянно высказывалось нерасположение к крепостному праву, начиная по крайней мере с половины прошлого столетия. Но мы вовсе и не восстаём против благонамеренности наших литературных стремлений; мы хотим только показать, как они ничтожны. И чем более будут нам доказывать, что литература всегда имела благое стремление говорить против крепостного права, тем более мы будем убеждаться в её слабости и ничтожности. Что же она сделала со своими добрыми намерениями и желаниями? Пересмотрите наши журналы хоть за последние десять лет: чем они наполнены? В целый год едва ли два-три слабых намёка найдёте вы на необходимость освобождения крестьян. Несколько яснее сделались эти намёки с 1856 года, да и то сначала держались всё только в сельскохозяйственной сфере; и едва ли не первый заговорил прямо о крепостном праве—г. Бланк, поместивший в «Трудах экономического общества» (№ 6, 1856 год) свой дифирамб русским помещикам. Скромным возражением ему г. Безобразов приобрёл репутацию бла-

городного и смелого публициста. Возражение появилось в августе 1856 года, а между тем отменение крепостного права решено было правительственным образом ещё до конца восточной войны. Многие правительственные действия уже указывали в это время на то, что дело освобождения приближается. Ещё в 1855 году определено было в имениях государственных имуществ, в некоторых губерниях, переложение податей с души на землю; последовали указы об улучшении быта крестьян, приписанных к Алтайским горным заводам, потом—относительно крепостных в Закавказском крае и пр. В июле 1856 года утверждено было новое положение о крестьянах Эстляндской губернии... Наконец, 3 января 1857 года учреждён уже был Главный комитет по крестьянскому делу... А литература во всё продолжение 1857 года ограничивалась слабыми намёками да кое-какими поучительными указаниями на другие страны... Только с февраля прошлого года, после того, как уже шесть губерний изъявили своё желание об улучшении быта крепостных крестьян,—литература деятельно принялась за крестьянский вопрос, да и то с какими колебаниями!.. Но о колебаниях мы будем говорить ниже...

Кажется, мы перебрали все главнейшие вопросы, *возбуждением* которых гордятся наши публицисты. Простое сопоставление фактов литературы с фактами государственной деятельности могло убедить нас, что публицисты гордятся напрасно. Каковы заслуги литературы нашей в других отношениях, мы пока не говорим. *Но ясно одно: она не имеет ни малейшего права приписывать себе инициативы—ни в одном из современных общественных вопросов.* Многим может не понравиться такое заключение; но мы этого не боимся: факты наши слишком ясны, чтобы из них можно было вывести другое заключение, нежели то, какое мы видели. Мы желали бы только, чтобы наших слов не перетолковали ложным образом, и потому хотим прибавить ещё несколько объяснений.

Нас могут назвать противниками литературы и сказать, что мы совершенно напрасно обвиняем её. Но это будет несправедливо. Мы очень хорошо понимаем, что быть противником литературы—значит быть противником просвещения и прогресса. Мы даже и обвинять литературу вовсе не думаем: мы просто выставляем факт, несомненный и ясный факт, никого не желая ни осуждать, ни восхвалять за него. Что же касается до заключения, которое из него можно вывести,—оно может состоять разве в том, что напрасно публицисты наши полагают, будто *они поднимали* общественные вопросы...

Возражений против нас может быть много, но мы заранее знаем их содержание и считаем их совершенно безвредными для сущности нашего мнения. Нам могут указать на множество причин, которые ставят литературу в необходимость сдерживать свои благие порывы; могут прибавить, что причины эти заключаются не во внутренней сущности литературной деятельности и не в случайностях литературных дарований и стремлений, а в обстоятельствах чисто внешних, зависящих от несовершенства самого общества нашего...¹¹² Всё это может быть справедливо, и мы готовы, пожалуй, без всяких

ограничений принять подобное возражение. Но оно приведёт нас только к более резкому выражению нашего мнения. Вместо фактического указания на то, что литература *не имела* у нас инициативы в общественных вопросах, мы, принявши приведённое возражение, должны будем сказать: литература у нас *не может иметь* инициативы при современной организации и степени развития русского общества...

«Но зачем же,—ещё скажут нам,—клепать на литературу, относя к ней то, что относится совсем к другим явлениям русской жизни? И зачем требовать от неё того, чего она не могла сделать,—*по независящим от неё обстоятельствам*, как выражаются журналисты?» На это опять тот же ответ: мы ничего не клепем на литературу и не предъявляем никаких требований. Мы твердим только одно: она ничего не сделала и не имеет права гордиться тем, что поднимала серьёзные общественные вопросы. Нам нет надобности знать, какие великие таланты и какие неодолимые силы заключаются в душах наших публицистов; мы судим только *о делах* их и говорим, что дела эти до сих пор ничтожны. Когда же вы нам указываете на невозможность действий более решительных и важных,—мы и тут на вас не нападаем и тотчас же соглашаемся прибавить: «действия литературы и не могут быть не ничтожны при *современном состоянии русского общества*». Кажется, нас нельзя упрекнуть в излишней придирчивости?

Самое сильное, что против нас могут сказать, может состоять в следующем: «Напрасно вы берёте отдельные явления литературы,—скажут нам,—и рассматриваете их так отрывочно. Вникните в самый дух литературы последнего времени, поймите общность её стремлений, уловите эту незримую струю, которая чувствуется в каждой журнальной повести, в каждом фельетоне, в каждой газетной заметке, так же как и в специальных учёных исследованиях и в серьёзных произведениях, отмеченных печатью сильного таланта. Во всём вы видите стремление вперёд, вперёд, слышите несмолкающую проповедь движения, работы, публичности, прогресса. Не в частности то или другое нововведение вызвано литературою; но,—что гораздо важнее,—дух преобразований, общее стремление к деятельности постоянно ею возбуждалось и возбуждается». Возражение это имеет видимую основательность,—но только видимую. В нём упущено из виду то, что не частные явления жизни и истории вытекают из каких-то общих начал и отвлечённых стремлений, а сами-то начала и стремления слагаются из частных фактов, определяются частными нуждами и обстоятельствами. Поэтому, кто не может указать ни на один определённый факт, им *совершенный*,—тот не должен говорить и об общем значении своей деятельности. Мы видели, что литература не возбудила общественной деятельности ни по одному из тех предметов, которыми занято теперь общее внимание: пусть же не говорит она и вообще, что возбуждала к деятельности. Ежели она всё кричала только: «вперёд!» да «пора за работу!»,—так это значит, что она сильно ударилась во фразу и к своей мелочности и слабости прибавила ещё долю пошлости.

Если же она придаёт значение тем намёкам, которые она нередко делала насчёт необходимости различных улучшений,—так она очень ошибается. Мы не отнимаем у этих намёков некоторого значения в том отношении, что они свидетельствовали о благонамеренности и добром сердце наших писателей; мы их высоко ценим и в смысле литературной сметливости. Доказательством тому служит эпиграф настоящей статьи. Мы выбрали его именно затем, чтобы показать, что мигания литературы не укрылись от нас... Но что же из этих миганий? Опять-таки сознание своего бессилия. Если бы ход был Ивана Петровича, а не Лукьяна Федосеича, то и мигать не нужно бы было: это первое. Второе то, что миганье Ивана Петровича легко было и не заметить или не понять: Лукьян Федосеич и действительно не заметил его. А третье, наконец,—то, что если бы Лукьян Федосеич и заметил и козырнул, то ещё бог весть, взял ли бы валет пик у Ивана Петровича. Иван Петрович думает, что взял бы, но Александр Иванович уверяет, что нет, потому что,—говорит,—«у Лукьяна Федосеича была семёрка; и вам никоим образом нельзя было бы взять в руку...» Таким образом, дело оказывается очень сложным, и разобрать его трудно...

После сделанных объяснений, никто,—мы надеемся,—не станет с нами спорить о том, что литература, при всей своей благонамеренности, ревности, рассудительности и прочих качествах,—всё-таки не может ни в чём приписать себе инициативы. А согласившись с этим, читатели признают справедливость и дальнейших выводов наших относительно общественного значения нашей литературы. Если литература идёт не впереди общественного сознания, если она во всех своих рассуждениях бредёт уже по проложенным тропинкам, говорит о факте только после его совершения и едва решается намекнуть даже на те будущие явления, которых осуществление уже очень близко; если возбуждение вопросов совершается не в литературе, а в обществе, и даже возбуждённые в обществе вопросы не непосредственно переходят в литературу, а уже долго спустя после их проявления в административной деятельности; если всё это так, то напрасны уверения в том, будто бы литература наша стала серьёзнее и самостоятельнее. Нет, время стало серьёзнее, общество стало самостоятельнее,—это может быть (хотя и то ещё требует проверки очень строгой); а литература относительно общества осталась совершенно в том же положении, как и прежде. Ведь во все времена, даже по чисто коммерческому расчёту (не говоря о других причинах), литература должна была говорить о том, что привлекает публику. Был когда-то в славе Дюма: русские журналы украшались романами Дюма. Нравились одно время стишки к девам и луне: литература была запружена стишками. Вошла в моду мифология: пошли литературные толки о классических и славянских божествах, пошли статейки о значении кочерги и истории ухвата. Поднялся восточный вопрос и потом война: в литературе всё оттеснено было на задний план статьями о Турции и рассказами о русских подвигах в битвах со врагами. Кончилась война, общество очнулось и потребовало изменений и улучшений; изменения стали делаться

административным порядком: и литература туда же—принялась говорить о прогрессе, о гласности, о взятках, о крепостном праве, об откупах и пр. А окажись завтра, что в нашем обществе стремление к улучшениям было только минутным, легкомысленным порывом, обратись общество опять хоть к Дюма-сыну,—и в литературе воцарится Дюма-сын, совершенно как полный хозяин. Можно, конечно, надеяться, что этого не будет; но не будет только потому, что нашему обществу трудно уже теперь своротить со своей дороги. Что же касается до литературы, то она *непременно* последует за обществом: мы в этом твёрдо убеждены, потому что прошедшие факты уже доказали нам, что литература у нас не есть ещё сила общественная, не есть жизненная потребность нации, а всё-таки *потеха*, как и прежде. Когда нам указывают на новое направление литературы, на её серьёзность, на её влияние в обществе,—мы всегда припоминаем стих:

Тешится новой игрушкой дитя!.. 113

Больно нам при этом воспоминании; но что же делать? Литература до сих пор так мало выказала признаков мужества, что поневоле безнадежный стих припоминается при самых даже приятных, обнадеживающих случаях...

Чтобы яснее показать, как ещё мало серьёзности приобрела наша литература, мы хотим представить ещё несколько указаний на то, что ею сделано по вопросам, *возбуждением* которых она гордится, и гордится, как мы видели, напрасно.

Преимущественное внимание всех газет и журналов было в прошлом году обращено на крестьянский вопрос. Как же он был ведён в литературе? Далеко не с тем достоинством, какого бы следовало ожидать. Мы не говорим о тех отсталых людях, которые проповедывали status quo в этом вопросе, как, например, гг. Григорий Бланк, князь Голицын, Николай Безобразов и т. п. Против них восставали наши же журналы и газеты: в этом надобно отдать литературе полную справедливость. Не говорим и о той неровности, с которою шла разработка вопроса в литературе, то останавливаясь, то начинаясь сызнова, то опять затихая: всё это могло быть следствием внешних и случайных причин. Нет, мы предлагаем человеку, истинно любящему народ наш, перебрать *всё*, что было в прошлом году писано у нас по крестьянскому вопросу, и, положив руку на сердце, сказать: *так ли и о том ли* следовало бы толковать литературе?.. Вспомним, что у нас долгое время дело стояло на том, что свободный труд производительнее обязательного!.. Да и этой простой истины не хотели понять многие!.. Затем литература всё мешалась на том: нужно ли выкупать душу, или уж так отпустить на покаяние?.. Да ведь это не в статьях Григория Бланка, не в «Печатной правде»¹¹⁴, а в «Русском вестнике», например!.. Мы помним, что там было до десятка статей, рассматривавших вопрос с той точки зрения, что получить выкуп за душу было бы *выгоднее для помещика*, нежели не получать!.. На этом основании один господин утверждал даже (в № 14 «Русского вестника», стр. 108), что в промышленных губерниях не следует отчуждать даже усадьбы

в собственность крестьян, потому что крестьяне-промышленники разбредутся на промыслы, оставив в усадьбах жён своих, и

«что же тогда ожидает помещика? Продав в собственность, с выручкою в определённый срок, *положим, даже дорогою ценою* (!), усадьбную землю, он *лишится* затем всякого дохода от имения. Право собственности на имение превратится для него в право собственности на купчую крепость и планы, по которым усадьбы, реки и дороги, то есть всё производительное, от него отчуждено. (То-то несчастный!) Могут возразить некоторые, что с дозволением перехода крестьян к нему явятся другие, не знающие промышленности, и возьмут землю в аренду для обработки. Если это и может случиться, то не иначе, как только в отдалённом потомстве: ибо земля в промышленных имениях по большей части не доброкачественна», и пр. ...«Но если даже помещик и сумеет найти средства обрабатывать свою землю, то всё-таки выручка от этой обработки далеко не достигнет процентов на тот капитал, который он употребил на покупку имения; ибо при покупке он имел в виду не столько хлебопашество, сколько промышленность, за пользование которою крестьяне и платили помещику значительный оброк».

Так рассуждает в «Русском вестнике» г. Дмоховский, и подобных суждений очень много найдётся в почтенном журнале, стяжавшем себе заслуженную репутацию прогрессивного и гуманного... Относительно выкупа личности в нём есть одно неподражаемое место, не лишённое, впрочем, некоторого цинизма в выражении; оно находится в проекте г. Власовского, который предлагает—прежде всего *«ценность ревизской мужского пола души с усадьбою и огородом (уж лучше бы огорода с усадьбою и душою!)* определить по губерниям» («Русский вестник», № 7, стр. 284). Но всех лучше рассуждает о выкупе личности г. А. Головачёв. Статья его (тоже в № 7 «Русского вестника») оканчивается так: *«нет, не со страхом и отчаянием должно смотреть на наше будущее, но с твёрдым убеждением, что нам предстоит великая, блестящая перспектива»*. И как ручательство за славное будущее, г. Головачёв представляет в статье своей такого рода рассуждения: *«Освобождение крестьян,—говорит,—не может основаться на духовно-нравственном чувстве, а должно иметь основанием право и законность»* (стр. 252). Как видите, *право и законность* противоплагаются *духовно-нравственному чувству*: из этого уже понятно, какая блестящая перспектива ожидает нас! И действительно, вслед за тем г. Головачёв говорит, что по силе права (противного духовно-нравственному чувству) нужен непременно выкуп личности. Об этом он рассуждает очень пространно. Вот его слова:

«Мы разумеем выкуп не только поземельной собственности, но и пользования трудом крестьянина. Нам скажут, что личный труд не может быть собственностью. Теоретически это неоспоримо, и закон, не признающий того, есть сам более факт, нежели право. Но при консервативной реформе должно быть обращено внимание и на факт. Всем известно, что труд крестьянина можно было помещику употреблять *так, как ему было угодно*; можно было даже продавать и покупать людей *как вещи*, и при продаже и покупке имелись в виду *не только физические, но и нравственные достоинства* человека (что же из всего этого? Читайте дальше!). Что же это, как не собственность? Несмотря на желание прикрыть благовидными словами горькую истину, она останется и в законодательстве и на практике до тех пор, пока новый порядок не изменит существующих отношений. Почему нам не сознаться в том, что есть несправедливого в наших отношениях?

Зло сознанный уже вполнину исправлен (что за просвещённые афоризмы!). Вот почему (то есть почему же???), думаем мы, не должно оставлять без внимания вопрос о выкупе пользования трудом, а напротив — посвятить и этой стороне дела тщательное изучение в надежде уладить её сколько возможно справедливее без ущерба помещичьих интересов». (Вот оно, последнее-то слово, в чём заключается!!) (стр. 256)...

Рассуждения г. Головачёва вызвали возражение со стороны г. Ланге, который в «Русском же вестнике» заметил защитнику помещичьих интересов, что «личность крестьянина, по смыслу закона, не есть помещичья собственность и не подлежит выкупу» (№ 14, стр. 140). На это г. Головачёв отвечал, опять в «Русском же вестнике», что г. Ланге не понимает «точки зрения законодательства» (№ 19, стр. 124), — точь в точь, как недавно было объявлено в «Искре». Вместе с тем г. Головачёв опирается на то, что и г. В. В. в «Журнале землевладельцев» (!) выразил сочувствие к его мнению, — значит, уж оно хорошо!.. «Русский вестник» всё это печатал, как печатал и статьи г. Иванова, в которых выкуп личности проводился по началам политической экономии; мало того, — он сочинил по поводу их длинную Заметку, в которой защищал и г. Иванова и г. Головачёва, объясняя, что хотя, конечно, за душу брать выкупа не следует, но труд крестьянина должен быть выкуплен (см. «Русский вестник», 1858 год, № 19, стр. 180—193). В Заметке этой редакция, между прочим, так выражается о статье г. Головачёва: «статья эта не могла бы вызвать сильного протеста, если бы в ней не было случайно употреблено выражение: *выкуп личности*». Скажите пожалуйста! Как будто во всех вопросах можно протестовать против случайных выражений, подобно тому, как сделал это сам «Русский вестник» против «Иллюстрации»!..¹¹⁵ Там можно было тешиться на случайных выражениях; но ведь участь крестьян — не то, что грамотность или безграмотность Знакомого Человека... Тут на фразах уж нельзя выезжать... В нашей выписке из статьи г. Головачёва нет выражения: *выкуп личности*; а разве она оттого менее возмутительна для всякого читателя, не слишком близко принимающего к сердцу помещичьи интересы?

Вообще, во многих печатных рассуждениях по поводу эмансипации мы видим, что рассуждающие, при всём своём желании, не отрешились ещё сами от точки зрения крепостного права. Находилось много и таких, которые явно придавали крепостному состоянию значение рабства и во всех своих положениях отправлялись от той мысли, что раб есть вещь... И ведь против этого никто почти не протестовал; крестьяне менее нашли себе защиты у передовых людей наших, нежели евреи. Не говорим уж о том, что писалось в «Журнале землевладельцев», на сочувствие которого постоянно опирались мнения, подобные мнениям г. Головачёва. Но переберите другие журналы: в них найдёте то же самое. «Атеней» писал (в № 8), что для обеспечения исправного платежа оброка освобождающимися крестьянами необходимо предоставить помещику право наказывать крестьян самому, потому что если он станет жаловаться земской полиции, то, «не говоря уже о недостаточной благонадёжности полицейских чиновников, самое вмешательство посторонней власти должно непременно произ-

вести некоторое расстройство хозяйственных отношений», невыгодное для помещика (стр. 511). Автор, пользующийся почётной известностью в нашей литературе, не развил в подробности своего мнения, а то, может быть, дело дошло бы и до того, чем впоследствии так прославился князь Черкасский...¹¹⁶ Впрочем, права помещичьей власти вообще были сильно отстаиваемы нашей литературой. В «Отечественных записках» (№ 10) напечатана была статья Полтавского Помещика, который *сожалеет о том, что закон не позволяет продавать крестьян без земли* (стр. 85), и уверяет, что крестьянам *после освобождения будет хуже*. Любопытны его доводы: «С прекращением прямой, существовавшей доселе власти помещика над своими крестьянами,—говорит он,—у последних может родиться своеволие и те пороки народа свободного (1)*, которым развиваться не допускала единственно власть помещика и строгий его надзор за поведением крестьян» (стр. 91). Для устранения беспорядков Полтавский Помещик желает непременно, чтобы власть над крестьянами осталась у помещика, и притом *только* у помещика, без разделения её с обществом, с выборными, с сельским начальством. В противном случае, говорит,—«право вотчинной полиции, предоставленное помещику, будет правом *бесправным*»... Почему же? Потому что

«как бы, например, ни был дурен и безнравственен крестьянин, которого помещик найдёт необходимым удалить из общества или отдать в солдаты,—если только он обратится к согласно общества, он встретит оппозицию! Общество всегда защищает своего негодяя, потому что *обществом крестьян руководят понятия совсем другие* (и слава богу, может быть,—прибавим мы от себя...): они видят часто похвальное удайство и завидное достоинство в том, что на самом деле порочно и вредно»... (стр. 92).

Затем г. Полтавский Помещик утверждает, что крестьяне несвободные рачительнее ведут своё хозяйство, чем свободные; что крестьян вообще надо *принуждать* к делу; что, получив свободу, они будут ленивее и беспечнее и пр... И такая статья, по замечанию редакции «Отечественных записок», выбрана ею, как *небесполезная*, из числа нескольких статей, заключавших «голословные уверения в том, что крестьяне у помещиков живут, как у Христа за пазушкой» (стр. 85). Хорош выбор!..

Впрочем, действительно,—мысль о помещичьих правах и выгодах так сильна во всём пишущем классе, что как бы ни хотел человек, даже с особенными натяжками, *перетянуть* на сторону крестьян,—а всё *не дотянет*. Гуманнейший и дельнейший журнал по крестьянскому вопросу есть, конечно, «Сельское благоустройство». Но посмотрите, с чем же оно выступило на свою работу. В № 1 его за прошлый год помещены были *вопросы* г. Кошелева, и между ними есть следующий: «Как составить урочные положения? *С согласия ли крестьян, или по усмотрению помещиков?*» Как вы полагаете: ведь этот глубокомысленный вопрос, представленный в разделительной форме, предполагает возможность и такого ответа: «Конечно,—по

* Здесь сама редакция «Отечественных записок» поставила знак восклицания в скобках. — Н. Д.

усмотрению помещиков, без согласия крестьян... Правда, что он может предполагать и ответ, радикально противоположный...

Неприличие такого вопроса замечено было, сколько мы помним, только «Экономическим указателем», который, таким образом, оказался прогрессивнее «Сельского благоустройства». Но и в «Экономическом указателе» помещались статьи, при которых вопрос г. Кошелева мог вовсе не показаться странным. Например, в № 10 «Экономического указателя» (стр. 245—246) г. Волков, доказывая ту истину, что крестьянин не имеет права собственности на усадьбу, говорит, между прочим, следующее:

«Несмотря на нераздельность, в глазах помещика, крестьян с их усадьбами и огородами, крестьяне не имеют права и никакого акта на владение домом и огородом, то есть тем, что ныне принято называть крестьянскою усадьбою. Если бы всё это было приобретено вольным трудом крестьянина (тогда бы, конечно, и толковать было не о чём!), тогда бы по закону десятилетней давности бесспорного владения крестьянин имел право требовать формального акта на это владение. При обязательном труде подобного права быть не может; помещик снабдил крестьянина материалом; он же дал ему время для домашней работы и даже заставлял иногда поневоле обстраиваться (труд-то себе задавал какой!), исправлять строение, понуждал разводить картофель, дарил корову и лошадь, поддерживал в разных неудачах или несчастьях, выплачивал за крестьянина казённые повинности и пр. Мало того (что же ещё больше? слушайте!) — он... переводил крестьян из одной деревни в другую, выводил на пустоши (и это благоденствие!), селил дворовых на крестьянство, снабжая их всем хозяйством на свой счёт или (хорошо «или») брал во двор людей, уничтожая их усадебное пепелище»...

И ведь всё это,—вы понимаете,—говорится к тому, чтобы доказать, что крестьяне были в полной воле помещика и следовательно (?) по закону должны таковыми остаться на неопределённые времена...

В таком роде целый год подвизалась наша литература относительно вопросов об освобождении крестьян. Говорим вообще: «литература», потому что приведённые нами примеры представляют если не точную характеристику прошлогодних рассуждений о крестьянском деле, то уже во всяком случае и не исключения... Мы не хотим подбирать более фактов, потому что это очень неприятно; но ежели бы потребовалось, мы могли бы представить не десятки, а сотни указаний на статьи, в которых плантаторская точка зрения, применённая к понятию о *праве и законности*, находилась в совершеннейшем разладе с *духовно-нравственным* чувством, против которого вооружался г. Головачёв в «Русском вестнике». Теперь заметим только одно: литература наша только с нынешнего года занялась вопросом о мерах к выкупу земли; в прошедшем году почти не тронут был этот вопрос. Вопрос же о предоставлении крестьянам гражданских прав, прежде чем пойдёт речь об экономических сделках с ними и по поводу их,—этот вопрос до сих пор ещё не поставлен в нашей литературе. А исключивши эти два предмета,—о чём же и могла говорить литература, как не о нравственных и хозяйственных ущербах, какие могут потерпеть помещики от освобождения крестьян?..

Напрасно поэтому удивляться отсталости некоторых помещиков,

как удивлялась, например, в декабре прошлого года «Библиотека для чтения», вообще мало принимавшая участия в крестьянском вопросе. Она изумилась сведениям из Ярославля, напечатанным в № 44 «Экономического указателя» и гласившим следующее:

«Первые высочайшие рескрипты по крестьянскому делу застали дворянство Ярославской губернии врасплох; оно нисколько не было приготовлено к эмансипации крестьян, не приготовлено потому, что неоткуда ему было познакомиться с *такими понятиями* (!): по-русски, кроме перевода старинного сочинения графа Стройновского, ничего не было написано об этом предмете; иностранные сочинения большинству дворян *недоступны* (?), а известное в рукописи сочинение знаменитого нашего юриста К. Д. К.,¹¹⁷ *по трудности копирования*, было доступно немногим. Оттого, будучи *поставлено* в необходимость действовать, дворянство отличалось необыкновенной медлительностью. Так, когда дворяне некоторых губерний изъявили желание на составление комитетов по крестьянскому делу ещё в конце прошедшего года, дворянство здешней губернии такое желание изъявило лишь в апреле текущего года, в числе последних. Потом, когда в первой половине мая получен был высочайший рескрипт по этому делу, то предписанное им составление комитета отложили до половины августа. Далее, избравши депутатов в половине августа, вновь отложили открытие комитета до 1 октября. Выигранное такими отсрочками время дворянство употребило на то, чтобы *привыкнуть к новым понятиям и изучить их*, для чего появилось даже в *этом классе* (к чему здесь «даже» относится?) несколько рукописных сочинений *за и против* реформы. Однако, урок (?) был так тяжёл, что и доселе не только большинство сословия, но даже передовые люди в нём не ознакомились достаточно с вопросом, что явствует, с одной стороны, из медленного исполнения высочайшего рескрипта, а с другой — из того обстоятельства, что в литературе не появилось ни одного сочинения, написанного ярославским помещиком».

«Библиотека для чтения» пришла в ужас от столь печального факта и воскликнула с благородным негодованием:

«В 1858 году, во время всеобщего движения вперёд (в настоящее время, когда... и пр.), является целая масса людей, занимающих почётное место в обществе, но которые не приготовлены к эмансипации только потому, что неоткуда было познакомиться с такими понятиями, — как будто человеческие идеи почерпаются только из книг, как будто практический смысл помещика не мог сказать ему, что он должен сделать для своего крестьянина и как сделать. Факт замечательный!» и пр...

По нашему мнению, — факт вовсе не замечательный, и мы только удивляемся, что на одно ярославское дворянство взвалили то, что обще всей России и что так ярко выразилось даже во всей литературе нашей. Ещё ярославское дворянство оказалось очень благоразумным, если действительно не хотело съезжаться прежде, чем привыкнет к новым понятиям и изучит их. А другие — так преспокойно принимались рассуждать даже печатно, не приобретши не только привычки к новым понятиям, но даже самых первых начал грамотности. Пример подобной отваги недавно обнаружил тульский помещик *Мещеринов*. Он прислал в «Журнал землевладельцев» безграмотную статейку; её поправили, сократили и напечатали. Автор обратился с жалобой в «Московские ведомости», объявляя, что не признаёт свою статью, напечатанную в «Журнале землевладельцев», «потому, что то же мнение он имел честь представить на обсуждение тульского комитета,

и потому, что всякое *литературное произведение есть законная собственность сочинителя, подлежащая цензуре, которая или пропускает издание, или без приправок возвращает по принадлежности*» («Московские ведомости», № 5, 1859 год). Тогда «Журнал землевладельцев» (в № 15) напечатал статью г. Мещеринова в её первоначальном виде. Вот выдержка из неё, дающая понятие и о направлении и о слоге этого *литературного произведения*.

«Новая система отчинного управления, разъединяет помещика с крестьянином. Последний с приобретением покупкою усадьбы, Делается сочувствующим владельцем дачи, только что размежёванной особняком из чересполосности. — Делается невольно чуждым попечения владельца, переходя под власть распоряжения Общины и мирских сходов, и потому Делается чужд участия владельца, относительно неисчислимых пособий и многих хозяйственных преимуществ на пользу крестьянина. Притом обязательная продажа усадеб, при беспорядочной жизни крестьянина, невольно оставляет его опасным соседом, поблизости положения усадеб. Разные неувольнимые беспорядки и нарушение предосторожностей от пожара. Грозят истреблением, и поставят владельца в необходимость, *даже при сохранении прав на полицейские меры, искать без пользы, посредничества местной полиции*».

И поверьте, что г. Мещеринов вовсе не последний представитель этой литературы, которая так гордо кричит о своих заслугах для общества, о своих просвещённых и гуманных воззрениях на современные вопросы... И после этого ещё находятся люди, сокрушающиеся о том, что ни юдного сочинения по крестьянскому вопросу не написано ярославскими помещиками! Как будто великая честь попасть в эту литературу, где подвизаются *сочинители*, подобные г. Мещеринову, где имеют право гражданства *литературные произведения*, подобные его мнению!

С тяжёлым чувством оставляем мы прошлогоднюю литературу крестьянского вопроса и обращаемся к другим, близким к нему предметам, занимавшим в прошлом году нашу журналистику. Эти предметы—общинное владение, грамотность народа и телесное наказание. К сожалению, и здесь мало отрадного.

Вопрос об общине возбуждён был и поддерживался постоянно в «Современнике». ¹¹⁸ Поэтому мы не имеем надобности теперь распространяться о нём. Но не можем не напомнить читателям, какой хаос всех понятий—философских, исторических и экономических—представлялся в этом споре. Сначала, когда г. Чернышевский вызвал «Экономический указатель» на спор об общине, то г. Вернадский объявил, что решается отвечать ему только ради самоуверенности его тона, но что, впрочем, не считает подобный спор *ни важным, ни современным*. Прошёл год, и все журналы, все газеты наши наполнились статьями об общине. Одна из статей (в № 44 «Атеней») начиналась уже так:

«Существование общинного владения, как факта у нас, в России, и как теории, волнующей умы на Западе, *ставит его на очередь вопросов, почти всемирно-любопытных*».

Вот как перевернулось дело в течение одного года! Но как рассуждали об этом всемирно-любопытном вопросе? Удивительно рассуждали! В самом разгаре споров вдруг «Русский вестник» предъявил

свое собственное убеждение об общине. Он выразился очень категорически:

«Об общественном владении *не может более идти серьёзной речи*. Много, слишком много было уже сказано против этой формы владения, и говорить более значило бы гоняться с охухом за мухой. *Отстаивать общественное владение невозможно*; по крайней мере, невозможно для людей, уважающих слово и неспособных жертвовать очевидностью истины упрямству самолюбия» («Русский вестник», № 17, стр. 187).

А чтобы показать, какие это люди, «способные жертвовать истиною» и пр., «Русский вестник» подробно изображает их. Он делит защитников общины на две категории: одни почтенные люди—только уже очень глупы, потому что все стоят на одном: *credo, quia absurdum est**; другие,—но о других вот как отзывается «Русский вестник»:

«Кроме этих, впрочем, почтенных и уважаемых нами голосов, раздавались ещё голоса иного свойства в пользу общественного владения. Но эти были свободны от всякого энтузиазма и не имели никаких убеждений. В голове этих господ сложился *нерастворимый осадок от верхоглядного чтения всякого рода брошюр*, которых всё достоинство в их глазах состояло только в том, что они были направлены против политической экономии и вообще *против всех начал ясного мышления и знания*. В них не заметно признаков собственной мысли, и видно, что ни до какого результата не доходили они испытанием собственного ума; но тем твёрже засели в них *результаты всяких брожений чужой мысли*. Всё встречное и поперечное приравнивают они к этим осадкам, заменяющим для них *собственный ум*; в чём заметят они какое-нибудь согласие, какое-нибудь сродство со словами их авторитетов, то становится для них предметом живейших сочувствий, и они с зазорным ожесточением защищают свою святыню, оспаривая всё встречное и поперечное, что не подойдёт под цвет и тон жалких суррогатов истины, служащих обильнейшим источником если не мысли, то удачных слов и ухарских фраз. Эти господа не обошли и русской общины. Их пленило в ней общественное владение, потому что кто-то и когда-то сказал что-то в похвалу общественного владения, и потому ещё, что оно радикально противоречит всем законам политической экономии. Для всякого другого такое противоречие не было бы по крайней мере предметом особенной радости; но для этих господ именно это-то самое несогласие с наукою и служит сильнейшею причиной пристрастия к общинному владению. Не то чтоб они дорожили своим мнением, вопреки науке; этого мало: они потому только и начинают считать какое-либо мнение своим, только потому и цепляются за него, только потому и дорожат им, что оно отвергается мыслью и противоречит науке. К сожалению, эти заодно-крикливые голоса, которых наглость равняется только их невежеству и бессмыслию, слишком часто и не без эффекта раздаются в нашей литературе, увлекая за собою ватагу праздных голов, в которых звенят только слова, за отсутствием мысли. Для этих крикунов нет ничего заветного; мы слышали, с каким цинизмом восставали они против истории, против прав личности, льгот общественных, науки, образования; всё готовы были они нести на свой мерзостный костёр из угодения идолам, которым они поработили себя, хотя нет никакого сомнения, что стоило бы только этим идолам кивнуть пальцем в другую сторону, и жрецы их запели бы мгновенно иную песню и разложили бы иной костёр».

Кажется, достаточно сильно: видно, что с убеждением написано! И что же? Вслед за тем начинается речь в таком роде: вы все—

* Верую, потому что нелепо (лат.). — Ред.

глупцы и невежды; вы хвалите общину, да не ту; общину и нужно защищать, да только не ту, какая есть и какую вы знаете, а другую, какую мы вам покажем. И начинается показывание новой общины. Затем немедленно в литературе раздаётся смех. «Атеней» сообщает публике рецепт, по которому составлена статья «Русского вестника»:

«Возьми старого, выдохшегося взгляда на происхождение права земельной собственности, смешай с двойным количеством школьных ошибок против истории, мелко-намелко истолки и брось эту пыль в глаза читающему люду, предварив наперёд, что всякий, кто назовёт её настоящим именем, — бессмысленный невежда, пустой болтун, враль, лишённый даже энтузиазма (а известно, что в наше время энтузиазм дешевле всего: он отпускается почти задаром, потому что мало требуется)» («Атеней», № 40, стр. 329).

Потом «Сельское благоустройство» отозвалось о статье «Русского вестника» почти теми же словами, какими сам он говорил об общинном владении, — то есть что о статье этой «странно говорить серьёзно» («Сельское благоустройство», № 11, стр. 99). Естественно, что при таких взаимных отношениях противников запутанность вопроса увеличилась. Она увеличилась ещё больше, когда в спор об общине вмешались разные отвлечённые соображения из наук, так сказать, духовных. Так например, в № 50 «Атеней» г. Савич, в статье «Несколько мыслей об общинном владении землею», внезапно заговорил, без всякой видимой побудительной причины, *«об отношении идеала человеческого блаженства к идеалу счастья собачьего»!* Он высказал мысли весьма высокие.

«Если, — говорит, — счастье есть удовлетворение потребностей, а в натуре человека нельзя представить таких потребностей, для которых нет удовлетворения во всей вселенной, — то, следовательно, счастлив тот, кто имеет потребности и может удовлетворять им. Как похоже оно (то есть счастье, должно быть) на счастье собаки моей за овсянкой или голодного волка, разрывающего добычу свою!.. А мне казалось, что идеал *нашего* счастья в божестве, и к нему стремится человек двумя путями: в религии — чувством, в науке — умом; я думал, что чувство это ненасыσιμο, а ум ограничен условиями материи; я думал поэтому, что истинного счастья нет на земле для человека, а есть только *довольство да наслаждение*» (стр. 444).

Всё это очень добродетельно, но как вяжется с общинным владением — решить трудно... И в таких-то прениях прошёл целый год! К концу года г. Чернышевский нашёлся вынужденным преподавать своим противникам несколько элементарных сведений философских и политико-экономических. [Читатели наши знают, с каким благодушием и терпением исполняет г. Чернышевский свою задачу.] В то же время г. Кавелин напечатал в «Атенее» весьма серьёзную статью в защиту общины.¹¹⁹ Опять, стало быть, вопреки «Русскому вестнику», пошла *серьёзная* речь об общинном владении!..

Зато вопрос о грамотности сделал в течение прошлого года истинно замечательные успехи. *Почти* решено, что грамота не ведёт народ к гибели. С благородной прямою и смелостью выразился один из защитников грамотности, что *«вреда от грамотности нельзя ждать*

большого!» («Земледельческая газета», № 98, стр. 786). Вопрос остановился уже на том, какие знания нужны крестьянам и каких не требуется. Разумеется, высказаны были мнения, что равенство образования всех сословий в государстве есть утопия; что для высших знаний (как, например, знание законов, истории и т. п.) есть «некоторое количество людей, занимающих в организации государства известное место и значение» («Земледельческая газета», №№ 15, 44, 45). Против этого мнения говорили некоторые довольно неопределёнными фразами, но вообще с ним соглашались. Затем для крестьян определялось учение: читать, писать и закон божий; преимущественно же указывалось на нравственное воспитание, состоящее в исполнении своих обязанностей в отношении к властям. Впрочем, особых подробностей не было высказано: всё ещё упивались повторением новой, с таким трудом, с бою взятой истины, что от образования крестьян нельзя ожидать большого вреда... И то хорошо!

Вопрос о телесном наказании тоже был на очереди, но решался как-то странно. Нужно, впрочем, заметить предварительно, что если кто подумает, будто дело шло в литературе об отменении розог—тот жестоко ошибается. Нет, до этого литература ещё не договорила. Дело шло ни больше, ни меньше как о том, кому сечь—помещику ли, или сельскому управлению. Ранее всех, кажется, поднял этот любопытный вопрос некто г. Петрово-Соловово, предложивший его в «Одесском вестнике» в такой форме: «Каким количеством ударов розгами владеец может наказывать срочно-обязанных крестьян по своему желанию и усмотрению?» На вопрос, конечно, явились ответы. В «Журнале землевладельцев» г. Рошаковский высказал гуманную мысль, что не следует отстаивать 40 ударов, а можно спуститься до 20. Князь Черкасский в «Сельском благоустройстве» поступил ещё гуманнее: он спустил ещё десять процентов и согласился уменьшить число ударов, предоставленных в ведение дворянства, до 18. Но тут-то (не знаем уж почему,—потому, должно быть, что в последовательных уступках увидели слабость противников) и восстали благородные рыцари, совершенно разбившие князя Черкасского. Кончилось тем, что он отказался и от 18 ударов в пользу дворянства и уступил их сельскому управлению. Но тут, разумеется, рыцари ободрились ещё более и начали пускать грязью в бегущего с поля битвы князя Черкасского и в друзей его. Но беглецы скрылись, а рыцари оказались перепачканными в грязи. Затем всё стихло.

Не столь счастливо, как народ, отделались дети: о них наши передовые люди всё ещё сомневались в прошлом году: сечь или не сечь, по своему желанию и усмотрению. Впрочем, и то хорошо, что сомневались: сомнение есть путь к истине.

Таким образом, на поприще грамоты и розог успехи наши в прошлом году несомненны. Много уже сделано; говоря словами одной современной песенки,

Мы обсуждали очень тонко
(Хоть не решили в этот год),
Пороть ли розгами ребёнка,
Учить ли грамоте народ.

Вообще о народном просвещении у нас сильно говорили в прошедшем году. Особенно занимали всех вопросы о женском образовании и об отношении гимназий к университетам. Согласились единодушно, что девочек учить *тоже нужно*; с большою радостью приветствовали открытие женских школ. Что касается до направления и характера женского образования,—на этом поприще подвизался преимущественно г. Аппельрот, желавший вообще проводить воспитание «от центра домашнего быта к периферии всемирной жизни». Впрочем, литература на этот предмет как-то мало обратила внимания. Но зато учреждению женских школ она ужасно радовалась!.. В простоте души она не стыдилась хвалиться тем, что у нас *наконец будут женские школы!*.. Из этого видно, что она считает женские школы в некотором роде роскошью, без которой можно и обойтись [потому что нельзя же считать великим подвигом удовлетворение необходимейших своих потребностей, нельзя серьёзно восторгаться и хвалиться тем, что я ночью ложусь спать, поутру просыпаюсь и за обедом ем].

Об университетах и гимназиях тоже хорошо говорили. Один профессор сказал, что в университете студенты ничему не выучиваются, потому что в гимназиях плохо бывают подготовлены к слушанию учёных лекций профессоров («Атеней», № 38). А гимназии оттого приготавливают плохо,—утверждал тот же профессор, уже вместе с другим («Журнал для воспитания», № 2),—что университету не предоставлено контроля над ними. Но профессорам с разных сторон дали сильный отпор. Они глумились над гимназистами, поступающими в университет, и рассказывали уморительные анекдоты, случавшиеся с молодыми людьми на приёмных экзаменах; а им отвечали ещё более уморительными анекдотами о профессорских лекциях. Профессор говорил: «Что делать с тупоумным учеником, который на экзамене отвечает слово в слово по скверному учебнику?» А ему отвечали: «Что же делать ученику, ежели профессора и вообще знающие люди презируют составление учебников и предоставляют это дело какому-нибудь г. Зуеву?»—Профессор говорил: «Если ученик не знает географии, то читая, например, историю, не могу же я замечать ему, что Лион находится во Франции, а Тибр течёт в Италии...» А ему отвечали: «Отчего же бы и нет? Это было бы и лучше и короче, чем читать, например, целый трактат о разных породах голубей и об их воспитании, как делал один профессор по поводу слова, встретившегося в каком-то памятнике...» И анекдоты о профессорах были отличные! Словом—литература показала себя!

По этой же части ещё был один важный вопрос, которого, однако, так и не решила литература. Дело было в том: нужно ли учителям (особенно уездным) внутренне возвыситься до того, чтобы заслужить сначала уважение общества, а потом, за добродетель,—хорошее жалованье; или же нужно учителям прибавить жалованье для того, чтобы они могли получше держать себя в обществе. В «Журнале для воспитания» почти целый год об этом препирания производились; «Атеней», в лице г. Некрасова, объявил себя за внутреннее возвеличение учителей; г. Гаярин в «Русском вестнике» объявил себя за прибавку жалованья. Но окончательного решения

по столь многотрудному вопросу до сих пор ещё не произнесено... И, кажется,—не литература произнесёт его: прибавка жалованья учителям уже решена, говорят, в министерстве просвещения.

Не пускаясь в подробности, укажем ещё в общих чертах на два современнейших вопроса—о *взятках и гласности*. Первый вопрос, впрочем, в прошедшем году потерял уже свою самостоятельность (в этом действительно можно видеть *прогресс литературы*) и прикинул к вопросу о гласности, которая рассматривалась у нас преимущественно в применении к судопроизводству. Разумеется, тут целая половина рассуждений заключалась в опровержении сочинённого нашими же писателями мнения о том, что гласность гибельна для блага государства. Сколько мы ни прислушивались к общественному мнению здесь, в Петербурге, сколько ни расспрашивали людей, живших в последнее время в провинциях,—ни от кого мы не слышали, чтобы гласность считалась гибельною в нашем обществе, по крайней мере в том, которое читает журналы. А между тем журнальные статьи беспрестанно сражались с невидимыми, воображаемыми противниками гласности... Есть, конечно, противники; кто же станет отвергать это? Но ведь они стоят ниже общественного сознания. Ведь уже самый факт нерасположения к гласности доказывает, что они—или из ума выжили, или не имеют ни малейшей добросовестности! Зачем же литература так много о них заботится, так много придаёт им значения? Стало быть, они имеют для неё какую-то непостижимую важность!.. Хороша же литература, для которой имеют важность такие господа, совершенно уже отрешённые от всякого здравого смысла!.. И после этого ещё литература имеет наивность воображать, что она в состоянии руководить общество на пути прогресса!.. Неужели она не понимает, что общество стоит уже выше подобных внушений и подобных руководителей? Неужели литература не видит, что общество требует пищи, а не рассуждений о том, что не евши можно умереть с голоду?.. Хорош был бы повар, который каждое утро являлся бы к вам и посвящал по несколько часов на объяснение того, что человек должен есть, что кушанье надобно варить непременно с солью, что без соли оно не будет иметь вкуса и т. п. Вероятно, вы скоро приказали бы ему замолчать, или, наконец, совсем прогнали бы его...

Но, кроме рассуждений о пользе гласности, были и действительные её применения. Вы помните их, читатель; а если не помните, то обратитесь к «Свистку»: там их целая коллекция... «Свисток» может ими восхищаться, сколько ему угодно; но мы, признаёмся, не видим спасения России в подобном применении гласности.

Один из видов гласности составляла обличительная литература. В этой отрасли, кроме безыменности, обращает на себя внимание ещё мелкота страшная. По поводу разных литературных явлений прошлого года, вроде комедий г. Львова, стихотворений г. Розенгейма и т. п., мы не раз уже рассуждали об этом предмете. Теперь припомним только общий характер обличительной литературы последнего времени. Она вся погрузилась в изобличение чиновников низших судебных инстанций. Писарям, становым, магистратским секретарям, квартальным надзирателям житья не было! Доставалось также

и сотским и городовым и т. п. Всё это, конечно, хорошо в своём роде; зачем же и городовому грубо обращаться с дворниками? Нужно и его обличить... Но вслушайтесь в тон этих обличений. Ведь каждый автор говорит об этом так, как будто бы всё зло в России происходит только оттого, что станковые нечестны и городовые грубы! Ведь до сих пор многие из обличителей не отрешились от достойно осмеянной точки зрения Надимова, уверяющего, что для благоденствия России нужно только на мелкие должности поступить богатым дворянам!.. А пора бы уж понять всю недостаточность подобного воззрения. Оно, конечно, справедливо в том отношении, что господам, подобным Надимову, всё-таки полезнее занимать мелкие должности, чем важные: при меньшем круге деятельности они меньше и зла наделают. Но нельзя же удовольствоваться таким отрицательным заключением; надобно от него притти к чему-нибудь; а литература наша ни к чему не пришла. И в прошлом году, как в предыдущих, она громила преимущественно уездные власти, о которых, если правду сказать,—после Гоголя и говорить-то бы не стоило... Если же задевались иногда губернские чины, то обличение большею частью слагалось по следующему рецепту: выводился благороднейший губернатор, благодетель губернии, поборник законности и гласности; около него группировалось два-три благонамеренных чиновника, и они-то занимались каранием злоупотреблений. А иногда губернатор на сцену вовсе не являлся, а только предполагался за кулисами, как опора добродетели, вроде фатума древних. Остальные губернские власти затрогивались всё реже и легче, по мере приближения своего к губернатору... Кроме того, в повестях появлялось иногда ещё *важное лицо, чиновная особа* и т. п. Что это были за лица и *особы*, оставалось известным только автору. Значения их невозможно было угадать, потому что обличения наши постоянно отличались необыкновенной отрывочностью. Нигде не указана была тесная и неразрывная связь, существующая между различными инстанциями, нигде не проведены были последовательно и до конца взаимные отношения разных чинов... Недаром поборники чистого искусства обвиняли наших обличителей в малом знании своего предмета! Или, может быть, они и знали, да не хотели или не могли представить дело, как следует? Так и за это собственно хвалить их не следует: и тут заслуга не велика!..

Мы долго не кончили бы, если бы вздумали перечислять частные ошибки и разбирать в подробности разные странности прошлогодней литературы. Мы сначала хотели посмешить читателей подбором множества забавных анекдотов, совершившихся в прошлом году в литературе. Мы хотели указать на наших учёных—на то, как г. Вельтман считал Бориса Годунова дядею Фёдора Ивановича; как г. Сухомлинов находил черты народности у Кирилла Туровского, потому что у него, как и в народных песнях, говорится: *весна пришла красная*, как г. Беляев доказывал, что древнейший способ наследства—*есть наследство по завещанию*; как г. Лешков утверждал, что в древней Руси не обращались к знахарям и ворожеям, а к врачу, который пользовался особенным почтением; как г. Соловьёв (в «Атенеи») уличал г. Устрялова в том, что он вместо *истории* Петра сочинил

эпическую поэму, даже с участием чудесного; как г. Вернадский сочинил историю политической экономии по диксионеру Коклена и Гильомена; как г. Пальховский объявлял, что труд женщины, по законам природы, должен ограничиваться рождением детей; как г. Куторга (натуралист) относил углерод к числу газов; как г. Берви утверждал, что иногда часть бывает равна своему целому, и пр. и пр. Хотели мы припомнить и несколько *странных* литературных, как например, то, что «Атеней» начал своё издание, сказавши в первом номере: «нечего жалеть, что у славян австрийский жандарм является орудием образованности», а кончил в последней книжке словом, что помехой нашему прогрессу служат раскольники, которых за то и нужно преследовать... К таким странностям хотели мы отнести, например, и мысль о том, что главная причина расстройств помещичьих имений наших заключается в отсутствии майората («Земледельческая газета»); и уверение, будто главный недостаток романа «Тысяча душ» заключается в том, что герой романа воспитывался в Московском, а не в другом университете («Русский вестник»); и опасения, что в скором времени, когда нравы наши исправятся, сатире нечего будет обличать («Библиотека для чтения»); и статейку о судопроизводстве, уверявшую, что такое-то воззрение неправильно, потому что в «Своде законов» его не находится («Библиотека для чтения»), и пр. и пр. Всех материалов, собранных нами, стало бы на длинную забавную статью... Но размышления наши приняли характер вовсе не весёлый, и потому мы пройдем молчанием и грубые ошибки, и дикие воззрения, и нелепые стихи, и фантастические повести, вроде «Игрока» г. Ахшарумова, и даже знаменитый «Литературный протест», эти геркулесовы столбы русской гласности, этот красноречивейший, несокрушимый памятник мелочности прошлогодней литературы... Эти мелочи уже слишком мелки; оставим их в покое и предоставим читателю самому определить их настоящее место в коллекции других литературных мелочей...

Впрочем, не будем полагаться на читателей. Опытные люди говорят нам, что читатели бывают недовольны, когда им что-нибудь не досказывают, а в нашей статье многое может показаться недосказанным. Вследствие этого мы находимся вынужденными сказать ещё несколько заключительных слов о крупных и мелких мелочах, указанных нами. Заключение наше должно служить ответом на вопрос: зачем мы говорим о мелочах?

Мы ещё в первой статье нашей объяснили, что литературу понимаем как выражение общества, а не как что-то отдельное и совершенно независимое. Эту точку зрения просим приложить ко всему, что нами сказано в настоящей статье. Мы полагаем, что наше воззрение и без особенных оговорок должно быть совершенно ясно; но всё-таки считаем нужным оговориться ещё раз, чтобы не подать повода к нелепому заключению, будто мы восстаём против литературы и хотим её гибели. Совершенно напротив: мы горячо любим литературу, мы радуемся всякому серьёзному явлению в ней, мы желаем ей

большого и большего развития, мы надеемся, что её деятели в состоянии будут совершить что-нибудь действительно полезное и важное, как только явится к тому первая возможность. Именно потому и осмелились мы так сурово говорить о недавнoproшедшем нашей литературы, что мы ещё храним веру в её силы. Пусть не оскорбятся нашими словами литературные сподвижники настоящего; пусть вступят, как они сами смеялись над теми чиновниками, которые обижались журнальными обличениями взяток, формальностей и проволочек суда, мелочности канцелярских порядков и пр. Литераторы, люди образованные и понимающие своё положение, должны стоять выше подобной обидчивости. Они должны знать, что к кому обращаются с недовольством за то, что он сделал мало, от того, значит, ожидают большего. Если бы мы думали, что литература вообще ничего не может значить в народной жизни, то мы всякое писание считали бы бесполезным и, конечно, не стали бы сами писать того, что пишем. Но мы убеждены, что при известной степени развития народа литература становится одною из сил, движущих общество; и мы не отказываемся от надежды, что и у нас в России литература когда-нибудь получит такое значение. До сих пор нет этого, как нет теперь почти нигде на материке Европы, и напрасно было бы обманывать себя мечтами самообольщения... Но мы хотим верить, что это когда-нибудь будет.

С другой стороны, и публика, которая прочтёт нашу статью, не должна, нам кажется, вывести из неё слишком дурного заключения для литературы. Немного надо проникательности, чтобы понять, что всё наше недовольство относится не столько к литературе, сколько к самому обществу. Мы решительно не намерены противоречить, ежели кто-нибудь из литераторов захочет предложить возражения и ограничения наших мнений, например, в таком виде:

«Никто, конечно, не сочтёт странным, если мы скажем, что класс писателей вообще принадлежит к числу самых образованных, благородных и деятельных членов нашего общества. Они всегда на виду у всех со своими идеями и стремлениями, и, следовательно, их умственное и нравственное развитие не может оставаться тайною для читателей. Поэтому мы можем с гордостью сослаться на всю русскую публику, утверждая, что никогда новая литература наша не была поборницею невежества, застоя, угнетения, никогда не принимала характера раболопного и подлого. Если встречались личные исключения, то они тотчас же клеймились позором в самой же литературе. Конечно, мы очень хорошо понимаем, что таких отрицательных добродетелей недостаточно для общественного деятеля. Да и ни один порядочный человек не поставит в заслугу ни себе, ни другому—того, что он не вор, не подлец и не пьяница. Нужны другие права на общественное уважение, и литература,—мы знаем,—постоянно стремилась приобрести их. Но стремления её большею частью не пользовались совершенной удачей: кто же в этом виноват, как не общество? Общество терпело взятки, самоуправство, неправосудие; как же было литературе восстать на них? В обществе не встречали сильного отзыва просвещённые, гуманные стремления; могла ли литература сильно их высказать? Если бы общественное мнение у нас было сильно и твёрдо,

оно на лету подхватывало бы всякое слово, всякий намёк литературы, ободряло бы и вызывало на дальнейшие словесные подвиги. Но этого не было: сонная вялость господствовала в обществе, общественное мнение отличалось странным индифферентизмом к общим вопросам; как тут было не измелечать литературу? Война несколько расшевелила нас, да и то очень мало; мы как будто стряхнули несколько сонных грёз, но множество прежних иллюзий ещё осталось в неприкосновенности. Вместе с тем и прежняя сонная инерция ещё сильно держит нас на одном месте, несмотря на все наши толки о прогрессе. Мы ещё всё не можем привыкнуть к мысли о том, что нужно самому о себе заботиться, нужно работать, нужно идти самим, а не ждать, чтобы пришли к нам благодетели, которые начнут переставлять нам ноги. Нас не оставило ещё наше «авось»; мы всё ещё хотим, чтобы нас понукали, чтобы за нас делали другие. Иногда общество и томится каким-то смутным желанием, но оно никогда не шевельнёт пальцем, чтобы привести его в исполнение. В обществе нет инициативы; как же вы хотите, чтобы давала её литература? Всякий писатель знает, что если он заговорит о том, что нужно, но что ещё не проявилось в самой деятельности общества, то его назовут сумасбродом, утопистом, даже, пожалуй,—чего доброго!—врагом общественного спокойствия! Ну, когда так, то зачем же, в самом деле, мирному литератору нарушать общее спокойствие? Он и молчит. А там, посмотришь, через несколько месяцев, через год, то же самое предположение уже осуществляется в законодательстве или в административных распоряжениях, и общество довольно, и уже с рукоплесканиями встречает того, кто заговорит о том же самом. А не осуществится предположение, общество опять довольно и спокойно и как будто вовсе не чувствует ни малейшей надобности в его осуществлении. Что тут делать литературе, когда её не только не спрашивают, а даже и слушать не хотят, пока сами события не наведут на ту же мысль, какую она могла бы сообщить гораздо раньше?.. Конечно, литературу могут обвинить в том, что она не выражает своих требований с жаром и настойчивостью, несмотря на все неудачи. Но и на такое обвинение общество наше не имеет права. Разве оно признало значение литературы? Разве оно поручило ей своё нравственное и умственное воспитание? Разве оно своей любовью и уважением ограждает литературу от неразумных нападений обскурантов? Ведь нет; оно равнодушно к литературе, оно не спрашивает её советов; какое же право имеет оно требовать, чтобы литература насильно вмешивалась в его дела?

«И самая мелочность вопросов, занимающих литературу, служит не к чести нашего общества. Если талантливый актёр пускается в фарс для приобретения успеха, это унижает публику; если профессор астрономии считает нужным объяснять своим слушателям таблицу умножения,—это унижает его аудиторию. Так и в литературе. Скажите, каково нравственное развитие того общества, в котором ещё приносят пользу и имеют успех рассуждения о пользе гласности, о вреде бесправия, о бесчестности лихоимства и т. п.? Тут всё падает на неразвитость общества; литература виновата лишь в том, что явилась среди такой публики. Но что же делать ей? Провинциальный

актёр поневоле играет для провинциальной публики, пока не найдёт средств поступить на столичный театр».

Справедливости *таких* возражений мы не отвергнем. Действительно, литература сама по себе, без поддержки общества, бессильна; стало быть, напрасно и требовать что-нибудь от неё, пока общество не изменит своих отношений к ней. У ней во власти только теоретическая часть; практика вся в руках общества. Она забирается в кружок взяточников и негодяев и проповедует им о честности, бескорыстии; вы с удовольствием её слушаете и аплодируете. Но вот один из ваших братьев попался в руки к этим взяточникам и негодяям; они могут лишить его имущества, прав, посадить в тюрьму, сослать в Сибирь, словом—сделать с ним, что им будет угодно. Что может сделать писатель, неприкосновенный к делу, для защиты вашего невинного брата? Он опять будет говорить о честности и правом суде; но может ли это подействовать на взяточника? Не жалко ли будет положение писателя, попусту тратящего слова в таком случае, где нужно дело делать? А вы, имея в руках документы, зная свидетелей в пользу вашего брата, имея все средства для уличения неправого судьи, будете спокойно смотреть на усилия литератора и, пожалуй, опять рукоплескать его благородным рассуждениям! Скажите, кто более жалок, кто производит более неприятное чувство в этом случае,—писатель ли, бесплодно рассуждающий, или люди, восторгающиеся его красноречием? Трудно решить.

Итак, мы повторим здесь ещё раз, что, указывая на мелочность литературы, мы не думали *обвинять её*. Но вот в чём мы её обвиняем: она хвалится многими из своих мелочей вместо того, чтобы стыдиться их. Говоря о правосудии, когда несправедливо судят невинного брата, она не сознаёт ничтожности своей речи для пользы дела, не говорит, что прибегает к этому средству только за неимением других, а напротив—гордится своим красноречием, рассчитывает на эффект, думает переделать им натуру взяточника и иногда забывается даже до того, что благородную речь свою считает не средством, а целью, за которою дальше и нет ничего. А невинно осуждённый терпит между тем заключение, наказание, подвергается страданиям всякого рода. И литература не хочет видеть или не хочет сознаться, что её деятельность слаба, что того, чем она может располагать, мало, слишком мало для спасения невинного человека от осуждения корыстного судьи. Вот что [возмутительно] для людей, которые ищут дела, а не хотят остановиться на праздном слове! Вот что и вызвало нашу статью. Мы хотели напомнить литературе, что при настоящем положении общества она ничего не может сделать, и с этою целью мы перебрали факты, из которых оказывалось, что в литературе нет инициативы. Далее мы хотели сказать, что литература унижает себя, если с самодовольством останавливается на интересах настоящей минуты, не смотря в даль, не задавая себе высших вопросов. Для этого мы припомнили, какой ничтожностью и мелкотой отличались многие из патетических рассуждений нашей литературы о вопросах, уже затронутых в административной деятельности и в законодательстве. Литература всегда может оправдать себя от упрека в мелоч-

ности, сказав, что она делает, что может, и что не от неё, а от общества зависит делать больше или меньше. Но нет для неё никакого оправдания, ежели она самодовольно забудется в своём положении, примирится со своей мелочностью и будет толковать о своём серьёзном значении, о великости своего влияния, о прогрессе общества, которому она служит. Такое самодовольное забытьё покажет нам, что литература действительно не имеет высших стремлений, что она смиренно довольствуется всем, что ни сделает с нею общество, ради временной надобности или даже просто ради потехи. При такой узости взглядов и стремлений литература действительно может показаться противною для всякого свежего человека, ищущего деятельности... [И с нею может тогда помирить только вопль отчаяния, в котором будет и энергический укор, и мрачное сожаление, и громкий призыв к деятельности более широкой. Призыв этот будет относиться не к одной литературе, а к целому обществу. Его смысл будет в том, что гнусно тратить время в бесплодных разговорах, когда, по нашему же сознанию, возбуждено столько живых вопросов. Не надо нам слова гнилого и праздного, погружающего в самодовольную дремоту и наполняющего сердце приятными мечтами, а нужно слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагою гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной...]



РОБЕРТ ОВЭН И ЕГО ПОПЫТКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РЕФОРМ ¹²⁰



Вступление. — Первоначальная деятельность Овэна и принятие им в управление Нью-Лэнэркской хлопчатобумажной фабрики. — Состояние фабрики до него: эксплуатация работников капиталистами, как причина дурного хода дел на фабриках. — Идеи Овэна и меры, принятые им для улучшения Нью-Лэнэрка. — Восстановление доверия между хозяином и работниками на фабрике; училище в Нью-Лэнэрке, по методу Овэна. — Общее внимание обращено на Нью-Лэнэрк. — Временный успех Овэна, объясняемый состоянием английского общества в начале нынешнего столетия и ошибочным пониманием стремлений Овэна во всей Европе. — Адрес Овэна Ахенскому конгрессу. — Действия Овэна в парламенте, его пропаганда, борьба с клерикальной партией. — Путешествие в Америку и основание колонии Нью-Гармони. — Возвращение в Европу и основание Орбистонской колонии под управлением Абрама Комба. — Новое путешествие в Америку и переговоры с мексиканским правительством о Техасе. — Деятельность Овэна по возвращении в Англию: пропаганда, участие в восстаниях и предприятиях работников; «обмен народного труда»; «Дружеское общество рабочих» в Манчестере. — Поездка Овэна во Францию. — Основание колонии Гармони-Голль. — Представление королеве Виктории. — Манифест Роберта Овэна по этому случаю. — Последние годы жизни Овэна. — Заключение.

Овэн представляет собою бесспорно одно из самых благородных и симпатичных явлений нашего столетия. Недавно (17 ноября 1858 года) угасла его жизнь, полная смелых предприятий и великодушных жертвований на пользу человечества, и никто, даже из врагов его идей, не отказался помянуть его добрым словом. Личность Овэна до того привлекательна своим умным добродушием и каким-то благодатным, светлым спокойствием, его деятельность до того поражает своим полным бескорыстием и самоотвержением, что самые ожесточённые противники его идей, отвергая его радикальные реформы, не могли однакоже относиться к его личности без особенного уважения и даже некоторого сочувствия. Его обвиняли, как утописта, мечтающего переделать всё человечество, ему доказывали необходимость безуспешности его стремлений; но в то же время большая часть противников не могла не согласиться, что очень было бы хорошо, если бы предположения Овэна были осуществимы. Лучшие умы нашего столетия выражали своё сочувствие Овэну; даже государственные люди,

князья и правители были одно время благосклонно заинтересованы его начинаниями.

В одном из некрологов Оуэна мы нашли между прочим следующее известие:

«Император Николай, бывший ещё великим князем, посетил Нью-Лэнэрк и, осмотрев учреждение Оуэна, — детский приют, жилища работников, мастерские, — долго с ним разговаривал и в заключение сказал ему: «Ваше отечество перенаселено населением, переходите в Россию миллионами с двумя ваших соотечественников и организуйте их в общины, точно так, как здесь; я охотно приму их». Оуэн сам любил рассказывать это и немало радовался тому, что Россия изъясляла таким образом готовность дать основание для практического осуществления его системы, основанной на началах свободы и братства. («Allgemeine Zeitung», № 328).¹²¹

Свидетельствуя о том, как наглядны были всегда системы Оуэна даже для неприспособленного взора, — факт этот в то же время мог бы быть очень лестным для нашего национального самолюбия, если бы в самом деле у нас были хоть сколько-нибудь распространены сведения об Оуэне и предположенных им общественных реформах. Но, к сожалению, не только подробности теоретических соображений Оуэна, не только практические его попытки, но даже самое имя его до сих пор почти неизвестно большинству даже образованной публики. Вот почему мы считаем небесполезным познакомить наших читателей с жизнью и мнениями этого замечательного человека, почти три четверти столетия, в Старом и Новом Свете, безукоризненно служившего человечеству.

Роберт Оуэн родился в 1771 году, в Ньютоне, небольшом городке графства Монгомери. Родители его были бедные люди и потому не могли дать ему хорошего теоретического образования. Займаться только о том, чтобы сын их имел возможность впоследствии добывать себе хлеб, они предназначили Роберта с самого раннего возраста к чисто практической деятельности. Девяти лет он был уже сидельцем в лавке одного купца и очень рано выказал необыкновенную практическую сметливость. В качестве купеческого приказчика и поверенного он разъезжал по разным городам и местечкам Англии и в этих поездках и торговых сделках приобрёл множество практических сведений и даже успел составить себе некоторый достаток. Восемнадцать лет Оуэн был уже в доле у основателя обширной хлопчатобумажной фабрики, Дэля, на дочери которого потом он женился. Через несколько времени Дэль и совсем сдал на руки Оуэна свою фабрику, с которой никак не мог справиться. Это было в 1789 году, и отсюда начинается блестящий период практической деятельности Оуэна.

Чтоб оценить значение того, что здесь им сделано, нужно предварительно познакомиться с положением фабрики в то время, когда она попала в руки Оуэна.

Фабрика Дэля находилась в Шотландии, на берегах Клейда. Дэль основал здесь колонию Нью-Лэнэрк и выбрал для фабрики место, в котором падение вод Клейда представляло особенные удобства для гидравлических сооружений. Это обстоятельство было чрезвычайно важно в то время, когда приложение пара к фабричным производ-

ствам было ещё неизвестно. Но, кроме этого удобства, Нью-Лэнэрок не имел никаких залогов успеха и скоро пришёл, под управлением Дэля, в крайнее расстройство. Фабрика была основана в обширных размерах, и работников на неё требовалось много; при этом, конечно, нельзя было делать слишком строгого выбора. А между тем фабричная работа по самому существу своему не была в то время особенно привлекательна. Индустриализм только что начал тогда в Англии приходить в силу, и первый принцип, приложенный им к делу, был—эксплуатация рабочих сил посредством капитала. Разумеется, работникам не было сладко от этого, и на фабрики шли люди только оттого, что им было некуда деваться. Понятно, что такие люди, принимаясь за фабричную работу при таких обстоятельствах, не обнаруживали слишком большого усердия к своему делу.

Они знали, что как ни работай, а всё-таки много не получишь с хозяина, который только и норовил, чтобы выжать из работника сколько можно больше выгоды для себя. Вследствие таких понятий и такого порядка вещей установились почти повсюду враждебные отношения рабочего класса к подрядчикам и заводчикам—и обратно. Хозяин смотрел на своих работников, как на вьючных скотов, которые обязаны за кусок насущного хлеба работать на него до истощения сил; работники в свою очередь видели в хозяине своего злодея, который истощает и мучит их, пользуется их трудами и не даёт им ни малейшего участия в выгодах, ими же ему доставляемых. Само собою разумеется, что не везде в одинаковой степени проявлялась эта неприязнь, потому что не все хозяева с одинаковым бесстыдством эксплуатировали работников; но основа взаимных отношений между теми и другими везде была одинакова. Основатель колонии Нью-Лэнэрка, Дэль, был несколько не хуже,—и даже, может быть, лучше,—многих других фабрикантов; но, следуя обычной системе обращения хозяев с работниками, он ничего не мог сделать с ними. Невыгоды его положения увеличивались ещё тем, что народ, собравшийся к нему на фабрику, действительно был избалован и развращён. Это был всякий сброд из разных стран, невежественный, ленивый и безнравственный. Таким образом, скоро Нью-Лэнэрк даже превзошёл в нравственном безобразии другие мануфактурные колонии, вообще не отличавшиеся нравственностью. Вместе с равнодушием к работе явилась склонность к лени и праздности; ничтожность заработной платы, сравнительно с выгодами всего предприятия, и невозможность, без чрезвычайных приключений, выбраться из печальной колеи наёмного работника производили недовольство, которое мало-помалу переходило в беспечность о будущем, равнодушие к своей участи и, наконец, в тупую апатию ко всему хорошему. Когда же, таким образом, внутренняя опора честности и порядочности, внутренних возбудителей к деятельности исчезали, тогда уже не было возможности удерживать эту массу людей, бросившуюся во всевозможные пороки и гадости. В Нью-Лэнэрке было 2 000 человек, и между ними едва можно было найти какой-нибудь десяток людей, хоть несколько порядочных. Пьянство господствовало между всеми работниками в самых страшных размерах. Ни один работник не мог сберечь никакой безделицы из своего

жалованья: всё пропивалось... Если недоставало своих денег, то ни-почём было украсть что-нибудь у товарища. Всё надо было прятать под замками; чуть что плохо лежало, ничему спуску не было в Нью-Лэнэрке. Такое милое поведение обеспечивало, разумеется, вечные ссоры, беспокойства, жалобы и беспорядки в колонии. Все были на ножах друг против друга, никто не мог ни на кого положиться, никто не считал безопасным себя и своё имущество... Ко всему этому присоединилась путаница семейных отношений, безобразно стоявших на полдороге от формалистики пуританства к практике мормонизма или хлыстовщины. При всеобщей бедности и пьянстве работников это имело вид грязный и гадкий более, нежели где-нибудь. Семейство не существовало; дети оставались не только без образования, но даже без всякого призора; и как только они немножко подрастали, их брали в работу на фабрику. Чему они тут могли научиться, об этом уж и упоминать нечего; но, кроме нравственного вреда, и для самого их здоровья преждевременные, однообразные работы на фабрике были чрезвычайно губительны. Большая часть тех, которые не умерли во младенчестве из-за небрежения старших, погибала в раннем возрасте, среди изнурительных работ и беспорядочной жизни на фабрике. Таким образом, вся колония, испорченная и расстроенная в настоящем, не имела никаких шансов и в будущем; нельзя было надеяться даже на то, что вот через несколько лет подрастёт новое поколение, которое будет лучше предыдущего.

Дэль долго бился с своими работниками, употребляя для их исправления обычные средства хозяев: брань, строгие приказания, уменьшение жалованья, вычеты, лишение места, судебное преследование. Ничто не помогало. На место прогнанных поступали новые работники, и, как бы они ни были хороши сначала, общий поток увлекал их спустя несколько дней по их вступлении на фабрику. Работники, у которых убавляли жалованье, старались зато более лениться и не чувствовали особенной разницы в своём положении, потому что ведь и прежде они пропивали всё, что получали: конец концов выходил всё тот же. А уж если недоставало и на выпивку, то всегда было под рукою лёгкое средство—украсть... Лишения места решительно никто не боялся, потому что никто не дорожил местом; а брань хозяина даже намеренно вызывалась, потому что многие не без приятности видели раздражение и беспокойство своего врага. Словом—не было, повидимому, никаких средств улучшить положение фабрики и самой колонии, когда Дэль передал управление Нью-Лэнэрком Роберту Овэну.

Взявши на свои руки хлопчатобумажную фабрику Дэля, Овэн нашёл, что доходы с неё были чрезвычайно ничтожны. Он немедленно принялся отыскивать причины дурного хода всей операции. Первое, что ему бросилось в глаза, было дурное качество товаров, приготовляемых на фабрике, и дурной ход всех фабричных работ. Зло, следовательно, заключалось не в посторонних помехах и затруднениях, а внутри, в собственных недостатках фабричного производства. Раз убедившись в этом, Овэн решился для успеха предприятия переделать организацию фабрики и всей колонии. Он не хотел долго ждать,

пока переменяются сами собою обстоятельства, пока наберутся новые люди, народятся новые поколения. Двадцатилетний юноша, полный энергии и уверенности в себе, он полагал, что сам может создать обстоятельства, какие ему нужны, и с помощью новой обстановки преобразует тех же самых людей, которые теперь казались ни к чему не годными. Несмотря на молодость свою, Овэн в это время обладал уже большою опытною и отлично знал людей. Разъезжая по разным частям королевства, имея дело со множеством разнообразных лиц, он особенно поражался всегда громадностью того влияния, какое имеют на человека окружающие его обстоятельства. Постоянные наблюдения и размышления привели его к мысли, которая с течением времени всё крепла в нём и, наконец, сделалась девизом всей его деятельности. Мысль эта заключалась в том, что человек по натуре своей ни зол, ни добр, а делается тем или другим под влиянием обстоятельств. В этом заключении Овэн представляет средину между мрачными теориями средневековых фанатиков и розовым воззрением Руссо. По средневековым теориям, память о которых не исчезла и поныне в католической Европе, человек от природы—зол, и только путём постоянного самоотречения и плотеумерщвления может выйти из своей природной гадости... Руссо, напротив, провозгласил, что человек добр и совершенен, выходя из рук природы, а только с течением времени, от привычки к жизни и от общения с людьми, делается злым и порочным. Овэн говорит: ни то, ни другое. В человеке, при рождении его на свет, нет ни *положительного* зла, ни *положительного* добра, а есть только возможность, способность к тому и другому. Способность эта заключается в восприимчивости к внешним впечатлениям, и, таким образом, нравственное развитие человека совершенно зависит от того, как устроятся отношения между его внутренней восприимчивостью и впечатлениями внешнего мира. По мере того, как эти впечатления осаживаются внутри человека, образуется в нём и *внутренний* характер, который, приобретая некоторую силу, может потом и противодействовать внешним влияниям, вновь приходящим. Но и тут человек не освобождается вполне из своей зависимости от обстоятельств, и Овэн утверждал даже, что ни один человек, как бы ни крепко сложился его характер, не может долго выдерживать себя совершенно неизменным при изменении всей окружающей обстановки. Руководимый таким убеждением, Овэн отважно приступил к реформам в Нью-Лэнэрке, в твёрдой уверенности, что стóит изменить обстановку быта фабричных, и вся колония примет другой вид.

Как человек умный и практический, Овэн скоро понял, что главной причиной дурного хода дел на фабрике была взаимная недоверчивость и даже неприязнь, существовавшая между хозяевами и работниками. Он решился уничтожить эту неприязнь. Сам он не был жаден к барышам и охотно придал бы всему предприятию некоторый вид ремесленной ассоциации. Но он не один владел фабрикой и потому должен был действовать в пользу рабочих, не нарушая интересов антрепренёрских. Доходы с фабрики были впрочем,—как уже сказано,—невелики, и потому Овэну небольшого труда стоило уговорить компаньонов предоставить ему полную свободу действий, при-

чём он обещал верные выгоды, а не убыток. Таким образом, сделавшись распорядителем всей операции, Овэн немедленно приступил к мерам, которые должны были восстановить потерянное доверие работников к хозяевам фабрики.

Он был уверен, что как скоро рабочие получат убеждение в том, что хозяин к ним расположен и заботится об их выгодах, то они и сами станут заботиться об интересах хозяина. Теория взаимных услуг, развитая Овэном впоследствии, уже и в это время лежала в основе его деятельности. Сообразно с этой теорией он счёл необходимым, прежде всяких других перемен, позаботиться об улучшении материального быта работников; затем он имел в виду улучшение их нравственности, любовь к своему делу, живое участие в интересах всего предприятия и вследствие того—возвышение достоинства работы и самых выгод от фабрики. Четыре года продолжалась борьба Овэна с беспорядками и развратом всей колонии, и, по прошествии этих четырёх лет, Нью-Лэнэрк принял такой вид, что его узнать нельзя было: Овэн устроил образцовое поселение и вместе с тем чрезвычайно выгодную фабрику.

Чтобы видеть, как он успел достигнуть таких результатов, представим некоторые подробности его действий.

Зная, что в Нью-Лэнэрке на хозяина смотрят плохо, Овэн прежде всего постарался о том, чтобы как можно меньше напоминать рабочим свои хозяйские права. Он выбрал из среды работников несколько честных и смелых помощников себе, которым и передал свои идеи и намерения. Идеи эти состояли в том, что польза самого дела требует от хозяина заботливости о работниках и что успех предприятия может быть обеспечен только полною добросовестностью и доверием в их взаимных отношениях. Затем намерения Овэна были: по возможности удалить от работников всё, что до сих пор неблагоприятно действовало на их материальный быт, и потом облагородить их нравственную сторону. Содействие этим намерениям—вот всё, что желал Овэн от своих помощников; очевидно, что и им самим не было неприятно ему содействовать. Таким образом, с самого начала своего вступления в управление фабрикой Овэн решительно уничтожил все крутые, насильственные меры, все принудительные средства, употреблявшиеся до того времени с работниками. Он предпочёл действовать лучше положительными средствами, нежели отрицательными, и принялся за употребление их в очень обширных размерах, прилагая свои идеи не к частным случаям и отдельным лицам, а ко всей фабрике. Он устроил и отделал обширное здание со всеми удобствами для помещения работников и стал отдавать им квартиры в наём, всего более заботясь о том, чтобы не получить с них никакого барыша за это. «Барыш будет уже от того, что они тут жить будут,—рассчитывал Овэн:—как бы ни была ничтожна наёмная плата, для фабрики в конце счетов всё-таки будет выгода». Действительно, мало-помалу многие работники перешли на житьё в новое помещение, которое было несравненно дешевле их прежних квартир и представляло более удобств. Общее ожесточение против антрепренёра несколько утихло и стало смягчаться тотчас, как только увидели, что он делает дело по

совести. Овэн пошёл дальше. Он устроил в Нью-Лэнэрке род рынка, закупал всевозможные товары, необходимые для рабочих, и продавал их, опять наблюдая то же условие: не брать себе ни копейки барыша с продаваемых вещей. Убытка ему не было, а между тем рабочие увидели вдруг огромную разницу в своих расходах. Прежде в Нью-Лэнэрке торговали барышники, вытягивавшие последний сок из беспорядочного и пьяного населения: что было нужно, за то просили впятеро; у кого не было денег, тому отпускали в долг с ужасными процентами, обманывали и обсчитывали на каждом шагу. Всё, что не пропивалось работником, шло в руки этих торговцев. Овэн решился избавить от них Нью-Лэнэрк и, чтобы вернее достичь своей цели, не только стал продавать товары лучше и дешевле, но также и открыл кредит рабочим. Каждому работнику дана была книжка для записи получаемого им жалованья. В счёт заработанной платы, а в случае надобности—и вперёд, он мог брать на рынке Овэна всё, что ему нужно. Количество и цена отпущенных вещей отмечались в книжке, а по истечении недели сводились все счета при выдаче заработной платы. Разумеется, и тут предприятие Овэна не вдруг приобрело доверие. Однако же вскоре все увидели, что выгоднее покупать дешево хорошие вещи, нежели дорого дурные. Ещё немного,—и все убедились, что лучше при конце недельного счёта получить десять копеек вместо рубля, за исключением всех расходов, нежели получить полный рубль и тотчас же издержать его весь на те же расходы да ещё остаться в долгу. Мало-помалу все убедились, что Овэн не надувает их, все обратились к его лавочкам и вслед за тем (что было всего важнее для Овэна) увидели, что им можно жить не хуже прежнего и между тем всё-таки делать сбережения из заработной платы. Довести работников до этого убеждения было необходимо Овэну особенно потому, что этим только путём надеялся он подействовать на искоренение пьянства в Нью-Лэнэрке. Воровство и важные беспорядки уменьшились довольно скоро; удобные и дешёвые квартиры, честная продажа товаров, всегда аккуратный и справедливый расчёт с работниками были достаточны для того, чтобы значительно ослабить и почти уничтожить в них склонность к воровству, грабежу и грубому, наглому мошенничеству. Но пьянство долго не поддавалось усилиям Овэна, потому особенно, что продавцы вина сильно ему противодействовали, всячески соблазняя рабочих. После нескольких бесплодных попыток образумить работников Овэн решился и здесь попробовать ту же меру, которою удалось ему избавить Нью-Лэнэрк от барышников. Он сам принялся за продажу вина и устроил питейные дома и лавочки, где *виски* лучшего качества продавалась на тридцать и на сорок процентов дешевле, чем у других винных продавцов. Разумеется, посторонняя виноторговля была этим сильно подорвана и через несколько времени исчезла из Нью-Лэнэрка. В питейных же домах, заведённых Овэном, пьянство не могло встретить благоприятных условий для своего развития. Сначала и тут, правда, многие напитки, и никто не мешал им в этом. Но во многих наклонность к пьянству ослабела уже от одного того, что не была возбуждаема и поддерживаема непрерывными искушениями и зазываньями, какие употре-

блялись прежними виноторговцами. В других проявилась бережливость и, имея возможность повеселить себя чаркою виски за дешёвую цену, они уже не считали особенно восхитительным истратить весь остаток заработной платы для того, чтобы напиться до бесчувствия. Мало-помалу Овэну удалось довести массу работников до того, что пьянство стало считаться между ними предосудительным. А раз утвердившись на этой почве, он уже без особенных усилий мог искоренить остатки пьянства. Между прочим сильно помогло ему в этом одно устроенное им учреждение для холостых работников, которые, разумеется, и были самыми опасными кутилами. Он учредил для них общий стол по самой ничтожной цене. Пища была очень обильна, разнообразна и питательна, плату за обед можно было просто записывать в книжку жалования: такие благоприятные условия привлекли многих, а когда они стали иметь порядочный стол, то у большей части сам собою пропал позыв на беспутное пьянство. Спустя некоторое время Нью-Лэнэрк стал на такую ногу, что пьяница поражался в нём общим порицанием и презрением, почти наравне с вором и мошенником. Нравственные чувства пробудились в людях, прежде столь грубых и испорченных, и в Нью-Лэнэрке началась совершенно новая жизнь.

Вместе с изменением быта рабочих изменялось и самое управление фабрикой. Враг всяких принудительных мер, Овэн уничтожил все наказания и взыскания, до того времени употреблявшиеся на фабрике. Он хотел действовать только на убеждение и на добрую волю работников. Своими распоряжениями в их пользу он добился их доверия, что было для него вдвойне трудно, как для хозяина и как для англичанина, — потому что большинство работников состояло из шотландцев, плохо расположенных к англичанам. Получивши же доверие рабочих и постоянно его оправдывая своими поступками, Овэн уже весьма легко убедил их, что их собственные интересы должны заставить их работать усерднее и лучше. Он объяснил им кругооборот всей операции таким образом:

«От вашего усердия и качества вашей работы зависит количество и качество фабричных продуктов, которые мы можем изготовлять на продажу. Чем больше будет продуктов и чем выше будет их достоинство, тем более доходов получится с фабрики. Увеличение же доходов даст мне возможность более сделать в вашу пользу, — возвысит задельную плату, сократить число рабочих часов, увеличить удобство вашего помещения и т. п. Вы видите, следовательно, что, работая хорошо, вы не для моих одних барышей жертвуете своим трудом, а имеете в виду вашу собственную, прямую выгоду».

Рассуждения эти были очень просты и здравы, и так как все верили, что Овэн не надует, а действительно сделает, что говорит, то представления его имели сильное действие на работников. Чтобы довершить влияние своих убеждений, Овэн отказался от всякого формального проявления начальнической власти в своих отношениях с рабочими и предоставил их собственному суду определение степени искусства в работе и личных достоинств каждого. Не только в частной жизни работников, но даже в самой работе их Овэн умел избег-

путь всяких понуждений и взысканий; он никогда не поднимал шуму из-за того, зачем человек наработал мало или плохо, никогда не ставлял работать против воли. Он сказал, что хорошая работа нужна для общей пользы работников ещё более, нежели для его частной выгоды, и, помня это, он хотел, чтобы работники сами заботились об исправном ходе работ. И действительно—они заботились: лентяй и плохой работник подвергались порицанию и презрению всего общества; неумеющих учили более искусные; лучшие мастера пользовались общим почётом; во всей массе работников явилось чувство живого соревнования, добросовестность в работе водворялась всё более и более, вместе с упорчением нравственных начал в Нью-Лэнэрке. Всякий чувствовал себя ответственным уже не перед эксплуататором-хозяином, которого и обмануть не грех, не перед начальственной властью, на которую всегда смотрят с некоторой недоверчивостью и даже враждебностью, а пред целым обществом своих товарищей, во всём между собою равных и имеющих одни и те же интересы. Такого рода ответственность, соединённая с чувством правильно настроенного, здорового самолюбия, была самым лучшим двигателем всего хода дел на фабрике. Все старались быть и всё делать как можно лучше, не ожидая за это ни хозяйской похвалы, ни прибавки на водку, так как Овэн, уничтоживши взыскания, уничтожил и награды в Нью-Лэнэрке. Единственную дань внешним отличиям принёс он, допустивши дощечки разного цвета, которые давались каждому работнику и означали достоинство работы каждого. Дощечки были четырёх цветов: *белые*, означавшие, что работа хороша, *жёлтые*—довольно хороша, *синие*—посредственна, *чёрные*—дурна. Замечательно, что, по отзывам путешественников, посещавших Нью-Лэнэрк, весьма у немногих работников находились синие дощечки, а чёрные—ни у кого.

Вне своих мастерских работники также не могли укрыться от общественного контроля, который был гораздо действительнее надзора хозяина. И здесь Овэн умел достигнуть того, чего ему хотелось, всего более тем, что оставил всякое прямое вмешательство в частные дела фабричных. До вступления его в управление работники Нью-Лэнэрка беспрестанно враждовали между собою из-за национальностей и из-за различных оттенков вероисповеданий. Хозяева и надсмотрщики считали своим долгом разрешать их ссоры по своему крайнему разумению; само собою разумеется, что сторона, обиженная решением, воспламенялась ещё больше прежнего, и раздор усиливался. Овэн объявил, что он ни к кому особенного расположения не питает и никому не намерен ни мешать, ни помогать в делах веры и личных убеждений. Для него было решительно всё равно, шотландец, англичанин или ирландец был работник, и держался ли он чистого католического вероисповедания, принадлежал ли к епископальной или пресвитерианской церкви, был ли то методист или анабаптист. Равнодушные и полнейшая, безграничная терпимость Овэна подействовали и на работников: раздоры землячества и сектаторства затихли и мало-помалу совсем прекратились, так что, когда Овэн устроил училище для детей фабричных, то приверженцы самых враждебных между собою сект не усомнились отдать туда детей своих.

Училище, устроенное Овэном, в Нью-Лэнэрке, было торжеством его системы. Обыкновенно дети фабричных не получали в это время никакого воспитания. С самых ранних лет они начинали ходить на фабрику и там по мере сил помогали взрослым и по мере возраста приучались к их грубости и разврату. Получить возможность взять детей для ученья от фабричной работы,—и это уже было шагом вперёд. Овэн добился этой возможности, убедивши работников, что ранее десяти лет не следует посылать детей на фабрику, и ограничивши срок детской работы десятью часами в день *maximum*. В училище же своём Овэн вздумал приложить те же начала, посредством которых он так удачно преобразовал Нью-Лэнэрк, и совершенный успех оправдал его систему. Отправляясь от той мысли, что человек весь есть создание обстоятельств и что, следовательно, на него не может падать ответственность за то, умён он или глуп, скромен или дерзок и т. п., Овэн считал решительной нелепостью всякие условные награды и наказания не только для взрослых, но даже и для детей. Поэтому в училище его никаких наград и никаких наказаний не было положено. К ученью дети возбуждались интересом самого знания, которое им никогда не старались навязывать против воли. Что касается до внешнего порядка и так называемого *поведенья* учеников, то Овэн никогда не считал нарушением порядка и дурным поведением—маленькие детские шалости, неистребимые притом никакими строгостями. Больших же преступлений не могло быть в училище Овэна уже и потому, что тут почти исключительно находились дети моложе десятилетнего возраста. Да ежели и встречались проступки действительно нехорошие, то они находили своё осуждение и наказание в самих же детях. Посещавшие Нью-Лэнэрк с удивлением рассказывают о том порядке, благородстве и единодушии, какие господствовали между детьми, находившимися в училище Овэна. Ежели сильный хотел обидеть слабого, остальные дети вступались за обижаемого; если кто замечен был в плутовстве, с ним не хотели иметь дела; кто солгал, тому переставали верить... В играх, в занятиях, во всех отношениях детей между собою господствовала совершенная открытость, справедливость и взаимное уважение и расположение. При этом вовсе не исключалось соревнование учеников между собою; но так как награда и наказаний не было, то оно возбуждалось не завистью и корыстью, а искренним желанием действительного совершенствования. Проистекая из таких начал, соревнование учеников Овэна было тихо и добродушно; оно никогда не могло дойти до такого неистовства, до какого доходило, например, в некоторых ланкастерских школах, искусственно возбуждавших его до такой степени, что соревнующиеся ученики стали наконец пырять ножами друг друга. У Овэна дети и не ссорились за ученье, и учились хорошо. Заметим здесь, что училище его по своим размерам не уступало многим из ланкастерских школ и что способ обучения Ланкастера и Белля был отчасти усвоен Овэном. Залы училища его могли вмещать до 400 воспитанников. Все дети распределены были по различным классам; самые маленькие учились читать и писать; в старших классах преподавались высшие правила счисления, механики и физики. Старшие обыкновенно не только сами

учились, но и руководили младших. На десятилетнем возрасте ученье обыкновенно оканчивалось, потому что с десяти лет дети начинали уже ходить в мастерские на работу. Но и до этого времени они успевали приобретать довольно много сведений благодаря тому, что всё ученье было совершенно наглядно и чуждо всяких схоластических замашек и ненужных формальностей. Принято было за правило—непрерывно *показывать* ученикам самый предмет, о котором говорилось, или, по крайней мере, рисунок его. Таким образом, естественная история изучалась обыкновенно во время прогулок в поле; изучение географии начиналось с рассматривания карты и продолжалось в виде путешествия по ней от данного пункта и т. д. Избегать всякой сухости и мёртвой формальности и поддерживать в детях живой интерес ко всему, что им преподавалось,—было главною заботою Овэна. Благодаря такой системе, мальчики в короткое время своего пребывания в школе приобретали у него довольно основательные познания в геометрии, механике и естественной истории. Девочек учили меньше, и вместо специальных знаний, прилагаемых в фабричном мастерстве, их обучали разным рукоделиям, преимущественно шитью.

Здесь не мешает заметить одно замечательное обстоятельство, которое показывает, с каким тактом умел Овэн вести дело и пользоваться своим положением. Мы упоминали выше о множестве различных сектантов, бывших в Нью-Лэнэрке. Принимаясь учить детей, Овэн должен был в религиозном обучении или выбрать какую-нибудь одну из сект, или приноровляться к каждой из них. И то и другое было нехорошо: первое могло восстановить против Овэна приверженцев других сект, второе значило играть комедию, проповедуя то, чего вовсе не одобряешь. Овэн блестящим образом выпутался из этого затруднения, сохранивши доброе согласие в колонии и не пожертвовав ни iotaю из своих личных убеждений. Он совершенно отказался от религиозного обучения, сказавши, что не хочет стеснять никого и предоставляет родителям полную свободу наставлять своих детей, как им внушают их благочестивые верования. «В семейной жизни и воспитании,—прибавлял Овэн,—правила веры гораздо лучше усваиваются, нежели в школе, и потому детям не будет никакого ущерба от того, что религиозное обучение не войдёт в число учебных предметов школы».

В 1797 году, уже сделавши несколько преобразований в Нью-Лэнэрке, Овэн женился на дочери своего главного компаньона, Дэля, и с этих пор получил ещё более влияния на все дела фабрики. Доходы её быстро увеличивались, итоги доходили до миллионов, и все компаньоны убедились в справедливости и благоразумии распоряжений Овэна. Необыкновенная честность его и рыцарская правдивость во всех торговых сделках ещё более увеличили всеобщее доверие к Овэну и подняли значение Нью-Лэнэркской фабрики. Овэн доводил до того свою честность, что если получал заказ в то время, когда товары были в очень высокой цене, то писал заказчику, не хочет ли он подождать немного, так как через несколько времени цена товара должна понизиться. Сначала все с изумлением

смотрели на такой образ действий и со дня на день ждали, что Нью-Лэнэрк разорится и обанкрутится. Но прошло 20 лет, фабрика приходила всё в более цветущее положение, владельцы её получали отличные доходы, и вся колония Нью-Лэнэрка пользовалась полным благосостоянием.

Слух о чудесах, произведённых Овэном, распространился в Англии и вскоре потом во всей Европе. Всеобщее внимание было обращено на Овэна и его удивительную реформу в жизни фабричных; тысячи любопытных посетителей ежегодно бывали в Нью-Лэнэрке и с восторженным удивлением рассказывали об эдемской идиллии, осуществлённой на берегах Клейда стараниями Овэна. Только некоторые скептики решались уверять, что тут что-нибудь да не так и что во всяком случае из успеха частного опыта ничего нельзя заключать о достоинстве всей системы, приложенной Овэном к нью-лэнэркским фабричным. Тогда Овэн решился изложить некоторые из общих оснований своих действий, придать несколько систематический вид своим общим воззрениям и объяснить практические результаты, достигнутые им, посредством соображений теоретических. С этой целью издал он в 1812 году своё первое сочинение—«Об образовании человеческого характера» (*New views of society, or essays upon the formation of human character*). В этом сочинении уже очень ясно высказывается взгляд Овэна на природу человека и на условия её развития в ту или другую сторону.

«Человек во всех своих действиях зависит от окружающих его обстоятельств. Полной, абсолютной свободы не существует и никогда не существовало. Поэтому человек не может нести ответственности за то, что у него дурной характер или ложные убеждения. Равным образом и все практические последствия дурного развития ума или воли не должны быть отнесены прямо к вине отдельной личности, а должны быть приписаны действию тех же обстоятельств. Изменение человеческого характера возможно, следовательно, только при перемене той общественной обстановки, в которой живёт человек. Эта последняя перемена должна быть совершена посредством улучшения материального быта масс и посредством воспитания новых поколений на совершенно новых началах».

Таковы общие положения, провозглашённые Овэном в первом своём опыте. В них ясно уже его бескорыстное стремление к улучшению положения масс народных, ясно сочувствие к этой, в то время униженной, забитой части общества. Несмотря на то, многие не умели понять истинных намерений Овэна, и нет никакого сомнения, что значительной долей временного успеха своих идей в первое время он был обязан именно тому, что его плохо понимали. Как скоро он высказался с большей определительностью, его немедленно все оставили, и идеи его не только не возбуждали уже прежнего восторга, но даже поступили в разряд вредных и опасных мечтаний. Для объяснения этого любопытного факта надо припомнить положение английского общества и общее движение идей в первую четверть нынешнего столетия.

В конце XVIII века в промышленности Англии произведён был переворот изобретениями Уатта и Экрайта. Пока не было машин

и всё производилось руками, возможно было существование множества частных ремесленников, зарабатывавших себе хлеб своими трудами по-одиночке. Их произведения были тогда в хорошей цене, потому что при ручной работе производство никогда не могло достигать таких обширных размеров, как при существовании машин. Усовершенствованный Эркритом механический ткацкий станок и применение к машинам парового двигателя, сделанное Уаттом, дали совершенно новый вид промышленности Англии и всей Европы. С одной стороны—производительность фабричная страшно усилилась; хлопчатобумажное производство сделалось одною из главных отраслей промышленности Англии*. Среднее сословие возвышалось в своём значении и было уже в состоянии тягаться с землевладельческой аристократией. Но с другой стороны—это же самое распространение машин определило совершенно иначе прежние отношения среднего сословия к работникам. При существовании машин одиночная ручная работа перестала быть выгодною; мало-помалу она совершенно была подорвана машинным производством, которое при своей простоте и дешевизне давало производителям средство значительно понижать цену на товары. Большая часть ремесленников не имела средств на то, чтобы завести у себя машины; для этого нужны были капиталы, которых у них не было. Дух ассоциации не проник ещё тогда в промышленность, и оттого вскоре ремесленники очутились в необходимости сделаться наёмниками у людей, имевших средства приобретать машины и заводить обширные фабрики. Сначала, пока машин было немного и совокупность ремесленников могла выдерживать с ними соперничество, положение работников на фабриках было очень сносно. Но соперничество не могло долго продолжаться; скоро работники в избытке стали являться на фабрики, не имея возможности кормиться произведениями одиночной своей работы, сильно упавшими в цене. Тогда, разумеется, заработная плата понизилась, и вскоре работники увидели себя в совершенной зависимости от капиталистов, без всяких средств для противодействия с своей стороны. Положение их было до того беспомощно и безвыходно, что возникшая вскоре конкуренция между капиталистами-промышленниками не только не послужила к улучшению положения рабочего класса, но даже сделала его ещё хуже. Конкуренция выражалась тем, что производство старались улучшить и удешевить. Таким образом, товары всё упали в цене, а сообразно с тем понижалась и заработная плата. О том же, чтобы привлечь к себе работников предоставлением им каких-нибудь преимуществ, никто и не думал: об этой дряни не стоило заботиться; капиталисты знали, что нужда заставит притти к ним каких-нибудь работников даже за самую ничтожную плату.

* До изобретения машин во всей Великобритании считалось только 8 000 ремесленников и мастериц, занятых хлопчатобумажным производством; ныне это дело занимает в Англии до миллиона народа. Ценность бумажных тканей, уже по исчислению 1836 года, простиралась в Англии слишком до 200 миллионов рублей; в настоящее время цифра эта более чем удвоилась. — Н. Д.

Кроме небрежности и лени, между всеми работниками господствовало чувство неприязни и скрытного озлобления против капиталистов-хозяев. Такое расположение рабочего класса много вредило успешному ходу дел на фабриках и ещё более внушало хозяевам какой-то неопределённый страх перед недовольными массами. Они чувствовали, что беспощадная эксплуатация рабочих сил может иметь конец не совсем приятный для самих капиталистов; но, несмотря на это сознание, им никак не хотелось поступиться, даже временно, какою-нибудь частью своих барышей для увеличения материальных средств рабочего класса. Им бы хотелось как-нибудь приискать средство эксплуатировать работника так, чтобы им было от этого очень хорошо, а ему не было дурно. Надобно было изобрести игру, в которой бы все играющие оставались в выигрыше. Такую именно игру увидели эти люди в проектах Овэна, и в этом заключается тайна его первых успехов в среднем классе общества.

Но ещё более сочувствия встретил Овэн в государственных людях, в аристократических кругах Англии и всей Европы. И тут было то же недоразумение. Английская аристократия вступила в антагонизм с буржуазией с самого начала сильного развития промышленности Англии. С одной стороны была поземельная собственность и родовые привилегии, с другой—капитал и индустриальные стремления. Но аристократия была ужасно встревожена демократическими тенденциями французской революции и даже опасалась, чтобы что-нибудь подобное не повторилось и в Англии. В своей боязливой предусмотрительности она не заметила, что опасность угрожает ей совсем с другой стороны, и заботилась всего более о том, чтобы не допустить в народ якобинских идей, за которые считалось тогда всякое предъявление своих прав лицами низшего сословия. Принимая такой принцип в отношении к народу, аристократия поземельных владельцев незаметно для себя самой помогала непомерному усилению значения промышленников-капиталистов. Скоро сделалось заметным преобладание индустриальных интересов пред земледельческими, сельское население переходило в города, огромные массы бедного народа группировались в промышленных центрах, значение поземельной аристократии падало, и кotton-лорды, владельцы больших хлопчатобумажных фабрик, сделались, наконец, опасными соперниками лэнд-лордов, поземельных владельцев. Не вдруг поняли лэнд-лорды весь смысл и последствия для них индустриального развития страны в ущерб благосостоянию низших классов. Их всё ослеплял и страшил кровавый призрак французской революции. Наконец, реставрация их успокоила; они увидели, что народа бояться нечего, и вздумали действовать против буржуазии. Торийское министерство до 1882 года представляет ряд стеснительных и обременительных законов, имевших целью ограничить развитие гражданской свободы преимущественно в средних классах. Ограничения эти всё-таки, разумеется, не имели в виду пользы народа; но аристократы и государственные люди сильно уже задумывались о том, как бы дисциплинировать массы и, давши им право на кусок хлеба, сделать за то послушными орудиями в своих руках. Не зная, как бы это сделать без всяких жертвований и

существенных уступок со своей стороны, государственные люди были приятно поражены опытами и планами Овэна. Он не требовал никаких правительственных реформ, у него не находили крайних демократических принципов, которых так страшились. Напротив, в его общине видели патриархальное устройство: он представлялся чем-то вроде добродетельного праотца, в своей особе соединявшего все гражданские власти, а работники являлись его покорными детьми, готовыми всем жертвовать для его пользы и спокойствия. Растолковавши себе, таким образом, положение Овэна, аристократы и государственные люди никак не хотели допустить мысли о том, что стремления Овэна могут быть совершенно бескорыстны. На его планы они тоже смотрели, как на игру, в которой никто, может быть, не останется в большом проигрыше, а самый большой выигрыш должен выпасть на их долю.

В таком положении застал Овэн английское общество, и немудрено, что его идеи были приняты с восторгом даже такими людьми, от которых всего менее можно было ожидать каких-нибудь доброжелательных расположений к народу. Преимущественно были в ходу идеи Овэна от 1815 до 1830 года, когда во всей Европе проводились предначертания священного союза, а в Англии была во всей силе борьба буржуазии с аристократией. Из всех партий, выказывавших тогда наклонность к непонятным теориям Овэна, едва ли ещё не искреннее всех были капиталисты-фабриканты, видевшие в этих теориях лёгкое средство получить с фабрик более барышей, без отягощения и даже с облегчением участи рабочих. Они тем искреннее принимали мысли Овэна, что действительно в это время чувствовали нужду в поддержке масс для успеха в борьбе своей с аристократией. Такое колебание продолжалось у них до самого билля о реформе 1832 года, придавшего им довольно прочное значение в парламенте и тем обеспечившего их и со стороны аристократии и со стороны масс работников, о которых, впрочем на словах, они и после того не переставали заботиться. Что же касается до аристократической партии—не только в Англии, но и в целой Европе,—то она в отношении к пониманию Овэна была гораздо менее близка к истине, нежели партия промышленная. Овэн всё представлялся им вроде какого-то укротителя зверей, смирителя анархических порывов, мудрого старца, наполовину бургомистра и наполовину школьного учителя,—и только. Они видели, что он желает, чтоб многочисленнейший производительный класс народа мог жить мирно и спокойно, и за это они хвалили его: им тоже хотелось, чтоб народ жил мирно и спокойно. Но чего хочет Овэн от них самих,—они этого и знать не хотели. Им вовсе не казалось нужным вникнуть в то, что для достижения возможного благосостояния масс им нужно самим немножко побеспокоить себя и решиться на некоторые пожертвования. Это неприятное обстоятельство они отстраняли от своего рассудка и, видя в Овэне только отличного укротителя и ловкого организатора работников, очень желали научиться его мудрости. В этих видах очень интересовался Овэном герцог Кентский, брат короля, несколько раз присутствовавший на митингах овэновской партии и рекомендовавший его идеи всей английской

аристократии. В этих же видах покровительствовали теории Овэна и другие прославленные люди того времени, столь же мало понимавшие всю чистоту его намерений. В 1818 году он высказал несколько определённых своих предположения насчёт рабочего класса в двух «адресах», представленных им: один—монархам, собравшимся на Ахенском конгрессе, другой—всем европейским правительствам. Он положительными фактами и цифрами доказывал здесь, что изобретение механических ткацких станков и паровых машин, в 12 раз увеличивши промышленную производительность Великобритании, имело однако же для рабочего класса одно последствие—страшное увеличение бедности. Затем он представлял очень ясные выводы, что если всё пойдёт и вперёд так же, как шло доселе, то пролетариат должен быстро усиливаться, и ему не помогут никакие частные меры. Анализируя значение *таксы для бедных*, Овэн утверждал, что она с каждым годом должна увеличиваться и что, наконец, общество должно будет насильственно отнять у бедных большую часть прежнего вспоможения (что и случилось). Для того, чтобы выйти из такого горестного положения, возможно было, по мнению Овэна, одно средство: отказаться от огромных, исключительно мануфактурных центров, служащих местом игры громадных капиталов и имеющих развращающее, унижающее и разоряющее влияние на массу рабочего населения. Вместо них Овэн предлагал завести небольшие общины, устроивши их на основании выработанных им начал, в виде промышленно-земледельческих ассоциаций. Этой радикальной мерой Овэн думал отвратить бедствие пролетариата, избавивши массу населения от необходимости отдавать свой труд в распоряжение богатых спекулянтов. В подтверждение возможности успешного существования таких общин Овэн указывал на Нью-Лэнэрк. Ахенский конгресс слишком был занят высшими государственными соображениями, чтобы иметь досуг для рассмотрения такого незначительного дела, как улучшение быта ремесленных классов, и потому проекты Овэна остались без последствий на конгрессе. Тем не менее общее внимание высших государственных сановников было благоприятно обращено на английского филантропа. Сам Меттерних не без похвалы отозвался о нём; а король прусский прислал ему золотую медаль. В Англии тот же успех встретил Овэна: его первое сочинение—«Об образовании человеческого характера»—было теперь разослано к разным лордам, прелатам, членам палаты депутатов, во всевозможные университеты. Лорд Сидмут официально объявил Овэну, что правительство одобряет его идеи и постарается применить их, как только общество будет к тому приготовлено. Всё это совершилось в пятилетие 1812—1817 годов, и сами враги Овэна сознаются, что если б он хотел в это время воспользоваться общим энтузиазмом для своих личных целей, то мог бы сделать славную аферу. Спекуляции на филантропию редко бывают неудачны, а филантропические планы Овэна были так обширны и так успели зарекомендовать себя пред целой Европой, что даже при самом добросовестном и человеколюбивом мошенничестве могли доставить много миллионов сметливому аферисту. Многие ожидали, что Овэн воспользуется своим положением для собственных выгод,—и все ошиблись.

С 1818 года начинается для Оуэна жестокая борьба, вместо того блестящего триумфа, каким он пользовался несколько лет пред тем. Борьба эта ведена была с безукоризненной честностью и благородством со стороны Оуэна; но при всём том нужно согласиться с его противниками, что борьбу свою предпринял он совершенно безрасчётно и в продолжение её выказал много раз своё наивное добродушие. Этот чудаки вздумал преобразовать Англию, Европу, целый мир,—и в чём же? В деле самом священном, самом милом для человеческих сердец, в деле личного интереса! Он хотел безделья: чтоб лентяи и плуты не имели возможности обогащаться на счёт чужого труда и чтоб дураки не могли записывать в преступники людей, не согласных с их мнениями! И наивный упрямец никак не хотел убедиться, что подобное предприятие безумно, что тут никакого успеха нельзя ожидать и что вообще против интересов сильных мира сего идти никогда не следует, «потому—сила»... Он не только ничего этого не хотел понять, но даже не хотел пользоваться и теми недоразумениями, которые остались в большей части его покровителей после первых его опытов. Уверенный в справедливости своих начал, радуясь на свою Нью-Лэнэрокскую фабрику и колонию, он сочинил между прочим следующий, может быть, и справедливый, но несколько странный силлогизм:

«Что могло однажды образоваться и осуществиться в логических построениях мысли человека, то не может уже быть признано невозможным в мире и должно, рано или поздно, непременно найти своё осуществление и в фактах действительной жизни».

Подкрепляемый такой мыслью, Оуэн смело и открыто вступил в борьбу за свои идеи, всё более и более раскрывая их пред глазами противников. И по мере того, как он определённое и строже высказывал свои виды, исчезала его популярность. В продолжение семи лет, 1817—1824, он не только не успел сделать ничего существенного, но даже восстановил против себя все партии и почти напрасно истратил значительную часть своего состояния, которое нажил до того хлопчатобумажной фабрикой.

В 1817 году он оставил Нью-Лэнэрок для того, чтобы искать себе более обширный круг деятельности. Так как имя его пользовалось значением между членами парламента, то ему удалось провести вопрос об общем ограничении работы детей на фабриках. Согласно его убеждениям, решено было, чтобы детям не работать более десяти часов в день и чтобы не поступать на фабричную работу ранее 10 лет. Добившись этого, Оуэн поднял вопрос о воспитании и обучении детей рабочих классов. Тут постигло его первое поражение. Ещё ранее этого сделались известны мысли Оуэна о началах воспитания и возбудили негодование преимущественно в высшем духовенстве Англии. Выступивши на общественную деятельность, Оуэн не думал прикрывать своих тенденций, а напротив, старался всячески распространить их и растолковать как можно яснее всем и каждому. Для этого он писал множество журнальных статей, сочинял воззвания и манифесты, обращённые ко всем классам общества, печатал бесчисленное множе-

ство статей (tracts), которые раздавались всем даром на улицах...¹²² Издержки его на пропаганду этого рода высчитываются до миллиона франков. При такой громадной гласности, о которой так хлопотал сам Овэн, трудно было кому-нибудь оставаться в ослеплении насчёт его планов. И вот—клерикальная партия поднялась первая. Полная терпимость и невмешательство школы в дело религиозного обучения, провозглашённые Овэном, подали повод к нападению. Затем объявлены еретическими и безнравственными многие мнения Овэна об образовании человеческого характера, приведённые нами выше. Утверждали, что своим учением об обстоятельствах Овэн подрывает все начала нравственности и снимает с человека всю ответственность за его поступки. Некоторые доходили до того, что видели в Овэне последователя пелагианской ереси...¹²³ Овэну, собственно, не было никакого дела до теоретических начал, принимаемых разными сектами; он ко всем им был одинаково равнодушен. Но ему очень важно было влияние обучения, предположенного им, на перевоспитание будущего человечества, и потому он никак не хотел допустить—ни того, чтобы разногласия сект вторглись в мирное святилище его школы, ни того, чтобы одна из сект исключительно завладела религиозным обучением, насильно связавши таким образом совесть детей нравственными путами. Высказываясь всё с бóльшей решительностью, Овэн наконец прямо обвинил всё клерикальное направление в бессилии и пустоте за то, что оно, толкуя о нравственности и о добре, на деле оказывалось слугою сильных мира и не заботилось о том, чтоб извлечь из бездны нищеты и разврата миллионы людей, погибавших под гнётом своих притеснителей. Это обвинение вызвало громы против Овэна. Он принуждён был отступить от своих требований по вопросу об обучении.

В это самое время умер герцог Кентский, бывший искреннее друзей аристократов расположенным к Овэну. После смерти его и после достаточного раскрытия теории Овэна аристократия значительно охладела к нему. Таким образом, в двух самых сильных в Англии классах общества Овэн не мог надеяться ни на какую поддержку.

Оставалось ему примкнуть к одной из политических партий, и всех ближе к его стремлениям были радикалы. Но и тут Овэн не умел заставить себя польстить им. В это время шли сильные толки о реформе *гнилых местечек*,¹²⁴ от которой радикалы ждали совершенного обновления общества. Овэн в простоте души имел смелость объяснить им, что замышляемые ими меры вовсе не так важны, что они даже недостаточны и что от них весьма мало будет толку для благосостояния народных масс. Радикалы вознегодовали и лишили Овэна своего доверия. Прямодушие и решительность и тут повредили наивному чудачу!

Видя, что теория принимается плохо, Овэн решил опять делать пропаганду фактами. С этой целью он, между прочим, открыл подписку на учреждение новой колонии и первый сам подписал 500 фунтов стерлингов. Через несколько времени составила довольно значительная сумма, на которую было куплено в Шотландии, в Мотервилле, 500 акров земли и сделаны были первые приготовления для

заведения колонии... Не довольствуясь Шотландией и Англией, Овэн отправился в Ирландию, чтоб и там возбудить общее участие к жалкой участи несчастных простолюдинов. В Дублине три раза составлял он собрания, под председательством лорд-мэра, в которых положено было основание филантропическому обществу, окончательно организовавшемуся несколько позже. В это же время удалось ему учредить в Лондоне *кооперативное общество* (cooperative society), которое через несколько лет чрезвычайно расширилось, но сначала всё-таки не удовлетворяло Овэна. Ему тяжело было встречать беспрепятственные ограничения и стеснения своих стремлений; он хотел более простора для своей деятельности и, недовольный Европою, стал помышлять о поездке в Америку. В 1824 году он действительно отправился туда с намерением основать там колонию наподобие Нью-Лэ-нэрка.

Прибывши в Северную Америку, Овэн вскоре нашёл очень удобное место для своих опытов. В Индианском округе Соединённых штатов, на берегах реки Вэбаша, существовала уже в 1803 года колония так называемых *гармонистов*, представлявшая собою род религиозной секты, с суровыми, почти аскетическими правилами, под управлением немца Раппа. Колония эта, равно как и самая местность, называлась «Гармония». Тут же поблизости нашёл удобное место для своего предполагаемого поселения и Овэн. Он приобрёл здесь деревеньку, в которой могло поселиться до 2 000 душ, и при ней — 30 000 акров земли. Сделавши покупку земли, Овэн отправился в Вашингтон, имел свидание с президентом и получил дозволение изложить свои мнения и предположения пред конгрессом. С обычною простотою и свободой представил он конгрессу свои намерения и был выслушан с чрезвычайною внимательностью и уважением. Предоставляя полный простор для всякой пропаганды, Соединённые штаты не воздвигали против Овэна таких официальных препятствий, какие встретил он в Англии. Поэтому, заявивши всенародно и открыто свои убеждения, он свободно мог предаться своим идеям и стремиться к осуществлению своих замыслов. В скором времени около него сгруппировалась масса людей, изъявивших полное сочувствие к его принципам. Новая колония, названная Овэном Нью-Гармони, наполнилась поселенцами. Поселенцы эти представляли замечательное разнообразие в своих идеях, побуждениях, степени развития, в характере, звании, даже в вере и национальности. Одно только было общее всем или почти всем: *бедность*. Богачи и люди достаточные не откликнулись на призывы Овэна, и это было уже не совсем хорошим признаком для реформатора. Это уже давало повод подозревать, что к нему присоединяются более из корыстных видов, нежели по чистому убеждению. И подозрение оказалось в самом деле справедливым. Из толпы, собравшейся к Овэну, очень немного было людей истинно порядочных. Большая часть шла с тем, чтобы пожить без нужды и без забот, на счёт благотворителя, наивно мечтающего о всеобщем благоденствии. Таким образом, уже с самого начала Нью-Гармони находилась в положении гораздо более затруднительном и неблагоприятном для планов Овэна, чем каково было положение Нью-Лэ-

Нэрка. Там реформы Овэна произошли совершенно естественно из предшествующего порядка дел на фабрике; там не люди пришли к ним, а они были приложены к людям; там сами люди эти понимали, что их трудом и их честностью должна обеспечиваться для хозяина возможность продолжать для них свои благотворительные меры. Здесь ничего подобного не было: здесь люди шли на клич к Овэну, приступали к нему с надеждами и требованиями, а он давал им обещание и как бы обязательство в том, что они будут благополучны под его руководством. Очевидна вся невыгода положения, в какое поставил себя Овэн в виду этой толпы грубых, невежественных и развращённых нищих, из каких состояло большинство людей, собравшихся в Нью-Гармони. Если бы Овэн имел менее энтузиазма к своим идеям и более осторожности, то он сам, конечно, при самом начале своей новой колонии понял бы, что тут нельзя ожидать полной удачи. Но он так верил в могущество своих принципов, что даже при самых дурных шансах не мог отказаться от попытки. Он принялся за дело организации новой общины, и нужно ещё удивляться, как много успел он сделать при обстоятельствах, столь неблагоприятных. Вот несколько строк о Нью-Гармони из Луи Рейбо, который очень не долюбливает идеи Овэна и старается изобразить их не только химерическими, но даже отчасти и вредными. Несмотря на своё глубокое убеждение, что попытка Нью-Гармони была совершеннейшая чепуха и ни при каких условиях не могла удалиться, он не может однакоже не сознаться в следующем:

«Нельзя, впрочем, не отдать Овэну справедливости в том, что он и здесь по возможности умел возобновить и продолжать благотворительные учреждения Нью-Лэнэрка. Дети, составлявшие главную надежду Овэна, обращали на себя особенное его внимание. У него были усовершенствованы все методы воспитания, и он умел от юношей добиться того, к чему напрасно старался приучить людей зрелых лет, — дружной и старательной земледельческой работы. В главном центре колоний учреждены были общества земледелия и механических искусств, и горсть порядочных людей, следовавших Овэну, принялась по его внушениям образовывать и смягчать грубость этого почти дикого населения. Здесь давали балы, концерты, вечера; самые низкие работы перемешивали с занятиями самыми деликатными. Так, например, убравши коровий хлев, молодые женщины садились у себя за фортепьяно, что не мало забавляло герцога Саксен-Веймарского, когда он посетил Нью-Гармони. Придуман был особенный костюм, для всех одинаковый: для женщин — платья несколько античного покроя, для мужчин — греческие туники и широкие шаровары. Сколько было возможно, Овэн старался отучить своих колонистов от тысячи условных тонкостей, которые наше тщеславие внесло в нашу общественную жизнь и которых корень кроется — отчасти в привычках всех вообще, отчасти же и в претензиях немногих. Помещение было одинаково у всех расположено и меблировано; одежда была однообразна, пища — общая всем».

Сделавши это описание, Рейбо заключает, что община Овэна, может быть, и могла бы существовать с успехом, если бы в ней не было «рокового принципа общинности», то-есть если бы она была устроена не на тех началах, на которых действительно устроена. «Но Овэн, желая составить *человеческую* общину, требовал для неё *ангельского* населения», — остроумно замечает Рейбо, забывая, что Овэн именно отличался отсутствием всякой требова-

тельности в отношении к людям, вступавшим в его общину. Людей, сделавшихся полускотами, он хотел сделать полными людьми, и не раз это удавалось ему. Он полагал, что может всех людей возратить к жизни истинно-человеческой, не ангельской и не скотской,—и в этом самонадеянном мнении была огромная ошибка. Он верил, например, в то, что человек, здоровый и обеспеченный в необходимых потребностях жизни, не станет лежать на боку, брезговать работой и поедать плоды чужих трудов; ему казалось, что всем людям очень легко внушить понятие о полной солидарности их прав и обязанностей и что легко провести эту солидарность во всей практической деятельности общины. Судя по себе и по некоторым избранным натурам, Овэн думал, что труд сам в себе заключает много привлекательности и что жизнь на чужой счёт тяжела и отвратительна для всякого человека. Это уже было, разумеется, детски-ошибочно. Правда, в членах своей общины Овэн успевал обыкновенно пробудить сознание в справедливости его начал; но от сознания ещё слишком далеко до практической деятельности. Не клочок земли, не месяцы и не годы нужны были для того, чтобы пересоздать общественные привычки. Всё производя из обстоятельств, Овэн надеялся, что привычки эти легко будут забыты при новой общественной обстановке, созданной им. Но и тут он был слишком легковверен и самонадеян: он выступал на борьбу с целым светом, противопоставляя свои, вновь изобретённые условия жизни тем всемирным условиям, которыми до того определялась жизнь человеческая. Он считал нелепыми все эти условия; но он сам был нелеп, воображая, что эти освящённые веками нелепости можно разрушить экспромтом. Ещё можно бы иметь некоторые шансы на успех, предлагая заменить эти нелепости другими, равномерно бессмысленными; но чего же мог надеяться общественный реформатор, вопиявший против нелепостей—даже не во имя вышших туманных абстракций, а просто во имя здравого смысла, во имя первых, насущных потребностей здоровой человеческой природы?..

Овэн сам заметил свою опрометчивость, когда увидел, что в Нью-Гармони образовалась ватага лентяев, старавшихся только воспользоваться преимуществами общинной жизни и отклонить от себя все труды и обязанности. Работы в Нью-Гармони вообще пошли очень дурно; оказался большой дефицит в приходах против расходов, и Овэн, признавшись, что «характеры ещё мало приготовлены для его системы», счёл за лучшее опять обратиться к теории и пропаганде. В Северной Америке учение его распространялось очень быстро, и в 1827 году считалось уже до 30 общин, основанных по началам его системы. Многие из неё было принято и в маленьких религиозных общинах, подобных «Гармонии» Раппа. Но в то же время воздвиглась против него и вражда партий. На первом плане явилась, разумеется, и здесь партия клерикальная. Овэну пришлось выдержать ожесточённую борьбу с одним фанатиком-методистом, Кэмпбелем, который путешествовал по Соединённым штатам, проповедуя крестовый поход против Овэна и его последователей. Проповеди этой Овэн не боялся, но ему неприятно было встретить и здесь то же ожесточение против себя, какое видел он в Европе. Всего же более огорчило

его то, что в Нью-Гармони чрезвычайно слабо принимались его идеи. Он нетерпеливо желал произвести в своей общине братство и трудолюбие и принуждён был видеть лень, эгоизм и разъединение, постоянно противившиеся всем его усилиям. Надеясь, что время поможет упрочению его системы, Овэн решился между тем употребить своё время и труды на поприще более обширном. Оставивши управление Нью-Гармонийской колонией и отказавшись от всякого права на вознаграждение за свои капиталы, затраченные на эту общину, Овэн отправился в Европу, чтобы там распространять своё учение.

В Европу призывало Овэна и сильное сочувствие, выраженное многими образованными людьми к его идеям. Возвратившись в Англию, Овэн нашёл, что основанное им кооперативное общество чрезвычайно деятельно и энергично стремилось к распространению и осуществлению его теорий. В Дублине, Брайтоне, Ливерпуле, Глазгове, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и других городах учреждены были секции этого общества. Повсюду готовились публичные собрания его последователей, повсюду в комитетах изыскивали средства пропаганды. В Лондоне Овэн нашёл митинг из 2000 человек, сочувствовавших начинаниям общества. Основан был журнал «Cooperative Magazine», посвящённый исключительно распространению, разъяснению и защите доктрин, принятых обществом. Наконец, в большей части членов общества замечалось горячее желание осуществить в новой реальной попытке теории, проповеданные Овэном. Почти в каждом из частных собраний общества предлагалась подписка на основание новой колонии на началах, выработанных в теории Овэна. Одна такая колония действительно и была основана в Орбистоне, селении близ Эдинбурга, на землях господина Гамильтона, бывшего одним из главных подписчиков на учреждение колонии в Мотервилле. Управление этой общиной вверено было Абраму Комбу, одному из замечательных последователей учения Овэна. Комб сделал в Орбистоне некоторые отступления от чисто общинного начала, принятого Овэном. В Орбистоне, кроме арендаторов, пользовавшихся общинными владениями, допущены были и собственники, и даже дозволено одному и тому же лицу быть и арендатором общины и в то же время иметь свою собственность. Этой уступкою Комб думал примирить капиталистов с возможностью принять общинное начало. Но само собою разумеется, что подобная уступка была слишком жалка и ничтожна для капиталистов и вообще для людей зажиточных. В Орбистонскую общину, так точно как и в Нью-Гармони, столпились бедняки, желавшие только пользоваться удобствами её. Здесь нашли они готовое помещение—опрятные домики, фермы, огороды, сады, по которым не без приятности можно было прогуливаться, и они были очень довольны, и действительно прогуливались, не отказывая между прочим и в своей благодарности тому, кто всё это устроил. Но работали они лениво, говоря, что ежели убивать себя над работой, так и везде можно жить довольно сносно, а что овэновские общины тем-то и должны отличаться, чтобы в них без всякого труда можно было жить в своё удовольствие. Попробовали этим людям говорить о нравственном совершенствовании: они пришли

в недоумение. Им казалось, что они и так достаточно хороши и нравственны, и юни объявили, что нравственнее быть не желают. С таким народом сладить было довольно трудно; но Комб смело пошёл на встречу всем затруднениям. С необыкновенным терпением и изумительным тактом принялся он за исправление нравственного характера орбистонских поселенцев, и труды его увенчались под конец его жизни значительным успехом. В колонии водворилась тишина и взаимная услужливость: мужчины сделались трезвыми и деятельными, женщины стали стыдиться сплетен и также принялись за дело; во всём населении проявилась любовь к труду и доброму порядку в жизни. Производительность мастерских Орбистонской колонии значительно усилилась, и Комб уже не сомневался, что в Орбистоне скоро повторится то же, что представлял собою Нью-Лэнэрк при Овэне. Но в 1827 году Комб умер, и с его смертью расстроилось всё дело, которое он умел вести с таким успехом.

Посетивши многие местности Англии, в которых были собрания его последователей, произнеся несколько публичных речей, напечатавши несколько статей, Овэн во второй раз отправился в Америку, чтобы и там продолжать своё дело. Здесь посетил он Нью-Гармони и нашёл здесь, вместо общинного поселения, обыкновенное учреждение, в котором работники забраны были в руки людьми, имевшими в своих руках капиталы, и где господствовали обычное недовольство рабочих и обычное угнетение со стороны капиталистов. Видя, что тут уже дела нельзя поправить, Овэн обратился в другое место. Мексиканское правительство предложило ему для его поселений Техас. Начались переговоры; но когда Овэн объявил непременным условием совершенную свободу совести и религиозного обучения, духовенство и тут восстало на него и ещё раз помешало его намерениям. В 1829 году Овэн опять возвратился в Англию.

На этот раз он явился вовсе не во-время. Борьба среднего сословия с аристократией явно склонялась уже в пользу первого. Парламентская реформа была уже решена в общественном мнении; коттон-лорды принимали на себя представительство рабочих масс, и всякая попытка эманципации работников казалась им враждебной и опасной для их политического значения. Поэтому общество очень холодно встретило теперь пропаганду Овэна, и с 1830 года он является уже почти исключительно в союзе с работниками; его имя стоит во главе некоторых предприятий, в которых рабочее сословие вступало в борьбу со своими хозяевами. Сам он не мог теперь начинать больших предприятий, потому что огромное состояние его было большею частью растрчено в прежних попытках разного рода, частью же передано детям. Теперь Овэну оставалась только пропаганда и личное участие в судьбе рабочего класса. И в этом отношении он был неутомим. Он путешествовал из города в город со своей пропагандой, останавливаясь преимущественно в местах, служивших центрами промышленного движения,—в Манчестере, Ливерпуле, Бирмингеме, Гласгове и пр. В 1834 году ему пришлось между прочим играть важную, но весьма неблагоприятную роль в деле восстания работников в Лондоне. Восстание это было продолжением и ютчасти следствием волне-

ния, происшедшего перед тем в Манчестере, и строгого суда над тамошними работниками. Сто тысяч человек поднялись и пошли к Сент-Джемскому дворцу со значками каждого ремесленного цеха. Овэн в этом случае принял на себя переговоры с правительством. Уговоривши работников быть спокойнее и выражать только разумные требования, с соблюдением полного уважения к порядку и законности, он явился в Сент-Джемс, чтобы изложить перед правительством справедливые желания и жалобы рабочего класса. Но министры не умели оценить умеренность и благородство его представлений,—Овэн явился перед ними в качестве ходатая за народ, и этого в их глазах было достаточно, чтобы принять его свысока и неприязненно и не уважить его представлений. Ничего не добившись, ворвался Овэн к толпе, ожидавшей результата его переговоров, и был ею принят тоже неласково, как человек, на которого пало подозрение в доброхотстве правительству... Таким образом, его добродушие и любовь к справедливости послужили только поводом к обвинению его чуть не в измене с той и другой стороны...¹²⁵

Общественное мнение высших классов всё более и более вооружалось против Овэна, по мере того, как пред всеми прояснялась и доказывалась его приверженность к делу рабочих в их борьбе с монополиями капитала. Между прочим, много нареканий навлекло на него одно предприятие, в котором он не играл почти никакой роли, но где его имя было пушено в ход, даже почти без всякого права. Это был заговор работников против хозяев с целью заставить их возвысить заработную плату. Решено было, что если хозяева не сделают прибавки, то работники должны отказаться от работы на неопределённое время. Составлена была подписка, и для поддержки ремесленников, отошедших от хозяев, собрано было до 40 000 фунтов стерлингов (около 250 000 руб. сер.). В общем собрании бросили жребий, кому начинать борьбу; жребий пал на портных, особенно многочисленных в Лондоне. Портные потребовали от хозяев возвышения задельной платы и, получив отказ, бросили работу¹²⁶. В течение месяца они получали хорошее содержание из общей кассы, но на другой месяц она истощилась,—а хозяева и не думали смириться перед работниками. Сделан был заём для рабочих в надежде, что вот скоро хозяева попросят мира. Но прошёл и ещё месяц, а хозяева не сдавались. Последние средства общества истощились, и работникам самим пришлось идти на поклон. Всей этой историей воспользовались недоброжелатели Овэна для того, чтобы осмеять и очернить его, хотя он даже с самого начала предприятия не совсем одобрял его.

Более серьёзное и действительное участие принимал Овэн в предприятии, которое образовалось под именем «Правильного обмена народного труда» («National labour equitable exchange»). Начала этого предприятия были очень просты: работники должны были получать за свой труд квитанции с означением в них количества рабочих часов, в которые они занимались у хозяина. Эти квитанции могли потом служить вместо монеты при покупке работниками разных продуктов. Например, портной, покупая сапоги, давал сапожнику известное количество рабочих часов своих; сапожник, покупая хлеб, мог дать булоч-

нику квитанцию своих рабочих часов или передать квитанцию, полученную от портного, и т. д. Осуществление этой мысли сильно занимало Овэна, и он придумал даже род кредитных билетов, в которых счёт составлялся не рублями, а часами работы. Несколько позднее то же самое предлагалось во Франции, в «Banque d'échange»*, придуманном Прудоном.¹²⁷ В последнее время сами экономисты склоняются несколько к этой мысли. Но при начале предприятия Овэна на него накинудись все, как на сумасброда, называли его беспокойным мечтателем, смеялись над ребяческой неосновательностью его затей и т. п. В Лондоне ему решительно жить не было. Он удалился в Манчестер.

В Манчестере несколько лет уже пред тем существовало между работниками дружеское общество, имевшее целью—взаимное сотрудничество и круговую поддержку друг друга. Довольно долгое время составлялся в кругу рабочих общинный капитал, отлагавшийся из их же доходов. Овэн, явившись в Манчестер, сделался руководителем и главным двигателем всех действий общества. Под его влиянием круг общества значительно расширился, капитал увеличился, много замечательных людей приняли участие в делах манчестерских работников; наконец, дружеское общество работников превратилось в «Союз людей всех классов и наций» («Association of all classes, of all nations»), связанный единством идей и стремлений. В скором времени Манчестер сделался главным местом соединения и деятельности последователей Овэна. Здесь постоянно составлялись собрания и митинги овэнистов, здесь издавалось несколько журналов, старавшихся проводить его идеи. Даже главный журнал Овэна «New moral World», начатый в Лондоне, продолжался потом в Манчестере. Овэн очень деятельно участвовал в этом журнале, так что почти не появлялось ни одного номера, в котором бы не было его статьи или хотя коротенькой заметки. Кроме того, он писал в это время и сочинения более обширные, которые, равно как и прежние свои статьи, раздавал даром. Из них замечательнее других были «Чтения о новом общественном устройстве»; «Опыт об образовании человеческого характера»; «Шесть чтений в Манчестере»; «План разумной системы»; «Книга нового нравственного мира». В «Манчестерских чтениях» представляется теологический спор Овэна с Робаксом, очень сильно и бойко нападавшим на его принципы в отношении к религии. Кроме самого Овэна, в его духе писали в это время Абрам Комб, Ален Томпсон, Джемс Брэби и др. От многих из своих будто бы последователей Овэн, впрочем, сам отрекался.

В 1838 году Овэн совершил поездку во Францию. Здесь встретил он особенное участие со стороны гг. Жюля Ге, доктора Эвра и г. Радигёля. При посредстве их он добился дозволения два раза говорить в Атенее, изложил свои общие принципы, свои планы и надежды и успел возбудить некоторое сочувствие. По крайней мере с этих пор французское образованное общество обратилось к чтению и изучению его произведений, которые до того времени знало только по слухам.

Возвратившись в Англию, Овэн в 1839 году с горстью приверженцев, оставшихся верными его идеям, предпринял было ещё попытку

* Банк для обмена (продуктов) (франц.). — Ред.

основать колонию в духе тех же начал, как были основаны Нью-Лэ-нэрк, Нью-Гармони и Орбистон. Собрана была довольно значительная сумма, и в Соутгэмптоне положено начало колонии, названной Гармони-Голль. Но все условия были слишком неблагоприятны на этот раз, и в 1845 году всё предприятие рушилось.

В последние годы своей жизни Овэн ограничился почти исключительно теоретической пропагандой своих идей. В 1840 году произошло одно обстоятельство, по поводу которого опять шумно заговорили и долго шумели об Овэне. Королева Виктория пожелала говорить с Овэном и узнать его систему; через посредство лорда Мельбурна он был ей представлен. По этому случаю поднялись страшные крики со стороны оппозиции в парламенте и со стороны высшего духовенства Англии, которого представителем явился теперь епископ Экзетерский Фильпот. Нападали и на Овэна и на министра, объявляя факт представления Овэна королеве как что-то бессмысленное и чудовищное. Нападения их вызвали со стороны Овэна протестацию, которая явилась под следующим заглавием: «Манифест Роберта Овэна, изобретателя и основателя системы разумного общества и религии». Высказывая свои общие воззрения, Овэн сообщает здесь и некоторые факты своей деятельности. Неизъяснимо-милое добродушие и спокойствие господствует в этом «Манифесте», и тем сильнее поражает нас смелость и широта воззрений, высказываемых в нём с такою простотою. «Манифест» этот не длинен, и мы решаемся представить его читателям, чтобы дать понятие о характере воззрений и о самом способе выражений Овэна. Не забудем, что это произведение полемическое; и вот как Овэн ведёт свою полемику.

МАНИФЕСТ РОБЕРТА ОВЭНА, ОСНОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ РАЗУМНОГО ОБЩЕСТВА И РЕЛИГИИ

I. Система общественного устройства, господствовавшая до нашего времени, имеет своим источником призрачные понятия, которые произошли от первобытного, грубого состояния человеческого ума, лишённого основательных знаний.

II. Все внешние обстоятельства, управляющие миром, суть произведение человека и носят на себе отпечаток этих первобытных, несовершенных понятий.

III. Опыт с очевидностью доказывает всякому тщательному и мыслящему наблюдателю плачевную ложность этих первоначальных, грубых понятий. В предшествующие века, которые справедливо можно назвать *неразумным периодом человечества*, человек был ими обманут насчёт своей собственной природы и доведён до того, что стал самым непоследовательным и несовершенным из всех существ.

IV. История человечества неотразимо доказывает неразвитость доселе человеческого ума, и каждая из её страниц подтверждает в подробностях, как безумны и бестолковы были его стремления.

V. История доселе была только рядом войн, убийств, грабежей, бесконечных разделений, взаимных противодействий разных сторон друг другу в достижении состояния мирного и счастливого; в истории был доселе тот период, когда *все были во вражде с каждым, и каждый — во вражде со всеми*, — принцип, удивительно приспособленный к тому, чтобы произвести как можно больше зла и как можно меньше счастья.

VI. Все учреждения, господствовавшие в мире, прямо вытекают из этих первоначальных, грубых и ужасных заблуждений наших предков.

VII. Вместо этой системы глубокого невежества, принуждающей человека делаться с детства, по уму и по образу действий, существом неразумным, непоследовательным и неспособным понимать самые нелепые свои ошибки, я предлагаю ныне всем народам мира другую систему общественного устройства. Это система совершенно новая, основанная на началах, выведенных из неизменных фактов, находящаяся в полной гармонии с законами природы. Эта система, в которой *каждому обеспечивается общее содействие всех, и всем — содействие каждого*, — принцип, удивительно удобный для того, чтобы произвести как можно больше добра и как можно меньше несчастий.

VIII. Я предлагаю систему человеческой жизни, во всех отношениях противоположную системе прошедшей и настоящей, — систему, которая произведёт *новый ум и новую волю* во всём человечестве и каждого, с неотразимою необходимостью, приведёт к последовательности, разумности, здравому мышлению и здравым поступкам.

IX. Эта новая система откроет людям глаза на прошедшее и настоящее разращение человеческого рода, на безумие и ложность наших учреждений, на настоятельную потребность изменить все эти внешние обстоятельства и принять другие учреждения, *основанные на дознанных фактах и сообразные с нашей натурой*. По этим последним признакам всякий человек может отличить истину от лжи.

X. В этой системе столько силы, что она, и только она одна, может скоро положить конец человеческому невежеству; остановить возрастание пауперизма и отворить возможность его возобновления; уничтожить все суеверия, господствующие над миром, и удалить все причины разъединения людей, как на деле, так и во взаимных расположениях; произвести неисчерпаемое обилие во всём, что необходимо для жизни и для удовольствия человека, и сделать для него производительный труд более лёгким и приятным.

XI. Система эта не признана, но она столь могущественна, что в самый тот год, когда её примут, она произведёт на земле более благосостояния, наслаждений и нравственности, нежели сколько старая система могла произвести в течение веков и сколько она ещё произведёт в будущем, как бы долго она ни существовала.

XII. Эта система так различна от нынешней, и в теории, и в практике, и во всём своём характере, что она произведёт свои реформы спокойно, тихо, последовательно и в таком порядке, что никто не потерпит ни малейшего ущерба в своих интересах нравственных и вещественных, а напротив, всякий найдёт в ней удовлетворение и благо для себя, во всяком месте, во всяком народе.

XIII. Мало того, щадя ошибки прежнего общественного быта и не желая ни в чём оскорблять совести, новая система устроит дело так, что старые суеверия всякого народа умрут своею естественною смертью, с возможно меньшим неудобством для личностей, которых существование с ними связано, и с возможно большей пощадой человеческих слабостей.

XIV. Так как эти две системы совершенно противоположны, то ясно, что слияние между ними невозможно ни в каком случае, даже тогда, когда одна из них исчезнет в другой. Старая система основана на заблуждении и не может защищать себя иначе, как с помощью увёрток и лжи. Новая система основана на истине и не допустит никакого обмана — ни в общественной, ни в частной жизни, ни между отдельными личностями, ни между народами.

XV. Основатель новой системы был в первый период своей жизни промышленником, сам вёл дела, распоряжался, приобрёл опытность, и он из своих знаний и опыта извлёк положения, основанные на естественных свойствах нашей природы и вполне им соответственные.

XVI. Эти новые положения так необыкновенны, что в их сочетании для всего человечества заключается, при той же сумме труда, во сто раз более выгод, нежели сколько старая система давала кому-нибудь из людей. И эти неслыханные доселе планы, эти соображения, долженствующие произвести новый нравственный мир и дать человеку разумный характер, готовы подвергнуться критическому рассмотрению самых учёных, самых практи-

ческих, самых опытных людей, в четырёх существеннейших отраслях человеческой жизни, то есть: 1) в производстве; 2) в распределении богатств; 3) в образовании человеческого характера с детства; 4) в установлении местного и общего управления.

XVII. Новая нравственная система не может иметь дела со старою безнравственною системою иначе, как только для того, чтобы привести её к полнейшему, мирному уничтожению. И падение людей, которые считали для себя выгодным поддерживать старый порядок вещей, доказывает, что час совершенного преобразования уже пробил.

XVIII. Внимание народов, в видах их собственного благоденствия, обращено уже на этот важный предмет, интересный для ныне живущих и для тех, которые ещё будут жить.

XIX. Основатель этой системы, уже около полувека работающий над её усовершенствованием, просит себе позволения говорить в обеих палатах не только для того, чтобы вступить в борьбу с противниками, которые его не понимают, но и затем, чтобы развернуть пред глазами всего мира безмерные выгоды его учения.

XX. *Центральный совет*, составляющий исполнительную власть всеобщего и общинного товарищества разумной системы, также просит себе слова в обеих палатах, чтобы опровергнуть чудовищные клеветы, рассеянные по стране и письменно и словесно разными противниками нашими, которые считали выгодным для себя нападать на нашу реформу.

Основатель *разумной системы* осуществил уже, впрочем, некоторую долю своих намерений и дал миру маленькое понятие о том, что может он совершить на пользу человеческих обществ.

1) Своими примером, своими сочинениями, речами, ходатайством пред различными законодателями, — он добился *улучшения участи детей*, работающих на английских фабриках по требованиям ненавистной системы производства, истощающей целые поколения и представляющей самое варварское явление в этом мире, имеющем претензию считать себя цивилизованным (см. парламентские заседания 1816—1818 годов).

2) Он придумал и учредил, сообразно с началами разумной системы общества, детские школы, в которых новая высшая система внешней обстановки, действуя на образование юных характеров, производила в них привычки и наклонности мирно-благожелательные и одушевляла их любовью ко всем. В этих школах сообщались детям только положительные и верные знания в дружеских разговорах учеников с наставниками, посвящёнными в тайну познания человеческого природы (см. сочинение «Об образовании человеческого характера» и адрес 1816 года относительно образования новых учреждений для воспитания человеческого характера).

3) В 1816 году он дал г. Фальку, голландскому посланнику, проект уничтожения нищеты посредством заведения приютов для бедных и предоставления им общественных работ. Г-н Фальк одобрил этот проект и представил его своему правительству, которое в следующем году действительно и учредило «Колонию бедных голландцев» и «Благотворительное общество». В этом почтенном обществе Фрэнсис, герцог Бедфорд и основатель разумной системы — единственные, кажется, почётные члены из англичан. Автор предварительно представлял свой проект кабинету лорда Ливерпуля, и без сомнения он бы согласился на опыт, если бы в советах правительства, при всём их чисто мирском характере, не преобладало влияние клерикальное. А если бы план этот принят был в тех размерах, как автор представлял правительству, то бедные и рабочие классы с тех пор уже значительно поднялись бы и были бы употреблены с пользою. Более миллионов фунтов стерлингов напрасных издержек было бы сбережено, взамен того получило бы более ста миллионов дохода, произведённого новою, правильно организованною промышленностью. Не нужно было бы требовать билля об изменении закона относительно таксы для бедных; не было бы в Англии и Ирландии народонаселения, умирающего с голоду; не слышно было бы жалоб стольких несчастных, и чартизм не существовал бы (в подтвержде-

ние этого см. рапорт Овна о законе насчёт бедных, представленный комиссии, бывшей под председательством г. Стерджеса Берна).

4) В том же 1816 году основатель *разумной системы общества* представил прусскому посланнику, барону Якоби, план новой системы народного воспитания и подробное изложение здравых начал общего управления. В возмездие за это открытие основатель системы получил через того же посланника собственноручное письмо короля прусского, в котором он благодарил автора и выказывал такое сочувствие к его системе, что изъявил намерение поручить своему министру внутренних дел — применить её во всех прусских областях, где только будет возможно. И в самом деле, — в следующем году новая система народного воспитания была уже в силе в Пруссии (см. соч. «Об образовании человеческого характера», издание первое и последующие).

5) Основатель *разумной системы* деятельно помогал Беллю и Ланкастеру в утверждении их планов воспитания. Он дал первому, в несколько раз, более тысячи фунтов стерлингов. «Национальному комитету» доктора Белля он дал 500 фунтов и предлагал подписать 1 000, если эти народные школы будут открыты для *всех* детей, без различия сословий и религий. О предложении этом спорили в комитете два дня, и оно было отвергнуто весьма ничтожным большинством голосов (см. протоколы комитета).

6) В 1816 и 1817 годах Овэн посетил замечательнейших передовых людей Франции, Швейцарии и части Германии. Товарищами его в дороге были между прочим Кювье и Пиктет. В это время он был представлен герцогом Кентским герцогу Орлеанскому, нынешнему (1840 год) французскому королю. Он посетил также замечательнейшие воспитательные заведения материка, особенно Фалленберга и Песталоцци, получая из уст государственных людей, законодателей, наставников — такие сведения, какие только могли быть сообщены лучшими умами того времени.

7) В 1822 и 1823 годах Овэн поднял в Ирландии вопрос о народном воспитании и об употреблении нищих на фабричные работы. Здесь он был принят католическими и протестантскими епископами, главами аристократии и самыми образованными людьми этой страны. Он собирал несколько многочисленных и оживлённых митингов в Дублине и взялся представить обоим палатам прошения, говорившие в пользу *разумной системы*. Значительные, хотя, впрочем, всё-таки недостаточные, суммы были также подписаны здесь, в видах осуществления предполагаемых планов (см. отчёт об этих митингах, напечатанный немного спустя после отъезда Овна из Дублина).

8) В 1824 году Овэн отправился в Соединённые штаты, посетил там всех, бывших тогда в живых, президентов, собрал о многих политических, административных и социальных вопросах мнения столь отличных и опытных людей, как Джон Адамс, Джефферсон, Монро, Джон-Квинси-Адамс. Он толковал с членами высшего судилища; два раза был выслушан в конгрессе и получил со всех сторон благодарения за свои указания, заслужившие общее одобрение! Потом он развивал свои идеи в главнейших городах Союза и в двух своих путешествиях входил в сношения со всеми замечательнейшими людьми штатов.

9) В 1828 году Овэн явился в Мексике с намерением официально принять на себя управление Техасом, чтобы предотвратить бедствия, которых театром сделалась с тех пор эта провинция. Он представил на этот счёт мексиканскому правительству записку, составленную им в Европе и предварительно сообщённую посланникам значительнейших держав американских. Поддерживаемый ими и опираясь на рекомендацию Веллингтона пред английским посланником в Мексике, лордом Пакенгамом, Овэн вошёл в переговоры. Сам лорд Пакенгам взялся изложить его планы в официальной конференции; он представил в высшей степени похвальный отзыв — и о методе Овна, и о его личности, и о качествах, делавших его вполне способным к выполнению предложенного дела. Президент отвечал, что мексиканское правительство серьёзно рассматривает это дело и что жаль только того, что управление Техасом не прямо зависит от Мексики. Потом он присовокупил: «Если г. Овэн желает взять на себя управление территорией гораздо более обширной, мы можем ему предложить область, лежащую

между Тихим океаном и Мексиканским заливом и образующую, в большей своей части, границу между Мексиканским союзом и Соединёнными штатами». При этом великодушном предложении гг. Пакенгам и Овэн не могли удержать своего изумления. Впрочем, когда начались объяснения, Овэн предварительно потребовал, чтобы его провинции предоставлена была полная религиозная свобода. Президент отвечал, что это условие может служить помехою, так как в Мексике господствует католическое исповедание, но что он представит конгрессу предложение о введении в Мексике веротерпимости, подобно Соединённым штатам. «На этих основаниях, — сказал тогда Овэн, — я соглашаюсь; как скоро закон будет принят, я примусь за мои правительственные распоряжения». В остальное время своего пребывания в Мексике Овэн был представлен высшим правительственным лицам страны, и в Вера-Крусе имел несколько свиданий с генералом Санта-Анною, выказавшим живейшее сочувствие к его проектам общественных улучшений. Овэн отправился из Вера-Круса на военном десятипушечном бриге, присланном из Ямайки, чтобы отвезти его в Новый Орлеан.

10) В своих путешествиях Овэн мог убедиться, сколько несогласий и тибельных антипатий существовало между Соединёнными штатами и Англией. Он понял, что дело может дойти до того, что штаты заключат союз с северными державами, враждебными Англии. Овэн хотел попытаться сделать эти отношения более доброжелательными и искренними. Он отправился в Вашингтон, представил г. Ван-Бюрену, тогдашнему министру, как противны были здоровой политике отношения двух держав, и в конференциях, продолжавшихся десять дней, вопрос был совершенно разъяснён между двумя посредниками. Представили дело тогдашнему президенту Джексону, который одобрил содержание и исход переговоров и изъявил своё согласие на открытие дружественных сношений между двумя державами. Он пожелал видеть Овэна, пригласил его на обед, и тут согласился, что Американский союз примет с этих пор новую политику, доброжелательную Великобритании, если только эта последняя примет то же направление и проникинется тем же примирительным духом. С этой уверенностью Овэн отправился в Европу. Едва прибывши в Лондон, он представился лорду Абердину, дал ему отчёт во всём, что произошло, и получил от него уверение, что отныне установятся наилучшие отношения между Англией и Северо-Американскими штатами. Конфиденциальные письма и депеши указали английским посланникам в Америке — сообразоваться во всём по этому делу с советами Овэна. Дело пошло хорошо и было окончено к обоюдному удовольствию. Овэн формально настаивал на необходимости порешить со всеми маленькими разногласиями в частностях, — и очень жаль, что тогда не воспользовались этим случаем для того, чтобы положительно определить границы со стороны Канады. По поводу этих переговоров один из принцев Мюратов сказал в одной книге, изданной в Соединённых штатах, что Овэн обманул американское правительство. Овэн, конечно, давно бы ответил на это обвинение, если бы его знал. Молодой Мюрат был вовлечён в ошибку. Овэн никого не обманывал. Ему приятно объявить теперь, что ни одно правительство в мире не могло бы вести себя с бльшим достоинством и благородством, чем Соединённые штаты в этом случае, и что, с другой стороны, он должен воздать величайшую похвалу и действиям английского министерства, преимущественно же лордов Ливерпуля и Веллингтона. Он считает, однако, нужным заметить здесь, что недавно этот достоуважаемый генерал отказался представить одну его просьбу палате лордов и даже не хотел выслушать его объяснений, — что, впрочем, нужно приписать только влиянию некоторых лиц, не хотящих понять и оценить планы *разумного* общества (достоверность изложенных здесь фактов могут засвидетельствовать генерал Джексон, президент Ван-Бюрен, граф Абердин, генерал Санта-Анна и мн. др.).

11) Видя, что мексиканское правительство не может хорошенько уладить религиозный вопрос в границах, предположенных Овэном, и понимая, что положение Мексики не представляло достаточных гарантий для спокойного и последовательного осуществления его идей, Овэн отказался от общинных опытов в чужих странах и обратился к своей родине, которая нуждалась в его преобразованиях не менее или ещё больше, чем всякая другая страна.

Поэтому он употребил последние десять лет на распространение в английском народонаселении здравых понятий и на приготовление его к той мирной реформе, которую теперь он в состоянии возвестить миру. Таким образом, значительная часть рабочего класса в Англии имеет гораздо более, нежели в других странах, здравые понятия о всех вопросах, касающихся их обеспечения и благосостояния. Через несколько лет результаты эти будут ещё очевиднее, потому что тогда ещё лучше узнают на самом деле истину, чистоту и всю важность нового учения. Роберт Овен посетил также в недавнее время некоторые из старых государств Европы, чтобы приготовить их к изменениям, которые становятся неизбежными при развитии истинных понятий в рабочих классах. Уже 22 года тому назад Овен предвидел этот результат; теперь он приблизился, — и никто уже не может сомневаться в его значении.

В тот самый период времени Роберт Овен написал и издал первую из семи частей «Книги нового нравственного мира», долженствующей заключать в себе изложение науки о природе человека. Такой книги доселе не доставало человечеству, и автор будет её защищать против всех, которые сочтут своим долгом или найдут выгодным нападать на неё.

Издание этой книги сопровождалось появлением множества других произведений Овена, рассуждавших о различных предметах — о религии, о браке, о личной собственности, о народном воспитании, о занятиях работников; за этими произведениями, если их хорошо поймут, признано будет великое значение не только для Англии, но и для всего остального мира.

Но сверх всего этого Роберт Овен оказал неоценимую услугу открытием и обнародованием новой, разумной системы общества и религии, — дело, которого развитие теперь уже невозможно остановить. Это — система более благодетельная, чем все ложные и отвлечённые системы, бывшие до сих пор, — система истинная, доброжелательная для всех, выгодная всем и каждому, долженствующая обеспечить благоденствие и мир вселенной. Мир был ещё в неведении насчёт этой системы, но уважаемый епископ Экзетерский позаботился дать ей самую громкую гласность, изложивши её в палате лордов*.

Вот вкратце изложение части того, что сделано Овеном для составления, одряхлевшего безнравственного мира. Но это ничего не значит в сравнении с тем, что замыслено им для того, чтобы исторгнуть человека из нищеты, раздоров, унижений, пороков и бедствий.

Теперь одно слово насчёт моего представления её величеству королеве. Я спрашиваю, кому из нас троих всего более чести принесло это свидание? Тому ли старику семидесяти лет, который более полувека искал приобретения редкой между людьми мудрости, с одной целью приложить её к облегчению бедствий несчастных, и который, в видах осуществления своих планов, позволил даже нарядить себя как обезьяну и склонить колено пред молодой девицей, прекрасной, конечно, но вовсе неопытной? Или министру, который заставил этого старика подвергнуться этим формам этикета, и потом в речи, полной нелепостей, почти огрётся от всего этого дела, которого был двигателем и которое некогда будет, может быть, считаться лучшим и важнейшим делом его управления? Или, наконец, — этой молодой девушке, пред которой преклонял колени семидесятилетний старец?.. Что касается до меня, то я не считаю за честь быть представленным никакому человеческому существу, каково бы оно ни было.

Двадцать два года тому, в адресе моём, представленном через лорда Кастельрэ европейским монархам, собравшимся на Ахенском конгрессе, я объявил, что в моих проектах и действиях я совершенно чужд всякого желания каких-нибудь почестей и привилегий, на которые всегда смотрел, как на детские побрякушки или мелочи, достойные людей суетных и малодушных.

Однакоже глава нынешней оппозиции в палате депутатов счёл важным преступлением моё представление её величеству и воспользовался им, как оружием против министра, который это дело устроил.

* Это намёк на те нападения, какие делал на систему Овена в палате лордов епископ Экзетерский. — Н. Д.

Неужели нынешний сэр Роберт Пиль мог поднять это волнение серьёзно и не краснея?

Разве позабыл он, что старый Роберт Пиль, отец его, в продолжение многих лет был в наилучших отношениях со мной и считал полезным добиваться пред палатою депутатов осуществления моих идей и принятия, — хотя со множеством искажений, — моего билля о работе детей на фабриках?

Старый Роберт Пиль был человек практический, старавшийся найти себе опору не в пустых словах, а в предметах существенно полезных и плодотворных. Он был опытный человек, серьёзно и добросовестно взвешивавший и обсуждавший мысли, которые представлялись его рассмотрению. Я спрашиваю теперь у почтенного предводителя отчаянной оппозиции, восставшей теперь в палате депутатов, — помнит ли он мой визит достоуважаемому отцу его, сделанный перед одним из моих путешествий в Соединённые штаты, в то время, когда он, — нынешний сэр Роберт Пиль, член кабинета лорда Ливерпуля, — находился в фамильном своём местопребывании, в Дрейтон-Гоулде? Если он не забыл этого, то должен вспомнить и то, что я тогда привозил с собою около двухсот планов и рисунков, относящихся к новой системе организации общества. Я их назначал для президента Соединённых штатов, в комнатах которого они и были потом выставлены, и, может быть, и теперь ещё там находятся. Сэр Роберт Пиль-отец посвятил много часов на рассмотрение этой единственной в мире коллекции, в которой я раскрывал средства совершенно переделать внешние обстоятельства, определяющие характер человека, и доставить будущим поколениям гораздо более благородное употребление их сил и гораздо обильнейший источник наслаждений. Долго разбирал и изучал он предмет в самой его сущности, средства осуществления, научные данные, которыми определялась общая гармония и великое значение всей совокупности моей системы, и после этого строгого рассмотрения он несколько минут оставался в безмолвном изумлении, а затем сказал вот какие слова, замечательные по их глубине и справедливости. «Г-н Оуэн, — сказал он мне, — во всём королевстве не найдётся четырёх человек, которых образование было бы достаточно обширно и разнообразно, чтобы оценить значение столь великих соображений; но если бы много было людей, которые могли бы понять вас так, как я, — то они тотчас признали бы, что изменение, предложенное вами, может произвести гораздо более, нежели сколько вы сами можете обещать». Затем он прибавил: «Мой сын Роберт теперь здесь. По всей вероятности, он не поймёт ваших соображений, потому что не имел ещё случая заниматься изучением подобных предметов. Но останьтесь у нас до завтра. Вы увидите его за обедом, и мы попробуем несколько затронуть его ум, раскрывши перед ним ваши проекты». Я остался, исполняя просьбу достойного баронета; но мне и тогда нетрудно было заметить, что сэр Роберт Пиль нынешний вовсе не имел ни нужных сведений, ни опытности для того, чтобы объять предмет, бывший не по силам его разумения. Я свидетельствую моё глубокое уважение ко всей этой фамилии; но мне грустно видеть, до какой степени политические предубеждения искажают самые блестящие достоинства.

Что касается достопочтенного прелата Экзетерского и его речи, произнесённой на прошлой неделе в палате лордов, то я считаю себя вправе заключить, что ему ещё нужнее выразить хорошенько те заблуждения, безразличности и хулы, против которых он гремел так продолжительно. Я убеждён, что самый последний из многих тысяч мальчиков, учащих в моих школах, объяснит всё это гораздо удовлетворительнее и разумнее, нежели этот благородный лорд в полном собрании парламента.

Но, серьёзно размысливши обо всём этом, я пришёл к тому, что сказал себе: почтенный виконт, государственный министр, почтенный предводитель оппозиции в нижней палате и достопочтенный прелат Экзетерский имеют каждый свой характер, сложившийся особенным образом и насильственно увлекающий их, отчего их заблуждения становятся невольными, неизбежными и, следовательно, достойными сострадания, а не брани. Разумная любовь и религия, которые некоторым образом дремали во мне при чтении речей этих благородных господ, теперь вновь заговорили во мне со всей своей силой и чистотой. Поэтому я забываю и прощаю всё, что они могли

сказать. Мне кажется, что их старая общественная система не должна им внушить столь же прямодушной и искренней любви в отношении ко мне, и это обстоятельство ещё более увеличивает моё сострадание к ним.

Облегчивши моё сердце от этих мелочей, я перехожу к размышлениям более серьёзным и важным.

Некоторые лица в английском парламенте предлагали преследовать и наказывать нескольких последователей *разумной системы* общества. Правду сказать, — в этом было бы очень мало разумного.

Я — изобретатель, основатель и открытый проповедник этой системы и всех заблуждений, безнравственностей и хулений, которые она содержит (если только можно найти в ней хоть тень чего-нибудь подобного). Я один её виновник, и, следовательно, меня одного нужно (если уж нужно) преследовать и казнить за все гадости, какие в ней могут скрываться. Я готов доказать первому министру королевы, что разумная система и разумная религия в том виде, как я их преподавал, вовсе не суть нелепости; главе оппозиции я готов доказать, что система эта возвещает истины чрезвычайно важные и полезные; наконец, достопочтенному епископу Экзетерскому я докажу, что разумная система, возвещённая мною миру, содержит несравненно менее безнравственности и безрассудства, чем сколько было их во всех бесчисленных учениях, столь долго связывавших и унижавших человечество.

Если бы те, которые стоят во главе управления нашей страной, имели несколько мудрости, то, видя, что умы заняты этим предметом во всех странах мира, они выбрали бы людей образованных, опытных и практических, умеющих понимать самое дело, а не одни слова, и поручили бы им тщательно и всесторонне рассмотреть всю мою систему для того, чтобы сначала они, а потом и весь мир могли получить точное и верное понятие об этом открытии, которое должно произвести счастье на земле не только для настоящих, но и для будущих поколений.

При таком разумном образе действия открыто и всенародно будет поведано миру всё, что есть ложного в моей системе, — если найдётся в ней что-нибудь ложное, — равно как указано будет для пользы общества и на то, что в ней есть истинного и доброго, — если в ней окажется что-нибудь истинное и доброе.

Требуя этой меры, я имею в виду не личную свою выгоду. С самого начала моего поприща, когда я не имел никакой опоры, — я не боялся, единственно в интересах самой истины, входить в противоречие с самыми законными предубеждениями предшествующих веков. Уже с тех пор я приготовился и к денежным штрафам, и к тюремным заключениям, и к самой смерти — даже на эшафоте. И что могут значить все подобные неприятности для человека, который весь проникнут одним желанием — быть полезным человечеству? Но вместо штрафов, заточения и бесславного конца я, напротив, встретил сочувствие и любовь человечества; я прожил жизнь свою мирно и без шума, счастливый самим собою и своим семейством. Фамилия Овэна как в Нью-Лэнзрке, в Шотландии, так и в Нью-Гармони, в Америке, была одною из самых счастливых по сю и по ту сторону Атлантического океана. Правда, что я весь излишек моего состояния, до последнего шиллинга, посвящал на пропаганду моего великого и прекрасного дела, так как деньги не бесполезны были в содействии его успехам; но достопочтенный прелат совершенно ошибается, когда утверждает, что я потерял мое состояние в роскоши и мотовстве. Ни одного фунта стерлингов не употребил я на какое-нибудь пустое дело; я в состоянии доказать это благородному прелату и вызываю его представить хотя малейшее доказательство противного.

После этого торжественного объяснения мне нечего более беспокоиться о том, что могут теперь сказать обо мне в парламенте или вне парламента. Моя жизнь служит настоящим ответом на все клеветы, какие ещё могут на меня придумать. Минутная популярность мало имеет для меня значения;

забота же о своей репутации после смерти кажется мне нелепостью, разве только иметь в виду то удовольствие, которое могут от этого получить потомки знаменитого человека. Я счастлив в моей жизни; я буду счастлив и в смерти и ещё более — независим от этого мира, дряхлого, безразличного и неразумного.

Роберт Овэн.

Лондон. 2 февраля 1840 года.

Ещё восемнадцать лет прожил Овэн после этого откровенного объяснения с противниками своих идей. Ни разу во всё это время не изменил он себе, несмотря на старость, несмотря на громадность встречавшихся ему затруднений. В 1845 году он ещё раз совершил путешествие в Америку, чтобы содействовать лично распространению там своего учения. С 1846 года он постоянно продолжал свою пропаганду в Англии. До конца жизни сохранил он полное употребление всех умственных способностей и пользовался редким здоровьем. Незадолго до своей смерти он ещё являлся на одном конгрессе в Ливерпуле, в сообществе лорда Брума и лорда Джона Росселя. Впрочем, говорить пред собранием ему было уже трудно. После этого он лёг было в постель, но вскоре оправился и решился ехать в Ньютон, место своего рождения, чтобы там кончить свой век. Там он и умер на руках старшего своего сына — посланника Северо-Американских штатов в Неаполе. Смерть Овэна оправдала его торжественную уверенность, высказанную за восемнадцать лет пред тем: он умер спокойно, без агонии, почти без всякой боли. За полчаса до смерти он говорил, что чувствует себя чрезвычайно хорошо и приятно. Последние слова его были: «Relief is come», — «Пришла развязка».

Из представленного нами очерка читатели, не знакомые с произведениями Овэна, могут составить себе некоторое понятие об общих положениях, на которых опиралась изобретённая им *разумная система* общественного устройства. Мы не нашли удобным сделать здесь полное и подробное обозрение его системы: это необходимо отвлекло бы нас от изложения личной деятельности Овэна и заставило бы пуститься в общие теоретические соображения. Соображения же эти потребовали бы слишком долгих и подробных распространений, а отчасти и умолчаний, так как принципы Овэна стоят действительно в резком противоречии со всем, что обыкновенно принимается за истину в нашем обществе. Поэтому, оставляя до более удобного времени подробное изложение и разбор теорий Овэна, мы на этот раз ограничиваемся очерком его личной деятельности и указанием на главнейшие идеи, служащие основанием всей его системы. Какое значение, какие обширные размеры имеет эта система, на каких смелых и совершенно самостоятельных началах она основана, это довольно ясно видно из «Манифеста», переведённого нами в этой статье. Для желающих же изучить подробности системы Овэна нужно обратиться к его сочинениям, и преимущественно двум, названным выше: «Об образовании человеческого характера» и «Книга нового нравственного мира» («Book of the new moral world»).

Писатели, разбиравшие идеи и деятельность Овэна, обыкновенно

называют его утопистом, мечтателем, романтиком, непрактичным и даже прямо безрассудным человеком. Мы не знаем, какое мнение читатели составили об Овэне по нашей статье; но нам кажется, что с писателями, трактующими Овэна таким образом, нельзя не согласиться во многом. Мы видели, что Овэн мог обогатиться филантропией—и растратил своё состояние на бедных; мог сделаться другом и любимцем всех партий—и ожесточил их все против себя; мог дойти до степеней известных—и вместо того потерял всякое уважение к себе в высшем обществе; мог получить в свою власть целый край, отказавшись от одной из основных идей своих,—и не получил ничего, потому что прежде всего требовал от мексиканского правительства гарантий для свободы этой самой идеи. Поразмыслив аккуратно, невольно приходишь к вопросу: кто же мог поступать таким образом, кроме человека самого непрактичного, преданного самым утопическим мечтаниям? Одних этих фактов уже вполне достаточно, чтобы дать право противникам Овэна называть его близоруким мечтателем. А к этому прибавьте ещё его претензии—преобразовать целый мир по своим идеям, доказать, что все ошиблись, а он один нашёл правду! Это уж такая дерзкая химера, которой благоразумные противники Овэна даже в толк взять никак не могут. И благо им, что не могут!



ОСНОВАНИЯ ОПЫТНОЙ ПСИХОЛОГИИ

СОЧИНЕНИЕ АРХИМАНДРИТА ГАВРИИЛА (КИКОДЗЕ) ¹



Не факты нужно приноравливать к заранее придуманному закону, а самый закон выводить из фактов, не насилуя их произвольно: эта истина так проста и так понятна каждому, что сделалась, наконец, общим местом. А между тем чаще всего встречаешь противоречие этой истине, и, что всего досаднее, противоречащие нередко сами торжественно проповедуют её. Как можно, говорят они, начинать с того, что должно быть результатом изысканий: факты, факты—вот с чего надобно начинать! А посмотришь—вывод давно уже готов у них, а факты-то так себе, ради единой только формальности выставляются напоказ. Пусть бы ещё факты эти гармонировали с выводом, тогда по крайней мере можно было бы подумать, что всё это делается для большей ясности, а то ведь и того нет: факты сами по себе, а вывод сам по себе. Этого мало: осмелся кто-нибудь указать этим господам на непоследовательность и произвольность их суждений, и они тотчас назовут его невеждою, да ещё, пожалуй, чего доброго, огласят неблагонамеренным человеком. *Idée fixe* * гвоздём сидит у них в голове, и что ты им ни толкуй, они всё своё. Если же случится им встретить что-нибудь необъяснимое по их теории, то это для них ровно ничего не значит: они тотчас сошлются на то, что в мире много непостижимого для нашего слабого разума, что тайны и загадки мы встречаем на каждом шагу, да на этом и покончат всё дело. Само собою разумеется, что науке нечего ожидать от таких исследователей, что тут не может быть и помину о движении вперёд.

Книга архимандрита Гавриила не сообщает нам, собственно, ничего нового против прежних психологий. Но она отличается от них методом изложения и сравнительно большим количеством физиологических фактов, что составляет её неоспоримое достоинство. Жаль только, что автор смотрит на эти факты с исключительной точки зрения; на многие из приводимых им возражений даёт только косвенные ответы, а некоторые весьма важные вопросы и вовсе оставляет без разрешения ¹²⁹.

* Навязчивая мысль (франц.). — *Ред.*

Книгу свою автор начинает анализом внешних ощущений. При этом он довольно подробно говорит об устройстве каждого чувственного органа и объясняет процесс самого восприятия. Он доказывает, что не глаз видит предметы, не ухо слышит звук, а что впечатления, получаемые этими органами от внешних предметов, передаются посредством чувственных нервов мозгу. То же он говорит о восприятии и трёх остальных чувств. Всё это пока, пожалуй, удовлетворительно. Но нельзя далее согласиться с автором, по крайней мере при тех доказательствах, какие он представляет. Соображая весь процесс чувственного восприятия, он приходит к тому заключению, что даже и самый мозг нельзя признать ощущающим началом. Мы охотно согласились бы с этим положением, если бы автор действительно доказал его. Нельзя решать вопроса только вполнину и в то же время утверждать, что он решён окончательно. Этим можно обмануть людей тупоумных; а кто имеет хоть сколько-нибудь здравого смысла, тот едва ли успокоится на таком половинном решении. Нужно сказать, да и доказать. А на слово нынче уже не верят.

Главное и совершенно достаточное доказательство тому (то есть что мозг не есть ощущающее начало),—говорит автор,—находим мы *в единстве и простоте наших ощущений*, единстве и простоте, столько противоречащих сложности мозга и всей нервной системы.

Но в мире вещественном мы не знаем ни одного предмета, в котором бы не проявлялись какие-либо свойственные ему силы. Точно так же невозможно представить себе и силу, независимую от материи. Сила составляет коренное, неотъемлемое свойство материи и отдельно существовать не может. Её нельзя передать материи, а можно только пробудить в ней. Магнетизм можно вызвать, но не сообщить предмету. Нельзя представить магнитной силы без железа или вообще без тела, в котором она заключена, как одно из коренных, элементарных его свойств. Стало быть, и в человеческом мозге, каков бы ни был его состав, должна быть своя сила. И что ж удивительного, если эта сила проявляется в ощущении?..

Другие, напротив, приводят совершенно противоположное этому возражение, а именно,—что мозг представляет однородную сплошную массу, слишком прост и по составу и по форме, чтобы быть единственным источником такой тонкой и сложной деятельности, какую ему приписывают: сложные силы, говорят они, могут быть только в сложной материи. Но и это возражение, рациональное теоретически, оказывается несостоятельным на деле, потому что противоречит анатомии. В органическом царстве мы не знаем ничего, что имело бы более своеобразный вид, более сложное строение и, наконец, более замечательный химический состав, как мозг. Как ни бедны наши сведения о его составе, но мы знаем, что он не есть однородная сплошная масса, а состоит из чрезвычайно тонких, нежных, перепутанных между собою цилиндров, называемых первообразными волокнами и наполненных маслянистою жидкостью, которая может свораживаться. Анатомия показывает далее, что внутри мозга есть множество самых странных узоров, значение которых для нас ещё совершенно загадочно, а на поверхности его целый ряд изви-

стых углублений, в которых главные составные части мозга, белая и серая массы, во многих точках соприкасаются. Так называемые ганглиеновы шарики, находящиеся в серой массе головного и спинного мозгов, представляют много особенностей в своём устройстве: первообразные волокна то окружают их, то лежат над ними, то из них выходят и т. п. Нет ни одного организма у животных, который бы тонкостью и разнообразием своего строения сколько-нибудь подходил к мозгу. Наконец, из всех органов он получает наиболее крови от сердца, и обращение соков в нём совершается быстрее, чем где-либо. Соответственно этому и анатомическое расположение кровяных сосудов в мозгу очень сложно и совершенно своеобразно. Не менее сложен и химический состав мозга. Исследования показали, что в нём находятся такие элементы, каких нет ни в одном органическом теле, например, церебрин. Говорят даже, что массы, из которых состоит мозг и нервы, в разных местах своего протяжения имеют и различный химический состав. Особенно важное значение для умственных отправлений имеет фосфор, находящийся в мозговом жире; по новейшим наблюдениям, в психической деятельности мозга и в отправлениях вообще всей нервной системы принимает участие ещё одна сила, которая прежде замечена была только в телах неорганических. Эта сила—электричество. Таким образом, анатомический и химический состав мозга, как ни бедны наши сведения о них, не противоречит сложности приписываемых ему отправлений. Кроме того, неизлишне заметить здесь, что есть много тел, имеющих одинаковый химический состав, но различные свойства. Ни химия, ни микроскоп до сих пор ещё не могли открыть разницы между заразительным и незаразительным гноем. Если же такое неуловимое различие в механическом или химическом составе неорганических тел производит существенную разницу в их свойствах, то отчего же не предположить, что подобные же незначительные причины могут иметь влияние и на деятельность мозга. Ганглиеновы шарики, находящиеся в полости мозга и играющие, вероятно, немаловажную роль в психических отправлениях его, анатомическим своим устройством нисколько не разнятся от подобных же шариков в брюшной полости; тем не менее в действиях их есть и должна быть разница. Всё это подтверждает ту мысль, что кажущаяся простота устройства мозга не может служить опровержением возможности сложных отправлений его.

Если мозг способен к такой тонкой деятельности, то отчего мы,—говорят психологи,—не замечаем даже и проблесков чего-нибудь подобного в других телах органических и неорганических, например, в камне, дереве и т. п.? Ведь камень и дерево такая же материя, как и мозг. Но возражатели забывают, что в мире всё подлечит закону развития и что мозг человеческий, по их же словам, есть тончайшая материя. В природе всё идёт постепенно от простого к более сложному, от несовершенного к более совершенному; но везде одна и та же материя, только на разных степенях развития. Что ж удивительного, если на одной степени мы находим то, что несвойственно другой? В телах неорганических мы совсем не замечаем жизни в том виде, в каком она проявляется в телах органических; тем не менее

и они подлежат изменениям как в объёме, так и во внутреннем своём составе. Наблюдая над ними, мы постоянно замечаем то механические, то химические процессы. Не есть ли это та же жизнь, хотя на низшей степени развития? В растениях жизнь обозначается уже гораздо яснее, потому что и сами они представляют материю более развитую, чем тела неорганические. Здесь есть и голова, и члены, и органы питания, и органы воспроизведения, рождение и смерть. В животном царстве обнаружение жизни ещё ощутительнее. Животные имеют способность местопеременения; кроме того, мы замечаем в них проблески высшей жизненной деятельности. Человек, совершеннейшее из животных, составляет последнюю степень развития мировых существ в видимой вселенной; почему же в нём, уже по одному этому, не допустить того, чего мы не замечаем в существах менее развитых? А если самую развитую часть человеческого тела составляет мозг, то отчего же не допустить, что мозг способен к такой деятельности, какой мы не замечаем в камне и дереве? Что мозг имеет тесную связь с психической деятельностью, к этому приводят нас весьма многие разительные факты. Но мы считаем излишним приводить их здесь, тем более, что они известны всякому, кто сколько-нибудь знаком с физиологиею. Да кто из незанимавшихся никогда физиологией не слышал, например, об опытах Флурана над живыми курами?¹³⁰ Нужны ли, кроме этого, ещё другие какие-нибудь факты в подтверждение того, что мозг, особенно человеческий, есть источник высшей жизненной деятельности и что умственные отправления имеют к нему прямое отношение?

Кроме возражений, которых мы сейчас коснулись, психологи приводят ещё множество других. Но одни из них имеют тесную связь с приведёнными выше, а другие до такой степени забавны, что на них не стоит серьёзно отвечать. Замечательно, что по мере того, как физиология подвигается вперёд, отвлечённая психология к прежним нелепостям присоединяет новые, путается, но не хочет уступить своей сопернице и всё ещё смотрит на неё с какой-то средневековой иронией. Старинные психологи допускали ещё материальность животной души, новейшие и в животных вложили *духовную* силу, лишив её, впрочем, права на *бессмертие*...

Для вящего успокоения себя и других нынешние психологи ссылаются обыкновенно на первую лекцию Либиха, сказанную им в 1856 году в Мюнхенском университете, видя в ней окончательный вывод современной науки. Да, Либих—лицо, действительно весьма замечательное в области естествознания; но близко знакомым с его исследованиями известно, что он испугался своих собственных опытов и бросил их без всякого вывода...¹³¹

Обращаясь ещё раз к автору рассматриваемой книги, считаем нужным заметить, что мы вовсе не отвергаем его основных положений, а желаем только, чтобы он, не пускаясь в отвлечённости и фразеологию, указал нам более положительные факты, которыми он приведён был к высказанному результату; а теперь мы всё-таки остаёмся в недоумении...



В литературе нашей не может быть новости отраднее той, которая теперь только что явилась к нам из Москвы. Наконец, сочинения Белинского издаются! Первый том уже напечатан и получен в Петербурге; следующие, говорят, не замедлят. Наконец-то! Наконец-то!..

Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, Белинский всегда будет её гордостью, её славой, её украшением. До сих пор его влияние ясно чувствуется на всём, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознаётся, что значительной частью своего развития обязан, непосредственно или посредственно, Белинскому... [В литературных кружках всех оттенков едва ли найдётся пять-шесть грязных и пошлых личностей, которые осмелятся без уважения произнести его имя.] Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно, это лучшие люди России!..

Для них, наверно, ни одна из наших новостей не могла быть столь радостною, как издание сочинений Белинского. Давно мы ждали его и, наконец, дождались! Сколько счастливых, чистых минут снова напомнят нам его статьи,—тех минут, когда мы полны были юношеских беззаветных порывов, когда энергические слова Белинского открывали нам совершенно новый мир знания, размышления и деятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающего, мы мечтали об иных людях, об иной деятельности и искренно надеялись встретить когда-нибудь таких людей и восторженно обещали посвятить себя самих такой деятельности... [Жизнь обманула нас, как обманула и его; но для нас до сих пор дороги те дни святого восторга, тот вдохновенный трепет, те чистые, бескорыстные увлечения и мечты, которым, может быть, никогда не суждено осуществиться, но с которыми расстаться до сих пор трудно и больно...]

Россия ещё мало знает Белинского. Он редко подписывал под статьями свою фамилию, и теперь, при издании его сочинений, оказалось, что даже литераторы не могли наверное указать всех статей,

им писанных. Многие из читателей узнали его имя более по статьям, писанным о нём уже после его смерти. Но теперь, когда сочинения его собраны и издаются, всем читателям представляется возможность ближе узнать этого человека, с его взглядами и стремлениями, с его влиянием на всю нашу литературу последних двадцати пяти лет. Узнавши его, все читатели убедятся, что многое, чем они восхищались у других, принадлежит ему, вышло от него; многие из истин, на которых теперь опираются наши рассуждения, утверждены им, в ожесточённой борьбе с невежеством, ложью и злонамеренностью своих противников, при сонной апатии равнодушного общества... Да, в Белинском наши лучшие идеалы, в Белинском же история нашего общественного развития [в нём же и тяжкий, горький, неизгладимый упрёк нашему обществу].

«Современник» перешёл в руки нынешней редакции¹³³ при участии Белинского, и до своей смерти он не оставлял «Современника». «Современник» первый заговорил о Белинском, после долгого молчания [которое обуславливалось тогдашними обстоятельствами литературы]¹³⁴. Идеи гениального критика и самое имя его—были всегда святы для нас, и мы считаем себя счастливыми, когда можем говорить о нём. Поэтому, поспешивши сообщить читателям нашу радость об издании его сочинений, мы не отказываемся от права говорить о нём подробнее, по поводу этого издания, хотя многое уже высказано было о Белинском в статьях «О Гоголевском периоде литературы», в «Современнике» 1856 г.

В первом, вышедшем теперь томе сочинений Белинского помещены критические и библиографические статьи, напечатанные им в «Молве» и «Телескопе» 1834 и 1835 гг. Издание, принадлежащее гг. Солдатёнкову и Щепкину, очень опрятно, и цена назначена дешёвая. Том в 530 страниц, в обыкновенном формате щепкинских изданий, стоит всего один рубль; та же цена и за все следующие томы. Нет сомнения, что всё издание разойдётся быстро, хотя бы его было напечатано двадцать тысяч экземпляров!



ЧТО ТАКОЕ ОБЛОМОВЩИНА?

(ОБЛОМОВ, роман И. А. ГОНЧАРОВА.
Отеч. Записки 1859 г., № I—IV) 135



Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперёд»? Веки проходят за веками, полмиллиона сидней, увальней и болванов дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произнести его, это всемогущее слово...

Гоголь.

Десять лет ждала наша публика романа г. Гончарова. Задолго до его появления в печати, о нём говорили, как о произведении необыкновенном¹³⁶. К чтению его приступили с самыми обширными ожиданиями. Между тем, первая часть романа, написанная ещё в 1849 г.¹³⁷ и чуждая текущих интересов настоящей минуты, многим показалась скучною. В это же время появилось «Дворянское гнездо», и все были увлечены поэтическим, в высшей степени симпатичным талантом его автора¹³⁸. «Обломов» остался для многих в стороне; многие даже чувствовали утомление от необычайно-тонкого и глубокого психического анализа, проникающего весь роман г. Гончарова. Та публика, которая любит внешнюю занимательность действия, нашла утомительною первую часть романа потому, что до самого конца её герой всё продолжает лежать на том же диване, на котором застаёт его начало первой главы. Те читатели, которым нравится обличительное направление, недовольны были тем, что в романе оставалась совершенно нетронутою наша официально-общественная жизнь. Короче—первая часть романа произвела неблагоприятное впечатление на многих читателей.

Кажется, не мало было задатков на то, чтобы и весь роман не имел успеха, по крайней мере в нашей публике, которая так привыкла считать всю поэтическую литературу забавой и судить художественные произведения по первому впечатлению. Но на этот раз художественная правда скоро взяла своё. Последующие части романа сгладили первое неприятное впечатление у всех, у кого оно было, и талант Гончарова покорил своему неотразимому влиянию даже людей, всего менее ему сочувствовавших. Тайна такого успеха заключается, нам кажется, сколько непосредственно в силе художественного таланта автора, столько же и в необыкновенном богатстве содержания романа.

Может показаться странным, что мы находим особенное богатство содержания в романе, в котором, по самому характеру героя, почти вовсе нет действия. Но мы надеемся объяснить свою мысль в про-

должении статьи, главная цель которой и состоит в том, чтобы высказать несколько замечаний и выводов, на которые, по нашему мнению, необходимо наводит содержание романа Гончарова.

«Обломов» вызовет, без сомнения, множество критик. Вероятно, будут между ними и корректурные, которые отыщут какие-нибудь погрешности в языке и слоге, и патетические, в которых будет много восклицаний о прелести сцен и характеров, и эстетично-аптекарьские, с строгою проверкою того, везде ли точно, по эстетическому рецепту, отпущено действующим лицам надлежащее количество таких-то и таких-то свойств, и всегда ли эти лица употребляют их так, как сказано в рецепте. Мы не чувствуем ни малейшей охоты пускаться в подобные тонкости, да и читателям, вероятно, не будет особенного горя, если мы не станем убиваться над соображениями о том, вполне ли соответствует такая-то фраза характеру героя и его положению, или в ней надобно было несколько слов переставить, и т. п. Поэтому нам кажется несколько непердосудительным заняться более общими соображениями о содержании и значении романа Гончарова, хотя, конечно, *истые критики* и упрекнут нас опять, что статья наша написана не об Обломове, а только *по поводу* Обломова.

Нам кажется, что в отношении к Гончарову более, чем в отношении ко всякому другому автору, критика обязана изложить общие результаты, выводимые из его произведения. Есть авторы, которые сами на себя берут этот труд, объясняясь с читателем относительно цели и смысла своих произведений. Иные же не высказывают категорически своих намерений, но так ведут весь рассказ, что он оказывается ясным и правильным олицетворением их мысли. У таких авторов каждая страница бьёт на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять их... За то плодом чтения их бывает более или менее полное (смотря по степени таланта автора) *согласие с идеею*, положенною в основание произведения. Остальное всё улетучивается через два часа по прочтении книги. У Гончарова совсем не то. Он вам не даёт, и повидимому не хочет дать, никаких выводов. Жизнь, им изображаемая, служит для него не средством к отвлечённой философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа: это уж ваше дело. Ошибётесь—пеняйте на свою близорукость, а никак не на автора. Он представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью; а там уж ваше дело определить степень достоинства изображённых предметов: он к этому совершенно равнодушен. У него нет и той горячности чувства, которая иным талантам придаёт наибольшую силу и прелесть. Тургенев, например, рассказывает о своих героях, как о людях близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ним, сам страдает и радуется вместе с лицами, им созданными, сам увлекается той поэтической обстановкой, которой любит всегда окружать их... И его увлечение заразительно: оно неотразимо овладевает симпатией читателя, с первой страницы приковывает к рассказу мысль его и чувство, заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых являются

перед ним тургеневские лица. И пройдёт много времени,—читатель может забыть ход рассказа, потерять связь между подробностями происшествий, упустить из виду характеристику отдельных лиц и положений, может, наконец, позабыть всё прочитанное; но ему всё-таки будет памятно и дорого то живое, отрадное впечатление, которое он испытывал при чтении рассказа. У Гончарова нет ничего подобного. Талант его неподатлив на впечатления. Он не запоёт лирической песни при взгляде на розу и соловья; он будет поражён ими, остановится, будет долго всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой процесс в это время произойдёт в душе его, этого нам не понять хорошенько... Но вот он начинает чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь в неясные ещё черты... Вот они делаются яснее, яснее, прекраснее... и вдруг, неизвестно каким чудом, из этих черт восстают перед вами и роза, и соловей, со всей своей прелестью и обаянием. Вам рисуется не только их образ, вам чутся аромат розы, слышатся соловьиные звуки... Пойте лирическую песнь, если роза и соловей могут возбуждать ваши чувства; художник начертил их и, довольный своим делом, отходит в сторону; более он ничего не прибавит... «И напрасно было бы прибавлять,—думает он,—если сам образ не говорит вашей душе, то что могут вам сказать слова?»..

В этом уменьи охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его—заключается сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею он особенно отличается среди современных русских писателей. Из неё легко объясняются все остальные свойства его таланта. У него есть изумительная способность—во всякий данный момент остановить летучее явление жизни, во всей его полноте и свежести, и держать его перед собою до тех пор, пока оно не сделается полной принадлежностью художника. На всех нас падает светлый луч жизни, но он у нас тотчас же и исчезает, едва коснувшись нашего сознания. И за ним идут другие лучи, от других предметов, и опять столь же быстро исчезают, почти не оставляя следа. Так проходит вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознания. Не то у художника; он умеет уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и родственное своей душе, умеет остановиться на том моменте, который чем-нибудь особенно поразил его. Смотря по свойству поэтического таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, может суживаться или расширяться, впечатления могут быть живее или глубже; выражение их—страстнее или спокойнее. Нередко сочувствие поэта привлекается каким-нибудь одним качеством предметов, и это качество он старается вызывать и отыскивать всюду, в возможно-полном и живом его выражении составляет свою главную задачу, на него по преимуществу тратит свою художническую силу. Так являются художники, сливающие внутренний мир души своей с миром внешних явлений и видящие всю жизнь и природу под призмю господствующего в них самих настроения. Так, у одних, всё подчиняется чувству пластической красоты, у других, по преимуществу рисуются нежные и симпатичные черты, у иных, во всяком образе, во всяком описании отражаются гуманные и социальные стремления, и т. д. Ни одна из таких сторон не выдаётся особенно у Гончарова. У него есть

другое свойство: спокойствие и полнота поэтического мирозерцания. Он ничем не увлекается исключительно, или увлекается всем одинаково. Он не поражается одной стороной предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления, и тогда уже приступает к их художественной переработке. Следствием этого является, конечно, в художнике более спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам, большая отчётливость в очертании даже мелочных подробностей и робкая доля внимания ко всем частностям рассказа.

Вот отчего некоторым кажется роман Гончарова растянутым. Он, если хотите, действительно растянут. В первой части Обломов лежит на диване; во второй ездит к Ильинским и влюбляется в Ольгу, а она в него; в третьей она видит, что ошибалась в Обломове, и они расходятся; в четвёртой она выходит замуж за друга его Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Вот и всё. Никаких внешних событий, никаких препятствий (кроме разве разведения моста через Неву, прекратившего свидания Ольги с Обломовым), никаких посторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова—единственная пружина действия во всей его истории. Как же это можно было растянуть на четыре части! Попадись эта тема другому автору, тот бы её обделал иначе: написал бы страничек пятьдесят, лёгких, забавных, сочинил бы милый фарс, осмеял бы своего ленивца, восхитился бы Ольгой и Штольцом, да на том бы и покончил. Рассказ никак бы не был скучен, хотя и не имел бы особенного художественного значения. Гончаров принялся за дело иначе. Он не хотел отстать от явления, на которое однажды бросил свой взгляд, не проследивши его до конца, не отыскавши его причин, не понявши связи его со всеми окружающими явлениями. Он хотел добиться того, чтобы случайный образ, мелькнувший перед ним, возвести в тип, придать ему родовое и постоянное значение. Поэтому во всём, что касалось Обломова, не было для него вещей пустых и ничтожных. Всем занялся он с любовью, всё очертил подробно и отчётливо. Не только те комнаты, в которых жил Обломов, но и тот дом, в каком он только мечтал жить; не только халат его, но и серый сюртук и щетинистые бакенбарды слуги его Захара; не только писание письма Обломовым, но и качество бумаги и чернил в письме старосты к нему—всё приведено и изображено с полною отчётливостью и рельефностью. Автор не может пройти мимоходом даже какого-нибудь барона фон-Лангвагена, не играющего никакой роли в романе; и о бароне напишет он целую прекрасную страницу, и написал бы две и четыре, если бы не успел исчерпать его на одной. Это, если хотите, вредит быстроте действия, утомляет безучастного читателя, требующего, чтоб его не удержимо завлекали сильными ощущениями. Но, тем не менее, в таланте Гончарова—это драгоценное свойство, чрезвычайно много помогающее художественности его изображений. Начиная читать его, находишь, что многие вещи как будто не оправдываются строгой необходимостью, как будто не соображены с вечными требованиями искусства. Но вскоре начинаешь сживаться с тем миром, который он

изображает, невольно признаешь законность и естественность всех выводимых им явлений, сам становишься в положение действующих лиц и как-то чувствуешь, что на их месте и в их положении иначе и нельзя, да как будто и не должно действовать. Мелкие подробности, непрерывно вносимые автором и рисуемые им с любовью и с необыкновенным мастерством, производят, наконец, какое-то обаяние. Вы совершенно переноситесь в тот мир, в который ведёт вас автор: вы находите в нём что-то родное, перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая внутренность, душа каждого лица, каждого предмета. И после прочтения всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей мысли прибавилось что-то новое, что к вам в душу глубоко запали новые образы, новые типы. Они вас долго преследуют, вам хочется думать над ними, хочется выяснить [их] значение и отношение к вашей собственной жизни, характеру, наклонностям. Куда денется ваша вялость и утомление; бодрость мысли и свежесть чувства пробуждаются в вас. Вы готовы снова перечитать многие страницы, думать над ними, спорить о них. Так, по крайней мере, на нас действовал Обломов: «Сон Обломова» и некоторые отдельные сцены мы прочли по нескольку раз; весь роман почти сплошь прочитали мы два раза, и во второй раз он нам понравился едва ли не более, чем в первый. Такое обаятельное значение имеют эти подробности, которыми автор обставляет ход действия и которые, по мнению некоторых, *растягивают* роман.

Таким образом, Гончаров является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни. Изображение их составляет его призвание, его наслаждение; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями, не поддаётся никаким исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво, бесстрастно. Составляет ли это высший идеал художнической деятельности или, может быть, это даже недостаток, обнаруживающий в художнике слабость восприимчивости? Категорический ответ затруднителен и во всяком случае был бы несправедлив, без ограничений и пояснений. Многим не нравится спокойное отношение поэта к действительности, и они готовы тотчас же произнести резкий приговор о несимпатичности такого таланта. Мы понимаем естественность подобного приговора и, может быть, сами не чужды желания, чтобы автор побольше раздражал наши чувства, сильнее увлекал нас. Но мы сознаём, что желание это—несколько обломовское, происходящее от склонности иметь постоянно руководителей,—даже в чувствах. Приписывать автору слабую степень восприимчивости потому только, что впечатления не вызывают у него лирических восторгов, а молчаливо кроются в его душевной глубине—несправедливо. Напротив, чем скорее и стремительнее высказывается впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолётным. Примеров мы видим множество на каждом шагу в людях, одарённых неистощимым запасом словесного и мимического пафоса. Если человек умеет выдержать, взлелеять в душе своей образ предмета и потом ярко и полно представить его,—это значит, что у него чуткая восприимчивость соединяется с глубиной чувства. Он до времени не высказывается,

но для него ничто не пропадает в мире. Всё, что живёт и движется вокруг него, всё, чем богата природа и людское общество, у него всё это—

Как-то чудно
Живёт в душевной глубине¹³⁹.

В нём, как в магическом зеркале, отражаются и по воле его останавливаются, застывают, отливаются в твёрдые недвижимые формы— все явления жизни, во всякую данную минуту. Он может, кажется, остановить саму жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый неуловимый миг её, чтобы мы вечно на него смотрели, поучаясь или наслаждаясь.

Такое могущество, в высшем своём развитии, стоит, разумеется, всего, что мы называем симпатичностью, прелестью, свежестью или энергией таланта. Но и это могущество имеет свои степени, и кроме того,—оно может быть обращено на предметы различного рода, что тоже очень важно. Здесь мы расходимся с приверженцами так-называемого *искусства для искусства*, которые полагают, что превосходное изображение древесного листочка столь же важно, как, например, превосходное изображение характера человека. Может быть, субъективно это будет и справедливо: собственно сила таланта может быть одинакова у двух художников, и только сфера их деятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равною силою таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни. Нам кажется, что для критики, для литературы, для самого общества гораздо важнее вопрос о том, на что употребляется, в чём выражается талант художника, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом себе, в отвлечении, в возможности.

Как же выразился, на что потратился талант Гончарова? Ответом на этот вопрос должен служить разбор содержания романа.

Повидимому, не обширную сферу избрал Гончаров для своих изображений. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов, и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его,—не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстаёт перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадною строгостью и правильностью; в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесённое ясно и твёрдо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это—*обломовщина*; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придаёт роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нём произведение русской жизни, знамение времени.

Обломов есть лицо не совсем новое в нашей литературе; но прежде оно не выставлялось пред нами так просто и естественно, как в ро-

мане Гончарова. Чтобы не заходить слишком далеко в старину, скажем, что родовые черты обломовского типа мы находим ещё в Онегине, и затем несколько раз встречаем их повторение в лучших наших литературных произведениях. Дело в том, что это коренной, народный наш тип, от которого не мог отделаться ни один из наших серьёзных художников. Но с течением времени, по мере сознательного развития общества, тип этот изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал новое значение. Подметить эти новые фазы его существования, определить сущность его нового смысла—это всегда составляло громадную задачу, и талант, умевший сделать это, всегда делал существенный шаг вперёд в истории нашей литературы. Такой шаг сделал и Гончаров своим «Обломовым». Посмотрим на главные черты обломовского типа и потом попробуем провести маленькую параллель между ним и некоторыми типами того же рода, в разное время появлявшимися в нашей литературе.

В чём заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По внешнему своему положению—он барин; «у него есть Захар и ещё триста Захаров», по выражению автора. Преимущество своего положения Илья Ильич объясняет Захару, таким образом:

«Разве я мечусь, разве работаю? мало ем, что ли? худощав или жалок на вид? Разве недостаёт мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? из чего мне?.. И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты всё это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще чёрным делом не занимался».

И Обломов говорит совершенную правду. История его воспитания вся служит подтверждением его слов. С малых лет он привыкает быть байбаком, благодаря тому, что у него и подать, и сделать—есть кому; тут уж даже и против воли нередко он бездельничает и сибаритствует. Ну, скажите пожалуйста, чего же бы вы хотели от человека, выросшего вот в каких условиях:

«Захар, — как, бывало, нянька, — натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Ильюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему, лёжа, то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит ещё от старших колотушку. Потом Захарка чешет ему голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтоб не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру — умыться, и т. п.

«Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж трое-четверо слуг кидаются исполнить его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем, — ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать всё самому, а тут вдруг отец и мать, да три тётки, в пять голосов и закричат:

«— Зачем? куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька, Ванька, Захарка! Чего вы смотрите, розини? Вот я вас!..

«И не удаётся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он нашёл, что оно и покойнее гораздо, и выучился сам покрикивать: Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!

«Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздаётся десять отчаянных голосов: «ах, ах! поддержите, остановите! упадёт, расшибётся! Стой, стой!..» Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку, — опять крики: «ай, куда? как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: убьёшься, простудишься...» И Ильюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая».

Такое воспитание вовсе не составляет чего-нибудь исключительного, странного в нашем образованном обществе. Не везде, конечно, Захарка натягивает чулки барчонку, и т. п. Но не нужно забывать, что подобная льгота даётся Захарке по особому снисхождению или вследствие высших педагогических соображений, и вовсе не находится в гармонии с общим ходом домашних дел. Барчонок, пожалуй, и сам оденется; но он знает, что это для него в роде милого развлечения, прихоти, а в сущности он вовсе не обязан этого делать сам. Да и вообще, ему самому нет надобности что-нибудь делать. Из чего ему биться? Некому, что ли, подать и сделать для него всё, что ему нужно?.. Поэтому он себя над работой убивать не станет, что бы ему ни толковали о необходимости и святости труда: он с малых лет видит в своём доме, что все домашние работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполнение. И вот у него уже готово первое понятие, — что сидеть сложа руки почётнее, нежели суетиться с работою... В этом направлении идёт и всё дальнейшее развитие.

Понятно, какое действие производится таким положением ребёнка на всё его нравственное и умственное образование. Внутренние силы «никнут и увядают» по необходимости. Если мальчик и пытается их иногда, то разве в капризах и в заносчивых требованиях исполнения другими его приказаний. А известно, как удовлетворённые капризы развивают бесхарактерность и как заносчивость несовместна с умением серьёзно поддерживать своё достоинство. Привыкая предъявлять бестолковые требования, мальчик скоро теряет меру, возможности и удобоисполнимости своих желаний, лишается всякого умения соображать средства с целями, и потому становится втупик при первом препятствии, для отстранения которого нужно употребить собственное усилие. Когда он вырастает, он делается Обломовым, с большей или меньшей долей его апатичности и бесхарактерности, под более или менее искусной маской, но всегда с одним неизменным качеством — отвращением от серьёзной и самобытной деятельности.

Много помогает тут и умственное развитие Обломовых, тоже, разумеется, направляемое их внешним положением. Как в первый раз они взглянут на жизнь наыворот, — так уж потом до конца дней своих и не могут достигнуть разумного понимания своих отношений

к миру и к людям. Им потом и растолкуют многое, они и поймут кое-что, но с детства укоренившееся воззрение всё-таки удержится где-нибудь в уголку и беспрестанно выглядывает оттуда, мешая всем новым понятиям и не допуская их уложиться на дно души... И делается в голове какой-то хаос: иной раз человеку и решимость придёт сделать что-нибудь, да не знает он, что ему начать, куда обратиться... И не мудрено: нормальный человек всегда хочет только того, что может сделать; за то он немедленно и делает всё, что захочет... А Обломов... он не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько определить, что он может сделать и чего нет,—следовательно, не может и серьёзно, *дейтельно* захотеть чего-нибудь... Его желания являются только в форме: «а хорошо бы, если бы вот это сделалось»; но как это может сделаться,—он не знает. Оттого он любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на *авось*...

Все эти черты превосходно подмечены и с необыкновенной силой и истинной сосредоточены в лице Ильи Ильича Обломова. Не нужно представлять себе, чтобы Илья Ильич принадлежал к какой-нибудь особенной породе, в которой бы неподвижность составляла существенную, коренную черту. Несправедливо было бы думать, что он от природы лишён способности произвольного движения. Вовсе нет: от природы он—человек, как и все. В ребячестве ему хотелось побегать и поиграть в снежки с ребятами, достать самому то или другое, и в ювраг сбежать, и в ближайший беззаяк пробраться через канал, плетни и ямы. Пользуясь часом общего в Обломовке послеобеденного сна, он разминался, бывало: «взбегал на галерею (куда не позволялось ходить, потому что она каждую минуту готова была развалиться), обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полёт в воздухе». А то—«забирался в канал, рылся, отыскивал какие-то корешки, очищал от коры и ел всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые даёт маменька». Всё это могло служить задатком характера кроткого, спокойного, но не бессмысленно-ленивого. Притом и кротость, переходящая в робость и подставление спины другим,—есть в человеке явление вовсе не природное, а чисто благоприобретённое, точно так же, как и нахальство и заносчивость. И между обоими этими качествами расстояние вовсе не так велико, как обыкновенно думают. Никто не умеет так отлично вздёргивать носа, как лакей; никто так грубо не ведёт себя с подчинёнными, как те, которые подличают перед начальниками. Илья Ильич, при всей своей кротости, не боится поддать ногой в рожу обувавшему его Захару, и если он в своей жизни не делает этого с другими, так единственно потому, что надеется встретить противодействие, которое нужно будет преодолеть. Поневоле он ограничивает круг своей деятельности тремястами своих Захаров. А будь у него этих Захаров во сто, в тысячу раз больше—он бы не встречал себе противодействий и приучился бы довольно смело поддавать в зубы каждому, с кем случится иметь дело. И такое поведение вовсе

не было бы у него признаком какого-нибудь зверства натуры; и ему самому, и всем окружающим оно казалось бы очень естественным, необходимым... никому бы и в голову не пришло, что можно и должно вести себя как-нибудь иначе. Но—к несчастью или к счастью—Илья Ильич родился помещиком средней руки, получал дохода не более десяти тысяч рублей на ассигнации и вследствие того мог распоряжаться судьбами мира только в своих мечтаниях. Зато в мечтах своих он и любил предаваться воинственным и героическим стремлениям.

«Он любил иногда вообразить себя каким-нибудь непобедимым полководцем, пред которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит; выдумает войну и причину её: у него хлынут, напр., народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия».

А то он вообразит, что он великий мыслитель или художник, что за ним гоняется толпа, и все поклоняются ему... Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чём-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других,—развила в нём апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обуславливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляет едва ли не самую любопытную сторону его личности и всей его истории... Но как мог дойти до рабства человек с таким независимым положением, как Илья Ильич? Кажется, кому бы и наслаждаться свободой, как не ему? Не служит, не связан с обществом, имеет обеспеченное состояние... Он сам хвалится тем, что не чувствует надобности кланяться, просить, унижаться, что он не подобен «другим», которые работают без усталы, бегают, суетятся,—а не поработают, так и не поедят... Он внушает к себе благоговейную любовь доброй вдовы Пшеницыной именно тем, что он *барин*, что он сияет и блещет, что он и ходит, и говорит так вольно и независимо, что он «не пишет беспрестанно бумаг, не трясётся от страха, что опоздает в должность, не глядит на всякого так, как будто просит оседлать его и поехать, а глядит на всех и на всё так смело и свободно, как будто требует покорности себе». И однако же вся жизнь этого барина убита тем, что он постоянно остаётся рабом чужой воли и никогда не возвышается до того, чтобы проявить какую-нибудь самобытность. Он раб каждой женщины, каждого встречного, раб каждого мошенника, который захочет взять над ним волю. Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который из них более подчиняется власти другого. По крайней мере—чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится...

Оно так и следует: Захар всё-таки умеет сделать хоть что-нибудь, а Обломов ровно ничего не может и не умеет. Нечего уже и говорить о Тарантьеве и Иване Матвеече, которые делают с Обломовым, что хотят, несмотря на то, что сами и по умственному развитию, и по нравственным качествам гораздо ниже его... Отчего же это? Да всё оттого, что Обломов, как барин, не хочет и не умеет работать и не понимает настоящих отношений своих ко всему окружающему. Он непрочь от деятельности—до тех пор, пока она имеет вид призрака и далека от реального осуществления: так, он создаёт план устройства имения и очень усердно занимается им,—только «подробности, сметы и цифры» пугают его и постоянно отбрасываются им в сторону, потому что где же ему с ними возиться!.. Он—барин, как объясняет сам Ивану Матвеечу:

«Кто я, что такое? спросите вы... Подите, спросите у Захара, и он скажет вам: «барин!» Да, я барин и делать ничего не умею! Делайте вы, если знаете, и помогайте, если можете, а за труд возьмите себе, что хотите: — на то наука!»

И вы думаете, что он этим хочет только отделаться от работы, старается прикрыть незнанием свою лень? Нет, он действительно не знает и не умеет ничего, действительно не в состоянии приняться ни за какое путное дело. Относительно своего имения (для преобразования которого сочинил уже план), он таким образом признаётся в своём неведении Ивану Матвеечу:

«Я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый; не знаю, что значит четверть ржи или овса, что она стоит, в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают; не знаю, богат ли я или беден, буду ли я через год сыт или буду нищий — я ничего не знаю!.. Следовательно, говорите и советуйте мне, как ребёнку...»

Иначе сказать: будьте надо мною господином, распоряжайтесь моим добром, как вздумаете, уделяйте мне из него, сколько найдёте для себя удобным... Так на деле-то и вышло: Иван Матвееч совсем-было прибрал к рукам имение Обломова, да Штольц помешал, к несчастью.

И ведь Обломов не только своих сельских порядков не знает, не только положения своих дел не понимает: это бы ещё куда ни шло!.. Но вот в чём главная беда: он и вообще жизни не умел осмыслить для себя. В Обломовке никто не задавал себе вопроса: зачем жизнь, что она такое, какой её смысл и назначение? Обломовцы очень просто понимали её.

«Как идеал покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд, как наказание, наложенное ещё на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным».

Точно так относился к жизни и Илья Ильич. Идеал счастья, нарисованный им Штольцу, заключался ни в чём другом, как в сытной

жизни,—с оранжереями, парниками, поездками с самоваром в рошу и т. п.,—в халате, в крепком сне, да для промежуточного отдыха—в идиллических прогулках с кроткою, но дебелою женою, и в созерцании того, как крестьяне работают. Рассудок Обломова так успел с детства сложиться, что даже в самом отвлечённом рассуждении, в самой утопической теории имел способность останавливаться на данном моменте и затем не выходить из этого status quo, несмотря ни на какие убеждения. Рисуя идеал своего блаженства, Илья Ильич не думал спросить себя о внутреннем смысле его, не думал утвердить его законность и правду, не задал себе вопроса: откуда будут братья эти оранжереи и парники, кто их станет поддерживать и с какой стати будет он ими пользоваться?.. Не задавая себе подобных вопросов, не разъясняя своих отношений к миру и к обществу, Обломов, разумеется, не мог осмыслить своей жизни и потому тяготился и скучал от всего, что ему приходилось делать. Служил он—и не мог понять, зачем это бумаги пишутся; не понявши же, ничего лучше не нашёл как выйти в отставку и ничего не писать. Учился он—и не знал, к чему может послужить ему наука; не узнавши этого, он решился сложить книги в угол и равнодушно смотреть, как их покрывает пыль. Выезжал он в общество—и не умел себе объяснить, зачем люди в гости ходят; не объяснивши, он бросил все свои знакомства и стал по целым дням лежать у себя на диване. Сходилса он с женщинами, но подумал: однако, чего же от них ожидать и добиваться? подумавши же, не решил вопроса и стал избегать женщин... Всё ему наскучило и опостытелo, и он лежал на боку, с полным, сознательным презрением к «муравьиной работе людей», убивающихся и суетящихся бог весть из-за чего...

Дойдя до этой точки в объяснении характера Обломова, мы находим уместным обратиться к литературной параллели, о которой упомянули выше. Предыдущие соображения привели нас к тому заключению, что Обломов не есть существо, от природы совершенно лишённое способности произвольного движения. Его лень и апатия есть создание воспитания и окружающих обстоятельств. Главное здесь не Обломов, а обломовщина. Он бы, может быть, стал даже и работать, если бы нашёл дело по себе; но для этого, конечно, ему надо было развиться несколько под другими условиями, нежели под какими он развился. В настоящем же своём положении он не мог нигде найти себе дела по душе, потому что вообще не понимал смысла жизни и не мог дойти до разумного воззрения на свои отношения к другим. Здесь-то он и подаёт нам повод к сравнению с прежними типами лучших наших писателей. Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чём представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле,—раскройте, напр., «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват», «Рудина», или «Лишнего человека», или «Гамлета Щигровского уезда»,—в каждом из них вы найдёте черты, почти буквально сходные с чертами Обломова.

Онегин, как Обломов, оставляет общество, затем, что его

Измены утомить успели,
Друзья и дружба надоели.

И вот он занялся писаньем:

Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать, но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его.

На этом же поприще подвизался и Рудин, который любил читать избранным «первые страницы предполагаемых статей и сочинений своих». Тентетников тоже много лет занимался «колоссальным сочинением, долженствовавшем объять всю Россию со всех точек зрения»; но и у него «предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием: изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом всё это отодвигалось в сторону». Илья Ильич не отстал в этом от своих собратий: он тоже писал и переводил,—Сзя даже переводил. «Где же твои работы, твои переводы?»—спрашивает его потом Штольц.

— «Не знаю, Захар куда-то дел; в углу, должно быть, лежат», отвечает Обломов. Выходит, что Илья Ильич даже больше, может быть, сделал, чем другие, принимавшиеся за дело с такой же твёрдой решимостью, как и он... А принимались за это дело почти все братцы обломовской семьи, несмотря на разницу своих положений и умственного развития. Печорин только смотрел свысока на «поставщиков повестей и сочинителей мещанских драм»; впрочем и он писал свои записки. Что касается Бельтова, то он наверное сочинял что-нибудь, да ещё кроме того артистом был, ходил в Эрмитаж и сидел за мольбертом, обдумывал большую картину встречи Бирона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь... Что из всего этого вышло, известно читателям... Во всей семье та же обломовщина...

Относительно «присвоения себе чужого ума», т. е. чтения, Обломов тоже не много расходится с своими братьями. Илья Ильич читал тоже кое-что и читал не так, как покойный батюшка его: «давно, говорит, не читал книги»; «дай-ко, почитаю книгу»,—да и возьмёт, какая под руку попадётся... Нет, веяние современного образования коснулось и Обломова: он уже читал по выбору, сознательно.

«Услышит о каком-нибудь замечательном произведении, — у него явится позыв познакомиться с ним; он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за неё, у него начнёт формироваться идея о предмете; ещё шаг, и он овладел бы им, а посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, а книга лежит подле него недочитанная, непонятая... Охлаждение овладевало им ещё быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой книге».

Не то ли же самое было и с другими? Онегин, думая себе присвоить ум чужой, начал с того, что

Отрядом книг уставил полку,

и принялся читать. Но толку не вышло никакого: чтение скоро ему надоело, и—

Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьёй,
Задёрнул траурной тафтой.

Тентетников тоже так читал книги (благо, он привык их всегда иметь под рукой),—большую частью во время обеда: «с супом, с соусом, с жарким, и даже с пирожным»... Рудин тоже признаётся Лежневу,—что накупил он себе каких-то агрономических книг, но ни одной до конца не прочёл; сделался учителем, да нашёл, что фактов знал маловато и даже на одном памятнике XVI столетия был сбит учителем математики. И у него, как у Обломова, принимались легко только общие идеи, а «подробности, сметы и цифры» постоянно оставались в стороне.

«Но ведь это ещё не жизнь,—это только приготовление к жизни»,—думал Андрей Иванович Тентетников, проходивший, вместе с Обломовым и всей этой компанией, тьму ненужных наук и не умевший ни изюмы из них применить к жизни. «Настоящая жизнь—это служба». И все наши герои, кроме Онегина и Печорина, служат, и для всех их служба—ненужное и неимоющее смысла бремя; и все они оканчивают благородной и ранней отставкой. Бельтов четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки, потому что, погорячившись сначала, вскоре охладел к канцелярским занятиям, стал раздражителен и небрежен... Тентетников поговорил крупно с начальником, да при том же хотел принести пользу государству, лично занявшись устройством своего имения. Рудин поссорился с директором гимназии, где был учителем. Обломову не понравилось, что с начальником все говорят «не своим голосом, а каким-то другим, тоненьким и гадким»;—он не захотел этим голосом объясняться с начальником по тому поводу, что «отправил нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск» и подал в отставку... Везде всё одна и та же обломовщина...

В домашней жизни обломовцы тоже очень похожи друг на друга:

Прогулки, чтение, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцалуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина,—
Вот жизнь Онегина святая...

То же самое, слово в слово, за исключением коня, рисуется у Ильи Ильича в идеале домашней жизни. Даже поцалуй черноокой белянки не забыт у Обломова.

«Одна из крестьянок, — мечтает Илья Ильич, — с загорелой шеей, с открытыми локтями, с робко-опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть,

для виду только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива... тс... жена чтоб не увидала, боже сохрани!» (Обломов воображает себя уже женатым)...

И если б Илье Ильичу не лень было уехать из Петербурга в деревню, он непременно привёл бы в исполнение задушевную свою идиллию. Вообще обломовцы склонны к идиллическому, бездейственному счастью, которое ничего от них не требует: «наслаждайся, мол, мною, да и только»... Уж на что, кажется, Печорин, а и тот полагает, что счастье-то, может быть, заключается в любом и сладком отдыхе. Он в одном месте своих записок сравнивает себя с человеком, томимым голодом, который «в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче... но только проснувшись, мечта исчезает, остаётся удвоенный голод и отчаяние»... В другом месте Печорин себя спрашивает: «отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?» Он сам полагает,—оттого что «душа его сжилась с бурями и жаждет кипучей деятельности»... Но ведь он вечно недоволен своей борьбой, и сам же беспрестанно высказывает, что все свои дрянные дебоширства затекает потому только, что ничего лучшего не находит делать... А уж коли не находит дела и вследствие того ничего не делает и ничем не удовлетворяется, так это значит, что к безделью более склонен, чем к делу... Та же обломовщина...

Отношения к людям и в особенности к женщинам тоже имеют у всех обломовцев некоторые общие черты. Людей они вообще презирают с их мелким трудом, с их узкими понятиями и близорукими стремлениями. «Это всё чернорабочие», небрежно отзывается даже Бельтов, гуманнейший между ними. Рудин наивно воображает себя гением, которого никто не в состоянии понять. Печорин, уж разумеется, топчет всех ногами. Даже Онегин имеет за собою два стиха, гласящие, что

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей.

Тентетников даже,—уж на что смирный,—и тот, пришедши в департамент, почувствовал, что «как будто его за проступок перевели из верхнего класса в нижний»; а приехавши в деревню, скоро постарался, подобно Онегину и Обломову, раззнакомиться со всеми соседями, которые поспешили с ним познакомиться. И наш Илья Ильич не уступит никому в презрении к людям: оно ведь так легко, для него даже усилий никаких не нужно. Он самодовольно проводит перед Захаром параллель между собой и «другими»; он в разговорах с приятелями выражает наивное удивление, из-за чего это люди быются, заставляя себя ходить в должность, писать, следить за газетами, посещать общество, и проч. Он даже весьма категорически выражает Штольцу сознание своего превосходства над всеми людьми.

«Жизнь, говорит, в обществе? Хороша жизнь! Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается всё это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Всё это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!»...

И затем Илья Ильич очень пространно и красноречиво говорит на эту тему, так что хоть бы Рудину так поговорить.

В отношении к женщинам все обломовцы ведут себя одинаково постыдным образом. Они вовсе не умеют любить и не знают, чего искать в любви, точно так же, как и вообще в жизни. Они не прочь пококетничать с женщиной, пока видят в ней куклу, двигающуюся на пружинках; не прочь они и поработить себе женскую душу... как же! этим бывает очень довольны их барственная натура! Но только чуть дело дойдёт до чего-нибудь серьёзного, чуть они начнут подозревать, что пред ними действительно не игрушка, а женщина, которая может и от них потребовать уважения к своим правам,—они немедленно обращаются в постыднейшее бегство. Трусость у всех этих господ непомерная! Онегин, который так «рано умел тревожить сердца кокеток записных», который женщин «искал без упоения, а оставлял без сожаленья»,—Онегин струсил перед Татьяной, дважды струсил,—и в то время, когда принимал от неё урок, и тогда, как сам ей давал его. Она ему, ведь, правилась с самого начала, и если бы любила менее серьёзно, он не подумал бы принять с нею тон строгого нравоучителя. А тут он увидел, что шутить опасно, и потому начал толковать о своей отжитой жизни, о дурном характере, о том, что она другого полюбит впоследствии, и т. д. Впоследствии он сам объясняет свой поступок тем, что «заметь искру нежности в Татьяне, он не хотел ей верить», и что

Свою постылую свободу
Он потерять не захотел.

А какими фразами-то прикрыл себя, малодушный!

Бельтов с Круциферской, как известно, тоже не посмел идти до конца и убежал от неё, хотя и по совершенно другим соображениям, если ему только верить. Рудин—этот уже совершенно растерялся, когда Наталья хотела от него добиться чего-нибудь решительного. Он ничего более не сумел, как только посоветовать ей «покориться». На другой день он остроумно объяснил ей в письме, что ему «было не в привычку» иметь дело с такими женщинами, как она. Таким же оказывается и Печорин, специалист по части женского сердца, признающийся, что, кроме женщин, он ничего в свете не любил, что для них он готов пожертвовать всем на свете. И он признаётся, что, во-первых, «не любит женщин с характером: их-ли это дело!»—во-вторых, что он никогда не может жениться.

«Как бы страстно я ни любил женщину», говорит он, «но если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться—прости любовь. Моё сердце превращается в камень, и ничто не разогреет его снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу

ею? Что мне в ней? куда я себя готовлю? чего я жду от будущего? Право, ровно ничего. Это какой-то врождённый страх, неизъяснимое предчувствие» и т. д.

А в сущности, это—больше ничего, как обломовщина.

А Илья Ильич разве, вы думаете, не имеет в себе, в свою очередь, печоринского и рудинского элемента, не говоря об онегинском? Ещё как имеет-то! Он, например, подобно Печорину, хочет непременно *обладать* женщиной, хочет вынудить у неё всяческие жертвы в доказательство любви. Он, видите ли, не надеялся сначала, что Ольга пойдёт за него замуж, и с робостью предложил ей быть его женой. Она ему сказала что-то в роде того, что это давно бы ему следовало сделать. Он пришёл в смущение, ему стало не довольно согласия Ольги, и он—что бы вы думали?.. он начал—пытать её, столько ли она его любит, чтобы быть в состоянии сделаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдёт по этому пути; но затем её объяснение и страстная сцена успокоили его... А всё-таки он струсил под конец до того, что даже на глаза Ольге боялся показаться, прикидывался больным, прикрывал себя разведённым мостом, давал понять Ольге, что она его может компрометировать, и т. д. И всё отчего?—оттого, что она от него потребовала решимости, дела, того, что не входило в его привычки. Женильба сама по себе не страшила его так, как страшила Печорина и Рудина; у него более патриархальные были привычки. Но Ольга захотела, чтоб он пред женильбой устроил дела по имению; это уж была бы *жертва*, и он, конечно, этой жертвы не совершил, а явился настоящим Обломовым. А сам между тем очень требователен. Он сделал с Ольгой такую штуку, какая и Печорину в пору была бы. Ему вообразилось, что он не довольно хорош собою и вообще не довольно привлекателен для того, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Он начинает страдать, не спит ночь, наконец вооружается энергией и строчит к Ольге длинное рудинское послание, в котором повторяет известную, тёртую и перетёртую вещь, говорённую и Онегиным Татьяне, и Рудиным Наталье, и даже Печориным княжне Мери: «я, дескать, не так создан, чтобы вы могли быть со мною счастливы; придёт время, вы полюбите другого, более достойного».

Смелит не раз молодая дева
Мечтами лёгкие мечты...
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймёт...
К беде неопытность ведёт.

Все обломовцы любят уничтожать себя; но это они делают с той целью, чтоб иметь удовольствие быть опровергнутыми и услышать себе похвалу от тех, пред кем они себя ругают. Они довольны своим самоунижением, и все похожи на Рудина, о котором Пигасов выражается: «начнёт себя бранить, с грязью себя смешает,—ну, думаешь, теперь на свет божий глядеть не станет. Какое! повеселеет даже, словно горькой водкой себя поподчивал!» Так и Онегин после руга-

тельств на себя рисуется пред Татьяной своим великодушием. Так и Обломов, написавши к Ольге пасквиль на самого себя, чувствовал, «что ему уж не тяжело, что он почти счастлив»... Письмо своё он заключает тем же нравоучением, как и Онегин свою речь: «история со мною пусть, говорит, послужит вам руководством в будущей, нормальной любви», и пр. Илья Ильич, разумеется, не выдержал себя на высоте уничижения перед Ольгой: он бросился подсмотреть, какое впечатление произведёт на неё письмо, увидел, что она плачет, удовлетворился и—не мог удержаться, чтобы не предстать пред ней в сию критическую минуту. А она доказала ему, каким он пошлым и жалким эгоистом явился в этом письме, написанном «из заботы об её счастье». Тут уже он окончательно спасовал, как делают, впрочем, все обломовцы, встречая женщину, которая выше их по характеру и по развитию.

«Однако же, возопиют глубокомысленные люди,—в вашей параллели, несмотря на подбор видимо одинаковых фактов, совсем нет смысла. При определении характера не столько важны внешние проявления, сколько побуждения, вследствие которых то или другое делается человеком. А относительно побуждений, как же не видеть неизмеримой разницы между поведением Обломова и образом действий Печорина, Рудина и других?.. Этот всё делает по инерции, потому что ему лень самому с места двинуться и лень упереться на месте, когда его тащат; вся его цель состоит в том, чтобы лишний раз пальцем не пошевелить. А те скупаются жаждою деятельности, с жаром за всё принимаются, ими беспрестанно

Овладевает беспокойство,
Охота к перемене мест¹⁴⁰

и другие недуги, признаки сильной души. Если они и не делают ничего истинно-полезного, так это потому, что не находят деятельности, соответствующей своим силам. Они, по выражению Печорина, подобны гению, прикованному к чиновничьему столу и осуждённому переписывать бумаги. Они выше окружающей их действительности и потому имеют право презирать жизнь и людей. Вся их жизнь есть отрицание в смысле реакции существующему порядку вещей; а его жизнь есть пассивное подчинение существующим уже влияниям, консервативное отвращение от всякой перемены, совершенный недостаток внутренней реакции в натуре. Можно ли сравнивать этих людей? Рудина ставить на одну доску с Обломовым!.. Печорина осуждать на то же ничтожество, в каком погрязает Илья Ильич!.. Это совершенное непонимание, это нелепость, — это преступление!..»

Ах, боже мой! В самом деле,—мы ведь и позабыли, что с глубокомысленными людьми надо держать ухо востро: как раз выведут такие заключения, о которых вам даже и не снилось. Если вы собираетесь купаться, а глубокомысленный человек, стоя на берегу со связанными руками, хвастается тем, что он отлично плавает и обещает спасти вас, когда вы станете тонуть,—бойтесь сказать: «да, помилуй, любезный друг, у тебя ведь руки связаны; позаботься прежде о том, чтоб развязать себе руки». Бойтесь говорить это, потому что глубокомысленный человек сейчас же ударится в амбицию и скажет: «а, так вы утверждаете, что я не умею плавать! Вы хвалите того, кто связал мне руки! Вы не сочувствуете людям, которые спасают утопающих!..» И так далее... глубокомысленные люди бывают очень

красноречивы и обильны на выводы самые неожиданные... Вот и теперь: сейчас выведут заключение, что мы Обломова хотели поставить выше Печорина и Рудина, что мы хотели оправдать его лежание, что мы не умеем видеть внутреннего, коренного различия между ним и прежними героями, и т. д. Поспешим же объясниться с глубоко-мысленными людьми.

Во всём, что мы говорили, мы имели в виду более обломовщину, нежели личность Обломова и других героев. Что касается до личности, то мы не могли не видеть разницы темперамента, напр. у Печорина и Обломова, так же точно, как не можем не найти её и у Печорина с Онегиным, и у Рудина с Бельтовым... Кто же станет спорить, что личная разница между людьми существует (хотя, может быть, и далеко не в той степени и не с тем значением, как обыкновенно предполагают). Но дело в том, что над всеми этими лицами тяготеет одна и та же обломовщина, которая кладёт на них неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете. Весьма вероятно, что при других условиях жизни, в другом обществе, Онегин был бы истинно добрым малым, Печорин и Рудин делали бы великие подвиги, а Бельтов оказался бы действительно превосходным человеком. Но при других условиях развития, может быть, и Обломов с Тентетниковым не были бы такими байбаками, а нашли бы себе какое-нибудь полезное занятие... Дело в том, что теперь-то у них всех одна общая черта—бесплодное стремление к деятельности, сознание, что из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего... В этом они поразительно сходятся.

«Пробегаю в памяти всё моё прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения, я увлёкся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел твёрд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений,—лучший цвет жизни».

Это—Печорин... А вот как рассуждает о себе Рудин.

«Да, природа мне много дала; но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа. Всё моё богатство пропадёт даром: я не увижу плодов от семян своих»...

Илья Ильич тоже не отстаёт от прочих: и он «болезненно чувствовал, что в нём зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственнй его душе принесённые ему в дар миром и жизнью сокровища».

Видите—*сокровища* были зарыты в его натуре, только раскрыть их пред миром он никогда не мог. Другие братья его, помоложе, «по свету рыщут,

Дела себе исполинского ищут,
Благо наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов... 141

Обломов тоже мечтал в молодости «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработки неистощимых источников...» Да и теперь он «не чужд всеобщих человеческих скорбей, ему доступны наслаждения высоких помыслов», и хотя он не рыщет по свету за исполинским делом, но всё-таки мечтает о всемирной деятельности, всё-таки с презрением смотрит на чернорабочих и с жаром говорит:

Нет, я души не растрату моей
На муравьиной работе людей...

А бездельничает он ничуть не больше, чем все остальные братья обломовцы; только он откровеннее—не старается прикрыть своего безделья даже разговорами в обществах и гуляньем по Невскому проспекту.

Но отчего же такая разница впечатлений, производимых на нас Обломовым и героями, о которых мы вспоминали выше? Те представляются нам в разных родах сильными натурами, задавленными неблагоприятной обстановкой, а этот—байбаком, который и при самых лучших обстоятельствах ничего не сделает. Но во-первых,—у Обломова темперамент слишком вялый, и потому естественно, что он для осуществления своих замыслов и для отпора враждебных обстоятельств употребляет ещё несколько менее попыток, нежели сангвинический Онегин или жёлчный Печорин. В сущности же они все равно несостоятельны пред силою враждебных обстоятельств, все равно погружаются в ничтожество, когда им предстоит настоящая, серьёзная деятельность. В чём обстоятельства Обломова открывали ему благоприятное поле деятельности? У него было имение, которое мог он устроить; был друг, вызывавший его на практическую деятельность; была женщина, которая превосходила его энергией характера и ясностью взгляда, и которая нежно полюбила его... Да скажите, у кого же из обломовцев не было всего этого, и что все они из этого сделали? И Онегин, и Тентетников хозяйничали в своём имении, и о Тентетникове мужики даже говорили сначала: «экой востроногий!» Но скоро те же мужики смекнули, что барин, хоть и прыток на первых порах, но ничего не смыслит и толку никакого не сделает... А дружба? Что они все делают с своими друзьями? Онегин убил Ленского; Печорин только всё пикируется с Вернером; Рудин умел оттолкнуть от себя Лежнева и не воспользовался дружбой Покорского... Да и мало ли людей, подобных Покорскому, встречалось на пути каждого из них?.. Что же они? Соединились ли друг с другом для одного общего дела, образовали ли тесный союз для обороны от враждебных обстоятельств? Ничего не было... Всё рассыпалось прахом, всё кончилось той же обломовщиной... О любви нечего и говорить. Каждый из обломовцев встречал женщину выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова и даже княжна Мери всё-таки выше Печорина), и каждый постыдно бежал от её любви или добивался того, чтоб она сама прогнала его... Чем это объяснить, как не давлением на них гнусной обломовщины?

Кроме разницы темперамента, большое различие находится в самом возрасте Обломова и других героев. Говорим не о годах: они почти однолетки, Рудин даже двумя-тремя годами постарше Обломова; говорим о времени их появления. Обломов относится к позднему времени, стало быть, он уже для молодого поколения, для современной жизни, должен казаться гораздо старше, чем казались прежние обломовцы... Он в университете, каких-нибудь 17—18 лет, прочувствовал те стремления, проникся теми идеями, которыми одушевлялся Рудин в тридцать пять лет. За этим курсом для него было только две дороги: или деятельность, настоящая деятельность,—не языком, а головой, сердцем и руками вместе, или уже просто лежание сложа руки. Апатическая натура привела его к последнему: скверно, но, по крайней мере, тут нет лжи и обмороживания. Еслиб он, подобно своим братцам, пустился толковать во всеуслышание о том, о чём теперь осмеливается только мечтать, то он каждый день испытывал бы огорчения, подобные тем, какие испытал по случаю получения письма от старосты и приглашения от хозяина дома—очистить квартиру. Прежде с любовью, с благоговением слушали фразёров, толкующих о необходимости того или другого, о высших стремлениях и т. п. Тогда, может быть, и Обломов не прочь был бы поговорить... Но теперь всякого фразёра и проектёра встречают требованием: «а не угодно ли попробовать?» Этого уж обломовцы не в силах снести...

В самом деле—как чувствуется веяние новой жизни, когда, по прочтении Обломова, думаешь, что вызвало в литературе этот тип. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широте его воззрений. И силу таланта, и воззрения самые широкие и гуманные находим мы и у авторов, произведших прежние типы, приведённые нами выше. Но дело в том, что от появления первого из них, Онегина, до сих пор прошло уже тридцать лет. То, что было тогда в зародыше, что выражалось только в неясном полуслове, произнесённом шопотом, то приняло уже теперь определённую и твёрдую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла своё значение; явилась в самом обществе потребность настоящего дела. Бельтов и Рудин, люди, с стремлениями, действительно высокими и благородными, не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себе близкой возможности страшной, смертельной борьбы с обстоятельствами, которые их давили. Они вступали в дремучий, неведомый лес, шли по топкому опасному болоту, видели под ногами разных гадов и змей, и лезли на дерево,—отчасти, чтоб посмотреть, не увидят ли где дороги, отчасти же для того, чтобы отдохнуть и хоть на время избавиться от опасности увязнуть или быть ужаленными. Следовавшие за ними люди ждали, что они скажут, и смотрели на них с уважением, как на людей, шедших впереди. Но эти передовые люди ничего не увидели с высоты, на которую взобрались: лес был очень обширен и густ. Между тем, взлезая на дерево, они исцарапали себе лицо, переранили себе ноги, испортили руки... Они страдают, они утомлены, они должны отдохнуть, примостившись как-нибудь поудобнее на дереве. Правда,

они ничего не делают для общей пользы, они ничего не разглядели и не сказали; стоящие внизу, сами, без их помощи, должны прорубать и расчищать себе дорогу по лесу. Но кто же решится бросить камень в этих несчастных, чтобы заставить их упасть с высоты, на которую они взмоглись с такими трудами, имея в виду общую пользу? Им сострадают, от них даже не требуют пока, чтобы они принимали участие в расчистке леса; на их долю выпало другое дело, и они его сделали. Если толку не вышло,—не их вина. С этой точки зрения каждый из авторов мог прежде смотреть на своего обломовского героя, и был прав. К этому присоединялось ещё и то, что надежда увидеть где-нибудь выход из лесу на дорогу долго держалась во всей ватаге путников, равно как долго не терялась и уверенность в дальнзоркости передовых людей, взобравшихся на дерево. Но вот, мало-по-малу, дело прояснилось и приняло другой оборот: передовым людям понравилось на дереве; они рассуждают очень красноречиво о разных путях и средствах выбраться из болота и из лесу; они нашли даже на дереве кой-какие плоды и наслаждаются ими, бросая чешуйку вниз; они зовут к себе ещё кой-кого, избранных из толпы, и те идут и остаются на дереве, уже и не высматривая дороги, а только пожирая плоды. Это уже—Обломовы в собственном смысле... А бедные путники, стоящие внизу, вязнут в болоте, их жалят змеи, пугают гады, хлещут по лицу сучья... Наконец, толпа решается приняться за дело и хочет воротить тех, которые позже полезли на дерево; но Обломовы молчат и обжираются плодами. Тогда толпа обращается и к прежним своим передовым людям, прося их спуститься и помочь общей работе. Но передовые люди опять повторяют прежние фразы о том, что надо высматривать дорогу, а над расчисткой трудиться нечего.—Тогда бедные путники видят свою ошибку и, махнув рукой, говорят: «э, да вы все Обломовы!» И затем начинается деятельная, неутомимая работа: рубят деревья, делают из них мост на болоте, образуют тропинку, бьют змей и гадюк, попавшихся на ней, не заботясь более об этих умниках, об этих сильных натурах, Печоринных и Рудинных, на которых прежде надеялись, которыми восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрят на общее движение, но потом, по своему обыкновению, трусят и начинают кричать... «Ай, ай,—не делайте этого, оставьте,—кричат они, видя, что подсекается дерево, на котором они сидят.—Помилуйте, ведь мы можем убиться, и вместе с нами погибнут те прекрасные идеи, те высокие чувства, те гуманные стремления, то красноречие, тот пафос, любовь ко всему прекрасному и благородному, которые в нас всегда жили... Оставьте, оставьте! Что вы делаете?..» Но путники уже слышали тысячу раз все эти прекрасные фразы и, не обращая на них внимания, продолжают работу. Обломовцам ещё есть средство спасти себя и свою репутацию: слезть с дерева и приняться за работу вместе с другими. Но они, по обыкновению, растерялись и не знают, что им делать... «Как же это так вдруг?» повторяют они в отчаянии и продолжают посылать бесплодные проклятия глупой толпе, потерявшей к ним уважение.

А ведь толпа права! Если уж она сознала необходимость настоящего дела, так для неё совершенно всё равно,—Печорин ли перед ней или Обломов. Мы не говорим опять, чтобы Печорин в данных обстоятельствах стал действовать именно так, как Обломов; он мог самыми этими обстоятельствами развиться в другую сторону. Но типы, созданные сильным талантом, долговечны: и ныне живут люди, представляющие как будто сколок с Онегина, Печорина, Рудина, и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других обстоятельствах, а именно в том, в каком они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова. Нельзя сказать, чтоб превращение это уже совершилось: нет, ещё и теперь тысячи людей проводят время в разговорах и тысячи других людей готовы принять разговоры за дела. Но что превращение это начинается—доказывает тип Обломова, созданный Гончаровым. Появление его было бы невозможно, если бы хотя в некоторой части общества не созрело сознания о том, как ничтожны все эти quasi-талантливые натуры, которыми прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали себя разными причёсками, привлекали к себе разными талантами. Но теперь Обломов является пред нами разоблачённый, как он есть, молчаливый, сведённый с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: *что он делает? в чём смысл и цель его жизни?*—поставлен прямо и ясно, не забит никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало, или настает неотлагательно, время работы общественной... И вот почему мы сказали в начале статьи, что видим в романе Гончарова *знамение времени*.

Посмотрите, в самом деле, как изменилась точка зрения на образованных и хорошо рассуждающих лежебоков, которых прежде принимали за настоящих общественных деятелей.

Вот перед вами молодой человек, очень красивый, ловкий, образованный. Он выезжает в большой свет и имеет там успех; он ездит в театры, балы и маскарады; он отлично одевается и обедает; читает книжки и пишет очень грамотно... Сердце его волнуется только ежедневностью светской жизни, но он имеет понятие и о высших вопросах. Он любит потолковать о страстях,

О предрассудках вековых
И гроба тайнах роковых...¹⁴²

Он имеет некоторые честные правила: способен

Ярём он барщины старинной
Оброком лёгким заменить,¹⁴³

способен иногда не воспользоваться неопытностью девушки, которую не любит; способен не придавать особенной цены своим светским успехам. Он выше окружающего его светского общества настолько, что дошёл до сознания его пустоты; он может даже оставить свет и переехать в деревню; но только и там скучает, не зная, какое

найти себе дело... От нечего делать, он ссорится с другом своим и по легкомыслию убивает его на дуэли... Через несколько лет опять возвращается в свет и влюбляется в женщину, любовь которой сам прежде отверг, потому что для неё нужно было бы ему отказаться от своей бродяжнической свободы... Вы узнаете в этом человеке Онегина. Но всмотритесь хорошенько; это—Обломов.

Перед вами другой человек, с более страстной душой, с более широким самолюбием. Этот имеет в себе как будто от природы всё то, что для Онегина составляет предмет забот. Он не хлопочет о туалете и наряде: он светский человек и без этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать мишурным знанием: и без этого язык у него как бритва. Он действительно презирает людей, хорошо понимая их слабости; он действительно умеет овладеть сердцем женщины, не на краткое мгновенье, а надолго, нередко навсегда. Всё, что встречается ему на его дороге, он умеет отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: он не знает, куда идти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Он всё испытал, и ему ещё в юности опротивели все удовольствия, которые можно достать за деньги; любовь светских красавиц тоже опротивела ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже наоели, потому что он увидел, что от них не зависит ни слава, ни счастье; самые счастливые люди—невежды, а слава—удача; военные опасности тоже ему скоро наскучили, потому что он не видел в них смысла и скоро привык к ним. Наконец, даже простосердечная, чистая любовь дикой девушки, которая ему самому нравится, тоже надоедает ему: он и в ней не находит удовлетворения своих порывов. Но что же это за порывы? куда влекут они? отчего он не отдаётся им всей силой души своей? Оттого, что он сам их не понимает и не даёт себе труда подумать о том, куда девать свою душевную силу; и вот он проводит свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается на ссоры, выказывает отвагу в пустяках, дерётся без надобности... Вы припоминаете, что это история Печорина, что отчасти почти такими словами сам он объясняет свой характер Максиму Максимычу... Всмотритесь, пожалуйста, получше: вы и тут увидите того же Обломова...

Но вот ещё человек, более сознательно идущий по своей дороге. Он не только понимает, что ему дано много сил, но знает и то, что у него есть великая цель... Подозревает, кажется, даже, и то, какая это цель, и где она находится. Он благороден, честен (хотя часто и не платит долгов); с жаром рассуждает не о пустяках, а о высших вопросах; уверяет, что готов пожертвовать собою для блага человечества. В голове его решены все вопросы, всё приведено в живую, стройную связь; он увлекает своим могучим словом неопытных юношей, так что, послушав его, и они чувствуют, что призваны к чему-то великому... Но в чём проходит его жизнь? В том, что он всё начинает и не оканчивает, разбрасывается во все стороны, всему отдаётся с жадностью и—не может отдаться... Он влюбляется в девушку, которая, наконец, говорит ему, что несмотря на

запрещение матери, она готова принадлежать ему; а он отвечает: «Боже! так ваша маменька не согласна! какой внезапный удар! Боже! как скоро!.. Делать нечего,—надо покориться»... И в этом точный образец всей его жизни... Вы уже знаете, что это Рудин... Нет, теперь уж и это Обломов. Когда вы хорошенько всмотритесь в эту личность и поставите её лицом к лицу с требованиями современной жизни,—вы сами в этом убедитесь.

Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что огнать его у них, значило бы лишить их жизни. Всё у них внешнее, ничто не имеет корня в их натуре. Они, пожалуй, и делают что-то такое, когда принуждает внешняя необходимость, так как Обломов ездил в гости, куда тащил его Штолыц, покупал ноты и книги для Ольги, читал то, что она заставляла его читать. Но душа их не лежит к тому делу, которое наложено на них случаем. Если бы каждому из них даром предложили все внешние выгоды, какие им доставляются их работой, они бы с радостью отказались от своего дела. В силу обломовщины, обломовский чиновник не станет ходить в должность, если ему и без того сохранят его жалованье и будут производить в чины. Воин даст клятву не прикасаться к оружию, если ему предложат те же условия, да ещё сохранят его красивую форму, очень полезную в известных случаях. Профессор перестанет читать лекции, студент перестанет учиться, писатель бросит авторство, актёр не покажется на сцену, артист изломает резец и палитру, говоря высоким слогом, если найдёт возможность даром получить всё, чего теперь добивается трудом. Они только говорят о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о проникновении общими интересами, а на поверку выходит, что всё это—слова и слова. Самое искреннее, задушевное их стремление есть стремление к покою, к халату, и самая деятельность их есть не что иное, как *почётный халат* (по выражению, не нам принадлежащему), которым прикрывают они свою пустоту и апатию. Даже наиболее образованные люди, притом люди с живою натурою, с тёплым сердцем, чрезвычайно легко отступаются в практической жизни от своих идей и планов, чрезвычайно скоро мирятся с окружающей действительностью, которую, однако, на словах не перестают считать пошлою и гадкою. Это значит, что всё, о чём они говорят и мечтают,—у них чужое, наносное; в глубине же души их коренится одна мечта, один идеал—возможно-невозмутимый покой, квиетизм, обломовщина. Многие доходят даже до того, что не могут представить себе, чтоб человек мог работать по охоте, по увлечению. Прочтите-ка в «Экономическом Указателе» рассуждения о том, как все умрут голодною смертью от безделья, ежели равномерное распределение богатства отнимет у частных людей побуждение стремиться к наживанию себе капиталов...¹⁴⁴

Да, все эти обломовцы никогда не перерабатывали в плоть и кровь свою тех начал, которые им внушили, никогда не проводили их до последних выводов, не доходили до той грани, где слово

становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственною силою, двигающею человеком. Потому-то эти люди и лгут беспрестанно, потому-то они и являются так несостоятельными в частных фактах своей деятельности. Потому-то и дороже для них отвлечённые воззрения, чем живые факты, важнее общие принципы, чем простая жизненная правда. Они читают полезные книги для того, чтобы знать, что пишется; пишут благородные статьи затем, чтобы любоваться логическим построением своей речи; говорят смелые вещи, чтобы прислушиваться к благозвучию своих фраз и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далее, какая цель всего этого читанья, писанья, говоренья,—они или вовсе не хотят знать, или не слишком об этом беспокоятся. Они постоянно говорят вам: вот, что мы знаем, вот, что мы думаем, а впрочем,—как там хотят, наше дело—сторона... Пока не было работы в виду, можно было ещё надуть этим публику, можно было тщеславиться тем, что мы вот, дескать, всё-таки хлопочем, ходим, говорим, рассказываем. На этом и основан был в обществе успех людей, подобных Рудину. Даже больше—можно было заняться кутежом, интрижками, каламбурами, театральством,—и уверять, что это мы пустились, мол, оттого, что нет простора для более широкой деятельности. Тогда и Печорин, и даже Онегин, должен был казаться натурою с необычными силами души. Но теперь уж все эти герои отодвинулись на второй план, потеряли прежнее значение, перестали сбивать нас с толку своей загадочностью и таинственным разладом между ними и обществом, между великими их силами и ничтожностью дел их...

Теперь загадка разъяснилась,
Теперь им слово найдено.¹⁴⁵

Слово это—*обломовщина*.

Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности,—я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он—Обломов.

Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности *тихого шага* и т. п., я не сомневаюсь, что он Обломов.

Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что, наконец, сделано то, чего мы давно надеялись и желали,—я думаю, что это всё пишут из Обломовки.

Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неумещающимся жаром рассказывающих всё те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода,—я невольно чувствую, что я перенесён в старую Обломовку...

Остановите этих людей в их шумном разглагольствии и скажите:

«Вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно делать?» Они не знают... Предложите им самое простое средство,—они скажут: «да как же это так вдруг?» Непременно скажут, потому что Обломы иначе отвечать не могут... Продолжайте разговор с ними и спросите: что же вы намерены делать?—Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье:

«Что делать? разумеется, покориться судьбе. Что же делать! Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но, посудите сами...» и пр. (См. Тург. Пов. ч. III, стр. 249).

Больше от них вы ничего не дождётесь, потому что на всех их лежит печать обломовщины.

Кто же, наконец, сдвинет их с места этим всемогущим словом: «вперёд!», о котором так мечтал Гоголь и которого так давно и томительно ожидает Русь? До сих пор нет ответа на этот вопрос ни в обществе, ни в литературе. Гончаров, умевший понять и показать нам нашу обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблуждению, до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век», говорит он устами Штольца, и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочитает Обломова, не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая родина, её владельцы—наши воспитатели, её триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и ещё рано писать нам надгробное слово. Не за что говорить об нас с Ильёю Ильичём следующие строки:

«В нём было то, что дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото; он неведомо пронёс его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечёт на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла; пусть весь мир отравится ядом и пойдёт навыорот,—никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем, на него всюду и везде можно положиться».

Распространяться об этом пассаже мы не станем; но каждый из читателей заметит, что в нём заключена большая неправда. Одно в Обломове хорошо, действительно: то, что он не усиливался надвигать других, а уж так и являлся в натуре—лежебоком. Но, помилуйте, в чём же на него можно *положиться*? Разве в том, где ничего делать не нужно? Тут он, действительно, отличится так, как никто. Но ничего-то не делать и без него можно. Он не поклонится идолу зла! Да ведь почему это? Потому, что ему лень встать с дивана. А стащите его, поставьте на колени перед этим идолом: он не в силах будет встать. Не подкупишь его ничем. Да на что его подкупать-то? На то, чтобы с места сдвинулся?

Ну, это действительно трудно. Грязь к нему не пристанет! Да пока лежит Юдин, так ещё ничего; а как придёт Тарантьев, Затёртый, Иван Матвеевич—брр! какая отвратительная гадость начинается около Обломова. Его объедают, опивают, спаивают, берут с него фальшивый вексель (от которого Штольц несколько бесцеремонно, по русским обычаям, без суда и следствия избавляет его), разоряют его именем мужиков, дерут с него немилосердные деньги ни за что, ни про что. Он всё это терпит безмолвно и потому, разумеется, не издает ни одного фальшивого звука.

Нет, нельзя так льстить живым, а мы ещё живы, мы ещё попрежнему Обломовы. Обломовщина никогда не оставляла нас и не оставила даже теперь—*в настоящее время, когда*, и пр. Кто из наших литераторов, публицистов, людей образованных, общественных деятелей, кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имел в виду Гончаров, когда писал об Илье Ильиче следующие строки:

«Ему доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремления куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц. Сладкие слёзы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу, и разгорится желанием указать человеку на его язвы,—и вдруг загораются в нём мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нём,—задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преобразуются в стремления: он, движимый нравственною силою, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом... Вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, Господи! каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия! Но, смотришь, промелькнёт утро, день уж клонится к вечеру, а с ним клонятся к локоу и утомлённые силы Обломова: бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробегается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырёх-этажный дом. И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!»

Не правда ли, образованный и благородно-мыслящий читатель,—ведь тут верное изображение ваших благих стремлений и вашей полезной деятельности? Разница может быть только в том, до какого момента вы доходите в вашем развитии. Илья Ильич доходил до того, что привставал с постели, протягивал руку и озибался вокруг. Иные так далеко не заходят; у них только мысли гуляют в голове, как волны в море (таких большая часть); у других мысли вырастают в намерения, но не доходят до степени стремлений (таких меньше); у третьих даже стремления являются (этих уж совсем мало)...

Итак, следуя направлению настоящего времени, когда вся литература, по выражению г. Бенедиктова, представляет

...нашей плоти истязанье,
Вериги в прозе и стихах,—¹⁴⁶

мы смиренно сознаёмся, что как ни лестны для нашего самолюбия похвалы г. Гончарова Обломову, но мы не можем признать их справедливыми. Обломов менее раздражает свежего, молодого, деятельного человека, нежели Печорин и Рудин, но всё-таки он противен в своей ничтожности.

Отдавая дань своему времени, г. Гончаров вывел и противоядие Обломову—Штольца. Но по поводу этого лица мы должны ещё раз повторить наше постоянное мнение,—что литература не может забегать слишком далеко вперёд жизни. Штольцев, людей с цельным, деятельным характером, при котором всякая мысль тотчас же является стремлением и переходит в дело, ещё нет в жизни нашего общества (разумею образованное общество, которому доступны высшие стремления; в массе, где идеи и стремления ограничены очень близкими и немногими предметами, такие люди беспрестанно попадают). Сам автор сознавал это, говоря о нашем обществе:

«вот, глаза очнулись от дремоты, слышались бойкие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!»

Должно явиться их много, в этом нет сомнения; но теперь пока для них нет почвы. Оттого-то из романа Гончарова мы и видим только, что Штолец—человек деятельный, всё о чем-то хлопочет, бегают, приобретает, говорит, что жить—значит трудиться, и пр. Но что он делает, и как он ухитряется делать что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать,—это для нас остаётся тайной. Он мигом устроил Обломовку для Ильи Ильича;—как? этого мы не знаем. Он мигом уничтожил фальшивый вексель Ильи Ильича;—как? это мы знаем. Поехав к начальнику Ивана Матвенча, которому Обломов дал вексель, поговорил с ним дружески—Ивана Матвенча призвали в присутствие и не только, что вексель велели возвратить, но даже и из службы выходить приказали. И по делу ему, разумеется; но, судя по этому случаю, Штолец не дорос ещё до идеала общественного русского деятеля. Да и нельзя ещё: рано. Теперь ещё,—хотя будь семи пядей во лбу, а в заметной общественной деятельности можешь, пожалуй, быть *добродетельным откупщиком* Муразовым, делающим добрые дела из десяти миллионов своего состояния, или благородным помещиком Констанжогло,—но далее не пойдёшь... И мы не понимаем, как мог Штолец в своей деятельности успокоиться от всех стремлений и потребностей, которые одолевали даже Обломова, как мог он удовлетвориться своим положением, успокоиться на своём одиноком, отдельном, исключительном счастье... Не надо забывать, что под ним болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно ещё расчищать лес, чтобы выйти на большую дорогу и убежать от обломовщины. Делал ли что-нибудь для этого Штолец, что именно делал и как делал,—мы не знаем. А без этого мы не можем удовлетвориться его личностью... Можем сказать только то, что не он тот человек, который «сумеет, на языке понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово: «вперёд!»».

Может быть, Ольга Ильинская способнее, нежели Штольц, к этому подвигу, ближе его стоит к нашей молодой жизни. Мы ничего не говорили о женщинах, созданных Гончаровым: ни об Ольге, ни об Агафье Матвеевне Пшеницыной (ни даже об Анисье и Акулине, которые тоже отличаются своим особым характером), потому что сознавали своё совершеннейшее бессилие что-нибудь сносное сказать о них. Разбирать женские типы, созданные Гончаровым, значит предъявлять претензию быть великим знатоком женского сердца. Не имея же этого качества, женщинами Гончарова можно только восхищаться. Дамы говорят, что верность и тонкость психологического анализа у Гончарова—изумительна, и дамам в этом случае нельзя не поверить... Прибавить же что-нибудь к их отзыву мы не осмеливаемся, потому что боимся пускаться в эту совершенно неведомую для нас страну. Но мы берём на себя смелость, в заключение статьи, сказать несколько слов об Ольге, и об отношениях её к обломовщине.

Ольга, по своему развитию, представляет высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни. Оттого она необыкновенной ясностью и простотой своей логики и изумительной гармонией своего сердца и воли поражает нас до того, что мы готовы усомниться в её даже поэтической правде и сказать: «таких девушек не бывает». Но, следя за нею во всё продолжение романа, мы находим, что она постоянно верна себе и своему развитию, что она представляет не сентенцию автора, а живое лицо, только такое, каких мы ещё не встречали. В ней-то более, нежели в Штольце, можно видеть намёк на новую русскую жизнь; от неё можно ожидать слова, которое сожжёт и развеет обломовщину... Она начинает с любви к Обломову, с веры в него, в его нравственное преобразование... Долго и упорно, с любовью и нежною заботливостью, трудится она над тем, чтобы возбудить жизнь, вызвать деятельность в этом человеке. Она не хочет верить, чтобы он был так бессилен на добро; любя в нём свою надежду, своё будущее создание, она делает для него всё: пренебрегает даже условными приличиями, едет к нему одна, никому не сказавшись, и не боится, подобно ему, потери своей репутации. Но она с удивительным тактом замечает тотчас же всякую фальшь, проявлявшуюся в его натуре, и чрезвычайно просто объясняет ему, как и почему это ложь, а не правда. Он, например, пишет ей письмо, о котором мы говорили выше, и потом уверяет её, что писал это единственно из заботы о ней, совершенно забывши себя, жертвуя собою, и т. д.—

«Нет, отвечает она,—неправда: если б вы думали только о моём счастье и считали необходимою для него разлуку с вами, то вы бы просто уехали, не посылая мне предварительно никаких писем».

Он говорит, что боится её несчастья, если она современем поймёт, что ошибалась в нём, разлюбит его и полюбит другого. Она спрашивает в ответ на это:

«где же вы тут видите несчастье моё? Теперь я вас люблю, и мне хорошо; а после я полюблю другого и, значит, мне с другим будет хорошо. Напрасно вы обо мне беспокоитесь».

Эта простота и ясность мышления заключают в себе задатки новой жизни, не той, в условиях которой выросло современное общество... Потом,—как воля Ольги послушна её сердцу! Она продолжает свои отношения и любовь к Обломову, несмотря на все посторонние неприятности, насмешки, и т. п., до тех пор, пока не убеждается в его решительной дрянности. Тогда она прямо объявляет ему, что ошиблась в нём, и уже не может решиться соединить с ним свою судьбу. Она ещё хвалит и ласкает его и при этом отказе, и даже после; но своим поступком она уничтожает его, как ни один из обломовцев не был уничтожаем женщиной. Татьяна говорит Онегину, в заключении романа:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана
И буду век ему верна...

Итак, только внешний нравственный долг спасает её от этого пустого фата; будь она свободна, она бы бросилась ему на шею. Наталья оставляет Рудина только потому, что он сам упёрся на первых же порах, да и, проводив его, она убеждается только в том, что он её не любит, и ужасно горюет об этом. Нечего и говорить о Печорине, который успел заслужить только *ненависть* княжны Мери. Нет, Ольга не так поступила с Обломовым. Она просто и кротко сказала ему:

«я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен... как голубь; ты спрячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей... да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то ещё, а чего — не знаю!»

И она оставляет Обломова, и она стремится к своему *чему-то*, хотя ещё и не знает его хорошенько. Наконец она находит его в Штольце, соединяется с ним, счастлива; но и тут не останавливается, не замирает. Какие-то туманные вопросы и сомнения тревожат её, она чего-то допытывается. Автор не раскрыл пред нами её волнений во всей их полноте, и мы можем ошибиться в предположении насчёт их свойства. Но нам кажется, что это в её сердце и голове веяние новой жизни, к которой она несравненно ближе Штольца. Думаем так потому, что находим несколько намёков в следующем разговоре.

«— Что же делать? поддаться и тосковать?» спросила она.

«— Ничего, сказал он: — вооружаться твёрдостью и спокойствием. Мы не титаны с тобой, — продолжал он, обнимая её: — мы не пойдём с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживём трудную минуту, и опять потом улыбнётся жизнь, счастье и...»

«— А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить всё больше, больше?.. — спрашивала она.

«— Что ж? примем её, как новую стихию жизни... Да нет, этого не бывает, не может быть у нас! Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля... Всё это страшно, когда человек отрывается от жизни, — когда нет опоры. А у нас...»

Он не договорил, что у нас... Но ясно: что это *он* не хочет «итти на борьбу с мятежными вопросами», *он* решается «смирненно склонить голову»... А она готова на эту борьбу, тоскует по ней и постоянно страшится, чтоб её тихое счастье с Штольцем не превратилось во что-то, подходящее к обломовской апатии. Ясно, что она не хочет склонять голову и смирненно переживать трудные минуты, в надежде, что потом опять улыбнётся жизнь. Она бросила Обломова, когда перестала в него верить; она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него. А это случится, ежели вопросы и сомнения не перестанут мучить её, а он будет продолжать ей советы—принять их, как новую стихию жизни, и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить её во всех видах, под всеми масками, и всегда найдёт в себе столько сил, чтоб произнести над нею суд беспощадный...

НОВЫЙ КОДЕКС РУССКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ

(НАУКА ЖИЗНИ ИЛИ КАК МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЖИТЬ НА СВЕТЕ.
ЕФИМ ДЫММАН. Спб. 1859) ¹⁴⁷



Время от времени являются у нас мудрецы, желающие быть руководителями молодых людей на жизненном поприще. Большею частью это бывают люди, искушённые долгим опытом жизни и оттого смотрящие на всё несколько мрачно. Иные доходят даже до того, что вместо всяких советов предписывают только угрозы и побои. Таков, например, долженствующий быть знаменитым г. Миллер-Красовский (о котором мы говорим в этой же книжке), ¹⁴⁸ полагающий всю надежду воспитания в *пощёчинах*. Но не таков г. Ефим Дымман, составивший «Науку жизни». Его направление очень мягко и благодушно. О детях, например, он говорит следующее:

«Телесно детей никогда не наказывать, *в отвращение грубых чувств упрямства и ожесточения*. Какова бы ни была вина детей, не делать из того ни шума, ни криминала, никогда на них *не кричать и вразумлять* их всегда с ласкою, *толкую им тихо и ясно*, как поступок их вреден и какие из того могут выйти дурные последствия» (стр. 326).

Вы уже чувствуете расположение к автору за такую гуманность и думаете, что г. Дымман далеко ушёл от теорий г. Миллер-Красовского. С точки зрения г. Миллер-Красовского, подобные мысли должны представляться безумными и отчаянно либеральными. Как! Не бить детей! Не кричать на них!! Вразумлять их!! Толковать им о вредных последствиях, какие может иметь их поступок!!! Что может быть ужаснее для верного *рыцаря трёх пощёчин*? Какое преступление может более этого возмутить его? Наверно, г. Миллер-Красовский скажет о г. Дыммане, что он «не заглядывал в жизнь и силен одними кабинетскими теориями»; наверное, сочтёт его последователем «рус-совских плевел филантропизма».

Но формы, в которых проявляется житейская философия, могут быть очень разнообразны, несколько не изменяя тем её существенного характера. Прочитав «Науку жизни», мы увидим, что Ефим Дымман в сущности не менее кого другого уважает молчалинскую теорию умеренности и аккуратности; безусловное повиновение он любит не

мёнее, чем сам рыцарь *трёх пощёчин*. Но склад ума г. Ефима Дыммана более дипломатический, и оттого правила, предписываемые им, никогда не имеют такого жестокого характера и даже в грамматическом отношении не столь ужасны, как «Основные законы воспитания» г. Миллер-Красовского, восхищающегося своими *тремя пощёчинами*. Г-н Ефим Дымман отличается чрезвычайным житейским благоразумием и такою гибкостью ума и совести, какой может позавидовать любой дипломат. Вот отчего и происходит видимое различие его советов от предписаний мудрецов, подобных г. Миллер Красовскому. Но по самой ловкости изложения «Наука жизни» заслуживает того, чтобы на неё обратить серьёзное внимание. В ней возведено в систему то, что у нас обыкновенно делается бессознательно; она представляет кодекс принятой ныне житейской нравственности. С этой точки зрения она очень любопытна, и мы считаем нелишним рассмотреть её с некоторой подробностью.

Автор «Науки жизни», как открывается из разных мест книги, служил прежде в военной службе; дошёл до степеней известных, соделался старцем, был женат, но теперь живёт одиноко, имея в доме четырёх человек: пожилую женщину, вроде ключницы, кучера, повара и лакея, которые беспрестанно между собою ссорятся и просят *расчёта* у автора (стр. 242). Но г. Ефим Дымман и с этими беспокойными людьми умеет ладить так же хорошо, как он ладит со всеми на свете, и в этом-то умении со всеми ладить заключается его искусство общежития, которое хочет он передать молодым людям.

«Наука жизни» заключает в себе именно правила о том, как ужиться с людьми, приобрести общее уважение и нажить состояние. По благожелательности и по доброте своего сердца, автор заботится о мире, тишине и общем благополучии; но опыт жизни, соделав его Талейраном, научил его не предаваться движениям своего сердца.

«Прежде всего, — советует он юноше, — сделай себе всегдашним правилом: никогда не предаваться своему первому движению как в отношении людей, так и во всех твоих делах» (стр. 235).

Вы знаете, что и Талейран говорил то же самое, прибавляя только резон: *потому*, что первое движение всегда хорошо». Кажется, что и г. Ефим Дымман имеет ту же тайную мысль; но он не так прост, чтобы высказать её прямо: опыт жизни научил его быть осторожнее и хитрее Талейрана. Вследствие того он и не говорит иначе, как языком дипломатическим. Юноши, которые будут читать «Науку жизни», непременно должны иметь это в виду. Для того, чтобы лучше понять её, они могут даже составить небольшой объяснительный словарь употребительнейших в ней слов. Например, *лицемерие* в «Науке жизни» изображается постоянно под видом *вежливости*, *подлость* — под именами *угождения* и *искательства*, *мошенничество* называется *ловкостью*, *подозрительность* и *малодушие* — *осторожностью*, *кража* всех видов — *пользованием обстоятельствами*, *шарлатанство* — *сноровкой*, и пр. И всё это пересыпается, само собою разумеется, беспрестанными прожкими воззваниями о честности, добросовестности, братолюбии, помощи несчастным и т. п. Словом, вся книжка состав-

лена чрезвычайно дипломатически. Рассмотрим же сущность её содержания, имея в виду сделанную нами оговорку относительно фразеологии автора.

Целью жизни поставляет г. Дымман приобретение житейского благолучия, то-есть общего почёта, обеспеченного состояния и долговечности. Средства для этой цели предписываются самые практические и притом такого свойства, что, по мнению самого автора, «для человека слабого духом могут показаться трудными».

«Но, — продолжает он, — зато они верны и действительны, и мы с ними совершим дело чудное: приобретём любовь людей, повелителей мира; честным образом обеспечим себя состоянием и будем здоровы, счастливы и долговечны. А из благодарности ко всевышнему, даровавшему нам эти средства, будем помогать немущим и слабым, защищать правого и невинного и стяжаем имя людей добрых, честных и благоразумных» (стр. 344).

Этимися словами оканчивает автор свою книгу, и вы видите, что он хлопочет о добре и честности. Слушайтесь его, и вы будете долговечны, богаты и всеми уважаемы, оставаясь честным человеком. Автор уверен в этом и, как нам кажется, не напрасно. С полным и горячим убеждением (хотя несколько и витиевато) говорит он в начале книги:

«Прежде приступа к нашему делу, весьма серьёзному и очень далёкому от всякого пустословия и от всякого сцепления забавных, скуки ради приключений, скажу я тебе, юноша, что ни в чём так свято и положительно не уверен я, как в пользе и добре, приносимых мною в дань прекрасному нашему юношеству этою книгою; что ни над чем не трудился я с таким душевным посвящением, как над нею, и что ничего в жизни пламеннее не желаю я, как того, чтобы юное наше поколение вполне ею воспользовалось» (стр. 13).

Мы не станем до времени выражать нашего мнения о том, желательно ли, чтобы в самом деле кто-нибудь воспользовался правилами г. Ефима Дыммана. Но мы смело можем сказать, что *кто принимает конечную цель автора*—всеобщее уважение и обеспеченное состояние, тот найдёт в его книге много практически полезных советов, очень ловко применённых к духу современного нашего общества. Представим некоторые из них нашим читателям и потом посмотрим, какое значение могут иметь они в русской жизни, между русскими людьми, поставленными так, как они поставлены при современном нашем общественном устройстве.

Прежде всего заметим, что г. Дымман имеет в виду людей не обеспеченных и независимых, а таких, которые должны чего-нибудь добиться в жизни. Поэтому он очень сильно напирает на необходимость людям трудиться, сберегать свои силы, не пьянствовать, не восставать против начальства, не верить ворожеем и сновиденьям, не буйствовать, не предаваться неумеренно ласкам женщин и пр. Нельзя не согласиться, что все подобные советы очень благоразумны, с какой хотите точки зрения. Выражает их автор очень сильно и подтверждает примерами ещё более сильными. Например, вот что говорит он о ласках женщины:

«Я был очевидцем, как один здоровый молодой человек, предавшись неумеренно ласкам женщины (чему был очевидцем г. Ефим Дымман!!!), без малейшего страдания вдруг почувствовал бессилие и ослабление памяти, возраставшие *всякую минуту* в такой степени, что на *другой день* он не мог даже припомнить слов к разговору, а на *третий* его уже не было в живых» (стр. 340).

Видите, как скоро!.. Есть нравоучительная книжка: «Сорок лет пьяной жизни»; так в той вред пьянства доказывается тем, что человек, *пьянствовавший сорок лет*, наконец *спорел*.. А у г. Ефима Дыммана,—как только человек *предался* неумеренно ласкам женщин, так на другой же день память потерял, а на третий уж и богу душу отдал... Пример, в самом деле, поразительный!..

Но, кроме отрицательных советов, г. Дымман даёт юноше и положительные правила. Сущность их заключается, как он сам говорит, в трёх главнейших откровениях—*угождении, умеренности и труде* (стр. 287). Все три должны быть тесно связаны в жизни и одно другому помогать. Трудиться должен человек, *угождая* другим, чтобы достигнуть цели своих стремлений; но в стремлениях всегда должен быть *умерен*. Мир и жизнь, по мнению автора, превосходны.

«Какова участь, каков удел человека на земле! — восклицает он. — Целый мир, вся планета, вся земля дана ему на его пользу, для его наслаждения, для его счастья. Наша жизнь есть радостнейшая, прелестнейшая жизнь, и целый мир даровал нам господь на услаждение её» (стр. 132).

Надобно только не искать невозможного, довольствоваться тем, что есть, и не идти против людей, наших братьев, обладателей мира.

«Не слушай неблагоприятных, — советует г. Дымман, — которые корчат молодца против начальства, против существующего порядка. Каков бы ни был этот порядок, но, как установление людское, он совершенным быть не может никогда; равным образом, с постепенным просвещением и устройством самого гражданского общества, и он не может не улучшаться» (стр. 112).

Не правда ли, что совет г. Дыммана очень практичен и вполне согласен с теориею угождения и умеренности?

С тою же последовательностью своим началам г. Дымман рассуждает и о труде. Он признаёт труд полезным для здоровья и, кроме того, велит заботиться об исполнении всякой, даже самой ничтожной обязанности, *потому* что «нет такой маловажной должности, в которой неумоимо, всегдашнюю деятельностью нельзя было бы обратить на себя внимания и милостей начальства, а за труды не получить награды и повышения» (стр. 118). Впрочем, убиваться над работой, заботясь о пользе самого дела, г. Дымман не заставляет. Напротив, он даёт такие советы:

«дела исполняй всегда открыто, торжественно, сохраняя все временем принятые обряды; это налагает на исполнителей (что?) и удерживает их в строгом порядке. *Держись крепко формальности*, — она часто наводит на важные обстоятельства и указывает ход делу. Ничего не делай на словах, а все дела должны быть ясно изложены на бумаге и облечены в законную форму, крайне необходимую для справок» (стр. 273).

Вообще, как во всех своих рассуждениях, так и в самых советах относительно труда, г. Дымман является, так сказать, квиетистом. Он сознаёт, например, что правда почтенна, что добро делать следует, что трудиться надобно честно, и т. п. Но, поставив себе целью искусное общежитие, он признаёт благоразумным и необходимым делать уступки принятым в обществе требованиям, плыть по течению, не покушаться ни на какие перемены. «Правда есть свет яснее солнца, совершенство, свойство божества! Сладка жертва, приносимая правде, и сладко отстоять её!»—воскликает г. Ефим Дымман и тут же прибавляет: «но с правдой, как с бритвой, надобно обходиться осторожно; в противном случае она зарежет». По мнению г. Дыммана, человек, как существо разумное, должен стремиться к правде; но, как существо ограниченное, слабое, должен к ней стремиться только тогда, когда это *у места и к стати*; «во многих же случаях надобно укротить свой крик против неправды и держать язык за зубами» (стр. 156—157).

Как видите, у г. Дыммана все добрые стремления признаются, но только в той мере, в какой они могут достигаться без малейшего расстройств заведённого порядка. Как скоро моя правда или честность могут кого-нибудь задеть или мне самому послужить помехою в моих делишках, я волен отказаться от своей правды, и не только волен, но даже должен, если хочу показаться г. Дымману неглупым человеком. По его соображениям, очень логическим, ясно выходит, что умным человеком нужно считать только того, кто умеет нажить состояние. Вот слова г. Дыммана (стр. 177):

«Можно ли удивляться, когда люди, проведая, что у кого-нибудь есть много средств к жизни (денег), хотя бы без всякой надежды получить из них и самонаименьшую частицу, низко тому кланяются и оказывают величайшее уважение. Не только невозможно, *но по самой строгой справедливости нельзя не уважать того, у кого много средств к жизни*, потому что, если он приобрёл эти средства, или, лучше сказать, этих *свидетелей ума*, сам, то нет сомнения, что он человек умный, а умных людей должно уважать. Если же эти средства к жизни он не сам приобрёл, а получил их по наследству, то из уважения как к его умному деду и прадеду, их приобретшим, так равно и к самым этим, в его распоряжении находящимся средствам, нельзя не уважать его.

Чрезвычайно много есть людей, пользующихся в свете репутациею умных, которые, пройдя поприще своей жизни, живут в большой бедности, то есть, без средств к жизни. В великость ума этих людей я верить не могу как потому, что истинно умный человек должен скорее и ловче найтись к приобретению средств к жизни, как самой необходимейшей потребности к существованию, чем глупый, так и оттого, что гораздо легче прослыть в свете глупому умным, чем честным образом (!) нажить состояние: только ловко пустя людям пыль в глаза, то они тебя и запишут в умницы, ибо им это ничего не стоит; но чтобы от них получить средства к жизни, то надобно по крайней мере пустить им пыль в глаза золотую. Я сам не богат именно оттого только, что во время моей деятельной жизни не довольно был сметлив».

Автор «Науки жизни» хлопочет, однакоже, о том, чтобы нажить состояние не иначе, как *честным образом*. Взятничество, казнокрадство, грабёж, делание фальшивой монеты он признаёт деяниями преступными и низкими. Но что же он понимает под *честным* нажи-

ванием состояния? Опять ту же угодливость, умеренность и аккуратность. Он говорит, что «хитрое поле житейское мы должны пройти в полной и непосредственной зависимости от людей, наших непостижимых братьев, и *непрерывно* по их кодексу, называемому общежитием... Это хитрое общежитие, базис нашей жизни, есть *тончайшее*, какое только мог придумать людской ум, *поведение человека* в отношениях его к людям всех сословий и состояний» (стр. 189). Понимаете ли дипломатику науки жизни, по г. Ефиму Дымману: грабёж и взятки—довольно грубые средства обогащения, и потому они не приняты в общежитии, которое состоит в *тончайшем поведении*. Именно этому *тончайшему поведению* тончайшим образом и учит г. Дымман. Вот некоторые черты его.

При первой встрече с. незнакомым человеком всегда нужно смотреть, не переодетый ли это разбойник или неблагонамеренный фискал. Это правило выражено у г. Дыммана на 235 стр. следующим образом:

«Вмени себе в неизменный закон, при первом знакомстве с каким бы то ни было человеком тотчас спросить себя самого и следить внимательно о том, точно ли тот, чем он называется и кого собою представляет: может быть, это переодетый мошенник, плут, разбойник, неблагонамеренный фискал, который хочет от тебя что-нибудь выведать и вовлечь в худое дело, обмануть или обворовать, или иным каким-нибудь образом сделать тебе несчастие».

И не только с незнакомыми, но и вообще с людьми надобно быть крайне осторожным:

«Будь всегда как можно более осторожным с людьми и во всех делах. Но более всего надобно осторожности в словах: никогда ни с кем не говори о политике и не рассуждай о Правительстве; это самый опасный разговор; в нём могут представить твои слова совсем в другом виде и оклеветать тебя, и чрез то одним разом можешь ты безвинно потерять всё и даже самую жизнь» (стр. 239).

В служебной деятельности г. Дымман предписывает—в одну сторону покорность, в другую—строгость:

«В отправлении своей обязанности беспрестанно помни, и всегда над ними трудись, два главных обстоятельства: 1) *безусловно угодять* своему начальнику и 2) *держат* всех подчинённых в порядке и повиновении».

Для этого первым твоим долгом будет узнать в точности и подробнейшим образом всё своё начальство, *порознь каждого*: их методу по службе, характер, правила, образ мыслей, их слабости, семейную жизнь и связи. Потом, *каково бы ни было твоё начальство, хорошо или худо*, должен ты, соображаясь с обстоятельствами, действовать так, чтобы *всенепременно снискать его доброе к себе расположение*, потому что если начальство тебя не жалует, или имеет об тебе дурное мнение, то твоя служба пропала, хотя бы ты был гением своего дела и исполнял его наилучшим образом. Более всего в этом случае надобно ладить с окружающими твоих начальников, потому что, хотя и можно временно приобрести милостивое расположение начальника без их пособия, но, при малейшем их к тебе неблагоприятии, как бы начальник твой ни был совершен, правдив и строг, они непременно найдут случай его против тебя вооружить».

С подчинёнными г. Дымман советует обходиться ласково и справедливо, но только не позволять им непокорности.

«Если в ком-нибудь из твоих подчинённых заметишь ты *хотя малейшую тень непокорности, неблагонамерения или невнимания к твоей власти*, то следи за всеми его действиями, особенно и неупустительно всякую мину!».

Если он тотчас раскается, то на первый раз можно простить его и только продолжать следить за ним. Но, «несмотря ни на какую личину преданности, если ты заметишь за твоим подчинённым *самое малейшее недоброжелательство или непокорность* в другой раз, то представь о нём начальству, как о *человеке неблагонамеренном и для службы вредном*» (стр. 268).

Заботливость г. Дыммана о юноше не ограничивается общественной его деятельностью, а проникает и в жизнь семейную: он даёт наставления относительно женитьбы. Нельзя не поблагодарить его за те золотые правила, которые предписывает он молодым людям. «Женись,—говорит,—никак не ранее 35 лет, *потому что, женившись моложе (например, 34 лет), мог бы ты иметь пятнадцать и более детей, что составило бы тебе тяжкое обременение*» (стр. 304). «Выбирая жену, составься с людьми почтенными». Если ты беден, то не женись на девушке без приданого: это есть «злодейство хуже разбоя, криминал, непростительное малодушие» (стр. 301). Но всего драгоценнее в этом отношении глава под названием: «Спасайся!» В ней заключается следующее мудрое правило: «Случится с тобою, молодой читатель, что какая-нибудь девица прельстит тебя при первой твоей с нею встрече, или что та, к которой ты был сначала равнодушен, начинает нечувствительным образом тебе нравиться, случится непременно, и не один раз». Что же делать в таком случае?—«Спасайся!»—воскликает г. Дымман. «От девицы, начинающей тебе нравиться, на которой ты по благоразумию жениться не можешь (а по г. Дымману, ранее 35 лет всякому *неблагоразумно* жениться, значит совет относится ко всем случаям подобного рода, бывающим со всеми молодыми людьми), нет другого способа спастись, как только от неё бежать и никогда с нею не встречаться». «Спасайся, спасайся»,—повторяет автор: «уйди из того дома и никогда в него более ни ногой» (стр. 304—305). Истинно благодетельные наставления! Советую вам, читатель, принять их безусловно. По крайней мере, что касается до меня, то я до 35 лет намерен ими постоянно руководствоваться. Я буду спасаться и спасаться от девиц, которые мне станут нравиться. Иначе,—шутка ли,—я могу, пожалуй, иметь к 35 годам «пятнадцать или более детей», что, действительно составит для меня немалое обременение!

Но всего лучше в книге г. Ефима Дыммана те места, где он говорит об *искательстве и угождении*. Тут он возвышается до самого восторженного пафоса:

«Угождение, угождение! (так восклицает г. Ефим Дымман). Божественный дар, небесный отвод всех неудач и препятствий, нектар от жажды,

Небесная манна от голода, всесильное оружие, равно побеждающее и сильного и слабого, и доброго и злого, для которого нет ни врага, ни мстителя.

Вот в чём, юноша, заключается средство, самое вернейшее из всех, ключ, свет, истинный генерал-бас науки жизни. Крепко и долго подумай над ним; и если ты будешь в состоянии *вполне* его постигнуть и *вполне* им воспользоваться, то в преуспевании твоём я тебе порукою» (стр. 214).

И вслед за тем автор начинает излагать известную мораль из «Горе от ума»:

«Во-первых, угождай всем людям без изъятия, и пр.».

В переложении г. Дыммана она представляет такой вид:

«Угождать надобно начальнику и подчинённому, сильному и слабому, умному и глупому, тому, с кем делаешь дела, и с кем, может быть, более не встретишься, своему слуге, мужику, всем и каждому, — в том святом убеждении, что в каждом человеке, каков бы он ни был, лучше припасти для себя доброе расположение, чем ненависть. Врагам своим нужно угождать вдвое, чтобы их превратить в своих друзей.

Ты будешь в отношениях, а может быть, и в зависимости у гордеца, обнаруживающего к тебе, в присутствии всех, явное презрение; у недоброжелателя, надрывающегося на твою пагубу; у завистливого, который будет сохнуть от твоих удач; у чудака, упорствующего в самых безумных и вреднейших суждениях и поступках; одним словом, у людей, переполненных такими чудовищными, уродливыми и даже иногда злодейскими влечениями (к счастью, такие люди довольно редки), что они тебя сначала поразят и отнимут у тебя к угождению им всякую надежду; но ты бодрости духа не теряй и к принятию от таких людей всевозможных неприятностей приготовь и предрасположи себя заблаговременно и решительно, на тот конец, чтобы никакое зло, как уже предвиденное, не могло тебя поразить. Потом дай с твёрдостью самому себе такой обет: «Чем злее человек и его действие, тем более я должен изыскать мер и приложить старания к тому, чтобы заслужить его к себе доброе расположение непременно, и тем отвратить от себя всякий, могущий произойти от его злости вред». Наконец, вмени своему самолюбию в торжество и славу — снискать расположение к себе именно того, кому наитруднее угодить» (стр. 215).

Вы скажете, что такое угождение людям негодным, даже злодеям, необходимо должно переходить в подличанье, должно соединяться с полным отсутствием в человеке совести и чести. Вы готовы осудить г. Дыммана как проповедника безнравственности... Но не будьте слишком торопливы: г. Дымман спешит предупредить вас. Он сам не менее вас ненавидит обман и подлость, и, вследствие того, вот как объясняется с юношею относительно правил общежития:

«Боюсь я, чтобы ты, юноша, будучи, может быть, очень юным, этого всеми принятого общежития не понял превратно и не подумал, что надобно сделаться обманщиком или коварным лицемером. Нет, это две вещи совершенно разные. Для лучшего твоего уразумения привожу тебе пример: встречаешь ты, положим, *отъявленного недоброжелателя и во всём дурного человека*; но вместе с тем по его отношениям и степени, на которой он стоит, человека *сильного*; то, вместо того, чтобы обнаружить к нему явную ненависть и отвернуться от него, ты должен, не показывая к нему ни

малейшего нерасположения, обойтись с ним учтиво и вежливо. Это есть общежитие. Бесстыдные же и бесчестные обман и коварство суть слишком известные пороки, чтобы им приводить примеры» (стр. 190).

Ясно ли? От вас требуется только общежитие; а бесчестных поступков вам вовсе не предписывают. И отчего же не признать благо-разумными и добродетельными, например, следующих поступков, предписываемых юношам г. Ефимом Дымманом:

«Для вернейшего пользования обворожительным вниманием, советую тебе, юноша, завести, непременно завести книгу, в которую должен ты вписывать, по алфавитному порядку, имена и отчества всех твоих начальников, товарищей и знакомых на тот конец, чтобы, *перечитывая от времени до времени*, мог ты каждого называть *по имени и отчеству*, что с твоей стороны будет очень учтиво и внимательно, а для тех, которых ты будешь так величать, *чрезвычайно приятно*. Сверх того, знание имён и отчеств будет тебя часто выводить из затруднения при надобности писать письма к старым своим знакомым, которых долго не видал.

Пример. Обедаешь ли ты у знатного лица и за столом, в общем разговоре, какой-нибудь *значительный человек*, с которым ты никогда не имел и не имеешь прямых сношений и сам не знаешь его имени и отчества, *вдруг при всех называет тебя, человека малозначащего, по имени и отчеству. Вообрази себе это живо, и ты поймёшь, как было бы оно лестно и приятно для твоего благородного самолюбия»* (стр. 225).

В сношениях с людьми нужными и даже ненужными г. Дымман советует постоянно похваливать их, так как похвала никогда ничего не испортит и так как нет человека, у которого не было бы чего-нибудь, стоящего похвалы.

«Не опасайся, чтобы кто-нибудь мог тем обидеться, и будь уверен, что как бы кто твои похвалы ни принимал, но последствия всегда выйдут сдвни и те же, то есть что он к тебе будет расположен наилучшим образом. К этому ещё надобно добавить, что если бы ты в беседе с кем-нибудь не находил предмета к разговору, то начинай смело хвалить его самого или его одежду, экипажи, лошадей, дом и всё, что у него знаешь хорошего. Разговор, начатый таким образом, всякий станет продолжать охотно, и всегда за него будет к тебе признателен. Такова человеческая природа!» (стр. 254).

Кроме похвалы, г. Дымман советует пускать в дело и *корысть*, то есть невинным образом подкупать значительных людей:

«В знакомствах и отношениях с людьми значительными можно с умом и ловкостью употреблять самую ничтожную корысть с успехом, например: пригласить кстатн приятный сюрприз их детям, поднести им какую-нибудь безделку нового изобретения, проиграть самые незначительные деньги в коммерческую игру, и другими подобными угождениями можно снискать расположение самого бескорыстного человека» (стр. 252).

Такое практическое правило выведено г. Дымманом из того наблюдения, что, «к несчастью, теперь корысть сделалась сильнейшим двигателем всего человеческого рода» (стр. 252).

То же самое замечает г. Ефим Дымман и относительно гордости. Порок этот он считает «до того *безумным, отвратительным и неприличным человеку*, что так и хочется сказать гордецу: надменный, наду-

тый гордец! К чему ты гордишься? Вразумись, заблудший»... и пр. (стр. 247). Однакоже юноше г. Дымман не советует так отделять гордецов, а даёт такое правило: «а гордцами смело повелевай одним угождением; им же угождать не трудно: знай *перед ними рассыпай* пустую похвалу, и сделаешь из них, что тебе угодно» (стр. 248).

Но довольно, кажется. Вы познакомились, читатель, с «Наукою жизни» и, конечно, исполнились уже благородного негодования к её правилам. Вы находите, что они безнравственны, что иезуитство и маккиавелизм их возмутительны для честного человека, для которого дороги убеждения, что житейская дипломатия «Науки жизни» в сущности есть не что иное, как последняя степень нравственного и умственного растления... Воспламеняясь благородными чувствами, вы начинаете смотреть на автора «Науки жизни» как на что-то исключительное, чудовищное, должествующее пугать людей; вы полагаете, что теории его так дики, что никого не заразят; вы даже свысока удивляетесь, зачем мы так долго останавливаем ваше внимание на такой ничтожной брошюре безвестного автора, не имеющего ничего общего с современными стремлениями нашего общества... Но успокойтесь, читатель, вникните в дело хладнокровно и примите пожалуйста во внимание несколько *обстоятельств*, которые мы вам сейчас изложим.

Мы сами с первого раза возмутились было бесцеремонными советами г. Дыммана и готовы были считать его человеком отсталым, явлением исключительным в нашем обществе, которое так быстро идёт по пути прогресса. Но после некоторого размышления мы решительно переменили свой взгляд. Действительно, говоря отвлечённо, нельзя не признать вполне справедливым то негодование, которое человек, смотрящий со стороны, должен почувствовать к теориям г. Дыммана. Но в том-то и дело,—имеем ли мы право поставить себя совершенно в стороне от этих теорий. Что касается до нас, то мы готовы признаться (как это ни горько), что в деле нравственности общественной мы не решаемся считать себя совершенно чистыми от последования советам г. Ефима Дыммана. Такое признание, конечно, вызовет у вас презрительную улыбку. Но не торопитесь: мы в своих недостатках признаёмся так смело потому ведь только, что уверены и в вас найти те же самые... Да, читатель, кто бы вы ни были, но ежели только вы живёте и действуете среди современного русского общества, то я смело говорю, что вы не можете стоять слишком высоко над «Наукою жизни» г. Ефима Дыммана. Скажите, что вас возмущает в ней? То, что человек, повидимому, понимающий и уважающий правду и добро, сознательно приносит их в жертву житейским выгодам? Да кто же из нас этого не делает? Кто же из нас беззаветно и всецело отдаётся своим чистым стремлениям, не оглядываясь назад, не увлекаясь соблазнами мира, не боясь ни гонений, ни пытки, ни смерти? Где этот рыцарь без страха и упрёка, где этот человек не от мира сего?

Где ты? Откликнись! Нет ответа...

Все мы, проходя разные науки, набрались более или менее разных идей о правде и добре, все мы более или менее проникнуты святыми и высокими стремлениями, сочувствуем общественным интересам. Но ведь всё то же самое есть и в г. Дыммане: и он говорит о правде и честности, и он советует заботиться о своих ближних, даже о подчинённых и слугах. «Делай добро всегда, когда это не составит для тебя никакого неудобства; будь честен и правдив постоянно, когда это нисколько не нарушает твоего комфорта»,—это правило проникает собою всю книгу г. Дыммана, и... оно же постоянно выражается в жизни каждого из нас. Мы только не имеем добросовестности признаться в этом—ни другим, ни даже себе самим. А разве, например, я или вы, читатель, не соблюдаем той *осторожности в словах*, о которой говорит г. Дымман на стр. 239 (см. выше)? Разве мы не встречаем беспрестанно в обществе людей, которых признаём дурными и вредными, и разве мы с ними не обходимся *вежливо* вместо изъявления им прямо своего нерасположения? Разве не оказываем уважения деньгам, оправдывая на практике умозрения г. Дыммана? Разве не смеёмся вместе с ним над *«какой-то девственной совестливостью или лучше малодушием»* тех людей, которые ничего и ни в ком не умеют *снискать* себе?.. Разве мы не ищем расположения начальства, не радуемся вниманию значительного лица, не бежим от женитьбы на бедной девушке, не желаем приобрести капиталец? Не называем ли мы утопистами, мечтателями, сумасбродами тех, кто толкует о счастье в хижине, о верховной силе истины в мире, всеобщем братстве, об уничтожении всех искусственных преград, всех давящих и озлобляющих отношений между людьми? Будем же последовательны, сделаем простой силлогизм из следующих положений, неизбежно представляющихся нашему вниманию.

Человеку нужно счастье, он имеет право на него, должен добиваться его, во что бы то ни стало.

Счастье,—в чём бы оно ни состояло применительно к каждому человеку порознь,—возможно только при удовлетворении первых материальных потребностей человека, при обеспеченности его нынешнего положения.

При современном устройстве и направлении общества не может достигнуть обеспеченности, не может и думать о достижении счастья тот, кто будет во всём, постоянно и неуклонно, следовать своим высоким стремлениям, ни разу не уступит обычаю и силе, не затаит своей правды. Известно, что такого человека не терпят в обществе и не дают ему ходу, как беспокойному и опасному вольнодумцу.

Согласны вы принять эти три положения? Или, может быть, вы скажете, что наше современное общество уже даёт полный простор честным людям,—что у них уже не может теперь оставаться за душой невысказанной мысли, не может встретить помехи задуманное предприятие? Неужели вы решитесь сказать это? В таком случае немного же имеете вы за душою честных убеждений!..

Итак, я полагаю, что вы принимаете все три положения, указанные выше. Что же из них следует? По моему мнению, вывод не труден для человека, действительно уважающего правду и в самом деле желающего общего блага. Если настоящие общественные отношения не согласны с требованиями высшей справедливости и не удовлетворяют стремлениям к счастью, создаваемым вами, то, кажется, ясно, что требуется коренное изменение этих отношений. Сомнения тут никакого не может быть. Вы должны стать выше этого общества, признать его явлением ненормальным, болезненным, уродливым и не подражать его уродству, а, напротив, громко и прямо говорить о нём, проповедывать необходимость радикального лечения, серьёзной операции. Почувствуйте только как следует права вашей собственной личности на правду и на счастье, и вы самым неприметным и естественным образом придёте к кровной вражде с общественной неправдой... Тогда-то, и только тогда, можете вы с полным правом считать себя честным человеком, и вам уже возможно будет отвергать тёмные сделки с ложью и неправою силою...

Но вы не чувствуете в себе довольно сил для того, чтобы восстать против целого общества? Ведь вы одни, а этих людей, с которыми нужно бороться, так много, и они так сильны!.. Страшно даже вообразить себя в открытой борьбе с ними! И что тут сделаешь? «Один в поле не воин; исторический прогресс, торжество правды и света совершается трудно и медленно...» Если так, то нечего нам и говорить с вами: идите за «Наукою жизни» г. Ефима Дыммана. Ведь и в ней толкуется (вы это видели), что не нужно восставать против заведённых порядков: со временем они сами собою улучшатся, а до тех пор надобно пользоваться тем, что есть. Ведь и г. Дымман пришёл к своей практической мудрости именно вследствие той основной мысли, что «света нам не переделать, а с волками жить, так надо по-волчьи и выть». Ступайте же за г. Дымманом, признайте его своим учителем и вождем; мы не бросим в вас камня, как и в него не бросаем. Но только будьте добросовестны: идя за своим наставником, не прикидывайтесь людьми непоколебимых убеждений, не щеголяйте презрением к практической мудрости, излагаемой в «Науке жизни». Вы можете кричать против взяток, против угнетения, против обмана, телесного наказания и пр., и пр. Всем этим вы недалеко уйдёте от г. Дыммана, и у него есть советы: не брать взяток, не драться, не отдавать денег в рост, не делать грубости подчинённым и т. п. И всё это не мешает ему проповедывать *умеренность* и *угодливость*. Вы можете считать это безнравственным и бесчестным, сколько вам угодно; но всмотритесь пристальнее в собственное поведение, и вы увидите, что, на практике, вы беспрестанно делаете именно то, что советует «Наука жизни». Не что иное, как молчалинская *умеренность* вызывает у вас эти восторженные похвалы и неистовые клики радости при каждой вашей общественной поправке из кулика в рогожку. Не что иное, как *угодливость*, заставляет вас целые годы и десятки лет сидеть сложа руки и грустным взором смотреть на зло и неправду в обществе. Может быть, вы при этом и не стремитесь упрочить

себе состояние, как советует г. Дымман; но, во всяком случае, вы любите мир, тишину и комфорт... Добро и правда существует у вас только в умозрении, да и то где-то далеко, на втором плане... Вы можете смело идти рука об руку с г. Дымманом... Сделайте над собой маленькое усилие и признайтесь, что в «Науке жизни» возведён в систему только наш постоянный образ действий.

Но вам всё ещё совестно признаться в этом? Вам хочется оправдать свой образ действий общеою человеческой слабостью, и вы хотите поставить между собой и г. Дымманом то различие, что он одобряет *искательство, угождение* и ложь всякого рода для житейской выгоды, а вы гнушаетесь ими и только по слабости и вследствие крайней нужды впадаете в них сами по временам. Но ежели так, ежели вы в самом деле гнушаетесь тем поведением, которое считает похвальным г. Дымман, то ваш долг, как честного человека, не потакать себе, а принять совершенно противоположный образ действий. Пока вы будете с обществом связаны теми же отношениями и интересами, как теперь, до тех пор вам невозможно приобрести полного простора для ваших честных, правдивых стремлений; вы необходимо должны будете продолжать свои уступки в пользу существующего и укоренившегося зла. Значит, первым признаком того, что вы действительно гнушаетесь сделками, предлагаемыми в «Науке жизни», должна служить опять-таки ваша решимость—предпринять коренное изменение ложных общественных отношений, господствующих над нами и стесняющих нашу деятельность. И не нужно пугаться того, будто вы одни должны будете бороться с неправдою целого мира. Такого героизма вовсе не потребует. Правда, свет и счастье нужны всем; всякий к ним стремится, и всякий остаётся без удовлетворения в современном обществе. Вследствие этого всякий чувствует недовольство окружающей его обстановкой, и всякий рад был бы от неё избавиться. Разумеется, каждый отдельно боится приниматься за большое дело; но потому-то и надо стараться, чтобы это дело из сознания частных лиц всё более и более переходило в общее сознание. Этой цели могут способствовать и творения, подобные книге г. Ефима Дыммана: серьёзно и добродушно, в систематическом порядке, с убеждением и даже пафосом, излагают они кодекс отвратительной морали, при которой одной только и возможен житейский успех в современном обществе. Все пользуются более или менее этой моралью, но никто не хочет возводить её в правило, обязательное для себя. Прочитав книжку г. Дыммана, всякий, у кого сохранился в натуре остаток честности, должен прийти в состояние человека, который долгое время по слабости характера позволял марать себе лицо жжёной пробкой, поить себя уксусом, вместо вина, и всячески над собою издевался известному богачу и который вдруг прочитал о себе бумагу, что он находится в кабале у этого богача и необходимо должен выносить от него всякие оскорбления. Естественно, что первая мысль, первое движение несчастного, при всей слабости его характера, будет—употребить отчаянное усилие, чтобы избавиться от этой кабалы. Таково же должно быть и впечатление *откровений* г. Дыммана на всякого человека, который в душе предпочитает правду лжи, свет—мраку и об-

щее счастье—страданиям огромного большинства, претерпеваемым в угоду немногих тунеядцев. И вот почему мы так долго останавливались на разборе этой книги. Мы сочли небесполезным для людей, слишком заботящихся о сохранении нынешнего status quo, представить беспристрастное, систематическое изложение их нравственности, почерпнутое из книги опытного старца, Ефима Дыммана. Пусть полюбуются на себя и пусть знают, что истинное достоинство их поступков не укрывается от людей, вступающих в жизнь с энергическими надеждами и желающих серьёзного, истинно честного дела...



ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Н. А. Добролюбова статьи его не были собраны и ни разу не выходили отдельными книгами. Первое собрание сочинений Добролюбова начал издавать Н. Г. Чернышевский в 1862 г. До ареста Чернышевского успело выйти лишь четыре из намеченных пяти томов этого собрания сочинений Добролюбова. Этот четырёхтомник, не претендовавший на полный охват всего литературного наследия Добролюбова, много раз переиздавался без всяких дополнений и изменений.

Текст статей, входящих в настоящий сборник, перепечатывается из Полного собрания сочинений Добролюбова под общей редакцией В. И. Лебедева-Полянского*.

Примечания к тексту составил С. Я. Штрайх; они помечены в тексте порядковыми номерами. Примечания самого Добролюбова печатаются в сносках под текстом и помечены его инициалами (Н. Д.). Переводы иностранных слов и выражений в статьях Добролюбова выполнены составителем примечаний; они также печатаются в сносках под текстом и помечены сокращённо «Ред». Слова, оставшиеся в рукописях или в прежних печатных изданиях недоконченными, восстановлены в прямых скобках.

ПИСЬМО К В. В. ЛАВРСКОМУ

¹ Опубликовано Н. Г. Чернышевским в книге «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах», т. I, М. 1890; печатается по тексту этого издания (стр. 323 и сл.). В Полное собрание сочинений не вошло.

² Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел».

³ Н. Г. Чернышевский поясняет: «Любовь к людям, человечеству».

⁴ Андрей Егорович — Востоков, преподаватель нижегородской семинарии.

⁵ Здесь пояснение Н. Г. Чернышевского: «То-есть не находите дурными понятия, не согласные с семинарской метафизикой».

⁶ «Православие, самодержавие, народность» — девиз реакционного министра 30—40-х годов XIX века С. С. Уварова. Под «народностью» здесь подразумевалось крепостное право.

* Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах под общей редакцией В. И. Лебедева-Полянского, «Художественная литература», т. I, 1934; т. II, 1935; т. III, 1936; т. IV, 1937 и т. VI, 1939. Том V не вышел.

⁷ Из цензурных соображений Н. Г. Чернышевский опустил здесь несколько слов, пояснив в подстрочной выноске: «Следуют примеры того, какими вопросами занимаются в академиях». Имеется в виду духовная академия.

⁸ «Православный Собеседник» — духовный журнал, издавался в Казани с 1855 г.

⁹ Рассуждения о «тлетворном дыхании буйного Запада», о «пагубных убеждениях», о Герцене и т. п. носят, конечно, иронический характер.

¹⁰ Отец Паисий — иеромонах, инспектор нижегородской семинарии, в которой учился Добролюбов. Иеремия — епископ нижегородский.

О ЗНАЧЕНИИ АВТОРИТЕТА В ВОСПИТАНИИ

(Мысли по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова)

¹¹ Статья впервые была опубликована в «Современнике» (1857, № 5, стр. 43 и сл.). Здесь печатается по Полному собранию сочинений, т. III, стр. 13—29. Эта статья — одно из первых развёрнутых высказываний Добролюбова по вопросам воспитания; написана по поводу нашумевшей после Крымской войны статьи гениального русского хирурга Н. И. Пирогова «Вопросы жизни — отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофициальными статьями «Морского сборника» о воспитании»; статья Пирогова была напечатана в «Морском сборнике» (1856, № 9, июль, стр. 559 и сл.) и тотчас была перепечатана полностью во многих журналах, а также переведена на западноевропейские языки. После Крымской войны Пирогов был одним из самых популярных русских общественных деятелей. Статья Пирогова привлекла к себе внимание читателей оригинальностью и смелостью высказываний автора, чрезвычайно прогрессивных для того времени. Вокруг статьи создалась огромная литература, в которой видное место занимает одобрительный отзыв Н. Г. Чернышевского, который писал в «Современнике» об авторитете Пирогова, отмечал те места статьи прославленного хирурга, где говорится о необходимости общего развития наряду со специальными знаниями. Статья Добролюбова «О значении авторитета...» имела в журнале заглавие: «Несколько слов о воспитании (по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова)». Настоящее заглавие вызывало опасения в цензурном отношении. Признавая, что ни одна из многочисленных тогдашних педагогических статей не имела такого успеха, как «Вопросы жизни», Добролюбов использовал некоторые мысли великого хирурга для высказывания своих революционных взглядов, для борьбы с мистицизмом, для пропаганды свержения царизма.

¹² Имеется в виду статья пастора Зедергольма «Домашнее и общественное воспитание», написанная по поводу статьи Пирогова; автор возражает Пирогову с точки зрения религиозной.

¹³ Говорится о книге французской писательницы А. Сталь «О Германии» (1810), написанной на основании впечатлений от поездки по Германии в 1802 г.

СОКРАТОВО УЧЕНИЕ ПО КСЕНОФОНУ, В ВИДЕ РАЗГОВОРОВ, В ЧЕТЫРЁХ КНИГАХ

Перев. с греческого Ив. Синайским

¹⁴ Опубликовано в «Современнике» (1857, № 11, стр. 28 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. III, стр. 327—330.

¹⁵ Добролюбов привёл эту беседу для сравнения Главкона с невежественными государственными деятелями царской России.

ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ

Из записок отставного надворного советника Щедрина

¹⁶ Статья появилась в «Современнике» (1857, № 12, стр. 49 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. I, стр. 181—202.

¹⁷ «Губернские очерки» печатались в «Русском вестнике» начиная с книги 8 за 1856 г. Тогда этот журнал М. Н. Каткова был органом умеренно-либерального направления. Его редактор М. Н. Катков в это время ещё не выступал открыто с позиций самодержавно-крепостнической идеологии. Цитаты Добролюбова из разных мест «Губернских очерков» в отдельных случаях неточны.

¹⁸ Из стихотворения Лермонтова «Дума».

¹⁹ Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Не верь себе».

²⁰ Из стихотворения Пушкина «Клеветникам России».

²¹ Из стихотворения Н. Ф. Щербины «Поэту» (1855).

²² *Надимов* — герой комедии В. А. Соллогуба «Чиновник».

²³ Слова Первого комического актёра в «Развязке Ревизора» Гоголя.

²⁴ Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Жизнь».

²⁵ Из стихотворения А. В. Кольцова «Лес» (не точно).

²⁶ Из стихотворения Кольцова «Что ты спишь, мужичок?»

²⁷ Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Дума».

²⁸ Имеется в виду комедия В. В. Капниста «Ябеда».

²⁹ «*Прошлые времена*» — серия рассказов в «Губернских очерках».

³⁰ Изменённая цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

³¹ Неточная цитата из стихотворения Н. М. Карамзина «Илья Муромец».

³² Неточная цитата из стихотворения Г. Гейне «Уж слишком отрывочна жизнь и вселенная». В переводе поэта 60-х годов В. Д. Костомарова:

«Шлафрок надевши и спальный колпак,
Он штопает дырки всего мироздания».

О СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ НАРОДНОСТИ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Очерк истории русской поэзии» А. Миллюкова

³³ Напечатано в «Современнике» (1858, № 2, стр. 113 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. I, стр. 203—245.

³⁴ *Гоголевский период* — так назвал Чернышевский (см. «Очерки гоголевского периода русской литературы») эпоху литературно-критической деятельности В. Г. Белинского, имя которого было долго под цензурным запретом.

³⁵ Имеется в виду реакционная книга Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (Петербург 1847) и отклик Белинского на эту книгу — «Письмо к Гоголю». Последнее написано в июле 1847 г. за границей, где Белинский тогда лечился. До революции оно широко распространялось в списках, так как не разрешалось царской цензурой к печати.

³⁶ *Гениальный критик* — В. Г. Белинский.

³⁷ *Два-три человека* — А. И. Герцен, Н. П. Огарёв и члены их кружка. В эпоху Белинского внимание публики к философским вопросам привлёк главным образом Герцен своими статьями «Диллетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» (см. Герцен, Избранные философские сочинения, Соцэкгиз, М. 1940).

³⁸ Стихи А. С. Пушкина из «Евгения Онегина» (глава 8, строфа 51). *Иных уж нет*: В. Г. Белинского; В. Н. Майкова; *а те далече*: А. И. Герцен, Н. П. Огарёв.

³⁹ *Церемониальные процессии* — намёк на коронацию Александра II.

⁴⁰ Тогдашний читатель понимал, что Добролюбов имеет в виду царскую цензуру и других душителей свободного слова.

⁴¹ Слова Антония о Бруте в «Юлии Цезаре» Шекспира.

⁴² Имеется в виду Байрон.

⁴³ *Софроний* — автор повести «Задонщина», на которой основано «Сказание о Мамаевом побоище».

⁴⁴ «*Правда русская*» — важнейший исторический сборник древнерусского права. Новейшие издания: т. I, М.-Л. 1940, под ред. акад. Б. Д. Грекова; М. 1941.

⁴⁵ См. статью Добролюбова «Первые годы царствования Петра Великого» (стр. 192 и сл.).

⁴⁶ Начало оды «О удовольствии»; цитировано не точно. У Державина вместо «дерзка» — «буйна».

⁴⁷ В «Современнике» вместо взятого в прямые скобки было: «В этом заключается важная заслуга их пред русской литературой; в этом мы видим их историческое значение; но если мы захотим взглянуть на тот же предмет преимущественно с точки зрения народности, то нельзя не сознаться, что слова тех, которые говорят: Карамзина и Жуковского любят и знает вся Россия, — несколько преувеличены. Несправедливо будет утверждать, что вся Россия заключается в нас только, людях учёных, а всё остальное, находящееся вне нашего круга, вовсе недостойно литературы, — нет, коренная...»

⁴⁸ *Пиндарическая школа* — одно из названий русского классицизма высокой одической поэзии XVIII века, производящегося от имени древнегреческого аристократического поэта Пиндара.

⁴⁹ Эта оценка Пушкина обусловлена, с одной стороны, скудным состоянием литературы о великом поэте при жизни Добролюбова, неполнотой опубликованных к тому времени его произведений, искажённых цензурными урезками и изменениями. С другой стороны, эта оценка объясняется условиями момента, когда революционным демократам приходилось бороться с либералами. В других, более ранних высказываниях о Пушкине (заметка для «Слухов» — 1855 г., Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 434 и сл.; статья «А. С. Пушкин» — 1857 г., Полное собрание сочинений, т. I, стр. 107 и сл.; статья «Сочинения Пушкина» — 1858 г., Полное собрание сочинений, т. I, стр. 313 и сл.) и в позднейших (вплоть до статьи о стихотворениях И. С. Никитина — 1860 г.), Добролюбов подчёркивал связь творчества гениального русского поэта с жизнью, отмечал реализм в его творчестве, страдавшем от цензуры господствующего класса. Во всех статьях, где ему приходилось говорить о великом поэте, Добролюбов требовал всестороннего изучения творчества Пушкина для его правильного понимания и оценки.

⁵⁰ Из «Евгения Онегина».

⁵¹ Из стихотворения «Дар напрасный».

⁵² Из стихотворения «Поэт и толпа» («Чернь») не точно.

⁵³ Из стихотворения «Клеветникам России» (не точно).

⁵⁴ Почти полностью приведено стихотворение Лермонтова «Родина».

⁵⁵ Имеется в виду либерально-буржуазная обличительная литература 60-х годов; нападая на бытовые мелочи, она обходила коренные вопросы русской жизни.

⁵⁶ Из «Недоросля» Д. И. Фонвизина.

⁵⁷ «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

⁵⁸ Из оды «Фелица».

⁵⁹ Имеется в виду ода В. А. Жуковского «Певец в стане русских воинов» и пародия на неё К. Д. Батюшкова «Певец в беседе славянороссов»; последняя опубликована в № 5 «Современника» за 1856 г., в статье М. Н. Лонгинова.

⁶⁰ *За границу* — при Николае I такие поездки разрешались очень редко и с большими затруднениями.

ЖИЗНЬ МАГОМЕТА

Сочинение Вашингтона Ирвинга. Перев. с англ. Петра Киреевского

⁶¹ Появилась в «Современнике» (1858, № 2, стр. 168 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. III, стр. 334—339. Статья представляет интерес главным образом развитием мыслей Добролюбова о роли личности в истории, более подробно изложенных в статье «Первые годы царствования Петра Великого» (см. стр. 192 и сл.).

⁶² *Кааба* — древнее святилище у арабов в Мекке, где находился чёрный камень, якобы принесённый из рая. Магомет объявил этот камень святыней основанной им религии.

⁶³ *Сабейзм* — религия арабских племён, до магометанства обоготворявших небесные светила (от имени аравийского племени сабеев); гебрское, гвеврское — от названия парсов, поклонников огня.

⁶⁴ *Номады* — кочевники.

⁶⁵ *Корейшане* (корейшиты) и *гашемиды* — арабские племена; на языке первых написан Коран — священная книга мусульман.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ЖИЗНИ

Сочинение заслуженного профессора В. Берви

⁶⁶ Опубликовано в «Современнике» (1858, № 3, стр. 30 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. III, стр. 342—349. Статья написана в связи с отказом студентов Казанского университета слушать лекции Берви. Разбираемое здесь сочинение напечатано в «Учёных записках Казанского университета» (1858). Автор его — В. Ф. Берви, по окончании Медико-хирургической академии был судебным врачом, затем акушером. Узнав, что в Казани свободна кафедра физиологии, Берви хлопотал о назначении его туда профессором. Комиссии, рассматривавшие сочинения Берви, признавали их неудовлетворительными. Однако он был назначен профессором ввиду заявления министра просвещения князя К. А. Ливена, что «многие известные лица дали весьма хорошие отзывы о нравственных качествах Берви». Развитие экспериментального материалистического направления в физиологии испугало Берви. На своих лекциях он заявлял: «Материалисты воображают открыть нам тайны природы. Это для общего блага страшное направление умов вменяет в обязанность каждому содействовать по силе возможности отражению идеи материализма». Это говорилось в середине 50-х годов, когда большинство русской молодёжи с увлечением изучало естественные науки. Студенты послали Берви письмо (подписало свыше 70 слушателей старших курсов), в котором прогнали его ввиду «преклонных лет и слабости» для общей пользы сложить с себя тяжёлую обязанность «профессора, требующую сил свежих и молодых». Берви передал письмо начальству. Дело дошло до министра, который потребовал, чтобы студенты просили у Берви извинения. Студенты выполнили это требование, но тут же заявили, что всё-таки слушать лекций Берви не будут. Профессору пришлось оставить университет. «Виновным» студентам грозило наказание. Статья Добролюбова помогла им избежать тяжёлых последствий гнева начальства (см. у С. А. Венгеровой, Критико-биографический словарь, т. III, Петербург 1892, стр. 17 и сл.).

⁶⁷ Видоизменённые стихи из 4-й строфы оды Г. Р. Державина «Бог».

⁶⁸ Имеются в виду левые гегельянцы Штраус, Фейербах и др.

⁶⁹ *Кифа Мокиевич* — анекдотический персонаж «Мёртвых душ» Гоголя.

⁷⁰ «Письмовник» Н. Г. Курганова — распространённый в XVIII и в начале XIX века сборник грамматических правил, рассказов, стихов, анекдотов и пр.

⁷¹ О Берви см. ещё в статье «Органическое развитие человека...» (стр. 157).

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАНКЕВИЧ

(Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым)

⁷² Появилась в «Современнике» (1858, № 4, стр. 145 и сл.) с большими цензурными купюрами. Н. Г. Чернышевский восстановил текст в своём издании 1862 г. по рукописи и по типографским гранкам (хранятся в Пушкинском доме Академии наук). Печатается по Полному собранию сочинений, т. III, стр. 62—78. Статья написана в защиту исторического значения личности Станкевича. Направлена против статьи И. Льховского в «Библиотеке для чтения» (1858, № 3) о книге П. В. Анненкова, Н. В. Станкевич, М. 1857, недооценивавшей роль Станкевича. Для настоящего сборника особый интерес представляют содержащиеся в статье общие высказывания по вопросу о роли личности в истории развития человечества.

⁷³ Из статьи В. Г. Белинского, напечатанной при «Стихотворениях» А. В. Кольцова (Петербург 1846).

⁷⁴ Я. М. Н-в — Неверов, педагог, ближайший друг Станкевича. В дальнейшем фамилия Неверова и других приводится у нас без сокращений.

⁷⁵ Имеется в виду статья реакционера В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» («Русская беседа», 1856, № 4). Григорьев пытался доказать, что Грановский был не учёным, а дилетантом.

⁷⁶ Говорится о повести И. С. Тургенева «Фауст», напечатанной в «Современнике» за 1856 г. (№ 10).

⁷⁷ Имеются в виду знаменитые статьи Н. Г. Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы».

ОРГАНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В СВЯЗИ С ЕГО УМСТВЕННОЙ И ПРАВСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

(Органическое воспитание в применении к самообразованию и к развитию здоровья питомцев. Соч. К. Ф. Шнелля. Перев. с немецкого Ф. Бёмера. Спб. 1857 г. — Книга о здоровом и больном человеке. Соч. доктора К. Э. Бока. Перев. с немецкого И. Паульсона и Ф. Бёмера. Спб. 1857 г., две части)

⁷⁸ Опубликовано в «Современнике» (1858, № 5, стр. 1 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. III, стр. 90—113.

⁷⁹ В действительности Бетховен создал свои лучшие произведения в последние годы жизни, когда был совершенно глух. История музыки объясняет это тем, что композитор слышит сочиняемое им «внутренним» слухом.

⁸⁰ Из стихотворения Пушкина «Козлову».

⁸¹ Каспар Гаузер — имя человека, воспитанного вне человеческого общества. Это единственный пример во всей мировой истории. Таинственная судьба Каспара Гаузера занимала в XIX веке всю мировую печать. В 1828 г. появился в Нюрнберге юноша в крестьянской одежде, который не имел никакого понятия об окружающем, не умел говорить, хотя писал своё имя и фамилию. Его стали обучать и воспитывать. Через пять лет Каспар Гаузер был убит. Таинственные обстоятельства этого убийства, как и покушения на его жизнь в 1830 г. дали основание думать, что, повидимому, убийцы опасались его разоблачений. Тайна Каспара Гаузера так и осталась неразгаданной.

⁸² Стомах — желудок (греч.); выражение взято из семинарского быта.

ФРЕНОЛОГИЯ

Соч. Матвея Волкова. Спб. 1857. Отрывки из заграничных писем (1844—1848) Матвея Волкова. Спб. 1858.

⁸³ Опубликовано в «Современнике» (1858, № 5, стр. 48 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. III, стр. 355—361. Френология (греч., учение об уме) — «учение» немецкого врача Фр. Галля о связи между наружной формой черепа и умственными способностями человека. Заграничные письма Волкова — рассуждения реакционного публициста о восстании парижского пролетариата в 1848 г.

ОБ ИСТИННОСТИ ПОНЯТИЙ ИЛИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Сочинение Алексея Кусакова. Спб. 1858 г.

⁸⁴ Опубликовано в «Современнике» (1858, № 5, стр. 55 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. III, стр. 361—364.

⁸⁵ Изменённая цитата из стихотворения Н. В. Гербеля. Об его сборнике «Отголоски» (1858) Добролюбов напечатал статью в № 3 «Современника» за 1858 г. (Соч., т. I, стр. 340 и сл.).

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

История царствования Петра Великого. Н. Устрялов.

Спб. 1858 г., три тома

⁸⁶ Опубликовано в «Современнике» (1858, № 6, стр. 137 и сл.; № 7, стр. 1 и сл.; № 8, стр. 148 и сл.); в настоящем издании печатается только «статья третья и последняя» (Полное собрание сочинений, т. III, стр. 167—212), наиболее интересная для уяснения взглядов Добролюбова на философию истории.

⁸⁷ *Эпиграф* — из статьи В. Г. Белинского по поводу трёх книг о Петре I (см. Полное собрание сочинений, т. VI).

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ОЧЕНЬ ОБЫКНОВЕННОЙ ИСТОРИИ

⁸⁸ Опубликовано в «Современнике» (1858, № 12, стр. 630 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. III, стр. 284—299. Вичуя западно-европейскую либеральную буржуазию, Добролюбов имел в виду нарождающуюся отечественную буржуазию, готовую вступить в любую сделку с правительством помещиков-крепостников.

⁸⁹ 10 декабря 1848 г. — день избрания Луи Бонапарта президентом Французской республики.

⁹⁰ 2 декабря 1851 г. — день государственного переворота, совершённого Луи Бонапартом. Будучи президентом республики, он присвоил себе все права самодержавного монарха.

⁹¹ «*Парижские письма*» — очерки поэта и революционера М. Л. Михайлова в «Современнике» (1858, № 12, стр. 615—629 и сл.).

⁹² Конституция 14 (а не 15) января 1852 г. — результат переворота 2 декабря 1851 г. (см. примечание 90).

⁹³ Прокламация правителя Индии лорда Каннинга по поводу восстания сипаев в мае 1857 г. Он распорядился о конфискации земли у владельцев в районе восстания.

⁹⁴ 14 января 1858 г. — покушение Ф. Орсини на Наполеона III.

⁹⁵ Добролюбов писал ещё о Монталамбере в статье «Два графа» («Современник», 1860, № 12).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ ПРОШЛОГО ГОДА

⁹⁶ Опубликовано в «Современнике» (1859, № 1, стр. 1 и сл.; № 4, стр. 217 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. IV, стр. 40—92.

⁹⁷ Из характеристики Мазепы в 1-й песне «Полтавы» А. С. Пушкина:
⁹⁸ Видоизменённые заключительные строки стихотворения А. С. Пушкина «Демон».

⁹⁹ См. извлечения из статьи Добролюбова «Русская цивилизация, сочинённая г. Жеребцовым» (т. II, стр. 404 и сл.).

¹⁰⁰ Имеется в виду сцена за обедом у Манилова, когда лакей утёр нос барчонку («Мёртвые души», т. I, гл. 2).

¹⁰¹ В типографских гранках этой статьи (хранятся в Пушкинском доме) есть ещё большой отрывок о значении деятельности писателя, об её влиянии на читателей, если писатель затрагивает «вопросы далёкого будущего

или темы, в которых есть высший, общечеловеческий интерес» (Полное собрание сочинений, т. IV, варианты, стр. 466 и сл.).

¹⁰² *Фельетонист «Северной пчелы»* — Ф. В. Булгарин, тесно связанный с III отделением. *«Весельчак»* — юмористический листок, основанный в 1858 г. при участии журналиста О. И. Сенковского. Был рассчитан на мещан и мелких лавочников. *«Современник»* в нескольких статьях отмечал пошлость его содержания. Писал о нём и Добролюбов в статье «Уличные листки» (Полное собрание сочинений, т. III, стр. 387 и сл.).

¹⁰³ *«Московский телеграф»* — двухнедельный журнал, издавался Н. А. Полевым с 1825 по 1834 г. в Москве. В журнале участвовали лучшие деятели тогдашней литературы. Главным сотрудником был поэт и критик П. А. Вяземский; А. С. Пушкин сочувствовал журналу, печатал в нём свои произведения. Белинский отмечал впоследствии «живость, свежесть, новизну, разнообразие содержания журнала», «верность однажды принятому направлению». Журнал был закрыт за независимость суждений.

¹⁰⁴ *«Москвитянин»* — журнал реакционного крыла славянофильства. Издавался в Москве в 1841—1856 гг. М. П. Погодиным. Журнал несколько оживился после 1850 г., когда в него вошли А. Н. Островский, А. А. Григорьев, А. А. Потехин и др. Полностью вытравить из него направление Погодина не удалось.

¹⁰⁵ Имеется в виду книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

¹⁰⁶ Добролюбов говорит о талантливом русском экономисте и писателе В. А. Милотине, напечатавшем в 1847 г. несколько статей на социально-политические темы (о пролетариате в Англии, о теории Мальтуса). Во время свирепой реакции, после подавления в 1848 г. западноевропейского революционного движения, Милотину приходилось писать рецензии и статьи о журналах середины XVIII века.

¹⁰⁷ Имеются в виду педагогические статьи Н. И. Пирогова. См. статью Добролюбова «О значении авторитета в воспитании» (стр. 33 и сл.).

¹⁰⁸ Говорится о Герцене и Огарёве, развивших тогда литературно-революционную деятельность в Лондоне («Полярная звезда», «Колокол», прокламации).

¹⁰⁹ Из драматического отрывка Н. В. Гоголя «Утро помещика».

¹¹⁰ В последние годы царствования Николая I число студентов университета на всех факультетах, кроме медицинского, не должно было превышать 300 человек.

¹¹¹ *«Le Nord»* — «Север», газета, издававшаяся на французском языке в Брюсселе с 1856 г. на средства царского правительства.

¹¹² Имеется в виду полицейская цензура.

¹¹³ Из поэмы Н. А. Некрасова «Саша».

¹¹⁴ *«Печатная правда»* — брошюра С. П. Голицына; под видом заботы о крестьянах в ней проводились крепостнические взгляды дворянства.

¹¹⁵ *«Иллюстрация»* — еженедельник, выходивший в Петербурге с 1858 г. под редакцией журналиста В. Р. Зотова. В одной статейке редактора (за подписью «Знакомый человек») нашла себе место черносотенная выходка. Два еврейских деятеля выступили в печати с протестом по этому поводу; Зотов ответил новой, хулиганской, выходкой. Либеральная печать стала полемизировать с «Иллюстрацией» и раздула этот случай в событие огромной важности. Был напечатан протест от имени прогрессивных литераторов. Добролюбов зло высмеял эту шумиху в «Свистке» (Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 33 и сл.), показал, что сами авторы протеста содействовали распространению тупоумной клеветы «Иллюстрации» (стакан воды превращали в море) и сделали рекламу ничтожному журнальчику.

¹¹⁶ *«Автор, пользующийся почётной известностью в нашей литературе»* — Б. Н. Чичерин. Известный общественный деятель, славянофил, крупный помещик, князь В. А. Черкасский выступил в 1858 г. в печати с требованием предоставить помещикам и после освобождения крестьян право сечь их розгами.

¹¹⁷ *«Знаменитый юрист К. Д. К.»* — Кавелин. Имеется в виду его записка (1855) по крестьянскому вопросу. Она долгое время не могла быть напе-

чатана полностью из-за цензуры («трудность копирования»). Извлечение из этой записки напечатано в «Современнике» (1858, № 2 и 3), в статье «О новых условиях сельского быта». Полностью записку напечатал Герцен в Лондоне (сборник «Голоса из России», 1857, № 3). В середине 60-х годов Кавелин отошёл от передовой русской литературы. См. статью В. И. Ленина «Гонители земства и аннибалы либерализма», 1901 г. (Соч., т. IV, стр. 127 и сл.; см. ещё т. XV, стр. 467).

¹¹⁸ Добролюбов говорит о статьях Н. Г. Чернышевского по крестьянскому вопросу.

¹¹⁹ Имеются в виду статьи Н. Г. Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения» («Современник», 1858, № 12, стр. 575 и сл.) и К. Д. Кавелина «Взгляд на русскую сельскую общину» («Атеней», 1859, № 2).

РОБЕРТ ОУЭН И ЕГО ПОПЫТКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РЕФОРМ

¹²⁰ Опубликовано в «Современнике» (1859, № 1, стр. 230 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. IV, стр. 3—39.

¹²¹ Эпизод с посещением Николаем I знаменитого утописта передал А. И. Герцен по рассказу самого Оуэна, у которого Герцен был в 1852 г. Добролюбов не мог знать этого рассказа, так как он напечатан в «Полярной звезде» 1861 г. (см. «Былое и думы», 1938, т. IV, стр. 319 и сл.). У Добролюбова имеются некоторые фактические неточности в изложении внешней биографии Оуэна. В 1858 г. литература об английском утописте ещё не была критически проверена.

¹²² Маркс и Энгельс упоминают об Оуэне в своих сочинениях и переписке, как об одном из величайших умов, как о родоначальнике социализма в Англии (Соч., т. XIV, стр. 266 и сл.; в других томах — по Указателям). Энгельс, говоря об английских социалистах, родоначальником которых он считал Оуэна, отмечает абстрактность их принципов, их миролюбие: публичная проповедь для них — единственный приемлемый способ воздействия (см. Соч., т. III, стр. 517). Мы видим, что Добролюбов, так же как и Энгельс, считает веру Оуэна в мирную перестройку общества слабым местом его теории.

¹²³ *Пелагианская ересь* — учение английского монаха Моргана (начало V века) о том, что человек может избежать греха усилием своей доброй воли; при этом Морган (в греческой переделке — Пелагий) отрицал воздействие божества на волю человека.

¹²⁴ *Гнилые местечки* — населённые пункты с числом жителей менее 2 тысяч человек, имевшие право посылать в парламент депутатов наравне с многочисленными избирательными округами. Избирательной реформой 1832 г. такие местечки лишены права посылать депутатов, а число депутатов от более крупных местечек сокращено вдвое. Освободившиеся места были отданы крупным промышленным центрам. Эта реформа усилила буржуазию, так как города посылали в парламент главным образом её представителей, а местечки — преимущественно крупных землевладельцев.

¹²⁵ Речь идёт об осуждении в марте 1834 г. шести батраков к семилетней ссылке за принесение «незаконной присяги». Манифестация делу не помогла, приговор остался в силе.

¹²⁶ Стачка портных происходила в 1834 г.

¹²⁷ В затеянную Оуэном «Биржу трудового обмена» купцы навезли залежавшиеся товары. Разбирали они там всё лучшее. Скоро «трудовые билеты» оуэновской биржи потеряли всякую цену. Что касается упоминаемого Добролюбовым «Обменного» или «Народного» банка Прудона, то это предприятие было основано в 1849 г. в предместье Парижа Сен-Дени. По мысли Прудона, все производители должны были свозить свои товары в банк. Принимались они по оценке с учётом рабочего времени и издержек производства, но без прибыли. Ввиду этого к банку должны были примкнуть также все потребители, а деньги стали бы излишними. Банк объединил свыше 12 тысяч человек. Хотя банк не начал своей деятельности вследствие ареста Прудона по другому делу, но затея и без того была обречена на неудачу ввиду своей утопичности.

ОСНОВАНИЯ ОПЫТНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Сочинение архимандрита Гавриила (Кикодзе)

¹²⁸ Опубликовано в «Современнике» (1859, № 3, стр. 70 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. IV, стр. 308—311. Настоящая статья связана основной идеей с другими, включёнными в этот сборник: «Органическое развитие человека...» (стр. 157 и сл.), «Об истинности понятий» (стр. 188 и сл.), «Физиологическо-психологический... взгляд...» (стр. 131 и сл.). С первой статьёй она связана, кроме того, ссылками на физиологические факты, взятые из книги доктора Бока.

¹²⁹ Добролюбов отмечает противоречие идеалистических, ненаучных выводов автора книги архимандрита Гавриила с его заявлением в предисловии о том, что психология много выиграла бы, если бы отбросила «бесплодные умозрения» и «обратилась к строгому опыту», к беспристрастным наблюдениям над явлениями и фактами, придающими «наукам естественным столь завидную точность, занимательность и основательность».

¹³⁰ Здесь ссылка на опыты французского физиолога Флуранса, доказавшего, что всякие ощущения, восприятия и умственные способности имеют своим источником головной мозг.

¹³¹ Знаменитый немецкий химик Ю. Либих, получивший лабораторным путём органическое вещество, выступал, однако, против «крайностей» материалистических выводов о развитии жизни на земле.

СОЧИНЕНИЯ В. БЕЛИНСКОГО

¹³² Опубликовано в «Современнике» (1859, № 4, стр. 215 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. II, стр. 470—471. Написано по поводу выхода в свет первых томов Сочинений В. Г. Белинского после восьмилетнего запрета не только на произведения, но и на самое имя великого критика.

¹³³ Наряду с Чернышевским в редакции «Современника» состояли тогда Н. А. Некрасов и И. И. Панаев. Оба вошли в этот журнал в 1847 г. вместе с Белинским.

¹³⁴ Добролюбов имеет в виду статьи Н. Г. Чернышевского «Очерки гооголевского периода русской литературы», посвящённые революционно-критической деятельности Белинского и печатавшиеся в «Современнике» в 1855—1856 гг. Сам Добролюбов писал о Белинском в статье «Когда же придёт настоящий день?» (см. т. II, стр. 178 и сл.).

ЧТО ТАКОЕ ОБЛОМОВЩИНА?

(Обломов, роман И. А. Гончарова. Отч. Записки 1859 г., № I—IV)

¹³⁵ Напечатано в «Современнике» (1859, № 5, стр. 59 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. II, стр. 5—35. Эпиграф неточный — из тома II «Мёртвых душ». Роман Гончарова печатался в № 1—4 «Отчественных записок» за 1859 г., следовательно Добролюбов писал о нём немедленно по его опубликовании.

¹³⁶ Статья Добролюбова помимо своего теоретического содержания имела ещё исключительное значение для литературно-исторической биографии Гончарова. Этой статьёй широким кругам читателей было доказано, что автор «Обломова» — один из крупнейших русских художников слова.

¹³⁷ В 1849 г. напечатан в «Литературном сборнике» отрывок из романа «Сон Обломова».

¹³⁸ «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева напечатано полностью в книге I «Современника» за 1859 г. Роман был принят читателями и критикой с восторгом. По выражению одного тогдашнего критика, «романом Тургенева зачитывались до иступления... кинулись на него, как на давно ожидаемое сокровище».

¹³⁹ Неточная цитата из знаменитого стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium» («Молчание», «Тишина»).

¹⁴⁰ Стихи из «Евгения Онегина».

¹⁴¹ Стихи из главы 4 поэмы Н. А. Некрасова «Саша» (не точно); отсюда и следующая цитата.

¹⁴² Из «Евгения Онегина» (не точно).

¹⁴³ Цитата из «Евгения Онегина» (не точно).

¹⁴⁴ Ссылка на «Экономический указатель» — ироническое замечание по адресу этого буржуазно-либерального журнала, отстаивавшего насаждение капитализма в России.

¹⁴⁵ Неточная цитата из «Евгения Онегина».

¹⁴⁶ Не точно, из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Современная мо-литва».

НОВЫЙ КОДЕКС РУССКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ

(Наука жизни или как молодому человеку жить на свете. Ефима Дыммана. Спб. 1859)

¹⁴⁷ Опубликовано в «Современнике» (1859, № 6, стр. 289 и сл.). Печатается по Полному собранию сочинений, т. IV, стр. 93—105. Настоящее выступление Добролюбова было тем более смелым, что оно вызвано книгой, посвящённой сыну царя, наследнику престола Николаю Александровичу, и направлено в значительной степени против правящих верхов. Трудность своей задачи Добролюбов отметил в письме к товарищу по институту И. И. Бордюгову. Он сообщал (4 июня 1859 г.), что написал «статеечку об одной глупейшей книге, посвящённой наследнику российского престола» («Материалы для биографии...», М. 1890, стр. 514).

¹⁴⁸ Статья Добролюбова «Основные законы воспитания», написанная по поводу реакционной книги «Основные законы воспитания. Вкратце изложил для семейства и школы Н. А. Миллер-Красовский, кандидат С.-Петербургского университета по факультету историко-филологических наук, классный надзиратель при Гатчинском Николаевском сиротском институте. Издание автора. Спб. 1859» (Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 337 и сл.). После появления этой статьи в печати начальство Миллера-Красовского вынуждено было выступить с заявлением, что не разделяет реакционных взглядов последнего на вопросы воспитания.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН



А

- Абердин* — 338
Абульфеда — 126
Август — 219
Агамемнон — 87
Адам — 200, 215
Адамс Джонс — 337
Адриан — 199, 237
Александр Македонский — 167, 221
Алексей Михайлович, царь — 223, 224, 237
Алексей Петрович, царевич — 198, 224
Аль-Амин — 126
Амру-Ибн-эль-Аас — 127
Андреев Иван — 118
Андрей Егорович — 30
Анненков П. В. — 139, 140, 152
Анхиз — 123
Аппельрот — 301
Апраксин Ф. М. — 203, 206, 212
Аристипп — 52
Аристотель — 162
Аристофан — 74, 87
Аспазия — 186
Афанасий, архиепископ — 202
Афанасий Никитин — 100
Ахшарумов — 304

Б

- Байрон* — 112, 143, 153, 154, 160
Бакунин — 149
Балдуин — 99
Бан — 209
Баратынский — 256
Батый — 259
Батюшков — 111, 112, 120
Бауэр Бруно — 31
Бедфорд — 336
Безобразов — 287
Безобразов Николай — 291
Белинский — 31, 78, 79, 139, 143, 149, 151—154, 266—268, 271, 272, 274, 275, 348, 349.
Белль — 318, 337
Беляев — 303
Бем — 33, 283
Бенедиктов — 154, 377
Беранже — 89, 115
Берви В. — 131—138, 178, 304
Берн Стерджес — 337
Беррье — 243, 244, 246, 249, 250, 252
Бетховен — 160, 166
Бёмер Ф. — 157
Бибра — 170
Бланк Григорий — 287, 291
Блуменбах — 132
Бодянский — 93
Бок К. Э. — 157, 168, 169, 172—176, 181
Борис, древнерусский князь — 96, 99
Борисов Александр — 118
Брамбеус — 267
Бранденбургский курфюрст — 212
Брант Карштен — 197, 198, 230
Бродзинский — 91
Брум — 342
Брэби Джеймс — 333
Буало — 264
Бугенвиль — 132
Булгарин Фаддей — 266, 267, 271
Бунге — 284
Бутурлин — 203
Бэкон — 132

В

Валентин — 171
 Ван-Бюрен — 338
 Василий, гость московский — 100
 Василий Шибанов — 101
 Вашингтон Ирвинг — 124, 126—130
 В. В. — 293
 Вейде Адам — 208
 Веллингтон — 337, 338
 Вельтман — 303
 Вергилий — 80
 Верди — 166
 Вернадский (В-ский) — 285, 297, 304

Виктория, королева Британии — 309, 334
 Викула, поп — 236
 Винуус — 197, 204, 217, 229
 В. И. С. — 32
 Владимир, древне-русский князь — 92—94, 96—97, 213
 Власовский — 292
 Волков Матвей — 182—187, 295
 Вольтер — 43, 107, 137
 Вышнеградский — 120
 Вязмитинов Пётр — 118

Г

Галль — 183
 Гаузер Каспар — 173
 Гаярин — 301
 Гегель — 132
 Ге Жюль — 333
 Гейне — 73, 89
 Гамильтон — 330
 Генкель — 124
 Гербель — 189
 Герцен — 31
 Гёте — 137, 143
 Гильомен — 304
 Глеб, древне-русский князь — 96, 99
 Глинка Фёдор — 267
 Гоголь Н. В. — 57, 78, 79, 86, 113—115, 118, 122, 154, 258, 266, 267, 280, 303, 349, 350, 376
 Годунов Борис — 103, 223, 224, 303
 Голицын — 225, 226
 Голицыны — 197

Голицын Борис Алексеевич — 201, 205
 Голицын С. П. — 291
 Головачёв А. — 292, 293, 295
 Гомер — 80, 160, 166, 185
 Гончаров И. А. — 350—356, 372, 376—379
 Гордон Патрик — 197, 198, 201—203, 207—209, 213, 214, 230, 233
 Гофман — 153
 Грановский — 139, 140, 148, 152, 284
 Греч — 267
 Греймс Джон — 203
 Грибовский — 118
 Грибоедов — 121
 Григорий XVI — 248
 Григорьев — 284
 Грозный — 101, 102, 223
 Гульст — 197
 Гушке — 170

Д

Давид — 201
 Давыдов Иван — 266, 267
 Дальберг — 220
 Даниил, игумен — 99
 Данилов — 187
 Данте — 80
 Дель — 310—312, 319
 Демосфен — 75
 Державин — 36, 86, 107, 108, 115, 119, 142
 Джексон — 338
 Джон-Квинси-Адамс — 337
 Дмитрий, князь — 96

Дмитрий, царевич — 103
 Диоген — 221
 Дмитриев — 120
 Дмоховский — 292
 Добролюбов Н. — 32
 Долгорукие — 197
 Дуньоль — 241, 244, 250
 Дымман Ефим — 382—395
 Дюбуа-Реймон — 132
 Дюма-отец — 290
 Дюма-сын — 291
 Дюфор — 243, 244, 249, 252

Ж

Желябужский — 118, 227
Жеребцов — 259

Жорж-Санд — 68
Жуковский — 86, 110—112, 120, 153

З

Зедергольм — 38, 41, 42
Зенон — 64

Зотов Никита Моисеевич — 201
Зувев — 273, 301

И

Иванов — 293
Иванов Яков — 118
Игорь («Слово о полку Игореве») — 96, 97
Иеремия — 31
И. Л. — 152

Иларион, митрополит (XI столетие) — 99
Иоаким, патриарх — 198, 199
Иоанна д'Арк — 186
Иоанн, поп — 100
Иоанн, митрополит (XI столетие) — 95, 100

К

Кавелин (К. Д. К.) — 296, 299
Калам — 166
Каннинг — 243
Кантемир — 106, 117, 119, 120
Капнист — 72, 118
Карамзин — 108—110, 115, 223, 224, 239, 259
Каратыгин — 153
Карлович — 228, 229
Кастельрэ — 339
Кентский, герцог — 323, 326, 337
Кикодзе, архимандрит Гаврил — 344
Киприан, митрополит — 96
Киреевский Пётр — 124
Кирилл Туровский — 303
Клеванов — 51
Клеон — 74, 75
Клеопатра — 186
Клюшников — 152
Княжнин — 108
Коклен — 304
Коклес Гораций — 167
Кокорев — 236
Кокорев — 287

Кольцов — 115, 139, 152
Комб Абрам — 309, 330, 333
Корейшаны — 129
Корнель — 107
Корт — 197
Костров — 107
Коцебу — 110
Кошелев — 294
Кошкин — 103, 104, 117, 223, 226, 227
Крапоткин Пётр — 118
Красов — 142, 152
Кревст — 197
Крейс — 234
Критон — 53
Крупский — 118
Крылов — 86, 115
Ксенофонт — 51, 52, 53
Кукольник — 142, 154, 267
Кульман — 198
Курбатов — 234
Курбский — 101—103
Курганов — 135
Кусаков Алексей — 188—191
Кювье — 171, 337

Л

Лаврский Валерьян Викторович — 30, 31
Лавуазье — 132
Ламенэ — 248
Лангваген — 353
Ланге — 293
Ланкастер — 318, 337
Лев, митрополит — 98
Леонид (Спартанский) — 167

Лермонтов М. Ю. — 30, 78, 115, 116, 372
Лефорт — 195—199, 201, 203, 207—209, 214, 230, 236
Лешков — 303
Либих — 132, 347
Ливерпуль, лорд — 336, 338, 340
Лобанов-Ростовский — 118
Лойола Игнатий — 160, 164
Ломоносов — 106—108, 110, 122, 195

Лопухины — 197
Луи-Филипп — 248
Львов — 302

Людовик-Наполеон — 242, 244, 247,
252, 255
Людовик XIV — 137, 198

М

Магомет — 124—129, 160
Максим Грек — 101
Мальтус — 267
Мамай — 96
Манитейн — 118
Маркелл — 199
Мартынов И. И. — 141
Мегден — 197
Мельбурн — 334
Менелай — 87
Меншиков Александр — 231
Местр (граф де-Местр) — 88
Меттерних — 324
Мецеринов — 296, 297
Микулин — 118
Миллер-Красовский — 382, 383
Милонолло — 183
Милославский Иван Михайлович —
225, 232
Мильтиад — 75

Мильтон — 80, 160
Милюков А. — 78, 80, 93, 95, 96,
99, 104, 107, 108, 112, 114, 116,
117, 119, 122, 123
Миних — 118, 362
Михаил — 149
Михаил Фёдорович, царь — 223
Мицкевич — 248
Мошотт — 132, 170
Монро — 337
Монталамбер — 240—249, 254, 255
Морозов — 225
Морошкин — 268
Моцарт — 183
Мочалов — 153
Муций Сцевола — 167, 233
Мюрат — 338

Н

Надимов — 56, 57, 303
Наполеон — 137, 167, 219, 359
Нарышкин Лев Кириллович — 201,
205
Нарышкины — 197
Наталья Кирилловна, царица — 199,
202
Неверов (Н-в) Я. М. — 139, 153, 154

Некрасов — 301
Нестор — 93, 94, 97, 100
Нефимонов Кузьма — 227, 229
Никита Пустосвят — 226
Никифор — 100
Николай, император — 310
Ньютон — 137

О

Овен Роберт — 309, 312—320, 322—
334, 337—343
Окен — 132

Ольга, княгиня — 93
Орлеанский, герцог — 337
Основьяненко — 157

П

о. Паисий — 31
Пакенгам — 337, 338
Пальховский — 304
Панкратьев — 287
Паткуль — 229, 234
Паульсон И. — 157
Пелль П. А. — 132
Перикл — 80
Перри — 217
Песталоцци — 50, 337
Пётр Великий — 52, 104—106, 109,
117—119, 168, 192, 195—208, 210—

239, 303
Петров — 107
Петрово-Соловово — 300
Петрушка, Пётр I — 200
Пиктет — 337
Пиль Роберт (отец) — 340
Пиль Роберт (сын) — 340
Пиндар — 120
Пирогов — 33, 34, 49, 280, 283
Платон — 51, 81, 132
Плейер — 209
Плиний — 132

Плутарх — 124
Пожарский, князь — 108
Полевой — 109
Полежаев — 59
Полетика Григорий — 52
Полтавский Помещик (псевдоним) — 294

Порошин Семён — 118.
Посошков — 105
Протасьев — 226
Прудон — 333
Пушкин — 36, 73, 86, 112—115, 122, 153, 160, 372

Р

Радигель — 333
Разин — 224
Рапп — 327, 329
Расин — 107
Рафаэль — 166, 183
Регул — 137, 233
Рейбо Луи — 328
Ришелье — 219
Робак — 243, 333

Розен — 267
Розенгейм — 302
Ройе-Коллар — 251
Ромодановские — 197
Ромодановский — 200, 232, 235, 236
Россель Джон — 342
Рослав — 108
Рощаковский — 300
Руссо — 313

С

Савич Ю. — 299
Саксен-Веймарский, герцог — 328
Салтыков-Щедрин М. Е. — 54
Санта-Анна, генерал — 338
Сверт — 209
Святослав, князь — 97
Сенека — 132
Сенковский — 153
Серапион — 98
Сергий, св. — 96
Серрес — 251
Сидмут — 324
Симеон Полоцкий — 106, 108
Сильвестр Медведев — 106
Синайский Иван — 51, 52, 53
Соковнин — 232
Сократ — 51—53, 135, 188
Солдатёнков К. — 349

Соловьёв — 303
Соломон — 201
София, царевна — 196, 197, 223, 225, 227, 233
Софроний — 96
Сталь — 50
Станкевич Николай Владимирович — 139—156
Стефан Новгородец — 100
Стрешнев — 200, 236
Стрешнев Тихон Никитич — 203
Стрешневы — 197
Стройновский — 296
Суворов — 167
Сумароков — 72, 107, 119—121
Сухомлинов — 303
Сципион — 137
Сэй — 362

Т

Талейран — 383
Тенгоборский — 285
Тиберий — 80
Тидеман — 171
Тиммерман — 197, 198, 225, 230
Тимофеев — 142, 154

Тимофей, пономарь — 100
Тихон Воронежский — 95
Томпсон — 333
Тредьяковский — 106, 107
Туман — 211
Тургенев — 118
Тургенев И. С. — 351, 372, 376

У

Уатт — 320
Украинец Емельян — 226, 229, 231
Устрялов Н. — 192, 195—207, 213—

220, 222, 225—239, 268, 303
Ушаков — 267

Фалленберг — 337
Фальк — 336
Фёдор Иванович, царь — 303
Фейербах — 31
Фелица — 119
Фемистокл — 75
Феодор, царь — 223, 225
Филипп Македонский — 75

Халявский — 157
Хвостов — 266
Херасков — 108, 120, 142

Циклер — 232

Черкасский — 236, 294, 300

Шафиров — 216, 231
Шевырёв — 154, 267, 268
Шеин — 236
Шекспир — 166
Шеллинг — 132
Шереметев — 210
Шереметев Борис Петрович — 205

Щедрин — 54, 58, 59, 61, 63, 65, 68,
69, 72, 74—76, 286

Эвр — 333
Экзетерский, епископ — 339, 340, 341
Эней — 80
Эркрайт — 320, 321

Юлий Цезарь — 167

Якоби — 337

Ф

Фильпот, епископ Экзетерский —
334
Фихте — 132
Флетчер — 223
Флуран — 171, 183, 184
Фонвизин — 120, 121
Фохт — 132, 170
Фридрих-Вильгельм — 219
Фрэнсис — 336

Х

Хмельницкий — 217
Хмельницкий Ивашка — 201
Храповицкий — 59, 118

Ц

Цицерон — 132

Ч

Чернышевский — 297, 299

Ш

Шереметев Пётр Васильевич — 201
Шефе — 187
Шиллер — 30
Шнелль К. Ф. — 157, 169, 178, 180,
181
Штраус — 31
Шуберт, антрополог — 132

Щ

Щепкин — 349

Э

Эсхин — 75
Этмануйл Этмануйлович — 92
Эшенмайер — 132

Ю

Я

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
<i>М. Т. Иовчук</i> , Философские и социально-политические воззрения	
<i>Н. А. Добролюбова</i>	3
Письмо к <i>В. В. Лаврскому</i> 3 (15) августа 1856 г.	30

1857 год

О значении авторитета в воспитании. (Мысли по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова.)	33
Сократово учение по Ксенофону, в виде разговоров, в четырёх книгах. <i>Перев. с греч. Ив. Синайским</i>	51
Губернские очерки <i>М. Е. Салтыкова-Щедрина</i>	54

1858 год

✓ О степени участия народности в развитии русской литературы «Очерк истории русской поэзии» <i>А. Милюкова</i>	78
Жизнь Магомета. Соч. <i>Вашингтона Ирвинга</i>	124
Физиологическо-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни. Соч. <i>В. Берви</i>	131
Николай Владимирович Станкевич	139
Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью	157
Френология. Соч. <i>Матвея Волкова</i> . Отрывки из заграничных писем <i>М. Волкова</i>	182
Об истинности понятий или достоверности человеческих знаний. <i>Сочинение А. Кусакова</i>	188
Первые годы царствования Петра Великого. <i>История царствования Петра Великого. Н. Устрялов</i>	192
По поводу одной очень обыкновенной истории	240

1859 год

Литературные мелочи прошлого года	256
Роберт Овен и его попытки общественных реформ	309
Осознания опытной психологин. <i>Сочинение архимандрита Гавриила</i> <i>(Кикодзе)</i>	344
Сочинения В. Белинского	348
Что такое обломовщина? (<i>Обломов, роман И. А. Гончарова</i>)	350
Новый кодекс русской практической мудрости	382
Примечания	396
Указатель имён	407



✓

Н. А.
ДОБРОЛЮБОВЪ
+
ИЗБРАННЫЕ
СОЧИНЕНИЯ

I